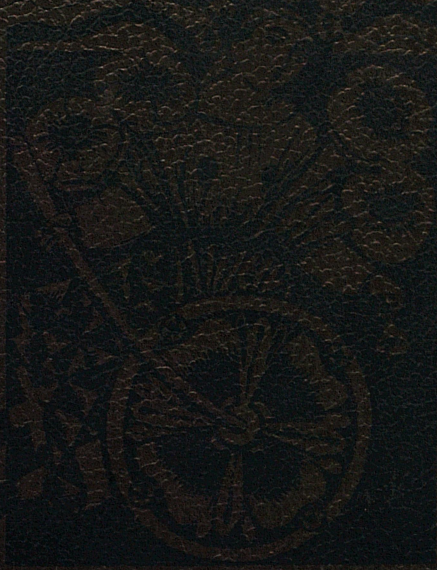


ОРЕТ  
СОМОВ



Рыцарь  
Ветер





OPECT  
COMOB





ОРЕСТ  
СОМОВ

Сынцов  
Белер

*Избранные  
произведения*

Киев  
Издательство  
художественной литературы  
«Дніпро»  
1991

ББК 84Р1  
С61

В книгу избранных произведений русского писателя, критика, журналиста О. М. Сомова (1793—1833) вошли повести и рассказы, многие из которых неизвестны массовому читателю, давно стали библиографической редкостью. Тематика их чрезвычайно разнообразна, характеры колоритны, фантастика в них часто переплетается с изображением реального быта. Большой интерес представляют произведения, в которых отразились быт украинского народа, черты его национального характера, творчество, верования.

Составление, предисловие  
и примечания *З. В. Кирилюк*

Редактор *З. Г. Коваль*

С  $\frac{4702010101-131}{M205(04)-91}$  131.91

ISBN 5-308-00951-1

© Составление, предисловие,  
примечания. Кирилюк З. В. 1991

## НА ПУТИ К РЕАЛИЗМУ

Орест Сомов и его роль  
в литературном движении начала XIX в.

В понедельник 14 декабря похолодало, к ночи мороз усилился. В свете бивачных огней яркими искорками вспыхивали кристаллики льда. В ранних декабрьских сумерках на Сенатской площади чернели ряды конной гвардии, торопливо засыпали следы крови на мостовой. Выход на Гороховую и прилегающие к площади улицы охраняли батальоны лейб-гвардейского Егерского полка. Около Зимнего дворца на набережной Невы у пушек суетились солдаты. У подъезда время от времени останавливались кареты, из них в сопровождении фельдъегерей выходили офицеры и скрывались за массивной дверью. В императорском кабинете вершилась первая государственная акция нового монарха — генерал-адъютант Левашов допрашивал мятежников. Изредка из внутренних покоев выходил бледный, с воспаленными глазами Николай I и включался в разговор. В числе первых арестованных во дворец прибыл в сопровождении полицмейстера Дершау известный писатель и журналист Орест Михайлович Сомов.

Декабрист В. И. Штейнгель вспоминал о тех страшных днях:

«Судя по важности прикосновения привезенный арестант отсылался с фельдъегерем в дом Генерального штаба... или прямо к коменданту Петропавловской крепости. Плац-майор отводил жертву в казематы»<sup>1</sup>. Сомова отправили в крепость.

Для позднейших историков и литературоведов очевидной казалась нелепость того, что скромного литератора, никогда не служившего по военному ведомству, посчитали участником восстания декабристов. Иначе воспринимали это современники Сомова: в обществе поползли слухи, что писатель вместе с К. Рылеевым и А. Бестужевым руководил на Сенатской площади восставшими войсками, что его захватили с пистолетом в руке. Домыслы, в создании которых приняли участие и многочисленные недавние литературные противники, основывались только на том, что Сомова хорошо знали как единомышленника декабристов в литературных баталиях, их сотрудника в издании альманаха «Полярная звезда» и постоянного участника жарких полемик в защиту идей гражданственности и самобытности литературы.

В историю русской литературы Сомов вошел как писатель, высту-

---

<sup>1</sup> Штейнгель В. И. Сочинения и письма.— Т. 1.— Иркутск, 1985.— С. 162.



павший за передовые эстетические идеалы своего времени сначала в кругу декабристов, а позднее сотрудничая с Пушкиным и Дельвигом. И хотя в блеске художественных открытий великих современников Сомова талант его мерк, но он сыграл значительную роль в утверждении того литературного направления, лучшими представителями которого были Пушкин, Грибоедов, Гоголь.

Родился Орест Михайлович Сомов 13 декабря 1793 г. в г. Волчанске на Харьковщине. Детство и юность его прошли на Украине в небогатом помещичьем имении. Глубокий след в душе будущего писателя оставили украинские народные песни и украинские пейзажи; сказки, верования и сказания, исторические предания и современные народные обычаи постоянно возбуждали его творческую фантазию.

После окончания частного пансиона Сомов в 1809 г. поступил в Харьковский университет. Годы пребывания в университете сыграли значительную роль в формировании его эстетической позиции и творческих интересов. Господствующие здесь литературные вкусы способствовали пробуждению интереса к отечественной истории, к быту народа, его творчеству. В рассказе «Пленный турок» Сомов вспоминает, как во время каникул отправился изучать жизнь, обычаи, творчество народа Украины.

Убежденный в том, что будущее литературы — в ее обращении к национальным источникам, в изображении жизни народа, национальных характеров, он считал высшим достижением современной ему литературы «Энеиду» Котляревского. И в последующие годы Сомов высоко ценил то, что Котляревский не шел по пути подражания иноземным образцам, а «умел приправить свою поэму малороссийской солью и живо представил в ней вместо троянцев, карфагенян и латынзян земляков своих малороссиян с их домашним бытом, привычками и поговорками».

В харьковский период начинают складываться эстетические взгляды, которые продолжали формироваться в декабристской среде, а позднее в общении с писателями пушкинского окружения. Знакомство с украинским бытом, фольклором, историей сказалось на характере творческих интересов Сомова, в частности определило тематическое своеобразие его прозы.

Свои первые творческие опыты — стихотворения, басни, песенки Сомов печатает в «Харьковском Демокрите» и в «Украинском вестнике», здесь же помещает и произведения, написанные сразу же после переезда в Петербург в 1817 году. Первое время он очень тоскует по Украине, и в стихотворении «Тоска по родине» рассказывает, как «грустно сердцу на сторонushке чужой», широко используя лексику и другие особенности русской песенной традиции. В Петер-

бурге Сомов сближается с писателями, с которыми его объединяет интерес к Украине: с поэтом В. И. Туманским, Н. А. Цертелевым, готовившим в то время к изданию сборник «Опыт собрания старинных малороссийских песен» (1819), с Ф. Глинкой — автором романа «Зиновий-Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия» (1819) и другими. Круг таких знакомых все время расширялся. Сомов посещал Общество военных людей, сблизился с членами Вольного общества любителей российской словесности, в котором собирались и члены тайных организаций, вступил в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств и получил возможность печатать свои произведения в журналах «Соревнователь» и «Благонамеренный».

В 1819—1820 годах Сомов путешествует по Западной Европе, он побывал в Кракове, Вене, Дрездене и Париже. В письмах на родину, которые печатались в «Соревнователе» и «Благонамеренном», он описывал образ жизни, обычаи разных народов. Его интересовали королевский театр и балаганы на площадях во время народных гуляний, королевская сокровищница и тюрьма. В письмах явственно проявились социально-политические взгляды Сомова этого периода.

После возвращения из путешествия Сомов становится должностным членом Вольного общества любителей российской словесности, редактирует отдельные книги «Соревнователя». Он знакомится с А. Пушкиным, А. Дельвигом, К. Рылевым, А. Бестужевым, А. Грибоедовым и другими литераторами.

Общественный подъем первых десятилетий XIX века сказался на характере литературной деятельности Сомова. Его стихотворения «История» (перевод из Ж. Буассара) и «Греция» (подражание Ардану), по убеждению исследователя литературы декабризма В. Г. Базанова, знаменовали «начало борьбы... за гражданский романтизм»<sup>1</sup>. К этому же направлению принадлежала и его «Песнь о Богдане Хмельницком — освободителе Малороссии» (подражание польской, сочиненной Леоном Рогальским).

В 1821 г., когда вспыхнувшая в Греции освободительная борьба приковала к себе внимание всей прогрессивной общественности, будущие декабристы и близкие к ним писатели видели в борьбе греков вдохновляющий пример для угнетенных народов. В частности Пушкин выражал уверенность, что события эти «будут иметь следствия, важные не только для нашего края, но и для всей Европы. Греция восстала и провозгласила свою свободу... Восторг умов дошел до высочайшей степени».

В этих условиях стихотворение Сомова «Греция» звучало почти как прокламация:

<sup>1</sup> Базанов В. Г. Ученая республика. — М.— Л., 1964.— С. 106.

Проснитесь грозные питомцы славы!  
Проснись полубогов бесстрашный сонм...

Стихотворение предвосхищало идею рылеевского «Гражданина». Сомов задался целью ознакомить русского читателя с историей и особенностями культурного бытия греков. В «Соревнователе» и «Сыне отечества» он печатает много материалов о Греции, переводит «Записки» о Греции французского полковника Вутье, который, как и Байрон, принимал участие в освободительной борьбе греков. Все, что было связано с Грецией, звучало тогда как призыв к освободительной борьбе. Именно на это намекала рецензия на перевод Сомовым «Записок» Вутье; здесь отмечалось, что это «очень любопытная книга, особенно по нынешним обстоятельствам».

В литературной борьбе начала 20-х годов Сомов широко известен как активный сторонник романтизма и один из первых его теоретиков. Развитие самосознания народа, отстаивавшего в Отечественной войне 1812 года свою политическую и национальную независимость, нашло выражение в духовной жизни общества в борьбе за самобытную, свободную от подражательности, органично проникнутую народными традициями литературу. Вставал вопрос о познании народа, его характера, мировоззрения. Путь к этому видели в изучении и творческом использовании истории народа и фольклора. В. Белинский писал в 1834 году, что романтизм «был не что иное, как возвращение к естественности, а следовательно, самобытности и народности в искусстве»<sup>1</sup>.

В 1823 г. Сомов выступил с трактатом «О романтической поэзии», в котором обосновывал необходимость обращения в художественном творчестве к национальным источникам. «Может ли поэзия сделаться народною, когда в ней мы отдаляемся от нравов, понятий и образа мыслей наших единосемцев?» — ставит Сомов риторический вопрос, самой его постановкой указывая путь к созданию «народной поэзии, неподражательной и независимой от преданий чуждых». Он утверждает, что «словесность народа есть говорящая картина его нравов, обычаев, образа жизни», и призывает основываться в художественном творчестве на сведениях об истории, о современных нравах, быте, творчестве народа.

Утверждая, что «ни одна страна в свете не была столь богата разнообразными поверьями, преданиями и мифологиями, как Россия», Сомов обращает внимание писателей на Украину, на ее местный колорит и творчество народа: «Здесь являются малороссияне с сладостными их песнями и славными воспоминаниями, там воинственные сыны тихого Дона и отважные переселенцы Сечи Запорожской, все они, соединяясь верою и пламенною любовью к отчизне,

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч.— Т. 1.— М., 1953.— С. 68.

носят черты отличия в нравах и наружности... природа и человек, прошедшее и настоящее говорят поэту: выбирай и твори».

Идеи, обоснованные в трактате «О романтической поэзии», Сомов развивал в своих критических статьях: в обзоре «Полярной звезды», которая издавалась при его участии, писатель подчеркивал патриотическую направленность альманаха и выражал надежду, что читатели увидят в поэзии и прозе, помещенных в нем, богатство отечественных и культурных ценностей и полюбят «все русское — и великие наши воспоминания, и коренные обычаи, и язык звучный и благородный».

В 1824 г. Сомов вошел в учрежденный К. Рылеевым и А. Бестужевым «домашний комитет», который стал политическим руководящим центром Вольного общества любителей российской словесности.

Накануне восстания, когда вокруг созвучной идеям декабристов комедии А. Грибоедова «Горе от ума» началась острая литературная борьба, широкий резонанс получила статья Сомова «Мои мысли о замечаниях г. Мих. Дмитриева на комедию «Горе от ума» и о характере Чацкого». В ней высказывались мысли, которые рождались в литературных беседах с Рылеевым, Бестужевым и другими членами «домашнего комитета». Многозначителен намек критика: он пишет, что воздерживается от доказательства того, что действительно существует противостояние таких людей, как Чацкий, обществу, т. к. они «завлекли бы» его «слишком далеко».

Несмотря на то, что Сомов был дружен с К. Рылеевым и А. Бестужевым, служил под начальством Рылеева в Российско-американской компании, жил вместе с А. Бестужевым, принимал участие в издании «Полярной звезды» и активно пропагандировал идеи, созревающие при обсуждении в декабристских кругах художественных произведений, единомыслие их ограничивалось вопросами литературы и эстетики. Он не состоял членом тайного общества и не был посвящен в политические планы друзей, хотя, как он признался на первом допросе, 13 декабря знал о предстоящем восстании. В ответах на вопросы Тайного комитета Сомов писал: «Связь моя с А. Бестужевым и К. Рылеевым была с самого начала и до конца совершенно литературная, а советов и сотрудничества от меня они требовали только по изданию «Полярной звезды», иногда же читали мне литературные свои произведения». А. Бестужев на вопрос о Сомове отвечал: «Дворянин Сомов к Обществу нашему никогда не принадлежал...мы, впрочем, считали его вовсе бесполезным для Общества как по слабости здоровья его, так и по слабости духа и неимению звания. До последних дней он ни о чем не знал, и только в первый раз говорили мы при нем с московскими офицерами открыто, пивши чай (мы вместе жили), об Обществе же не знал он ничего, и меня мучит совесть, что я вовлек его невинного в беду тем, что жил с ним. В день 14 декабря не принимал никакого участия».

Таков был и общий смысл докладной записки Тайного комитета императору, который наложил резолюцию: «Полагаю выпустить».

Растерявший всех друзей в декабрьской катастрофе, лишившись службы в Российско-американской компании, а вместе с нею и средств к существованию, Сомов первое время сотрудничает исключительно в болгаринской «Северной пчеле» — в единственном уцелевшем в бурных событиях конца 1825 года издании из тех, в которых он печатался и раньше. В течение 1826 года это был главный источник его существования. О работе своей он писал издателю «Литературного музеума», писателю В. Измайлову: «..Право, совестно иногда подписывать свое имя». Работу в газете он называет «черной» и сообщает, что душу отводит, занимаясь «малороссийскими былями и небылицами».

Замысел создания малороссийских былей и небылиц возник у Сомова задолго до событий декабря 1825 года. Пытаясь воплотить свои теоретические воззрения в художественной практике, он творчески осмысливает исторические факты из жизни украинского народа, фольклорные произведения. Первым произведением, созданным на основе исторических и фольклорных материалов, была малороссийская быль «Гайдамак» о народном мстителе Гаркуше, который действовал на Украине в 70-е годы XVIII в.

Народная молва приписывала Гаркуше дела многих других разбойников, облик его в народных песнях и легендах был противоречив. Сомов создавал образ своего героя на основании тех фольклорных рассказов, в которых Гаркуша изображался как поборник справедливости и защитник угнетенных. В ряду других произведений о Гаркуше, принадлежащих В. Нарезному, Г. Квитке-Основьяненко, Г. Данилевскому, А. Стороженко, произведение Сомова отличалось тем, что оно развивало декабристские тенденции. Черты шиллеровского благородного разбойника переосмыслены в нем в духе положительного героя соответственно декабристским представлениям. Он решительно вступает за обездоленных, карает своевольных, жестоких помещиков.

Идея создания большой повести или романа о Гаркуше не оставляла Сомова на протяжении всей жизни. Периодически в печати появлялись отдельные главы повести, каждая из которых носила законченный характер. Многочисленные отзывы современников свидетельствуют о том, что «Гайдамак» пользовался большим успехом. Сомов особенно ценил отзывы тех, кого считал знатоком жизни и фольклора Украины. В июне 1829 года он писал издателю «Малороссийских песен» М. А. Максимовичу: «Приятное Ваше письмо порадовало меня тем, что снова уверило меня в лестном внимании, с каким образованные земляки мои принимают «Гайдамака» и другие малороссийские были и небылицы Байского... Ваше доброе мнение

и одобрение И. П. Котляревского (от которого на днях получил я письмо) весьма его подкрепляют».

Малороссийская быль предназначалась для альманаха «Звездочка», который должен был выйти вместо «Полярной звезды» на 1826 год. Накануне восстания 14 декабря Сомов был занят подготовкой к выходу в свет альманаха, но этому не суждено было сбыться.

Работа над повестями из украинской жизни все больше захватывает Сомова. В январе 1827 года он снова сообщает В. Измайлову, что начал работать сразу над несколькими малороссийскими повестями и сказками, но «кончить их некогда за службу, недосугами и болезнями». В последующие годы в разных периодических изданиях появляются не только главы повести «Гайдамак», но и другие повести, рассказы, миниатюры: «Юродивый» (1827), «Русалка» (1829), «Купалов вечер» (1831), «Бродящий огонь» (1832), «Киевские ведьмы» (1833), «Недобрый глаз» (1833) и др.

Работа в газете Булгарина не удовлетворяла и тяготила Сомова, в обществе Булгарина и Греча он не чувствовал себя своим, а из прежних друзей почти никого не осталось. Его внимание привлекает кружок писателей, который группируется вокруг «Северных цветов» Дельвига. «С Дельвигом я иногда выдаюсь, но, не знаю почему, до сих пор мы не могли сблизиться», — с грустью пишет он В. Измайлову, а через год сообщает, что будет вместе с Дельвигом издавать «Северные цветы». В альманах Дельвига Сомов переносит некоторые традиции «Полярной звезды». С его приходом каждая книжка альманаха стала открываться обзором литературы за истекший год, как это было в «Полярной звезде». В 40-е годы традицию составления годовых обзоров литературы продолжил В. Белинский.

В 1827 г., когда завязались дружеские отношения Сомова и Дельвига, он очень скоро сблизился и с Пушкиным. Их связывали и деловые издательские и творческие интересы. В письмах поэту Сомов делится своими планами. Есть свидетельства того, что они обсуждали замыслы художественных произведений. Повесть Сомова «Киевские ведьмы» и баллада Пушкина «Гусар» написаны на основе одних и тех же народных преданий, верований.

В сложной общественной и литературной обстановке последкабрьской реакции Пушкин искал средства отстаивать и популяризировать свои литературные убеждения и хлопотал об издании журнала, который объединил бы единомышленников и с помощью которого можно было бы вести полемику. Такими изданиями стали «Северные цветы» и «Литературная газета», которая выходила в 1830-1831 годах при участии Сомова. Издателем был А. Дельвиг, а Пушкин — вдохновителем и активным участником обоих изданий. В конце 20-х — начале 30-х годов Пушкин был тем центром, вокруг которого группировался кружок прогрессивных писателей. Сюда

входили П. Вяземский, Е. Баратынский, Ф. Глинка, Д. Давыдов, П. Катенин, И. Козлов, В. Одоевский, А. Перовский, Н. Языков и другие. Главным противником и объектом критики стал Ф. Булгарин. «Литературная газета» была задумана как средство противостояния реакционным идеям издателя «Северной пчелы» и обоснования эстетических идей народности, самобытности, жизненности литературы. Выдвигая на первый план наиболее перспективные требования эстетики романтизма и преодолевая узость романтических трактовок, Пушкин и близкие ему писатели ставили вопрос о необходимости соответствия художественных картин и характеров действительности. Тем самым они создавали предпосылки теоретического обоснования реализма. Общим мнением сотрудников «Литературной газеты» было убеждение в том, что литература должна отражать жизнь и понятия народа, а единственным средством достижения этого было обращение к действительности, к быту народа. Несколько лет спустя, определяя главную тенденцию развития литературы, В. Г. Белинский писал: «Действительность — вот главный пароль и лозунг нашего века»<sup>1</sup>.

Новая тенденция сказывается и на творчестве Сомова, в произведении которого продолжает развиваться романтическая традиция, но вместе с тем проявляется и стремление к «существенности», интерес к жизни, быту разных слоев общества.

Сотрудничая с Пушкиным, Сомов по-прежнему поддерживает связи с писателями, так или иначе связанными с Украиной. Его внимание привлек юный Н. Гоголь, только что прибывший в Петербург после окончания Нежинской гимназии. Первый литературный опыт Гоголя не получил признания критики. Но отзыв Сомова в «Северных цветах» на 1830 г. отличался доброжелательностью к начинающему автору. Упомянув о «Ганце Кюхельгартене», Сомов сосредоточил внимание не на самом произведении, а на потенциальных возможностях автора:

«Осьмнадцатилетний стихотворец написал сии осьмнадцать картин, в которых заметны еще молодость воображения, незрелость дарования... но в сочинителе виден талант, обещающий в нем будущего поэта. Если он станет прилежнее обдумывать свои произведения и не станет спешить с изданием их в свет, то, конечно, надежды доброжелательной критики не будут обмануты». Вероятно, не без влияния и советов О. Сомова Гоголь обратился в новых своих творческих опытах к изображению бытовых особенностей жизни украинского народа, к фольклору, к истории. Такое мнение убедительно обосновано исследователем творчества Гоголя В. В. Даниловым.

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч. — Т. 3. — М., 1953. — С. 432.

О. Сомов регулярно следил за успехами Гоголя, неизменно с похвалой отзываясь о его новых произведениях. В повестях, впоследствии вошедших в «Вечера на хуторе близ Диканьки», Сомов увидел художественное воплощение идеалов, которые он настойчиво пропагандировал в критических статьях и стремился реализовать в собственных произведениях. «Мы с удовольствием отдадим справедливость помещенной в «О[течественных] з[аписках]» малороссийской повести «Бисаврюк», сочиненной одним молодым литератором Г. Я., в ней черты народные и поверья малороссиян выведены верно и занимательно».

Вместе с Пушкиным Сомов принял действенное участие в полемике вокруг произведений Гоголя и выступил со статьей в его защиту, направленной против Н. Полевого, который критиковал первый сборник писателя. Сомов так искренне и сильно возмущен отзывом Полевого, что не может воздержаться от грубых выпадов в его адрес в письме к М. Максимовичу: Он негодует на то, что Гоголю «дуралей, и литературный невежда, и урод Полевой решился сказать: Вы, сударь, москаль, да еще и горожанин». Он рекомендует Гоголя М. Максимовичу как человека с отличными дарованиями, который знает Малороссию «как пять пальцев» и собрал много народных песен.

Украинская тема волновала Сомова до последних дней его жизни. Это сказывалось не только на его творчестве, но выражалось и в оценках произведений других авторов. Его литературно-критическая позиция проявилась в возмущенных отзывах о водевиле А. Шаховского «Актер на родине», который Т. Шевченко впоследствии назвал «чепухой на двух языках», в поощрительных откликах на «Энеиду» и пьесу «Москаль-чарівник» И. Котляревского, на произведения Н. Гоголя и А. Погорельского.

Многие творческие замыслы Сомова, в которых он намеревался изобразить украинскую действительность, остались неосуществленными. За несколько месяцев до смерти он был полон творческих планов. «У меня затей, затей! полны карманы,— писал он Пушкину.— Во-первых, у меня растет «Борода Богдана Бельского» и разрастается тома на два, во-вторых, я ухватился за любимую мечту мою «Хмельницкого», собрал о нем все, что можно, и теперь его обдумываю и передумываю. Это будет просто малороссийская бль... «Гайдамак» мой подвигается к концу и в марте, может быть, выкажет нос из-под спуда. Кроме того, у меня впялено еще несколько малороссийских былей меньшего объема»<sup>1</sup>. Сомову удалось осуществить лишь небольшую часть своих «затей». 27 мая 1833 года он скончался. Уже после его смерти в харьковском альманахе «Утрен-

<sup>1</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч.— Т. 14.— С.217.



няя звезда» на 1833 год помещены его произведения «Недобрый глаз», «Недосоздание» и др. вместе с некрологом, в котором Сомов причисляли к украинским писателям и отводили ему среди них почетное место.

В художественном творчестве конца 20-х — начала 30-х годов Сомов следовал тем принципам, которые сложились в первой половине второго десятилетия. Он продолжает собирать фольклорные произведения и популяризирует их. В примечании к «Сказкам о кладах», где собран и пересказан ряд народных поверий, автор пишет, что цель произведения — «собрать сколько можно более народных преданий и поверий, распространенных в Малороссии... между простым народом, дабы оные не вовсе были потеряны для будущих археологов и поэтов».

При неизменности общей ориентации в эстетической позиции Сомова происходят существенные сдвиги. По-прежнему фольклор рассматривается им как важнейшее средство познания «духа» народа и создания национальной самобытности народной литературы. Интерес к украинскому фольклору сочетается со все углубляющимся интересом к устно-поэтическому творчеству русского народа. Сомов создает произведения «Кикимора», «Оборотень», «Сказание о храбром витязе Укроме-табунщике», «Сказка о медведе Костоломе и об Иване, купецком сыне» и др.

В русском фольклоре Сомова особенно привлекали героические темы, с большим интересом относится он к патриотическим мотивам народного творчества. Как и в фольклорных произведениях, в сказках и сказаниях Сомова простой русский мужик часто оказывается сильнее князей и воевод, один выходит на бой с врагами и побеждает. Для сказок, созданных им, характерно смешение былинных и сказочных образов и ситуаций. Как и в народных сказках, лень, алчность наказуемы и ведут к поражению героя. В «Сказке о Никите Вдовиниче» успех героя оказался непрочным и непостоянным: счастье изменяет ему, как только он стал пассивным потребителем благ, заработанных смелостью, ловкостью и мастерством. В этой же сказке угадывается и другая, характерная для фольклорных произведений мысль, отражающая этические представления народа, — убежденность в том, что нечестно добытое богатство не может принести человеку счастье.

На новом этапе творческого развития писателя фольклор не просто используется им как иллюстрация отдельных особенностей мировосприятия народа, богатства его фантазии, а служит средством отражения его понимания и оценок различных жизненных явлений и ситуаций.

Как и прежде, основываясь в художественных произведениях на народных сказаниях и поверьях и разрабатывая часто фантастиче-

ские коллизии, Сомов все чаще и настойчивее выступает против крайностей романтической школы и все больше внимания уделяет изображению быта.

В повести «Оборотень» Сомов с иронией пишет об увлечении писателей-эпигонов подражанием зарубежным образцам и снова высказывает мысль о том, что в сокровищнице отечественного фольклора можно найти не менее богатый материал для создания занимательных сюжетов, чем в творчестве «неистовых» романтиков. В «Оборотне» фантастические события изображаются в ироническом плане. Ирреальные происшествия случаются в обстановке реальной деревенской жизни с обыкновенными людьми. Фантастика сочетается с элементами бытовой живописи и в «Кикиморе», и в «Киевских ведьмах», и в «Сказках о кладах». Рассказ об ирреальном в повестях Сомова часто проникнут иронией.

Кризис романтической эстетики все явственнее проявляется в произведениях писателя. В рассказе «Видение наяву», написанном по мотивам украинской народной сказки о музыканте и чертях, повествуя о том, как духи завлекли молодого человека в таинственный дом и чуть не погубили его, Сомов предпосылает рассказу предисловие, чтобы, как замечает автор, читатели «с полным убеждением» поверили описанным событиям. В предисловии Сомов высмеивает страсть романтических сочинителей к необыкновенному, сверхъестественному. Он доказывает, что эпигонское романтическое направление давно не соответствует историческим условиям и степени общественного развития. «Было время,— с иронией пишет он,— когда верили всему. Странствующие рыцари пускались в путь-дорогу за поисками приключений, они искали (и находили) заколдованные замки, очарованных красавиц и злых великанов. Теперь изъезди целый свет по суше и по морям, а не найдешь подобных диковин»<sup>1</sup>. Сомов считает, что только перо сатирика может положить конец эпигонству, так называемому «немецкому направлению».

Вдохновленный примером Сервантеса, который, по утверждению Сомова, «своим желчным пером... нанес решительный удар чудесному, осмеяв его искателей», писатель в произведении «Исполинские горы» пародирует коллизии и типы романтических повестей, намеренно снижает характерные для романтизма ситуации и образы.

Вначале и действие повести «Исполинские горы» и ее герои соответствуют всем традициям романтического повествования: здесь есть и влюбленные, и клятвы в верности до гроба, и вынужденная разлука, и подвиги на пути к достижению цели. Но с развитием действия возникает пародийная ситуация, развенчиваются романтические идеалы. В качестве соперника Ратомира выступает страшный

---

<sup>1</sup> Гирлянда.—1831.—№ 4.—С. 93.

урод, обжора и пьяница — великан Мрачеслав, который в конце концов добивается взаимности Любуши. Ратомир, как и полагается романтическому герою, совершает ряд подвигов, получает рыцарское звание, но начинает тяготиться своим рыцарским долгом. Прежде чем вызвать Мрачеслава на бой, он размышляет о том, что это опасно, т. к. великан, очевидно, не знает рыцарских законов, и принимает решение воздержаться от вызова. Ратомир носит перевязь, на которой Любуша вышила слова клятвы в верности, но в его сердце ее уже вытеснила Владимира, и он удовлетворен тем, что не нашел прежнюю возлюбленную. Воспользовавшись схемой романтической повести, Сомов разрушает романтические каноны.

В критических работах Сомова все настойчивее звучит мысль о необходимости «списывать с природы», отражать «местные черты», особенности характеров, быта. Еще в статье «О существенности в литературе», появившейся в «Сыне отечества» в то время, когда Сомов находился в Петропавловской крепости, он утверждал, что вкусы общества с его развитием изменяются, и доказывал, что назрела необходимость обращения к правдивому изображению действительности. «Есть веки, — писал он, — требующие от писателя и от философа только мыслей и чувствований. Точно или не совсем точно все сие будет выражено, — о том они мало заботятся. Воображению открыто свободное поприще, и поэт или философ могут, так сказать, пришпоривать его по воле прихоти: выдумывай и выискивай — вот чего требует толпа». В новых условиях, утверждает Сомов, «мы теперь более всего просим у тех, которые доставляют нам потребности умственные — существенности. Ныне уже ничем не можно извинить того, что нарушает истину или правдоподобие, дабы приковать наше внимание, не довольно понятий и чувствований, когда они отчуждены от существенности, т. е. самого верного подражания предметам, которые хотим изобразить».

Соответственно высказанным в статье взглядам в творчестве Сомова намечается тенденция создания художественных произведений на основе жизненных наблюдений. Не обладая еще способностью глубокого аналитического познания жизненных закономерностей в процессе творчества, Сомов обратился к простейшей форме — к рассказу о якобы реальном происшествии. Такой задаче наиболее отвечал жанр рассказа путешественника, в котором обычно повествовалось об отдельных эпизодах из жизни людей, с которыми случайно встретился путешественник.

Реальные социальные конфликты, жизненные ситуации и характеры изображены в произведениях «Приказ с того света», «Вывеска», «Странный поединок», «Страшный гость», «Самоубийца», хотя и здесь автор нередко обращается к фантастическим коллизиям. В ряде произведений сказывается стремление реалистически мотивировать

ирреальное преднамеренной мистификацией («Приказ с того света»), сном («Страшный гость»), народной молвой («Самоубийца»).

Один из путешественников-рассказчиков, сообщая о себе и о своих интересах, раскрывает и цель такого рода прозы. Он говорит о том, что не проезжает ни одного местечка, чтобы не узнать его истории и добавляет: «Вы не поверите, как этим увеличивается и дополняется сумма сведений, собираемых нашим разрядом путешественников, о нравах, обычаях, местностях и редкостях проезжаемого края».

Рассказы путешественников знакомили русского читателя с чужими землями и людьми, их жизненным укладом. Общечеловеческие страсти, пороки и достоинства раскрывались в экзотических обстоятельствах разных мест Западной Европы, где в молодости путешествовал Сомов, но его по-прежнему интересует все отечественное, связанное с жизнью народа.

Своеобразное развитие в творчестве Сомова получает его интерес к этнографическим особенностям жизни простых людей. В осмыслении жизненных наблюдений он опирается на передовые тенденции. В русской литературе принцип творческого осмысления быта существенно менялся: от пренебрежения ко всему «низкому» и отрицания быта как предмета изображения в эстетике классицизма к стремлению создать в художественном произведении национальный колорит с помощью бытовых зарисовок (что было характерно для романтиков) и, наконец, к попыткам осмысления быта как характерообразующего фактора (такой подход знаменовал зарождение художественных принципов, утверждение которых вело к становлению реализма). В прозе Сомова явственно проявляются признаки двух последних из упомянутых форм бытописания.

В 30-е годы Сомов создает ряд произведений на основе собственных наблюдений над жизнью современников. Это повести «Сватовство», «Матушка и сынок», «Роман в двух письмах», «Эпиграф вместо названия» и др. Писатель подходит к проблеме человек и общество, которая в тот период уже становилась одной из важнейших в литературе.

В повестях о буднях мелкопоместных дворян, канцеляристов, попovichей бытовая сторона жизни являлась средством не только описания, но и объяснения особенностей нравов.

Повести Сомова о жизни представителей разных слоев современного ему общества нельзя безоговорочно отнести ни к одной из условно обозначенных жанровых разновидностей повести — ни к бытовой, ни к нравоописательной. Быт в его произведениях не был ни самоцелью, ни социальным фоном в описании нравов. Изображение условий жизни человека было подчинено раскрытию его внутреннего мира. Писатель обращается к обыденным явлениям повседневно-

сти с целью проникнуть в сущность характеров, формирующихся в определенной общественной среде. В рассказе «Пленный турок» он показывает, как изменяется человек в зависимости от условий, от среды, в которой живет.

Жизнь недалекого, но доброго несчастного человека, утратившего надежды и желания, проходит перед читателем в колоритных зарисовках провинциального быта духовенства и мелкопоместного дворянства в повести «Сватовство». Читатель убеждается, что жизненный опыт, потери и разочарования наложили заметный отпечаток на характер и отношение к окружающим Демида Сластены. Чертами реалистического бытописания отличается «Роман в двух письмах», «Матушка и сынок». В плавном течении будней раскрываются особенности живо обрисованных характеров людей разных социальных сословий, возрастов и положений.

В повести «Матушка и сынок» в характерах Терентия Ивановича и Маргариты Саввишны Вышеглядых, в их образе жизни, в нравственных и этических понятиях отражены характерные общественные явления того времени: и обычай нечестным путем наживать состояние, обеспечивающее безбедное существование, и дремучее невежество, которое маскируется знанием нескольких французских фраз, и стремление во что бы то ни стало воспитывать детей с помощью иностранцев, даже если они вовсе безграмотны и необразованны. Многими образами и ситуациями повесть Сомова перекликается с повестью Погорельского «Монастырка», в которой тоже изображен быт провинциального украинского панства, и с «Капитанской дочкой» Пушкина.

Проза Сомова на всех этапах его творчества была живым откликом на самые острые потребности литературного развития начала XIX века. Он обратился к прозаическим жанрам в тот период, когда русская проза была, по словам А. С. Пушкина, еще «детской», а повести в России были «в диковинку».

То обстоятельство, что О. Сомов творчески использовал фольклорно-этнографические материалы, руководствуясь выработанной им эстетической концепцией, ставило его в ряд писателей, творчество которых способствовало развитию национальной самобытности и народности литературы. Сыграв определенную роль в становлении романтической прозы и придя к убеждению, что возможности романтической поэтики исчерпаны, он ищет новые возможности развития прозы на пути к углубленному психологическому анализу. О. Сомов сумел только подойти к этому, но именно в таком направлении развивалась русская проза последующих десятилетий.

Проза О. Сомова сыграла значительную роль в подготовке условий дальнейшего развития русской литературы. Одной из заслуг писателя было широкое введение в русскую литературу периода развития

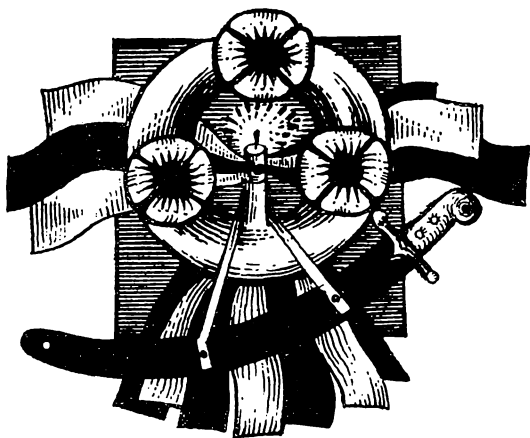
романтизма украинской темы, картин украинской жизни, национального характера, быта. Это способствовало творческим успехам Н. В. Гоголя и открывало новые пути литературного развития. Вместе с другими писателями-прозаиками О. Сомов приближал то время, о котором Белинский писал, что «вся наша литература превратилась в роман и повесть»<sup>1</sup>, и подчеркивал, что причина этого не во вкусах отдельных художников, а в духе времени.

*Зинаида Кирилюк*

---

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч.— Т. 1.— М., 1953.— С. 261.





Юлия  
и  
Невинная



# ГАЙДАМАК

*Малороссийская быль*

## ГЛАВА I

Так, вічної пам'яті, бувало  
У нас в Гетьманщині колись...

*Котляревский*

Была осень; частые дожди растворили малороссийский чернозем; глубокая и вязкая грязь превращала в топкие болота улицы и проселочные дороги. В это время в Королевце собиралась Воздвиженская ярманка. По грязным улицам небольшого и худо обстроенного поветового городка тянулись длинные обозы; чумаки с батоном на плече шли медленным шагом подле волов своих, которые с терпеливою покорностью тянули ярмом тяжелые возы. Русские извозчики без пощады погоняли усталых лошадей, суетились около телег, навьюченных московскими товарами, кричали и ссорились. В *ятках*<sup>1</sup> на площади толпились веселые казаки в красных и синих жупанах и те беззаботные головы, кои, уставши чумаковать, пришли к ярманке на родину попить и погулять; одни громко рассуждали о старой Гетьманщине, другие толковали про дальние свои чумакованья на Дон за рыбою и в Крым за солью. Крик торговок и *крамарей*<sup>2</sup>, жида с цимбалами и скрыпками; цыгане с своими песнями, плясками и звонкими ворганями, слепцы-бандуристы с протяжными их напевами — везде шум и движение, везде или отголоски непритворной радости, или звуки поддельного веселья. Огромные груды арбузов, дынь, яблок и других плодов, коими небо благословило Малороссию и Украину; лежа рядами на подстилках по обе стороны площади, манили взор и вкус и свидетельствовали о плодородии края.

Посреди площади собралась толпа народа. Молодой чумаки в синем жупане тонкого сукна, в казачьей шапке с красным верхом, лихо заломанной на голове, с алым шелковым платком на шее, распущенными по груди длинными концами, и в красных сафьянных чеботах шел, приплясывая и припевая, вел за собою музыкантов и ватагу весельчаков и сыпал деньгами в народ. Чтобы показать свое удалство и богатырство, он то расталкивал ногою плоды у торговок, то бил

нарочно стеклянную посуду в ятках — и платил за все вдесятеро. Все: купцы, жидаы, цыгане, бандуристы и нищие обступили его; каждый или предлагал свои услуги, или без всяких услуг просил чего-нибудь, и каждый получал или награду, или подаяние. Большой круг составиля около молодца: всяк ему дивился и хвалил его; женщины в этом случае были не последние. «Какой завзятый чумак! какой лихой парень! какой статный и пригожий мужчина! какой богатый и тороватый!» — раздавалось отовсюду.

Поодаль человек среднего роста, в простой чумацкой свите с *видлогою*<sup>3</sup> стоял, опершись на *батог*<sup>4</sup>, и, насвистывая в пальцы, внимательно смотрел на молодого безумца. Вид этого человека с первого взгляда не обращал на себя внимания, но, всмотревшись пристальнее, не скоро можно было отвести от него глаза. Он стоял без шапки, которую сронил в толпе. Длинный *оселедец*<sup>5</sup> спускался с бритой его головы и закручивался около уха. Смуглое лицо, правильные черты, орлиный нос, нагибавшийся над черными усами, и быстрые, пронизательные глаза обличали в нем ум, сметливость и хитрость, а широкие плечи и грудь, крепкие, жилистые руки и богатырское сложение тела ясно говорили о необыкновенной его силе. В движениях и поступках его, даже в самом спокойном положении, видны были решительность и смелость. Ему казалось от роду не более сорока лет, но или сильные страсти, или заботы поборождали уже чело его морщинами. Он выжидал, пока роскошный молодой чумак, обходивший в это время круг, с ним поравняется. «Здорово, Лесько», — сказал он гуляке, когда наконец тот подошел к нему. «Ба! это ты, Кирьяк? давно, от самой Умани, я с тобою не видался. Здорово, приятель, здорово!» — «Ну, как поживаешь?» — «Как видишь: бью в свою голову, пью да гуляю». — «А волю?» — «Всех распродал! Отец отпустил со мною тридцать пар — остался налицо вот этот батог». — «Хорошо же ты отцу припрочиваешь на старость!» — «А, что будет, то будет! Живу, пока звенит в кармане, а перестанет звенеть — тогда или под красную шапку, или в удалую шайку». — «Дело вздумал! то есть: и в том, и в другом случае будешь спиною отвечать за голову...» Это истолкование рассмешило стеснившуюся

вкруг них толпу, и молодой чумак, не находя лучшего ответа, сам рассмеялся.

«А ты, Кирьяк Максимович,— сказал он после короткого молчания своему знакомцу,— каково чумакуешь? человек ты осторожный, даром копейки не роняешь; я видел тебя в Умани на пятидесяти парах, и ты привез туда бог весть сколько московских товаров! С тобою были лихие купчики: также любили потешиться, как и я грешный!» — «Я и теперь с ними приехал; да переморил своих бедных волов по этой слякоти и даю им отдых. Добрый человек и скотов милует, говорит святое писание». — «Знаю, что ты человек письменный; где же теперь пристал?» — «Я оставил свой табор по Путивльской дороге, над Эсманью, а сам пришел сюда принанять молодцов; мои почти все разбрелись». — «Если тебе надобно лихого погонщика, так возьми меня; батог мой исправен... *Гей, цоб!*» — прикрикнул он, ловко помахивая ременным батогом своим. «Я добрых людей не чурюсь,— отвечал Кирьяк,— хочешь, так сейчас к делу; зайдем ко мне на постоялый двор, а там и к табору». — «Спасибо, что так стоворчив, Кирьяк Максимович! спасибо, что ты не таков, как те седые чубы, которые бранят нас, молодых парней, за шалости и не верят, если раз замотаемся... Прощайте, приятели! вот вам на раставанье». — Тут Лесько метнул в народ последнюю горсть мелкой монеты; все бросились подбирать — и когда оглянулись, то уж обоих чумаков как не бывало.

## ГЛАВА II

То пан Хмельницький добре учинив,  
Польщу засмутив,  
Волощину побідив,  
Гетьманщину взвеселив.

*Старинная малороссийская  
песня*

В конце городка стоял маленький полуразвалившийся домишка; в нем приставали приезжавшие на ярманку евреи, которые почти всегда под ветхою кровлею прячут от любопытных и завистливых глаз накопленные ими богатства и часто всякими неправдами добытые драгоценности. Еврей Абрам, заперши двери засо-

вом и наглухо закрыв ставнями окна, отбивал доньшки у маленьких бочонков, вынимал из них дорогие жемчуги, перстни, серьги и другие золотые вещи, осыпанные блестящими камнями, и раскладывал их по ящикам, готовя к ярманке на продажу. Он беспрестанно прислушивался, озирался и при малейшем шуме снаружи бледнел, как Каин.

Вдруг кто-то дважды стукнул в дверь. Абрам вздрогнул, но, вспомня, что это условный знак товарища, накинул про всякий случай толстое полотно на стол, на котором отбирал вещи, и отнял дверной засов.

— Горе и страх сынам Иуды! — вскрикнул, всплеснув руками, вошедший жид, между тем как товарищ его снова запирает дверь, — горе и страх: я видел его...

— Кого? — торопливо спросил Абрам.

— Его, гайдамака Гаркушу! — отвечал Гершко печальным голосом. — Ты его знаешь, он не посмотрит на город и людство; налетит на нас, как Сеннахерим, заберет и свое, и наше.

— Я говорил тебе: не водись с этим проклятым моавитом! долго ли до беды.

— Знал ли, ждал ли я, когда он на Волыни отдавал мне для продажи пограбленные им вещи, что через три луны увижу его здесь в Малороссии? Ах! эти большие серебряные стопы, эти богатые золотые цепи, эти яркие дорогие перстни пана Манивельского! сгубят они нас!

— Опомнись, разве ты не еврей? Бог отнял у нас силу и смелость, а мы поневоле взялись за хитрость и пронырство. Придумаем, как бы спастись от когтей сего месопотамского коршуна. Но где и как ты его встретил?

— Я бродил в толпе этих назареев и высматривал, не удастся ли чего повыгоднее купить или продать. Вкруг одного погибшего сына стеною стеснился народ, и всякий подбирал серебро, расточаемое безумцем. Я также думал пробраться к нему, хотя ползком... Взглянул и вижу в толпе услужника Велиалова. Тогда я притаился за народом, и когда он увел с собою молодого чумака, я шел за ним издали; припав за забором, сторожил его выход из постоянного двора и видел, по какой дороге они вдвоем отправились.

— Послушай; нам надобно обсудить, как бы и свое спасти, и чужого не выпустить из рук. Благодаря на-

шим братьям, которые повсюду рассеялись и везде ведут торги, если чего не посмеем выказать здесь, то Польша и немецкая земля велики: там будет простор и нажитому, и добытому.

— Правда, правда! только как теперь избавиться от гайдамака?

— Знаешь ли ты здешнего поветового судью?

— Пана Ладовича? как не знать; добрый пан, честный пан! В нем только три худа: что не слишком жалует евреев, что ему ничего не продашь, а его ничем не подкупишь.

— Зато у него и своим не лучше наших, когда у них руки или совесть не чисты. Слушай же: ступай к нему, расскажи про гайдамака все, что знаешь, укажи дорогу, по которой он пустился,— и после спокойно переплавляй в слитки золото и серебро и сбывай алмазы и яхонты пана Манивельского.

— Рабби Рувим! ты умный человек, Абрам. Так к делу, не теряя времени. Сейчас иду к поветовому судье.

— Не забудь только взять серебряных ключей: не для него, он ничего не возьмет, а для челяди, которая всегда и везде жадна, как наши праотцы в пустыне.

Гершко пошел скорым еврейским шагом к дому поветового судьи, согнув шею, заложа обе руки в карманы и бросая вокруг себя недоверчивые, испытующие взгляды.

На крыльце судейского дома встретил его молодой цыган, живший у пана Ладовича для услуг, а больше для забавы. Он был одет казачком; на шее у него висел на широкой ленте торбан, на котором он обязан был играть перед гостями и веселить их своею пляскою и пеньем. Не по летам он был высок и статен; живое и выразительное лицо его, на которое падали черные самородные кудри, могло бы назваться прекрасным, если б излишняя смуглость не затмевала его пригожества; под широкими сросшимися бровями прыгали быстрые, огненные глаза; во всех его движениях заметны были ловкость, проворство и лукавство.

— Здравствуй, Жале,— сказал ему Гершко, подойдя к крыльцу.

— Здравствуй, *свиное ушко!* — отвечал цыганенок.

— Как поживаешь, Жале? — продолжал льстивый еврей.

— Хорошо, твоими молитвами: скачу, пою и щиплю твою братью жидков, когда попадутся. Ты какво проживаешь? все ли по-прежнему обманываешь простаков и копишь золото?

— По-прежнему,— отвечал жид с притворным простосердием и как бы не вслушавшись.— Пожалуйста, Жале, доложи обо мне пану поветовому судье...

— Ему не до тебя, у него теперь гости.

— Крайне важное дело, не терпящее отсрочки...

— Верно, векселя, которым минули сроки, или покупатель, не заплативший денег?

— Что тебе до этого; твое дело доложить.

— Так потерпи ж, пока пану будет время. Постой здесь: вы привыкли стоять без шапок на дворе во всякую погоду, а теперь еще не зима.

Сколько жид не упрасивал, но цыганенок только вертелся вокруг его, дразнил, подергивал за длинные рыжие пейсики и за полы платья и делал ему разные проказы.

— Душа моя, Жале! перестань и пойди докладывать; я не даром прошу тебя...

Тут еврей со вздохом вынул из-под полы небольшой изношенный кошелек и начал дрожащею рукою вытаскивать одну по одной мелкие серебряные монеты, как будто боясь обсчитаться. Но резвый цыган не дал ему кончить: подбежал, подставил руку и, вытряхнув в нее все деньги из кошелька, пустился от жида во всю прыть.

— Стой, я закричу гвалт, наделаю шуму, стану стучаться в двери! пан судья не даст меня в обиду.

— А если я доложу ему о тебе, будут ли эти деньги мои?

— Твои, твои! только скорее.

Цыганенок опрометью бросился на крыльцо, вошел в комнаты и через несколько минут вышел сказать жиду, что судья его ожидает.

— Что тебе надобно, еврей? — сказал пан Ладович, когда жид кончил низкие, почти земные поклоны.

— Ваша ясновельможность! я имею вам донести о важной тайне,— отвечал жид, оглядываясь на стоящего тут цыганенка.

— Так ступай за мною,— сказал судья, ввел его в небольшую боковую комнату и притворил дверь.

Цыганенок, по свойственному летам и породе его

любопытству, а может быть, по каким-либо догадкам, приставил к двери внимательное ухо, навывшее слышать издалека, и не отходил прочь, пока не кончился разговор. Тогда он на цыпочках отошел и стал на прежнее место.

Судья пошел к гостям своим, а жид отправился домой, отвесив снова несколько поклонов. Цыганенок выбежал за ним на улицу.

— Послушай, Гершко! ты купил меня своим подарком, и я хочу тебе отплатить по-приятельски. Там, над Эсманью, остановились обозом знакомые мне купцы; они дешево продают разные шелковые товары и другие вещи: видно, провезли их по-твоему — без пошлины. Я давно уже хотел удружить доброму человеку: благо, что ты мне первый попался.

— Спасибо, спасибо за приязнь! А как их отыскать?

— Не мудрено: они стали над яром вправо от большой дороги, под леском. Только поспеши, чтоб они всего не распродали; они для того и в город не въезжают, что хотят сбыть с рук все лишнее.

— Сегодня же, хоть и поздно, отправлюсь туда... Прощай!

Жид пошел скорыми шагами, а цыганенок лукаво покачал вслед ему головою, посмотрел во все стороны, прокрался в боковой переулок и подал знак свистом.

На свист его выказался из-за забора высокий и сухой цыган свирепого вида. «Зачем зовешь меня?» — сказал он отрывистым голосом.

— Понура! не тратя ни минуты, — на коня и скачи в табор гайдамаков; скажи там, что жид Гершко донес поветовому судье о Гаркуше и дал его приметы; что сейчас пошлетя за ним погоня; скажи, что я спровадил Гершка к ним в табор за товарами; пусть сладят с ним, как знают. Оттуда опрореметью ступай по следам Гаркуши и дай ему осторогу...

— Славно! ты добрый малый, не выдаешь своих. Мы недаром тебя продали пану Ладовичу...

— Тс! слышится шум... Прокрадься отсюда, хоть на четвереньках — и давай бог ноги! — С этими словами молодой цыган исчез.

Он вошел в светлицу, или гостиную комнату, судьи как такое лицо в доме, которому за его дар увеселять многое было позволено и которое позволяло себе еще больше.

В гостиной было тогда очень шумно. Гайдамак и его дерзкое появление сделались предметом общего разговора. Судья, подсудок, подкоморий и возный, уже разославшие гонцов по разным дорогам для задержания Гаркуши,— теперь, отошедши в сторону, совещались о мерах, которые должно было принять для безопасности города и повета от набега бесстрашной шайки удальцов. Прочие гости все толковали разное, и все об одном.

— Давно не было вести о гайдамаке,— говорил отставной сотник Ченович,— слух о нем было призамок, с тех пор как он за Лубнами ограбил богатого и скупого пана Нехворошу и наделил одного бедного казака <sup>6</sup>...

— Извините,— прервал его речь войсковой писарь Потяга,— давно ли все жужжали, что Гаркуша на Украине обобрал до нитки тучную ростовщицу Цвинтаревичку и вдобавок сделал ей сильное поучение нагайками за то, что она прогнала из дому простака своего мужа?

— Это жужжало только у вас в ушах, господин войсковой писарь,— отвечал ему Ченович,— носился слух, что гайдамак ушел после за Киев...

Спор загорелся; колкости с обеих сторон посыпались градом, и, как водится в больших собраниях, одни поджигали спорщиков, другие принимали их сторону, все шумели. Но миролюбивый хозяин, предвидя неприятный конец спора, заклил бурю: он ввел в гостиную слепца-бандуриста, давно уже в передней ожидавшего, когда его позовут, и вежливо пригласил гостей своих послушать веселых дедовских песен и стародавних былей.

Безыскусственная игра на многострунной бандуре и звучный, полный, хотя необработанный голос слепого певца, попеременно унывные и веселые напевы малороссийских песен нравились неизбалованному слуху земляков его, страстных к музыке, одаренных верным ухом и впивающих с чистым воздухом родины способность и склонность к пению. Вдруг вещий слепец переменил строй: пальцы его медленно и торжественно перебежали по звонким струнам бандуры; и он молчал еще, но внимание всех было приготовлено; жадный слух ловил уже в знакомых звуках близкие сердцу напевы и предугадывал смысл самой песни <sup>7</sup>.



Несколько минут он молча прелюдировал; наконец запел, или лучше, заговорил по музыке следующие слова:

З низу Дніпра тихий вітер віє, повіває;  
Військо козацьке в похід виступає:  
Тільки бог святий знає,  
Що Хмельницький думає, гадає.  
О тім не знали ні сотники,  
Ні атамани куріннії, ні полковники;  
Тільки бог святий знає,  
Що Хмельницький думає, гадає!

Певец повествовал о быстром набеге гетмана Хмельницкого на союзную Польше Молдавию, о страхе и жалобах ее господаря Василия Лупулы, о робком бегстве ляхов из Сочавы и заключил песнь свою обращением к славе Гетманщины <sup>8</sup>:

В той час була честь, слава,  
Військова справа!  
Сама себе на сміх не давала,  
Неприятеля під ноги топтала.

Громкие знаки одобрения и восторга раздались по светлице. Между ними прорывались и вздохи на память старой Гетманщине, временам Хмельницкого, временам истинно героическим, когда развившаяся жизнь народа была в полном соку своем, когда закаленные в боях и взрослые на ратном поле казаки бодро и весело бились с многочисленными и разноплеменными врагами, и всех их победили; когда Малороссия почувствовала сладость свободы и самобытности народной и сбросила с себя иго вероломного утеснителя, обещающего ей равенство прав, но тяжким опытом доказавшего, что *горе покоренным!*

### ГЛАВА III

...Усі звізди потьмарило,  
Половину ясності місяця заступило;  
З чорної хмари  
Буйнії вітри вставали.

*Старинная малороссийская песня*

Дул сильный холодный ветер; дождливые облака разносились по небосклону; луна то выплывала из-за туч, то пряталась за мрачными их грядями. В это время жид Гершко шел одинок по дороге; он часто останав-

ливался, вслушивался в вой ветра и шелест желтых осенних листьев, падавших на землю и крутившихся вихрем по дороге; робея при малейшем шорохе, он готов был затаиться в глуши. Но так сильна была в еврее страсть к прибытку, что он пошел бы на явную опасность, если бы знал, что, избегнув ее, получит барыш. Из бережливости или по благоразумию Гершко надел самое ветхое платье и по тому же благоразумию взял с собою денег очень немного, в надежде, что, сторговавшись с купцами за товар и дав им задаток, уговорит их принять остальную плату в условленном месте.

В таборе его ждали. Шайка кочевала при дуброве, в месте пустынном, над глубоким, крутым оврагом, примыкавшим к самому берегу Эсмани. Гайдамаки, отогнав волов на пастбище, сделали из возов своих род стана или каре и обвешали их непроницаемыми для взора полстями, чтобы любопытному прохожему не видно было, что делается внутри табора. Чтоб еще более отклонить подозрения, часть гайдамаков была одета чумаками, другая русскими купцами, у которых будто бы первые нанялись везти товары на ярманку. Сторожевые стояли повсюду: по дороге, над оврагом, по берегу Эсмани и по опушке леса. Внутри табора гайдамаки поделились на кружки: одни старались в вине затопить воспоминание грозившей им и атаману их опасности, другие, самые беззаботные, курили табак и играли в кости и карты; но самые заботливые рассуждали, как избыть беды и спасти атамана. Кони их были уже готовы в ближнем лесу, табором они не дорожили: тем, что было навьючено на конях, могли бы они скупить все чумацкие обозы в Малороссии.

— Вот вам честный еврей, который спрашивал у меня русских купцов над Эсманью, — сказал гайдамак, стороживший на большой дороге, ведя за собою Гершка, который кланялся, сложа руки на грудь и бросая недоверчивые взгляды.

Как рой шмелей, гайдамаки сыпнули к нему со всех сторон.

— Узнаешь ли меня, земляк? — сказал ему выкрест<sup>9</sup> Лемет, — я хочу на тебе доказать благодарность свою тебе и всему бердичевскому еврейскому обществу. По милости вашей — я крестился, и по вашей же милости, бедный Лейба теперь в честной компании.

— Святые праотцы! — вскричал несчастный Гершко, предвидя участь, его ожидавшую, и разгадав, в какие сети завлек его коварный цыганенок.

— Не до праотцев, а до нашего отца атамана! — закричали ему многие голоса. — Сказывай, злодей, что с ним сделалось?

— Что хотите, честные господа! хоть замучьте меня — не знаю.

— Запираться не время: мы сами не меньше тебя знаем, что ты продал Гаркушу поветовому начальству, что за ним разосланы поиски. Если ты не знаешь, где он теперь, то для тебя ж хуже.

— Как бог свят, не знаю.

— Ну, делать нечего, товарищи, — сказал гайдамак Несувид, занимавший должность атамана в его отсутствие, — приговаривайте, какую казнь положить ему за измену.

— Прежде всего, — подхватил Лемет, — поджарить его, как тарань, на тихом огне и допросить, где он упрятал дорогие вещи, данные ему атаманом на продажу.

— Досуг толковать о такой безделице, когда дело идет о жизни Гаркуши! видно, ты и теперь еще такой же жид: у тебя все для золота... Товарищи! к голосам.

— Повесить его на осине: на ней и брат его Иуда повесился, — сказал один гайдамак.

— Отдайте его мне, — перебил цыган Паливода, — я расплющу его молотом на наковальне глаже, чем он расплющивал медные кружки для фальшивых червонцев.

Злобный смех раздался по всей шайке; бедный Гершко был ни жив, ни мертв: холодный пот проступал по всему его телу; все члены были в судорожной лихорадке.

— Не лучше ли, — подал свой голос гайдамак Товпега, — кончить с ним без затей: Эсмась близко, жернов у нас есть... Пустим его греться по месяцу<sup>10</sup>.

Предложение принято, жернов прикачен и крепкою веревкою привязан к шее несчастного жида; его потащили к берегу и покатали за ним жернов. Тогда, вдруг вышед из бесчувствия и видя, что ни просьбы, ни слезы не помогут и не смягчат злодеев, закричал он жалким, пронзительным голосом, раздиравшим душу

и возвещавшим последнее, отчаянное усилие существа, расстающегося с жизнью.

Ветер разносил вопли еврея. Луна вышла из-за облак и в полном сиянии катилась по темно-синей тверди. В это время старец Питирим, инок П\*\*\*ского монастыря, ходивший навещать больного в одном отдаленном хуторе, возвращался береговою тропинкою в смиренную свою обитель. Голос погибающего человека проник ему в сердце, и он поспешил на помощь, забыв свою старость и слабосилие, забыв, что сам может сделаться жертвою христианского сострадания. Он увидел свирепые лица и зверскую радость гайдамаков, увидел жалкого иноверца — и ревность к добру прида-ла ему крылья.

— Стой! — закричали разбойники, — руку на нож!

Но старец Питирим не робко подошел к ним, и гайдамаки, из невольного уважения к его сану и летам, остановились. Тогда инок начал свое увещание, представил им всю важность преступления и гнев небесный, постигающий убийц.

— Безумцы! — заключил он речь свою. — Кто дал вам право разрушать превосходнейший дар божества — жизнь человеческую? Кто дал вам право быть судьями чужих поступков, когда карающий меч правосудия висит уже над преступными вашими головами, и муки ада, стократ лютейшие всех терзаний телесных, ждут вас после бесчестной смерти от руки палача?..

Гайдамаки, в которых вдохновенное красноречие старца минутно пробудило совесть, поникли головами, не смели поднять на него глаз, и, опустя руки, стояли в нерешимости. Бедный Гершко, чувствуя, что его не держат, упал к ногам монаха, обнимал его колена, стирал лицом пыль с его ног и заклинал спасти ему жизнь.

— Я сделаюсь христианином, — говорил он с плачем, — отдам на ваш монастырь все... все, что имею, очень немного: несколько серебряных монет...

Инок, не могши победить внутреннего презрения к человеку, в котором корыстные склонности пересиливали даже мысль о самосохранении, невольно отвратил от него лицо свое.

— Честный отец! иди своею дорогой, — сказал тогда суровый Несувид. — Мы знаем, на что решились — знаем, к чему осуждаемся на том и на этом свете. Но

если б одним волосом сего негодяя могли искупить свою жизнь или души, то и тогда б не миновать ему петли и песчаного дна эсманского... Товарищи! дружной за работу.

Монах вздрогнул от слов закоснелого злодея. Между тем одни из гайдамаков принялись раскачивать жиды, другие жернов, чтоб лучше и дале бросить их от берега. Отчаянный вой несчастливца перерывался быстротою и силою качки. Монах стоял, как в онемении, возведя глаза и воздев руки к небу. Крик бедной жертвы мщения терзал его душу; и вдруг крик умолк — вода расплеснулась и скрыла свою добычу.

#### ГЛАВА IV

На конях їхали чинненько,  
З любок тютюн тягли смачненько,  
А хто на конику куняв.

*Котляревский*

Утро было ясно и свежо. Рассыльные казаки и понятые ехали по Глуховской дороге от Путивля и везли в середине человека, у которого руки и ноги были связаны. Казалось, однако ж, что бодрость и надежда не совсем его покинули; он весело разговаривал с окружающими, шутил с ними, рассказывал быльи и небылицы и приковывал жадное их внимание умным и живым своим разговором.

«Молодец! весельчак! нечего сказать: скручен, как теленок, которого везут на убой, а все не унывает!» — «Мне все не верится, чтоб это был Гаркуша; посмотри: человек как человек, нет семи пядей во лбу!» Так разговаривали двое из понятых, ехавшие позади. «Да как его поймали?» — продолжал последний.

— На всякого мудреца много простоты. Вот видишь, у него было похоронище, в глухом месте, над Сеймом, близ Клепала; там он прятал награбленные им богатства. Вчерась, когда удалый королевецкий рассыльный казак Моторный следил за ним с четырьмя своими товарищами, заметили они, что гайдамак пробирается к тому месту. Они видели, как он сошел с коня, и сами, оставя лошадей за ивняком, почти ползком прокрались к кустарнику, за которым Гаркуша, отыскав заступ,

начал разрывать землю. Вдруг они на него бросились и, не дав опомниться, свалили с ног, связали ему руки и ноги, завязали рот, прикрутили молодца к седлу его же коня и вскачь пустились с ним к селению за понятыми. Остальное ты знаешь.

Конвой между тем приближался к Клевенскому перевозу. Сквозь просеки приятной рощицы видны были вдаль, на высоком прелестном месте, большой помещичий дом и купол церкви села В\*\*\*на; внизу текла излучинами быстрая Клевень, сливающая воды свои с Эсманью; по долине, за тундрами и сагами<sup>11</sup>, мелькали купы дерев, хутора и мельницы. Узник, казалось, любовался видами и любопытно расспрашивал о всем своих проводников; в таких разговорах подъехали они к перевозу.

Паром был уже готов. Казаки и понятые взвели на него гайдамака, поставили усталых коней своих к одной стороне и столпились вокруг пленника. Только ретивый конь Гаркуши, не зная устал, бил от нетерпения в доски копытами и, казалось, хотел пуститься вплавь к другому берегу. К нему приставили одного из понятых и велели крепко держать за повод.

Гайдамак окинул беглым взором своих спутников; потом, устремя глаза на крутые горы противоположного берега Клевени, сказал:

— Кажется, там, за этими горами, влево есть селение над Эсманью... Не могу вспомнить его имени. Покойный дед мой был родом из здешней стороны и часто рассказывал нам, ребятам, страшную быль об этом селении.

— Какую? — спросили в один голос вожатые, увлеченные любопытством и уже прежде заохоченные кусными его рассказами.

— Хорошо вам, друзья, слушать на свободе! у меня гортань пересохла от жажды, а руки и ноги затекли кровью от ваших веревок.

— В самом деле, братцы, к чему его мучить без нужды? Паром теперь отчалил, нас здесь человек сорок, уйти ему нельзя. Развяжем ему руки и ноги, пока на середине реки; а начнем приставать к берегу, тогда пусть не погневаётся, опять опутаем молодца по-прежнему.

Так говорил один казак, и товарищи охотно его послушались. В наружности и речах Гаркуши было

нечто такое, что вожатые, при всем убеждении в его преступлениях, почувствовали к нему невольное добротство. Они совершенно потеряли суеверный страх, который на малороссиян наводило одно его имя.

Руки и ноги гайдамака уже свободны; ему поднесли полную кружку вина, которую он выпил «за здоровье братьев земляков». Тогда все приступили к нему, прося рассказать страшную быль, и он начал:

— Давно, не за нашею памятью, селение, о котором я говорил, было за другими панамы. Один из них был человек чудной: не ходил в церковь божию, чуждался людей, считал звезды ночью, собирал росу на заре и папоротниковый цвет под Иванов день. Никто не знал, какою смертью он умер и где погребен; только видели, что в ту ночь, как его не стало, огненный клуб прокатился над селением и рассыпался искрами над сымым домом панским. Дом сгорел дотла, а с ним и всё, что в нем было. Вот, спустя малое время, начали делаться дела небывалые и неслыханные. Каждый день, и в самую полуденную пору, при ясной погоде, вдруг набегут облака и застелют солнце, подымется пыль столбом по дороге, и сквозь пыль видали те, кого бог не миловал от такого виденья, что *старый пан* (так его называли) вихрем пронесется по селу в старинном *рыгване*<sup>12</sup>, шестеркою черных как смоль коней, которые, пенясь, и сарпая, и бросая искры из глаз, на четверть не дотрогивались до земли. Кучера и лакеи сидели на своих местах, как окаменелые, в белых саванах, с бледными лицами, со впалыми глазами,—словно теперь только вырыты из могил. В один день...

В эту минуту паром приставал к берегу; некоторые из провожатых сидели на помосте с полурастворенными ртами и жадно ловили каждое слово; у одних волос становился дыбом, у других лица вытягивались от ужаса; державший коня гайдамакова опустил руку с поводом и стоял как вкопанный. Вдруг Гаркуша одним прыжком через сидевших выскочил из круга, столкнул в воду оплошного надзирателя за конем, впрыгнул в стремени, перескочил расстояние, отделявшее паром от пристани, и стрелою полетел на крутизну. На самом гребне придержал он коня, махнул шапку своим сторожам, и, вскрикнув: «Спасибо, земляки, за ласку!» — исчез за склоном горы.

— Человек это или бес? — рассуждали провожатые,

опустя головы и еще не опомнившись от столь внезапного побега.— Разве мы не знали, что он водится с нечистою силою! как он нас обморочил...

Долго стояли они на пароме, не зная, что начать, и не смея взглянуть друг на друга.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Шалаши, где производится на ярманках в Малороссии продажа хлебного вина.

<sup>2</sup> Купцы, продающие враздроб красный товар.

<sup>3</sup> *Свита* — род армяка из домашнего сукна, обыкновенное платье простого народа в Малороссии; *видлога* — мешок с вырезкой из того ж сукна, пришиваемый к спине и накидывающийся на голову в дождь или дурную погоду.

<sup>4</sup> Особый бич, или плеть, на длинной палке, чем малороссийские чумаки погоняют волов своих.

<sup>5</sup> Чумаки, отправляясь в дорогу, бреют себе голову, чтобы пыль не набивалась в волосы. Иногда оставляют они, подобно казакам старой Сечи, узкий и длинный клочок волос на теме и завивают его за ухо. Этот клочок называется *оселедцем*.

<sup>6</sup> Казаками в Малороссии называются и теперь все казенные крестьяне. В Слободско-Украинской губернии носят они имя казенных обывателей.

<sup>7</sup> Музыка старинных, так называемых бандурных малороссийских песен идет аккомпанементом, самые песни поются речитативом. Их начинают прелюдией, или интродукцией, на бандуре.

<sup>8</sup> Малороссия, управляющаяся тогда гетманами, называлась от жителей Гетманщиною.

<sup>9</sup> Имя, которое в Украине дают крестившимся евреям.

<sup>10</sup> Народное поверье в Малороссии, что утопленники выходят в лунные ночи из воды и греются на лучах луны. Отсего луна в Малороссии называется у суеверных поселян — *солнцем утопленников*.

<sup>11</sup> *Сага* — малороссийское слово, означающее залив реки.

<sup>12</sup> Так малороссияне называют карету, или старинный берлин.



# ГАЙДАМАК

Главы из малороссийской повести

## ГЛАВА I

Скачи, враже, як пан каже.  
*Малороссийская пословица*

Лет за пятьдесят Малороссия была странною поэтической. Хотя жизнь и занятия мирных ее жителей были самые прозаические, как вы узнаете, милостивые государи, из моих рассказов, если станет у вас терпения; зато вековые, непроходимые леса, пространные степи и худо возделанные поля, а в селах полуразвалившиеся хижины и заглохшие сором и крапивою улицы переносили изображение в веки первобытные, которые, как известно, составляют удел и собственность поэтов. Удел, мимоходом сказать, небогатый; и оттого-то мы встречаем питомцев Фебовых в изношенных и забрызганных чернилами платьях, а ищем — на чердаках. Но теперь речь не о них, а о жизни и занятиях малороссиян.

Простой народ пил, ел и дремал в роскошной лени зимою, зарывшись на печи в просо или овес, сушимые для домашнего обихода: Хотя он не мог похвалиться перед итальянцами климатом и красотами природы, но не уступал им ни в лени, ни в сладкоголосных своих песнях. Летом мужчины кое-как обрабатывали свои поля и убирали жатву, охотно ходили чумаковать, т. е. с обозами за рыбой и солью; зимою ж, если холод не выгонял их в лес за дровами, которых они никогда не заготавливали на целую зиму, если недостаток других жизненных потребностей не заставлял их отвозить на базар небольшой свой запас хлеба или крайняя бедность не запирала в дымной винокурне зажиточного заводчика; то они как будто держали заклад с медведями, кто кого переспит. Промежутки между сном проводили они в шинках, где, потчужа друг друга, за чаркою вина вспоминали старину и свои чумакованья. Женщины белили хаты свои к Рождеству и Великундю (празднику Пасхи), содержали в опрятности дом, варили вкусный борщ, ухаживали за домашнею скоти-

ной, а в зимние вечера при свете ночника пряли, рассказывая соседкам страшные были о ведьмах, мертвецах и русалках; но вообще в это время года были они гораздо досужливее и полезнее мужьев своих.

Девушки и молодые парни проводили время веселее и разнообразнее. Зимой они собирались вместе на при-манчивые *вечерницы*, и здесь-то малороссийские красавицы истощали все пособия сельского кокетства, привечали и часто обманывали доверчивых молодцов. Косы, заплетенные в *грибушки* или перевитые разноцветными *скиндячками*, радужная *плахта*, штофовый или парчевый корсет, едва состегивающийся под грудью *гаплицами*, белый суконный кунтуш, по фалдам коего, отделяющимся от ста́на, расшиты были черным шелком *усы*<sup>1</sup>, и сафьянные *чеботы* — составляли наряд щеголеватой малороссийской девушки. Черный цвет волос и бровей и живой румянец в щеках почитались непременными условиями красоты; посему с помощью зеркала и услужливой пробки или, за недостатком ее, — накопченной иглы светлого цвета брови часто превращались в лоснящиеся черные, а таящийся в бледных щеках румянец вызывался наружу щипким *надошником*<sup>2</sup> или осторожно заменялся настоенным в вине сандалом. Жупан или свита нараспашку, казачья шапка с красным суконным верхом, красные или желтые чеботы, иногда цветной шелковый платок, небрежно повязанный на шее, — таков был убор молодого малороссиянина до *танцу*. Музыка была не по найму: один из посетителей сего сельского клуба приносил гудок или *скрипицу*, балалайку, *сопелку*<sup>3</sup> или на чем был горазд и, наигрывая *дудочки*, *метелицу*, *горлицу* или *казачка*<sup>4</sup>, вливал огонь и быстроту в гибкие члены молодой толпы.

*Панки*, или мелкопоместные дворяне, жили почти так же. *Будинки*<sup>5</sup> сельского панка были не многочисленны светлицами; иногда тесовые или чисто выбеленные стены с божницею, с простою дедовскою утварью составляли все их украшение; иногда стены пестрели и удивляли глаза простодушных гостей теми самыми или подобными тем изображениями, какими Котляревский убрал палаты царя Латина в IV-й песни своей «Энеиды»<sup>6</sup>. Чай не всегда и не везде подносился гостям и часто заменялся варенухою<sup>7</sup>. Терновка, вишневка, дулевка, рябиновка и другие наливки на домашнем

хлебном вине, изредка вина сикийское, монастырское и волошское услаждали неразборчивый вкус так же, как позже вина венгерские, рейнские и французские.

Вот, в коротких словах, образ жизни тогдашних малороссиян. Панки отстали теперь от него: потчуют гостей чаем и вареньями, а панночки играют на фортепиано и танцуют экосезы; но простой народ все еще держится коренных обычаев. Не станем, однако ж, выходить из описываемой нами эпохи и взглянем на частные картины.

Воздвиженская ярмарка в Королевце приходила к концу; залетные гости, купцы московские, жидаы из Бердичева и Белой Церкви и пр. и пр. отправились искать на других ярмарках или неверных выгод, или неожиданных потерь. Королевцец стал пустеть, как наши поля и болота во время осеннего перелета птиц; только сентябрьская непогода, дожди и грязь основали постоянное свое пребывание в городке и окрестностях его до поздних заморозков. Пан Гриценко в это время праздновал именины своей дочери, прекрасной, милой и доброй Евфросинии, которую, по малороссийскому сокращению, все называли Присею. Пан Гриценко был богат, а Прися его единственная наследница: мудрено ли, что распутица не помешала любителям пламенных, черных глазок и охотникам до сытных блюд и вкусных наливок собраться у зажиточного соседа? Прелестная Прися должна была из своих рук подносить гостям наливки и варенуху, которую сама готовила; с милою, стыдливою улыбкою, с опущенными к полу ресницами и застенчивым поклоном говорила она каждому обычное приветствие: «На здоровье!» Таким образом, при звуке серебряных чарок и филижанок, в шуме речей и малороссийских песен, время летело, и короткий осенний день смешался с хмурым и туманным вечером. Многие из гостей встали и хотели уехать; пан Гриценко, по врожденному гостеприимству малороссиян, удерживал всех, наливал чару за чарой и просил посидеть.

— Нет, не погневайтесь! — говорил толстый подкоморий Кныш. — Дорога ко мне идет по косогору и у самого леса; волки ходят теперь стаями, и почему знать — может быть *гайдамак*...

— Полно, полно! — прервал речь его Гриценко.—

К чему пугать любезных моих гостей? и как сюда ждать гайдамака, и что ему здесь делать? Если кандалы не подкосили ему ноги и колодка не скрючила шею, то он верно теперь не ближе отсюда, как верст за пятьдесят, где-нибудь на Королевецкой дороге, поджидает богатого московского купчика с товарами или беломорского грека с винами. Вы знаете, что теперь развезжаются с ярмарки.

— А что в самом деле, не слышно ли чего о гайдамаке? — спросил один из гостей.

— Как? — подхватил словоохотливый подкоморий, считавшийся в своем кругу приятным рассказчиком и живою газетою всех новостей. — Неужели вы ничего не слышали о том, что случилось в Королевце? Ну так я вам расскажу. Племянник мой был там на ярмарке и привез мне самые точные и подробные известия. — При сих словах подкоморий посмотрел на все собрание с самодовольным и отчасти горделивым видом как человек, знающий то, чего другие не знают.

— Вот, милостивые государи, как было дело, — продолжал подкоморий. — Гайдамак вдруг явился среди бела дня на ярмарке, в толпе народа. Никто не смел его тронуть даже пальцем: самые отчаянные смельчаки боялись не столько его силы, сколько его бесовского художества и мороченья. Он похаживал как индейский петух, спесиво раздув хохол и поглядывая на боязливых: куда ни обернется — толпа народа так и отхлынет, как дым от ветра. Тут откуда-то выискался жид, который, как и весь их жидовский род, видно, знал чернокнижие не хуже Гаркуши. Он явился к поветовому судье и сказал ему наедине, посмотревши на звезды и на воду, где и как можно поймать гайдамака живым и без всякого сопротивления, ну словно, как мы ловим зайца тенетами. В полночь жидок с рассыльщиками и понятыми напал на гайдамака врасплох, когда тот спал под чистым небом в каком-то глухом месте, отговорил начерченный им около себя волшебный круг, услап за тридевять земель сторожившего над ним нечистого духа и выдал Гаркушу рассыльным казакам, которые тотчас его скрутили и повезли в Гл[ух]ов. Только ненадолго его взяли: при переправе через Клевень, на пароме, он вдруг околдовал своих конвойных: все они, человек сорок, не могли тронуться ни руками, ни ногами, хотя слышали, как вдруг

расплеснулась вода в Клевени, видели, как оттуда выскочил на паром черный конь с огненными глазами, как Гаркуша сел на него, взвился над рекою и берегом — и поминай как звали! Все это рассказывали они уже спустя шесть часов после этого случая, а до тех пор оставались окаменелыми на пароме и они и их лошади. С жидом было и того хуже: он вдруг исчез, так что не заметили, в воду ли канул, или в дым сотлел. Нечистая сила, видно, покарала своего прислужника за то, что он выдал ее любимца.

— Да, гайдамак ужасный чернокнижник: дунет на воду — и вода загорится, махнет рукою на лес — и лес приляжет, — сказала одна дородная гостья, и, конча речь, как заметно было, шептала молитву.

— И лихой удалец, — примолвил отставной хорунжий Черемша, — с дюжиною своей вольницы набегит на целый обоз, подвод во сто и более; не побоится ни ружей, ни рогатин, свистнет, гаркнет: «Ниц головами!»<sup>8</sup> — и все прилягут, пока он не очистит возы ото всего, что получше да подороже.

— Охота вам, господа! — еще раз перервал хозяин, — рассказывать такие незабавные новости? Вы и так уже напугали мою именинницу: смотрите, она сидит в углу и чуть не плачет.

И в самом деле Прися, в промежутках потчеванья гостей своих, сидела в углу, одна, вдали от всех, с поникшею головою. Лицо ее было печально, частые вздохи волновали высокую грудь ее; в кругленьких, полненьких щечках то вспыхивал яркий румянец, то вдруг сбегал с них и уступал место бледности. Не от ужасных рассказов тосковала милая девушка: нет! они ее не занимали, она их не слушала. Год назад она провела этот день с другом своего сердца, Демьяном Кветчинским, молодым, пригожим и ловким офицером одного гусарского полка. Кветчинский был сын одного соседнего дворянина; отец его был беден, но Демьян воспитал в Киеве и за четыре года пред тем из последнего снарядил его на службу царскую. Демьян служил с отличием, скоро произведен был в офицеры и за год до описываемого здесь времени приезжал в отпуск к отцу своему. Тут познакомился он с домом пана Гриценка, увидел Присю, влюбился в нее страстно, изъяснился ей в любви и получил взаимное признание

робкой девушки. Ободренный ее любовью, личными своими достоинствами и благословением отца своего послал он сватов к пану Гриценку; но получил оскорбительный отказ, сопровождаемый насмешкою, верным изъявлением спеси богатого и старинного малороссийского пана. Отец Приси отвечал, что не отдаст дочери своей за бедняка, который сверх того не может насчитать и трех поколений в дворянской своей родословной. Ни слезы, ни уверения Приси, что, кроме Демьяна Кветчинского, она не будет ничьею женою, не сильны были разжалобить упрямого старика. С тех пор влюбленные виделись только однажды и то мельком; поклялись друг другу: она — что расплетет девичью свою косу разве только под клобук монахини, а он — что сосватается разве только с пулею неприятельскою. Демьян уехал в армию, и уже более десяти месяцев не было о нем ни слуху, ни духу. Прися тосковала, плакала как дитя; но грусть ее, как и грусть дитяти, не была глубока, не иссушила ее сердца и не изменила юной ее красоты и свежести. Только в день своих именин, оживляя в душе своей память прошедшего, она была грустнее обыкновенного и, хотя стыдилась плакать при гостях, чтобы злые языки не вывели из того каких-либо предосудительных для нее заключений, однако ж беспрестанно задумывалась, вздыхала и изменялась в лице, как мы видели выше. Отец ее первый это заметил; ибо гостям, за попойкою и разговорами, было не до того.

— Что с тобою случилось, дитя мое? — сказал он, подошед и поцеловав ее в лоб. — Не бойся: бог милостив; он не попустит, чтобы такой ангел, как ты, такая добрая и послушная дочь, пострадала от набегов и грабительства гайдамаков. Это все сказки: Гаркуши здесь поблизости нет и не будет. А! да я и забыл, что у нас именины без музыки; это и в самом деле скучно, особливо молодым девушкам: их ноги не привыкли быть в покое... Эй, Стецько!

Стецько<sup>10</sup>, камердинер и вместе скороход пана Гриценка, явился у дверей в разодраной свите, с босыми ногами и полурастворенным ртом, уставил неподвижные глаза на своего пана и ждал приказа.

— Беги опрOMETRY, вялое животное, и позови сюда слепца Нестеряка<sup>10</sup> с бандурою.

— Шкода <sup>11</sup>! — жалко пропищал Стецько, пожимая плечами и не двигаясь с места.

— Шкода будет тебе, если еще разинешь рот.

— Власть панская! — продолжал Стецько, все еще не уходя и тем же голосом.— Только на дворе ночь хоть глаз выколи, дождь как из ведра, грязь по колено. До Нестеряковой хаты далеко: она на краю села; а там у оврага всякую ночь люди видят черную собаку, и все в один голос говорят, что это *упырь* <sup>12</sup>; кто знает, может быть, сам Нестеряк: этот слепой леший не мне одному кажется колдуном.

— Ступай же, пока я не заколдовал тебе язык,— закричал Гриценко, толкая его в сени.

Делать нечего: бедный Стецько должен был отправиться в неприятное для него посольство; зато, меся ногами грязь по улице, он выветривал свою досаду горькими жалобами и не щадил своего пана в следующей речи, которая расстановками у него вырывалась:

— Правду говорит пословица: «Скачи, враже, як пан каже!..» Хорошо ему сидеть в теплой и светлой комнате да пить свою терновку с гостями: сам бы пошел вместо меня в такую погоду, в такую ночь... и куда еще? О мать пресвятая богородица!.. А!.. кто тут? кто шумит? кто шепчет?.. Нет, кажется: это в панском саду блеклые листья шелестят под дождем... Я не трус и за себя постою; с живым управлюсь, только мертвец или оборотень — не свой брат!.. А уж что будет, то будет! у меня на всякий случай есть оборона: на мертвеца крест, а на живого — дубина... Подумаешь, подумаешь: для чего я сам не пан! Ел бы сало, сколько душе угодно, накопил бы полные сундуки денег и спал бы на печи, а для потехи заставил бы пана Гриценка прыгать через эту дубину или послал бы его в глухую ночь сзывать всех слепцов и бандуристов из околотка... Чтоб ему так легко икалось, как мне легко по его причудам тащиться здесь по грязи и шарить ощупью дорогу... Ни звездочки в небе, ни света по хатам: все улеглись... вот самая лучшая пора бродить по улицам! добрый человек теперь и собаки не выгонит... Бог тебе судья, пан Гриценко!.. Скачи, враже, як пан каже!.. Ай!..

Страх оковал ноги бедного Стецька, и на этот раз его страх был не пустой: сильный удар по плечу невиди-

мой впотьмах руки зазвенел у него в ушах, как неожиданный удар грома, и рассыпался по всем его составам смертным холодом.

— Здорово, товарищ! — проговорил в то же время кто-то твердым голосом, который показывал, что говоривший не боится дубины и не бегаёт от креста.

— Здорово, коли надобно!.. Кто ты: мертвец, оборотень или... — спросил Стецько дрожащим, перерывчатым голосом; последнее слово замерло у него в гортани.

— Узнаешь, когда со мною пройдёшься, — с смехом отвечал неизвестный. — Я слышал, что пан Гриценко не слишком милосердо с тобою поступает: в эту ночь послать по своим причудам такого славного парня... Не знаю, на твоём месте я отшутил бы ему шутку так, что он бы не скоро опомнился.

— Где мне с ним сладить? он мой пан! Плетью обуха не перебьёшь...

— Перебьёшь, коли сумеешь: не в том сила, что он толст и крепок, а в том, чтобы знать сноровку, где и как ударить по обуху.

— Да, да! ударить невпопад — так плеть и отхлынет по твоей же спине.

— Простак! если волка бояться, так и в лес не ходить. Пожил бы с мое, побродил бы, как я, по свету — то бы узнал, что и не такие обухи тонким ремешком перетирают... Послушай, я тебя научу на камне мукú добывать.

— Рад слушать.

— Тебе больно служить пану Гриценку?

— И мне, и спине!

— Хотел бы от него подале?

— Да уж что будет, то будет, а хуже не бывать!

— Разумеется, если станет у тебя на то ума. Ты знаешь, дурак о себе не радеет, а умный человек всегда что-нибудь подготовит про запас.

— Ведомо, так! да где же взять, коли нет? С сухого лесу листья не соберёшь.

— Есть где взять, были бы руки. Слушай: пан Гриценко, отпустя гостей, ляжет в постелю с тяжелою головою и уснет, хоть стреляй над ухом; панянка, как и все молодые девушки её лет, так же крепко уснет, а люди и пуце. Ты один не будешь спать. В эту пору,



попозже полуночи, я стукну в дверь, что из сада; ты тотчас отвори. Не бось! худо ни с кем не будет; только мешки пана Гриценка станут полегче, а сундуки поглубже.

— Дело! по рукам.

В это время они подходили к оврагу.

— До встречи у дверей! — сказал неведомый. Стецько оглянулся — его уж не было.

— С нами сила крестная! — думал Стецько, крестясь. — Это, верно, наваждение; нет! не продам душу лукавому, кто б он ни был, человек, мертвец или сам нечистый дух! — С такими мыслями подошел он к дому бандуриста.

Слепец Нестеряк уже спал. Услыша стук в окно, он пробудился, отдернул форточку и, на спрос узнавши о причине такого позднего посещения, разбудил семилетнюю девочку, свою внуку и вожатую.

— Олеся, сердце! вставай и вздуй лучину, да подай мне поновее свиту и чеботы. Пан хочет — не отговариваться стать: я панских ласк и денег не чуждаюсь.

Послушная малютка, потягиваясь, исполнила приказ, снарядила старика, оделась сама, подала ему бандуру и по привычке повела его за руку к панскому дому, оставя ветхую свою хату на стражу бедности.

Веселая пирушка в доме пана Гриценка была на самом разгулье. Старик бандурист был встречен ласковым приветом: пан погладил его по седой голове и, велел поднести ему чарку водки, сказал:

— Где ты пропадал, старик? что так долго не казался мне на глаза?

— Виноват, *добродей*<sup>13</sup>! я вчера только притащился домой с королевецкой ярмарки, где пробыл целую неделю.

— Что же ты узнал там нового? — спросили вдруг несколько голосов.

— О, много, много! — отвечал слепец, слегка покачивая головою. — Там был и неожиданный гость, гайдамак. Он словно как из воды вынырнул: всполошил всю ярмарку, заставил о себе трубить всех, от мала до велика, и после вдруг исчез невесть куда.

Все гости приступили с расспросами к бандуристу, и он пересказал им народные басни о Гаркуше почти

так же, как и толстый подкоморий. «Все это так вбилося мне в голову,— прибавил слепой певец,— что я, идучи с ярмарки, дорогою беспрестанно твердил: *гайдамак! гайдамак!* И чтобы как-то разделаться с этим страшным человеком, которого имя ни на миг меня не покидало и нагнало тоску маленькой проводнице моей, внучке,— я сложил про него песенку. Если угодно честной компании, я спою...

— Спой, дружок, спой! — закричали ему гости со всех сторон. Нестеряк взял бандуру, закинул себе около шеи прикрепленную к ней алую ленту, пробежал пальцами по звонким струнам, потом заиграл и запел следующую песню:

Кто полуночной порою  
Через лес и буерак,  
С свистом, гарканьем, грозою  
Мчится в поле? — Гайдамак!  
Он как коршун налетает,  
От него спасенья нет!  
Черный вихорь замедает  
Гайдамака страшный след.  
Кто один в селеньях бродит  
И, как злобный волколак <sup>14</sup>,  
Старым, малым страх наводит?  
Кто сей знахарь? <sup>15</sup> — Гайдамак!  
Тронет он — замки валяются,  
Отмыкаясь без ключей,  
И червонцы шевелятся  
В сундуках у богачей.  
Кто так зорко приглядает  
За проказами гуляк,  
В душу к ним змеей вползает?  
Кто сей демон? — Гайдамак!  
Враг он и душе и телу  
Буйных, молодых повес  
Научает злomu делу  
И с собой уводит в лес.

Еще старый певец не кончил своей песни, как вдруг послышался необыкновенный шум у дверей дома. Все гости вздрогнули; хозяин, по невольному движению, бросился к дверям; слепец Нестеряк, оставя бандуру на коленях, опустил руки и как будто бы силился взглянуть. Одна Прися, подняв голову, весело обвела взглядом все собрание: было ли то предчувствие неожиданной радости, или беглая мысль, мигом отвлекшая ее от грустных дум,— этого никто от нее не узнал, потому что никто не спрашивал. И до того ли было

гостям? Все они с каким-то робким ожиданием смотрели на двери и оставались как прикованные на своих местах.

## ГЛАВА II

Чи се ж тая криниченька, що голуб купався?

Чи се ж тая дівчинонька, що я женихався?

*Малороссийская песня*

Спустя минуту вошел человек средних лет, в богатом польском наряде. На нем была бекешь из зеленой парчи, с большими золотыми цветами и бобровою опушкою; она состегивалась накрест золотыми шнурами, по краям коих висели крупные золотые кисти, и сверх того стянута была персидским кушаком. С одной стороны к кушаку прикреплена была золотою цепочкою кривая турецкая сабля в дорогой оправе; а с другой — заткнут был турецкий же кинжал с серебряною рукояткою и ножнами, на которых сверкали драгоценные камни. Незнакомец, войдя в комнату, вежливо поклонился всему собранию; с меткостью человека, живущего в лучших обществах, отыскал он хозяина дома, сказал ему на польском языке приветствие и просил ночлега и гостеприимства, объясняя, что сбился с большой дороги и в такую пору не мог ехать далее. Пан Гриценко, разумея немного по-польски, отвечал ему как умел приглашением остаться у него в доме до будущего утра, и если не соскучится, то побыть у него и весь следующий день, чтоб отдохнуть и оправиться от такой трудной дороги.

Тут только гости, опомнившиеся от первого впечатления, заметили, что вслед за поляком вошел в комнату молодой гусарский офицер. Прися прежде всех его увидела: она вздрогнула, ахнула... Это был Демьян Кветчинский. Поляк, оборотившись, взял его за руку и представил хозяину дома как своего спутника. По пословице: *хоть не рад, да готов*, пан Гриценко повторил свое приглашение и Кветчинскому, боясь отказом нарушить обязанность гостеприимства, весьма свято в Малороссии уважавшегося, и подать о себе на первых порах дурное мнение польскому пану.

Когда все уселись, слуги польского пана, или, как он

говорил, его *шляхтичи*, начали вносить дорожные его вещи. Первый из них поставил на стол перед своим господином его шкатулку, без которой знатный и богатый поляк никогда почти не делает шага из дому. Второй внес походное его ружье и пистолеты в бархатных футлярах. «Это,— молвил незнакомый гость,— я взял с собою для того, что здесь, сказывают, дороги не совсем спокойны. Я слышал, что в вашем краю разгуливают шайки бродяг и очень немилостиво обходятся с проезжими, а особливо с моими земляками, зная, что с нами всегда бывает порядочный запас *дукатов*. Для того же я взял сверх обыкновенных моих проводников несколько человек лишних. По незнакомым дорогам не худо ездить с хорошею охраною». И в самом деле, любопытные гости пана Гриценка насчитали всей прислуги поляка человек до двенадцати, входивших то с разными его вещами, то для получения его приказаний. Все они одеты были в одинакое, весьма щеголеватое платье, с золотыми позументами, у каждого была за поясом сабля и пара пистолетов; большая часть из них, как видно было, составляла конную стражу своего господина.

Не прошло полчаса, как уже все гости были, так сказать, околдованы обходительностию и ловкостию польского пана, занимательностию его разговоров и приятностию поступков. С мужчинами он был вежлив и говорлив, с женщинами услужлив и вкрадчив. Зная, что не многие из собеседников его разумели по-польски, старался он говорить по-малороссийски, ломал довольно забавным образом наречие туземцев, и сам первый тому смеялся. Ничем столь легко не приобретешь доброго расположения малороссиян, как непринужденною веселостию и шутливостию; казалось, польский пан обладал в высшей степени сими качествами приятного собеседника. Около него составился кружок; всякий с удовольствием его слушал, расспрашивал и смеялся от души остроумным его замечаниям насчет жизни знатных богачей в Польше и Москве, откуда, по словам польского пана, он теперь ехал, быв послан с какими-то важными поручениями.

Между тем как хозяин и все гости были заняты слушаньем рассказов поляка, Кветчинский нашел удобный случай сесть подле Приси, повторить ей свои уверения в вечной любви и выслушать такие же от

нее. После сей взаимной передачи нежных чувствований Прися с веселым видом спросила у Демьяна: где отыскал он этого чудака-незнакомца, который, являсь впервые в их обществе, как будто бы сто лет был знаком со всеми?

— Я нашел его,— отвечал Кветчинский,— назад тому часа два, в постоялом доме, что стоит там, под леском, в четырех верстах от здешнего селения. Он остановился было там ночевать, когда я заехал в ту же корчму, чтоб обогреться и дать отдых лошадям, которых измучил по худой дороге, спеша к отцу... Признаюсь тебе, милая, хоть я и решился было никогда сюда не возвращаться: но один взгляд на тебя, один слух о тебе вызвали бы меня...

— С того света,— перервала Прися с лукавою улыбкою.— Не о том теперь речь: ты хотел мне рассказать, как познакомился с польским паном. Продолжай же.

— Изволь, милая, если тебе приятнее слышать о проказах польского чудака, нежели о муках моего сердца,— отвечал Демьян отчасти укорительным голосом.— Вошедши в корчму, я увидел толпу прислужников польского пана, которые суетились около него. Сам он лежал в переднем углу на лавке, на которой разостлан был персидский ковер с сафьянными подушками; перед ним, на столе, поставлены были неразлучная его шкатулка, сабля, кинжал, пистолеты и бутылка какого-то заморского вина. Когда я вступил в комнату, он торопливо вскочил с своего места, быстро посмотрел мне в глаза, потом поклонился и спросил по-польски: конечно, я проезжий? Я отвечал, что он не ошибся. Тут он просил меня сесть подле него, потчевал своим вином, расспрашивал, куда и зачем еду... Смейся или нет, моя милая, только я от полноты души рассказал ему все: и нашу любовь, и наши горести; не утаил даже и того, что нынче день твоих именин. Вообрази мое удивление, когда чудака, вскрикнув: «Я вам помогу, и помогу сей же час»,— велел своим людям в минуту собраться в дорогу, надеть лучшую их однорядку и, одевшись сам, посадил меня с собою в бричку, чтобы, как он шутя говорил, показывать дорогу... И вот мы здесь! Не знаю, что из этого будет, не смею еще надеяться ничего хорошего; но сердце мое замирает в каком-то тягостном ожидании.

Прися вздохнула. В эту минуту раздался громкий,

единодушный хохот всего собрания. Отчасти из любопытства, отчасти из опасения, чтоб не заметили долгого их разговора глаз на глаз, вдали от прочего общества,— Прися встала и подошла к гостям. Демьян пошел вслед за нею. [...]

Таким образом, в веселых рассказах и шутках неприметно пролетел вечер. Кукушка в стенных часах прокричала одиннадцать часов; гости вдруг опомнились, стали собираться к отъезду, но хозяин снова начал унимать их закусить, что бог послал. Они снова начали отговариваться позднею порою, волками и гайдамаками. Тут к хозяину пристал и поляк, упрасивал их подарить его остатком вечера и отведать за ужином его венгерского вина; к тому прибавил он, что всем им даст своих шляхтичей проводниками. На замечание подкомория, что шляхтичи и без того устали и намучились по такой дурной дороге, отвечал он, что эти молодцы привыкли к поездкам и что они готовы ехать во всякую пору по приказу своего пана, не зная ни сна, ни усталости, как черкесы.

За ужином польский пан велел подать свой запас венгерского и серебряные чарки. Сам он подносил вино своим собеседникам, чокался с каждым из них и пил за их здоровье. Наконец, когда все уже были очень навеселе, вдруг, по его знаку, подали две серебряные стопы одинакой меры, с чернью и позолотою; поляк подошел к пану Гриценку, сказал ему, что хочет пить с ним по-польски, на *братство*; стал на колени и пригласил хозяина сделать то же. Тут он громко сказал: «Пан Гриценко! здоровье твое, мое, любезной именинницы, твоей дочери, и молодого гусара, моего товарища. Видишь ли, я пью от души на братство: не забываю и тех, которые милы тебе и мне. Выпьем же, как у нас в Польше: все до дна, не переводя духа». Пан Гриценко, у которого прежняя попойка уже затмила рассудок, принялся пить без всякого возражения; однако же не мог выпить всего за одним духом: останавливался, пыхтел, но не хотел отстать от своего товарища. У польского пана вино свободно лилось в горло; он выпил несколькими минутами прежде хозяина, стукнул стопою о серебряный поднос и закричал: «Виват!» Слепец Нестеряк, забытый с самого появления поляка, отозвался в эту минуту, громко ударя *туш* по всем струнам своей бандуры. Польский пан

подошел к нему, налил венгерского и, бросив в чарку червонец, подал ему и сказал: «На, пей, старик!» Слепой бандурист выпил вино, достал со дна чарки червонец, ощупал его и молчаливо поклонился щедрому дарителю. Вслед за тем он встал, оперся на плечо своей внучки и пошел домой, покачивая седою своею головою.

Головы гостей сильно кружились, когда они встали из-за стола. Прися просила Кветчинского, который один из всей мужской компании уцелел от хмеля, позаботиться об отъезде гостей. Польский пан, вслушавшись в ее речь, созвал своих служителей, велел осьмерым из них быть в минуту готовыми и провожать гостей, настрого подтвердив, что они будут ему отвечать за целость и безопасность как самих господ, так и всего, что при них находилось. На него, как видно было, вино не сильно действовало, по привычке ли к таким попойкам, или потому, что он был крепок от природы. Он распоряжал всем и отдавал приказания, как человек с совершенно свежою головою. Зато хозяин дома совсем обомлел от последнего потчеванья: язык у него почти не ворочался, ноги подкашивались. По отъезде гостей он уже насилу стоял на ногах. Прися кликала Стецька, чтоб он отвел своего господина в его комнату; но Стецько не откликнулся. Один из людей польского пана сказал ей, что камердинер отца ее спал в людской избе, «от того,— прибавил он,— что, потчюя прислугу его ясновельможности, не забывал и себя». Кое-как, с помощью Демьяна, Прися отвела своего отца в его комнату, где Кветчинский и денщик его раздели пана Гриценка и уложили его в постелью. Прися пожелала спокойной ночи польскому гостю, то же желание, сопровождаемое едва заметным вздохом, сказала она Демьяну и ушла в свою комнату. Поляк и Кветчинский остались вдвоем и скоро легли спать. Так ли они крепко уснули, как пан Гриценко, или вовсе не спали, как молодая Прися в эту ночь,— не станем исследовать; а посмотрим, что случилось с Стецьком.

Он крепко держал в уме и на душе, чтобы пересказать панянке, которую любил за ее доброту и ласковость, встречу свою с незнакомцем у оврага; но при гостях не имел свободной для того минуты. Приезд польского пана развлек его внимание; к тому ж он

уверился, что при таком большом числе вооруженных людей гайдамаки не посмеют напасть на дом пана Гриценка. На беду еще, его заставили потчевать служителей поляка, которые все были большие весельчаки и беззаботные головы: пили сами за его здоровье и его заставляли пить за свое, поодиночке.

— Вы славные молодцы,— сказал Стецько, когда у него порядочно зашумело в голове,— и перед вами нечего таиться; да вы же в этом деле можете нам и послужить службу.

— А что такое? — спросили почти в один голос все поляки.

— Да вот что. К нам назывался в нынешнюю ночь еще один гость: бог весть, кто он таков, а кажется, гайдамак...

— Что же ты нам присоветуешь делать, когда он явится? — был новый вопрос.

— Ни больше, ни меньше, как заступиться за нас, т. е. за меня, пана и панянку: стрелять из ваших пистолетов, колоть, рубить, крошить в мелкие куски злодеев. Я не хочу, чтоб они над нами насмеялись.

— Дельно! не бось, не выдадим,— сказал хвастливо один из поляков.— Посмотрел бы я, как-то ваши малороссийские гайдамаки посмели бы насунуться на мою польскую саблю? подавай их сюда!.. Выпьем же на отвагу.

И чарка снова пошла кругом, и голова Стецькова еще более отуманела.

— Да как ты сведал, что гайдамаки хотят напасть на здешний дом? — спросил у Стецька один поляк.

— Я встретил одного из них нынешним вечером, и он сам меня подговаривал отпереть им двери,— отвечал Стецько.

— И ты и не согласился?

— Я было сказал надвое; да после одумался. Пуще всего мне стало жаль панянки.

— Разве она так добра?

— Ох! добра, как мать родная! от нее-то и ласковое слово услышишь, от нее-то и лишнюю чарку, и лишний кусок получишь. Когда пан наш на кого разгневется, она упрашивает да умоляет его до тех пор, пока он умилосердится. И бедным всем она помогает, своим и чужим. Пошли ей, боже, здоровье и счастье, да хорошего жениха!



— Выпьем же за ее здоровье! — воскликнули поляки и снова принялись пить и поить Стецька.

Чарка за чаркой — под конец он упал без чувства на лавку и таким образом проспал до утра, забыв и гайдамаков и добрую свою панянку.

### ГЛАВА III

Топчи вороги  
Під ноги:  
Щоб наші підківки  
Бряжчали,  
Щоб наші вороги  
Мовчали!

*Малороссийская  
свадебная песня*

На другой день пан Гриценко проснулся гораздо позже обыкновенного и с тяжелою головою. Польский пан и Кветчинский давно уже были на ногах, а Прися, как ранняя птичка, порхала то туда, то сюда, хлопотала по домашнему хозяйству и заботилась об завтраке. В ней заметна была необыкновенная живость, пробужденная близостью любимого человека и надеждою на старания нового его знаконца.

Стецько также проспал долее, чем в другие дни, и проснулся не без страха. Приятели его, поляки, или шляхтичи, как он их величал, рассеяли его опасения, сказав, что пан его еще сам в постеле, и советовали ему опохмелиться. За чаркою вина они снова завели с ним разговор о гайдамаке, но уже в другом виде: они смеялись боязливым грезам бедного Стецька, шутили над его трусостью и заверяли его, что кто-нибудь из знакомых, подслушав его разговор с самим собою, нарочно впотьмах напугал его. Стецько и сам наконец остановился на этой мысли, стыдился напрасного своего страха, сердился, что не проучил порядком ночного насмешника, и твердо решил не сказывать о том никому в доме, чтоб не узнали об его трусости и не вздумали часто его так дурачить.

Когда пан Гриценко пришел к гостям своим, то после обыкновенных приветствий и расспросов о здоровье польский пан сказал ему, что хочет поговорить с ним наедине. Кветчинский под предлогом, чтобы похлопо-

тать об отъезде, пошел отыскивать Присю, которая еще не кончила домашних своих забот или, может быть, по чувству приличия не хотела так рано казаться гостям.

— Пан Гриценко! — сказал поляк, когда они остались вдвоем.— Я приехал к тебе сватом. Знаю, что ты удивишься этому и считаешь меня за такого чудака, который любит мешаться в чужие дела; но выслушай. Я богат и бездетен; ближних родственников у меня нет, а дальние должны быть довольны и тем, что я им оставляю. Я полюбил будущего твоего зятя: он лучше, умнее и благонравнее всех молодых людей, которых мне случилось встречать из моих земляков и из ваших. В этой шкатулке лежит у меня три тысячи червонных и почти на столько же дорогих вещей; согласишься ли ты отдать дочь свою за Кветчинского, когда я дам ему все это свадебным подарком?.. Смотри...

Тут он раскрыл шкатулку, на которую пан Гриценко и гости его так умильно поглядывали накануне. Она была по самую крышку набита полновесными червонцами. Поляк тронул пружинку, и потайной ящик с разными драгоценными вещами явился глазам удивленного Гриценка.

— Говори же: согласен ли ты на мое предложение? — снова спросил поляк.

Удивление пана Гриценка прервалось вздохом, тяжело вырвавшимся из груди его, как у человека, которого вдруг пробудили от приятного, обольстительного сна. Поляк снова повторил свой вопрос.

— Быть так! пусть дочь моя будет женою Кветчинского,— сказал Гриценко, собравшись с духом.— Он славный молодец, и я всегда его любил; одна бедность была ему помехою жениться на моей Присе: теперь нет и этой помехи, по милости ясновельможного моего гостя. Что до его рода, то он сам выйдет в люди своим умом-разумом, да с божеским благословением и царским жалованьем.

— Так по рукам, и завтра же свадьба,— сказал поляк, подставив свою ладонь.

— Это слишком скоро: мы ни с чем еще не готовы...

— Не твоя забота, пан Гриценко! у меня все мигом будет готово. Мне некогда ждать, время не терпит; я и так уже просрочил, а я непременно хочу погулять на свадьбе у доброго моего приятеля Кветчинского. Сей-

час же разошлю моих молодцов сзывать вчерашних гостей и пригласить старика Кветчинского на нынешний вечер: сегодня у нас непременно должен быть стговор. Другие из моих шляхтичей отправятся закупать все нужное к свадьбе, и завтра же наши жених с невестой будут обвенчаны... Эй, люди!

На голос поляка сбежались его прислужники. Он с удивительной поспешностью и точностью роздал им приказания и разослал их в разные стороны. Через минуту они были уже на конях и выехали со двора. При нем для услуг — осталось только четверо.

— Ин по рукам: я на все согласен, — сказал Гриценко, до сих пор в молчаливом раздумье смотревший на все, что вокруг него происходило.

— Давно бы так! — подхватил польский пан и хлопнул в открытую ладонь Гриценка так сильно, что он от боли поморщился и замахал рукою. Поляк улыбнулся. — Это остаток старой моей силы, — сказал он с видом самохвальства, — в прежние годы я разгибал подковы и скручивал узлом железные кочерги без дальних усилий. Теперь уже не то: все не по-старому; нет уже таких молодцов-силачей, как бывало прежде. И не только в силе — в самых понятиях нынешняя наша молодежь крайне изменилась. Скажу и о твоём будущем зяте: у него престранный образ мыслей. Например, он никак не принял бы сам от меня этого подарка из гордости; и я прошу тебя, пан Гриценко, не прежде отдать ему шкатулку, как на другой день свадьбы. Теперь покамест унеси ее и спрячь у себя.

— Правда, правда! — сказал Гриценко и, услышав шум в передней светлице, торопливо схватил шкатулку, притаил ее у себя под мышкою и, почти припрыгивая, унес в свою комнату.

В эту минуту вошли Кветчинский и Прися. Польский пан подошел к ним, поздравил Присю с добрым утром и с женихом, а Кветчинского с невестой. Оба они не верили своему счастью и принимали слова поляка за дурную шутку, пока возвратившийся Гриценко не уверил их в том совершенно. Не станем описывать их радости: все такие описания скучны, ибо радость любит выражаться не словами, а улыбками, взглядами и тому подобными знаками, которых никакое красноречие не сильно вполне передать.

К вечеру начали съезжаться гости: отец Кветчинско-

го явился из первых, дивясь неожиданному приглашению богатого и спесивого соседа. Уже по приезде узнал он, зачем его звали, и радовался почти не меньше своего сына. Началось сватовство обыкновенным малороссийским обрядом: польский пан, игравший роль старшего свата, поставил на стол хлеб и соль и просил ласки хозяина, чтоб он принял от его руки жениха своей дочери; и когда пан Гриценко подтвердил свое согласие, тогда Прися поднесла сватам и отцу своего жениха шелковые *ручники* на серебряном подносе<sup>16</sup>. Остальное шло своим чередом: гости пили за здоровье жениха и невесты, отцов их, сватов и проч., гости пели свадебные песни; польский пан был шутив и любезен до крайности, говорил даже малороссийские поговорки, приличные случаю. Казалось, что он учился тамошнему наречию не по дням, а по часам, как славные богатыри росли в старинных русских сказках. Поздно разошлись гости по квартирам, которые отведены им были в домах зажиточных обывателей селения.

На другой день, рано поутру, *гружки* одели невесту к венцу. В девять часов свадебный поезд был уже совсем снаряжен: жених с сватом и *гружком*<sup>17</sup> поехали вперед верхами, чтобы у церковных дверей принять невесту, которая с свахой, *дружками* и *светилкою*<sup>18</sup> везены были в старинном огромном рыдване, четверкою коней и вершниками. Сбруя на конях и рукава у вершников украшены были большими бантами розовых лент. От венца поезд возвратился тем же самым порядком в дом пана Гриценка, где уже приготовлен был, в ожидании обеда, сытный завтрак. Начались поздравления и потчеванья, молодой и молодая стали с поклонами подносить гостям разные цветом и вкусом водки. Каждый из почетнейших гостей, выпив, целовал молодых и клал на поднос какой-нибудь подарок. Польский пан, или сват женихов, положил полный кошелек червонцев. Таким образом время продлилось до обеда, за которым пирушка разгуливалась более и более. Гостям показалось странно, что не было музыки: некому было играть *туш*, когда пили за здоровье молодых. Пан Гриценко уже дважды посылал за слепым бандуристом, но он все не являлся. Стецько снова был отправлен привести или притащить его, если он не пойдет доброю волею.

В конце стола венгерское польского пана опять по-

лилось в чары и в уста лакомых гостей. Сам поляк был еще веселее, разговорчивее и шутивее, нежели прежде. Он часто пил за здоровье молодых, приговаривая: «Горько!» и заставляя их целоваться; напевал малороссийские и польские песни, точил балы и был в полном смысле душою пирушки. Опять он велел принести большую свою серебряную стопу и пил из нее на конях с паном Гриценком и старым Кветчинским.

С шумом и суматохою кончился обед. Начались громкие, крикливые разговоры; женщины уселись в кружок и запели веселые малороссийские песни; мужчины собрались около них, слушали и подтягивали. Между тем молодые, посаженные на почетном месте, почти не замечали того, что вокруг них происходило: они, так сказать, были погружены в настоящее и будущее свое благополучие. В таких приятных и невинных занятиях пролетело несколько часов. Тут только некоторые из гостей и хозяин дома заметили, что между ними кого-то недоставало, и сквозь туман винных паров наконец досмотрелись, что отлучившийся гость был веселый и добрый польский пан, сильно поколебавший врожденное в малороссиянах предубеждение насчет поляков. Начали его искать повсюду — его нигде не было; люди его, прислуживавшие за столом, также все скрылись. Некоторые из самых любопытных гостей побежали осведомляться на дворе: поселяне, собравшиеся смотреть на свадьбу, сказали им, что несколько часов тому назад бричка польского пана выехала за ворота, конные служители его также поодиночке выбрались, а спустя немного сам он тихо вышел на улицу, сел в бричку и ускакал, окруженный своими проводниками.

И гости и хозяин дивились такому странному поступку польского пана; отец Приси дивился также и тому, что ни слепой бандурист, ни Стецько не являлись во весь вечер. На многолюдных, шумных пирушках обыкновенно такие случаи на миг мелькают в понятиях собеседников и быстро сменяются другими впечатлениями. Какой-то залетный музыкант с скрипкою, песни, пляски и продолжительная попойка скоро вытеснили из согретых хмелем голов и польского пана с его забавными шутками, и слепца Нестеряка с его бандурой, и Стецька с его глупым взглядом и разинутым ртом.

Последний из них явился, однако ж, на другой день поутру. Он бросился в ноги своему пану, просил у него прощения за вчерашнюю свою отлучку и сказал, что слепой Нестеряк решительно отказался идти на свадьбу с своей бандурой. В то же время Стецько подал господину своему запечатанное письмо.

— От кого принял ты это письмо? — спросил пан Гриценко, еще не разламывая печати.

— От кого?.. — молвил Стецько, повторяя вопрос со всею медлительностию малороссиянина. — Да от нашего свата, польского пана...

— Где и как, — нетерпеливо подхватил Гриценко.

— Где?.. в корчме, за селением, на большой дороге. Как?.. я и сам порядком не помню; дайте надуматься. А! теперь кажется так: извольте слушать. Шедши домой от Нестеряковой хаты, я встретился с одним из шляхтичей, который дружески потрелал меня по плечу и сказал: «Прощай, товарищ! пан наш уехал, и я спешу вслед за ним. Да не можешь ли ты, — прибавил он, — сослужить мне службу, показать мне дорогу в корчму, что за селением, по С...цкому шляху?»<sup>19</sup> Я тебе буду очень благодарен, и там мы расстанемся, как добрые приятели, за чаркою вина». Виноват, грешный человек: я взялся его провожать, и там мы нашли польского пана со всеми его проводниками. Пан обошелся со мною ласково, потчевал меня сам из своих рук, дал мне на водку и велел подождать, пока напишет к вам письмо. В другой светлице шляхтичи окружили меня и пили со мною на расставанье до тех пор, что уж я и не помню, как заснул. Когда же проснулся, то уж ни пана, ни людей его не было, а корчмарь подал мне это письмо и крепко-накрепко наказал мне доставить его к вам, говоря, что если не доставлю, то польский пан отыщет меня хоть под землею и тогда бог весть, что со мною будет. Я испугался и своей отлучки из дому, и вашего гнева, и угрозы польского пана, опрометью бросился из корчмы и не помню, как меня ноги сюда донесли.

Пан Гриценко, выслушав этот рассказ, распечатал письмо. Судите ж об его удивлении, когда он прочел в нем следующее.

«Пан Гриценко! я хотел ограбить тебя, и уже все было к тому готово. Чтобы собрать моих удалцов в одно место, передел я их в однорядку, и сам оделся

поляком, потому что не имею в здешних местах надежного притина. В этом виде велел я самым лихим ребятам из моей вольницы съезжаться в одной корчме, где сам их дожидался. На твое счастье, приехал туда же нынешний зять твой, Кветчинский. Я хотел было отправить незваного гостя в неожиданное место; но как я никогда не проливаю крови, то вздумал вывести хорошими средствами, не будет ли он нам помехой? Слово за слово, я вытянул из него всю подноготную: и любовь его к твоей дочери, и твой отказ, и его горе. Я от природы имею доброе сердце: мне стало жаль бедного Кветчинского: тотчас я переменял намерения на твой счет и решился помочь ему. Хорошо ли я в этом успел, ты сам знаешь. Прощай: люби дочь и зятя, надели их, как долг велит доброму отцу, береги мою шкатулку — она тебе пригодится, и будь милостив к своим служителям. Они такие же люди, как и ты. Если все это исполнишь по моему желанию, то можешь быть уверен, что никогда не встретишься с *Гаркушею*».

Лихорадочная дрожь проняла пана Гриценка во время этого чтения; ему казалось, что гайдамак все еще перед ним; робко взглянул он и увидел подле себя не Гаркушу, а слепого бандуриста.

— Я пришел поздравить вас, *добродей*, и пожелать счастья вашим молодым. Пусть их живут, как венки вяют! <sup>20</sup> Вчерась же, винюсь, не пришел к вам на свадьбу: тут был недобрый человек, и я ни за что бы не хотел с ним быть под одною кровлею.

— Разве ты по чему-либо узнал гайдамака? — спросил пан Гриценко, пришедши несколько в себя.

— Ну, так! — подхватил слепой музыкант. — Я чувствовал, что здесь что-то недаром. Порядочный человек не стал бы бросать своих червонцев первому встречному. Сейчас же иду и отдам его дар на богадельню. Не хочу себе даров от нечистых рук.

«А я так приберегу свои десять серебряных круглевиков про черный день, — думал про себя Стецько, стоя у двери. — Нужды нет, что пришли ко мне из нечистых рук: на это есть мел и тертый кирпич».

Что думал пан Гриценко о своей шкатулке, мы не знаем; только он не отдал ее на богадельню. Может быть, от страха, чтоб не прогневить Гаркушу презрением к его подарку; или, может быть, хотел он возвра-

тить ему шкатулку при первой встрече. Как бы то ни было, но он до самой смерти не упоминал о шкатулке ни зятю, ни дочери, и она перешла к ним как наследство отцовское.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> *Дрибушки* — мелкие косы; их заплетают по несколько и обвивают вокруг головы. *Скиндрячки* — разноцветные ленты, которыми повязывается голова; концы их распускаются по плечам. *Плахта* — род юбки или передника, усы — стрелки или строчки на фалдах кунтоша.

<sup>2</sup> *Нагошник* — болотное растение. Если им натереть какую-нибудь часть тела, то она в минуту покраснеет; но частое его употребление портит лицо, делает его шероховатым и даже угреватым.

<sup>3</sup> *Сопелка* — свирель или дудка.

<sup>4</sup> Малороссийские плясовые песни.

<sup>5</sup> *Будинки* — дом, палаты. Собственно значит здание.

<sup>6</sup> «Як Александр цареві Порубав із військом добру хльору... Патрет був пранцюза Картуша, Биля його стояв Гаркуша, А Ванька Каїн впереді...» и проч.

«Энеида» Котляревского.

Песнь IV, [40-41].

<sup>7</sup> *Варенуха*, или *варена*, — напиток, варимый из коринки, изюма, калины и пр. и пр. с вином и медом; он подается теплый.

<sup>8</sup> *Гири до голу!* — Гиря, голова, в том же смысле, как по-русски башка и по-французски *La caboche*.

<sup>9</sup> *Стецько* — уменьшительное имени Стефан.

<sup>10</sup> *Нестеряк* — Нестор.

<sup>11</sup> *Шкода* — беда, худо.

<sup>12</sup> *Упырь* — вампир или оборотень.

<sup>13</sup> *Добродий* — благодетель. Малороссияне, обращаясь с сим вежливым названием к человеку высшего звания или рода, говорят оное в звательном падеже: *добродию*.

<sup>14</sup> *Волколак* — оборотень, превращающийся в волка, чтобы пугать людей и душить овец по злобе на хозяев.

<sup>15</sup> *Знахарь* — колдун.

<sup>16</sup> *Ручники*, или белые полотенца с узорными коймами, подносятся невестою сватам, когда сватовство идет на лад. В богатых помещичьих домах сии *ручники* состояли из нескольких аршин шелковой ткани, иногда даже с золотою бахромою.



<sup>17</sup> Дружбó — товарищ свата на малороссийских свадьбах; *гужки* — подружки невесты, которые одевают ее и провожают в церковь.

<sup>18</sup> *Светилка* — девица, которая должна быть с зажженною восковою свечою при свадебных малороссийских обрядах.

<sup>19</sup> *Шлях* — большая или столбовая дорога.

<sup>20</sup> *Нехай їх живуть, як віночки в'ють* — обыкновенное малороссийское приветствие новобрачным.

## ГЛАВА XIX

Чи ти гордий, чи ти пишний,  
Чи гордо несешся?

*Малороссийская песня*

В жаркий июльский полдень, по дороге от Золочева к Сумам, медленно тянулись несколько повозок. Впереди ехал рыдван, или огромная коляска с отдергивающею кожею вместо дворец, с маленькими окошками, вставленными в позолоченные рамы, с вычурными украшениями из прорезной жести, положенной на алую фольгу, по углам, спереди и сзади кузова. Четвероугольный сей кузов поставлен был на низком ходу ярко-красного цвета. Тяжелую эту колымагу тащила шестерня раскормленных лошадей, из которых четыре были впряжены рядом у дышла, а две впереди. Кучер и форейтор, или вершник, оба в белых свитах домашнего сукна, лениво и неловко правили эту шестерню. Рядом с кучером, на низких и просторных козлах, сидел небольшой, плотный человек, с предлинными усами и в странном наряде: на нем был разноцветный жупан, у которого одна пола была синяя, другая светло-зеленая, стан красный, а рукава желтые; шапка у него на голове была также особого покроя: околыш ее сшит был до половины из черного и до половины из белого бараньего смушка, а верх, сделанный колпаком наподобие венгерского гусарского кивера, пестрел теми же четырьмя цветами, которые видны были в его платье. Широкие штофные шаровары с большими узорами всех возможных красок и сафьянные чеботы, из коих один красный, а другой желтый, с высокими медными подковами, дополняли убранство этого чудака, который часто оглядывался в окошко коляски, говорил по несколько слов и возбуждал невольный,

простодушный смех в неудалом кучере. Два рослые хлопца, или лакея, в синих чекменях и казачьих шапках, стоя на большом сундуке, привинченном к запяткам коляски, и перегнувшись через кузов, скалили зубы вместе с кучером; а четыре проводника, ехавшие верхом по сторонам коляски, безвинно смеялись чужому смеху, хотя вовсе не слышали слов полосатого проказника. Между тем двое передовых, тихую ступью подвигаясь шагах в двадцати от передних лошадей, очищали дорогу, покрикивали на проезжих и дремали да покачивались в промежутках времени. Шесть больших повозок, или дорожных фур, тащились следом за коляской, на крестьянских лошадях, и нагружены были съестными припасами, погребцами с дорожною пропорцией водок и наливок, поваренною посудой, пуховиками, подушками, баулами, чемоданами, няньками, горничными девушками, поварами, бо-соногими мальчиками и пр. и пр. Шествие замыкалось двумя псарями, которые вели на сворах целую стаю собак, покуривая табак из коротких трубок, переглядываясь и посмеиваясь с горничными.

Полы коляски были задернуты, окна подняты, несмотря на зной и духоту, и снаружи не видно было, кто там сидел; но встречавшиеся поселяне, видя такой пышный караван, почтительно сворачивали в сторону и, поравнявшись с коляской, робко снимали шляпы. Двое из них даже съехали с дороги на пашню, остановились, и, когда уже коляска и вся ее свита проехали мимо, тогда они вступили в разговор между собою.

— А что? — был лаконический вопрос первого.

— Э-ге! — отвечал другой обыкновенным малороссийским междометием, которое, не означая ничего в собственном смысле, выражает многое.

— Знаешь ли, Грицко, кого бес пронес мимо нас? — промолвил первый после минутного молчания.

— Кому ж быть, как не толстому пану? — отвечал второй. — Хотелось бы мне знать, куда его несет не-легкая?

— Куда! вестимо к нам, в степную его деревню, а ездил он по другим своим деревням и хуторам, объедать и опивать мужиков своих, брать с них волею и неволею на поклон, то деньгами, то хлебом, то медом, топтать их поля своими собаками и вытравливать их сады и огороды голодными своими хлопцами.

— Как бог еще терпит на свете такую пиявицу? Уж он ли всем не насолил, и своим и чужим! А сколько, ты думаешь, за ним всех душ?

— Сказывал мне Яким Вдовиченко, который служит у него в дворе писарем, что всего-навсе за ним, по разным уездам и поветам, больше семи тысяч душ; а своей — и не спрашивай!

— Больше семи тысяч! то-то, должно быть, денег-то, денег!

— Да говорят, одна кладовая с железными решетками, у которой денно и ночью стоит караул, насыпана медными от полу до верху; а с собою он возит бог весть сколько сундуков с серебром и шкатулок с червонцами.

— Правду говорит пословица: *у богатого черт детей качает*<sup>1</sup>. Да зачем же пан Просечинский возит с собою все лучшее свое добро?

— Видно, боится, чтоб без него не ворвались в дом воры или не случился пожар. Этот пан Просечинский суцая притча: для других скуп, для себя тороват; людей своих морит голодом, а сам ест за семерых; гостям, особливо бедным панкам, подносит простую сивуху, а сам пьет третьепробную водку, настоенную и невесть какими снадобьями, да наливки и заморские вина, о которых и вспомнить, так слюнка течет.

— Богачи всегда скупы; уж так, видно, им на роду написано.

— В доме у пана Просечинского такая каторга, что и боже храни! Работою люди завалены так, что и за ухом некогда почесать, а чуть что не по нем — заспался ли, загулялся ли кто из дворовых — так и дерут бедняка на конюшне. Там у пана пристроена особая каморка, а в той каморке припасены такие диковины, что и подумать страшно: и цепи, и каңдалы, и дыбы, и разные плети; утро и вечер идет там расправа; мимо идешь, так дыбом волос становится.

— Избави бог от такого варвара! Да чего же смотрит гайдамак?.. Сказывают, он проучивает злых панов, чуть только про которого прослышит худое.

— Видно, про этого он еще не слышал... Бог даст! — прибавил Грицко, заметив впервые нищего, который давно уже стоял перед ними и, казалось, ожидал только конца их разговора, чтобы попросить милостыни.

— Вот тебе, человек божий, — сказал товарищ Гриц-

ка, вынув из мешка большой кусок хлеба и подавая нищему,— вот все, чем могу с тобой поделиться. Видели ты: сейчас проехал по дороге богатый пан; он, верно, здесь недалеко остановится, вон там, под дубровкой: паны всегда любят негу и для того в жаркое время прячутся под тенью. Авось либо он тебя наделит побольше.

— Да, попытайся! — примолвил Грицко насмешливо.— Если не уськнет тебя собаками, так уж верно понесешь его милостыню на спине, а не за спиною.

— Нам бог велел терпеть все и с потом, горем и слезами добывать себе хлеб,— отвечал нищий, поклонился, прошептал молитву и побрел по дороге в ту сторону, куда уехала коляска. Крестьяне долго глядели вслед ему с каким-то полусонным любопытством. Вид этого нищего и в самом деле был замечателен: это был человек среднего роста, плотный телом, с рыжими, всклокоченными волосами на голове и в бороде. Лицом он был довольно полон и с первого взгляда не казался ни большим, ни слабым; но желтые пятна на щеках, синета под глазами, правая нога, которою он хромял, левая рука, как будто бы вышибенная из плеча, и чахлый голос являли в нем полного калеку, каких весьма часто встречаешь по большим дорогам, в городах и местечках Малороссии. Потолковав еще несколько минут, Грицко и товарищ его снова поворотили на дорогу и погнали по ней лошадей своих, разлегшись на телегах с малороссийской ленью.

Между тем коляска остановилась подле леса, в урочище, называемом Образ. Проезжие находят ныне на сем месте большую каменную часовню, в виде разрезанного конуса, довольно красивой архитектуры; но в тогдашнее время стояла здесь часовня деревянная, которой стены валились от ветхости. Часовня сия возвышается над лесистым оврагом, в углублении коего находится колодец чистой, холодной ключевой воды, с бревенчатым срубом. Теперь по другую сторону от дороги здесь есть шинок, или постоялый дом для проезжающих; но тогда не было еще здесь никакого жилого строения. Пустынное сие место привлекает взоры путешественников своею дикою красотой, и редкий из них не останавливается здесь хотя на короткое время.

Прежде всего выгружена была одна из дорожных фур. Хлопцы и ездовые пана достали из нее палатку,

или огромный шатер, натянули на древки и положили в нем целую кипу пуховиков и подушек, одни на других, так, что это составило нечто похожее на турецкий диван; все это прикрыли они большими шелковыми покрывалами, или попонами. Тогда полы коляски отдернулись на медных кольцах по железному пруту, и прежде всего выскочили из нее два молодые человека, или, как в Малороссии называют, *панычи*, несовершеннолетние сыновья пана, два плотные юноши, от осьмнадцати до двадцати лет; за ними вышла сестра их; девица лет шестнадцати, не красавица, но имевшая с неправильными чертами очень милое лицо малороссийской панночки. Далее вышел мужчина лет тридцати, приятной наружности, стройный и крепко сложенный; наконец показался из коляски огромный человек, высокого роста и необыкновенной толстоты: это был сам пан Просечинский. Псарь подставил ему крепкую скамейку с подушкой, а четверо слуг подавали ему руки; он ступил тяжелою ногою на землю, крикнул и, поддерживаемый хлопцами, потянулся к палатке; там разлеся он на пуховиках, покая спину свою и голову на подостланных подушках. Прочие члены его семейства поместились около него, а у ног его стал полосатый человек, сидевший дорогою подле кучера.

— Рябко! — сказал толстый пан протяжно-томным голосом, как будто бы это был голос больного. — Нравится ли тебе это место?

— Как не нравится! — отвечал полосатый шут. — Если б этот овраг был мой, то я отдал бы его на аренду гайдамакам и собирал бы с него славный доход.

— Безбожник! разве ты захотел бы погубить свою душу, связавшись с душегубцами?

— И, *дядько!*<sup>2</sup> не я был бы первый, не я последний. Да и за что про одних только бедных гайдамаков идет такая дурная слава? А наши судовые, чернильные пивяки, разве не душегубцы, когда у них виноватый прав, а правый виноват?

— Правда, правда твоя, Рябко! ты дурак, а судишь иногда, как путный человек.

— И твоя правда, *дядько*, да не совсем: у путного человека язык спутан, а у дурака развязан. Ты мне помешал говорить о гайдамаках и душегубцах. Слу-

шай же и учись: а наши паны, которые сдирают по три шкуры с мужиков своих, то частыми поборами, то ременными нагайками, не...

— Подавись этим словом, собака! — взревел толстый пан, совершенно переменяя тон и голос.— Тебе ли судить о панах, негодный червяк?

— Вот ты и рассердился, *гядько*,— сказал шут весьма спокойно, как будто бы не боясь гнева своего пана,— и опять ты не дал мне договорить: речь не о тебе шла, а о других панах, которых я видал по белому свету.

— Ну, то-то же,— промолвил пан Просечинский, успокоясь,— иначе ты отведал бы, каковы арапники у моих псарей.

— У тех панков, что пануют над собаками? я и без того знаю: у них арапники панские; где надо брать добром, там они отнимают побоями... Да собакам собачья и честь! Иное дело, когда людей чествят по-собачьи...

В это время вошел *кашевар*, или походный повар пана Просечинского, и спросил, что прикажет готовить к обеду.

— Почти что ничего! — промолвил толстый пан прежним своим протяжно-томным голосом, который старинные малороссийские паны полагали в числе приличий хорошего тона, особливо когда говорили с своими подчиненными или с мелкопоместною шляхтой.— Я человек больной,— продолжал он после некоторой расстановки.— Много есть не могу; притом же нынче постный день... Что у нас есть в запасе?

— Есть десятков пять крупных окуней да три сотни раков. Я закупил это для панского стола в последней деревне, которую мы проезжали, и сложил в мешки с свежеею травою.

— Три сотни! много, очень много: я человек больной и много есть не могу... Сварить половину; остальные к ужину; а из рыбы изготовить уху; рыбы не к чему оставлять, еще найдем где купить... Ну!

— Есть свежепросольная осетрина, пуда два.

— Пуда два! много, очень много: я человек больной, и день нынче постный... сварить фунтов двадцать и подать с хреном. Ну!

— Есть сушеные караси.

— Сварить из них кулеш <sup>3</sup>: это самое здоровое кушанье для больного. Дальше!

— Есть свежая белужина, фунтов тридцать.

— Фунтов тридцать! много, очень много... Да время теперь жаркое, свежая рыба может испортиться. Разрезать пополам; из одного куска сварить похлебку, прибавить в нее раковых шеек, а из другого, пополам с осетриной, солянку на сковороде. Ну!

— Есть у нас десятка два больших карпов...

— Изжарить их. Ну!

— Есть *планчита* <sup>4</sup> и целый короб сладких пирожков.

— Подать *планчиту* и положить на блюдо пирожков... так, не больше двадцати; прибавить к этому гренок с поливкой из вишен, сваренных на меду... Ну!

— Есть балык, семга, сельди, *кавьяр* <sup>5</sup>...

— Довольно, довольно! Подать всего этого к водке, перед обедом, по одной тарелке; слышишь ли? не больше! — Повар ушел.

— Дорога меня измучила, — продолжал пан Просечинский, — видите ли, дети, как я слаб, болен, как похудел? Вот мой шелковый халат теперь мне широк, сидит мешком... не правда ли?

— Правда, правда, *дядько*! — подхватил шут. — И то правда, что ты велел его сшить взапас, думая, что тебе за пост и молитву прибавит бог дородства.

Толстый пан сердито посмотрел на шута, и тот пустился бегом из палатки. Скоро, однако ж, возвратился он, неся в руках свою бандуру и наигрывая на ней *казачка*.

— Не хочешь ли, *дядько*, промяться со мной перед обедом? это здорово: больше съешь и крепче уснешь.

— Пляши сам, *вражий сын*! — отвечал Просечинский.

— Изволь, я не прочь; только ты мне подари новые чеботы, когда я эти истопчу для твоей потехи. — И шут заиграл громче и пустился плясать с смешными телодвижениями и кривляньями, припевая:

По дорозі жук, жук, по дорозі чорний!  
Подивися, дівчино, який я моторний,  
Подивися, вглянься, який же я вдався:  
Хіба даси копу грошей, щоб поженихався <sup>6</sup>.

Окончив свою пляску, шут сел на голой земле, под-

жав ноги по-турецки, и пропел под игру на бандуре еще несколько малороссийских песен, любимых его паном. Голос шута был чист и приятен, и в пении заметно было некоторое искусство. Пан Просечинский, нежась на пуховиках, свел глаза и как будто дремал; сыновья его выбежали из палатки и отправились смотреть своих собак и болтать с псарями и хлопцами; а дочь, сидя подле молодого мужчины, о котором выше было упомянуто, шепотом с ним разговаривала.

Между тем челядь толстого пана, отпрягнув и расседлав лошадей, стреножив их и пустив на траву, собралась около кашевара, который, разведя большой огонь под открытым небом, готовил обед. Несколько медных котлов привешено было над огнем на железных присошках; большие кастрюли и сковороды шипели на углях, и голодная челядь, облизываясь, жадно на них смотрела.

В это время подошел туда нищий, который, прихрамывая, брел по дороге. Он остановился перед кружком, собравшимся около огня, или, справедливее, около кушанья, и жалобным голосом проговорил нараспев: «Православные христиане! сотворите милостинку, Христа ради!»

— Какой тебе милостинки от нас! — молвил один из хлопцев. — Мы сами смотрим на чужой обед, а глотаем только дым.

— Много вас, попрошаек, по большим дорогам, — прибавил другой. — Об вас-то и думать, когда самим есть нечего.

— Пан наш так добр, что, верно, не откажет тебе в рублевике, — подхватил третий с лукавым видом. — А у него их очень много: видишь ли этот окованный сундук позади рыдвана? Там есть чем наделить всех нищих в свете. В рыдване и того больше: там четыре шкатулки с червонцами, с дорогими перстнями и самоцветными камнями. Да в той фуре, что стоит с краю от рыдвана, найдется другого-прочего тысяч на несколько. Попытайся: может быть, он тебе и уделит часточку.

Нищий, казалось, ловил на лету слова болтливого слуги. Может быть, он сравнивал бедную свою участь с богатым состоянием толстого пана; только заметно



было, что он как будто бы что-то соображал или рассчитывал.

В эту минуту подбежали туда молодые *панычи*. «Зачем здесь этот бродяга?» — закричал старший.

— Оставь его, брат, — сказал младший, — он нас позабавит. Эй, ты, калека! умеешь ли играть на волынке?

— Не умею, *добродию*, — отвечал нищий.

— Ну так пой и пляши! — подхватил младший *паныч*.

— Я стар и слаб, петь мне не по силам, а плясать могу ли я с хромою ногою и увечным телом?

— О, так ты еще и упрямишься! — завопил старший брат. — Только со мною даром не разделаешься: ты у меня запляшешь и через палку... Брат! возьми у псарей арапник и подгоняй этого уроды, а я буду держать палку: пусть-ка через нее поскачет!

При сих словах он вырвал клюку из рук нищего, и сей, от нечаянного потрясения, упал на землю и закричал громким болезненным голосом. Оба молодые шалуна стояли над ним и хохотали во все горло; малодушная челядь, из угождения ли своим *панычам* или по врожденной жестокости, тоже смеялась над бедняком.

Пронзительный крик нищего перервал дремоту толстого пана; он зевнул, потянулся, спросил, что там делалось, велел позвать к себе сыновей и подавать обед.

## ГЛАВА XX

А в сього пана скам'я заслана,  
Та на тій скам'ї три кубки стоять:  
В першому кубці — медок солодок,  
У другім кубці — кріпкеє пиво,  
У третім кубці — зелене вино.

Колячка <sup>7</sup>

Четверо *хлопцев* внесли в палатку складной стол, накрыли его *шленскою* скатертью <sup>8</sup>, и *дворецкий* толстого пана, отомкнув погребец, достал из него четыре *полуштофика* с разными водками и несколько *серебряных чарочек* без *поддонников*, установил все это на *тяжелом серебряном подносе* узорочной *обронной* работы и поставил на стол перед своим паном. *Хлопцы*

принесли потом на четырех или пяти тарелках сытную закуску, которая и теперь еще часто в малороссийских домах подается перед обедом и может заменить целый, весьма нескудный обед для желудков, не столько привычных к непрерывной работе.

— Жарко! — промолвил пан Просечинский прежним своим протяжно-томным голосом. — Выпью мятной водки: это меня освежит. Пей, Леонтий Михайлович! — продолжал он, обратясь к будущему своему зятю, молодому Торицкому, налив водки и подавая ему чарочку. — Эта водка здоровая, прохладительная. — Потом выпил сам, вздохнул, как бы от полноты удовольствия, и закусил. Все семейство толстого пана собралось вокруг стола и дружно принялось закусывать.

— Мне все что-то нездоровится, — сказал Просечинский, склонив голову на сторону с видом человека расслабленного, — не подкрепит ли меня эта запеканка? — Тут он налил настойки из другого полуштофа, выпил и продолжал работать вилкой и зубами.

— Не отведают ли нам этой любистовки<sup>9</sup>, Леонтий Михайлович? это нам придаст аппетиту; я же почти ничего не могу есть: кусок нейдет в горло.

Торицкий отказался, а толстый пан, выпив чарку, принялся есть с новою охотой, как будто бы в доказательство, что любистовка пробудила его аппетит.

— Выпить было кардамонной: авось либо она согрет мне желудок. Это необходимо на рыбную и соленую пищу.

Вслед за этими словами пан Просечинский выпил четвертую чарку водки и принялся доканчивать закуску, которой и так уже немного оставалось, благодаря ревностным стараниям толстого пана и обоих сыновей его.

Между тем шут, стоявший поодаль в ожидании подачи, первый заметил нищего, который, остановясь у входа палатки, безмолвно кланялся и, казалось, следил глазами каждый кусок. Это был тот самый нищий, на которого перед сим нападали шаловливые паньчи.

— Разве ты не видишь, — сказал ему шут с таким видом, с каким жирный мопс косится на тощую дворцовую собаку, умильно поглядывающую на кости, кои не для нее назначены, — разве ты не видишь, что панская прислуга еще не кушала? Убирайся за добра-ума: я так

голоден и зубы мои так разлакомились, что могу и тебя схрустать вместо рыбьего позвонка.

Нищий, не отвечая на слова шута, запел Стих о убогом Лазаре звонким, резким голосом и произнося слова немного в нос.

— Прочь, прочь! — завопил пан Просечинский. — Я терпеть не могу этой сволочи, этих бесстыдных попрошайек, которые не хотят работать и выдумали ремесло — обманывать честных людей да жить мирским подаванием.

— Видишь ли, старец <sup>10</sup>, — промолвил шут, — ведь я тебе советовал убираться за добра-ума; я голоден, а пан мой не совсем еще сыт, и оттого мы оба сердиты. Моли бога, что во мне еще больше жалости, нежели в богатых панах! — прибавил шут скоро и тихим голосом, подойдя к нищему и сунув ему в руку две копейки.

Но нищий, казалось, упорно хотел что-нибудь выманить у толстого пана: стоя на прежнем месте, он кланялся и твердил жалобным напевом: «Милосердые паны! сотворите божью милостинку старцу-калеке, бездомному и безродному».

— А, так ты еще и упрямышься! — закричал толстый пан. — Погоди, вот я велю спустить собак; тогда завопишь у меня другим голосом.

Молодая, мягкосердечная Олеся <sup>11</sup>, дочь Просечинского, робко и умильно взглянула на своего отца. Торичский, показывавший уже и прежде в выражении лица и телодвижениях худо скрываемое негодование на бездушие своего нареченного тестя, понял мысль своей невесты, подошел к нищему и, подав ему серебряную монету, проговорил: «На, старец; молись за нее...» — Тут, указав быстрым взглядом на Олесю, отошел он и сел опять подле нее.

Нищий посмотрел на монету, взглядом и движением губ поблагодарил щедрого дателя, но все еще не трогался с места.

— Чего ж тебе еще, жадная собака? — вскрикнул Просечинский в сильной досаде и на упрямую назойливость нищего, и на слезы, навернувшиеся на глазах Олеси, и на сострадательность ее жениха. — Прочь отсюда сию же минуту. Эй, псари!! собак и арапников!

— Позвольте нам, батюшка! мы управимся с этим негодяем! — сказали оба паныча и, не дожидаясь отве-

та, кинулись к нищему. Он проворно отскочил назад и тем избег первого их нападения; другим скачком стал еще далее от палатки, но за третьим подпустил к себе панычей и быстрым, метким движением рук, схватя того и другого за шею, повернул их с необыкновенною силою и ударил о землю. В тот же миг он засвистал богатырским посвистом.

Псаря и хлопцы, сбжавшиеся на голос своего пана, сперва с малороссийским, насмешливым любопытством смотрели, как нищий отыгрывался от панычей. Когда же он повалил их на пол, тогда служители, дивясь такой дерзости, долго не могли опомниться и вступить за своих господ. И было уже поздно: едва раздался свист нищего — вдруг отовсюду, из-за кустов, из-за кочек, из густой травы, поднялись страшные люди, вооруженные с головы до ног. С громким, пронзительным воплем бросились они как саранча на челядь толстого пана; другие, на крик своих товарищей, летели во весь опор на конях из лесу, с поля, со всех сторон: у каждого был в руках большой нож, за плечами ружье, за поясом пистолеты. Одни схватили оторопелых псарей и хлопцев, другие бросились в палатку и задержали толстого пана, Олесю и Торицкого, третьи окружили возы и прибрали к рукам поваров, кучеров и остальных людей Просечинского. Никто не успел опомниться и подумать о побеге или обороне.

— Вяжите всех, — кричал Гаркуша, сбросив с себя накладные волосы, нищенское рубище и суму и явясь в легкой куртке, с полным вооружением гайдамака. — Вяжите всех; не троньте только молодой панночки, жениха ее да шута: их просто держите и не делайте им никакой обиды.

Все мигом было исполнено с самою раболепною точностью. Казалось, что шайка гайдамаков угадывала даже мысли своего атамана. Он стоял, опершись правою рукою на пистолет, бывший у него за поясом; лицо его было спокойно и не выражало ни малейшей страсти; но ястребиный взор его в один миг перелетал с места на место и обозревал все, что вокруг него происходило.

Связав толстого пана по рукам и по ногам, гайдамаки с диким, радостным криком вынесли его из палатки; таким же образом связали они и обоих его сыновей. Торицкий, не предвидев опасности при выходе из

коляски, оставил там свою саблю и пистолеты; но когда гайдамаки ворвались в палатку, тогда он, схватив столовый нож, стал перед своею невестой и решил отчаянно защищать ее. Усилия его были напрасны: четверо удалых, сильных гайдамаков схватили его за плеча и за руки и, посадив на подушки, на которых перед тем покоился будущий тесть его, крепко держали и не сводили с него глаз. Олеся, оцепеневшая от страха, была посажена рядом с ним, и приставленный к ней гайдамак, слегка ее придерживая, утешал ее и уверял, что ей не сделают никакого зла, что такова была воля атамана, которой никто не осмелился бы нарушить. Что касается до шута — его гайдамаки закутали в огромный халат толстого пана и, спеленав как ребенка персидским его кушаком, посадили на землю. Не потеряв головы и видя, что для него не было никакой дальней опасности, он начал слегка покачиваться и напевать однозвучную колыбельную песенку, точно так, как дети сами себя убаюкивают перед усыплением.

Людей Просечинского свели в одно место и, схватив им руки за спиною, привязали друг к другу длинною веревкой, подобно цепи невольников. Робко и безответно бедняки покорялись своей горькой доле и ждали над собою еще больших бед. По знаку Гаркуши, гайдамаки в несколько минут выгрузили коляску, а в нее посадили всех женщин и малолетних, задернули полы и накрепко застегнули их ремнями и пряжками.

Тогда Гаркуша велел оттащить Просечинского и паньчей к часовне, а сам пошел в палатку.

— Пан Торицкий! — сказал он, войдя туда. — И ты, добрая панна Елена! Вам нечего бояться: вы никому не желали зла, а напротив того, сколько могли, делали добро. Вот вам рука Гаркуши, что ни он, ни его вольные казаки не возьмут ни одной нитки изо всего того, что вам принадлежит. Гаркуша никогда не изменял честному своему слову: он не таков, как ваши паны и *порядочные люди*, которые держат слово только до первой встречи... С паном Просечинским будет у меня другая разделка: я давно ждал случая порядочно потазать его за дерзость, скупость и жестокосердие и хотел только сам увериться, правда ли было то, что мне о нем рассказывали...

Олеся зарыдала и закрыла лицо руками. Торицкий

хотел вырваться из рук своих стражей, но осторожные гайдамаки предвидели это движение и удержали его.

— Напрасный труд, пан Торицкий,— сказал ему Гаркуша спокойно и важно.— И что мог бы ты сделать, один и безоружный, против сорока таких удальцов, как мои? Нареченного же твоего тестя сам сатана со всем своим бесовским причетом не вырвал бы теперь из моих рук. Чему быть, того не миновать; что я положил у себя на сердце, то непременно исполню.

Потом, переменив выражение лица, с улыбкою обратился он к шуту.

— Здравствуй, приятель,— сказал он ему,— да кто тебя так опоясал?

— Твоя прислуга, дядько! — отвечал шут.— Видно, они берегут мое здоровье и боялись, чтоб я не простудился. Умные люди говорят, что в сильные жары должно больше бояться простуды, нежели в трескучие морозы.

— Паливода! — сказал Гаркуша, взглянув на высокого, плечистого и курчавого цыгана своей шайки. Вижу, что здесь не без твоих проказ; шут шута далеко видит. Однако же, пока я не велел самого тебя завязать в мокрый мешок и не приложил тебе *нагайской припарки*<sup>12</sup>, так потрудись, развяжи своего товарища по ремеслу.

— Рябко не товарищ этому черномазому головорезу,— проворчал шут с заметною досадой,— у него самые дурацкие шутки; спеленал Рябка как малое дитя. А когда спеленал, так пусть и нянчит; только я наперед ему говорю, что я дитя самое упрямое и блаживое.

Между тем цыган развязал узлы, развил кушак и выпустил бедного Рябка на свободу. Первым действием шута было то, что он вцепился в черные курчавые волосы цыгана и начал трясти ему голову, приговаривая: «Вот так, так сеют мак»<sup>13</sup>.

Гаркуша громко смеялся такому неожиданному поступку шута; но рассерженный Паливода схватил жилистыми руками своего противника под бока, стиснул его, поднял вверх и конечно ударил бы его о землю, если б Гаркуша не помешал ему в том.

— Ты столько меня позабавил, что я должен тебе заплатить за это,— сказал атаман шуту.— Говори смело, чего бы ты хотел от меня?

— Прежде всего, отдай мой грош, который я тебе подал сегодня: он годится для нищей братии, а не для вашей братьи.

— Охотно,— сказал Гаркуша, сунул руку в карман и, вытащив из него червонец, подал шуту.

— Это не мой,— отвечал шут, глядя исподлобья на гайдамака,— этот запятнан, а мой был чист, как... как мои руки.

Гаркуша понял упрек. Он нахмурил брови, безмолвно опустил руку в карман, вынул несколько монет и, отыскав между ними грош, отдал его шуту. Потом, в раздумье подняв серебряный полуполтинник, поданный ему Торицким, сказал, оборотясь в ту сторону, где сидели жених и невеста:

— С этим я так легко не расстанусь: он подан мне добрыми, сострадательными душами...

И, как будто бы вдруг опомнясь или устыдясь минутной своей чувствительности, он не dokonчил речи и снова оборотился к шуту:

— Держи при себе свой чистый грош до первого старца и вместе с ним подай бедняку и мой, запятнанный. Теперь говори, чего ты еще у меня просишь?

— Вели меня отвести к моему пану. И ему и мне легче будет, когда мы вместе станем делить горе.

— Отведи его туда! — сказал Гаркуша Паливоде, а сам, поспешно вышед из палатки, велел задернуть полы оной и поставить вокруг нее шесть человек сторожевых гайдамаков.

Медленно и задумчиво шел Гаркуша к часовне; за ним, в некотором отдалении, цыган Паливода вел шута Рябка, держа за плечо и подталкивая его не весьма вежливо коленом. У часовни уже дожидалась большая толпа людей. Гайдамаки обступили служителей Просечинского, связанных друг подле друга и поставленных в полукруг. Сам толстый пан лежал посередине, зажмурив глаза, как будто бы свет солнечный действовал на него болезненным ощущением; казалось, он в каком-то онемении ждал готовившейся ему участи. Сыновья сидели по обеим его сторонам, плакали и жаловались на боль от туги затянутых веревок. Восемь гайдамаков, с длинными ножами наголо, наполняли остальную часть круга.

Когда Гаркуша подошел к кругу, гайдамаки расступились и впустили его в середину. Он стал прямо

против лица толстого пана, тронул его ногою в бок, как бы желая растолкать его или пробудить его внимание, и с важным видом, громким и внятным голосом начал ему говорить:

— Спирид Самойлович! видишь ли, до какого унижения, до какого стыда довел ты себя! Ты, богатый и спесивый пан, которого боятся и уважают соседи, которому льстят и дают поблажку низкие судовые подлипалы,— валяешься теперь, как презренная колода, связан, как последний из твоих псарей, провинившийся перед тобою. Ты, верно, жалуешься на это, считаешь такой поступок несправедливым; а кто виноват? Сам ты. Вспомни дыбы, плети, цепи и рогатки, которыми ты мучил своих *подданцев*<sup>14</sup> и дворовых людей; вспомни, что не раз я подкидывал к тебе письма, в которых увещевал тебя быть милосерднее, щедрее и грозил тебе моим гневом, если не исправишься. Ты не слушался моих увещаний, ты надеялся на ваших судовых, которые тобою закуплены и задарены; ты думал, что слова Гаркуши пройдут мимо. Знай же, до меня дошло все: и презрение, с каким ты читал мои письма, насмешливо говоря: *собака лает, ветер носит*; и твоя похвальба на меня: «я-де скручу его со всею шайкою»; и гостинцы, которые ты готовил мне и *вольным моим казакам* у себя в доме. Гаркуша не так прост, чтоб, очертя голову, кинуться в расставленные тенета; он умеет выбрать время и случай. Теперь, Спирид Самойлович, ты сам у меня в руках и должен поневоле идти на правож. Готовься со мною рассчитаться и поплатиться, а до тех пор ступай к часовне и моли бога о прощении всех твоих грехов. Я покамест займусь отеческим исправлением твоих панычей, которых сам ты не хотел или не умел учить страху божию, и оттого из них со временем вышли бы большие негодяи, ничем не лучше отца. Надобно им страх задать, чтоб помнили Гаркушу и его наставления...

— Напейся моей крови, нечестивый душегубец! — вскрикнул Просечинский, скрежеща зубами и злобно, с отчаянным остервенением взглянув на гайдамака.— Какие бы муки, какая бы смерть ни ждала меня от поганых твоих рук,— я стану молиться, чтоб тебе не миновать колеса, а гнусной твоей шайке виселицы...

Ему не дали докончить. Зверообразный гайдамак Несувид, крещеный жид Лемет и крепкотелый люби-



мец Гаркуши ускок Закрутич схватили его и поволокли к часовне. Там стал он на колени перед образом и, не сводя с него глаз, начал молиться, перечитывая шепотом все молитвы, которые приходили ему на память. Только доносившиеся до него порою крики и взвизгиванья сыновей его подергивали судорожным движением тучные его щеки, на которых выступал крупный, холодный пот. Три гайдамака, приведшие Просечинского к часовне, стояли в нескольких шагах у него за спиною, с длинными, широкими своими ножами на плечах.

## ГЛАВА XXI

Бряжчатиме ж гостра шабля  
Услід за тобою,  
Шумітиме ж нагаєчка  
Понад головою!

*Малороссийская песня*

— Пора! — раздался в ушах толстого пана грубый голос Несувида. — Пора! там ждут.

И гайдамаки снова подняли Просечинского и перенесли его на середину круга.

Бледен как полотно явился Просечинский перед самовольным своим обвинителем и судьей. Мутным взором обвел он место истязания. Прямо против него, на сундуках и подушках, покрытых дорогим его персидским ковром, сидел Гаркуша с строгим, но спокойным видом и допрашивал людей Просечинского, которые стояли на коленях и робко отвечали на вопросы. Но какую горячую кровью облилось отцовское сердце пана Просечинского, когда, с тяжким предчувствием отведя глаза в сторону, увидел он сыновей своих! Они лежали недвижно на войлоке, и на обоих накинута были красные попоны, укрывавшие их с головы до ног. Несчастный отец не взвидел света: в ушах его раздался как будто шум воды, внезапно прихлынувшей, и он уже не слышал более ни слов Гаркуши, ни ответов своей челяди.

Когда толстый пан опомнился, то почувствовал, что его обливали холодной водою. Несколько гайдамаков стояли вокруг него, держа наготове орудия тяжкого

и постыдного наказания, которое присудил ему неумолимый атаман. Гаркуша встал с своего места, подошел к нему и начал говорить:

— Я допрашивал твоих людей, пан Просечинский; они так запуганы тобою, что не смели сделать никаких показаний, и это самое уже служит доказательством жестоких твоих с ними поступков. Послушайся же моих доброжелательных увещаний: я делаю их от души, из прямой любви к ближнему! Люби, пан Просечинский, своих людей: они тебе служат; они потом и кровавыми трудами добывают то, что тебе доставляет роскошь и негу. Сам бог заповедал панам милостью служить как родных детей своих, не мучить их без пощады за малейшую вину, не томить их неумеренными трудами и голодом, не отнимать у них последних, потовых крох. Посмотри, с каким состраданием они смотрят теперь на тебя, хотя у многих из них зажили еще на теле раны, которые они от тебя же получили. Что ж, если б ты был добрым паном, другом и благодетелем твоих *подданных*? Они любили бы тебя, как отца...

Гаркуша остановился, растрогавшись сам от своих слов — искренне или притворно, того никто не мог прочесть на лице и в душе его. В характере атамана была такая чудная смесь лицемерства с добрыми природными склонностями, холодной, расчетливой мстительности с наружным правосудием и благонамеренностью, что самые приближенные его, Несувид и Закрутич, обманывались в истинных или ложных его ощущениях и не могли разгадать того, что в нем происходило. Бывали минуты, в которые можно было подумать, что он сам себя обманывал. Так, может статься, было и на этот раз. Постояв несколько минут в молчании, посмотрев медленным, пытливым взором на лица людей Просечинского и своих гайдамаков, как будто бы с желанием доведаться, верят ли они проповедническим его чувствованиям и что думают о цели его красноречия, — он продолжал тихо и с расстановкой:

— Чтобы слова мои, Спирид Самойлович, были для тебя внятнее, чтоб они дошли до твоей души и сильнее врезались в твоей памяти, то потерпи немного... Я сам из уважения к твоей особе стану считать... Эй, вольные казаки мои, принимайтесь!..

В эту минуту шут Рябко вырвался из рук Паливоды, бросился на колени перед Гаркушей и кричал сквозь слезы:

— Пан атаман! возьми мою шкуру, выкрой, пожалуйста, из нее чеботы для любого из твоих вольных казаков, только оставь в целости моего пана. Он человек старый и мягкотелый; он не выдержит твоего отеческого исправления. А у Рябка кожа загорела и загорела; смотри, она так тверда, что хоть на барабан натяни — не порвется; и Рябко готов ее сменить на новую, лишь бы пана своего вызволить...

Цыган схватил шута за полы его жупана и тащил его прочь, между тем как Гаркуша смотрел на него с хладнокровною, бесстрастною улыбкой. Видя, что на слова его не обращали внимания и что пану его не избежать пытки, Рябко вдруг вскочил, обоими локтями толкнул цыгана так сильно, что тот не удержался на ногах и принужден был выпустить полы жупана. Не теряя времени, Рябко кинулся к толстому пану, прикрыл его своим телом и как клещ уцепился за него руками и ногами.

— Натe же, режьте и ешьте меня, *катовы дети!* <sup>15</sup> — с ожесточением кричал он гайдамакам. Хоть искрошите меня в мелкие куски — я не сойду отсюда и не отстану от моего пан-отца <sup>16</sup>: умру сам, а пока жив, не дам его тела на поругание!

Гайдамаки переглядывались между собою, как бы спрашивая друг друга глазами, что из этого будет, и в нетерпеливой досаде кусали себе губы. Несувид хмурил брови и клялся себе под нос, что сквозь ребра шута дознается правды от толстого пана; никто из них не смел, однако ж, начать что либо прежде, нежели атаман даст приказание. Между тем шут подразнивал гайдамаков и накликал на себя их мщение ругательствами. Гаркуша, казалось, тешился и задорною бранью шута, и недоумением и досадою своих удальцов. Он стоял сложив руки и посматривал на все происходившее вокруг него с таким видом, с каким взрослые люди смотрят на ребят, дразнящих привязанную кошку, которая фыркает, щетинится и мечется то на того, то на другого, со всем напряжением бессильной злости.

Наконец, наскуча сим зрелищем, Гаркуша подошел к шуту, толкнул его ногою и сказал: «Вставай, приятель! вижу твое усердие и храбрость и хвалю тебя за

это: ты отчаянно защищал своего пана языком и спиной. Теперь я сам хочу доказать тебе мою благодарность за добрый твой совет и подаяние нищему: обещаю тебе, что пана твоего не тронут и пальцем...

— Вправду ли, *гядько*?

— Разве ты слышал от кого, что Гаркуша не сдержал когда-нибудь своего обещания? Только и ты обещаешь мне стоять смиренно под надзором, ни во что больше не мешаясь и не давая воли ни рукам, ни языку.

— О, пожалуй! И ты увидишь, что Рябко не хуже Гаркуши умеет держать свое слово. Бери меня, черномазый,— продолжал он, встав и оборотясь к Паливоде,— только, сделай дружбу, полегче держи меня за плеча. Ты и без того уже измял их так, что я целую неделю не смогу взяться за бандуру.

Гайдамаки пристально смотрели в лицо Гаркуши и молча ждали его повелений. Он провел указательным пальцем черту по воздуху в ту сторону, где лежали панычи,— и толстый пан мигом был туда перенесен. Просечинский сел в положении человека, который, только что быв вытасчен из воды, не может еще опомниться и собрать своих мыслей. С рассеянным видом озирался он вокруг себя, пока взор его снова остановился на сыновьях его, которые лежали затаив дух и не смея поворохнуться. Тут пробудилось участие в сердце отца: с тоскливым умилением глядел он на своих детей, но не решался заговорить с ними, боясь, чтоб ужасная истина не разрушила последней, шаткой его надежды.

Гаркуша между тем сел на прежнее свое место, и гайдамаки снова обступили его с видом ожидания. «*По оброк!*»<sup>17</sup> — промолвил он, и гайдамаки, громко и радостно вскрикнув: «*По оброк!*», рассыпались в разные стороны, кроме тех из них, которым поручено было смотреть за толстым паном, за детьми и людьми его, сторожить у палатки и пр. Часть гайдамаков бросилась к коляске, фурам и возам Просечинского, несколько человек расстилали перед Гаркушей ковры, попоны и все, что могли отыскать в обозе толстого пана; а выкрест<sup>18</sup> Лемет, подойдя к Просечинскому, с притворною, лукавою учтивостью и старинными своими жидовскими оговорками и божбами, просил его *осудить на время* атамана ключами от походных своих сундуков и баулов и, не дожидаясь ответа, начал ша-

рять у него в карманах, отыскал большую связку ключей и принес ее к Гаркуше.

Хладнокровный сторонний зритель подивился бы ловкости, сметливости и проворству, с какими гайдамаки обыскивали и опоражничали захваченный ими обоз. Из читателей наших легко могут об этом составить себе понятие те, которым случалось быть в руках французских таможенных приставов и осмотрщиков, особливо на заставе при переезде через Рейн, у Страсбурга. В минуту все было обыскано, вытаскано и снесено в одно место, и те из сундуков и шкатулок, кои заключали в себе самые ценные вещи, с редкою догадливостью были отобраны и расставлены перед атаманом.

Прежде всего Гаркуша, расспрашивая шута и других людей Просечинского, начал отбирать вещи, принадлежавшие Торицкому и Олесе. Все это откладывалось на сторону, и Гаркуша даже не отмыкал сундуков, чемоданов и шкатулок, в которых, по показаниям людей, находилась собственность панны Елены или будущего ее мужа! Атаман гайдамаков, любивший при всяком случае с некоторым хвастовством выказывать свое бескорыстие или великодушие, отложил еще значительную долю из взятых им на свой пай дорогих вещей и червонцев и, положив в шкатулку, замкнул и отослал с другим имуществом жениха и невесты в палатку, строго подтвердив гайдамакам, чтобы все было доставлено в целости.

Тогда начался подел. С видом знатока и любителя, Гаркуша рассматривал и оценивал все вещи высокой цены, к тяжкому прискорбию толстого пана, который печально смотрел на расхищение своего богатства. При открытии каждого сундука с серебром, каждого баула с золотыми деньгами или шкатулки с драгоценностями гайдамаки испускали неистовый, радостный вопль, как стая воронов при виде мясной добычи, и этот вопль болезненно отдавался в ушах и в сердце толстого пана. Надобно было видеть жадные, сверкающие взгляды корыстолюбивой вольницы, когда перед нею рассыпали мешки с червонцами и рублями или раскладывали большие серебряные стопы и чаши, дорогое оружие, золотые парчи, камки и бархат! Надобно было видеть горькие ужимки и тяжелые вздохи толстого пана, когда перед его глазами Гаркуша с

своею шайкой распивали, похвалявая, любимую его водку, сладкие его наливки и редкие заморские вина! Такое зрелище могло бы сообщить понятие о радости злых адских духов, которые, подразнивая утратою земных благ, заживо мучат бедного грешника, попавшего к ним в когти с телом и душою.

Атаман разделил всю добычу на три пая, из которых два были совершенно равные, а третий гораздо меньше двух первых и по счету, и по ценности составлявший его вещей. Один из больших паев отложил он *особо*, говоря: «Это, товарищи, для *кошевого скарба*»<sup>13</sup>, другой разложил с математической точностью на равные участки по числу гайдамаков, примолвя: «Это на *вольных казаков*». — «А это на атамана», — прибавил он, указывая на меньший пай. Тогда он отослал шута в палатку, велел поклониться от него Торицкому и Олесе и пожелать им счастливого пути, а сам подошел к Просечинскому.

— Прощай, Спирид Самойлович! — сказал Гаркуша толстому пану. — Я хотел с тобою распрощаться не так ласково; но, видно, богу было угодно, чтоб ты на этот раз отделался только страхом и потерей своих излишков. Помни, однако же, слова мои: будь милосерд к бедным и щади своих людей. Не то — как бог свят — ни высокие твои заостроженные заборы, ни крепкие твои замки и засовы не спасут тебя от Гаркуши и *вольных его казаков*. Пусть это будет тебе наветкой на первый случай. Еще раз говорю, не вынуждай меня нагрянуть к тебе в гости и знай: Гаркуша вдруг, как снег на голову, налетит там, где его не ждешь, не чаешь. Панычи твои будут, кажется, помнить мои наставления и свои клятвы, а впрочем, не бойся за них: *лоза не измучит, лишь добру научит*.

Окончив сию речь, отошел он в сторону и выстрелил из пистолета на воздух — и вдруг с разных концов прискакали еще около двадцати гайдамаков, бывших в засаде для наблюдения и подания вести в случае какой-либо опасности. Они вели с собою лошадей тех из своих товарищей, которые перед нападением на обоз, спешившись, сидели в лесу или лежали в траве. Те, которые сторожили палатки или наблюдали за связанными своими пленниками, сбежались также в одно место. Все они кинулись к своим участкам, мигом их расхватили, а Несувид и Закрутич прибрали также

паи артельный и атаманский; и между тем как Олеся, сопровождаемая Торицким и Рябком, бежала к отцу своему и братьям, гайдамаки успели уже забрать и навьючить лучших лошадей толстого пана, вскочили сами на коней, пустились во весь опор по полю вслед за атаманом — и только пыль вилась за ними густым облаком.

## ПРИМЕЧАНИЯ

*Богатому чорт діти колише* — народная малороссийская поговорка.

<sup>2</sup> Т. е. дядюшка.

<sup>3</sup> Жидкая каша, которую малороссыяне очень любят.

<sup>4</sup> *Планчита* — большой сладкий пирог с яблоками.

<sup>5</sup> Паюсная икра.

<sup>6</sup> Смысл этой песни, поющейя под музыку одного казачка, можно перевести слово в слово таким образом:

На дороге жук, жук, на дороге черный,  
Посмотри-ка, девица, какой я проворный;  
Посмотри, взгляды, каков уродился:  
Разве дашь полтину денег, чтоб поволочился.

«Колядки суть песни, которые поют вечером 25 декабря, обыкновенно под окнами, называя по именам хозяина, его детей и пр. В некоторых местах, однако ж, колядуют и целую неделю (рождественских святков), которая и называется *колядами*». — Максимович. Малороссийские песни.

<sup>8</sup> *Шленским* называлось и поныне называется в Малороссии саксонское столовое бельё: Шленск — Силезия. В старину чумаки малороссийские; ходившие с обозами на волах даже в Бреславль вывозили оттуда сие бельё.

<sup>9</sup> Зарная водка. Заря (растение) называется в Малороссии *любиста*.

<sup>10</sup> Нищие в Малороссии обыкновенно называются старцами.

<sup>11</sup> Олеся — Аленушка, уменьшительное имени Елена.

<sup>12</sup> Плети в Малороссии называются нагайками.

<sup>13</sup> Ой так, так

Сіють мак!

Это малороссийская игра, которую часто забавляются деревенские ребяташки.

<sup>14</sup> В старину крестьяне малороссийские могли произвольно переходить от одного помещика к другому, селиться на землях его из рабочих дней или из ченьши (род оброка) и потому назывались

подданцами, как бы поддающимися временно и по собственному желанию.

<sup>15</sup> Кат — по-малороссийски значит палач. Выражение *катовы гети* соответствует французскому: *gibier de potence*.

<sup>16</sup> Пан-отец, в звательном падеже *пан-отче*, почти то же, что по-русски *государь-батюшка*.

<sup>17</sup> По малороссийскому выражению: *до ченьши*. Это значило на языке нашего гайдамака забирать добычу и сносить ее в одно место для дележа.

<sup>18</sup> *Выкрестами* называются в Малороссии окрещенные жиды.

<sup>19</sup> *Кошевой скарб* — общественная казна или имущество. *Кош* на языке малороссийских казаков значит общество, мир, артель.

## ГЛАВА XXVII

### НОЧЛЕГ ГАЙДАМАКОВ

Як вїїхав козаченько в чистее поле,  
Пустив свого кониченька на попасанне,  
А сам припав к сирїй землі на спочиванне.  
Та й приснився козаченьку дивнеський сон...

*Малороссийская песня*

Табор гайдамаков расположился в чаще леса, на поляне. Гайдамаки, по обыкновению своему, развесья из предосторожности войлоки и циновки по сучьям деревьев, зажгли костры и начали готовить себе ужин. Для атамана, его приближенных и других старшин шайки поставлены были два полстяные шатра, наподобие калмыцких кибиток. В одном из сих шатров, на войлоках и бурках, отдыхал Гаркуша, окруженный теми из гайдамаков, к которым питал он более приязни или оказывал более доверия. Это были: угрюмый Несувид, который под суровою наружностью хранил испытанную верность и преданность к своему атаману-товарищу; ускак Закрутич, готовый всегда по слову Гаркуши идти в огонь и в воду и одаренный необычайною телесною силою; Лесько, или Алексей, молодой промотавшийся чумак, которому от гайдамаков дано было прозвание *Лесько Мотыга*; этот молодец нравился Гаркуше своею неизменною веселостью, беззаботностью о будущем и открытым, простосердечным своим взглядом. Четвертый из любимцев Гаркуши был семнадцатилетний мальчик, Ивась, любивший атамана,



как родного отца. Ивась имел весьма приятную наружность и забавлял иногда Гаркушу в свободное время своим пением и пляскою, но никогда не был еще употреблен во время разъездов и набегов, а оставался всегда при обозе, с запасными. Никто из гайдамаков не знал, кто он был и какого рода; в одну бурную осеннюю ночь атаман, возвратясь из одинокой своей отлучки, привел с собою этого мальчика и с тех пор заботился о нем, как о ближайшем своем родственнике. Гайдамаки все полюбили Ивася за его тихость и детскую чистоту души — свойства, которые нередко нравятся и самым закоснелым злодеям; но не спрашивали или не смели спрашивать о нем у Гаркуши, ибо никто из них не решился бы выведывать у атамана своего тайны, которой он сам не хотел им вверить. В других, важнейших случаях Гаркуша не допускал их ни до каких сомнений и первый объявлял им то, о чем нужно им было знать.

Второй шатер оставлен был в распоряжении Товпеги, Паливоды и еще пяти или шести урядников или десятников, поставленных в это звание Гаркушею, между коими обыкновенно втирался туда выкрест Лемет, который, по старой еврейской своей привычке, умел всегда подделываться к старшим, прислуживаться им, словом, быть для них почти необходимым и чрез то извлекать для себя множество мелких выгод. Прочие гайдамаки, приставя коней своих к вязанкам травы, захваченной ими по дороге, либо сидели у огня и ждали ужина, либо, укрывшись бурками и свитами, лежали в разных местах табора.

После ужина, за которым атаман всегда ел из одного котла со всеми людьми своей шайки, кроме сторожевых, назначавшихся по наряду, Гаркуша ранее обыкновенного ушел в свой шатер; Несувид, Закрутич, Ивась и Лесько также отправились туда почти вслед за ним.

— Чудное дело! — сказал атаман после долгого молчания, когда он и четверо его товарищей улеглись, не раздеваясь, на своих подстилках. — Вот уже с полгода, как меня что-то тянет на мою родину, которая, помню, как сквозь сон, должна быть здесь, около степной деревни пана Просечинского. Мне все кажется, что я не буду ни счастлив, и спокоен, пока не увижу снова тех мест, где росло мое детство. Почти каждую ночь неведомо кто обещает мне во сне что-то смутное в

здешнем краю: и радость, и горе... коротко сказать, сам я ничего не разберу в этих сонных грезах, а никак не могу выбить их из головы.

— Что ж? может быть, сердце вещует тебе все доброе, а сон твой и в самом деле сулит тебе что-нибудь такое, о чем сначала, как ни раскидывай нашим коротким умом — не разгадаешь прежде, чем наяву сбудется, — сказал Закрутич.

— А ты веришь снам? — спросил у него Гаркуша.

— Не шути, атаман, снами: между ними есть такие, которые посылаются на человека, чтоб он выводил из них себе пользу или остерегался от чего нужно.

— Я и позабыл было, — молвил Гаркуша, — что ты родился в такой стороне, где больше всего верят бабьим бредням.

— Атаман ничему не верит, — вплелся в их разговор Лесько. — А я скажу, что тот, кто так близко видел ведьму, как я, поневоле станет верить всем таким диковинкам.

— А ты видел ведьму? — спросил у него Гаркуша с насмешливым любопытством.

— Не то, чтобы видел, — отвечал Лесько, — а вот как было дело: когда мне было лет девятнадцать, тогда в летнюю пору я спал каждую ночь на дворе, для того что в хате было душно и чтобы по ночам стеречь скотный двор. Вот в одно время, только что я улегся, только свел глаза, — вдруг подошло ко мне что-то, наклонилось и дохнуло на меня таким холодным духом, что я весь закоченел: ни руки, ни ноги не смог повернуть, ни глаз открыть; а только слышал, как оно<sup>1</sup> пошло на скотный двор, как доило наших коров, у которых к утру не осталось ни капли молока. У меня была тогда лихая собака, ярчук, да еще и с волчьим зубом<sup>2</sup>; на другую ночь я привязал моего Рябка под телегой, на которой сам спал. Около полуночи слышу, ярчук мой так и заливается, и мечется из-под телеги. Я спустил его с привязи, он и бросился к плетню в конце двора, и залаял и зарычал пуще прежнего. Погодя немного там что-то вскрикнуло женским голо-сом, как будто от сильной боли. Я поглядел в ту сторону — ворота были заперты; только, еще спустя миг-другой, что-то шасть через плетень, инда земля застонала. Ночь была темна, ничего нельзя было разглядеть порядком; а на рассвете нашел я у плетня

подле ворот лоскуток *намитки*<sup>3</sup>, как видно, оторванный у ведьмы моим ярчуком.

— Поэтому ты видел не ведьму, а только лоскуток ее *намитки*? — промолвил атаман, когда Лесько окончил свой рассказ.

— Да, — отвечал Лесько, — с меня и этого довольно.

— Когда у нас пошло на рассказы, — говорил Гаркуша, — то я напому тебе, Закрутич, о твоём обещании, которое до сих пор оставалось за тобой в долгу. Ты когда-то сулил мне рассказать свои похождения.

— Мои похождения, атаман, не важны, и повесть о них не долга. Родину мою ты знаешь; я родился в одном селении, неподалеку от Звониграда; отец и мать мои были люди бедные и покинули меня на этом свете без всякого достатка, без роду и племени, когда мне только что минуло семнадцать лет: оба они сошли в могилу ровно через две недели друг после друга. Спустя полгода по смерти их я спознал с молодой Хавой<sup>4</sup>, дочерью богатого и гордого морлака в нашем селении, Яцинта Порадича. Хава была очень пригожа лицом, так пригожа, что у меня и теперь еще бьется сердце, когда о ней вспомню. Ее любил и племянник нашего *войводы*; только Хава любила одного меня, за то, что я был виднее собою, удалее и складывал для нее морлацкие песни. Вот однажды Хава сказала мне: «Вуко Закрутич! принеси мне ожерелье из червонцев — и я твоя». Тогда же начал я подумывать, как бы уйти в горы, к гайдукам, и с ними награть червонцев у богатых турецких беев и аянов в Боснии; как вдруг меня в одно утро схватили, отвезли в Звониград и записали в *пандуры*<sup>5</sup>, по проискам *войводского* племянника, который, видно, дознался, что Хава меня любила. Не долго, однако ж, удалось им погулять надо мною: я и спал и видел, как бы сделаться *ускоком*<sup>6</sup>. Скоро мне удалось это *спроворить*: я был таков, и убрался *исподтишка* в горы, где знакомые гайдуки очень радушно приняли меня в свои товарищи. Два года я ходил с ними на добычу по разным местам Далмации и Боснии; червонцев у меня появилось столько, что стало бы на десять ожерелий. Тут я вздумал навестить Хавы и, если можно, увезти ее с собою в горы. Конь у меня был как зверь: не знал усталости и птицею летал по самым трудным местам. Ночью прискакал я к дому Порадича. Окно светлицы, в которой сживала

Хава, было в сад; я пробрался туда и увидел, что окно было отворено и Хава сидела одна в светлице, за работой. Бедняжка была задумчива, как будто не примечала ничего вокруг себя, и, сдавалось, грустила о чем-то, может быть обо мне. Я тихонько влез в окно, подошел к ней, хотел взложить ей на шею ожерелье из червонцев,— как вдруг она оглянулась, задрожала всем телом, вскрикнула: «Вампир! Вампир!»— и без памяти ударилась об пол. На крик ее сбежались отец, мать, вся дворня, и все, указывая на меня, кричали: «Вампир! Вампир!» Крик этот скоро разлился по всей деревне; все сбежались, кто с винтовкой, кто с ганцаром, кто с ятаганом<sup>7</sup>. Я видел, что мне со всеми сладить было нельзя, и бросился из окна в сад. «Бейте его!» — заревел старый Порадич, сам выстрелил в меня из пистолета и ранил меня в левое плечо; но я добежал до своего коня, вскочил на него и опрометью помчался из селения. По улицам бегала толпа народа с зажженными пучками соломы и с разным оружием; увидя меня, все кричали: «Вампир! Вампир!», стреляли в меня, бросали камнями и чем попадая; однако ж, спасибо доброму моему коню, он вынес меня из этого ада без дальних ран. Долго еще отдавался в ушах моих крик бешеной толпы: «Вампир! Вампир!», и я не мог ума приложить, как никто из прежних моих знакомых не узнал меня, да и сама Хава не могла распознать моего лица. Отбежав от селения примерно верст семь, конь мой вдруг зашатался и упал; я соскочил с него вовремя. Тогда только я заметил, что верный мой товарищ сам был изранен в четырех местах пулями. Время было подумать об нем и обо мне самом. Я издрал дорожную турецкую шаль, отбитую мной у одного босняцкого бея, перевязал раны бедному моему коню и свое плечо. Голова у меня закружилась от сильной потери крови; я упал и не помню, что после со мною было. Когда ж я опомнился, то увидел себя в келье; около меня сидело двое монахов, которые старались меня привести в чувство и подать мне всякую помощь. Какой-то добрый старец их монастыря нашел меня и коня моего рано поутру подле дороги. Верного моего товарища уже не было в живых; но во мне монах заметил признаки жизни. Он позвал еще троих братьев, и вместе они перенесли меня в свой монастырь. Чрез неделю я почти совсем оправился старанием честных

отцов; отдал на их монастырь все червонцы, которые сберегал для Хавы, и пешком уже отправился в горы к гайдукам. Мой побратим<sup>8</sup>, молодой гайдук Юра Радивоич, встретил меня по дороге и сказал мне, что Янко Лепан, племянник войводы, и Яцинт Порадич подсылали к гайдукам какого-то переметчика, который распустил в горах слухи, что я служил с пандурами, был убит в одной сшибке с гайдуками и теперь брожу вампиром, чтоб отомстить гайдукам за смерть мою. «Этому слуху все поверили,— примолвил Юра,— и стерегут тебя, чтоб убить и разорвать тебя по частям с обрядами, какими в обычае у нас прогонять вампира с этого света». Тут только я понял и страх Хавы, и окрик, который на меня дали по всей деревне: лиходеи мои взвели на меня такую небылицу, чтоб оторвать от меня сердце Хавы и принудить ее выйти за Янка.

Нечего было делать: я не хотел идти на вольную смерть и понести с собою в могилу проклятие всех честных людей. Мне должно было проститься навеки с моею родиной; но прежде я хотел кровавыми слезами отлиться Янку Лепану и Яцинту Порадичу. Короче: помня пословицу моей родимой стороны *кто не отомстится, тот не освятится*<sup>9</sup>, я положил у себя на душе страшную клятву — извести моих злодеев во что бы то ни стало. С помощью моего побратима собрал я все, что имел, достал другого коня, простился с добрым моим Юрой и отправился туда, куда манила меня кровь заклятых моих неприятелей. Днем прятался я в скрытных местах, а ночью бродил, как мертвец, около селения и выжидал случая выполнить мою клятву. Она была выполнена: Янко Лепан и Яцинт Порадич от моей руки пошли в могилу; Хава, как я узнал от сторонних людей, скоро после первого моего появления умерла со страха и горести; а я долго бродил из края в край, зашел в Польшу, оттуда в Киев, где встретился с тобою, атаман. Остальное ты знаешь, так же хорошо, как и я сам.

— Так в вашем краю очень верят тому, будто бы есть вампиры на свете? — спросил Гаркуша у Закрутича.

— Да нельзя и не верить,— отвечал ускок,— после того, что я слышал в горах от одного старого гайдука.

— Что же ты слышал?

— Это длинный рассказ, атаман; боюсь, чтоб он тебе не наскучил. Ты, может быть, утомился и хочешь уснуть...

— Ничего, рассказывай. Уснуть я так же хорошо могу под шум твоих речей, как и под вой этого ветра.

— Да, ветер поднялся сильный; так и колышет деревьями, инда корни скрипят; а ночь темна, хоть глаз выколи...— сказал Закрутич, привстав и выглянув из шатра.

— Вот самая пора бродить мертвецам либо нашей братье,— примолвил Лесько.

— Только, верно, не тебе,— перебил его речь Гаркуша,— тебя, думаю, и по шее не выбил бы одного в такую пору. Однако ж, не мешай Закрутичу забавлять нас своим рассказом.

— Когда на то твоя воля, атаман,— сказал Закрутич,— то будь по-твоему. Наперед всего я должен сказать тебе, что я знал в горах одного лихого гайдука, у которого в седых усах было, верно, больше отваги, чем у многих из нас в целом теле. Старый Скорба не боялся ни сабли, ни пистолетов, ни ружья турецкого, и я думаю, не побоялся бы самого сатаны. Везде он шел грудью вперед, как бы ни велика была опасность; никогда не спрашивал, много ли неприятеля, а только далеко ли до него. В одну ночь шел я с ним и другими гайдуками на добычу: это было в Боснии. Ночь была месячна, и я заметил, что седой наш удалец часто поглядывал в сторону, на косогор, где было турецкое кладбище. «Что ты там видишь, товарищ?» — спросили мы у него. «Ничего покамест», — отвечал он. «А разве случалось тебе видать что-либо в такую пору?» — «Поживете с мое, так и вы увидите», — промолвил он. «А все не худо бы узнать о том для переду», — сказали мы в один голос. «Ну, так слушайте», — был его ответ. Тут он начал нам рассказывать страшную бль...

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> По-малороссийски *воно* — самое вспомогательное местоимение у простого народа в Малороссии. *Воно* заменяет многие фразы, названия предметов неизвестных или непонятных и даже употребляется в смысле ироническом, для указания на такое лицо, которого,

в силу малороссийского остроумия, не хотят назвать собственным его именем. При таком обширном значении сия частица речи имеет на языке малороссиян особую выразительность и весьма кстати употребляется в лаконическом их разговоре.

<sup>2</sup> *Ярчук* — собака, родившаяся с шестью пальцами на передних лапах. Такая игра природы нередко замечается на дворняжках. Простолудие приписывает сим шестипалым собакам чудное свойство: узнавать ведьму по духу, видеть ее, даже нападать на нее и кусать ее своими зубами. Волчий зуб, по суеверным приметам поселян, дает собаке бодрость и силу бросаться на волка и загрызть его. Рябко, Серко, Бровко, Рудый — обыкновенные названия собак у малороссиян, которые в этом держатся русской пословицы и *дают собаке кличку по шерсти*.

<sup>3</sup> *Намитка* — покрывало из тонкого полотна или белой кисеи, которое замужние малороссиянки повязывают поверх очипка или кички, головного их убора, распуская длинными концами по плечам.

<sup>4</sup> *Хава* — Ева.

<sup>5</sup> *Пандуры* — полицейские солдаты в Иллирийских областях.

<sup>6</sup> *Ускок* значит беглец, ушедший из войска.

<sup>7</sup> *Ганцарь* (*hanzar*) — испорченное турецкое слово: канджар, т. е. кинжал; *ятаган* — кривой, серпообразный нож или косырь, с лезвием изнутри; название его также турецкое.

<sup>8</sup> У морлаков и черногорцев два человека нередко торжественно братаются между собою на жизнь и на смерть. Такие присяжные братья называются побратимами. Почти не было примеров, чтобы побратим изменил своему побратиму. Сей обычай присяжного родства водится и между женщинами, которые называются посестримами.

<sup>9</sup> На морлацком наречии пословица сия: *Ко се не освети, он се не посвети*, составляет игру слов. Освета значит у морлаков и освящение и мщение.

## КУПАЛОВ ВЕЧЕР

*Из малороссийских былей и небылиц*

Витязь Кончислав ехал ночью по берегу Днепра, возвращаясь из дальних походов в стольный град Киев, ко двору ясного солнышка, ласкового князя Владимира.

Светлый месяц катился по темно-синему небу и отсвечивал бледно-желтые лучи свои на богатырских доспехах Кончиславовых. Витязь думал крепкую думу. Когда он оставил стольный град и двор Владимира

ясного солнышка, тогда люди киевские веровали Перуну, Купалу, Велесу и Золотой бабе; теперь, еще на чужбине, перепала к богатырю весточка, что кумиры славянские разбиты и потоплены, а в Киеве красуются храмы Бога Живого и сияют кресты на золотых маковках. Грешное сомнение и презорливая гордость закрались в душу витязя. Он думал: «Когда Князь и все люди Киевские изменили старым богам своим, то Кончислав один останется им верен».

Светлый месяц катился по темно-синему небу, и бледно-желтые лучи его скользили по белым полотняным ставкам, раскинутым в одной веселой долине, куда лежал путь Кончиславов. Шум, песни, звон гуслей и соловьиные посвисты свирелей далеко разносились по долине. Витязь толкнул бодцем своего верного коня и пустился к ликующим. Белые тени мелькали перед ним на поляне, в стороне от ставок, перед ярко горящими огнями. Витязь подъезжает туда — и целая вереница красных девушек подбегает к нему, схватятся рука за руку. Девушки, одна другой краше, одна другой милее, окружают витязя и умильно зовут его сойти с борзого коня и веселиться с ними. Из хоровода выскочила девушка самая пригожая, самая резвая, самая приветливая, подлетела птичкой к витязю, схватила его за руку и молвила:

— Сегодня Купалов вечер, храбрый, могучий богатырь! Мы все держимся старой веры и ушли сюда из стольного Киева, чтобы здесь на приволье скакать через зажженные костры и плясками праздновать нашего бога. Знаем, витязь Кончислав, что и ты из наших: кроме тебя, все витязи отступились от веры отцовской. Сойди с коня и пируй с нами!

Витязь проворно соскочил с коня, которого с веселым криком и визгом увели другие девушки. Кончислав остался глаз на глаз с приветливою незнакомкой; соколиный взор витязя загорелся огнем желания; высокая грудь его волновалась и силилась вырваться из берегов своих. Идучи рука об руку с красавицей и склоняясь головою на белое плечо ее, он спросил умильным голосом:

— Как тебя зовут, красная девица?

— Меня зовут Усладой, — отвечала она с таким взглядом и усмешкой, что у витязя огонь пробежал по



всем жилам и кровь пронзительным пламенем прихлынула к сердцу.

Девушки не возвращались. Кончислав и Услава прыгали только вдвоем через огонь перед истуканом Купаловым. Игривость и одушевленный смех милой девушки совершенно очаровали витязя. И вдруг красавица, схватя его за руку и взглянув ему в лицо с страстною, щиплющею за сердце улыбкой, указала на одну ставку и быстро туда побежала, легка и стройна, как юная серна. Витязь побежал за нею, догнал ее у самого входа ставки, обвил рукою гибкий стан девушки, и вместе, сплетясь в нежных объятиях, ускользнули они под белый, волнистый кров шатра.

— Что так холодны твои поцелуи, милая красавица? — молвил Кончислав, опомнившись от первого упоения. — Они словно льдом осыпают мое сердце.

Услава только смеялась в ответ и ласково щекотала витязя.

— Здесь сыро и холодно, — сказал он снова, — меня смертная дрожь пронимает до самых костей.

Услава все громче и громче смеялась, сильнее и сильнее щекотала витязя.

— Нет, это нестерпимо! — вскричал Кончислав, усиливаясь вырваться из объятий красавицы. — И в самый день Коляды<sup>1</sup> я никогда не терпел такого мучительного озноба!

В это мгновение что-то зашумело и заволновалось вокруг ставки. Витязь поднял глаза вверх... Седые, пенные волны бурно клубились над ним. Не было уже ставки: только белая пена завивалась кудрями на том месте, где прежде трепетали от ночного ветерка полотняные полога ее... Витязь взглянул на Усладу... перед ним сидела, ему коварно усмеялась злобная Русалка, которой зеленые, длинные волосы мшистым шелком упали на бледные, обнаженные плеча и на грудь, холодную, как вечные льды Кавказа. И вмиг она снова залилась громким, исступленным смехом; и вмиг волны набежали еще яростнее прежнего, налегали на Кончислава, теснили его дыхание, все ближе и ближе, пока наконец совсем поглотили витязя, отвергавшего в душе своей приветные призывы Благочестия.

---

<sup>1</sup> День Коляды был, по нашему счислению, 24 декабря; следовательно среди зимы.

## БРОДЯЩИЙ ОГОНЬ

*Из малороссийских былей и небылиц*

Скачет, летит богатырь к Киеву. На богатыре доспехи вороненые, и булатный меч его, висящий на серебряной цепи, тяжело бьет по ребрам коня борзого, богатырева товарища верного. Не с пышного пира княжеского возвращается витязь: возвращается он с пира кровавого, где острый меч его начертал глубокими браздами на телах касожских имя Велесиово.

Скачет, летит богатырь к Киеву. Там ждет его невеста верная, Милава прекрасная. Давно уже витязь и дева юная обменялись кольцами; и только война суровая разлучила на время два сердца, тлевшие пламенем чистым, предпразднеством пламенников брачных.

Но что за синий, перелетный огонек мелькает в туманной мгле зыблущимся светом? Витязь ограждает себя крестным знаменем, думая, что то был дух, искунитель путников; но огонек не исчезает и дале, дале переносится с приближением Велесиала.

«Если ты дух, то исчезни; если чародей, то яви свою враждебную силу в борьбе со мною!» — воскликнул витязь и бодро пустился вслед за обманчивым сиянием. Борзый конь, храпя, перескакивает чрез ограду, и витязь мчится по могилам, и синий огонек перелетает с одной на другую, беспрестанно уносясь от витязя.

Печально было место, где скакал тогда богатырь: то было селение усопших — кладбище мирное. Вот синий огонек на одной могиле затеплился постоянным светом. Витязь туда... то была свежая могила: примятый дерн еще не успел подняться на ней ковром бархатным. И вдруг синий огонек исчез — и густой мрак охватил окрестность.

Конь богатыря храпел и, приклонив голову, бил копытом землю. Вещая тоска впилась в ретивое сердце; витязь молвил: «Не добро ты чуешь, борзый конь, верный мой товарищ! не к радости ты занываешь, бедное сердце! Видно, здесь положен предел пути моего; видно, здесь похоронены все мои радости».

И, сошед с коня, витязь припал ко кресту могильному, как будто в нем только видел все родное в жизни. Конь стоял по-прежнему с поникшей головою и бил копытами землю. Долго грустные думы сменялись в

душе Велесиля; наконец легкий сон спорхнул на его вежди.

И видит он: из райских сеней, из садов вечнозеленых выглядывает лик Милавы, сияющий зарею бессмертия. Милава приветливою, неземной улыбкой манит к себе жениха... И вдруг ужасный гром, разразившись в воздухе, упал огненной струею и прервал видение... Конь взвился на дыбы; но витязь сидел недвижим.

Тихое утро ясно горело после бурной ночи. Люди пришли на кладбище отдать последний долг одному усопшему собрату. Они нашли Велесиля мертвого на могиле прекрасной Милавы.

## КИЕВСКИЕ ВЕДЬМЫ

Молодой казак Киевского полка, Федор Блискавка, возвратился на свою родину из похода против утеснителей Малороссии, ляхов. Храбрый гетман войска Малороссийского, Тарас Трясила, после знаменитой Тарасовой ночи, в которую он разбил высокомерного Конецпольского, выгнал ляхов из многих мест Малороссии, очистив оные и от коварных *подножков*<sup>1</sup> польских, жидов предателей. Много их пало от руки ожесточенных казаков, которые, добывая их, напевали те же самые ругательства, каковыми незадолго пред тем жида оскорбляли православных. Все было припомнито: и наущничество жидов, и услужливость их полякам, и мытарство их, и содержание на аренде церковей божих, и продажа непомерною ценою святых пасок к Светлому Христову Воскресению. Само по себе разумеется, что имущество сих малодушных иноверцев было пощажено столь же мало, как и жизнь их. Казаки возвратились в дома свои, обременясь богатою добычей, которую считали весьма законною и которую летописец Малороссии оправдывает в душе своей, рассудив, сколь несправедно было стяжание вы-

---

<sup>1</sup> *Подножек* (пидножок) раб, прислужник, припадающий к ногам. Гетман Брюховецкий писал к царю Алексею Михайловичу: «Вашего царского пресветлого величества, благодателя моего милостивого верный холоп и нижний подножок пресветлого престола, боярин и гетман верного войска вашего царского пресветлого величества запорожского Ивашка Брюховецкий».

ходцев иудейских. Это было справедливым возмездием за утеснения; и в сем случае казаки, можно сказать, забирали обратно свою собственность.

Те, которые знали Федора Блискавку, как лихого казака, догадывались, что он пришел домой не с пустыми руками. И в самом деле, при каждой расплате с шинкаркой или с бандуристами он вытаскивал у себя из *кишени*<sup>1</sup> целую горсть *дукатов*, а польскими *злотыми* только что не швырял по улицам. При взгляде на золото разгорались глаза у шинкарей и *крамарей*<sup>2</sup>, а при взгляде на казака разгорались щеки у девиц и молодежи. И было от чего: Федора Блискавку не даром все звали лихим казаком. Высокий его рост с молодецкою осанкой, статное, крепкое сложение тела, черные усы, которые он гордо покручивал, его молодость, красота и завзятость<sup>3</sup> хоть бы кому могли вскружить голову. Мудрено ли, что молодые киевлянки поглядывали на него с лукавою, приветливою усмешкой и что каждая из них рада была, когда он заводил с нею речь или позволял себе какую-нибудь незасторную вольность в обхождении?

*Перекупки*<sup>4</sup> на Печерске и на Подоле<sup>5</sup> знали его все, от первой до последней, и с довольными лицами перемигивались между собою, когда, бывало, он идет по базару. Они ждали этого как ворон крови, потому что Федор Блискавка, из казацкого молодечества, расталкивал у них латки с *кнышами*, *сластенами* либо *черешнями*<sup>6</sup> и раскатывал на все стороны большие вороха арбузов и дынь, а после платил за все втрое.

— Что так давно не видать нашего завязатого? — говорила одна из подольских перекупок своей соседке. — Без него и продажа не в продажу: сидишь, сидишь, а ни десятой доли в целый день не выручишь того, чем от него поживишься за один миг.

<sup>1</sup> *Кишень* — карман.

<sup>2</sup> *Крамарь* — мелочной торговец красным товаром.

<sup>3</sup> *Завзятость* — удалство, молодечество.

<sup>4</sup> *Перекупка* — рыночная торговка, продающая плоды, овощи и т. п. — *Перекупками* называются они потому, что покупают сии произведения дешевою ценою у сельских жителей и продают дороже в городе.

<sup>5</sup> *Печерск* и *Погол* — части города Киева.

<sup>6</sup> *Кныши* — род саек; *сластены* — оладьи. *Черешни* — небольшие сливы, похожие на французские *mirabelles* и очень сладкие.

— До того ли ему! — отвечала соседка. — Видишь, он увивается около Катруси Ланцюговны. С нею теперь спознался, так и на базарах не показывается.

— А чем Ланцюговна ему не невеста? — вмешалась в разговор их третья перекупка. — Дивчина как маков цвет; поглядеть — так волей и неволей скажешь: красавица! Волосы как смоль, черная бровь, черный глаз, и ростом и статью взяла; одна усмешка ее с ума сводит всех парубков. Да и мать ее — женщина не бедная; скупа, правда, старая карга! зато денег у нее столько, что хоть лопатой гребти.

— Все это так, — подхватила первая, — только про старую Ланцюжиху недобрая слава идет. Все говорят — наше место свято! — будто она ведьма.

— Слыхала и я такие слухи, кумушки, — заметила вторая. — Сосед Панчоха сам однажды видел своими глазами, как старая Ланцюжиха вылетела из трубы и отправилась, видно, на шабаш...

— Да мало ли чего можно о ней рассказать! — перебила ее первая. — Вот у Петра Дзюбенка извела она корову, у Юрчевских отравила собак за то, что одна из них была ярчук<sup>1</sup> и узнавала ведьму по духу. А с Ничипором Проталием, поссорившись за огород, сделала то, что не приведи Бог и слышать.

— Что, что такое? — вскричали с любопытством две другие перекупки.

— Ну, да уж что будет, то будет, а к слову пришлось рассказать. Старая Ланцюжиха испортила Ничипорову дочку так, что хоть брось. Теперь бедная Докийка то мяучит кошкой и царапается на стену, то лает собакой и кажет зубы, то стрекочет сорокой и прыгает на одной ножке...

— Полно вам щебетать, пустомели! — перервала их разговор одна старая перекупка с недобрим видом, поглядывая на всех такими глазами, с какими злая собака рычит на прохожих. — Толковали бы вы про себя, а не про других, — продолжала она отрывисто и сердито, — у вас все пожилые женщины с достатком — ведьмы; а на свои хвосты так вы не оглянетесь.

Все перекупки невольно вскрикнули при последних

---

<sup>1</sup> Ярчук — собака, родившаяся с шестью пальцами и, по мало-российскому поверью, имеющая природный дар узнавать ведьм по духу, даже кусать их.

словах старухи, но мигом унялись; ибо не смели с нею ссориться: про нее тоже шла тишком молва, что и она принадлежала к кагалу<sup>1</sup> киевских ведьм.

Нашлись, однако же, добрые люди, которые хотели предостеречь Федора Блискавку от женитьбы на Катрусе Ланцюговне; но молодой казак смеялся им в глаза, отнюдь не думая отстать от Катруси. Да как было и верить чужим наговорам? Милая девушка смотрела на него так невинно, так добросердечно, улыбалась ему так умильно, что хотя бы целый Киев собрался на площади у Льва и присягнул в том, что мать ее точно ведьма — и тогда бы Федор не поверил этому.

Он ввел молодую хозяйку в свой дом. Старая Ланцюжиха осталась в своей хате одна и отказалась от приглашения своего зятя перейти к нему на житье, дав ему такой ответ, что ей, по старым ее привычкам, нельзя было б ужиться с молодыми людьми. Федор Блискавка не мог нарадоваться, глядя на милую жену свою, не мог нахвалиться ею. И жаркие ласки, и пламенные поцелуи, и угодность ее мужу своему, и досужество в домашнем быту — все было по сердцу нашему казаку. Странно казалось ему только то, что жена его, среди самых сладостных излиятий супружеской нежности вдруг иногда становилась грустна, тяжело вздыхала, и даже слезы навертывались у ней на глазах; иногда же он подмечал такие взоры больших черных ее глаз, что у него невольно холод пробежал по жилам. Особливо замечал он это под исход месяца. Тогда жена его делалась мрачною, отвечала ему коротко и неохотно, и, казалось, какая-то тоска грызла ее за сердце. В это время все было не по ней: и ласки мужа, и приветы друзей его, и хозяйственные заботы; как будто Божий мир становился ей тесен, как будто она рвалась куда-то, но с отвращением, с крайним насилием самой себе и словно по некоторому непреодолимому влечению. Порой заметно было, что она хотела в чем-то открыться мужу; но всякий раз тяжкая тайна залегала у ней в груди, теснила ее — и только смертная бледность, потоки слез и трепет всего ее тела открывали мужу ее, что тут было нечто не просто: более никакого признания не мог он от нее

---

<sup>1</sup> *Кагал* — синагога или сборище.

добиться. Катруся, вдруг овладев собою, оживлялась, начинала смеяться; играть как дитя и ласкать своего мужа больше прежнего; потом уверяла его, что это был болезненный припадок от порчи, брошенной на нее с малолетства дурным глазом какой-то злой старухи; но что это не бывает продолжительно. Федор верил ей, потому что любил жену свою и сверх того видал примеры подобной порчи или болезни.

Однако, под исход месяца, с наступлением ночи всегда замечал он в жене своей необыкновенное беспокойство. Она видимо начинала чего-то бояться, поминутно вздрагивала и бледнела час от часу более. Хотел он дознаться причины тому, но это было сверх сил его: всякий раз, когда он с вечера подмечал в Катруссе какое-то душевное волнение, какую-то скрытную тревогу,— неразгадаемый, глубокий сон одолевал его, лишь только он припадал головою к подушкам. Сам ли он догадался, или добрые люди надумили, только однажды, в такую ночь под исход месяца, Федор, ложась в постелю, начал шарить рукой у себя под подушкой и нашел узелок каких-то трав. Едва он дотронулся до них рукою, вдруг почувствовал, что рука стала тяжелеть и кровь утихать в ней мало-помалу, как будто засыпая. Жена его на тот раз была занята хозяйственными хлопотами и не примечала за ним. Федор мигом отдернул форточку у окна и выбросил узелок. Дворная собака, лежавшая на приспе<sup>1</sup>, вероятно, думала, что бросили ей кость или другую поживу; она встала, отряхнулась, с одного скачка очутилась над узелком и начала его обнюхивать; но только что понюхала, как зашаталась, упала и заснула крепким сном. «Эге! так вот отчего и я спал, дорогая моя женушка!» — подумал Федор. Сомнения его отчасти подтвердились; но чтобы совершенно убедиться в ужасной тайне и не навести подозрения жене своей, он притворился спящим и храпел так, как будто бы трое суток провел без сна. Катруся, возвратясь из клетки, куда она выносила остатки ужина, подошла к своему мужу, положила руку на его грудь, поглядела ему в лицо и, тяжело вздохнув, отошла к печи. Федор Блоскавка, не переставая храпеть изо всей силы, открыл до половины глаза и следил ими за своею женою.

---

<sup>1</sup> Приспа — завалина, земляная насыпь вокруг хаты.

Он видел, как она развела в печи огонь, как поставила на уголья горшок с водою, как начала в него бросать какие-то снадобья, приговаривая вполголоса странные, дикие для слуха слова. Внимание Федора увеличивалось с каждою минутою: страх, гнев и любопытство боролись в нем; наконец последнее взяло верх. Притворяясь по-прежнему спящим, он высматривал, что будет далее.

Когда в горшке вода закипела белым ключом, то над ним как будто прошумела буря, как будто застучал крупный дождь, как будто прогремел сильный гром; наконец раздалось из него писклявым и резким голосом, похожим на визг железа, чертящего по точилу, трижды слово: «Лети, лети, лети!» Тут Катруся поспешно натерлась какою-то мазью и улетела в трубу.

Дрожь проняла бедного казака, так что зуб на зуб не попадал. Теперь уже нет больше сомнения: жена его ведьма; он сам видел, как она снаряжалась, как отправилась на шабаш. На что решиться? В тогдашнем волнении чувств и тревоге душевной он ничего не мог придумать, даже не доставало у него ни на что смелости; лучше отложить до следующего раза, чтоб иметь время все обдумать, ко всему приготовиться и запастись отвагой. Так он и решился. Однако же бессонница его мучила, страх прогонял дремоту; ему все чудились какие-то отвратительные пугалища. Он ворочался на постеле, потом встал и ходил по хате; напрасно! сон бежал от него, в хате ему было душно. Он вышел на чистый воздух; тихая, прохладная ночь немного освежила его; месяц последним, бледным светом своим как будто прощался с землею до нового возрождения. При его чуть брезжущем свете Федор увидел спавшую собаку и подле ней заколдованный узелок. Чтоб избавиться от тяжелой бессонницы и скрыть от жены своей, что он проник в ее тайну, Федор поднял узелок двумя щепками; и вмиг собака встrepенулась, вскочила, потрясла головой и начала ласкаться к своему хозяину. Не теряя времени, молодой казак возвратился в хату, положил узелок под изголовье, прилег на него и заснул как убитый.

Когда он открыл глаза, то увидел, что Катруся лежала подле него. На лице ее не было заметно даже и следов вчерашнего исступления, ни в глазах ее той неистовой дикости, с которою она делала заклинания



свои. Какая-то томная нега, какая-то тихая радость отражались в ее взорах и улыбке. Никогда еще не расточала она столько страстных поцелуев, столько детских ласк своему мужу, как в это утро. Словом: это была молодая, милая и любящая женщина, творение бесхитрое и младенчески резвое, но отнюдь не та страшная чародейка, которую муж ее видел ночью. И казалось, это не было и не могло быть в ней притворством: она дышала только для любви, видела все счастье жизни только в милом друге своем. Уже казак начал колебаться мыслями: вправду ли случилось то, чему он был свидетелем? не сон ли такой привиделся ему ночью? не злой ли дух смущал его страшными грезами, чтоб отвратить его сердце от жены любимой? Прошел и еще месяц. Катруся во все это время по-прежнему была домовитою хозяйкою, милою, веселою молодницей, ласковою, услужливою женой. Однако же Федор Блискавка обдумывал втайне, что должно ему было делать, и наконец надумался. Под исход месяца стал он прилежнее наблюдать за своей женою и заметил в ней те же самые признаки: и слезы, и тяжкие вздохи, и тайную тоску, и отвращение от всего, даже от ласк ее мужа, и порою дикий, неподвижный взор. Еще с вечера Федор объявил, что ему было душно в хате, и отворил оконце; когда же ложился в постель, то, запустив руку под изголовье, выхватил узелок и выбросил его на двор с такою же быстротою, с какою обыкновенно отбрасывал он горящий уголь, когда доставал его из печи, чтоб закурить трубку. Все это было исполнено мигом, так что Катруся никак не могла сего заметить. Радуясь успеху, казак притворился спящим и захрапел, как и в первый раз. Жена таким же образом подошла к постели и поглядела ему в лицо, положила руку на его грудь, наклонилась, поцеловала мужа своего, и он почувствовал, что горячая слеза упала ему на щеку. Потом, с тяжким вздохом и отирая себе глаза рукавом тонкой сорочки, она принялась за богоотступное свое дело. Внимание казака, подкрепляемое твердою его решимостью и отвагой, на сей раз удвоилось. Он присматривался, где и какие снадобья брала жена его, вслушивался в чудные слова и затвердил их. Уже ничто не было ему страшно: ни пламенное, неистовое лицо и сверкающие глаза жены, ни рев бури, ни гром, ни резкий, отврати-

тельный голос из горшка. И едва молодая ведьма исчезла в трубу, муж ее вскочил с постели, подбросил новых дров на потухавшие уголья, налил свежей воды в горшок и поставил его на огонь. Потом отыскал небольшой ларец, спрятанный под лавкою в подполье и закладенный камнями, раскрыл его — и остолбенел от ужаса и омерзения. Там были человеческие кости и волосы, сушеные нетопыри и жабы, скидки змеиной кожи, волчьи зубы, чертовы пальцы<sup>1</sup>, осиновые уголья, кости черной кошки, множество разных невиданных раковин, сушеных трав и кореньев и... всего нельзя припомнить. Победив свое отвращение, Федор схватил полную горсть сих колдовских припасов и бросил их в котел, приговаривая те слова, которые перенял у жены своей. Но когда котел начал кипеть, то Федор почувствовал, что лицо его кривлялось и подергивалось, как от судороги, глаза искосились, волосы поднялись дыбом, в груди как будто кто стучал молотком, и все кости его хрупали в составах. После сего он пришел в какое-то исступление ума, ощутил в себе непомерную отвагу, нечто похожее на крайнюю степень опьянения; в глазах его попеременно мелькали яркие искры, светлые полосы, какие-то дивные, уродливые призраки; над ним и буря злилась, и дождь шумел, и гром гремел — но он уже ничего не боялся. И когда услышал зычный, резкий голос из горшка и слово: «Лети, лети, лети!» — то, не владея собою от бешенства, торопливо схватил коробочку с мазью, натер себе руки, ноги, лицо и грудь... и вмиг какая-то невидимая сила схватила его и бросила в трубу. Это быстрое движение заняло у него дух и отбило память. Когда же он очутился, то увидел себя под открытым небом, на Лысой горе, за Киевом...

Что там увидел наш удалой казак, того, верно, кроме его, ни одному православному христианину не доводилось видеть; да и не приведи Бог! И страх, и смех понимали его попеременно: так ужасно, так уродливо было сборище на Лысой горе! По счастью, неподалеку от Федора Блискавки стоял огромный костер осиновых дров: он припал за этот костер и оттуда выглядывал,

---

<sup>1</sup> Чертов палец — ископаемое, находимое весьма часто в Украине. Оно имеет вид конический и цветом похоже на нечистый янтарь.

как мышь из норки своей выглядывает в хату, которая наполнена людьми и кошками.

На самой верхушке горы было гладкое место, черное, как уголь, и голое, как безволосая голова старого деда. От этого и гора прозвана была Лысою. Посреди площадки стояли подмости о семи ступенях, покрытые черным сукном. На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньей мордой, козлиными рогами, змеиным хвостом, ежовою щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него, поодаль от площадки, кипел целый базар ведьм, колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных. Там великан-жид сидел на корточках перед цымбалами величиною с барку, на которых струны были не тоньше каната; жид колотил по ним большими граблями, потряхивая остроконечную своей бородою, хлопая глазами и кривляя свою рожу, и без того очень гадкую. Инде, целая ватага чертенят, один другого гнуснее и неуклюжее, стучала в котлы, барабанила в бочки, била в железные тарелки и горланила во весь рот. Тут вереница старых, сморщенных как гриб ведьм водила журавля<sup>1</sup>, приплясывая, стуча гоцки<sup>2</sup> сухими своими ногами, так что звон от костей раздавался кругом, и припевая таким голосом, что хоть уши зажми. Далее долговязые лешие пускались впрысядку с карликами домовыми. В ином месте беззубые, дряхлые ведьмы, верхом на метлах, лопатах и ухватах, чинно и важно, как знатные паньи, танцевали польский с седыми, безобразными колдунами, из которых иной от старости гнулса в дугу, у другого нос перегибался через губы и цеплялся за подбородок, у третьего по краям рта торчали остальные два клыка, у четвертого на лбу столько было морщин, сколько волн ходит по Днепру в бурную погоду. Молодые ведьмы с безумным, неистовым смехом и взвизгиваньем, как пьяные бабы на веселье<sup>3</sup>, плясали горлицу и метелицу<sup>4</sup> с косматыми водяными, у которых обра-

<sup>1</sup> Журавель — малороссийская пляска, род длинного польского, только гораздо живее; танцуется попарно.

<sup>2</sup> Гоцки — гоц-гоц! Чоканье ногой об ногу.

<sup>3</sup> Веселье (висилье) — свадьба, свадебный пир.

<sup>4</sup> Горлица и метелица — малороссийские пляски; танцуются кадрилию.

зины на два пальца покрыты были тиной; резвые, шаловливые русалки носились в *гудочке*<sup>1</sup> с упырями, на которых и посмотреть было страшно. Крик, гам, топот, возня, пронзительный скрип и свисты адских гудков и *солелок*<sup>2</sup>, пенье и визг чертенят и ведьм — все это было буйно, дико, бешено; и со всем тем видно было, что сия страшная сволочь от души веселилась.

Федор Блискавка из своей засады смотрел на это, и жутко ему было, так что холод сжимал всю внутренность. Недалеке от себя увидел он и тещу свою, Ланцюжиху, с одним заднепровским пасечником, о котором всегда шла недобрая молва, и старую Одарку Швойду, торговавшую *бубликами*<sup>3</sup> на Подольском базаре, с девяностолетним крамарем Артюхом Холозием, которого все почитали чуть не за святого: так этот окаянный ханжа умел прикидываться набожным и смиренником; и нищую калеку Мотрю, побиравшуюся по улицам киевским, где люди добрые принимали ее за юродивую и прозвали *Дзыгой*<sup>4</sup>; а здесь она шла рука об руку с богатым скрягою, паном Крупкою, которого незадолго перед тем казаки выжили из Киева и которого сами земляки его, ляхи, ненавидели за лихоимство. И мало ли кого там видел Федор Блискавка из своих знакомых, даже таких людей, о которых прежде бы никак не поверил, что они служат нечистому, хоть бы отец родной уверял его в том под присягой. Вся эта шайка пожилых ведьм и колдунов пускалась в плясовую так задорно, что пыль вилась столбом и что самым завзятым казакам и самым лихим молодцам было бы на зависть. Немного в стороне оттуда увидел Федор и свою жену. Катруся отхватывала казачка с плечистым и круторогим лешим, который скалил зубы и подмигивал ей, а она усмежалась и вилась перед ним, как юла. Федор в гневе и ревности хотел бы броситься на нее и на рогатого плясуна и порядком потузить обоих; но, подумав, удержался, и сделал умно. Где бы ему было сладить с целым чер-

---

<sup>1</sup> *Дудочка* — тоже пляска, живая и быстрая. По большей части две женщины танцуют ее с одним мужчиной.

<sup>2</sup> *Солелка* — дудка, свирель.

<sup>3</sup> *Бублики* — калачи или *креңдели*.

<sup>4</sup> *Дзыга* — волчок или юла, игрушка.

товским кагалом, который верно напал бы на него, и тогда поминай, как звали.

Вдруг раздался, как внезапный порыв бури, густой, сиповатый рев черного медведя, сидевшего на подмостках — и покрыл собою все: и звон гудков и цымбалов, и свист волынок и сопелок, и гарканье, хохот и говор веселившейся толпы. Все утихло: каждый из плясунов, подняв в эту минуту одну ногу, как будто прирос на другой к своему месту; те из них, которые подпрыгнули вверх, так остались на воздухе; отворенные рты не успели сомкнуться, поднятые в пляске руки и вздернутые вверх плеча и головы не успели опуститься; грабли жида на цымбалах и смычки чертенят на гудках словно окаменели у струн. Черный медведь протянул костяную руку — и мигом все запели:

Высоки скоки  
В сороки,  
Низки поклоны  
В вороны <sup>1</sup>. —

подскокнули снова вверх и повалились на землю, головами к тому месту, где сидел медведь. «Ах ты, проклятое племя! — шептал про себя Федор Блискавка, — оно же еще смеет и кощунствовать над обрядами православных и напевать честные *весельные* песни на своем мерзостном шабаше перед этим уродом, в насмешку над добрыми людьми! Чтоб вы все провалились к тартарары, да и женушка моя с вами; чтоб вам всем по горячей *пекельной* <sup>2</sup> головне в глотку: тогда бы, небось, позабыли вы горланить и запели бы иную песню, чертова челядь!»

Черный медведь долго принюхивался во все стороны и наконец проревел, как из бочки: «Здесь есть чужой дух!» В минуту все всполошились: нечистые духи, ведьмы, колдуны, упыри, русалки — все бросились искать с зверскими, кровавыми глазами, с пеною бешенства на губах. И Катруся — Катруся была из первых! Сердце замерло у Федора, холод пронимал его до костей. «Теперь-то, — думал казак, — настал мой

---

<sup>1</sup> Свадебная песня. — Заметим, что здесь предлог *в* заменяет предлог *у* русского языка.

<sup>2</sup> *Пекельный* — адский. *Пекло* — ад, от глагола: *пеку*, *печь* (по-малороссийски: *пекты*).

смертный час!» Прижавшись вплоть к земле за дровами, он ни жив ни мертв выглядывал исподлобья. Вдруг видит: Катруся первая подбежала к тому месту, заглянула за костер, злобно сверкнула на мужа своим огненным взором, скрыпнула зубами... но в тот же миг сорвала с себя намитку, накинула на Федора, сунула под него лопату, провела пальцем черту по воздуху на Киев — и прежде чем Федор опомнился, он уже лежал в своей хате на постеле.

Когда чувства его поуспокоились, он сел на постелю, как человек, едва выздоравливающий от горячки, в которой грезилась ему страшные мечты. Скоро мысли его приняли течение более правильное: он припомнил себе и страхи, и смешное, отвратительное гаерство прошлой ночи, и жену свою с ее любовью, с ее нежными ласками, с ее заботливостью о нем и о доме, с ее детскою игривостью... «И все это было только притворство! — думал он, — все это нашептывала ей нечистая сила, чтобы лучше меня обмануть». То вдруг представлялась ему жена в минуту чародейских обрядов, то опять сверкала на него огненным взором и скрежетала зубами, как на Лысой горе... В задумчивости он и не заметил, что жена стояла подле него. Федор, взглянув на нее, вздрогнул, словно босою ногою наступил на змею. Катруся была бледна и томна, губы ее помертвели, глаза покраснели от слез, которые ручьями текли по ее лицу.

— Федор! — сказала она печально, — зачем ты подсматривал, что я делала? зачем, не спросясь меня, пускался на Лысую гору? зачем не хотел довериться жене своей?.. Бог с тобою! ты сам растоптал наше счастье!...

— Прочь от меня, змея, злодейка, ведьма богомерзкая! — отвечал Федор с негодованием и отвращением, — ты опять хочешь меня обойти бесовскою лестью?... Так нет, не надейся!

— Послушай, Федор, — подхватила она, обвив его руками вокруг тела, припав головою к нему на грудь и умильно смотря ему в глаза. — Послушай! Не я виновата, мать моя всему виною: она неволей отвела меня на шабаш, неволей обрекла в ведьмы и вымучила из меня страшную клятву... Мне было тогда еще четырнадцать лет. И тогда я, не хотя, летала на шабаш, боясь матери: ведьмы, и все их проклятые обряды, и все их

проклятые повадки были мне как острый нож, а от одной мысли про шабаш мутило у меня на душе. Суди же, каковы они были для меня, когда ты стал моим мужем — ты, кого люблю я, как душу, как свое спасенье на том свете... Не раз хотела я отшатнуться от шабаша, не бывать на нем; только под исход месяца, чем больше я о том думала, тем больше меня мучила тоска несказанная. Ты сам знаешь, каково мне тогда бывало... Не приведи Бог и татарину того вытерпеть!... И сколько я ни силилась одолеть тоску-злодейку, сколько ни отмаливалась — ничто не помогало! Все мне и днем, и ночью кто-то надувал в уши про шабаш, все мне так и мерещилось, чтоб быть там. А наступал срочный день — какая-то невидимая сила так и тянула меня туда назло моей воле. Когда же я прилетала на Лысую гору, там меня словно дурь охватывала: буйно бросалась я в толпу ведьм, колдунов и всей бесовщины, сама себя не помнила, что делала, и не могла не делать того, что другие... Как Бога с небес, ждала я страстной недели: тогда кинулась бы я в ноги чернецам Божьим и упросила бы их, чтобы заперли меня на все последние три дня в Пещерах, до самой воскресной заутрени, и отмолили бы от меня бесовское наваждение... Теперь это поздно! Ты, милый муж мой, сокол мой ясный! ты сам погубил и меня и себя и навеки затворил от меня двери райские...

— Так живи же со своими *родичами*<sup>1</sup>, лешими да русалками, коли запал тебе след туда, где веселятся души христианские!.. Сгинь отсюда! оставь меня..

— Не властна я тебя оставить! — перервала его Катруся, сжав его еще крепче в объятиях и, так сказать, приросши к нему.— Я тебе сказала, что на мне лежит страшная клятва... В силу этой клятвы, кто бы ни был из близких нам: муж ли, брат ли, отец ли... кто бы ни был тот, кто подсмотрит наши обряды,— но мы должны высосать до капли кровь его...

— Пей же мою кровь!.. Мне тошно жить на свете! Что мне в жизни?.. Одна мне приглянулась, стала моей женою; любил я ее пуще красного дня, пуще радости... и та обманула меня и чуть не породнила с бесовщи-

---

<sup>1</sup> *Родич* — родня, родственник.

ной... Все мне постыло на этом свете.. Пей же, соси мою кровь!

— И мне не жить после тебя на свете! Увидит то душа твоя. Грустно мне, тяжело мне, что злая доля развела нас и здесь, и там...— Катруся зарыдала и упала в ноги мужу.— Об одном только прошу тебя,— продолжала она,— погляди на меня умильно, дай на себя насмотреться, поцелуй меня в последние и прижми к своему сердцу, как прижимал тогда, когда любил меня!

Добрый Федор был тронут слезными просьбами жены своей. Он ласково взглянул на нее, обнял ее, и уста их слились в один долгий, жаркий поцелуй.. В ту же минуту она рукой искала его сердца по биению... Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в сердце Федора; он почувствовал и боль и приятное томление. Катруся припала к его сердцу, прильнула к нему губами; и между тем, как Федор истаявал в неге какого-то роскошного усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: «Сладко ли так засыпать?»

— Сладко!..— отвечал он чуть слышным лепетом — и уснул навеки.

Тело казака похоронено было с честью усердными его товарищами. Ни жены, ни тещи его никто не видел на погребении; но в следующую ночь жители Киева сбежались на пожар: хата Федора Блискавки сгорела дотла. Тогда же видно было другое зарево от Лысой горы, и смельчаки, отважившиеся на другой день посмотреть вблизи, уверяли, что на горе уже не было огромного костра осиновых дров, а наместо его лежала только груда пеплу, и зловонный, серный дым стлался по округности. Носилась молва, будто бы ведьмы сожгли на этом костре молодую свою сестру, Катрусю, за то, что она отступилась от кагала и хотела, принеся христианское покаяние, пойти в монастырь; и что будто бы мать ее, старая Ланцюжиха, первая подожгла костер. Как бы то ни было, только ни Катруси, ни Ланцюжихи не стало в Киеве. О последней говорили, что она оборотилась в волчицу и бегала за Днепром по бору.

Теперь Лысая гора есть только песчаный холм, от подошвы поросший кустарником. Видно, ведьмы ее покинули, и оттого она просветлела.



# НЕДОБРЫЙ ГЛАЗ

*Малороссийское предание*

## I

Ой, хорошие дочки у казака Никиты, да и казак Никита человек нескудный: на четырнадцати парах волов чумаков отправляет то на Дон по рыбу, то в Крым за солью; а все волы большие, круторогие, широкочелые, с оттянутыми пахами, с седловатым хребтом, с навислою, волосастою грудвиною. А на выгоне у казака Никиты пасется косяк коней что ни самых лихих, что ни самых борзых. А дома у казака Никиты добра столько, что не переписать в неделю и бойкому скорописцу. Еще же говорят люди, что у казака Никиты есть заветная скринька с дукатами, да серебра столько, что четвериком не загребешь.

## II

Ой, хорошие дочки у казака Никиты; и Галя чернобровая, и Докийка румяная, и Наталка белолицая. Отец и мать научили их страху божию. Любо смотреть, как они в летние праздники и дни воскресные идут к обедне чинно и смиренно, в белых тонких кунтошах с строченными усами, в сафьянных чоботах с подковками, в разноцветных скиндячках, разметанных по плечам, и с цветами махрового маку, чернобривцами и барвенками в волосах. Все парубки тогда на них заглядываются и твердят, почесывая за ухом: «Ой, тяжко хорошие дочки, и вельми богатый батько!»

## III

Сидит казак Никита на прилавке за воротами, курит роменский табак из кореньковой трубки в медной оправе и посматривает на свет божий. Вот видит он: за селом по дороге пыль вьется клубом, скачет ездок, сломя голову; вот внесся в село, ближе и ближе; под ним конь, как зверь, черен как вороново крыло, из ноздрей дым валит как из винокурни, вот поравнялся ездок с казаком Никитой, натянул повод — и конь уперся ногами в землю, согнул шею кольцом, уключил голову, заржал и засверкал беглыми своими глазами

так, что казаку Никите почудилось, будто искры полетели во все стороны.

#### IV

«Здорово, добрый человек!» — сказал проезжий. «Бог помочь! — отвечал казак Никита, вынув трубку изо рта и приподняв шапку. — Куда Бог несет?» Казаку Никите показалось, что прохожий дважды моргнул усами, а конь его дважды фыркнул. «Еду далеко, далеко: отсюда глазом не смеряешь и не одни постолы изобьешь, пока пешком дойдешь. Да не в том дело, а вот в чем: где бы мне ночлег найти?» — «Милости просим! рады добрым людям. Бог про всякого пбсылат человеку хлеб насущный».

Проезжий молча сошел с коня, повел его за повод, привязал к столбу под навесом и вошел в хату с казаком Никитой.

#### V

Не пригож был этот проезжий: лицо бледное, ни кровинки, нос толстый, луковицей, губы втянуты; по обе стороны лица торчали клоками скомшенные рыжие усы; такие ж рыжие брови густо нависли вниз как щетина, заслоняли глаза так, что их вовсе не было видно; красно-рыжий оселедец, как полоса запекшейся крови, пролегал по виску и вился за ухом. Еще скажу: не пригож был проезжий! Он с виду был не стар и не молод; какая-то кислая ужимка вместо усмешки и глухой голос, вырывавшийся из гортани, как из могилы, не сулили в нем ничего доброго. На нем был жупан тонкого сукна; за персидским кушаком заткнут был турецкий нож с серебряною рукояткой, на которой как жар горели дорогие каменья. Не помолясь Богу, как водится у православных, и чуть головой кивнув хозяйке и дочкам, сел он без чинов за стол и заломался, словно в шинке.

#### VI

«Как вижу, вы из запорожцев, добродию?» — спросил его казак Никита. «Может статься», — был ему ответ. «И давно уже гарцуете с молодцами?» — «Да не

со вчерашнего дня». — «А как вас величать?» — «Лавро Хоробит». — «Что подумаешь: куда вы много положили бусурманских голов на своем веку?» — «Было всяких; пусть их лежат». — «А далеко вы часом хаживали на войну?» — «Да; из вашего села галки туда не залетали». — «И много, чай, трудов понесли?» — «На доброй паре волов всех не сvezешь». — «Что-то, как порасскажут бывалые чумаки, за приволье в бусурманских землях! что за места богатые! чего там не родится!» — «Везде хорошо, где нас нет». — «А какое злое племя турки да татары!» — «Есть и христиане не лучше их». Казак Никита смекнул, что гость не поддается на расспросы и что от него путного слова не добьешься; он взглянул исподлобья на проезжего и замолчал.

## VII

За ужином проезжий гость зарился сквозь навислые свои брови на пригожих дочек казака Никиты, как щука зарится сквозь тростник на маленьких резвых рыбок; но красавицы не слышали от него ни одного приветя, ни одного слова. Угрюмо сидел он и только пыхтя потягивал запеканку и терновку казака Никиты. Когда же взглядывал порою на которую-нибудь из девушек, та невольно опускала глаза вниз, не от стыда, а от страха: красавиц пугали эти взгляды невидимого глаза, чуть-чуть светившегося из-за густых рыжих бровей. Гость встал из-за стола, как и сел за него: не молясь Богу, не сказав доброго слова хозяевам. Что за человек был он? Все думали, гадали, и никто не мог дознаться.

## VIII

Всю ночь выла под окном собака, и душно и жутко было красавицам. Они не могли спать, поминутно ворочались в постеле, и если на миг забывались, то страшные грезы тотчас перерывали их сон. То слышалось им похоронное пение и звон по покойнике; то незнакомый гость смотрел на них такими глазами, что холод сжимал им грудь, захватывал дыхание и оковывал льдом все их составы. Красавицы метались, стонали сквозь крепкий сон, пробуждались в страхе и поутру встали с тяжелыми головами и смущенным духом.

«Слушай, казак Никита,— сказал Хоробит своему хозяину поутру за снеданьем,— отдай за меня свою дочку Галю чернобровую».—«Моя дочка Галя уже просватана: жених из хорошего рода и человек достаточный; а кто без причины жениху от зарученой невесты откажет, того Бог накажет».—«Так отдай за меня Докийку румяную».—«У моей дочки Докийки тоже есть женихи на славу. Бог поможет, одну под венец отпустим, а за другую ручки подадим».—«Ну, хоть Наталку белолицую».—«Моя дочка Наталка дитя молодое, ничего еще не знает. Где ж ее отдать в такую дальнюю сторону?» —«Отказал ты мне, казак Никита, накормил ты меня печеным гарбузом; смотри же, чтобы после не каялся».—«Что будет, то будет; а будет то, что Бог велит!» — отвечал казак Никита.

Ни слова не сказал больше Лавро Хоробит и пошел седлать своего вороного, который ржал, и сарпал, и бил копытами землю. Тогда вошли в хату три дочки казака Никиты. Они вышли из своей светлицы, думая, что проезжий гость уже ускакал и больше не воротится. А вот и он, как с дуба сорвался, идет гордо и осанливо, побрякивая серебром и золотом. «Вот тебе, хозяин, за ночлег и за ласку,— молвил он, опустя руку в *кишеню* и вынув полную горсть серебряных денег».—«У нас не постоялый двор и не шинок,— отвечал казак Никита с досадой,— проезжих угощаем чем Бог послал, а денег за хлеб-соль ни с кого не берем».—«Так позволь же мне подарить твоих дочек на память!» — сказал Хоробит и, запустя снова руку в *кишеню*, вытащил горсть золотых вещиц. У девушек глаза разбежались на перстни, на серьги, на дорогие монисты и запонки. Каких тут не было и видом, и цветом, и ценою! Одни как жар горели, другие светились, как ночью глаза у кошки, на иных сверкали радуги, ярче той, что спускается с неба на землю и пьет воду из ручьев и колодезей. Девушки то любовались дорогими вещицами, то переглядывались друг с другом, то искоса посматривали на отца: куда девал-

ся и страх от проезжего! «Берите, коли добрый человек дает на память,— сказал им отец,— это дар, а не плата».

## XI

«Начинай ты, Галя чернобровая! — сказал Лавро Хоробит,— подойди и выбери, что тебе приглянется». Галя подошла, протянула руку к столу, глянула на Хоробита — и, вскрикнув, отскочила прочь, словно на змею наступила. «Экая стыдливая! — молвил смеясь проезжий,— ну, быть так; коли ты не хочешь, пусть выбирает себе Докийка румяная». Докийка подступила поближе, посмотрела на подарки и на гостя — и также вскрикнула, и также отскочила не вспомнясь. «Вот так! куда одна, туда и другая,— сказал Хоробит с тем же смехом.— Твоя очередь, Наталка белолица!» И Наталка робко подвинулась вперед, невольно посмотрела на проезжего — вскрикнула и чуть не упала. Ей показалось, что рыжие брови Хоробита дыбом поднялись вверх, как иглы на еже, а из бледно-серых глаз его струею полились на нее две тонкие нити света, острого, жгущего, мертвящего. От него и дрожь пробежала по телу, и страх заронялся в душу, и тоска впивалась в сердце. Таков-то недобрый глаз: на зеленый лес взглянет — и зеленый лес вянет!

## XII

«Ну, спасибо за вашу хлеб-соль: буду ее помнить, да и вы меня не забудете, хоть дочки ваши поспесивились и не взяли моих подарков», — сказал Хоробит, поглядев на девушек таким взглядом, каким демон смотрит на душу человеческую. А они, бедненькие, стояли, сложа руки крестом, и дрожали всем телом. «Прощайте,— промолвил он,— не поминайте лихом!» — и засмеялся так, что у всех на душе похолодело. Тут разом за дверь скок на своего коня — и след простыл.

## XIII

«Неня! мне тяжело, мне нудно!» — говорила Галя чернобровая. «Неня! меня мороз подирает по коже; руки и ноги — все как во льду, а внутри горит», — гово-

рила Докийка румяная: ах! она уж была бледнее полотно. «Неня! у меня голова трещит от боли, и свет идет кругом, и все в глазах темнее да темнее»,— говорила Наталка белолицая. «Спаси, спаси нас, неня! — твердили все трое,— спаси нас от лихого человека! Призови знахаря: пусть отворожит силу недоброго глаза!» Напрасно! ни знахарь, никто не помог: чем дальше скакал Хоробит, тем тяжелее становилось красавицам. С закатом солнца закатился и у них свет в ясных очах... Ночью набожные старушки собрались сидеть при восковых свечах у широкого стола, на котором лежали под белую пеленку три покойницы. Дьячок заунывно читал над ними псалтырь. Отец и мать сами чуть дышали с тоски и горести.

#### XIV

Стоит среди кладбища за селом большая часовня; на часовне три креста; под часовней высокая и широкая могила. В этой могиле похоронены три дочки казака Никиты. Люди добрые, идучи мимо, крестятся и молятся: «Пошли, Господи, вечный покой и вечную память покойницам». После каждый волей и неволей приговаривает: «И пусть не будет добра ни на сем свете, ни в будущем злему человеку, который змеиным своим глазом иссушил и извел три прекрасные цветка свежие и пышные!»

### РУСАЛКА

*Малороссийское предание*

Давным-давно, когда еще златоглавый наш Киев был во власти поляков, жила-была там одна старушка, вдова лесничего. Маленькая хатка ее стояла в лесу, где лежит дорога к Китаевой пустыни: здесь, пополам с горем, перебивалась она трудами рук своих вместе с шестнадцатилетнею Горпинкою<sup>1</sup>, дочерью и единою своею отрадою. И подлинно дочь дана была ей на отраду: она росла, как молодая черешня, высока и стройна; черные ее волосы, заплетенные в *грибушки*, отливались, как вороново крыло под разноцветными скиндячками<sup>2</sup>, большие глаза ее чернелись и свети-

лись тихим огнем, как два полуистухших угля, на которых еще перебегали искорки. Бела, румяна и свежа, как молодой цветок на утренней заре, она росла на беду сердцам молодецким и на зависть своим подружкам. Мать не слышала в ней души, и труженики божии, честные отцы Китаевой пустыни, умильно и приветливо глядели на нее как на будущего своего собрата райского, когда она подходила к ним под благословение.

Что же милая Горпинка (так называл ее всякий, кто знал) стала вдруг томна и задумчива? Отчего не поет она больше, как вешняя птичка, и не прыгает, как молодая козочка? Отчего рассеянно глядит она на все вокруг себя и невпопад отвечает на вопросы? Не дурной ли ветер подул на нее, не злой ли глаз поглядел, не колдуны ли обошли?.. Нет! не дурной ветер подул, не злой глаз поглядел, и не колдуны обошли ее: в Киеве, наполненном в тогдaшнее время ляхами, был из них один, по имени Казимир Чепка. Статен телом и пригож лицом, богат и хорошего рода, Казимир вел жизнь молодецкую: пил венгерское с друзьями, переведывался на саблях за *гонор*<sup>3</sup>, танцевал краковяк и мазурку с красавицами. Но в летнее время, наскуча городскими потехами, часто целый день бродил он по *сагам*<sup>4</sup> днепровским и по лесам вокруг Киева, стрелял крупную и мелкую дичь, какая ему попадалась. В одну из охотничьих своих прогулок встретился он с Горпинкою. Милая девушка, от природы робкая и застенчивая, не испугалась, однако ж, ни богатырского его вида, ни черных, закрученных усов, ни ружья, ни большой лягавой собаки: молодой пан ей приглянулся, она еще больше приглянулась молодому пану. Слово за слово, он стал ей напевать, что она красавица, что между городскими девушками он не знал ни одной, которая могла бы поспорить с нею в пригожестве; и мало ли чего не напевал он ей? Первые слова лести глубоко западают в сердце девичье: ему как-то верится, что все, сказанное молодым красивым мужчиной, суцая правда. Горпинка поверила словам Казимира, случайно или умышленно они стали часто встречаться в лесу, и оттого теперь милая девушка стала томна и задумчива.

В один летний вечер пришла она из лесу позже обыкновенного. Мать пожурила ее и пугала дикими

зверьями и недобрыми людьми. Горпинка не отвечала ни слова, села на лавке в углу и призадумалась. Долго она молчала; давно уже мать перестала делать ей выговоры и сидела, также молча, за пряжею; вдруг Горпинка, будто опомнясь или пробудясь от сна, взглянула на мать свою яркими, черными своими глазами и промолвила вполголоса:

— Матушка! у меня есть жених.

— Жених?.. кто? — спросила старушка, придерживав свое веретено и заботливо посмотрев на дочь.

— Он не из простых, матушка: он хорошего рода и богат: это молодой польский пан... — Тут она с детским простодушием рассказала матери своей все: и знакомство свое с Казимиром, и любовь свою, и льстивые его обещания, и льстивые свои надежды быть знатною паней.

— Берегись, — говорила ей старушка, сомнительно покачивая головою, — берегись лиходея; он насмеется над тобою, да тебя и покинет. Кто знает, что на душе у иноверца, у католика...? <sup>5</sup> А и того еще хуже (с нами сила крестная!), если в виде польского пана являлся тебе злой искуситель. Ты знаешь, что у нас в Киеве, за грехи наши, много и колдунов и ведьм <sup>6</sup>. Лукавый всегда охотнее вертится там, где люди ближе к спасенью.

Горпинка не отвечала на это, и разговор тем кончился. Милая, невинная девушка была уверена, что ее Казимир не лиходей и не лукавый искуситель, и потому она с досадою слушала речи своей матери. «Он так мил, так добр! он непременно сдержит свое слово и теперь поехал в Польшу для того, чтоб уговорить своего отца и устроить дела свои. Можно ли, чтобы с таким лицом, с такою душою, с таким сладким, вкрадчивым голосом он мог иметь на меня недобрые замыслы? Нет! матушка на старости сделалась слишком недоверчива, как и все пожилые люди». Таким нашептыванием легковверного сердца убаюкивала себя неопытная, молодая девушка; а между тем мелькали дни, недели, месяцы — Казимир не являлся и не давал о себе вести. Прошел и год — о нем ни слуху ни духу. Горпинка почти не видела света божьего: от света померкли ясные очи, от частых вздохов теснило грудь ее девичью. Мать горевала о дочернем горе, иногда плакала, сидя одна в ветхой своей хатке за пряжею, и,



покачивая головою, твердила: «Не быть добру! Это наказание божие за грехи наши и за то, что несмысленная полюбила ляха-иноверца!»

Долго тосковала Горпинка; бродила почти беспрестанно по лесу, уходила рано поутру, приходила поздно ночью, почти ничего не ела, не пила и иссохла как былинка. Знакомые о ней жалели и за глаза толковали то и другое; молодые парни перестали на нее заглядываться, а девушки ей завидовать. Услужливые старушки советовали ей идти к колдуну, который жил за Днепром, в бору, в глухом месте: он-де скажет тебе всю правду и наставит на путь, на дело! Горе придает отваги: Горпинка откинула страх и пошла.

Осенний ветер взрывал волны в Днепре и глухо ревел по бору; желтый лист, опадая с деревьев, с шелестом кружился по дороге, вечер хмурился на дождливом небе, когда Горпинка пошла к колдуну. Что сказал он ей, никто того не ведает; только мать напрасно ждала ее во всю ту ночь, напрасно ждала и на другой день, и на третий: никто не знал, что с нею случилось! Один монастырский рыболов рассказывал спустя несколько дней, что, плывя в челноке, видел молодую девушку на берегу Днепра: лицо ее было исцарапано иглами и сучьями деревьев, волосы разбиты и скиндычки оборваны; но он не посмел близко подплыть к ней из страха, что то была или бесноватая, или бродящая душа какой-нибудь умершей, тяжелой грешницы.

Бедная старушка выплакала глаза свои. Чуть свет вставала она и бродила далеко, далеко по обоим берегам Днепра, расспрашивала у всех встречных о своей дочери, искала тела ее по песку прибрежному и каждый день с грустью и горькими слезами возвращалась домой одна-одинехонька: не было ни слуху, ни весточки о милой ее Горпинке! Она клала на себя набожные обещания, ставила из последних трудовых своих денег большие свечи преподобным угодникам печерским: сердцу ее становилось от того на время легче, но мучительная ее неизвестность о судьбе дочери все не прерывалась. Миновала осень, прошла и суровая зима в напрасных поисках, в слезах и молитвах. Честные отцы, черноризцы Китаевой пустыни, утешали несчастную мать и христиански жалели о заблудшей овце; но сострадание и утешительные их беседы не

могли изгладить горестной утраты из материнского сердца. Настала весна; снова старуха начала бродить по берегам Днепра, и все так же напрасно. Она хотела бы собрать хоть кости бедной Горпинки, омыть их горячими слезами и прихоронить, хотя тайком, на кладбище с православными. И этого, последнего утешения лишала ее злая доля.

Те же услужливые старушки, которые наставили дочь идти к колдуну, уговаривали и мать у него искать помощи. Кто тонет, тот и за бритву рад ухватиться, говорит пословица. Старуха подумала, подумала — и пошла в бор. Там, в страшном подземелье или берлоге, жил страшный старик. Никто не знал, откуда он был родом, когда и как зашел в заднепровский бор и сколько ему лет от роду; но старожилы киевские говаривали, что еще в детстве слышали они от дедов своих об этом колдуне, которого с давних лет все называли Боровиком: иного имени ему не знали. Когда старая Фенна<sup>7</sup>, мать Горпинки, пришла на то место, где, по рассказам, можно было найти его, то волосы у нее поднялись дыбом и лихорадочная дрожь ее забила... Она увидела старика, скрюченного, сморщенного, словно выходца с того света: в жаркий майский полдень лежал он на голой земле под шубами, против солнца и, казалось, не мог согреться. Около него был очерчен круг, в ногах у колдуна сидела огромная черная жаба, выпуча большие зеленые глаза; а за кругом кипел и вился клубами всякий гад: и ужи, и змеи, и ящерицы; по сучьям деревьев качались большие нетопыри, а филины, совы и девятисмерты<sup>8</sup> дремали по верхушкам и между листьями. Лишь только появилась старуха — вдруг жаба трижды проквакала страшным голосом, нетопыри забили крыльями, филины и совы завыли, змеи зашипели, высунув кровавые жала, и закружились быстрее прежнего. Старик приподнялся, но увидя дряхлую, оробевшую женщину, он махнул черною ширинкою с какими-то чудными нашивками красного шелка — и мигом все исчезло с криком, визгом, вытьем и шипеньем: одна жаба не слезила с места и не сводила глаз с колдуна. «Не входи в круг, — прохрипел старик чуть слышным голосом, как будто б этот голос выходил из могилы, — и слушай: ты плачешь и тоскуешь об дочери; хотела ли бы ты ее видеть? хотела ли б быть опять с нею?»

— Ох, *пан-отче* <sup>9</sup>! как не хотеть! Это одно мое детище, как порох в глазу...

— Слушай же: я дам тебе клык черного вепря и черную свечу...— Тут он пробормотал что-то на неведомом языке, и жаба, завертев глазами, в один прыжок скакнула в подземелье, находившееся в нескольких шагах от круга, другим прыжком выскочила оттуда, держа во рту большой белый клык и черную свечу; то и другое положила она перед старухой и снова села на прежнее свое место.

— Скоро настанет *зеленая неделя*,— продолжал старик,— в последний день этой недели, в самый полдень, пойдешь в лес, отыщи там поляну, между чащею; ты ее узнаешь: на ней нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника. Пробрись на ту поляну, очерти клыком круг около себя и в середине круга воткни черную свечу. Скоро они побегут; ты всматривайся пристально и чуть только заметишь свою дочь — схвати ее за левую руку и втащи к себе в круг. Когда же все другие пробегут, ты вынь свечу из земли и, держа ее в руке, веди дочь свою к себе в дом. Что бы она ни говорила — ты не слушай ее речей и все веди ее, держа свечу у нее над головою; и что бы после ни случилось, не сказывай своим попам да монахам, не служи ни панихид, ни молебнов и терпи год. Иначе худо тебе будет...

Старухе показалось, что в эту минуту жаба страшно на нее покосилась и захлопала уродливым своим ртом. Бедная Фенна чуть не упала от испуга. Поскорее отдала она поклон колдуну и дрожащими ногами поплелась из бора. Однако ж до чего не доведет любовь материнская! Надежда отыскать дочь свою подкрепила силы старухи и придала ей отваги.

В последний день *зеленой недели*, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала там сказанную колдуном поляну, очертила около себя круг клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу — и свеча сама собою загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум: с гиканьем и ауканьем, быстро как вихрь помчалась через поляну несчетная вереница молодых девушек; все они были в легкой, сквозящей одежде, и на всех были большие венки, покрывавшие все волосы и даже спускавшиеся на плеча. На одних венки сии были из осоки, на других

из древесных ветвей, так что казалось, будто бы у них зеленые волосы<sup>10</sup>. Девушки пробегали, минуя круг, но не замечая или не видя старухи; и она, откинув страх, всматривалась в лицо каждой. Смотрит — вот бежит и ее Горпинка. Старуха едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Другие, видно, не заметили того на быстром, исступленном бегу своем и, гикая и аукая, пронеслись мимо. Старая Фенна поспешно выхватила из земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головою своей дочери — и мигом зеленый венок из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы Горпинкиной. В кругу Горпинка стояла как оцепенелая; но едва мать вывела ее из круга, то она начала у нее проситься тихим, ласкающим голосом:

— Мать! отпусти меня погулять по лесу, покачаться на зеленой *неделе* и снова погрузиться в подводные наши селения... Знаю, что ты тоскуешь, ты плачешь обо мне: кто тебе мешает быть со мною неразлучно? Брось напрасный страх и опустишь к нам на дно Днепра. Там весело! там легко! там все молодеют и становятся так же резвы, как струйки водяные, так же игривы и беззаботны, как молодые рыбки. У нас и солнышко сияет ярче, у нас и утренний ветерок дышит привольнее. Что в вашей земле? Здесь во всем нужды: то голод, то холод; там мы не знаем никаких нужд, всем довольны, плещемся водой, играем радугой, ищем по дну драгоценностей и ими утешаемся. Зимой нам тепло под льдом как под шубой; а летом, в ясные ночи, мы выходим греться на лучах месяца<sup>11</sup>, резвимся, веселимся и для забавы часто шутим над живыми. Что в том беда, если мы подчас щекочем их или уносим на дно реки? разве им от того хуже? Они становятся так же легки и свободны, как и мы сами... Мать! отпусти меня: мне тяжело, мне душно будет с живыми! Отпусти меня, мать, когда любишь...

Старуха не слушалась и все вела ее к своей хате; но с горестью узнала, что дочь ее сделалась русалкою. Вот пришли; старуха ввела Горпинку в хату; она села против печки, облокотясь обеими руками себе на колена и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Горпинка сделалась неподвижною. Лицо ее посинело, все члены окостенели и стали хо-

лодны как лед; волосы были мокры, как будто бы теперь только она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее безжизненное лицо, на ее глаза, открытые, тусклые и невидя смотрящие! Старуха поздно вскаялась, что послушалась лукавого колдуна; но и тут чувство матери и какая-то смутная надежда перемогли и страх и упреки совести: она решилась ждать во что бы ни стало.

Проходит день, настает ночь — Горпинка сидит по-прежнему, мертва и неподвижна. Жутко было старухе оставаться на ночь с своей ужасной гостьей; но, скрепя сердце, она осталась. Проходит и ночь — Горпинка сидит по-прежнему; проходят дни, недели, месяцы — все так же неподвижно сидит она, опершись головою на руки, все так же открыты и тусклы глаза ее, беспрерывно глядящие в печь, все так же мокры волосы. В околотке разнесся об этом слух, и все добрые и недобрые люди не смели ни днем, ни ночью пройти мимо хаты: все боялись мертвеца и старой Фенны, которую расславили ведьмою. Тропинка близ хаты заросла травой и почти заглохла; даже в лес ходили соседние обыватели изредка и только по крайней нужде. Наконец бедная старуха мало-помалу привыкла к своему горю и положению: уже она без страха спала в той хате, где страшная гостья сидела в гробовой своей неподвижности.

Прошел и год: все так же без движения и без признаков жизни сидела мертвая. Настала и зеленая неделя. На первый день, около полуденного часа, старуха, отворя дверь хаты, что-то стряпала. Вдруг раздались гиканье и ауканье и скорый шорох шагов. Фенна вздрогнула и невольно взглянула на дочь свою: лицо Горпинки вдруг страшно оживилось, синета исчезла, глаза засверкали, какая-то неистовая и как бы пьяная улыбка промелькнула на губах. Она вскочила, трижды плеснула в ладоши и, прокричав: «Наши, наши, наши!» — пустилась как молния за шумною толпою... и след ее пропал!

Старуха, мучась совестью, положила на себя тяжкий зарок: она пошла в женский монастырь в послушницы, принимала на себя самые трудные работы, молилась беспрерывно и, наконец, успокоенная в душе своей, тихо умерла, оплакивая несчастную дочь свою.

На другой день после того, как русалка убежала от

своей матери, нашли в лесу мертвое тело. Это был поляк в охотничьем платье, и единосемцы его узнали в нем Казимира Чепку, ловкого молодого человека, бывшего душою всех веселых обществ. Ружье его было заряжено и лежало подле него, но собаки его при нем не было; никакой раны, никакого знака насильственной смерти не заметно было на теле; но лицо было сине, и все жилы в страшном напряжении. Знали, что у него было много друзей и ни одного явного недруга. Врачи толковали то и другое; но народ объяснял дело гораздо проще: он говорил, что *покойника русалки защекотали*.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> *Горпинка*, уменьшительное имени *Горпина* (Агриппина). Это имя в малороссийском наречии гораздо ближе к римскому своему корню, нежели Аграфена или Груша.

<sup>2</sup> *Дрибушки* — мелкие косы; *скиндячки* — ленты, повязываемые на голове.

<sup>3</sup> *За гонор* по-польски значит: за честь.

<sup>4</sup> *Сага* — залив реки. Слово малороссийское.

<sup>5</sup> Когда Малороссия находилась под властью поляков, тогда взаимная недоверчивость поляков и малороссиян, особливо в простом народе, была в самой сильной степени. Понятия религиозные подкрепляли сие неприязненное чувство в тот век, не ознаменованный еще, подобно нынешнему, веротерпением. *Католик* — было у малороссиян бранчивое слово, сделавшееся народным. И теперь еще употребляется оно в том же смысле необразованными простолюдными в Малороссии.

<sup>6</sup> Киев, по баснословным народным преданиям, искони славился своими ведьмами и колдунами не только в Малороссии, но и по всей России.

<sup>7</sup> *Фенна* — Феона, по малороссийскому выговору.

<sup>8</sup> *Девятисмерт*, или сорокопуд, небольшая птичка, весьма обыкновенная в лесах Малороссии. О ней говорят, будто бы она сперва убивает восемь насекомых и съедает уже девятое; отсюда происходит имя ее — *девятисмерт*. Много есть и других суеверных рассказов об этой птице, которая занимает последнее место в баснословной зоологии малороссиян.

<sup>9</sup> *Пан-отче* — звательный падеж сложного слова пан-отец, которое малороссияне из учтивости говорят старшим летами или досто-

инством. В собственном смысле оно соответствует русскому выражению *государь-батюшка*.

<sup>10</sup> Простой народ в Малороссии думает, что русалки суть утопленницы и удавленницы, произвольно лишившие себя жизни. Они говорят, что у русалок зеленые волосы, другие просто наряжают их в большие зеленые венки. Сочинитель принял последнее из сих поверий, а для отличия русалок, одних из них покрыл венками из осоки, других — венками из древесных ветвей. Разумеется, что первые из них утопленницы, а вторые удавленницы. Они, по мнению малороссиян, бегают по лесам на *зеленой* (т. е. *троицкой*) *неделе*, аукают, качаются на деревьях, и если поймают живого человека, то щекочут его до смерти. Посему малороссияне боятся в продолжение сей недели откликаться на лесное ауканье.

<sup>11</sup> Луна, по малороссийскому поверью, есть *солнце утопленников*. Они выходят ночью из воды греться на лучах месяца, которым воображение малороссиян придало теплоту.

## ЮРОДИВЫЙ

### *Малороссийская быль*

Весело ехал молодой офицер из одной загородной деревни, где провел день в самом приятном кругу — в кругу гостеприимных хозяев, милых их дочерей и пяти или шести молодых своих товарищей. Он спешил на ночь в город, потому что на другой день должен был идти в караул. Луна, верная спутница летних ночей украинских, сыпала серебряный свет свой на рощицы, на холмы и поля и рисовала взору прелестные картины, дополняемые пылким воображением.

Лихая тройка коней быстро несла каткие дрожки офицера. Вдруг, на повороте около одного оврага, что-то черное, лежавшее почти на самой дороге, мелькнуло в глаза пугливых коней; кони всполохнулись, рванулись и, не чуя вожжей кучера, бросились в сторону с большой дороги, по рытвинам и кочкам. Кучер слетел с своего места, офицер почти вслед за ним — и кони скоро скрылись из глаз.

Не чувствуя никакого ушиба, Мельский — так назывался офицер — встал, отряхнулся и пошел отыскивать своего кучера, которого скоро нашел также на ногах и в добром здоровье. Оба они упали на мягкий чернозем и разделались только невольным своим полетом.

Поздно было искать лошадей; да и где их найти? Почему офицер, со всею беспечною молодых лет, оставя на произвол судеб коней своих и колесницу, захотел узнать, что было причиною их испуга.

— Иван,— говорил он кучеру, шедшему вслед за ним,— как ты думаешь, чего испугались лошади?

— Помилуйте, сударь, да как и не испугаться: на дороге лежала целая стая волков!

— Трус! Недаром говорят: у страха глаза велики.

— Да право, сударь, их было по крайней мере пары две или три.

— Перестань болтать пустое: если б это были волки, то ужли ты думаешь, что они и не пошевелились бы в то время, когда мы со стуком пронеслись мимо них?

— Воля ваша, сударь, а я сам видел с полдюжины глаз, которые горели, как уголья.

— Полно, полно! Ты видел в траве какого-нибудь светляка или и вовсе ничего не видал. Ступай за мною: пойдём доведываться, что там было.

— Да как, сударь! При мне ни топора, ни большого ключа от колес: все это в дрожках.

— При тебе твой кнут, а за поясом вижу у тебя большой складной нож: этого очень довольно. Ступай за мною, и больше ни слова.

Не смея послушаться своего барина, Иван пошел за ним, взяв в обе руки оба свои оружия, повеся голову и ворча себе под нос.

Мельский и сам из предосторожности вынул шпагу и окидывал взором дорогу впереди себя. Небольшого труда стоило ему отыскать черное страшилище Ивана и лошадей: то был человек; он лежал на краю дороги, поджав ноги под платье и укутав голову рукою, и, казалось, спал крепким сном.

— Вставай, пьяница,— кричал ему Мельский, толкая его под бок носком сапога.

— Пьяница? Не я пьяница, а твои глаза охмелели,— отвечал грубый, хриповатый голос.

— Вставай же, покамест тебя не подняли неволею.

— Оставь меня! Тебе завидно, что я здесь сплю в чистом поле, и самому приходит охота полежать на сырой земле. А вот, подожди с недельку, тогда и я в свой черед тебе помешаю...

— Ну, как хочешь, приятель, а я тебя вытрезвлю,—



сказал Мельский, принимая его за пьяного, который грезил с хмеля...— Иван, подними его!

— Не дотрагивайся до меня, хам! — сказал мнимо пьяный и поспешно встал на ноги.

Это был человек высокого роста, с щетинистою бородою и всклокоченными на голове волосами. Лицо его было бледно и сухо и при лунном свете казалось как бы мертвым; мутные, бродящие глаза его показывали, что голова его не в самом здоровом состоянии.

— А, да это наш полоумный, — вскричал кучер, очнувшись от страха, — в городе зовут его *Василь дурный*<sup>1</sup>.

— Дурный! — подхватил Василь, передразнивая кучера. — Правда, Василь не обижает бедных лошадей и не продает их сена и овса на сторону, не бьет понапрасну бедного козла на конюшне, не ходит в кабак по ночам и не бранит тайком своего барина. Василь боится бога, ходит в церковь, читает молитвы и поет стихиры; Василь живет подаяннем, а Боже избави его красть или обманывать.

Во всю эту речь кучер стоял как сам не свой, повеся голову и утупя глаза в землю, как будто искал чего-то под ногами. Мельский между тем улыбался и поглядывал то на кучера, то на полоумного, который стоял без шляпы, в черном, длинном платье толстого сукна, сшитом наподобие монашеского подрясника; подпоясан он был узким ремнем с железною ржавою пряжкой; обуви на нем вовсе не было; в руке держал он длинную палку с вырезанными на коре ее узорами.

— Иван, — сказал Мельский кучеру, — ступай в ту сторону, куда убежали лошади, и старайся их отыскать!

— Ступай! — примолвил юродивый. — Найдешь и не возьмешь; отзовутся и не дадутся.

Кучер отправился искать лошадей, а Мельский пошел по дороге к городу. Полоумный, не отставая от него, шел широкими скорыми шагами, размахивая и опираясь своею палкою, и напевал духовные песни. С Мельским он не заводил разговора.

Мельский воспитан был в нынешнем веке и по-нынешнему, следовательно, вовсе без предрассудков. Но странный его спутник вселял в него какое-то незнако-

<sup>1</sup> *Дурный* по-малороссийски значит: дурачок или полоумный.

мое чувство: то был не суеверный страх и не подозрение, а нечто между тем и другим. Грубый сиповатый голос полоумного и унывные напевы стихир из панихиды терзали слух молодого офицера и разливали в душе его тоску непонятную.

Во всю дорогу Василь пел и не говорил ни слова; Мельский молчал и как бы боялся завести с ним разговор. Таким образом прибыли они к городской заставе. Часовой окликнул и, взглянув на мундир и на лицо Мельского, почтительно дал ему дорогу; но, как можно было заметить в светлую лунную ночь, солдат казался удивленным, увидя своего полка офицера пешком и с таким странным товарищем.

— Ваше благородие, — сказал вполголоса служивый, подойдя к Мельскому, — не прикажете ли задержать этого бродягу? Он иногда раз двадцать за ночь проходит туда и назад чрез заставу, и бог знает, что у него за дела и все ли доброе на уме?

— Бродягу! — громко сказал полоумный. — А задержал ли ты того бродягу, который когда-то без спроса отлучился от полка и явился тогда, как его за шею приволокли? Ему бы палочки, палочки... много, много! Благо, что командир добрый, пожалел его спины.

Солдат остолбенел, а Мельский с удивлением смотрел на юродивого. Ему странно казалось, как человек, лишенный полного употребления ума, мог знать все тайны людей, почти вовсе ему незнакомых?

Полоумный, окончив свою речь, пошел прежним своим шагом вдоль по улице. Мельский скоро догнал его; из любопытства ли, или по другому какому побуждению, он решился с ним заговорить.

— Где ты живешь? — спросил он у полоумного.

— Под небом на земле, — отрывисто отвечал Василь.

— Верно; но где твой дом?

— Здесь нет; а там! — сказал юродивый, подняв палку вверх и очертя ею полкруга в воздухе.

— Где же твой ночлег?

— Где бог приведет.

— Так ночуй у меня; я тебя накормлю...

— Да, накормишь! — грубо перервал юродивый. — Сегодня пятница, а у тебя на столе то курочка, то утка.

— Хорошо: я велю тебе подать чего-нибудь неско-

ромного; напою тебя добрым вином, дам тебе хорошую постелю.

— Василь пьет воду; Василь спит на голой земле или на помосте. Да пусть по-твоему: было не было,— ночью у тебя.

До квартиры офицера ни он, ни юродивый не говорили больше ни слова. Одетый денщиком слуга Мельского отворил дверь на стук своего господина и чуть было не уронил свечи, отступя назад, когда увидел, какого гостя барин привел с собою.

— Василь не леший! — сказал поспешно юродивый.— Он бродит по ночам, а не шатается. А пуще в лавках ничего не забирает в долг на чужой счет.

Ловкий слуга думал отделаться медным лбом. Он усмехнулся и оборотился, чтобы светить своему барину по лестнице.

— Смейся! — ворчал юродивый, как будто сам с собою.— Заплачешь, и горько заплачешь, и об эту ж самую пору.

Мельский взглянул на юродивого; но он уже шептал и, как видно было, молитвы, потому что от времени до времени крестился и наклонял голову.

— Весело, светло, красиво! — сказал он, войдя в комнаты.— Много казны, много казны! — и запел старинную песнь о блудном сыне:

О горе мне, грешнику сущу!  
Горе, благих дел не имущу.

По приказанию Мельского ужин для юродивого был приготовлен; но он ел только хлеб, а пил воду и очень немного вина. Во время ужина он молчал и только иногда делал набожные восклицания; потом, помолясь богу и поблагодаря хозяина, он сказал: «Теперь дай мне ночлег поближе к дверям, что на улицу. Когда мне надобно будет идти, я разбужу кого-нибудь из твоих людей и велю за собой запереть двери. Еще увидишь меня, и еще, и еще; тогда Василь скажет тебе большое спасибо и пойдет далеко, далеко — отсюда не видно!»

Он выбрал себе ночлег в передней и расположился на полу у самых дверей. Мельский остановился и смотрел, что он будет делать. Юродивый долго и с теплою верою молился, стоя на коленях и часто поднимая руки к небу; потом, положив на полу под голову себе данную ему подушку и откинув на сторону всю

прочую постелю, он лег не раздеваясь и в ту же минуту закрыл глаза.

Мельский также пошел в свою спальню и лег в постелю. Он думал, что утомление от загородных его резвостей и танцев и от невольного пешеходства даст ему крепкий и спокойный сон, но обманулся. Странный вид странного его гостя, его слова, в которых он отчасти открывал, что случилось и что случится вперед, не выходили из головы молодого офицера. Он всячески старался уверить себя, что слова полоумного были обыкновенным последствием расстроенной головы, что там, где он как будто бы намекал на дела, которые ему не могли быть известны, говорил он наудачу, зная общие повадки слуг, и что сказанное им солдату мог он как-нибудь услышать от его сослуживцев; со всем тем юродивый беспрестанно представлялся его воображению. Несколько раз Мельский заводил глаза и принуждал себя уснуть; но ему было так душно, комната его теснила, стены как будто сжимались вокруг кровати, и потолок над нею пригибался к полу. В досаде Мельский ворочался, бранил себя за эту неизвестную ему доселе слабость и снова закрывал глаза; но если иногда забывался, как перед сном, то вид юродивого, его бледные впалые щеки, его мрачный взгляд и бродящие глаза, его высокий стан, выраставший выше и выше и, наконец, превращавшийся в исполинский, неотступно были в мечтах молодого офицера и мучили его, как бред горячки. То чудилось ему, что юродивый хватает его за руку жилистою, сухою своею рукою или что он наклоняется к нему на изголовье и говорит грубым, хриплым своим голосом: «Вставай, я пришел помешать тебе ложиться». Мельский вздрагивал и вскакивал. Наконец, видя, что не может приневолить себя уснуть, он приподнялся, сел на постеле и начал в мыслях доискиваться естественной причины своей бессонницы и нелепых грез, которые его тревожили. «Так,— наконец сказал он сам себе,— нет ничего естественнее: излишнее движение привело сегодня кровь мою в волнение; это временный нервический припадок. Смешно, что я, солдат, не робевший ни пуль, ни штыков, расстроил себе воображение вздорным бредом, и от чего ж? от полоумного!» Рассуждая таким образом, Мельский успокоился; но чтобы вполне разуверить себя, что юродивый ему вовсе не

страшен, он встал, взял горевшую в другой комнате ночную свечу и пошел в переднюю. Долго смотрел он на странного виновника своей бессонницы. Юродивый спал крепким сном, на лице его видно было спокойствие чистой совести и детская беззаботность; только раз сквозь сон провел он туда и сюда рукою перед лицом, как будто бы отмахивая от себя что-то неприятное. Мельский возвратился в спальню и лег опять в постель; на этот раз природа взяла свое; он начал засыпать, как вдруг послышалось ему, что над головою у него что-то затрещало; стены как будто бы обрушились и падали с протяжным гулом. Он снова вскочил и, не приписывая этого мечте, а какому-нибудь шуму в доме, опять взял свечу, прошелся по всем комнатам и еще раз взглянул на юродивого, который спал, как и прежде; все домашние Мельского также погружены были в глубокий сон, в доме все было тихо и спокойно, все уборы, все вещи стояли в целости на своих местах. После сего осмотра Мельский ушел в свою комнату и на этот раз спокойно проспал до самого того времени, как слуга вошел напомнить ему, что время собираться в караул.

— А вчерашний наш чудак? — спросил Мельский.

— Он ушел, сударь, куда еще до солнца. Чуть начало брезжить, он разбудил меня, чтоб я запер за ним дверь, и велел только доложить вам, что скоро скажет вам большое спасибо за вашу хлеб-соль.

— Все ли цело в доме? — спросил Мельский, не хотя прямо спросить о шуме, который послышался ему ночью.

— Все, сударь, — отвечал слуга почти сквозь зубы, приняв, что вопрос сей относился за счет Василя. — Этот дурачок ничего не уносит, где днюет или ночует, как бы что плохо ни лежало.

— Я не о том спрашиваю, — сказал Мельский, дав другой вид своему вопросу. — Пришел ли кучер, и нашлись ли лошади?

— Кучер пришел, сударь, только без лошадей. Он здесь в передней, дожидается, когда изволите выйти.

Мельский велел позвать кучера, который рассказывал ему, что в одном небольшом леску слышал ржание и сарпанье лошадей, но за темнотою от заката месяца, за густыми кустарниками и валежником никак не мог пробраться к тому месту; что страх от волков помешал

ему дожидаться там утра, но что он теперь же опять идет туда.

Побраня и отослав кучера, Мельский оделся, вышел в другую комнату и взглянул в окно. Там увидел он, что лошади его и с дрожками мчались во всю прыть по улице и вдруг остановились перед домом. Ими смело и ловко правил юродивый, а кучер бежал следом. Осадив и остановив лошадей на всем бегу, юродивый сдал вожжи подоспевшему кучеру, а сам пошел в комнату к Мельскому.

— Моя беда, хоть не моя вина, — сказал он вошедшим. — Василь поправил, как умел; вот твои кони и колесница; кое-что пообито и порастеряно. Да ты не горюешь; у тебя лишних рублей много, много — хоть за окно мечи! Так почти ты и делаешь.

— Да ты почему это знаешь? — спросил его Мельский.

— Знаю, знаю! Василь все знает: так ему на роду написано. Пестренькие карточки много тянут рублей по зеленому сукну; а там и пиры, и затеи, и бог весть!.. Правда: подаешь гривенки нищим, и много... Хорошо, хорошо, не пропадут!

— Вот и тебе гривенка за то, что отыскал и привел моих лошадей, — сказал Мельский, подавая ему червонец.

— Спасибо! Красен, красен! Много свеч богу, много гривенок братьям, — молвил юродивый, держа червонец на ладони и смотря на него. — Спасибо, прощай!

Мельский хотел его остановить, но он уже ушел; посланный слуга кликал его на улице, но он не оглядываясь шел размашистым скорым своим шагом и распевал стихиры.

В остаток этого дня ничего особенного не случилось с Мельским, так как и в следующие за тем дни; он почти позабыл о юродивом, который и сам не являлся и не встречался ему. На шестой день он собирался вечером на бал к богатой и роскошной графине Верской; уже он садился на дрожки, чтоб ехать к графине, как вдруг увидел идущего по улице Василя, который размахивал своею палкою и давал ему знак подождать. Мельский, желая узнать, что из того будет, велел кучеру приостановиться.

— Постой, повороти оглобли, — сказал юродивый, подойдя к офицеру. — Подале оттуда: там тесно, душ-

но; там все вертится — и ноги и голова. Закружишься — забудешься; на сердце одно, а на языке другое. Язык наш — враг наш: прежде ума рыщет.

Мельский усмехнулся и, занятый ожидавшими его веселостями, бросил несколько серебряных денег юродивому, закричал кучеру: «Ступай!» — и скоро проскакал по улице. Однако ж, по невольному движению, он оглянулся при повороте в другую улицу и увидел, что юродивый, стоя все на том же месте, взглянул на небо и размахнул обеими руками врозь, как будто бы хотел сказать: *га будет воля твоя!*

В шуму праздника Мельский скоро позабыл неприятное впечатление, оставленное в нем внезапным появлением, словами и выразительным телодвижением юродивого. Он был отменно весел, шутив и танцевал очень много. Между девицами, украшавшими собою бал, отличалась от всех Софья Ластинская, осьмнадцатилетняя красавица, богатая невеста и лучшая танцовщица в городе. Софья была хорошо воспитана, умна, с добрым сердцем; но на все эти добрые качества набрасывали темную сетку ее кокетство, ветренность или, лучше сказать, легкомыслие и невоздержная охота поострить язычок на чужой счет. Мельский имел и сам эту последнюю слабость, и потому на всех балах, где им случалось быть вместе, в танцах и между танцами они всегда находили случай сообщить друг другу колкие свои замечания насчет других танцовщиков и танцовщиц; иногда, поглядывая на бостонные и вистовые столики, перебирали они сидевших за ними смешных старушек и спорщиков-старичков. Часто язвительная улыбка Мельского или громкий неосторожный смех Софьи обличали перед другими то, что они говорили между собою вполголоса, а провинциальная щекотливость заставляла многих думать, и часто впадал, что тут говорилось на их счет. За что в отплату мстительное самолюбие осмеянных ими или считавших себя осмеянными назвало их *неразлучными*. И в самом деле, шутя над другими, Софья не обращала внимания на себя: она не замечала, как часто и неосторожно искала глазами Мельского между танцующими, как часто садилась поодаль от других, чтобы прибереечь ему место подле себя. Мельский не был из тех молодых самолюбцев, которые всякую малозначущую благосклонность пригожей женщины перетолковыва-

ют в свою пользу, однако ж столь явное к нему предпочтение Софьи не укрылось от наблюдательных глаз его; он и сам чувствовал к ней некоторое влечение: Софья была молода, прекрасна, образована, с живым, пылким умом... но, по странному противоречию сердечных склонностей, все их отношения друг к другу ограничивались взаимною охотою шутить насчет других. Сердце Мельского до сих пор молчало или искало в Софье других качеств, лучше тех, которые он знал в ней по светскому знакомству.

Легко можно догадаться, что и на бале у графини Верской неразлучные скоро отыскивали друг друга. В нескольких танцах сряду были они точно неразлучны, и завистливая молодежь и обиженное самолюбие шепотом между собою пророчили уже им скорую свадьбу. Как и часто случается, они, шутя насчет других, не замечали, что и над ними подшучивают. К концу бала стали собираться пары на котильон; Мельский подле Софьи, и, благодаря длинным расстановкам бесконечного танца, острые их замечания в полной свободе переливались от одного к другой и наоборот.

— Вот самая большая красавица, — говорила Софья, указывая глазами на одну из танцовщиц, — по крайней мере по росту; похвалитесь хоть одним гренадером вашего полка, который бы, в кивере и со всею вытяжкой, мог с нею поравняться.

— Зато какой у нее крохотный кавалер, — примолвил Мельский, — он ей ровно вполтали. Посмотрите, как бедненький мучит свои ноги, чтоб не отстать от нее в вальсе. Но мудрая природа везде любит уравнение: оба они, вершковую мерю, составляют полную пару танцовщиков среднего роста.

— Ах, посмотрите, посмотрите на эти желто-серые глазки: как приманчиво они вертятся под белыми ресницами! Бедняжки, и им кажется, что могут кому-нибудь понравиться!

— И, как видно, они не ошиблись. Видите ли, как этот длинноногий немчик, кавалер той дамы, около нее увивается. Bravo! он говорит ей нежности; это видно по немецко-патетическому выражению глаз его и лица.

— Полюбуйтесь жар-птицею: пунцовые цветы на голове, пунцовое платье, пунцовый румянец на щеках



и почти пунцовые волосы! Вот ей-то, *par excellence*<sup>1</sup>, пристал русский эпитет: *красная девица*.

— А поджаристому ее кавалеру — *горе-богатырь*. Право, ему вальс кажется похоронным маршем; так он наморщился и такую плаксивую сделал из себя маску.

Слушая и делая также замечания, Мельский заметил, что Софья, иногда со смехом от его шуток, иногда с весьма важным видом, оглядывалась назад. Там стоял, в нескольких шагах от них, артиллерийский офицер, держал палец у рта, как будто бы грыз себе ногти, и сурово посматривал то на Мельского, то на Софью. Всему бывает конец; и котильон, иногда продолжающийся до утра, особливо в провинциях, на этот раз кончился довольно скоро. Софья скрылась от глаз Мельского, а он, желая подышать свежим воздухом, пошел к стеклянным дверям, ведущим в сад. Там артиллерийский офицер, как видно было, выжидавший его, заступил ему дорогу.

— Позвольте, — сказал Мельский весьма учтиво.

— Позвольте наперед узнать от вас, милостивый государь, что говорила вам и чему смеялась ваша дама?

— Вот хорошо! — отвечал Мельский, не вышедши еще из терпения. — Разве эта дама поручена в ваш надзор? Да если б и так, то надеюсь, что вы столько знаете законы рыцарские...

— Милостивый государь! — запальчиво перервал артиллерист. — Я требую от вас не пустословия, а дела...

— А я требую от вас, сударь, — подхватил Мельский таким же тоном, — сказать мне, где вы взяли право меня допрашивать?

— Я покажу это право в свое время.

— А я покажу, как умею отделять навязчивых допросчиков.

— Дерзкий!..

И слово за слово, шум сделался сильнее и сильнее; около двух офицеров стеснился кружок любопытных: все расспрашивали, отчего начался спор. Но ни Мельский, ни артиллерист не могли и не хотели открыть коренной причины ссоры.

Как и всегда, и в этом случае нашлись услужливые

---

<sup>1</sup> Как никому (фр.).

примирители и ревностные поджигатели той и другой стороны. Сослуживцы Мельского твердили, что для чести их мундира это дело должно кончиться дуэлью, и дуэлью смертною; защитники артиллерийского офицера говорили то же. Оба противника сами того искали и хотели. Тут же, вышед в сад, назначили секундантов и свидетелей, место поединка — в роще, на второй версте от города; оружие — пистолет, до смертельной или очень тяжелой раны; и время — на другой день, в семь часов утра.

Не было больше путей к примирению; не было способа объясниться и виноватому извиниться перед правым: все было условлено и положено. К счастью, женщины узнали только, что был спор, а как, за что и чем должен кончиться, о том из предосторожности им не сказали.

Оба противника с их секундантами и свидетелями тотчас уехали с бала. Софья искала глазами Мельского и, не находя его, дивилась его раннему отъезду: она и не подозревала, что была, хотя, и не вовсе невинною, но неумышленною причиною того, что он должен был выставить грудь против пули.

Приехав домой, Мельский сел перед письменным своим столом и не думал уже ложиться в постелю. Он призвал своего слугу, велел подать пистолеты, сам их осматривал, выбирал и примерял пули, готовил заряды. Но природа брала свое: дело, так сказать, валилось у него из рук, пули падали на пол, а порох сыпался мимо патронов. Крайняя его рассеянность или, справедливее, отсутствие всякой посторонней мысли, кроме предстоящего поединка, была бы заметна и не для таких пытливых глаз, какие были у Игнатя, слуги его.

С первого взгляда, по приезде барина, Игнатий заметил уже перемену в лице его; отрывистые приказания, поминутно повторяемые и отменяемые, изменившийся голос, требование пистолетов и зарядов — все это помогало ловкому слуге разгадать страшную истину. Он не смел спросить о том своего барина; но, привыкши с малолетства быть при нем и, несмотря на небольшие свои проказы, будучи к нему искренно привержен, он вышел в переднюю и заплакал горькими слезами.

В это время послышался сильный стук у наружной двери. Игнатий вздрогнул, холод рассыпался по всем

его членам; однако ж он вышел и отпер дверь, чтоб узнать, кто стучался: это был юродивый.

— Василь говорил тебе ровно за неделю: «Будешь плакать!» — и должен плакать; добрый, добрый господин! дает полную горстью и никогда не считает.

С сими словами пошел он прямо в комнату Мельского. Игнатий не имел духа остановить его.

Мельский все еще сидел за письменным столом как бы в окаменении, устремля неподвижные глаза свои на стол, на котором лежала перед ним белая бумага. В лице ни кровинки; дыхание с каким-то напряжением вырывалось из груди; изредка только легкий судорожный трепет пробежал по его членам, и тогда тонкая краска вдруг вспыхивала на щеках его и вдруг погасала.

— Это ты? — сказал он, обернувшись, Василью, который вошел и стал против него. — Что скажешь?

Василь только покачивал тихо головою и не говорил ни слова.

— На, поделись с бедной братией и помолитесь за... за меня! — промолвил Мельский, схватя свой бумажник и вынув из него сторублевую ассигнацию, которую подал юродивому.

— Поздно! — отвечал Василь, как бы удерживая вздох. — Однако ж Василь возьмет, Василь оделит братию... Пусть так! — продолжал он после некоторого молчания и с расстановками. — Была не была!.. от нее не уйдешь... рано, поздно — все равно... была не была!

Мельский смотрел на него в недоумении: было ли то приправленное по-своему утешение со стороны юродивого, или другая какая мысль вертелась в расстроенной голове его — Мельский не мог отгадать.

— Бог же с тобою! — сказал он юродивому по некотором молчании, показывая глазами на дверь. «Бог и с тобою!» — отвечал Василь. «Да, бог с тобою!» — повторил он выразительным, растроганным голосом, который не отзывался уже грубостью и отсутствием ума, как обыкновенная речь юродивого. Он обернулся, пошел к дверям, подняв руки к небу, и при выходе сказал только, как бы на что решившись: «Ну!»

Появление его рассеяло раздумье Мельского; по уходе юродивого он принялся писать; потом позвонил, и Игнатий с заплаканными глазами явился на зов своего барина.

— О чем ты плакал? — спросил его Мельский.

— Да как, сударь!.. что с вами... что со мною будет!.. — И после сих перерывистых слов Игнатий зарыдал снова.

— Ты добрый малый, — сказал ему Мельский, встав и положа руку ему на голову, — живи хорошо, веди себя честно... Вот тебе покамест, — прибавил он, подавая ему пучок ассигнаций, — а здесь и ты и все другие не забыты. Это письмо отдай — если что случится — моему дядюшке. — Тут он указал на лежащее на столе запечатанное письмо.

Игнатий расплакался и разрыдался пуще прежнего, целовал руки своего барина, клялся, что ему будет житье не в житье, если не станет доброго его господина. Мельский был очень растроган.

Часы между тем текли своим нерушимым порядком; первые лучи солнца проникали уже в спальню Мельского. Он поднял сторы, открыл окно в маленький садик своей квартиры. Ранние птички чиликали в садике; утро было прелестное; роса светилась на зелени. Мельский высунул голову в окно и снова впал в задумчивость. Он думал, что, может быть, это последнее утро его жизни, что он не будет уже в сей вечер провожать глазами заходящего солнца и ночь, непрерывная ночь протянется над ним до бесконечности. Неизвестность будущего, страшный шаг, который должно было ему переступить, — все это толпилось в его воображении и тягчило сердце непомерным гнетом.

Долго оставался Мельский в сем положении. Легкий удар по плечу вывел его из забвения; вздрогнув, он оглянулся. Перед ним стоял Свидов, его секундонт; поодаль оба свидетеля поединка с его стороны, офицеры их полка.

— Полно рассуждать о суете мира сего, — весело сказал ему Свидов. — Теперь половина шестого; нам остается полтора часа. Вели нам подать водки и чего-нибудь перекусить. Тебе, брат, не прогневайся, не дадим: поговей покамест. Такие игры разыгрываются на тощей желудок.

В решительных случаях спокойствие и веселое расположение духа одного товарища сильно действует и на прочих: так и здесь было. Три офицера весело принялись за поданный завтрак; Мельский сел с ними, хотя и ничего не ел. Свидов оживлял беседу. Он

шутил, смешил своих товарищей насчет Мельского, говорил, что он нарочно постарался выкроить себе такую плаксивую личину, потому что собирается отплатить своего противника, и тому подобное. Смех прилипчив; Мельский и сам развеселился, особенно когда к концу завтрака Свидов, а за ним и оба другие офицера, налив полные стаканы вина, приподняли их и громко воскликнули: «Твое здоровье, Мельский!..»

— Отблагодарю вас, господа, через два часа, а не прежде, — отвечал Мельский с вольным духом.

Свидов взглянул на часы. «Ого, друзья, сколько мы бражничали: половина седьмого. Мельский, вели подать свои пистолеты и заряды: я как распорядитель жизни или смерти твоей — не бледней, милый друг! — хочу освидетельствовать, все ли боевые снаряды в должной исправности».

Пистолеты были осмотрены, лошади поданы — и через десять минут четверо товарищей были уже за городом. С каждым шагом ближе к месту поединка, звук копыт конских о землю звонче и звонче отдавался в ушах Мельского. Однако ж он был бодр: естественная или умышленная веселость Свидова и других офицеров, с ними ехавших, придавала ему духу. Приближаясь к назначенному месту, они заметили пыль по дороге и скоро увидели, что следом за ними неслись на всех рысях несколько человек. Это был противник Мельского и его ассистенты.

— Мы их опередили и кстати, — молвил Свидов, — покамест отдохнем и сгладим последние морщины с лица у Мельского.

Но Мельский был уже не тот: решимость, понятие о чести и чувство оскорбления придали ему необыкновенную отвагу. На лице его сияло совершенное спокойствие; он очень свободно расхаживал и холодно, но вежливо поклонился прибывшим в эту минуту товарищам его противника.

Свидов и секундانت артиллерийского офицера сошлись, передали несколько слов друг другу, выбрали и зарядили пистолеты, потом, разделя поровну между противниками свет и) ветер, мигом отмеряли восемь шагов на барьер и по пяти в обе стороны, чтобы сходитьсь. Подавая пистолет Мельскому, Свидов взглянул на него пристально и подивился и порадовался спокойствию и хладнокровию, которые выражались

в чертах его лица и во всех поступках. «Славно! — сказал он вполголоса. — Для первой дуэльной попытки это слишком много». С этими словами отступил он несколько шагов и стал рядом с секундантом противной стороны.

Уже пистолеты подняты, пальцы на шнеллерах, уже противники ступили шаг... тяжкое ожиданье заняло дух у секундантов и свидетелей... Кому-то пасть? или обоим? Оба равно смелы, оба равно тверды... только в артиллерийском офицере заметна была какая-то нетерпеливость в движениях: может статься, это было следствие обыкновенного его характера, или он, считая себя более обиженным, хотел скорее отмстить за свою обиду.

— Стой! — вдруг раздался громкий и твердый голос, и, по невольному движению, оба противника опустили пистолеты. Прежде нежели могли прийти в себя и они и их секунданты, юродивый стоял уже между поединщиками.

— Что вы делаете? — продолжал он тем же голосом. — Вы оба неправы; только ты виноватее, — примолвил он, оборотясь к артиллерийскому офицеру. — Драться вам не за что!..

— Протолкайте этого сумасброда! — закричал артиллерийский офицер.

— Сам ты сумасброд, что накликаешь на свою голову кровь неповинную, — сказал юродивый между тем, как секунданты и свидетели обеих сторон схватили его и хотели оттащить. Василь одарен был необыкновенною силою; по крайней мере, в этом случае показал он чрезвычайные усилия; шесть человек едва могли с ним сладить; наконец, оттащив его в сторону от барьера и видя, что он снова мечется к поединщикам, служившие свидетелями офицеры взялись его держать, а секунданты стали снова на свои места.

С одинаковою неустрашимостью противники пошли опять друг против друга; уже они почти на барьере, уже метят, курок спускается... Выстрел!... «Стой!.. ох!..» — и юродивый упал от пули артиллерийского офицера. В то же мгновение другая пуля просвистала над ухом артиллериста.

Пистолеты обоих противников, как по команде, упали на землю. Все бросились к юродивому. Он был еще жив. Кровь била клубом из-под распахнувшейся его

одежды. Полковой лекарь, приглашенный предусмотрительными товарищами Мельского и крившийся в ближнем леску, прибежал на выстрелы и, освидетельствовав рану, объявил, что она смертельна. Пуля по близости удара пролетела насквозь; часть внутренностей несчастного была повреждена.

Начали перевязывать рану. Ничто не служит таким надежным шагом к сближению двух противных сторон, как общее участие к одному предмету. Помогая лекарю в его попечениях, раздирая свои платки и спорясь, так сказать, в условиях облегчить страдания раненого бедняка, Мельский и противник его не сказали еще ни слова. Наконец сей последний, держа компресс на ране больного, тогда как лекарь отошел в сторону готовить бинт, взглянул в лицо Мельского, который поддерживал голову страдальца, и с некоторым усилием сказал: «Поединок наш еще не кончен!»

— Скажите, Бога ради, за что вы меня вызвали? — вскричал Мельский как бы по невольному движению.

— Вы сами должны это знать: не вы ли меня оскорбляли? Не вы ли смеялись на мой счет с тою, чьей руки я искал и еще не позабыл огорчительного ее отказа.

— Клянусь честию, что в разговоре моем с Софиею не было о вас ни слова. Я не дал бы этой клятвы, когда шел против вашей пули; теперь, над трупом сего бедняка, пострадавшего в нашем деле, я должен вывести вас из заблуждения.

— Почему ж она, говоря с вами, оглядывалась на меня и язвительно усмехалась?

— Это самого меня удивляло, и я хотел когда-нибудь выведать от нее тому причину. Но, повторяю снова свою клятву, предметом шуток наших и смеха были другие, а не вы.

Артиллерист помолчал несколько минут; он призадумался и, казалось, что-то припоминал; потом сказал тихим и горестным голосом и как бы сам себе: «И в этот раз запальчивость моя и подозрительный нрав довели меня до иступления ума, даже до убийства. Боже мой!.. Но я уже наказан — должен понести без ропота и то наказание, какое законы назначат убийце».

Мельский, по чувству соучастия, протянул к нему руку и хотел утешать его. Артиллерист схватил его

руку, сжал ее и сказал: «Простите ли вы мне опрометчивость мою, забудете ли нанесенную вам обиду?»

Молодой, мягкосердечный Мельский снова и крепко сжал ему руку. Он был удовлетворен вполне: товарищам своим и, следовательно, всему полку доказал он, что не боится порохового дыма, понятию о чести принес он жертву, соперник его просил у него прощения, чего ж мог он более требовать?

Привстав на колени и не отнимая руки от компресса, артиллерийский офицер протянул голову к Мельскому. Они поцеловались.

— Давно бы так! — сказал юродивый, который только что опамятавался. В это время подошел лекарь и dokonчил перевязку; раненый не испустил ни одного вздоха и не впал снова в беспамятство.

Офицеры подошли к примирившимся соперникам, поздравляли их с мировою; и Свидов первый как большой и опытный знаток в дуэльных делах сказал, что оба противника шли отлично и что сам он дерется со всяким, кто хоть заикнется против сего поединка.

В это время Мельский взглянул на лицо юродивого: он звал его глазами. Мельский наклонился к нему. «Я знал, чем кончится, — говорил Василь слабым, но внятным голосом, — Бог положил это мне на сердце. Я знал, что поведу тебя на могилу твоей тетки: ты с приезда сюда не был еще у нее на могиле. Добрая, добрая была у тебя тетка: любила нищую братию и много ее наделяла. Василь был от нее и сыт, и одет, и пригрет!.. Десять лет как она отошла к отцу небесному... Оттого и тебя полюбил я с первого взгляда, хотел узнать тебя поближе, да тебе было не до меня: суета сует закружила тебя. Я хотел отблагодарить за хлеб-соль твоей тетке; сказал, что помешаю тебе лежать, — и помешал».

Юродивый умолк. Мельский, роняя слезы на лицо его — дань благодарности и человечеству, которой он не стыдился, — вспомнил притом, что если б юродивый не подоспел, то пуля действительно попала бы прямо в него и, может быть, также навывлет; ибо выбранные секундантами пистолеты были велики и сильно заряжены, по человеколюбивому расчету Свидова, чтоб не долго мучиться раненому.

Офицеры разошлись в разные стороны и за хорошую плату собрали несколько крестьян, работавших вблизи



того места. Им велели из соседнего леса вырубить хворосту и сделать плетеные носилки, чтобы перенести в город раненого. Как скоро добрые малороссияне узнали, что раненый был Василь, то не хотели даже взять платы за перенесение его: они считали, что благословение божие будет на них и на их дома за услугу, которую окажут они юродивому. Дивились они только и шепотом между собою рассуждали, каким образом и кем он застрелен; но Василь, вслушавшись в их слова, сказал: «Я сам, братцы, наискался на смерть; так Богу было угодно! здесь никого не видите».

Слушая его слова и веря им, ибо знали, что Василь никогда не говорил неправды, крестьяне прекратили свои толки. На носилки настлали мягкой травы и сверх нее положили несколько свит<sup>1</sup>, чтоб раненому было еще мягче. Свидов сверх всего этого разостлал свою офицерскую шинель. Офицеры, как бы в погребальном шествии, тихим шагом ехали за носилками.

В предместьи города офицеры велели остановить носилки и постучались в двери одного маленького, но опрятного домика. Там жила добрая старушка, вдова. Узнав, что дело идет о том, чтобы дать приют Василию, она тотчас отперла дверь, очистила небольшую светлицу и приготовила мягкую постель для больного. Лекарь охотно вызвался навещать его, хотя и не предвидел никакой надежды его излечить.

Мельский ходил каждый день наведываться о его здоровье и с каждым днем видел постепенное угасание последних искр жизни сего непонятого человека. Василь говорил мало и говорил ему о тетке его, о ее добродетелях и благотворительности, присовокупляя иногда короткие, но сильные наставления для будущей его жизни. Во всех словах его не было уже признаков прежнего юродства, ни предсказаний. Так прошло три дня. На четвертый Мельский, нашедши хозяйку дома в первой комнате, спросил у нее о больном.

— Ему сегодня лучше, — отвечала старушка, — он спокойнее провел ночь и утром говорил громче и больше, нежели в прежние дни. Вспоминал о вас. Теперь, кажется, заснул; я выходила на час из дому,

---

<sup>1</sup> Свита — малороссийский кафтан или армяк.

а после не слышала никакого шума в его комнате, почему и думаю, что он спит.

Мельский отворил немного дверь в светлицу: ни на постеле, ни в комнате никого не было. Старуха вскрикнула, бросилась искать по всему дому, бегала в маленький свой садик, спрашивала у соседей: нигде не было Василя, никто не видел его! Наконец Мельский сам пошел искать и расспрашивать. Одна маленькая девочка сказала ему, что видела, как Василь через силу брел по улице к кладбищу. Мельский тотчас пошел туда. До кладбища было очень недалеко от дома старушки; легко могло случиться, что Василь, в новом припадке юродства, вздумал посетить заживо последнее свое жилище. При входе в кладбище Мельский увидел у одного памятника человека, который сидел на подножии, прилегши головою на низкий цоколь надгробного камня.

Мельский подошел к нему: это был точно Василь; но заостреные члены и посинелое лицо его показывали, что жизнь уже отлетела из полуразрушенной своей оболочки. Долго стоял Мельский в задумчивости над холодным трупом человека, принесшего ему в жертву жизнь свою; потом, рассматривая надгробие, прочел он, что памятник сей скрывал под собою прах его тетки. Юродивый в последние дни свои принес двойную дань благодарности.

— Ты сдержал свое слово! — говорил Мельский. — Ты привел меня на могилу тетки, и сам пришел посвятить последний вздох свой благодарному о ней воспоминанию. Покойся же с миром!

Грустно возвращался Мельский с кладбища. Обще с артиллерийским офицером, неумышленною причиною смерти юродивого, устроил он приличное погребение сему земному страдальцу, и сам шел за гробом его; товарищи Мельского и все участвовавшие в поединке также отдали последний долг умершему сочеловеку. Стечение народа, собравшегося даже из окружающих сел на погребение Василя, показывало, в каком уважении был юродивый у сих простых, но добрых людей. Особенно нищие с плачем провожали его в могилу: будучи сам нищ, он находил способ помогать им и делился с ними подаянием, которое получал. Одна дряхлая, как остов иссохшая старуха плакала и выла больше всех; когда кончено было погребение,

когда разошлись все, и старый, и малый, она одна осталась на могиле и кропила свежую землю своими слезами. И после часто видали ее на могиле юродивого; мать ли то была, родственница, или только предмет особых попечений покойного: никто не решился у нее спрашивать, и она никому о том не говорила.

## СКАЗКИ О КЛАДАХ

Жители С...го уезда и теперь, я думаю, помнят одного из тамошних помещиков, отставного гусарского майора Максима Кирилловича Нешпету. Он жил в степной деревушке, верстах в тридцати от уездного города, и был очень известен в тамошнем околотке как самый хлебосольный пан и самый неутомимый охотник. Нимврод и король Дагоберт едва ль не уступили бы ему в беспощадной вражде к черной и красной дичи и в нежной привязанности к собакам. Привязанность эта до того доходила, что собаки съедали у него весь годовой запас овса и ячменя; а чего не съедали собаки, то помогали докончить добрые соседи, большие охотники порыскать в поле с гончими и борзыми и еще больше охотники поесть и попить сами и покормить скотов своих на чужой счет.

При таком хозяйственном распорядке, мудрено ли, что небогатый годовой доход от тридцати душ крестьян и небольшого участка земли был ежегодно съеден в самом буквальном смысле. Этого мало: добрый майор, из жалости, никогда не раздавал щенков в чужие руки, а псарня его плодилась на диво; с умножением псарни должны были поневоле умножаться и расходы. Прибавьте к тому, что шесть самых видных и дюжих парней из его деревушки переряжены были в псарей; что при таком обширном охотничьем заведении необходимо было иметь несколько лошадей лишних как для самого майора, так и для псарей его, а часто еще для одного или двоих из добрых приятелей, у которых собственные лошади всегда находили средство или расковаться, или вывихнуть себе ноги. Полевые работы шли плохо, потому что шестеро псарей в осень и в зиму день при дне скакали за зайцами и лисицами, а остальную часть года или отдыхали, или ухаживали за собаками, следовательно, вовсе оторва-

ны были от барщины и от домов своих; а потеря дюжины здоровых рук в небольшом сельском хозяйстве есть потеря весьма значительная. Так, год от года, псарня доброго майора плодилась, расходы умножались, доходы уменьшались, а долги нарастали и чрез несколько лет сделались, по его состоянию, почти неоплатными. Это бы все ничего, если бы майор был сам своею головою; но у него было два сына и дочь, молодая и прелестная Ганнуся, расцветшая со всею свежестью красавицы малороссийской. Она составляла главную заботу бедного и неосторожного отца. Сыновья учились в губернском городе; и майор говаривал, что с божьею помощью и своим рассудком они вступят со временем в службу и будут людьми; но Ганнуся была уже невеста: где ей найти жениха, без приданого, и как ей оставаться сиротою после смерти отца, без хлеба насущного?

Такие мысли почти неотступно тревожили доброго майора; он сделался уныл и задумчив. Часто тяжкая дума садилась к нему на седло, шпорила или сдерживала невпопад коня его, заставляла пропускать дичь мимо глаз или метила ружьем его в кость, вместо зайца. Часто, в долгую зимнюю ночь, злодейка-грусть закрадывалась к нему под подушку, накликала бессоницу и с нею все сбыточные и несбыточные страхи. То слышался ему звонкий колокольчик: вот едут судовые описывать имение и продавать с молотка; то чудилось, что он лежит в гробу под тяжелою могильною насыпью, и между тем бедная Ганнуся, сиротою и в чужих людях, горькими слезами обливает горький кусок хлеба. Голова его пылала, в глазах светились искры; скоро эти искры превращались в пожар... ему казалось, что дом в огне, в ушах отзывался звон набата... он вскакивал; и хотя страшные мечты исчезали, но биение сердца и тревоги душевные гнали его с постели. Он скорыми, неровными шагами ходил по комнате, пока усталость, а не дремота, снова укладывала его на жгущие подушки.

В одну из таких бессонных ночей, лежа и ворочаясь на кровати, выискивал он в голове своей, чем бы разбить свою тоску и рассеять мрачные думы. Ему вспало на мысль пересмотреть старинные бумаги, со времени еще деда майорова уложенные в крепкий дубовый сундук и хранившиеся у старика под кро-

вацию, по смерти же его, отцом майоровым, со всякою другою ненужною рухлядью, отправленные в том же сундуке на бессрочный отдых в темном углу чердака. Сам майор, никогда не читая за недосугом, оставлял их в полное распоряжение моли и сырости; а люди, зная, что тут нечем поживиться, очень равнодушно проходили мимо сундука и даже на него не взглядывали. Чего не придет в голову с тоски и скуки! Теперь майор будит своих хлопцев, посылает их с фонарем на чердак и ждет не дождется, чтоб они принесли к нему сундук. Наконец, четверо хлопцев насилу его втащили: он был обит широкими полосами листового железа, замкнут большим висячим замком и сверх того в несколько рядов перевязан когда-то крепкими веревками, от которых протянуты были бичевки, припечатанные дедовскою печатью на крышке и под нею. Хлопцы с стуком опустили сундук на землю; перегнившие веревки отскочили сами собою, и пыль, наслоившаяся на нем за несколько десятков лет, столбом взвивалась от крышки. Майор еще прежде отыскал ключ, вложил его в замок и сильно повернул, но труд этот был излишний: язычок замка перержавел от сырости и отпал при первом прикосновении ключа, дужка отвалилась, и замок упал на пол. То же было и с крышкою, у которой ржа переела железные петли.

Тежелый запах от спершейся в бумагах сырости не удержал майора: он бодро приступил к делу. Хлопцы, уважая грамотность своего пана и дивясь небывалому дотолу в нем припадку любочтения, почтительно отступили за дверь и молча пожелали ему столько ж удовольствия от кипы пыльных бумаг, сколько сами надеялись найти на жестких своих постелях. Между тем майор вынимал один по одному большие свитки, или бумаги, склеенные между собою в виде длинной ленты и скатанные в трубку. То были старинные купчие крепости, записи, отказные и проч. на поместья и усадьбы, давно уже распроданные его предками или перешедшие в чужой род; два или три гетманские универсала, на которых «имярек гетман, божиею милостию, такой-то», подписал рукою властною. Все это мало удовлетворяло любопытство майора, пока наконец не попались ему на глаза несколько тетрадей старой уставчатой рукописи, где, между сказками о Соловье-разбойнике, о Семи мудрецах и о Юноше

и тому подобными, одна небольшая, полусотлевшая тетрадка обратила на себя особенное его внимание. Она была исписана мелким письмом, без всякого заглавия, но когда майор пробежал несколько строк, то уже не мог с нею расстаться. И вправду, волшебство этой рукописи было непреодолимо. Вот как она начиналась <sup>1</sup>:

«Попутчик Сагайдачного Шляха <sup>2</sup> берет от Трех Курганов поворот к Долгой Могиле. Там останавливается он на холме, откуда в день шестого августа, за час до солнечного заката, человеческая тень ложится на полверсты по равнине, идет к тому месту, где тень оканчивается, начинает рыть землю и, докопавшись на сажень, находит битый кирпич, черепья глиняной посуды и слой угольев. Под ними лежит большой сундук, в котором Худояр <sup>3</sup> спрятал три большие серебряные стопы, тридцать ниток крупного жемчуга, множество золотых перстней, ожерелий и серег с дорогими камнями и шесть тысяч польских золотых в кожаном мешке...»

Словом, это было *Сказание о кладах*, зарытых в разных местах Малороссии и Украины. Чем далее читал Максим Кириллович, тем более дивился, что он живет на такой земле, где стоит только порыться на сажень в глубину, чтоб быть в золоте по самое горло: так, по словам этой рукописи, страна сия была усеяна подспудными сокровищами. Как не отведать счастья поисками этих сокровищ? Дело, казалось, такое легкое, а добыча такая богатая. Одно только не допускало майора на другой же день приступить к сим поискам: тогда была зима, поля покрыты были глубоким снегом; трудно было рыться под ним, еще труднее отыскивать заметки, положенные в разных урочищах над закопанными кладами. Но должно было покориться необходимости: русской зимы не пересилишь — это уже не раз было доказано, особливо чужеземным врагам народа русского. Так и майор принужден был отложить до весны свои подземные исследования и на этот раз был богат только надеждою. Однако ж он не вовсе оставался без дела: рукопись была написана нечеткою старинною рукою и под титлами, т.е. с надстрочными сокращениями слов, майор учен был русской грамоте, как говорится, на медные деньги, и можно смело сказать, что никакому археологу не было

столько труда от чтения и пояснения древних рукописей геркуланских, сколько нашему Максиму Кирилловичу от разбираенья любопытной его находки. Наконец он принял отчаянные меры: заперся в своей комнате и самым четким по возможности своим почерком начал переписывать тетрадку, надеясь, что сим способом он добьется в ней до настоящего смысла. Псовая охота не приходила уже ему в голову, борзые и гончие были со скуки под окнами, а псаря от безделья почти не выходили из шинка. Так проходили целые недели, и не мудрено: с непривычки к чистописанию майор писал очень медленно; при том же часто, пропуская или переиначив какое-либо слово или не разобрал его в подлиннике, он не доискивался толку в своем списке и с досады раздирал по несколько страниц; должно было приниматься снова за старое, и от того-то дело его подвигалось вперед черепашьим шагом. Надобно сказать, что вместо отдыха от письменных своих подвигов он, из благодарности к сундуку, прибил к нему своими руками новые петли и пробой, уложил по-прежнему вынутые из него бумаги, запер его крепким замком и едва не надсадился, подкачивая его под свою кровать. Домашние майоровы согласно думали, что он пишет свою духовную. Особливо Ганнусю это крайне печалило: бедная девушка воображала, что отец ее, предчувствуя близкую свою кончину, желал устроить будущее состояние детей своих и делал нужные для того распоряжения. Быв скромна и почтительна, она не смела явно спросить о том у отца, а пробраться тайком в его комнату не было возможности: майор почти беспрестанно сидел там, а когда выходил, то запирали дверь на замок и уносил ключ с собою. Соседи майоровы почти совсем перестали посещать его и поделом! он не выезжал уже до рассвета с своими псами и псарями на охоту; к тому же, сидя на заперти в своей комнате, не мог по-прежнему беседовать с гостями и потчевать их пуншем с персиковою водкою, а добрые соседи не хотели даром терять пороши или выслушивать рассказы о майоровых походах на свежую голову. Были люди, которые не только его не покинули, но еще стали навещать чаще прежнего: это его заимодавцы, купцы из города, у которых он забирал в долг товары, и честные евреи, поставщики всякой всячины. Эти люди ничем не скучают, когда дело идет

о получении денег, и за каждый рубль готовы отмерять до сотни тысяч шагов полным счетом.

Однако ж у майора был один — не скажу истинный друг, а прямо добрый приятель. Истинный друг, по словам одного мудреца, есть такое существо, которого воля сливается с вашею волею и у которого нет других желаний, кроме ваших; а майор Максим Кириллович Нешпета и старый войсковой писарь Спирид Гордиевич Прямченко никогда не хотели одного, не соглашались почти в двух словах и поминутно спорили до разреза. Несмотря на то, когда майору случалась нужда в деньгах или в чем другом, — а эти случаи очень были нередки, — войсковой писарь никогда ему не отказывал, если только у самого было что-либо за душою; он же сочинял все бумаги по судным майоровым делам, прибавляя к тому полезные советы — и на одном только этом пункте у них не было споров; ибо майор, будучи сам не великий делец, слепо доверял войсковому писарю, тем больше что никогда не был обманут в своем доверии. Однако же в теперешнем случае майор не смел или не хотел ввериться войсковому писарю, которого называл *вольнодумцем* за то, что сей, учившись когда-то в Киевской академии, не верил киевским ведьмам, мертвецам икладам и часто смеивался над предрассудками и суевериями простодушных земляков своих. Майор, который, по его словам, почти сам видел, как однажды ведьма бросалась и фыркала кошкою на одного гусара, его сослуживца, часто с криком и досадою опровергал доказательства своего соседа и предрекал ему, что *будет худо*; но это худо не приходило к войсковому писарю, хотя они спорили об этих важных предметах лет двадцать почти при каждом свидании.

Отсторонив от себя этого советчика, майор обратился к другому. Это был его однополчанин, отставной гусарский капрал Федор Покутич, которого майор принял в свой дом, давал ему, как называл, *паек* от своего стола и очень достаточную *порцию* водки, покоил его и во всяком случае стоял за него горою. Из благодарности старый капрал присматривал в летнее время за садом и пчельником майоровым, а в осеннее и зимнее — за исправностью псарей и охотничьей сбриу. Сверх того, он лечил майоровых лошадей и собак, почитал себя большим знатоком во всех этих делах



и весьма нужным лицом в домашнем быту своего патрона. Старый капрал (такое название давали ему все от мала до велика) был по рождению серб и чуть ли еще не в семилетнюю войну вступил в русскую службу. Высокий рост, широкие плечи и грудь, смуглое лицо с крупными, резко обозначенными чертами, рубец на безволосом теле, другой на правой щеке, а третий за левым ухом, простреленная нога, длинные, седые усы, густой, отрывистый бас его голоса, богатырские ухватки и три медали на груди — внушали к нему почтение не только в крестьян майорских и в других поселян, но даже и в соседних мелкопоместных панков. Он ходил всегда в форменной солдатской шинели, на которую нашиты были его медали, закручивал в завитки уцелевшие на висках два пасма волос, а седины своего затылка туго-натуго обвивал черною лентою, крайне порывавшею от долголетнего употребления. Осенью и зимою, когда майор почему-либо рано возвращался с охоты и когда не было у него гостей, призывал он старого капрала, вспоминал с ним про давние свои походы и молодечество или заставлял его рассказывать всякие были и небылицы; а на это капрал был и мастер и охотник. Между тем как майор отдыхал на лежанке, старый его сослуживец, растирая табак в глиняном горшке и почасту прихлебывая из сулеи вечернюю свою порцию, пересказывал ему в сотый раз казарменные прибаутки, сказки и страшные были, со всеми прикрасами сербско-малороссийского своего красноречия. К суевериям и предрассудкам своей родины, залегшим смолоду в его памяти, прибавил он порядочный запас поверий и небылиц, выдаваемых за правду в Малороссии и Украине: по сему можно судить, как занимательна была его беседа для любителей чудесного; а добрый наш майор был из числа самых жарких любителей всего такого.

Разумеется, что в этом запасе старого капрала сказки о кладах занимали не последнее место. Мудрено ли, что майор, зная обширные его сведения и предполагая в нем, на веру его же слов, большую опытность по сей части, решил с ним советоваться насчет будущих своих поисков? Чтоб не откладывать вдаль исполнения этой благой мысли, тотчас послал он одного из хлопцев отыскивать капрала, который, дивясь и жалея, что старый его командир сбился с ступи — так называл он

замеченную им перемену в привычках майоровых,— скучал и наедине потягивал свою порцию.

Приказ командирский был для него законом. Старый капрал пригладил усы, закрутил виски, осмотрелся, все ли на нем исправно и пошел, соблюдая приличную вытяжку и стараясь как можно меньше прихрамывать раненою ногою. Войдя в дверь, он выпрямился, нанес правую руку на лоб и твердым голосом проговорил:

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

— Здравствуй, капрал! какво поживаешь? Я давно не видал тебя.

— Гм, ваше высокоблагородие! не моя вина; я всегда готов на смотр по первому приказу.

— Верю и знаю; да мне было не до того... Садись, старый служивый, да поговорим...

— Не о старине ли?.. Я думаю, ваше высокоблагородие совсем о ней забыли.

— Нет; старину свою отложим мы до будущей зимы, когда у нас от сердца отляжет. Теперь потолкуем о деле.

— Извольте, ваше высокоблагородие!

И капрал, который, между прочими делами по дому, произвольно взял на себя обязанность каждый день докладывать майору о сельских работах и вообще о хозяйстве, пустился вычислять все, что сделано было в доме, на винокурне и в мельнице, с тех пор как майор вовсе перестал заниматься домовыми своими делами. Это вычисление не скоро бы кончилось, если б майор не перебил его.

— Все это очень хорошо, да все не то,— вскрикнул нетерпеливый майор.— Помнишь ли, ты не раз мне рассказывал о кладах? Без дальнего внимания, при таких рассказах я или дремал, или слушал вполуха. Одно только у меня осталось на памяти: что над кладами, из любви к сокровищам, всегда сторожит недобрый в том виде в каком человек, зарывший клад, положил на него зарок являться.

— Да: и собакой, и кошкой, и курицей, только не петухом. Иногда сидит он диким зверем: медведем, волком, обезьяною с огненными глазами и крысьим хвостом; иногда чудовищем, Змеем Горынычем о семи головах; иногда даже и человеком, не в нашу меру будь сказано.

— У меня есть на примете кое-какие кладушки,

и можно бы за ними порыться... Об этом расскажу тебе после. А теперь хотел бы снова услышать повнимательнее о прежде найденных кладях, чтобы в пору и во время примениться к тому, как добрые люди поступали в таких случаях.

— А вот видите ли, ваше высокоблагородие! (таков был обыкновенный приступ всех рассказов старого капрала). Я не служил еще в том полку, в котором находился под команду вашего высокоблагородия; шли мы в глубокую осень из дальнего похода, и нашему полку расписаны были зимние квартиры в К...ском повете. Наш эскадрон поставлен был в одном селении, а в том числе мне отведена была квартира у одной доброй старушки. Хата ее чуть не вертелась на курьих ножках: низка, ветха и стены только что не валились; толкни в угол коленом — она бы и вдосталь рассыпалась; а дом как полная чаша, и в золотой казне, по приметам, у старой не было недостатка. Мне было у нее не житье, а масленица; чего хочешь, того прошибь: пить, есть, всего по горло. Ну, словом сказать, она наделяла и покоила меня, как родного сына, и часто даже называла меня *сынку*<sup>4</sup>. Дивились и я и мои товарищи такой доброте старушкиной; дивились и тому, что у нее, под эту ветхую кровлею, такое во всем благословение Божие. Стали наведываться о ней у соседей, и те нам сказывали, что у хозяйки моей был один сын, как порох в глазу, и того, по бедности, сельский атаман<sup>5</sup> отдал в рекруты, что с тех пор не было о нем ни слуху ни духу и что старушка, расставшись с ним, долго и неутешно плакала. Не было у ней подпоры и помощи, некому было обрабатывать поля и смотреть за домом; скудость ее одолела, она пошла по миру и многие годы бродила из селения в селение, по ярмаркам и богомольям, питаюсь мирским подаванием; как за три года до нашего квартирования вдруг разбогатела. Откуда что взялось: и теплая опрятная одежда вместо нищенского рубища, и лакомый кусок вместо черствых крох милостынных<sup>6</sup>. Домишка хотя она и не перестраивала, да о том и не горевала: добрые соседи, за ее хлеб-соль и ласку, а пуще за чистые деньги, возили ей на зиму столько дров, что и порядочную винокурню можно бы без оглядки отапливать круглый год. Со всем тем, она никого не принимала на житье и даже по крайней только нужде впускала

к себе в дом любопытных соседей; когда же уходила из дому, то двумя большими замками запирала двери. В селении пошли о ней разные толки, и еще в нашу бытность соседи старушкины натрое толковали о скорой ее разживе: одни думали, что она, во время своего нищенства, искусилась лестью врага нечистого и сделалась ведьмою; другие, что она спозналась с подорожною челядью и в ночную пору давала у себя притон разбойникам, за что будто бы они ее наделяли; третьи же, люди рассудчивые, видя, что она по-прежнему богомольна и прибежна к церкви божией и что у нее никогда не видали ни души посторонней и не слышали по ночам ни шума, ни шороха, — говорили, что она нашла клад; а как и где — никто о том не знал, не ведал.

Признаться, у меня не полегчало на душе от всех таких рассказов. Если хозяйка моя колдунья, думал я, то жить под одной кровлей с ведьмою вовсе мне не поутру. В какую силу она меня прикармливает да привечает? Почему знать, может быть, ей нужна моя кровь или жир, чтоб летать из трубы на шабаш. Вот я и стал за нею подмечать: ночи, бывало, не сплю, все слушаю, а не заметил за нею никакого бесовского художества. Старушка моя спит, не шелохнется, а если, бывало, и пробудится, то вздохнет и вслух сотворит молитву. Это меня поуспокоило, только не совсем: я стал приглядываться и обыскивать в доме. Надобно вам сказать, что старуха во всем мне верила: уйдет, бывало, и оставит на мои руки свой домишка со всею рухлядью. Вот однажды, когда она уходила надолго, я давай шарить да искать по всей избе. В переднем углу, под липовою лавкою, стоял сундук с платьем и другим скарбом; веря моей совести, старушка ушла, не замкнув его. Я выдвинул его, пересмотрел в нем все до последней нитки; ничего не было в нем такого, над чем бы можно закусить губы и посомниться. Я уже начал его вдвигать, как вдруг сундук, став на свое место, стукнул обо что-то громко, что гул пошел по комнате. Я опять его отодвинул; ощупал руками место — там были доски; я разобрал их; под досками врыт был в землю медный котел ведра в два, а в котле, снизу доверху, все серебряные деньги, и крупные, и мелкие, начиная от крестовиков до старинных копеечек. У меня, сказать правду, глаза распрыгались на

такое богатство; только, во-первых, от самого детства никогда рука моя не поднималась на чужое добро; а во-вторых, знал ли я, где и кто чеканил все эти круглевики? Может быть — бродило тогда у меня в голове — если я до них дотронусь, то они рассыплются золою у меня в руке. Я убрал все по-прежнему, поставил сундук на свое место и дожидался старухи как ни в чем не бывало.

За ужином я вздумал от нее самой выведать правду, хоть обиняками. Для этого я завел сперва речь о ее сыне; старуха моя расплакалась горькими слезами и призналась, что положила на себя обещание всякого военного человека, которого бог заведет к ней, поить, кормить и покоить, как родного сына. «От этого, — прибавила она, — верно, и моему сынку будет лучше на чужой стороне, а если бог послал по его душу, легче в сырой земле. Сам ты видишь, служивый, твердо ли я держу свое обещание». Такие старухины речи и меня чуть не до слез разжалобили; я почти уже каялся в своих подозрениях, однако ж все хотел попытаться, отчего она разбогатела: «Мне сказывали, бабушка, ты прежде была в нужде и горе, — молвил я, — расскажи мне, как тебя Бог наделил своею милостию?» Старуха смутилась и призадумалась от моего вопроса, однако ж ненадолго; помолчав минуты с две, рассказала она мне все дело таким порядком:

— Жила я, сынку, как ты уже слышал, в горе и бедности, бродила по миру и питалась подаяннем. Хлеб милостынный не горек, но труден: ноги у меня были изъязвлены и почти не служили от многой ходьбы и усталости. Однажды я сделалась нездорова и осталась дома; запаса было у меня дни на три, так я и не боялась, что умру с голоду. Тогда была поздняя осень; в долгий вечер, зажегши лучину, сидела я и чинила ветхое свое лохмотье. Вдруг откуда ни возьмись белая курица с светлыми глазами, ходит у меня по полу и поклохтывает. Я удивилась: у меня не было в заводе ни кур, ни другой какой живности; соседние тоже не могли забрести: им нечем было бы у меня поживиться. Курица обошла трижды кругом по хате и мигом пропала из виду. Мне стало жутко; я перекрестилась, сотворила молитву и думала, что мне так померещилось. Когда же легла спать, мне приснился старичок, низенький, дряхлый и седенький, с длинною

белую бородою и в белой свите. Он мне сказал: «Раба Божия! тебе дается счастье в руки, умей его захватить». И с этими словами как не бывал; только легкое облачко, вьючись, понеслось кверху. На другой вечер, и в ту же пору, опять курица трижды прошлась кругом по хате и проклохтала, и также исчезла; я заметила только, что она ушла в передний угол. Ночью тот же старичок явился мне снова и сказал мне: «Раба Божия! эй, не упусти своего счастья; будешь на себя плакаться, да поздно. Еще однажды только ему суждено тебе явиться». Я осмелилась и спросила его: «Скажи, мой отец, как же мне добыть это счастье?» — «Возьми палку, — отвечал старик, — и когда оно покажется тебе снова, то помни: на третьем его обходе вокруг хаты ударь по нем, да меть по самому гребню; а после живи да поживай, славь бога и делай добро». Проснувшись утром, я нетерпеливо ждала, чтобы день прошел поскорее, а между тем припоминала и твердила слова старика. Вот наступил и вечер; я взяла в руки палку и глаз не отводила от пола; вдруг выбежала моя курица и поскакала по хате; она была крупнее прежнего и клохтала чаще и громче; высокий гребень на ней светился, а глаза горели, как уголья. Положив на себя крестное знамение, чтобы, какова не мера, не поддаться вражьему искушению, я подняла палку и стерегла курицу на третьем обороте; лишь только она поравнялась со мною, я ударила ее изо всей силы вдоль головы, по самому гребню; курицы не стало, а передо мною рассыпались крупные и мелкие серебряные деньги...

— Все это так, — молвил майор, перервав повесть капрала, — да дело у нас идет не о таком кладе, который сам является, а о таком, который надобно отыскивать под землею.

— За мною дело не станет, ваше высокоблагородие; вся сила в том, как положен клад, с заговором или без заговора?

— Почему ж я это знаю? А надобно готовым быть на всякий случай. Так положим, что наш клад заговорили, когда зарывали в землю.

— И тут я могу пригодиться вашему высокоблагородию. Лишь была бы у нас *разрыв-трава* или папоротниковый цвет.

— Вот то-то и беда, что нет ни того, ни другого.

Скажи мне по крайней мере, где водится разрыв-трава и как добывается папоротниковый цвет?

— Разрыв-трава водится на топких болотах, и человеку самому никак не найти ее, потому что к ней нет следа и примет ее не отличишь от всякого другого зелья. Надобно найти гнездо кукушки в дупле, о той поре как она выведет детей, и забить дупло наглухо деревянным клином, после притаиться в засаде и ждать, когда прилетит кукушка. Нашедши детенышей своих взаперти, она пустится на болото, отыщет разрыв-траву и принесет в своем носике; чуть приложит она траву к дуплу, клин выскочит вон, как будто вышибен обухом; в это время надобно стрелять в кукушку, иначе она проглотит траву, чтоб люди ее не подняли. Папоротниковый цвет добывать еще труднее; он цветет в одну только пору: летом, под Иванов день в глухую полночь<sup>7</sup>. Если ваше высокоблагородие не поскучаете, я расскажу вам, что слышал от одного сослуживца, гусара, который сам, с отцом своим и братом, когда-то искал этого цвета в молодости, еще до службы.

— Рассказывай смело; я рад тебя слушать хоть до рассвета.

— Помните ли, ваше высокоблагородие, нашего полку гусара, Ивана Прытченка? Он был лихой детина: высок ростом, статен, силен и смел, — хоть на медведя готов один идти... Смелостью и в могилу пошел. В первую турецкую войну, помнится, под Браиловым, один басурманский наездник выскочил из крепости, вихрем пронесся по нашему фронту, выстрелил из обоих пистолетов и стал под крепостными стенами; там, беснуясь на своем *аргамаке*, браня нас и подразнивая, он вызывал молодца переведаваться. Прытченко стоял подле меня; видно было, что его взорвало басурманово самохвальство: он горячил своего коня и вертелся в седле, как на проволоке. Вдруг, оборотясь ко мне, он вскрикнул: «Благослови, товарищ», — и не успел я дать ответ, уж вижу, наш Прытченко летит стрелою на басурмана, доскакал и давай саблю крошить неверного. С третьего удара, смотрим — турок как сноп на землю, а удалый наш товарищ, схватя его коня за повод, оборотился назад... и в то же время — паф! Турецкие собаки пустили в него ружейный огонь со стены. Добрый конь вынес его из этого адского огня,

добежал до фронта, хотел стать на место — и упал. Тогда только мы заприметили, что конь и ездок были изранены. Я соскочил с седла, хотел подать помощь бедному товарищу и вынести его за фронт... Поздно! он уже выбыл из списка! Славный, храбрый был гусар и добрый товарищ: последними крохами, бывало, поделится с своим братом! Упокой, господи, его душу!..

Капрал вздохнул и поднял глаза кверху. Голос его изменился к концу рассказа, и блеск свечи бегло мелькнул на влажных его ресницах. Старый служивый отер глаза, хлебнул глоток своей порции и продолжал:

— Простите, ваше высокоблагородие! Я для того только припомнил об этом случае, чтобы показать вам, что такой молодец не струсил бы от пустяков. Вот что он мне рассказывал однажды в тот же поход, и незадолго перед своею смертью, когда мы, оставши ночью вдвоем от товарищей, тихим шагом ехали с фуражировки. Ночь была свежа и темна, хоть глаз выколи, нам нечем было согреться и отвести душу: походные наши сулеи были высосаны до капельки; притом же нас холодили и нерадостные думы: вот как-нибудь наткнемся на турецкую засаду. Мне не то чтобы страшно, а было жутко; я промолвился об этом Прытченкову. «Товарищ! — отвечал он. — Такую ли ночь я помню с молодых своих лет? Чего нам тут бояться? Турецких собак? Бритые их головы и бока их басурманские отзовутся под нашими саблями; а там, где не видишь и не зацепишь неприятеля и где он вьется у тебя над головою, свищет в уши и пугает из-под земли и сверху криками и гарканьем, — вот там-то настоящий страх, и я его изведal на своем веку». — «Расскажи мне об этом, товарищ, чтобы скоротать нам дорогу», — молвил я. «Хорошо, — отвечал он, — слушай же. Нас было трое у отца и матери, три сына, как ясные соколы, молодец к молодцу: я был меньший. Отец наш был когда-то человек зажиточный: посылавал десять пар волов с чумаками<sup>8</sup> за солью и за рыбою; хлеба в скирдах и в закромах, вина в амбарах и другого прочего было у него столько, что весь бы наш полк было чем прокормить в круглый год; лошадей целый табун, а овец, бывало, рассыплется у нас на пастбище — видимо-невидимо. Да, знать, за какие тяжкие отцовские или дедовские грехи было на нас божес-



кое попущение: в один год как метлою все вымело. Крымские татары отбили у нас весь обоз: и волю, и соль, и рыба — все там село; чумаки наши пришли домой с одними батогами<sup>9</sup>. В летнюю пору, когда все мы ночевали в поле на сенокосе, вдруг набежали гайдамаки на наше село, заграбили у отца моего все деньги и домашнюю рухлядь и увели всех лошадей; в ту же осень и дом наш, со всем добром, с житницами и хлебом в овинах и скирдах, сгорел дотла, так что мы остались только в том, в чем успели выскочить. На беду еще случился скотский падеж, и изо всего нашего рогатого скота не осталось и десятой доли. Горевал мой отец на старости, сделавшись вдруг из самого богатого обывателя чуть не нищим; кое-как, сбыв за бесценюк остальную свой скот и большую часть поля, построил он домишко и в нем, что называется, бился как рыба об лед. На свете таково: кто раз приучился к приволью и роскоши, тому трудно в целый век от них отвыкнуть; мой отец беспрестанно вспоминал о прошлом своем житье, тосковал и жаловался, даже говаривал, что за один день такого житья отдал бы остального своего полвека. Часто отец Герасим, приходский наш священник, который один из целой деревни не оставил нас при бедности, прихаживал к моему отцу, уговаривал его не печалиться и толковал ему, что богатство — прах. Тут обыкновенно он рассказывал нам об одном святом человеке, который, как и мой отец, лишился всего своего несметного богатства; и, мало того, похоронил всех детей и сам был болен какою-то тяжкою немощью; но при всякой новой беде не роптал и еще благословлял имя божие. Отец слушал все это, и у него от сердца отлегало; когда же, бывало, священник долго не придет, то отец мой снова разгорюется и опять за прежнее: все ему и спалось и виделось пожить так, как до черного своего года.

Вот прошел у нас в околотке слух об одном славном знахаре<sup>10</sup>, который жил от нас верст за шестьдесят, одинок, в глуши, среди темного леса. Рассказывали, что он заговаривал змей, огонь и воду, лечил от всякой порчи, от укушения бешеных собак и даже прогонял нечистого духа; ну, словом, каждую людскую беду как рукой снимал. Отец мой тихонько подговорил меня, и, не сказавшись никому, мы отправились вдвоем к знахарю, потому что отец боялся идти к нему один. Долго

ли, коротко ли шли мы, не стану рассказывать; скажу только, что под конец отыскиали в лесу узкую тропинку между чащею и валежником, пустились по ней и пришли к высокому плетневому забору, которым обнесена была хата знахаря. Мы постучались у ворот; вдруг раздался лай, и вой, и рев; спустя мало страшный старик отпер нам ворота. Он был высокого роста, широкоплеч, с большою головою, с виду бодр, хотя и очень стар; длинные, густые волосы с проседью сбились у него войлоком на голове и в бороде; сквозь распахнутую рубашку видна была косматая грудь; в руках у него была толстая суковатая дубина. Взгляд у него был суров и дик; под широкими, навислыми бровями бегали и сверкали большие черные глаза. Они пятились изо лба, как у вола, и страшно было видеть, как он ворочал белками, по которым вдоль и впоперек бороздили кровавые жилы. «Что надобно?» — отрывисто проворчал он сиповатым голосом, и лай, и вой, и рев раздались сильнее прежнего. Я вздрогнул и обозрелся кругом: смотрю, по одну сторону ворот прикована пребольшая черная собака, а по другую — черный медведь, такой ужасный, каких я сроду не видывал. Старик грозно на них прикрикнул, и медведь, глухо мурча, попятился в берлогу, а собака, с визгом поджавши хвост, поползла в свою конуру. Отец мой, немного оправясь от страха, поклонился старику и сказал, что хочет поговорить с ним о деле. «Так пойдем в хату!» — пробормотал знахарь сквозь зубы и пошел вперед. Мы вошли в хату; отец мой, помолясь богу, поставил на стол, покрытый скатертью, хлеб и соль, старик тотчас взял нож, прошептал, кажется, молитву и нарезал на верхней коре хлеба большой крест. «Садитесь!» — сказал нам старик и сам сел в углу, на верхнее место, а мы в конце стола; перед колдуном лежала большая черная книга: видно было, что она очень ветха, хотя все листы в ней были целы и несколько не истерты. Старик развернул книгу и смотрел в нее. В это время мой отец начал ему рассказывать свою беду, старик не дал ему докончить. «На что лишние слова? — проворчал он отрывисто. — Эта книга мне лучше рассказала все дело; ты был богат, обеднел и хочешь снова разбогатеть. Сказать тебе: «Трудись», — ты молвишь в ответ, что века твоего не станет. Ну так ищи папоротникова цвета». — «Что же

мне прибедет, дедушка, если я отыщу папоротниковый цвет?» — «Носи его в ладонке, на груди: тогда все клады и все подземные богатства на том месте, где будешь стоять или ходить, будут перед тобой как на ладони; а захочешь их взять, приложи только папоротниковый цвет — сами дадутся. Все пойдет тебе в руку, и будешь богаче прежнего». — «Научи же меня, дедушка, как добывать папоротниковый цвет?» — «Некогда мне с тобою толковать: в этот миг дошла до меня весть, что ко мне едут гости, богатый купец с женою. Их испортили: муж воет волком, а жена кричит кукушкой, и им никак не должно с вами здесь встретиться. Ступайте отсюда и по дороге зайдите в Трирецкий хутор; там у первого встречного спросите о бесноватой девушке, ее всякий знает. Она вас научит что делать; а я теперь же пошлю к нему приказ». Сказав это, он взял лоскуток бумаги, написал на нем что-то острым концом ножа и положил на открытое окно. День был тихий и красный, солнце пекло, и ни листок не шелохнулся; но только старик пошевелил губами — вдруг набежало облачко, закрутился вихорь, завыл, засвистал и сыпал искры, подхватил бумажку и умчал ее невесть куда. И мигом облачка как не бывало, на дворе стало ясно и тихо по-прежнему, ни листок на дереве не шелохнулся, только меня с отцом дрожь колотила, как в лихорадке. Поскорее положи полтинник на стол колдуну и отдав ему по поклону, мы без оглядки вон из дверей и за ворота; медведь заревел и собака завыла; а мы, не помня себя, бегом пустились по старому следу и не прежде остановились, как выбравшись из лесу, в котором жил страшный старик. Напугавшись тем, что видели у колдуна, мы и не думали заходить в хутор: нас и без того мороз по коже драл от бесовщины, и рады-рады мы были, когда подобру-поздорову добрались до дому. Однако же дня через три отец сказал мне: «Иван! умный человек ничего не делает вполовину: у нас стало духу на одно, попытаемся ж и на другое; ходили мы к колдуну, пойдем же и к бесноватой. Ты самый смелый из моих сыновей; ну-ка, благословясь, пустимся опять в дорогу». Стыдно и совестно мне было отказаться, хотя правду сказать, и не было охоты идти на новую попытку. Мы пришли в хутор, где нам тотчас указали дом бесноватой. Входим. На широкой лавке лежит девушка лет двадцати,

худая, бледная, как смерть; около ее сидят родные и три или четыре старухи посторонних; она, казалось, спала или дремала от сильного утомления. Нам сказали, что она уже три дня нас ждала, тосковала, металась, как будто бы пришел ее последний час; теперь же немного поуспокоилась: видно, злой дух на время ее оставил. Вдруг она встрепенулась, вскочила и с криком и бранью бросилась на моего отца. Глаза ее страшно крутились и сверкали, губы посинели и дрожали, и в судорожном ее коверканье заметно было крайнее бешенство. Если б я не успел схватить ее за руки и несколько человек из семьи не подоспело ко мне на подмогу, то, верно бы, она задушила отца моего, как цыпленка. Заскрежетав зубами, она кричала ему не своим голосом: «Гнусный червь! ты довел меня до муки; по твоей милости, я не мог до сих пор выполнить данного мне приказания, и оттого трое суток палило меня огнем нестерпимым. Слушай же скорее и убирайся, пока я не свернул тебе шею: под Иванов день, около полуночи, ступай сам-третий в лес, в самую глушь. Чтоб вы ни видели, ни слышали,— будьте как без глаз и без ушей: бегите бегом вперед, не оглядывайтесь назад, не слушайте ничего и не откликайтесь на зов. Вас станут манить — не глядите; вам станут грозить — не робейте; все вперед, да вперед, пока не увидите, что в глуши светится; тогда один из вас должен бежать прямо на это светлое, рвануть изо всей силы и крепко зажать его в руке. После все вы трое должны бежать назад, так же не останавливаясь, не оглядываясь и не откликаясь. Теперь вон отсюда: желаю вам всем троим сломить там головы!» Девушка упала без чувств на пол, а мы, не дожидаясь другого грозного привета, дали, что могли, ее родителям и поскорее отправились домой. Все это было на *зеленой неделе*<sup>11</sup>; до Иванова дня срок оставался короткий; отец мой часто призадумывался; меня также как змея сосала за сердце; страшно было и подумать! Вот настал и *Купалов день*<sup>12</sup>. Отец мой постился с самого утра, у меня тоже каждый кусок останавливался в горле, как камень. К вечеру отец сказал домашним, что пойдет ночевать в поле и стеречь лошадей, которые выгнаны были на пастбище; взял меня, старшего моего брата, и, когда смерклось, мы втроем отправились. Вышед за селение, мы залегли под плетнем

и ждали полуночи. День перед тем был жаркий, и даже вечером было душно, однако ж меня мороз подирал по коже. Здесь только, и то потихоньку, почти что шепотом, отец мой рассказал брату, куда и за чем мы шли. Ему, кажется, стало не легче моего от этого рассказа: он поминутно приподнимал голову, оглядывался и прислушивался. В это время на поляне за селением вдруг запылали костры; к нам доносились напевы Купаловых песен, и видно было, как черные тени мелькали над кострами: то были молодые парни и девушки, которые праздновали Купалов вечер и прыгали через огонь. Эти протяжные и заунывные напевы отзывались каким-то жалобным завываньем у нас в ушах и холодили мне душу, как будто бы они вещевали нам что-то недоброе. Вот напевы стихли, костры погасли, и скоро в селении не слышно стало никакого шума. «Теперь пора!» — вскрикнул мой отец, вскочил — и мы за ним. Мы пошли к лесу. Ночь становилась темнее и темнее; казалось, черные тучи налегли по всему околотку и как будто бы густой пар туманил нам глаза и отсекал у нас дорогу. И вот мы добрались, почти ощупью, до опушки леса, кое-как отыскивали глухую тропинку и пустились по ней. Только что мы вступили в лес — вдруг поднялись и крик, и вой, и рев, и свисты: то будто гром прокатывался по лесу, то рассыпной грохот раздавался из конца в конец, то слышался детский крик и плач, то глухие, отрывистые стоны, словно человека перед смертным часом, то протяжный, зычный визг, словно тысячи пил бегали и резали лес на пильной мельнице. Чем далее шли мы по лесу, тем слышнее становились все эти крики, и стоны, и визг, и свисты; мало-помалу смешались они в нескладный шум, который поминутно становился громче и громче, слился в один гул, и гул этот, нарастая, перешел в непрерывный, резкий рев, от которого было больно ушам и кружилась голова. В глазах у нас то мелькали светлые полосы, то как будто с неба сыпались звездочки, то вдруг яркая искра светилась вдали, неслась к нам ближе и ближе, росла больше и больше, бросала лучи в разные стороны и, наконец, почти перед нами, разлеталась как дым. У нас от страха занимало дух, по всему телу пробежали мурашки; мы щурили глаза, зажимали уши... Все напрасно! Гул или рев, становясь все сильнее и сильнее, вдруг

зарокотал у нас в слухе с таким треском, как будто бы тысячи громов, тысячи пушек и тысячи тысяч барабанов и труб приударили вместе... Земля под нами ходенем заходила, деревья зашатались и чуть не попадали вверх кореньями... Признаюсь, мы не выдержали, страх перемот: схватясь за руки, мы повернули назад, и давай Бог ноги из лесу! Над нами все ревело и трещало, и когда мы выбежали на поле, то за нами по всему лесу раздался такой страшный хохот, что даже и теперь у меня становятся от него волосы дыбом. Мы попадали на землю. Что дальше с нами было — не помню и не знаю; когда же я очнулся, то увидел, что утренняя заря уже занималась; отец и брат лежали подле меня, в поле, близ опушки леса. Я перекрестился и встал; подхожу к отцу, зову его — нет ответа; беру за руки — они окостенели; за голову — она холодна и тяжела как свинец. Я взвыл и бросился к брату, начал его поворачивать и бить по ладоням; насилу он опомнился, взглянул на меня мутными глазами и, как будто не проспавшись от хмеля, молчал и сидел на одном месте не двигаясь. Трудно мне было растолковать ему, что Бог послал по душу нашего отца и что нам должно перенести его в селение, если не хотим оставить его тела в добычу волкам...»

— Так они не отыскивали папоротникова цветку? — подхватил нетерпеливый майор, перебив рассказ словоохотного капрала.

— Нет, ваше высокоблагородие, Прытченко мне рассказывал, что с тех пор ему и в ум не приходило искать кладов, особливо после того, как отец Герасим, на похоронах отца его, говорил мирянам поучение, в котором доказывал, что старый Прытченко сам наискался на смерть, послушавшись козней лукавого; и что бог всегда попускает наказания на людей, которые добиваются того, что им не суждено от его святой воли. Скоро молодого Прытченка взяли в солдаты, и каждый год, по совету отца Герасима, он ходил в Иванов день к обедне, молился усердно за упокой души своего отца и постился целые сутки за старые свои грехи.

— Поэтому, капрал, нечего и думать о папоротниковом цветке, — сказал майор, — мне жизнь еще не совсем надоела и нет охоты набиваться на беду или копить грехи под старость.

— Точно так, ваше высокоблагородие! Злой дух иногда подольстится к нам, как лукавый переметчик: сулит невесть что, и победу и добычу, а послушайся его — глядишь, и наведет на скрытую засаду; тут и попал, как кур во щи! Между этими двумя врагами только и разницы, что лживый переметчик погубит одно наше тело, а проклятый бес с одного хватка подцепит и тело и душу.

— Правда твоя, капрал; так оставим эти затеи. Может быть, наши клады положены без заговора и сами нам дадутся без дальних хлопот. После опять поговорим об этом. Прощай! Утро мудренее вечера.

Капрал допил свою порцию, встал, выпрямился снова, отдал честь по-военному и, проговоря: «Добрая ночь вашему высокоблагородию!», побрел в свою светлицу. Там, утомленный длинными своими рассказами и согретый нескучною порцией, скоро уснул он таким сном, каким поэты усыпляют чистую совесть, хотя, кажется, сей олицетворенной добродетели и должно было спать очень чутко.

Майор также почувствовал благотворное действие рассказов капраловых: давно уже он не спал так спокойно, как в эту ночь. Не знаю, что виделось капралу: он никогда о том не рассказывал; но майора убаюкивали разные сновидения, и все они предвещали ему что-то хорошее. То в руках у него был золотой цветок, от которого все, на что майор ни взглядывал, превращалось в груды золота; то стоял он у решетчатой двери какого-то подземелья, сквозь которую видны были несметные сокровища: ему стоило только просунуть руку, чтобы черпать оттуда полными горстями. То снова был он на охоте: псаря его, со стаей борзых и гончих, гнались за белым зайцем; но майор, на лихом коне своем, всех опередил, и псарей, и борзых, и гончих; уже он налегал на зайца, уже гнался за ним по пятам; вот настиг, вот замахнулся арапником, ударил — и заяц рассыпался перед ним полновесными рублевиками. Такие сны целую ночь беспрестанно сменялись в воображении майоровом, и когда он проснулся поутру, то был довольнее и веселее обыкновенного, к великой радости доброй Ганнуси.

Зима проходила; майор в это время собирал все возможные сказки о кладах, соображал, слышал их и составлял планы будущих своих действий против

сатаны и его когорты; исчислял в уме богатые свои добычи, покупал поместье за поместьем и распоряжал доходами. Ганнусю выдавал он то за какого-нибудь миллионщика, то за пышного вельможу; сыновей выводил в чины и в знать, женил на княжнах и графинях и таким образом родился с самыми знатными домами в русском царстве. Эти воздушные замки, за неимением лучшего дела, по крайней мере, занимали доброго майора, отвлекали его думы от грустной сущности и веселили его в чаянии будущих благ.

Наступил март месяц, снег от самой масляницы начинал уже таять, а на последних неделях великого поста полились с гор и высоких мест быстрые потоки мутной воды, увлекавшие с собой чернозем, глину и песок. Речки и ручьи порывисто понеслись в берегах своих от прибылой воды; мосты и плотины во многих местах были уже снесены или размыты. Деревушка или, правильнее сказать, хутор майоров стоял при реке, на которой устроена была мельница, приносящая помещику посильный доход. Плотина сей мельницы покамест на этот раз уцелела, бодее по счастью или от того, что напор воды в реке не был еще во всей своей силе, нежели по собственной прочности; ибо сельский механик, строивший ее, небольшой был мастер своего дела, и редкий год половодье проходило, не размыв части этой плотины, или, как говорится в Малороссии, не сделав прорвы. В вербное воскресенье набожная Ганнуся поехала в отцовской *таргайке*<sup>13</sup> к заутрене в казенное село за пять верст от их хутора: ближе того не было церкви в их околотке. Дорога, ведущая из хутора в селение, лежала через плотину. Чтобы застать начало заутрени, Ганнуся отправилась в путь еще до рассвета; переезжая плотину, она почувствовала некоторый страх: плотина дрожала на зыбком своем основании, как будто бы ее подмывало водою. Дочь майорова решила, однако ж, ехать далее, поспела к первой благовести, простояла всю заутреню с потупленными в землю глазами и молилась очень усердно. К концу заутрени, когда должно было идти для получения освященной вербы, она заметила, что перед нею шел человек в военном мундире, разводил народ в обе стороны и очищал ей дорогу.

Дошед до того места, где стоял священник с вербами, он сам посторонился, поклонился ей и учтиво



подал знак идти вперед. Тут только решилась она взглянуть на незнакомца: это был молодой офицер; лицо у него было бледно, но очень приятно и выразительно; большие, голубые глаза его горели огнем молодости и отваги; ростом он был высок и статен, левая рука его покоилась на черном шелковом платке, и от беглого взора молодой девушки не ускользнуло и то, что рукав мундира около сей руки был разрезан и завязан ленточками. Скромно, даже застенчиво поклонясь ему, Ганнуся покраснелась и снова опустила черные свои ресницы к помосту; несколько секунд оставалась она в этом положении; но мысль, что на нее все смотрят, а особливо молодой офицер, вывела ее из забывчивости: она подошла к священнику, приняла благословение и вербу и снова стала на прежнее свое место. Офицер, подойдя вслед за нею к вербам, отступил потом в ту сторону, где стояла Ганнуся, остановился в некотором от нее расстоянии и часто на нее посматривал. Но девушка не смела более на него взглянуть: она чувствовала, что лицо ее горело, и потому она почти не сводила глаз с своей вербы, ошипывала на ней веточки, которые, видно, казались ей лишними, или молилась еще усерднее прежнего и по временам вздыхала — конечно, не о грехах своих. Заутреня кончилась скоро, слишком скоро для Ганнуся, а может быть, и еще скорее для молодого офицера. При выходе из церкви он снова явился подле дочери майоровой, сводил ее по ступеням паперти и посадил в тарадайку. Лошади тронулись почти в тот же миг; Ганнуся едва успела поклоном отблагодарить услужливого офицера. Проехав немного, она, по какому-то невольному движению, мельком обернулась назад: офицер все стоял на том же месте и смотрел вслед за нею. Весьма естественное и даже простительное самолюбие шепнуло ей, что она приглянулась молодому воину; и почему же не так? Она, как и все девушки ее лет, находила себя по крайней мере не дурною; а складное ее зеркальце, в часы одиноких, безмолвных ее с ним совещаний, часто доказывало ей весьма утвердительным образом, что она красавица, и на этот раз нельзя сказать, чтобы зеркало льстило бессовестно. Ганнусе было осьмнадцать лет; при среднем росте, она имела весьма стройный стан: аравийский поэт сравнил бы ее с ювою, пустынною пальмой. Правильные черты лица

оживлялись в ней тем свежим, здоровым румянцем, который сообщается только чистым воздухом полей, умеренным движением и простым, безмятежным образом жизни, но которого не в силах заменить все затеи моды, все пособия искусства. Черные, большие глаза, в которых тихо светился огонь чувствительности, и черные, лоснящиеся волосы прекрасно оттеняли белизну лица и шеи; а скромность и стыдливость — лучшее ожерелье девиц, по русской пословице — еще более возвышали прелести этой сельской красавицы. Из всех знакомых майора сердце Ганнусино ни за кого еще ей не говорило: теперь оно впервые забилося сильнее обыкновенного. Что, если этот молодой офицер, пригожий и вежливый, недаром так часто и пристально на нее посматривал? Что, если в нем бог посылает ей суженого? Такие и другие мечты (а кто может перечест, сколько их промелькнет в голове молодой девушки?) занимали Ганнусю во всю дорогу, до самой плотины отцовского хутора.

Пасмурное утро уже сменило сумрак ночной, когда дочь майорова подъехала к плотине; воздух был густ и влажен; дымчатые облака застилали лазурь небесную. Человек с десять крестьян стояли на берегу и с малороссийскою беззаботливостью смотрели, как вода подымала плотину, протачивалась сквозь фашиник, отрывала и выносила целые глыбы земли. За плотиной низовье мельницы было почти совсем затоплено водою, которая с шумом и ревом неслась в новых своих берегах, сносила плетни и крутилась подобно водовороту около кустов ивняка, росших по лугу. Мельничные колеса остановились, а плотина дрожала еще сильнее прежнего: видно было, как она поднималась и опускалась.

— Не опасно ли переезжать? — спросил кучер Ганнусин у крестьян.

— А бог знает! — был равнодушный их ответ.

Из предосторожности Ганнуся сошла с тарадайки и велела кучеру ехать вперед. Сама она хотела идти пешком, рассчитывая, что где повозка с парю лошадей может проехать, там ей самой безопасно будет перейти. Кучер, не дожидаясь вторичного приказанья, погнал лошадей и скоро очутился на другом конце плотины.

Перекрестясь, Ганнуся пошла вслед за повозкой, но-

ги ее подгибались, сердце трепетало; однако ж она вооружилась решимостью и шла далее. Но едва ступила она на самое шаткое место — вдруг плотина под нею затрещала, поднялась вверх и стала почти боком. Ганнуся упала на колена. Громкий вопль крестьян с берега поздно известил ее об опасности. Снова раздался треск, снова вскрикнули крестьяне — и та часть плотины, где находилась тогда бедная девушка, была сорвана и снесена вниз. «Кто в бога верует, спасайте!»<sup>14</sup> — закричали крестьяне и побежали по течению, куда водою снесло несчастную Ганнусю. Кучер, ожидавший ее перехода, поскакал в господский дом и по дороге кричал всем встречным, что барышня их утонула и чтобы все шли вытаскивать ее из воды. Не прошло десяти минут — уже на правый берег реки, где стоял хутор майоров, стеклась толпа крестьян, жен их и детей. Мужчины с беспокойством бегали взад и вперед по берегу и смотрели в воду, женщины ломали себе руки и с плачем выкрикивали свои жалобы о потере доброй своей барышни; а мягкосердечные дети, видя матерей своих в горе, плакали вслед за ними.

Между тем крестьяне, бежавшие по левому берегу, заметили, что в понятых водою ивовых кустах как будто бы что-то зацепилось; но вода неслась так быстро, так порывисто, что никто из них не отважился пуститься вплавь. «Лодку, лодку!» — кричали они на другой берег; но рев воды, с напором стремившейся сквозь промоину плотины, заглушал их голос.

— На что лодку? что случилось? — спросил их некто повелительным голосом.

Крестьяне оглянулись и увидели, что подле них остановился человек верхом на лошади и в офицерском мундире.

— Там в волнах наша барышня, дочь майора...

— Смотрите, смотрите! — вскрикнул один молодой крестьянин. — Вот около ивовых кустов всплыло наверх что-то белое... Это платок, это платок нашей барышни!

— Лодку, лодку! — снова закричали крестьяне; но офицер, не дожидаясь более, вдруг прищпорил своего донского коня, направил его прямо в воду, и послушный, бодрый конь бросился с берега, забил ногами в воде, которая заклокотала и запенилась вокруг него. Крестьяне, пораженные такою неожиданною отвагой,

снова вскрикнули, им отвечали таким же криком с другого берега. Долго бился офицер в волнах, долго боролся он с стремлением воды, которая сносила его вниз по течению; наконец сильный конь, покорный поводу и привычный к таким переправам, доплыл до ивовых кустов. Офицер наклонился, опустил правую свою руку в воду, но не нашел ничего; три раза, несмотря на все опасности, объезжал он вокруг кустов, искал в разных местах: но все попытки его были напрасны. Решась на последнее средство, он привязал наскоро повод к своей португее, бросился с коня вниз и исчез под водою. Крестьяне думали, что он погиб; конь бился, рвался и силился выплыть. В эту минуту майор, бледный как смерть и с отчаянием в лице, явился на берегу, поддерживаемый своими хлопцами. Вдруг увидели, что офицер, хватаясь за ветви ив, всплыл на поверхность; повязка, на которой носил он левую свою руку, поддерживала недвижимое, бездыханное тело Ганнуси. Вот он хватается рукою за повод, тащит к себе коня, силится взлезть на него; но тяжелая ноша тянет его ко дну... Вот он уцепился за гриву, всплыл снова, быстрым движением вскинул ношу свою на седло и сам успел вскочить на него... Вот уже он, поддерживая левою, больною рукою голову Ганнуси у своей груди, правит к тому берегу, где стоит майор, конь, из последних сил, бьется и борется с волнами... Расстояние здесь не так далеко: авось либо спасутся... Вот доплыл до берега, вот истомленный конь хватается передними копытами за вязкую, глинистую землю, уцепился, скакнул — и все бросились к нему навстречу. Майор упал на колена; женщины, видя посинелое лицо и заостреные члены своей барышни, которой влажные волосы в беспорядке были разметаны по девственным ее грудям, завывали громче прежнего. Но офицер, казалось, ничего не видел и не понимал вокруг себя; он только спросил слабым голосом: «Куда дорога?» — и погнал коня своего к дому майорову, все еще держа перед собою Ганнусю в том самом положении, в каком вынес ее из воды.

От движения во время сего переезда вода хлынула из утопшей; но охладелое тело ее все еще не показывало ни малейших признаков жизни. Сбежавшиеся женщины наполняли весь дом плачем и рыданием; майор стоял, как громом пораженный, сложа руки и устремля

неподвижные глаза на дочь свою. Один капрал соблюл присутствие духа: он вывел майора, велел выйти из комнаты всем лишним и, оставя утопшую на руках женщин, дал им наставление, каким образом подавать ей помощь. По совету капрала, с нее сняли мокрое платье и укутали все тело шубами. В то же время старый служивый разослал хлопцев за лекарями и за войсковым писарем. Добрый Спирид Гордеевич, узнав о несчастье своего соседа, тотчас прискакал к нему, утешал его, уговаривал и наконец успел поселить в нем надежду. Старания двух лекарей еще более подкрепили сию надежду: у больной оказывался пульс и замечено было легкое дыхание. Мало-помалу дыхание становилось ощутительнее, пульс начинал биться сильнее, и в теле пробуждалась теплота. Все признаки жизни постепенно оказывались, но лекаря опасались, чтобы больной, от потрясения всех жизненных сил, не приключилась горячка. Наконец Ганнуся открыла глаза, но скоро опять их закрыла: ощущения жизни медленно и еще неясно в ней развивались.

Через несколько уже часов она совсем очутилась. Здесь только майор, перейдя от сильной горести к безвременной радости, вспомнил об избавителе своей дочери. Он расспрашивал всех домашних своих об офицере, и одна из женщин сказала ему, что незнакомый господин, отдав их барышню на руки им и капралу, стоял несколько минут молча у изголовья Ганнусяна и печально смотрел на неподвижное, посинелое лицо девушки до тех пор, когда капрал выслал всех мужчин из комнаты. Люди, бывшие в это время на дворе, сказывали, что офицер торопливо выбежал из комнат, бросился на своего коня и пустился со двора так скоро, как только мог бежать утомленный конь его: иной бы подумал, прибавили крестьяне, что он боялся за собой погони.

Стараниями лекарей Ганнуся чувствовала себя гораздо лучше на другой день поутру, хотя жар и слабость во всем теле еще не вовсе успокоивали окружающих ее. Однако ж отец ее, пришедший в себя от первых движений страха и счастливый своею надеждою, казалось, не предвидел более никакой опасности. Он радовался, как ребенок, которого нога соскользнула было в глубокий колодец и который, удачно спасшись от смерти, все еще стоит на срубе колодца и

весело смотрит на темную, гладкую поверхность воды. Сидя у постели Ганнусиной вместе с лекарями и добрым своим соседом Спиридом Гордеевичем, майор разговаривал с ними о минувшем несчастье, когда один из хлопцев пришел ему доложить, что в передней дожидался человек, одетый денщиком и приехавший узнать о здоровье барышни. Майор и войсковой писарь тотчас догадались, что это был посланный от ее избавителя. Оба они вышли в переднюю.

— Кто таков твой господин? — спросил нетерпеливый майор, не дождавшись еще ни слова от посланного.

— Поручик Левчинский, — отвечал сей последний.

— А, знаю: это сын бедной вдовы Левчинской, которая живет в маленьком хуторке, в осьми верстах отсюда; не так ли?

— Точно так, ваше высокоблагородие!

— Скажи своему поручику, что я очень, очень благодарю его за спасение моей дочери, которой жизнь для меня дороже моей собственной... Скажи ему это и проси его пожаловать к нам.

— Слушаю, ваше высокоблагородие. Поручик, верно, будет у вас, когда выздоровеет.

— Как, разве он болен?

— Да, со вчерашнего дня, ваше высокоблагородие. Он приехал домой весь мокрый и окостенелый от холода; рана у него на левой руке только что была начала подживать, а теперь снова открылась и разболелась, так что он не может руки приподнять. Всю ночь он не уснул ни на волос; не жаловался и не охал, а только все бредил в жару. Бедная старушка, матушка его, совсем с ног сбилась. А сегодня утром, только что поручик немножко очнулся, тотчас позвал меня и велел скорее скакать сюда и узнать о здоровье барышни.

— Скажи, что дочери моей легче...

— Погоди на минуту, друг мой, — сказал денщику войсковой писарь, перебив речь майорову. — Барину твоему нужна помощь; я сейчас еду туда с лекарем. Ты будешь показывать нам дорогу. — И мигом Спирид Гордеевич велел закладывать свою коляску, а сам, вошед в комнату больной, отозвал в сторону одного из лекарей, взяв предосторожность, чтобы не встревожить Ганнусю, и просил его ехать с ним к благородно-

му, отважному воину, который великодушным своим самопожертвованием подвергнул опасности собственную жизнь. Лекарь охотно согласился оказывать ему все возможные пособия своего искусства.

Они застали Левчинского в сильном жару горячки. Положение молодого человека было гораздо опаснее Ганнусина, и лекарь надеялся только на молодость и крепость сил больного. Мать его, почтенная женщина, старая и хилая, сидя у постели страдальца, горько плакала и печально покачивала головою. «Он не вынесет этой болезни,— твердила она сквозь слезы,— он умрет, мое сокровище... а за ним и я слягу в могилу!»

Предчувствия старушки, к счастью, не сбылись. Твердое сложение сына ее и деятельные пособия врача переломили болезнь почти в самом ее начале; но выздоровление Левчинского было медленно, особливо рука его долго приводила в сомнение лекаря, который не раз видел себя в печальной необходимости лишить больного сей части тела, столь драгоценной для всякого человека, тем более для молодого воина. Наконец, счастливые следствия здоровой, неиспорченной крови и здесь оказали спасительное свое действие: не скоро, но все-таки рука Левчинского получила прежнее движение, и рана ее совершенно затянулась.

Между тем Ганнуся выздоравливала гораздо скорее. Она уже знала, кто спас ее от неизбежной почти смерти, и с благодарными слезами вспоминала о своем избавителе. Каждый день посылала она наведываться о состоянии его здоровья и нетерпеливо ждала совершенного его выздоровления, чтобы во всей полноте чувства высказать ему благодарность, которую питала к нему в своем сердце... Бедная девушка! Она еще сама не смела взглянуть попристальнее в свое сердце, не смела отдать себе отчета в том, что с благодарностью совокуплялось другое чувство, гораздо нежнейшее... Образ ее избавителя был почти неотлучно в ее воображении, наполнял каждую мысль, каждую мечту ее: то видела она его в церкви, с его благородным, осанливым видом, то снова встречала последний взор его, которым он безмолвно прощался с нею по выходе из церкви. Раз по десяти на день принималась она расспрашивать своих женщин о подробностях своего избавления, и с лицом, светлевшим какою-то детскою радостью, с каким-то невинным самолюбием думала:

«На это он отважился только для меня... для меня одной! Он не жалел своей жизни, бросился в страшный омут, чтоб избавить меня от смерти или хоть раз еще взглянуть на меня мертвую!» Тут живо представлялась ей та минута, когда Левчинский, по одному только ее имени, слышанному от крестьян, понесся без всякого размышления в мутные, клокочущие волны; или та, когда он выносил ее на руках своих из гибельной хляби: тогда она видела в нем какое-то существо высшее, которому ни в чем не было препон и которого твердой, решимой воле все уступало, даже самые грозные силы природы. Может быть, невинная, простосердечная дочь майорова не в этих самых выражениях объясняла себе, как она понимала нравственную силу и подвиг самопожертвования молодого воина; но тем не менее таковы были ее понятия о Левчинском, и мы просим извинения у читателей, что не умели передать сих понятий проще и естественнее. Чтобы сколько-нибудь приблизиться к истине, скажем, что милая девушка чувствовала почти суеверное уважение к своему избавителю.

Во все время болезни Ганнусиной майор был при ней почти беспрестанно; и если порою отлучался часа на два, особливо когда дочери его приметно становилось легче, то в сии отлучки посещал он Левчинского. Тогда, сев на своего доброго коня, Максим Кириллович летел, по охотничьей своей привычке, самую кратчайшею дорогою, то есть напрямик через горы и доли, в уединенный хуторок, входил на несколько минут в маленький, скудный домик Левчинского, спрашивал о здоровье поручика, с искренним, прямым чувством высказывал ему в сотый раз свою благодарность — и тотчас снова на коня и скакал в обратный путь, к милой своей Ганнусе. В эти две недели, протекшие до совершенного ее выздоровления, майор почти и не подумал о своих планах обогащения, о поисках за кладами и обо всем, что относилось к любимой мечте его.

Между тем весна наступила; посевы зазеленелись, пролески<sup>15</sup> зацвели по лесам, и вешние синички забегали в сени развивающихся деревьев. По совету лекарей, нашедших чистый, свежий весенний воздух полезным для здоровья Ганнуси, она начала прохаживаться в саду; и майор как будто бы только этого



и ждал. Мысль о кладах снова в нем пробудилась; он чаще прежнего призывал к себе капрала на тайные совещания; рукопись была снова переписана, сколько можно яснее и безошибочнее, и майор твердил ее наизусть, как молодой школьник свой урок из грамматики. Недовольный еще обширными сведениями капрала по части кладознания, Максим Кириллович начал прилежно посещать свою мельницу, которой плотина была поправлена механиком-жидом, выдавшим себя за отличного искусника в строении плотин и в разных таких хозяйственных делах, при коих простодушные малороссияне предполагают отчасти сверхъестественные знания. Так, например, знающий мельник, строитель плотин, *пасечник*, или пчеловодец, и некоторые другие подобные им лица почитаются малороссийским простолюдием за знахарей или колдунов.

Мельница в малороссийской деревушке есть род сельского клуба порядочных людей; ибо местом собрания для молодежи бывают *вечерницы*<sup>16</sup>, а для гуляк всякого возраста шинок. Кроме тех, которые приезжают с мешками зерна для помола муки, сходятся в мельничный амбар все пожилые поселяне, которым дома нечего делать или которые улучили досужное время; а такого времени, благодаря закоренелой склонности к лени, у добрых малороссиян всегда найдется довольно, особливо в промежутках от посева до собирания хлеба или когда пора полевых работ еще не наступила. В этом сельском клубе толкуют они обо всем: о домашних делах своих, о новостях, которые удалось им слышать, о деревенских или семейных приключениях, о злых панах и *судовых*<sup>17</sup>, о ведьмах, мертвецах, кладах и тому подобных диковинках, разнообразящих простой, не богатый происшествиями сельский быт сих добрых людей. Сметливый мельник старается сам заводить такие сходбища и, подобно трактирщику какого-нибудь немецкого местечка, бывает обыкновенно первым рассказчиком и балагуром. Это делает он и для того, чтобы приманить на свою мельницу большее число помольников, и для того, что на мельнице обыкновенно происходят все крестьянские сделки: продажа друг другу скота или иной какой-либо из статей сельского хозяйства, наем земли, работников и т.п.; а все сии сделки непременно кончаются

магарычом<sup>18</sup>, который запивать приглашается и сам мельник.

Надобно сказать, что жид Ицка Хопылевич Немеровский<sup>19</sup>, которому посчастливилось укрепить плотину мельницы майоровой, сделал сей опыт глубоких своих познаний в механике, или (скажу в угоду добрых моих земляков, малороссиян) — опыт своего искусства в тайной науке чародейства, — не даром, а на весьма выгодных для него условиях. Он знал, что хорошею денежною платою от майора поживиться ему было нельзя, потому что сам Максим Кириллович давно уже не видал у себя лишней копейки; для сего честный еврей, с обыкновенными жидовскими уловками и оговорками, сделал следующее предложение: вместо денег получать от майора — безделицу, как говорил Ицка Хопылевич — третью мерку хлеба, получаемого за помол, и это в продолжение двух лет; да безденежное позволение содержать шинок на майоровой земле и подле самой мельницы, тоже на два года с тем, что Ицка нигде, кроме майоровой винокурни, не будет покупать вина, а Максим Кириллович будет ему делать на каждом ведре вина тоже незначительную, по еврейскому смыслу, уступку. Предложение сие заключено было сильными клятвенными уверениями, что он, Ицка Хопылевич Немеровский, поднял при починке плотины такие тяжкие труды, каких и предки его, библейской памяти, не поднимали на земляной работе египетской, и что теперь плотину, по прочности укрепления и по заговору<sup>20</sup>, который положил на нее этот честный еврей, не размыло бы и новым всемирным потоком. Добрый майор, человек самого стоворчивого и неподозрительного нрава, притом же небольшой знаток в делах, требующих соображений и расчетливости, — согласился на все, что предлагал ему честный еврей Ицка Хопылевич Немеровский.

Разумеется, что жид как участник в мельничном походе и ближний сосед мельницы почти безвыходно бывал там; в шинке же была у него правая рука: жена его Лейка<sup>21</sup>, молодая, проворная и лукавая жидовка, которая с сладкими своими речами, с вкрадчивыми взглядами и усмешкой и с низкими, вежливыми поклонами весьма ловко обмеривала добрых поселян и приписывала на них лишние деньги. Сидя в мельничном амбаре на груде мешков и заложа руки в карманы

черного, долгополого своего платья, запыленного мукою, жид Ицка Хопылевич рассказывал собиравшимся в мельницу обывателям всякие чудеса, выденные или слышанные им по свету; учил их лечить рогатый скот такими лекарствами, о которых знал, что от них не может быть ни худа, ни добра; уверял, что умеет заговаривать змей, отшептывать от укушения бешеной собаки и добывать клады... Мудрено ли, что все это дошло до чуткого уха майорова? Капрал, по старой своей привычке, заглядывал иногда в мельницу и, там однажды подслушав сии речи жида, пересказал их майору. Вот причина, по которой Максим Кириллович стал учашать своими прогулками на мельницу, где, под видом хозяйственного присмотра, часто он просиживал по целым часам и разными окольными путями старался выведать у жида тайну добывания кладов. Но догадливый Ицка, вероятно, смекнув делом, основал свои расчеты на слабости помещика, о которой, станется, и прежде уже знал он; посему и говорил о любимом коньке майоровом с возможною осторожностью и давал заметить, что тайна его не дается даром.

Майор, которого природная нетерпеливость еще более к старости усилилась охотничьими его привычками, досадовал на упорное молчание жида; но видел, что увертливому Ицку нельзя было довести до открытия своей тайны никакими затейливыми околичностями. Посему Максим Кириллович решился наконец пойти прямою дорогой; но прямая дорога к сердцу жида — есть деньги, а их-то и не было у нашего майора. Что делать? за неимением денег, он пустился на обещания, даже доходил до того, что предлагал Ицке Хопылевичу третью долю из всех добытых кладов. Но жид, с которым он имел дело, был прямой жид; любимые его поговорки были: *из обещаний не шубу шить, и не сули журавля в небе, а дай синицу в руки*. Эти пословицы тверже всего он знал и даже лучше всего выговаривал на польско-малороссийском своем наречии. К ним вдобавок он очень благоразумно представлял майору, что третья доля сама по себе, а не худо иметь что-либо вперед; тем больше-де, что клады доставить — не плотину строить; что при таком деле и вдосталь измучишься в борьбе с лукавым, который силится отстоять свое сокровище,— и за то-де ему

надобно поступиться кое-чем. Максим Кириллович подумал, подумал — и уступил Ицке безденежно тридцать ведер вина, да подарил ему пару коз с козлятами, что обыкновенно составляет сельское хозяйство жида. Дело было слажено: Ицка Хопылевич объявил майору, что ему нужно сделать приготовительные заклинания, и для того просил две недели сроку. Майор на все согласился, ожидая верного успеха от знахаря-жида, которого чародейскую силу видел он уже на опыте, то есть при укреплении мельничной плотины.

Дворня всякого помещика, самого мелкопоместного, есть в малом виде образчик того, что делается в большом и, скажу более, в огромнейшем размере. Домашняя челядь всегда и везде сметлива: она старается вызнать склонности, слабости, самые странности своего господина, умеет льстить им и чрез то подбиться в доверие и милость. Так было и в доме Максима Кирилловича Нешпеты. После старого капрала, ближний двор его составляли хлопцы, или псари, и пользовались особым благорасположением своего пана. Но как нельзя же быть шести любимцам вдруг, то каждый из них, наперерыв перед другими, старался прислуживаться своему господину, угождать любимому коньку его и увиваться ужом перед всем, что усмехается будущей милостию. Один из хлопцев, Ридько<sup>22</sup>, будучи проворнее других и подслушав под дверью разговоры своего пана с капралом, скорее всех доведаясь, о чем теперь хлопотал Максим Кириллович. Ридько начал усердно расспрашивать обо всем, что только можно было в селении и в околотке узнать о кладах; и мало еще того: сам начал бродить по ночам вокруг дома, близ пустырей или старых строений, в леваде<sup>23</sup> и в саду майоровом, и подмечать, не окажется ли там каких признаков скрытого в земле клада. В сих ночных поисках заметил он однажды в саду, под старою, дупловатою липой, что-то белое, свернувшееся клубком; ночь была темна, и Ридько не мог рассмотреть издали; он стал подходить поближе, и белый клуб как будто бы приподнялся от земли: Ридько ясно увидел две светлые точки, которые горели беловатым огнем, как восковые свечи,— и мигом белого клубка и светлых точек как не бывало. Это клад: чему же быть иначе? но клад, который не давался в руки Ридьку, потому что он не знал никаких заговоров. Еще не вполне доверяя

самому себе, Ридько решил ждать следующей ночи, и когда она наступила, новый искатель кладов пошел на то же место — и опять увидел он белый клубок, и опять две светлые точки как будто бросили на него две искры, но вслед за тем снова все исчезло. Теперь не оставалось уже Ридьку ни малейшего сомнения: он нетерпеливо ждал утра, чтоб объявить майору о своем открытии. Майор удивился и обрадовался, что ему не нужно было дальних исканий, когда клад у него был, так сказать, под рукою; но зная из рассказов, что клад иногда является только по три ночи, не хотел он терять времени и выпустить из рук предполагаемую находку. Посему он немедленно созвал свой тайный совет, состоявший из капрала Федора Покутича и жида Ицки Хопылевича; Ридько как человек, оказавший важную услугу и от которого нужно было отобрать подробные справки об отыскиваемом кладе, также допущен был в это совещание. Капрал предложил майору разбить клад с молитвой, по примеру старухи нищей, о которой он рассказывал; но жид, с лукавою улыбкой, пожимая плечами и потряхивая длинными кудрявыми своими пейсиками, заметил, что этим средством много что добудешь один клад, а скорее отпугаешь все другие, которые с того времени перестанут показываться искателю. Майор убедился этим сильным доводом и счел за лучшее во всем положиться на жида. Хитрый Ицка обещал научить майора какому-то заклинанию и для того, отведя его в сторону, проговорил ему слов с десятков на неведомом языке; однако же майор ни за что не хотел их вытвердить, потому что эти слова, как он весьма основательно думал, были еврейские и могли заключать в себе или богохуление, или заклятие на душу говорящего их, — и, почему знать? может быть, формальную присягу служить сатане верою и правдою! Несмотря на все убеждения и клятвы жида, добрый Максим Кириллович остался тверд в своем упрямстве, и жид, за лишние десятков ведер вина, уступленных ему майором, договорился твердить сам свое заклинание в то время, когда майор станет бить по кладу. Сим окончилось совещание.

Товарищи Ридька, завидуя новому любимцу их пана, хотели допытаться, чем он вкрался в милость Максима Кирилловича. Подойдя на цыпочках и приложив ухо

к дверям, они жадно ловили каждое слово, сказанное в светлице майоровой, и узнали все дело почти с такою ж подробностью, как и мы теперь его знаем. Любопытство и болтливость — два главнейшие порока слуг: в минуту вся дворня майорова узнала, что в саду их пана является клад и что в этот самый вечер будут добывать его; и каждый из дворовых людей, от первого до последнего, положил у себя на сердце тайком прокрасться в сад и высматривать из-за кустов и деревьев, что там будет делаться.

Целый день прошел в какой-то суматохе. Нетерпеливость и беспокойство ясно выказывались на лице и в поступках майора; капрал беспрестанно бродил то по двору, то по саду, то заглядывал в комнаты; жид, согнувшись и напустя пейсики себе на лицо (может быть, для того, чтоб на лице его не могли прочесть его мыслей), ровным и скорым шагом каждый час переходил то с мельницы на господский двор, то с господского двора на мельницу; Ридько суетился, чтобы придать себе больше важности в глазах своих товарищей, и не отвечал на лукавые двусмысленные их вопросы; хлопцы переглядывались между собою, перешептывались по углам, а остальная дворня любопытно присматривалась ко всему, что делалось, и вслушивалась во все, что было сказано. Одна Ганнуса ни о чем не знала и не примечала ничего: она, пожелав доброго утра отцу своему, после завтрака села за работу в своей комнате, которой окно было на проселочную дорогу к хутору Левчинского, задумалась о нем, печалилась, что он долго не выздоравливал; игла быстро вертелась в руках ее, работа, можно сказать, горела, часы летели, и милая девушка не заметила, как время пронеслось до обеда; тем больше не заметила она, что вокруг нее все было в каком-то суетливом волнении. Сердце молодой красавицы, в минуты уединенной задумчивости, создает в самом себе мир отдельный, мир фантазии: ему нет тогда дела до мира внешнего, вещественного.

Наступил вечер; когда стемнело на дворе, все дворовые люди майоровы, начиная от хлопцев до рички, или коровницы, Гапки<sup>24</sup>, тихонько забрались в сад, залегли в разных местах, чтоб их не заметили, и, не смея переводить дух в своих засадах, украдкой оттуда выглядывали. Около одиннадцати часов ночи Ридько вбежал опроретью в комнату майора, где капрал и жид,

чинно стоя по углам и не сводя глаз с господина, ожидали условленной вести. Майор вскочил с своего места, взял большую, тяжелую палку, которую капрал для него приготовил, и скорым шагом отправился в сад; за ним, прихрамывая, но с надлежащей вытяжкой, шел капрал; рядом с сим последним подбегал жид, припрыгивая и твердя вполголоса: «Зух Раббин, Каин, Абель!» Ридько заключал это ночное шествие, неся на плечах два большие порожние мешка. Майор приостановился, увидя перед собою, шагах в двадцати, что-то белое, свернувшееся в комок. Он осторожно занес палицу свою навзмышь, притая дух, подкрался к белому привидению и в тот миг, когда жид громко вскрикнул: «Зух!», майор изо всей силы хлопнул... Пронзительное, оглушающее «мяу!» раздалось по саду вслед за ударом — и белый комок, не рассыпаясь серебряными рублевиками, растянулся без жизни и движения. Домашняя челядь майорова не утерпела и сбежалась отовсюду из засад своих, услыша столь необыкновенный крик: толстая, приземистая и плосколицая Гапка явилась туда из первых...

— Ох! горе мне бедной!<sup>25</sup> Пан убил мою Малашку! — вскрикнула Гапка и взвыла таким голосом, каким мать плачет по своей дочери.

— Кой черт! Что ты мелешь, старая дура? — торопливо и сердито проговорил майор.

— Да, вам легко говорить! Пускай я мелю, пускай я старая дура; а бедную мою Малашку ухохлили: уж ее теперь ничем не оживишь! — выкрикивала Гапка и заголосила пуще прежнего.

— Да скажешь ли ты мне, — с нетерпением вскрикнул майор, схватя коровницу за плечо и стряхнув ее изо всей силы, — какую Малашку?

— Какую? вестимо, что мою Малашку!.. Кто теперь будет у меня ловить крыс, кто будет от них очищать ледник?..

— Провались ты, негодная дура, и с проклятою своею кошкой! — бранчивым голосом сказал майор и резко махнул рукою по воздуху.

— Ох! горе мне, бедной сироте! — навзрыд твердила Гапка, припала к земле, подняла убитую кошку и с вытьем понесла ее в свою хату.

Люди майоровы, каждый смеясь себе под нос, разбрелись по своим углам; явно зубоскалить никто из

них не смел: все знали, что рука их пана тяжела и что гнев его, вспыхивая как порох, иногда и оставлял по себе такие же явные следы, как это губительное вещество. На сей раз, однако же, для гнева майорова довольно было и одной жертвы, т. е. кошки, которая жизнью поплатилась за свой неумышленный обман; Ридько, столь же неумышленная причина ее смерти, отделался одним страхом. Максим Кириллович скорее прежнего пошел в свою комнату, заперся в ней и наедине переваривал свою досаду; капрал, с горя от неудачи своего старого командира, к которому был он искренне привязан, побрел в свою каморку и принялся за вечернюю порцию; жид отправился в свой шинок, а Ридько, повеся нос, тихо поплелся на свой ночлег. Там, укутав голову, чтоб не слышать злых насмешек, которыми его осыпали товарищи, он шептал молитвы и поручал свою душу святым угодникам, считая все случившееся с ним бесовским наваждением.

На другой день майор поздно вышел из своей комнаты; на лице его было написано уныние, и на все вопросы Ганнүси об его здоровье отвечал он отрывисто и неохотно. Заметно было, что он боялся или стыдился напоминания о минувшей ночи; усердный капрал прочел это в душе его и потому строго подтвердил хлопцам и всем дворовым людям не разглашать ничего о том, что было накануне, а более всего остерегаться, чтоб не промолвиться как-нибудь об этом перед их господином. Все знали, что пан и капрал шутить не любили, и тайна минувшей ночи замерла на болтливых языках домашней челяди. В скромности жида капрал и без того был уверен, ибо Ицка Хопылевич был молчаливее рыбы, когда чувствовал, что на хранении тайны основывались для него корыстные виды.

Новое лицо развлекло задумчивость майора и даже развеселило его. Это был поручик Левчинский, выехавший в тот день впервые после болезни и поспешивший изъявить благодарность свою Максиму Кирилловичу и милой его дочери за оказанное ему участие. С ним приехал и Спирид Гордеевич, который во все время болезни Левчинского принимал о нем отеческие попечения и полюбил его как родного сына: это чувство было ново для доброго старика, потому что сам он не имел детей и, похоронив за три года



перед тем подругу преклонных своих лет, был совершенно одинок.

Ганнуся, услышав о приезде Левчинского, смутилась и не могла ни на что решиться. Сердце влекло ее навстречу долгожданному гостю; но природная стыдливость и привычная застенчивость малороссийской панны останавливали милую девушку в ее комнате. И здесь ее состояние было почти лихорадочное: то вдруг чувствовала она легкую дрожь, то жаркий румянец вспыхивал у нее в щеках и даже пробегал по челу, высокая грудь ее волновалась, глаза покрывались тонкою, теплою влагой... В таком состоянии борьбы провела она более получаса, пока отец не кликнул ее из другой комнаты. Тогда, собрав всю бодрость девического своего сердца, она вышла к гостям; но приближение и первый звук голоса ее избавителя снова вызвали ту же краску на ее лице и тот же легкий, электрический трепет по всему ее телу. Не скоро могла она прийти в себя и отвечать полусловами на приветствия и выражения благодарности, сказанные ей Левчинским, который, может быть, в душе своей был не более спокоен, хотя, привыкнув во время службы к светскому обращению, более умел владеть собою. Наконец, крупные слезы скатились с длинных черных ресниц Ганнуси, и она облегчила свое сердце тем, что высказала с своей стороны молодому поручику — правда, с крайним усилием и в несвязных словах — благодарность свою за спасение ей жизни.

Когда холодный порядок разговора несколько восстановился и Максим Кириллович завел с Левчинским речь о старых и новых служивых, о походах и битвах, тогда Ганнуся, тихо сидевшая в отдалении с сложенными руками, по обычаю малороссийских девиц, оправилась и начала дышать вольнее. Она украдкой начала уже всматриваться в лицо своего избавителя, замечала каждую его черту, каждое движение и часто, опустя голову, вылетавшими из уст ее вздохами нагревала прелестную грудь свою.

За обедом Левчинскому случайно пришлось сидеть подле Ганнуси. Спирид Гордеевич первый это заметил; и, поняв ли сей сметливый старик зарождающуюся в молодых людях взаимную любовь или просто хотел над ними пошутить по врожденной веселости малороссиян, он громко пожелал поручику с Анной Макси-

мовной сидеть чаще вместе, как пара голубков. Эта малороссийская аллегория означала, что он желал их видеть четою молодых супругов. Глаза поручика заблестали каким-то новым блеском, когда он поднял их на старого своего друга, как будто бы с вопросом, сбыточное ли это желание, и тотчас опустили на стол. Стыдливая соседка его зарделась, как юная роза от первых утренних лучей солнца, и казалось, искала глазами, нет ли какого пятнышка на ее тарелке; а старый майор поморщился и старался переменить разговор, по-видимому, не весьма для него приятный.

Впрочем, добрый Максим Кириллович уже и прежде искренне полюбил поручика; а теперь, слушая жаркие его рассказы о военных делах и умные суждения о разных предметах, еще более полюбил его и звал как можно чаще к себе в дом, прибавляя, что он и дочь его всегда рады его видеть. С этих пор Левчинский сделался почти ежедневным гостем майоровым. Часто случалось ему быть глаз на глаз с милою Ганнусей; часто рука об руку прохаживались они по саду и по окрестностям, и не раз поручик имел случай облегчить свое сердце признанием в любви; но природная его скромность, недоверчивость к своим достоинствам и горькое сознание бедности, которую б должна была делить с ним будущая подруга его жизни, удерживали его и заставляли таить в душе то чувство, которое он питал к дочери майоровой.

Миновал срок, выпрошенный евреем для чародейских его приготовлений, и мало-помалу испарилась из головы майора досада от первой, неудачной его попытки в искании кладов. Мысль обогащения подспудными сокровищами опять в нем пробудилась с новою силой. Тетрадь, заключающая в себе сказание о кладах, ни на минуту не выходила из широкого кармана охотничьей майоровой куртки, хотя Максим Кириллович давно уже знал наизусть все содержание любопытной сей рукописи и мог пересказать все упомянутые в ней урочища с зарытыми в них кладами гораздо безошибочнее, нежели сыновья его положение и богатство разных европейских государств на экзамене из географии. Наконец, день поисков был назначен. Еще до рассвета майор с капралом, евреем и Ридьком отправились на двух повозках; но куда? Этого никто не знал. Ганнуса, с восходом солнца встав с постели и не найдя

отца своего дома, крайне удивилась. Ей не показалось бы странным такое раннее отсутствие, если б это было зимою: она знала, что в прежние годы отец ее никогда не упускал пороши, и могла бы подумать, что старинная страсть снова им овладела; но тогда было лето; куда же мог он уехать так рано, не сказав ей, да еще и с такою необыкновенною свитой, как жид и капрал; ибо седой инвалид, за ранами, был вовсе уволен от *опустошительных набегов охотничьих*. Целое утро Ганнуся дожидалась отца своего — и все понапрасну. Левчинский приехал около полудня, времени, в которое майор обыкновенно обедал; но хозяина еще не было. Ганнуся не таила от поручика своего беспокойства: нежной дочери казалось, что с отцом ее случилось какое-либо несчастье. Она поминутно выглядывала в окна, выбегала на крыльцо, смотрела на все стороны; раз двадцать выходила она с Левчинским на большую дорогу, спрашивала на мельнице и у всех встречных, не видел ли кто отца ее в этот день? Никто, однако ж, его не видел, никто не знал, куда и зачем он отправился.

Солнце прокатилось по всему дневному пути своему, но встревоженная девушка и не думала об обеде; гостю ее, принимавшему живейшее участие в ее беспокойстве, также не приходила мысль о подкреплении себя пищею; и мог ли молодой, влюбленный офицер думать о таких ничтожных, вещественных потребах, когда он находился вместе с тою, которую любил, и притом должен был стараться ее развлекать и успокаивать? Наконец, когда солнце уже стало западать, вдруг пыль поднялась по дороге, послышался стук колес, и, спустя несколько минут, две повозки поспешно въехали в ворота. Ганнуся полетела птичкой навстречу отцу своему. Погодя немного майор вошел в комнату. На лице его написано было какое-то унылое раздумье. Поцеловав дочь свою, он выговаривал ей слегка за ее напрасные тревоги и объявил, что, желая получше узнать все свои поля, он ездил по разным урочищам и замечал рубежи своих угодий; что с этого дня он должен несколько времени, и может быть целое лето, употребить на сие хозяйственное обозрение; и что жид Ицка Хопылевич как человек, разумеющий отчасти землемерское дело, необходим ему при таких разъездах.

Добрая девушка тотчас поверила отцу своему; но поручик хотя и ничего не сказал, однако ж ясно видел, что для осмотра угодий не нужно было выезжать майору до рассвета и что размежевание земель и означение рубежей не могло производиться без наряжаемых на сей конец чиновников. Левчинский не имел повода подозревать что-нибудь худое, но он успел уже отчасти узнать простосердечие и крайнюю доверчивость майора; а слышав от него, что в этом деле замешан был жид, он тотчас догадался, что здесь было не без обмана и что хитрый еврей основывал корыстные свои виды на какой-либо слабости майора. Для сего Левчинский твердо решился проникнуть в эту тайну, а до времени молчать и не наводить никаких сомнений Максиму Кирилловичу.

Каждый день майор уезжал еще до зари, и каждое утро Левчинский являлся у Ганнуси, чтобы развлекать ее в скучном ее одиночестве. Милая девушка уже не была с ним застенчива и, успокоясь насчет отлучек отца своего, радостно встречала молодого своего собеседника. Весело проводили они время в разговорах, прогулках и других невинных занятиях; они еще не сказали друг другу «люблю!», но уже знали или, по крайней мере, понимали взаимные свои чувствования. Скромные их удовольствия перерывались только возвращением майора, который со дня на день становился мрачнее и задумчивее, как человек, теряющий последнюю надежду. Это сокрушало бедную Ганнусю: она не могла вообразить, что было причиною такой печали отца ее, и не смела спросить его о том, ибо майор сделался крайне молчалив и даже угрюм. Этой перемены не могла она приписывать неудовольствию на частые посещения Левчинского, которому майор оказывал прежнюю приязнь и радушие; какая же грусть нарушала спокойствие нежно любимого ею родителя? Она терялась в догадках и, наконец, решилась поговорить об этом Левчинскому.

Поручик уверил ее, что принимал живейшее участие в ее родителе, и обещал ей дознаться, какое несчастье грозило ему или какая печаль его тревожила. Случай к тому скоро представился. Вечером, когда майор возвратился, Левчинский, простясь с ним и с Ганнусей, велел подвести верхового коня своего. Ридько, по расчетливой угодливости, побежал на конюшню; между

тем поручик, сошед с крыльца, сказал, что хочет пройти пешком, и велел Ридьку вести лошадь вслед за ним. Когда они вышли за деревню, поручик, дотеле молчавший, завел разговор с своим проводником.

— Пан твой очень печалится. Не от того ли, что у вас худы посевы и не обещают хорошего урожая?

— О, нет, грешно сказать! Наши посевы хоть куда; и теперь, когда озимые хлеба уже выколосились, можно ждать, что урожай будет на диво.

— Так, может быть, посторонние завладели какими-нибудь его землями?

— Оборони бог! у нас нет лихих соседей.

— О чем же он так грустит?

— Да так; видно, худой ветер подул... не все то говорится, что знается...

— Послушай, Ридько! вот тебе на водку.— При сих словах Левчинский сунул ему в руку серебряный полтиник и, помолчав с минуту, продолжал: — Ты знаешь, что я люблю твоего пана и желаю ему добра. Вижу, что он почти болен от какой-то грусти, вижу, что милая, добрая ваша панянка тоскует и сохнет, глядя на отца своего, и не знаю, как помочь их горю. Пособи мне в этом: скажи, зачем майор уезжает каждое утро и в чем и какая ему неудача?

— Сказал бы вам... Да вы никому об этом не промолвитесь?

— Вот тебе мое честное слово...

— Верю: вы не из тех панов, которые обещают и не держат слова; вы даже прежде даете на водку, чем обещаете... Только... как вы думаете: пан мой не узнает об этом?

— Как же он может узнать, если я не скажу? А я уж дал тебе слово молчать.

— Не вы, а этот проклятый жид: он может отгадать по звездам и по воде, что я проговорился об этом деле.

— Небось, не отгадает; у меня есть на это свой заговор, против которого жид не устоит со всем его колдовством.

— Право?.. Так мне и бояться нечего. Только вы не будете нам мешать в нашем деле?

— Нисколько; а напротив, еще буду помогать твоему пану, когда в деле этом нет ничего худого.

— И, какое тут худо! Ведь, кажется, нет греха выкапывать клады, зарытые в земле и у которых нет хозяи-

на, кроме иногда — наше место свято! — кроме лукавого. А вырвать у него добычу, не погубя души своей, мне кажется, не грех, а доброе дело.

— Точно. Так майор ищет кладов?.. Да нашел ли он хоть один из них?

— Ну, до сей поры мы не видали еще ничего, кроме земли да подчас старых черепьев и обломков того-сего; а мы перерыли уже добрых десятка три мест в разных урочищах, которые записаны в тетрадке у моего пана.

— Какая ж это тетрадка?

— В ней, видите, как по пальцам высчитаны все груды золота и серебра, закопанные разбойниками и колдунами в нашем краю. Да, видно, эти колдуны были помысленнее нашего жида: сколько он ни кудесит, а все мало проку от его заговоров и ворожбы. Чуть ли он не морочит и нас, и нашего пана.

Этих известий было достаточно для Левчинского. Теперь он ясно видел, что догадки его насчет легковёрности простодушного Максима Кирилловича были основательны. Сев на коня своего, поручик отпустил Ридька и тихо поехал домой, рассуждая о слышанном и сожалея о странном заблуждении доброго своего соседа. Вдруг ему пришло на мысль подделаться к любимому коню майорову для двух причин: во-первых, чтобы сим способом еще более приобрести дружбу и доверие Максима Кирилловича и чрез то заготовить себе дорогу к его сердцу, когда дело дойдет до искания руки Ганнусиной; а во-вторых, чтобы, если можно, излечить майора от суетной мечты обогащения кладами, показав ему на деле несбыточность этой мечты. План Левчинского тотчас был составлен и одобрен собственным его умом: помощь жида в этом случае была необходима; и поручик, зная по опыту, приобретенному им в походах и квартировании по разным местам Польши и Литвы, — зная, сколько сии всесветные торгаши падки к деньгам, решился подкупить Ицку Хопылевича и тем склонить его на свою сторону. Это не трудно было сделать: Левчинский, по приезде домой, тотчас отправил своего Власа в шинок еврея, чтобы позвать Ицку в хутор и сулить ему хорошее награждение.

Влас, человек Левчинского, тот самый, которого мы уже видели на минуту в доме майоровом, был моло-

дой, видный и проворный детина, усердный к своему господину и готовый по одному знаку исполнять его приказания, хотя бы в этом видел для себя опасность. В платье денщика он как будто бы переродился: из тихого, робкого малороссийского хлопца сделался в короткое время развязным и лихим офицерским слугою, перенял все ухватки солдатские и гордился тем, что считал себя военным человеком. Он знал по пальцам все замашки и плутни евреев и радовался душевно, если удавалось ему перехитрить жида или сделать опыт полувоинской своей сметливости, не поддавшись в обман. Привыкнув к этой игре ловкости ума, к этой, так сказать, междоусобной войне хитростей, обыкновенно ведущейся у постояльца-солдата с хозяином-жидом, Влас очень обрадовался поручению, которое дано ему было от господина, предполагая, что ему опять удастся провести жида. Бездействие однообразной жизни в уединенном хуторе уже наскучило нашему молодцу: он давно искал случая снова развернуть свои природные и приобретенные способности ума, которых он никогда не изведывал над своим господином, может быть, оттого, что не видал к сему никакого повода; или мы охотнее согласны думать, что Влас не хотел нарушать честности и верности, которые питал в душе к своему барину.

Не расседывая поручикова коня, Влас мигом вскочил на него и полетел по дороге к шинку Ицки Хопылевича. Он вошел в шинок как такой человек, которому местности подобных заведений и употребительные в них приемы знакомы как нельзя более, сел на первое место и проговорил громко и бойко: «Здорово, еврей!»

— Кланяюсь униженно вашей чести, господин служивый! — отвечал Ицка польским приветствием своего перевода, исподлобья поглядывая на приезжего и как будто бы из глаз его стараясь выведать причину столь позднего и неожиданного посещения.

— Мне надобно с тобою переговорить, — сказал Влас тем же голосом. — Эй, ты, смазливая жидовочка! вынеси этим землякам кружки и чарки в клеть или куда хочешь, только чтоб никого здесь не было. А вы, — продолжал он, обратясь к запоздалым гулякам, — проворней отсюда за порог, не дожидаясь другого-прочего.

Все мигом выскочили за дверь, потому что малорос-

сияне не любят или, правду сказать, не смеют спорить с москалем — так они называют всякого военного человека, особенно пехотных полков. Оставшись наедине с евреем, который в нерешимости и с тайным страхом ожидал первых слов своего собеседника, Влас в одну минуту сделал свои стратегические соображения. Он видел ясно, что ничего нельзя было от Ицки получить без важных посулов, и потому решился сделать свою попытку привычным своим средством в таких случаях, т. е. угрозой!

— Слушай, жид, сказал он строгим голосом.— Я приехал к тебе не бражничать, как эти ленивцы, которых отсюда выпровадил. Мне нужно не вино твое, а ты сам...

— Как? — боязливо промолвил Ицка, дрожа как осиновый лист.

— Да, ты сам; готовься сейчас ехать со мною: иначе — ты знаешь...

— Ваша честь, господин служивый! Я человек невольный, я в услугах моего пана, который поминутно меня требует, и без его ведома не смею отлучаться... дайте мне час времени! Я пойду на панский двор и спрошу позволения...

— Вздор, приятель, не рассказывай мне пустяков! Я знаю, что старый майор теперь спит, так же как и вся его дворня; а мне нельзя терять ни минуты. Сейчас же на коня и со мною...

— Да моя лошаденка теперь пасется в поле...

— А! ну, так беги пешком, только успевай за мою лошадыю; не то... Я шутить не люблю!

— Воля ваша, господин служивый! у меня ноги болят: не успею.

— Так слушай же: я привяжу тебя за аркан и буду тащить за собою, как горцы таскают своих пленных. Согласен ли ты?

— Нет, уж позвольте мне лучше поискать лошаденки: может статься, какая-нибудь из соседских стоит у меня под навесом, может статься, и мою еще не угнали на пастьбу...

— Хорошо! только не думай, что можешь меня провести и улизнуть отсюда: я старый воробей, меня на мякине не обманешь. Я сам иду с тобой и ни на миг не выпущу тебя из виду. В том моя нагайка тебе порукой.

Они вышли. Жид, видя, что все покушения к побегу



были бы не только напрасны, но еще и накладны для его спины, решил ее облегчить неведомую, но вероятно горькую свою участь совершенною покорностью. Грозный Влас шел у него по пятам, помахивая, как будто от нечего делать, ременной своею нагайкой. Под навесом нашли они лошадь еврееву. Ицка хотел было идти за седлом, все еще надеясь как-нибудь ускользнуть от своего жолатого; но Влас не дал ему и договорить своих представлений: он велел жиду скинуть верхний его плащ и набросить его на лошадь вместо попоны, сам посадил его верхом, схватил повод его лошади и, сев на свою, помчался с ним во весь дух. Все это сделано было с такою поспешностью, что жена Ицки не успела опомниться: ни она, и никто из посторонних не видели и не знали, куда исчезли и сам Ицка, и страшный, сердитый москаль. Лейка, не нашед своего мужа в шинке и не докликавшись его по двору, всплеснула руками, взвыла и закричала, что его унес Хапун<sup>26</sup>, явившийся в виде солдата.

Между тем Ицка, у которого, может быть, также бродила в голове подобная мысль, скакал по дороге с неизвестным своим спутником, не зная и не понимая, куда везли его. Он никогда еще не видал Власа, потому что Левчинский приезжал в дом майора всегда верхом и без проводника; никто из людей, случившихся на тот раз в шинке, также не знал нашего удалца. Дорогою Влас попеременно то делал жиду сомнительные, наводящие страх намеки, то наводил его на мысль о значительной награде и старался ему внушить, что не всякий тот беден, кто кажется бедным по виду и о ком идет такая молва. Несчастливого Ицку порою пронимала дрожь, несмотря на духоту летней украинской ночи; иногда же кровь, отхлынув от сердца, мучительным огнем протекала по всем его членам, и окружающий воздух казался ему жарче раскаленной печи. Таково было его положение до самой той минуты, когда они подъехали к дому Левчинского. Влас немедленно ввел еврея в комнату своего господина, и жид, увидя знакомое лицо офицера, о котором слышался много доброго, несколько ободрился и почувствовал, что как будто бы гора спала у него с плеч. Однако же, напуганный Власом и от природы недоверчивый, он все еще не был совершенно спокоен.

Поручик решил наконец его сомнения, заведя речь

о майоре и разными околичностями весьма искусно доведя его до кладов. Не трудно было Левчинскому получить желаемое от еврея: Влас такой задал ему страх, что он и безо всего согласился бы на всякие условия, а пара червонцев, данных ему поручиком, совершенно оживила упавший дух Ицки и подкупила его в пользу молодого офицера. И вот на чем они положились: честный еврей Ицка Хопылевич должен был уверить майора, что поручик Левчинский узнал от одного колдуна в Польше тайну находить и вырывать из земли самые упорные клады, если только они не вырыты кем-либо прсжде. За это Левчинский обещался наградить еврея еще более, и они расстались, быв оба весьма довольны. Поручик — тем, что предположения его принимали желаемый оборот; а жид — двумя червонцами и надеждою получить еще вдвое за свою услугу. Жид поехал домой уже не в таком расположении духа, как выехал оттуда, и только боялся, чтобы Влас не вздумал провожать его: хоть мысли сего честного иудея насчет его посольства и переменились, но все он думал, что для него было гораздо надежнее подале быть от этого удалыца, у которого, по мнению Ицки, самому лукавому еврею ничего нельзя было выторговать, а только можно было вконец проторговаться.

Все исполнилось по желанию поручика. Ицка Хопылевич сплел майору весьма замысловатую сказку о колдуне, который, бегав обратнем и быв пойман в виде волка, избавлен был от смерти поручиком Левчинским и, в благодарность за такое одолжение, научил Левчинского трем словам, с помощью которых он мог узнавать, в каких местах клады скрыты под землею; но колдун взял страшную клятву с поручика, чтоб этих слов никому не передавать и вслух не говорить. «Все это узнал я,— прибавил жид,— от поручичьего денщика Власа, подпоив его и разговорившись с ним под добрый час, и прошу вас, вельможный пан, держать это у себя на душе и не сказывать пану Левчинскому: иначе будет худо и мне, и нескромному денщику». Майор нисколько не подозревал обмана и принял за чистые деньги все, что жид ему рассказывал. Он обещался плутоватому еврею не говорить об этом с Левчинским и между тем твердо положил у себя на уме воспользоваться этою чудною способ-

ностью Левчинского и, если невозможно было выведать у него таинственных слов, то, по крайней мере, задобрить его всеми средствами и заманить в свои планы обогащения: т. е. склонить его вместе отыскивать клады по указанию известной тетрадки.

В первое свидание с Левчинским Максим Кириллович завел обиняками речь о том, какие богатства скрывает в себе земля украинская. Поручик, притворно не поняв его слов, отвечал, что земля сия точно богата своим плодородием и счастливым климатом; что на ней родятся многие нежные плоды, местами даже виноград, абрикосы и проч. и что если бы не природная лень малороссиян, которые мало заботятся о полях своих и вообще плохие землепашцы, то можно б было ожидать, что плоды земные в несравненно большей степени вознаграждали бы труд поселянина. В продолжение сей речи, в которой Левчинский хотел явить опыт своего красноречия и силу убедительных доводов, Максим Кириллович оказывал явные знаки нетерпеливости: он то морщился, то пожимал плечами, то с ужимкою потирал себе руки; наконец, не в состоянии быв выдерживать долее, он вдруг вскочил с места, подошел к поручику и, поспешно перебив его речь, проговорил голосом, изъявлявшим, что собеседник худо понял его намерение:

— Не о том речь, Алексей Иванович! вы, молодые люди, подчас на лету слова ловите, зато часто и осекаетесь, и выдумываете за других, чего они вовсе не думали. Что мне до пашней и посевов? Это идет своим чередом, и не нам переиначивать то, что прежде нас было налажено... Тут совсем другое дело: я знаю, что хотя в нашем краю доньше не отыскивалось ни золотой, ни серебряной руды, а золота и серебра от того не меньше кроется под землею. Просто сказать, здесь жилали и разбойники, и богачи-колдуны; все же они прятали любезные свои денежки и драгоценные вещи по разным похоронкам, в урочищах, которые мне ведомы. Если б бог послал мне человека, который бы знал, как эти клады из земли доставать, то я отдал бы на святую его церковь десятую долю изо всего, что добудется, другую десятую долю раздал бы нищей братии, а остальным поделился бы с моим товарищем... А ведь есть на свете такие люди, которым открывается то, что другим не дается. Есть такие сек-

реты и заговоры, что от них никакой клад не улежит под землю и никакой злой дух не усидит над ним. Иногда два-три слова — да от них больше чудес, чем от всех колдовских затей самого могучего кудесника...

— За двумя-тремя словами не постояло бы дело, — промолвил Левчинский с видом таинственным, — но как узнать, что клад прежде не был кем-либо добыт? Силу слов истратишь понапрасну, а пользы никакой не соберешь.

— Вот теперь ты говоришь, Алексей Иванович, как истинно умный человек! — радостно вскричал майор и бросился его обнимать. — Ну, когда на то пошло, так я выставлю тебе напоказ все мои сокровища. Смотри и любуйся!

После сих слов Максим Кириллович поспешно ушел в свою комнату, схватил известную тетрадь, вынес ее и подал Левчинскому.

Поручик, едва удержавшись от смеха при сей выходке майора насчет мечтательного своего богатства, с вынужденною важностью принял от него тетрадь и пробежал ее наскоро.

— А что это за отметки? — спросил он у майора, указав на крестики, начерченные свинцовым грифелем, которым старик заменял карандаш.

— Это, сказать тебе правду, Алексей Иванович, обозначены те места, на которых я пытался уже искать кладов...

— И нашли сколько-нибудь? — подхватил поручик.

— Ну, покамест еще ничего не нашел, — отвечал Максим Кириллович с некоторым замешательством, потупя глаза в землю... — Теперь же, — продолжал он, приподняв голову, — с божией помощью и твоим пособием, надеюсь лучшего успеха.

— От души желаю вам его и готов с моей стороны служить вам всем, чем могу, — отвечал Левчинский.

— По рукам, Алексей Иванович! — вскрикнул майор вне себя от удовольствия. — Мне как-то сердце говорит, будто бы ты по скромности не все о себе высказываешь, а знаешь многое! Ну, милости прошу завтра пожаловать ко мне до рассвета: мы вместе отправимся на поиски к *Кудрявой могиле*<sup>27</sup>. Посмотрим, что там!

Майор указал в тетрадке на сокровища, по сказанию о кладах, зарытые в помянутом урочище. Левчинский

прочел потихоньку и как бы обдумывал что-то. Спустия несколько минут они расстались.

Едва занялась утренняя заря, а наши искатели приключений были уже на половине дороги. Число их теперь умножилось еще двумя, потому что поручик взял с собою Власа, предупредив майора, что этот человек, быв отлично искусен в отыскивании жидовских похоронок фуража и провизии на постояях, без сомнения, покажет ту же самую сметливость и в искании кладов. «Притом же,— прибавил поручик,— он сам знает кое-что». С новою надеждою в душе остановился майор у подножия *Кудрявой могилы*. Это была довольно высокая, круглая и островерхая насыпь, принявшая от времени вид самородного холма и покрытая терновником и другими кустарниками, почему и получила она название *кудрявой*. Влас, соскочив с повозки, взял белый ивовый прутик с каким-то черным камнем на черном снурке и начал потихоньку подаваться на вершину холма, держа прутик параллельно к земле; майор с поручиком, а позади капрал с евреем и Ридьком в молчании шли за Власом и не спускали глаз с волшебного прутика. Вдруг на половине холма, между кустарниками и мелким валежником, Влас остановился и вскричал: «Смотрите, господа!» Все обступили вокруг и увидели, что прутик начал тихо клониться вниз и гнулся до тех пор, пока черный камень совсем лег на землю. Все вскрикнули от удивления, и майор едва не вспрыгнул от радости. Сам еврей, не веривший и, может быть, имевший причину не верить знанию Власа, стоял в немом изумлении, с глазами, бессменно устремленными на прутик. Наконец Влас объявил, что не в силах долее держать прутика, который сделался необыкновенно тяжел, и выронил его из руки. Все кинулись разгребать валежник; Влас схватил заступ и принялся рыть землю. На аршин в глубине показался слой угольев и золы, как бы смоченной водою, далее черепья, битый кирпич и песок. Майор взглянул на поручика, и в эту минуту Левчинский, тоже пристально смотревший на майора, несколько раз пошевелил губами. Вдруг что-то звякнуло, и заступ уперся в какое-то твердое тело. Мигом все было разгребено, и открылся небольшой чугунный котел, худой и ржавый. Ицка не вытерпел: бросился к котлу, схватил его обеими руками, рванул — и из котла высыпалась не-

большая кучка серебряных денег да пять-шесть червонцев. Жид проворно схватил все это и начал считать; но Влас, оттолкнув его, собрал деньги и поднес их майору, который, отойдя в сторону с Левчинским, принялся рассматривать и пересчитывать свою добычу. Ицка Хопылевич подошел к своему пану и с униженным видом, весьма несвободным голосом начал представлять, что третья доля всей находки, по условию, принадлежит ему. В это время Влас, как бы поверявший в уме счет майора, вдруг обернулся и сильною рукою дал Ицке пощечину, от которой два или три червонца и несколько мелких серебряных монет выскочили изо рта его. Без дальних оговорок разгорячившийся Влас начал обеими руками трясти Ицку, приговаривая:

— Тому, кто положил клад, и в голову не приходило набивать им карманы вашей братье!

— Так этот клад положен недавно? — вскричал майор, как будто бы поймав какую-то светлую мысль.

— Не верьте болтанью этого сумасброда! — отвечал Левчинский в смущении.

— Скажи, Алексей Иванович, — подхватил майор с чувством, но голосом, в котором прорывалась нетерпеливость, — скажи мне всю правду...

— Поедемте, — перервал речь его поручик, — я сам буду править на вашей повозке, больше с нами никого не нужно... Здесь уже нам нечего делать. Влас! собери деньги и, по приезде, вручи их Максиму Кирилловичу. — При сих словах он взял майора под руку и почти насильно увел его к повозке.

— Тут что-то не просто, — вполголоса говорил капрал, покручивая седые свои усы, — тут что-то не просто!

— Я тебе все расскажу, старая служба! — отвечал ему Влас и, отведя его в сторону, продолжал: — Вот видишь ли, помещик твой небогат и доедает последние свои крохи: ищет кладов, а об хозяйстве и не думает — хоть трава не расти. Виданое ль это дело, запускать поля и пашни, которые наши истинные кормилицы, а рыться по-пустому в земле для того, что какому-то проказнику вздумалось подшутить над добрыми людьми и обещать им золотые горы там, где, кроме черепья да песку, ничего не бывало? Сам ты, умная голова, рассуди!

— Правда, правда! — промолвил капрал, как бы одумавшись.

— Барин мой видел, что майору скоро придется пить горькую чашу,— продолжал Влас,— для того-то и зарыл здесь ввечеру все то, что сберег в походах и что старушка его скопила трудами своими и бережливостью лет десятка за два. Жаль было старой барыне расстаться с потовыми своими денежками, да, видишь, она сыну своему ни в чем не отказывает. Всего набралось рублей сотни две: этим поручик думал сколько-нибудь помочь майору, хоть до осени, пока хлеб уберется с поля. Он знал, что майор иначе не принял бы от него денег, из барской спеси, и для того придумал эту хитрость.

Почти то же, но с разными обиняками и возможною тонкостью, рассказывал дорогою майору Левчинский, во всем сознавшийся. Добрый Максим Кириллович сперва было посердился, приняв это за дурную шутку; но после, вполне выразумев намерение молодого офицера, глубоко был тронут благородным его поступком, и сам уже извинял его в душе своей за этот затейливый способ снабдить своими деньгами соседа. Однако же, несмотря на все убеждения Левчинского, майор решительно отказался взять эти деньги, даже и в виде займа. После долгих и жарких переговоров они перестали наконец говорить об этом деле и приехали в дом майоров оба в задумчивости.

С этого дня майор все более и более упал духом. Мечты обогащения в нем замерли; Левчинский столь верно, столь живо представил ему всю несбыточность их, что, вместо прежней лелеявшей его надежды, в нем поселились раскаяние и безотрадное уныние. Уже он не выезжал до рассвета, но бессоница опять начала его мучить. Наступила осень. Поля майоровы, оставленные без присмотра и небрежно возделанные ленивыми его крестьянами, принесли весьма малый запас хлеба; а другие и вовсе были без посева. К тому же докуки заимодавцев час от часу становились чаще, состояние домашних дел еще более расстроилось... Майор почти приходил в отчаяние: ни советы войскового писаря, ни утешения Левчинского и Ганнуса — ничто не помогало. Часто по целым ночам ходил он взад и вперед по своей комнате... и вот однажды снова вспало ему на мысль, для развлечения, пересмотреть остальные бу-

маги в дедовском сундуке. Ночью, чтобы прогнать свою бессонницу и убаюкать себя хотя, по-прежнему, новыми мечтами и надеждами, он опять выдвинул с крайним усилием сундук, отпер его и начал выкладывать из него бумаги. Дошед до того места, где попала ему известная рукопись, он приостановился и задумался. Тяжкий вздох окончил его печальные размышления, он начал рыться далее в пыльных и пожелтелых бумагах, но, к удивлению своему, находил только белые листы. Он рассудил за лучшее разом вынуть всю кипу и пересмотреть, нет ли между нею чего-либо особенного. Каковы же были его изумление и радость, когда, приподняв сии бумаги, он увидел под ними несколько длинных узких мешков из *пестряди* (полосатого тика) и четыре кожаные кошелька, плотно завязанные и запечатанные! «Так вот где клад!» — громко вскрикнул майор, не в силах был владеть собою. Тотчас он схватил один мешок, потянул его — слегшийся и перегнивший тик разорвался, и из него посыпались серебряные рубли. Нетерпеливый старик схватил другой мешок — из него также зазвенели рубли; в третьем и четвертом было то же; в трех остальных было мелкое серебро: гривенники, пятачки, копеечки. Майор был вне себя от такого неожиданного богатства: он остановился и несколько минут смотрел на него тупыми глазами. Потом, когда первые движения изумления и радости утихли, он начал рассуждать: сперва ему пришло в голову, не снова ли мечта шутит над ним и не было ли это действием горячки, приключившейся от бессонницы; далее — не искушал ли его лукавый своим наваждением? Майор перекрестился, сотворил молитву и с болезненным чувством ожидал, что мнимый клад рассыплется прахом... но клад не рассыпался. Тогда майор с большею уверенностью, перекрестясь еще однажды, принялся за кожаные кошельки, которые уцелели еще от времени. Снурки отвалились вместе с печатями, и — новый восторг для нашего Максима Кирилловича! Из кошельков высыпал он на стол целую грудку червонцев. некогда было и думать обо сне; майор принялся прежде всего считать червонцы: их было ровно тысяча. Между ними майор заметил выпавшую из одного мешка бумажку: он развернул ее и прочел следующие слова, написанные самым старинным почерком, на малорос-



сийском наречии: «Сии деньги заложил аз, грешный раб божий, хорунжий Яким Нешпета, от избытков моих, на пользу и про нужду того из моих наследников, кому бог положит на сердце сберечь родовые свои документы. Не полагаю никакого на них зарока; но желаю от глубины души моей, чтобы деньги сии достались не моту, не гуляке, а человеку, терпящему недостаток, от чего, однако же, да спасет господь бог род мой и племя на долгие веки!» Этот хорунжий был дед майоров, человек богатый и бережливый, и умер лет за сорок до того времени, в которое наш майор отыскал эти деньги. Добрый Максим Кириллович совершенно успокоился в совести насчет законности своего приобретения и безопасности владения оным.

Пересчитав свое золото, майор принялся за серебро. Вся ночь протекла в этом занятии, которого следствия были самые удовлетворительные и утешительные: майор нашел в мешках двенадцать тысяч серебряных рублей и на восемь тысяч мелкого серебра полным счетом. Этого было слишком достаточно для теперешних его желаний, которые, со времени напрасных его поисков, сделались гораздо умереннее. Оставалось одно затруднение: куда припрятать эти деньги, чтоб укрыть их от зорких глаз и неосторожного болтанья хлопцев, от алчного чутья воров и от завистливой докучливости соседей, которые поминутно стали бы просить займы у нового богача-соседа? Майор решился дожидаться утра, чтобы посоветоваться с единственным поверенным всех своих тайн, старым капралом, и, оставя дела в том порядке, в каком мы их видели, запер изнутри дверь своей комнаты на замок и лег в постелю, не для того, чтобы уснуть, но чтобы насладиться в полноте новым своим счастьем и спокотить волнение чувств, крайне встревоженных такою радостною нечаянностью. Груды денег, лежавшие перед ним, казалось ему, будто бы поминутно росли и наконец наполнили собою всю комнату, в которой он, от тесноты, почти не мог перевести дыхания. Не скоро мог он вздохнуть свободнее и забыться впервые после очень долгого времени сладкою дремотой.

— Кто там? — вскричал майор, услышав поутру легкий стук у двери.

— Я, ваше высокоблагородие! — раздался голос старого капрала. Майор отпер дверь, и капрал вошел.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — сказал он и остановился, остолебенев от удивления.

— Молчать, старый товарищ! — ласково молвил ему вполголоса Максим Кириллович, потрепав его по плечу. — Вот что бог посылает нам на старость.

Капрал уставил глаза на золото и серебро и не скоро мог опомниться. «Так ваше высокоблагородие все же нашли клад», — проговорил он наконец, как будто бы не вполне еще веря тому, что видел.

— Не клад, а старинное, родовое наследство, капрал! — отвечал Максим Кириллович и в коротких словах объяснил все дело прежнему своему сослуживцу.

— Велик бог милостью, ваше высокоблагородие! Он утешил вас за долгое терпение! — проговорил капрал с облегчающим вздохом, которым он как будто бы перевел дыхание после продолжительного, тяжкого труда.

— Правда, правда, капрал, — отвечал майор, — и мы сегодня же отслужим благодарственный молебен с акафистом Николаю Чудотворцу, скорому помощнику в бедах. А теперь пособи ты мне советом: куда припрятать эти деньги?

— Да туда же, ваше высокоблагородие, на прежнее место. Сундук этот крепок: смотрите, как он плотно окован. Мы прибьем к нему новые полосы железа, свежие петли да два-три лишних пробоя с замками, так пусть-ка попытаются в него забраться; а утащить его никто не может: эдакой тяжести под мышкой не унесешь! Комнату станете вы тоже запирать двойным замком; а что нужно из денег для обиходу, отложите в железную шкатулку...

— Дельно, умная голова! — отвечал ему майор. — Так, благословясь, примемся же за дело. Принеси все, что нужно, а я, между тем, отсчитаю деньги...

Целое утро майор с капралом работали над сундуком, запершись в комнате. Хлопцы слышали стук, но не могли догадаться, что там делалось. За час до обеда майор вышел и послал за священником. Ганнуся с неописанною радостью увидела веселое лицо отца своего. Все домашние, собравшись к молебну, дивились и не могли понять, за какой счастливый случай пан их так усердно благодарил Бога? Но Ганнусе не нужно было знать ничего более: она видела отца своего довольным, и милая девушка, с теплыми слезами стоя на

коленях, благодарила все силы небесные за избавление его от тяжелой душевной болезни.

В эту самую минуту вошли Спирид Гордеевич и Левчинский. Они стали с молящимися, и поручик, заметно было, молился с великим усердием. По окончании молебна войсковый писарь вызвал майора в другую комнату и сказал ему без околичностей, что приехал с женихом к его дочери.

— С каким женихом? — спросил майор несколько надменно.

— Сосед! — отвечал ему Спирид Гордеевич. — Мы с тобою в таких летах, в которые ничего не пропускают мимо глаз; и ты, верно, заметил, что Алексей Иванович Левчинский и моя крестница Анна Максимовна давно любят друг друга.

— Любят! этого мало. Хорошо любить, да было бы чем жить. Куда он приведет мою дочь? У него только и есть, что ветхая хатка, которая скоро от ветра валится.

— Откуда такая спесь, любезный кум? Сказать ли тебе всю правду, ведь ты сам немногим чем его богаче...

— Ну, Бог весть! — перервал его речь майор, приосанившись и потирая себе руки.

— Но пусть и богаче, — подхватил войсковой писарь, — в чужом кармане считать я не умею и не охотник. Дай Бог тебе разбогатеть: тебе же лучше. Худо только то, что ты не помнишь добра, которое тебе сделано: ты позабыл уже, что Левчинский жизнью своею купил себе невесту, что для твоей дочери бросался он на верную почти смерть...

— Полно, полно, Спирид Гордеевич! — вскрикнул растроганный майор. — Вот тебе рука, что сватовство твое не пошло на ветер. Быть так! пусть Ганнуся будет женою Левчинского. Видно, на их счастье... Скажу тебе, дорогой мой кум, — продолжал он, понизив голос, — что нынешнюю ночь Бог послал мне...

— Клад? — вскрикнул войсковый писарь с лукавою улыбкой.

— Пропадай они, эти проклятые клады! — отвечал майор. — Нет, друг мой, этого грех назвать кладом: я отыскал дедовское наследство. — Тут майор снова рассказал о своей находке и подал найденную им записку войсковому писарю.

— Подлинно, в этом виден перст божий! — молвил Спирид Гордеевич, пробегая записку.— Сам Бог благословляет наших молодых людей и посылает тебе это неожиданное счастье, чтоб не было больше никакого препятствия их союзу. Правда, и без того они богаты не были б, а сыты были б. Ты знаешь, у меня нет ближней родни, а дальняя богаче меня вдесятеро и спесивее всотеро: ни один из этих родичей на меня и смотреть не хочет. Имение мое не родовое, а трудовое; я властен им располагать, как хочу...

— Что же ты из него хочешь сделать? — подхватил майор с обыкновенною своею нетерпеливостью.

— Я разделю его на две части,— отвечал Спирид Гордеевич,— одну при жизни еще уступаю Левчинскому, нареченному моему сыну: а другую по смерти моей завещаю своей крестнице, будущей жене его...

— Добрый, добрый сосед! милый, дорогой кум! — повторял Максим Кириллович в сильном движении души, крепко сжимая в дружеских объятиях своего соседа.

— Пойдем же благословить наших детей,— отвечал сей последний, тихо вырываясь из его объятий,— зачем томить их долее мучительною неизвестностию!

Они вышли, держа друг друга за руки, и застали молодых людей в робком ожидании. Ганнуся сидела в углу, повеся голову; Левчинский стоял подле печки, сложа руки и устремя глаза на синие изразцы, как будто бы хотел срисовать все вычурные фигуры, которыми они были изукрашены.

— Вот, Максим Кириллович, прошу принять нареченного моего сына к себе в зятя,— сказал войсковый писарь церемониальным голосом, взяв Левчинского за руку и подведя его к майору.

— Рад хорошему человеку,— отвечал майор таким же голосом,— и уверен, что дочь моя будет с ним счастлива.

Через две недели все соседство пиривало свадьбу Левчинского и Ганнуси. Брачные пиры продолжались несколько дней, и даже Спирид Гордеевич отбросил на время расчетливую свою бережливость: он, по тогдашнему понятию, пышно угостил созванных им соседних панов. Старый капрал в день свадьбы доброй своей панянки, одевшись по-праздничному, бодро притопы-

вал здорового своею ногою под веселую музыку мятелицы, журавля и других плясовых малороссийских песен; а еврей Ицка Хопылевич как человек на все способный и всегда готовый утешать своему помещику явился с своими цимбалами подыгрывать гуслисту и двум скрипачам, которых выписали из города.

Несмотря на все старания Максима Кирилловича, служ о быстром его обогащении скоро разнеслось по всему околотку. Все узнали, что у него проявилось много денег, не узнали только, откуда он взял их. Стали доведываться у хлопцев, и те проболтались, что пан долгое время искал кладов. Ясное дело: он разжился найденными в земле сокровищами! Много нашлось охотников обогатиться этим легким способом; но все они не так счастливо кончили, как старый наш майор: не у всякого был такой добрый и предусмотрительный дедушка!

Заимодавцы майоровы снова явились к нему, уже не с криком и угрозами, а с поздравлениями и низкими поклонами. Все они получили сполна свои деньги и от души пожелали другим своим должникам, в состоятельности коих не были уверены, так же счастливо поискать кладу.

Ицка Хопылевич также явился однажды с своею претензией, как говорил он. Честный еврей расчел, что, по условию, ему следовала третья доля из находки майоровой; но Левчинский с смехом вызывал его отгладать посредством своей науки, где Максим Кириллович нашел свой клад; а Влас, случившийся тут же, советовал Ицке лучше прятать третью долю, которую отсчитает ему майор, нежели то серебро, которое он хотел утаить на Кудрявой могиле. «Иначе,— примолвил насмешливый Влас,— щеки твои опять рассыплются кладом. Ты знаешь, приятель, что и я отчасти смышлен в колдовстве и без волшебного прутика знаю, где отыскивать серебро».

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Почти подлинные слова одной старинной рукописи, которую сочинитель сей повести, назад тому лет двадцать, видел у одного украинского помещика. Древность и ветхость бумаги, почерк руки и крайне полинявшие чернила, особливо старинный язык ее, смесь

русского с малороссийским и польским, — все доказывало, что рукопись сия не поддельная.

<sup>2</sup> Сагайдачный шлях, т. е. дорога, есть одна из самых старинных дорог в Малороссии. Она проходит по губерниям Полтавской, Слободско-Украинской и Черниговской и теряется, как полагают, на пределах Волыни. Название *Сагайдачного шляха* получила сия дорога, по мнению одних, от имени храброго казачьего полковника Сагайдачного, который будто бы вел войско сею дорогой; а по мнению других, от дуги, которую дорога сия описывает в пролегаемом ею краю и которая изгибается в виде лука (*сагайдака*).

<sup>3</sup> *Хугояр*, славный разбойник в Малороссии, живший, как думают, около половины XVII столетия. Предания о нем темны или и вовсе потеряны. Говорят только, что он закапывал в разных местах Малороссии богатые свои добычи. В этом же смысле о нем упоминается и в старинной рукописи о кладах. (См. примеч. <sup>1</sup>).

<sup>4</sup> Звательный падеж в малороссийском наречии слова: сынок.

<sup>5</sup> *Атаман*, или, как в других местах Малороссии называют, *войт*, есть сельский выборный, или староста.

<sup>6</sup> Примеры нищих, которые, почти целый век бродив по миру, под конец своей жизни бросали это ремесло и жили безбедно, иногда даже и в обилии, вымоленными деньгами, нередки в Украине. Сочинитель сей повести часто слышал об одном нищем, жившем в Б... Слепец сей более сорока лет жил на счет доброхотных дателей и, наконец, одряхлев, перестал ходить с сумою и посохом, поселился в маленьком уютном домике и прожил остальные свои лета хотя не роскошно, но в довольстве по крестьянскому понятию. Трех своих дочерей выдал он за порядочных людей и за каждую из них дал в приданое по тысяче рублей серебром: такая сумма в тогдашние времена (лет за сорок пред сим) почиталась очень значительною, даже и не для крестьянина. Должно думать, что и здесь старуха разбогатела сим же способом, но совестясь признаться в том или боясь, что ей не поверят, выдумала сказку, весьма правдоподобную для простодушных земляков своих.

<sup>7</sup> Читатели, конечно, поняли цель сей повести собрать сколько можно народных преданий и поверий, распространенных в Малороссии и Украине между простым народом, дабы оные не вовсе были потеряны для будущих археологов и поэтов. И теперь уже многие из них позабыты; другие, по смутным рассказам старых людей, еще удерживаются в памяти простодушных сельских жителей. С распространением просвещения они и вовсе исчезнут. Сочинитель, знакомый с нравами и обычаями тамошнего края, собрал, сколько мог, сих народных рассказов и, не желая составлять из них особого словаря, решил рассеять их в разных повестях. У других просвещенных народов Европы много было писано о таковых предметах: они,

у каждого из сих народов, составляют запас для народной поэзии, равно как и для исследований о первобытных нравах и обычаях их предков.

<sup>8</sup> *Чумаками* в Малороссии называются погонщики волов, ходящие с обозами и нанимающиеся для перевоза тяжестей. Они ходят с волами не только в разные далекие края России, но даже и за границу, как то в Силезию, Саксонию и пр. Места сии называют они по-своему, например: Шленек (Силезия), Береслав (Бреславль) и Липск (Лейпциг).

<sup>9</sup> *Батог* — бич или плеть на длинной палке; ею чумаки погоняют волов.

<sup>10</sup> *Знахарь* — колдун.

<sup>11</sup> *Зеленую неделей* называется в Малороссии семик, или седьмая неделя после светлого праздника. Троицын день также называется *зеленою неделей*, принимая в сем последнем случае название *неделя* за воскресенье; ибо под словом *неделя* в Малороссии обыкновенно разумеется воскресный день. Таким образом, встречаемое в малороссийских песнях выражение: *в негию рано*, значит: *в воскресенье поутру*, а не чрез неделю.

<sup>12</sup> *Купаловым днем* в Малороссии называется день Св. Агриппины, накануне Иванова дня (23 июня). Летописцы говорят, что во времена язычества славянских народов в этот день приносились жертвы богу Купалу.

<sup>13</sup> Малороссийская тарадайка есть открытая повозка на четырех колесах, сделанная красивее обыкновенных телег, часто с вычурною резьбою на досках и выкрашенная разными красками, коих резкое смешение составляет собою странную пестроту. Это экипаж небогатых панков, мелких купцов и зажиточных обывателей.

<sup>14</sup> *Хто в бога вируе, рятуйте!* Таков крик малороссиян, когда они, находясь сами или видя других в опасности, просят о помощи.

<sup>15</sup> *Пролески* — род *подснежника*, первые весенние цветки в Малороссии. Это маленькие голубые колокольчики, видом похожие на яцинты; растут они от луковиц, на низких и тонких стебельках. Весною, когда снег растает, леса и сады в Малороссии покрываются темно-голубыми коврами сих цветков, которые весьма нравятся взору и ласкают обоняние приятным медовым запахом.

<sup>16</sup> *Вечерницы* — вечерние собрания молодых людей обоего пола. Такие собрания бывають иногда не вовсе невинны.

<sup>17</sup> *Судовые*, т. е. чиновники земской полиции или уездного суда, иногда и прочих губернских и уездных присутственных мест.

<sup>18</sup> *Магарыч* — попойка, которою заключаются все домашние сделки малороссийских поселян. Такие магарычи нередко уносят все деньги, вырученные за проданную вещь.

<sup>19</sup> Польские жида в Малороссии обыкновенно прикладывают

к имени и прозванию своему еще другое прозвище, от имени польского города или места, к еврейскому обществу коего принадлежат они. Таким образом между ними бывают, например, Иосель Лейбович *Бердычевский*, Абрам Израилевич *Бродский*.

<sup>20</sup> *Заговор* принимается здесь в смысле заклинания.

<sup>21</sup> Уменьшительное имени Леа, или Лия.

<sup>22</sup> *Ридько* — Иродион.

<sup>23</sup> *Левага* — рожица, иногда небольшое уголье с сенокосом, обнесенное плетнем.

<sup>24</sup> *Гапка* — уменьшительное имени Агафия.

<sup>25</sup> По-малороссийски: *Ох, лихо мені тяжке!*

<sup>26</sup> Некоторые из суеверных польских евреев думают, что одного из них каждый год уносит какое-то неведомое и незримое существо, которое называют они *халун* (т. е. *хватун*, или *лохититель*). Они думают, что в течение года одному из них непременно должно пропасть без вести; но не знают или не умеют растолковать, злой ли дух есть этот *халун*, и куда он заносит похищенных евреев, и что с ними делает. Похищение сие, по мнению их, чаще всего случается во время их праздника, называемого *судный день*. Никто из них не знает, на кого из них должен пасть сей бедственный жребий; но каждый боится за самого себя.

<sup>27</sup> *Могилами* в Малороссии называются курганы, или высокие насыпи, часто встречающиеся посреди полей и степей. Это, вероятно, были укрепления или подзорные высоты, сделанные во времена набегов татарских.

## ОБОРОТЕНЬ

*Народная сказка*

«Это что за название?» — скажете или подумаете вы, любезные мои читатели (какому автору читатели не любезны!). И я, слыша или угадывая ваш вопрос, отвечаю: что ж делать! виноват ли я, что неусыпные мои современники, романтические поэты в стихах и в прозе, разобрали уже по рукам все другие затейливые названия? Корсары, Пираты, Гяуры, Ренегаты и даже Вампиры попеременно, одни за другими, делали набеги на читающее поколение или при лунном свете закрадывались в будуары чувствительных красавиц. Воображение мое так наполнено всеми этими живыми и мертвыми страшилищами, что я, кажется, и теперь слышу за плечами щелканье зубов Вампира или вижу,



как «от могильного белка адского глаза Ренегатова отделяется кровавый зрачок...». Напуганный сими ужасами, я и сам, хотя в шутку, вздумал было поугатать вас, милостивые государи! Но как мне в удел не даны ни мрачное воображение лорда Байрона, ни живая кисть Вальтера Скотта, ни даже скрипучее перо г. д'Арленкура и ему подобных, и сама моя муза так своевольна, что часто смеется сквозь слезы и дрожа от страха; то я, повинувшись свойственной полу ее причудливости, пущу слепо мое воображение, куда она его поведет. Скажу только в оправдание моего заглавия, что я хотел вас подарить чем-то *новым, небывалым*; а русские оборотни, сколько помню, до сих пор еще не пугали добрых людей в книжном быту. Я мог бы вместо оборотня придумать что-нибудь другое или подменить его каким-либо лихим разбойником; но все другое новое, как я уже имел честь доложить вам, разобрано по рукам другими, а в книжных наших лавках залегли теперь такие большие шайки разбойников — не всегда клейменных (по крайней мере клеймом гения), но всегда печатных, — что если б мыши и моль не составили против них своей *Santa Hermandad*<sup>1</sup>, то от них не было б житья порядочным людям.

Я думал написать это вступление в виде разговора кого-нибудь из моих приятелей с кем-нибудь из моих неприятелей, но побоялся, что меня тотчас уличат в подражании; а признаюсь, мне не хотелось бы прослыть подражателем... Свое, господа мои сподвижники на поприще бумаги и перьев, станем творить свое! Я хочу вам подать похвальный пример и для того вывожу напоказ небывалого русского оборотня.

В одном селении... Вы, добрые мои читатели, верно, не спросите, как называется это селение, в какой губернии и в каком уезде лежит оно. Удовольствуйтесь же тем, что я вам буду рассказывать, и не требуйте от меня лишнего.

Итак, дослушайте ж...

В одном селении жил-был старик по имени Ермолай. Все знали, что он умывается росой, собирает разные травы, ходя, беспрестанно что-то шепчет себе в длин-

---

<sup>1</sup> *Santa Hermandad*, слово в слово: святое братство. Так назывались в Испании сыскные команды инквизиции.

ные, седые усы, спит с открытыми глазами и пр. и пр. Чего же больше? он колдун, и злой колдун: так о нем толковало все селение. Надобно сказать, что селение было раскинуто по опушке большого, дремучего леса, а изба Ермолаева была на самом выезде и почти в лесу. Ермолай сроду не был женат, но лет за пятнадцать до того времени, в которое мы с ним знакомимся, взял он к себе приемыша, сироту, которого все сельские крестьяне называли прежде бобылем Артюшей; а теперь, из уважения ли к колдуну, или по росту и дородству самого детины, стали величать Артемом Ермолаевичем: подлинного его отца никто не знал или не помнил, а и того больше никто о нем не заботился.

Артем был видный детина: высок, толст, бел и румян, ну, словом, кровь с молоком. И то сказать, мудро ли было колдуну вскормить и выхолить своего приемыша? Крестьяне были той веры, что колдун отпоил Артема молоком летучих мышей, что по ночам кикиморы чесали ему буйную голову, а нашептаный мартовский снег, которым старик умывал его, придавал его лицу белизну и румянец. Одного добрые крестьяне не могли добиться: каким образом старый Ермолай, так сказать, переродя Артема из тощего, бледного мальчишки в дородного и румяного парня, не научил его уму-разуму? ибо Артюша был прост, очень прост: молвит, бывало, что с дуба сорвет, до сотни не сочтет без ошибки и не всегда, бывало, впопад ответит, когда у него спросят, которая у него правая рука и которая левая. Он так нехитро смотрел большими своими серыми глазами, так простодушно развешивал губы и так смешно перешлетал ногами, когда случилось ему бежать, что сельские девушки подсмеивали его исподтишка и шепотом говаривали про него: «Красен как маков цвет, а глуп как горелый пень». В селении прозвали его *вислогубым красиком*, и все это не вслух, а тайком от колдуна, потому что все боялись обидеть его в лице его приемыша.

И то, однако ж, многие начали смекать, что злой старик догадывается о насмешках поселян над его нареченным сыном. В селении вдруг начал пропадать мелкий рогатый скот: у того из поселян не явится пары овец, у другого трех или четырех коз, у третьего пропадут все ягнята. Пастухи не раз видали, как из лесу вдруг выбежит большой-пребольшой волк, схва-

тит одну или пару овец, стиснет им горло зубами, взбросит их к себе на спину — и был таков: мигом умчит их к лесу. Сколько ни кричи, ни тюкай — он и ухом не ведет; сколько ни трави собаками: они поплетутся прочь, поджав хвосты, и робко озираются назад. Крестьяне тотчас взяли догадку, что это не простой волк, а оборотень; вслед же за этою догадкой пришла к ним и другая: что этот оборотень не иной кто, как сам Ермолай Парфентьевич.

Делать было нечего. Все боялись колдуна, хотя, сказать правду, до сих пор он не делал еще никакого зла селению; но все-таки он был колдун. Жаловаться на него — у кого найдешь расправу, когда и сам священник отрекался заклясть его? Самим его доконать — грешно, хоть он и колдун; притом же эти дела так пахнут торговой казнью и ссылкой, что у всякого невольно руки опустятся. Да и кто знает, что после смерти не станет он приходить из могилы мертвецом и душить уже не овец, а людей, которые озлобили бы его преждевременным отправлением на тот свет? Как ни раскладывали крестьяне умом, сколько ни толковали на мирской сходке, а все дело не клеилось. Пришлось им стать в тупик, горевать, закуся губы, да молиться святым угодникам за себя и за стада свои.

В селении том жила красная девушка, Акулина Тимофеевна. Лицо у нее было, что наливное яблочко, очи соколиные, брови соболиные — словом, она уродилась со всеми достоинствами и приманками красавиц, о которых перешли к нам достоверные предания в старинных русских песнях и сказках. Одна она никогда не смеялась над простаком Артюшей, а напротив того еще заступалась за него между своими подругами и уверяла их, что он детина хоть куда. Лукавая девушка смекнула, что старик Ермолай очень богат и очень стар, что жить ему на свете оставалось недолго и что после него единственным наследником его имения должен быть Артем Ермолаевич. Она так умильно поглядывала на Артема, так ласково говорила ему, встречаясь: «Здравствуй, добрый молодец!», что Артем, как ни был прост, а все заметил ее приветливость. Часто он, избочась и выступая гоголем, подходил к ней и заводил с нею речи — грех сказать: умные, а такие, которые, видно, нравились красавице и на которые она охотно отвечала. Короче: Акулина Тимофеевна скоро

заслужила всю доверенность нелюдима Артюши: он еще чаще стал подходить к ней, облизываясь и с глупым смехом выкрикивая: «Здорово, Акуля», отвечивал ей дружеский удар тяжелою своею ладонью по белому круглому плечу и таял пред нею... Да, таял, в полном смысле слова, потому что щеки его делались еще краснее, глаза еще мутнее и глупее, а багровые губы никак уже не сходились между собою и становились час от часу толще, час от часу влажнее, как вишня, размокшая в вине. Девушка стала уже не шутя подумывать, как бы ей пристроиться; то есть, с помощью обручального кольца да честного венца, прибрать к рукам и Артема и будущие его пожитки.

К ней-то, наконец, смышленные крестьяне обратились с просьбою помочь их горю. «Ты-де, Акулина Тимофеевна, в селе у нас умный человек; а нам вестимо, что благоприятель твой Артем Ермолаевич с неба звезд не хватает, хоть и слывет сыном такого человека, у которого в седой бороде много художества. Порадей нам, а мы тебе за то чем по силам поклонимся. Одной только милости у тебя и просим: как бы досконально проведать, подлинной ли то волк душит наших овец или. это — не в нашу меру будь сказано — Ермолай Парфентьевич оборотнем над нами потешается?» Акулина Тимофеевна молчала несколько времени, покачивая в раздумье головушкой: с одной стороны, боялась она прогневить колдуна, который знал всю подноготную; с другой стороны, манили ее подарки... а кто к подаркам не лаком? Спросите у стряпчих, спросите у судей, спросите у того и другого (не хочу называть всех поименно): всякий если не словами, так взглядом припомнит вам старую пословицу: *кто богу не грешен, царю не виноват!* И Акулина Тимофеевна была в этом смысле ежели не закоснелою грешницей, то, по крайней мере, не совсем чиста совестью. Она подумала-подумала — и дала крестьянам обещание похлопотать об их деле.

На другой день, встретясь с Артемом, больше прежнего была она с ним приветлива и ласкова, и больше прежнего таял бедный Артем: щеки его так и пылали, губы так и пухли. Умильно потрепав его по щеке полненькими своими пальчиками, плутовка сказала ему:

— Артюша, светик мой! молвила бы я тебе словцо, да боюсь: старик твой нас подметит. Где он теперь?

— А кто его весть! Бродит по лесу словно леший, да, тово-вона, чай дерет лыка на зиму.

— Скажи, пожалуйста: ты ничего за ним не примечаешь?

— Вот-те бог, ничего.

— А люди и невесть что трубят про него: что буд-то буди он колдун, что бегаёт оборотнем по лесу да изводит овец в околотке.

— Полно, моя ненаглядная: инда мне жутко от твоих речей.

— Послушай меня, сокол ясный: ведь тебя не убудет, когда ты присмотришь за ним да скажешь мне после, правда ли, нет ли вся та молва, которая идет о нем по селу. Старик тебя любит, так на тебя и не вскинется.

— Не убудет меня? да что же мне прибудет?

— А то, что я еще больше стану любить тебя, выйду за тебя замуж и тогда заживем припеваючи.

— Ой ли? да что же мне делать-то?

— А вот что: не поспи ты ночь да примечай, что старый твой станет кудесить. Куда он, туда и ты за ним; притаись где-нибудь в углу или за кустом и все высматривай. После расскажешь мне, что увидишь.

— Ахти! страшно! Да еще и ночью. А когда же спать-то буду?

— Выспишься после. Зато уж как женою твоею буду, ты, мой голубчик, будешь спать вволю. Тебя не пошлют тогда ни дрова рубить, ни воду таскать: все я за тебя; а ты себе, пожалуй, поваливайся на печи да покушивай готовое.

— Ладно! будь по-твоему: стану приглядывать за моим стариком. Да скажи, он мне бока-то не отлощит?

— Не бойся ничего: он не узнает; а какова не мера, так я сама принесу ему повинную и скажу, что тебя научала.

— Ну, то-то, смотри же! чур, не выдавать меня.

— И, статимо ли дело! прощай же, дружочек.

— Ин прощай, моя любушка!

При всей своей простоте, Артем не вовсе был трус: он уважал и боялся названного своего отца, а впрочем, по слабоумию ли, по врожденной ли отваге, не мог себе составить понятия о страхах сверхъестественных

Может быть, и старик, воспитывая его в счастливом невежестве, старался удалять от него всякую мысль о колдунах, недобрых духах и обо всем тому подобном, чтобы не внушить ему каких-либо подозрений на свой счет и не заставить его замечать того, в чем нужно было от него таиться.

Наступила ночь. Артем, по обыкновению, лег рано в постель, укутался с головою; но не спал и прислушивался, спит ли старик. С вечера было темно; старик ворочался в постели и бормотал что-то себе под нос; но когда взошел месяц, тогда Ермолай встал, оделся, взял с собою какую-то вещь из сундука, стоявшего у него в изголовье, и вышел из избы, не скрипнув дверью. Мигом Артем был тоже на ногах, накинул на себя балахон и вышел так же тихо. Притаясь в сених, он выглядывал, куда пошел старик, и, видя, что он отправился к лесу, пустился вслед за ним, но так, чтобы всегда быть в тени... Так-то и самый простодушный человек имеет на свою долю некоторый участок природной тонкости и употребляет его в дело, когда нужно ему провести другого, кто его посильнее или похитрее. Но довольно о тонкости простаков: посмотрим, что-то делает наш Артем.

Лепясь вдоль забора, прокрадываясь позадь кустов и, в случае нужды, ползучи по траве как ящерица, успел он пробраться за стариком в самую чащу леса. Среди этой чащи лежала поляна, а среди поляны стоял осиновый пенек, вышиною почти вполочеловека. К нему-то пошел старый колдун, и вот что видел Артем из своей засады, которою служили ему самые близкие к поляне кусты орешника.

Лучи месяца упали на самый сруб осинового пня, и Артему казалось, что сруб этот белелся и светился как серебряный. Старик Ермолай трижды обошел тихо вокруг пня и при каждом обходе бормотал вполголоса такой заговор: «На море Океане на острове Буяне, на полой поляне, светит месяц на осинов пень; около того пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый. Месяц, месяц, золотые рожки! расплавь пули, притуши ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя и на человека, чтоб они серого волка не брали и теплой бы с него шкуры не драли». Ночь была так тиха, что Артем ясно слышал каждое слово. После этого заговора старый колдун стал лицом к месяцу и,

воткнув в самую сердцевину пня небольшой ножик с медным черенком, перекинулся через него трижды таким образом, чтобы в третий раз упасть головою в ту сторону, откуда светил месяц. Едва кувырнулся он в третий раз, вдруг Артем видит: старика не стало, а наместо его очутился страшный серый волчище. Злой этот зверь поднял голову вверх, поглядел на месяц кровавыми своими глазами, обнюхал воздух во все четыре стороны, завыл грозным голосом и пустился бежать вон из лесу, так что скоро и след его простыл.

Во все это время Артем дрожал от страха как осиновый лист. Зубы его так часто и так крепко стучали одни о другие, что на них можно было истолочь четверик гречневой крупы; а губы его, впервые может быть от рождения, сошлись вместе, сжались и посинели. По уходе оборотня он, однако ж, хотя и не скоро, оправился и ободрился. Простота, говорят, хуже воровства: это не всегда правда. Умный человек на месте нашего Артема бежал бы без оглядки из лесу и другу и недругу заказал бы подмечать за колдунами; а наш Артем сделал если не умнее, то смелее, как мы сейчас увидим. Он подошел к пню, призадумался, почесал буйную свою голову — и после давай обходить около пня и твердить то, что слышал перед сим от старого колдуна. Мало этого: он стал лицом к месяцу, трижды кувырнулся через ножик с медным черенком и за третьим разом, глядь — вот он стоит на четвереньках, рыло у него вытянулось вперед, балахон сделался длиною, пушистою шерстью, а задние полы выросли в мохнатый хвост, который тащился как метла. Дивясь такой скорой перемене своего подобия и платья, он попробовал молвить слово — и что же? — вместо человеческого голоса завыл волком; попытался бежать — новое чудо! уже ноги его не цеплялись, как бывало прежде, друг за друга.

Новый оборотень не мог говорить, но не лишился способности рассуждать, то есть столько, сколько он обыкновенно рассуждал в человеческом своем виде. Мне, признаться, никогда не случалось слышать, чтобы оборотни в волчьей шкуре становились умнее прежнего. Вот наш Артем остановился и призадумался, как ему употребить в пользу и удовольствие новую свою личину? Тут ему пришла мысль, достойная того;

в чьей голове она зародилась: он вспомнил, как часто молодые парни их селения над ним смеивались. «Давай-ка,— думал он,— посмеюсь и я над ними: пойду утром в селение и стану бросаться на всякого... как же эти удалцы будут меня бояться! Однако ж прежде попытаюсь-ка выспаться: в этой шубе мне будет и тепло и мягко даже на сырой траве...». Вздумано — сделано: наш Артем, или оборотень, забрался снова в кусты орешника, лег и заснул крепким сном.

Долго ли спал он, не знаю наверное; только солнце было уже очень высоко, когда он пробудился. Он встряхнулся, посмотрел на себя, и новый его наряд при дневном свете так показался ему забавен, что смех его пронял: он хотел захохотать — но вместо хохота раздался такой пронзительный, отрывистый волчий вой, что бедный Артем сам его испугался. Потом, опомнясь и видя, что он пугается собственного смеха, он захохотал еще сильнее прежнего, и еще громче и пронзительнее раздался вой. Нечего делать: как ни смешно ему было, а поневоле должно было удерживаться, чтоб не оглушить самого себя. Тут он вспомнил о вчерашнем своем намерении — потешиться над своими сверстниками, молодыми сельскими парнями. Вот он и пошел к селению. Дорогою попадались ему крестьяне, ехавшие в поле на работу; каждый из них, завидя издали смелого, необыкновенной величины волка, никак не подозревал, что это был простак Артем; все думали, что то был точно оборотень,— только отец его, старый колдун Ермолай. Оттого каждый крестился, закрывал себе глаза руками и говорил: *чур меня! чур меня!* Это еще и больше веселило простодушного Артема, еще больше поджигало его идти в селение; никогда, никто его столько не боялся, как теперь: какая радость! Да то ли еще будет в селении? как все всполошатся, крикнут: «Волк!» — станут его травить собаками, уськать, тюкать, соберутся на него с копьями и рогатинами, а он и ухом не будет вести: его ни дубина, ни железо, ни пуля не возьмет и собаки бояться... То-то потеха!

И в самом деле, все селение поднялось на *серого забияку*. Сперва встречные бежали от него, крестьянки поскорее заперли овец и коз своих в хлева, а сами спрятались в подушки: все знали, что то был не простой волк. Скоро, однако ж, нашлись удалцы, крикнули по селению, что один конец должен быть



с старым колдуном, и повалили толпою: кто с дубиной, кто с топором, кто с засовом — обступили волка и давай нападать на него. Сначала он храбрился, бросался то на того, то на другого, щетинился, скалил зубы и щелкал ими; но наконец робость его одолела: он знал, что, в силу заговора, его не убьют и даже не наколотят ему боков; но могут ощипать на нем шерсть, оборвать хвост, и тогда — как он явится к строгому своему отцу в разодранном балахоне и с оторванными лапами? Беда!

Правда, не нашлось еще смельчака, который бы вышел с ним переведаться: все уськали, кричали только издали, а ни один не подавался вперед. Собак же и вовсе не могли скликать; они разбрелись по конурам и носов не выказывали. Зато люди все стояли в кругу и прорваться сквозь них никак нельзя было. Еще новое горе бедному нашему оборотню: он ничего не ел от самого вечера и желудок его громко жаловался на пустоту. Как быть? и кто поручится, что отец его уже не в селении и не узнает о его проказах? Ахти! вот до чего доводит безрассудство! он и забыл посмотреть, каким образом отец его получит свой человеческий вид! Ну, придется горюну Артему умереть с голоду или исчажнуть с тоски-кручины в волчьей коже... Он задрожал всеми четырьмя ногами, упал, свернулся в комок и уключил голову промеж передних лап.

Крестьяне рассуждали, что им делать с оборотнем: зарыть ли его живого в яму или связать и представить в волостное правление? В это время слух о трусости оборотня разнесся уже по селению, и женщины отважились показаться на улице. Одна девушка пришла даже к кругу, составленному крестьянами около мнимого волка: эта смелая девушка была Акулина Тимофевна. Она тотчас смекнула дело, просила крестьян расступиться, вошла в круг и повела такую умную речь:

— Добрые люди! не дразните врага, когда он сам, как видно, оставляет слово на мир. Смертью оборотня вы добра себе немного сделаете, а худа не оберетесь; в судах же, я слышала, так водится, что и оборотень с деньгами оправится почище всякого честного бедняка. Послушайте меня: разойдется с богом по домам, а этого оборотня я поведу к себе и ручаюсь вам, что вам же от того будет лучше.

Все крестьяне слушали в оба уха и дивились уму-разуму красной девицы. Никто из них не придумал умнее того, что она говорила: они послушались ее речей и расступились в разные стороны. Тут она выплела из косы своей цветную ленту и подошла к оборотню, который в это время потянулся и сам вытянул шею, как будто бы знал, что затевала девушка.

Акулина Тимофеевна обвязала ему ленту вокруг шеи и повела его к себе в дом. По простоте и робости оборотня она тотчас отгадала, кто он таков. Введя его в пустую клеть, она накормила его, чем могла, и постлала ему в углу свежей соломы; потом начала его журить за безрассудную его неосторожность. Бедный Артем жалким и вместе смешным образом сморщил волчье свое рыло, слезы капали из мутно-красных его глаз, и он, верное бы, заревел как малый ребенок, если бы не побоялся завыть по-волчьи и снова взбудоражить всю деревню. Девушка заперла его замком в клетки и оставила его отдыхать и горевать на свободе.

Вечером Акулина Тимофеевна пошла к старику Еролаю, кинулась ему в ноги, рассказала ему, что сама знала, и сняла всю вину на себя. Старый колдун уже знал обо всем, сердился на Артема и твердил: «Ништо ему, пусть-ка погуляет в волчьей коже!» Но просьбы и слезы печальной красавицы были так убедительны и красноречивы, что старик и сам почти от них растаял. Он заткнул за пояс известный уже нам ножик с медным черенком, взял жестяной фонарик под полу и пошел с девушкой. Вошедши в клеть, прежде всего порядком выдрал уши мнимому волку, который в это время делал такие кривлянья, каких ни зверю, ни человеку не удавалось никогда делать, и выл так звонко и пронзительно, что чуть не оглушил и старика, и девушку, и всю деревню. Вслед за сим наказанием колдун обошел трижды около оборотня и что-то шептал себе под нос; потом растянул его на все четыре лапы и колдовским своим ножиком прорезал у него кожу накрест, от затылка до хвоста и впоперек спины. Распоротый балахон упал на солому, и в тот же миг Артем вскочил на ноги, с открытым своим ртом, простодушным взглядом и очень, очень красными ушами. Отряхнувшись и потершись плечами о стену, он со всех ног повалился на землю перед нареченным своим отцом и, всхлипывая, кричал жалким голосом: «Вино-

ват, батюшка! прости». Старик отечески потазал его снова, пожурил — да и простил.

Акулина Тимофевна очень полюбила старому Ермолаю: он заметил в ней природный ум и расчет в мыслях, что лучше всего дать такую умную жену его приемышу, который, после его смерти, живучи с нею, по крайней мере не растратит того, что старому сребролюбцу досталось такою дорогою ценою — то есть накопленных им за грехи свои червончиков и рублевичков.

Короче: дня через три вся деревня пировала на свадьбе Артема Ермолаевича с Акулиной Тимофевной; и хотя все знали, что старик Ермолай злой колдун, но от пьяной его браги и сладкого меду немногие отказывались. Скоро после того Ермолай продал свою избу и поле и перешел вместе с молодыми, названным сыном и невесткою, в какую-то дальнюю деревню, где дотоле и слыхом про него не слыхали. Сказывают, что он провел остальные годы своей жизни честно и смиренно, делал добро и помогал бедным, зато умер тихо и похоронен как добрый на кладбище с прочею усопшею братией. Сказывают также, что Артем, пожив несколько лет с умною и сметливою женою, сделался вполовину меньше прежнего прост и даже в степенных летах был выбран в сельские старосты. Каково он судил-рядил, не знаю; а только в деревне все в один голос трубили, что Акулина Тимофевна была чельшко изо всех умных баб.

## ЭПИЛОГ

Многие той веры, что после всякой сказки, басни или побасенки должно непременно следовать нравоучение; что всякое повествование должно иметь нравственную цель и что все печатное должно служить для общества самым спасительным антидотом от пороков. Как вы думаете об этом, любезные мои читатели, и какое нравоучение присудите мне прибрать к этой истинной или, по крайней мере, очень правдоподобной повести? Что до меня касается — я ничего не умел к ней придумать, кроме следующего наставления: *что тот, у кого нет волчьей повадки, не должен наряжаться волком*. Нравоучение близкое и ясное, и кажется — если, впрочем, самолюбие меня не обманывает, — оно

ничем не хуже того, которое покойник Ломоносов, вечно-лирической памяти, прибрал к своей басне «Волк пастух»<sup>1</sup>

## КИКИМОРА

*Рассказ русского крестьянина  
на большой дороге*

— Вот видите ли, батюшка барин, было тому давно, я еще бегивал босиком да играл в бабки... А сказать правду, я был мастер играть: бывало, что на кону ни стоит, все как рукой сниму...

— Ты беспрестанно отбиваешься от своего рассказа, любезный Фаддей! Держись одного, не припутывай ничего стороннего, или, чтобы тебе было понятнее: правь по большой дороге, не сворачивай на сторону и не режь колесами новой тропы по целику и пашне.

— Виноват, батюшка барин!.. Ну дружней, голубчики, с горки на горку: барин даст на водку... Да о чем бишь мы говорили, батюшка барин?

— Вот уже добрые полчаса, как ты мне обещаешь что-то рассказать о Кикиморе, а до сих пор мы еще не дошли до дела.

— Воистину так, батюшка барин; сам вижу, что мой грех. Изволь же слушать, милостивец!

Как я молвил глупое мое слово вашей милости, в те поры был я еще мальчишкой, не больно велик, годов о двенадцати. Жил тогда в нашем селе старый крестьянин, Панкрат Пантелеев, с женою, тоже старухою, Марфою Емельяновною. Жили они как у бога за печкой, всего было довольно: лошадей, коров и овец — видимо-невидимо; а разной рухляди да богатели и с сором не выметешь. Двор у них был как город: две избы со светелками на улицу, а клетей, амбаров и хлебных закровов столько, что стало бы на обывателей целого приселка. И то правда, что у них своя

---

<sup>1</sup> Я басню всю коротким толком  
Хочу вам, господа, сказать:  
Кто в свете сем родился волком,  
Тому лисицей не бывать.

семья была большая: двое сыновей, да трое внуков женатых, да двое внуков подростков, да маленькая внучка, любимица бабушки, которая ее нежила, холила да лелеяла, так что и синь пороху не даст, бывало, пасть на нее. Все шло им в руку; а все крестьяне в селении готовы были за них положить любой перст на уголья, что ни за стариками, ни за молодыми никакого худа не важивалось. Вся семья была добрая и к богу прибежная, хаживала в церковь божию, говела по дважды в год, работала, что называется, изо всех сил, наделяла нищую братию и помогала в нужде соседям. Сами хозяева дивились своей удаче и благодарили господа бога за его божье милосердие.

Надобно вам сказать, барин, что хотя они и прежде были людьми зажиточными, только не всегда им была такая удача, как в ту пору: а та пора началась от рождения внучки, любимицы бабушкиной. Внучка эта, маленькая Варя, спала всегда с старою Марфой, в особой светелке. Вот когда Варе исполнилось семь лет, бабушка стала замечать диковинку невиданную: с вечера, бывало, уложит ребенка спать, как малютка умается играя, с растрепанными волосами, с запыленным лицом; поутру старуха посмотрит — лицо у Вари чистехонько, бело и румяно как кровь с молоком, волосы причесаны и приглажены, инда лоск от них, словно теплым квасом смочены; сорочка вымыта белым-бело, а перина и изголовье взбиты как лебяжий пух. Дивились старики такому чуду и между собою тишком толковали, что тут-де что-то не гладко. Перед тем еще старуха не раз слышала по ночам, как вертится веретено и нитка жужжит в потемках; а утром, бывало, посмотрит — у нее пряжи прибавилось вдвое против вчерашнего. Вот и стали они подмечать: засветят, бывало, ночник с вечера и сговорятся целою семьею сидеть у постели Вариной всю ночь напролет... Не тут-то было! незадолго до первых петухов сон их одолеет, и все уснут кто где сидел; а поутру, бывало, смех поглядеть на них: иной храпит, ущемя нос между коленами; другой хотел почесать у себя за ухом, да так и закачался сонный, а палец и ходит взад и вперед по воздуху, словно маятник в больших барских часах; третий зевнул до ушей, когда нашла на него дрема, не закрыл еще рта — и закоченел со сна; четвертый, раскачавшись, упал под лавку, да там и проспал до пробуд-

ду. А в те часы, как они спали, холенье и убиранье Вари шло своим чередом: к утру она была обшита и обмыта, причесана и приглажена как куколка.

Стали допытываться от самой Вари, не видала ли она чего по ночам? Однако ж Варя божилась, что спала каждую ночь без просыпу; а только чудились ей во сне то сады с золотыми яблочками, то заморские птички с разноцветными перышками, которые отливались радугой, то большие светлые палаты с разными диковинками, которые горели как жар и отовсюду сыпали искры. Днем же Варюша видала, когда ей доводилось быть одной в большой избе, что подле светелки, — превеликую и претолстую кошку, крупнее самого ражего барана, серую, с мелкими белыми крапинами, с большою уродливою головою, с яркими глазами, которые светились как уголья, с короткими толстыми ушами и с длинным пушистым хвостом, который как плеть обвивался трижды вокруг туловища. Кошка эта, по словам Варюши, бессменно сидела за печкой, в большой печуре, и когда Варе случалось проходить мимо нее, то кошка умильно на нее поглядывала, поводила усами, скалила зубы, помахивала хвостом около шеи и протягивала девочке длинную, мохнатую свою лапу со страшными железными когтями, которые как серпы высовывались из-под пальцев. Малютка Варя признавалась, что, несмотря на величину и уродливость этой кошки, она вовсе не боялась ее и сама иногда протягивала к ней ручонку и брала ее за лапу, которая, сдавалось Варе, была холодна как лед.

Старики ахнули и смекнули делом, что у них в доме поселилась Кикимора; и хотя не видели от нее никакого зла, а все только доброе, однако же, как люди набожные, не хотели терпеть у себя в дому никакой нечисти. У нас был тогда в деревне священник, отец Савелий, вечная ему память. Нечего сказать, хороший был человек: исправлял все требы как нельзя лучше и никогда не требовал за них лишнего, а еще и своим готов был поступиться, когда видел кого при недостатках; каждое воскресенье и каждый праздник просто и внятно говаривал он проповеди и научал прихожан своих, как быть добрыми христианами, хорошими домоводцами, исправно платить подати государю и оброк помещику; сам он был человек трезвенный и крестьян уговаривал отходить подальше от кабака,

словно от огня. Одно в нем было худо: человек он был ученый, знал много и все толковал по-своему:

— А разве крестьяне ему не верили?

— Ну, верили, да не во всем, батюшка барин. Бывало, расскажут ему, что ведьма в белом саване доит коров в таком-то доме, что там-то видели оборотня, который прикинулся волком либо собакой; что в такой-то двор к молодежи летает по ночам огненный змей; а батяка Савелий, бывало, и смеется, и учнет толковать, что огненный змей — не змей, а... не припомню, как он величал его: что-то похоже на мухамор; что это-де воздушные огни, а не сила нечистая; напротив-де того, эти огни очищают воздух; ну, словом, разные такие затеи, что и в голову не лезет. Это и взорвет прихожан; они и твердят между собою: батяка-де наш от ученья ума рехнулся.

— Глупцы же были ваши крестьяне, друг Фаддей!

— Было всякого, милосердый господин: ум на ум не приходит; были между ними и глупые люди, были и себе на уме. Все же они держались старой поговорки: отцы-де наши не глупее нас были, когда этому верили и нам передали свою старую веру.

— Вижу, что благомыслящий священник не скоро еще вобьет вам в голову, чему верить и чему не верить. Об этом надобно б было толковать сельским ребятам с тех лет, когда у них еще молоко на губах не обсохло; а старым бабам запретить, чтоб они не рассевали в народе вздорных и вредных суеверий.

— Как милости вашей угодно, — проворчал Фаддей и молча начал потрогивать вожжами.

— Что ж ты замолчал? рассказывай дальше.

— Да, может быть, мои простые речи не под стать вашей милости, и у вас от них, как говорится, уши вянут?.. Мы, крестьяне, всегда спроста сохрем что-нибудь такое, что барам придется не по нутру.

— И, полно, приятель: видишь, я тебя охотно слушаю, и ты славно рассказываешь. Неужели ты доброю волею отступишься от гривенника на водку, который я тебе обещал?

— Ин быть по-вашему, батюшка барин, — промолвил Фаддей веселее и бодрее прежнего. — Вот видите ли, старики и взмолились отцу Савелью, чтоб он отмолил дом их от Кикиморы. А отец Савелий и давай их журить: толковал им, что и старикам, и девочке, и всей

семье только мерещилось то, чему они будто бы сдуру верили; что Кикимор нет и не бывало на свете и что те попы, которые из своей корысти потворствуют бабьим сказкам и народным поверьям, тяжко грешат перед богом и недостойны сана священнического. Старики, повеся нос, побрели от священника и не могли ума приложить, как бы им выжить от себя Кикимору.

В селении у нас был тогда управитель, не ведаю, немец или француз, из Митавы. Звали его по имени и по отчеству *Вот-он* Иванович, а прозвища его и вовсе пересказать не умею. Земский наш Елисей, что был тогда на конторе, в барском доме, называл его еще *господин фон-барон*. Этот *фон-барон* был великий балагур: когда, бывало, отдыхаем после работы на барщине, то он и пустится в рассказни: о заморских людях ростом с локоть, на козьих ножках, о заколдованных башнях, о мертвецах, которые бродят в них по ночам без голов, светят глазами, щелкают зубами и свистом пугают прохожих, о жар-птице, о больших морских раках, у которых каждая клешня по полуверсте длиною и которых он сам видал на краю света... Да мало ли чего он нам рассказывал: всего не складишь и в три короба. Говорил он по-русски не больно хорошо: иного в речах его, хоть лоб взрежь, никак не выразишь; а начнет, бывало, рассказывать — так и сыплет речами: инда уши развесишь и о работе забудешь; да он и сам на тот раз не скоро, бывало, о ней вспомнит. Крестьяне были той веры, что у *Вот-он* Ивановича было много в носу; что до меня, я ничего не заметил, кроме табаку, который он большими напойками набивал себе в нос из старой закоптелой тавлинки. Он, правда, выдумывал на барском дворе какие-то машины для посева и для молотбы хлеба; только молотильня его чуть было самому ему не размолотила головы, и сколько ни бились над нею человек двенадцать — ни одного снопа не могли околотить; а сеяльная машина на одной борозде высеяла столько, сколько и на целую десятину в нее было засыпано. Однако же крестьяне все по-прежнему думали, что в нем сидит бесовщина и что его не достанет только на путное дело. К нему-то на воскресной мирской сходке присоветовали старому Панкрату идти с поклоном и просьбою, чтоб он избавил его дом от вражьего наваждения.



Пантелеич с старухой пустились в барский двор, где жил тогда *Вот-он* Иванович, и принесли ему, как водится, на поклон барашка в бумажке, да того-сего прочего, примером сказать, рублей десятка на два. Наш иноземец было и зазнался: «Сотна рублоф, менши не копейка». Насилу усовестили его взять за труды беленькую, и то еще — отдай ему деньги вперед. Да велел он старикам купить три бутылки красного вина: его-де Кикиморы боятся; да штоф рому и голову сахару — опрыскивать и окуривать избу с наговором. Нечего было делать; старик отправил самого проворного из своих внуков на лихой тройке за покупками, и к вечеру как тут все явилось. Пошли с докладом к *Вот-он* Ивановичу, он и приплелся в дом к Панкрату, весь в черном. Сперва начал отвеживать вино, велел согреть воды, отколол большой кусок сахару, положил в кипяток и долил ромом; и это все он отвеживал, чтоб узнать, годятся ли снадобья для нашептыванья. Вот как выпил он бутылку виноградного да осушил целую чашку раствору из рому с сахаром,— и разобрала его колдовская сила. Как начал он петь, как начал кричать на каком-то неведомом языке,— ну, хоть святых вон носи! Велел подать четыре сковороды с горячими угольями, всыпал в каждую по щепотке мелкого сахару и расставил по всем четырем углам; после того шептал что-то над бутылками и штофом, взял глоток рому в рот, пустился бегать по избе да прыскать на стены, ломаться да коверкаться, кричать изо всей силы, инда у всех волосы дыбом стали. Так он принимался до трех раз; после сказал, что все нашептанное снадобья должно вынести из дому в новой скатерти и никогда ничего этого не вносить снова в дом; что с ними-де вынесется из дому Кикимора; велел подать скатерть, положил в нее бутылки, штоф и сахар, поздравил хозяев с избавлением от Кикиморы и понес скатерть с собою, шатаясь с боку на бок, надобно думать, от усталости.

— Что же, Кикимора больше не оставалась в доме Панкратовом?

— Вот то-то и беда, сударь, что вышло наоборот. Видно, что колдовство нашего фон-барона было не в добрый час, или он кудесник только курам на смех, или просто хотел надуть добрых людей и полакомиться на чужой счет; только вышло, как я вам сказал,

наоборот. Доселе Кикимора делала только добро: холила ребенка да пряла на хозяйку, никто ее за тем не видал, ни слышал; а с этих пор, видно, ее раздражили шептаньем да колдовством, она стала по ночам делать всякие проказы. То вдруг загремит и затрещит на потолке, словно вся изба рушится; то впотьмах подкатится клубом кому-либо из семейн под ноги и собьет его как овсяный сноп; то, когда все уснут, ходит по избе, урчит, ревет и сопит как медвежонок; то средь ночи запрыгает по полу синими огоньками... Словом, что ночь, то новые проказы, то новый испуг для семьи. Одну только маленькую Варю она и не трогала; и ту перестала обмывать и чесать, а часто на рассвете находили, что ребенок спал головою вниз, а ногами на подушках.

Так билась бедная семья круглый год. В один день пришла к ним в дом старушка нищая, вся в лохмотьях, и лицо у нее сжалось и сморщилось, словно сушеная груша или прошлогоднее яблоко от морозу. Тетка Емельяновна, как вы уже слышали, сударь, была старуха добрая и любила наделять нищую братию. Посадила она божью странницу за стол, накормила, напоила, дала ей денег алтын пять и наделила ее платьишком. Вот нищая и начала молить бога за всю семью; а после молвила: «Вижу, православные христиане, что господь бог наградил вас своею милостью: дом у вас как полная чаша; только не все у вас в дому здорово». — «Ох! так-то нездорово, что и не приведи бог! — отвечала тетка Марфа. — Посадили к нам, знать, недобрые люди из зависти окаянную Кикимору; она у нас по ночам все вверх дном и ворочает». — «Этому горю можно помочь; у вас не без старателей. Молитесь только богу да сделайте то, что я вам скажу: все как рукою снимет». — «Матушка ты наша родная! — взмолилась ей Емельяновна. — Чем хочешь поступимся, лишь бы эту нечисть выжить из дому». — «Слушайте ж, добрые люди! Сегодня у нас воскресенье. В среду на этой неделе, ровно в полдень, запрягите вы дровни... Да, дровни; не дивитесь тому, что нынче лето; этому так быть надобно... Запрягите вы дровни четом, да не парой...» — «Как же этому можно быть, бабушка?» — спросил средний внук Панкратов, молодой парень лет семнадцати и, к слову сказать, большой зубоскал. — Ведь что чет, что пара — все равно!» —

«Велик парень вырос, да ума не вынес,— отвечала ему старуха нищая,— не дашь домолвить, а слова властно с дуба рвешь. Вот как люди запрягают четом, да не парой: в корень впрягут лошадь, а на пристяжку корову или наоборот: корову в корень, а лошадь на пристяжку. Сделайте же так, как я вам говорю, и подвезите дровни вплоть к сеним; расстелите на дровнях шубу шерстью вверх. Возьмите старую метлу, метите ею в избе, в светлице, в сенях, на потолке под крышей и приговаривайте до трех раз: «Честен дом, святые углы! отметайтесь вы от летающего, от плавающего, от ходящего, от ползущего, от всякого врага, во дни и в ночи, во всякий час, во всякое время, на бесконечные лета, отныне и до века. Вон, окаянный!» Да трижды перебросьте горсть земли чрез плечо из сеней к дровням, да трижды спяните; после того свезите дровни эту ж самую упряжку в лес и оставьте там и дровни, и шубу: увидите, что с этой поры вашего врага и в помине больше не будет». Старики поблагодарили нищую, наделили ее вдесятеро больше прежнего и отпустили с богом.

В эти трое суток, от воскресенья до среды, Кикимора, видно, почуяв, что ей не ужиться дольше в том доме, шалила и проказила пуще прежнего. То посуду столкнет с полок, то навалится на кого в ночи и давит, то лапти все соберет в кучу и приплетет их одни к другим бичевками так плотно, что их сам бес не распутает; то хлебное зерно перетаскает из сушила на ледник, а лед из ледника на сушило. В последний день и того хуже: целое утро даже не было никому покою. Весь домашний скарб был переверочен вверх дном, и во всем доме не осталось ни кринки, ни кувшина неразбитого. Страшнее же всего было вот что: вдруг увидели, что маленькая Варя, которая играла на дворе, остановилась среди двора, размахнув ручонками, смотрела долго на кровлю, как будто бы там кто манил ее, и, не спуская глаз с кровли, бросилась к стене, начала карабкаться на нее как котенок, взобралась на самый гребень кровли и стала, сложа ручонки, словно к смерти приговоренная. У всей семьи опустились руки; все, не смигивая, смотрели на малютку, когда она, подняв глаза к небу, стояла как вкопанная на самой верхушке, бледна как полотно, и духу не переводила. Судите же, батюшка барин, каково было ее родным

видеть, что малютка Варя вдруг стремглав полетела с крыши, как будто бы кто из пушки ею выстрелил! Все бросились к малютке: в ней не было ни дыхания, ни жизни; тело было холодно как лед и заостенело; ни кровинки в лице и по всем составам; а никакого пятна или ушиба заметно не было. Старуха бабушка с воем понесла ее в избу и положила под святыми; отец и мать так и бились над нею; а старик Панкрат, погоревав малую толику, тотчас хватился за ум, чтоб им доле не терпеть от дьявольского наваждения. Велел внукам поскорее запрягать дровни, как им заказывала нищая, и подвезти к сеням; а сам приготовил все, как было велено, и ждал назначенного часа. На старика и внуков его, бывших тогда на дворе, сыпались черепья, иверни кирпичей и мелкие каменья; а женщин в избе беспрестанно пугал то рев, то гул, то вой, то страшное урчанье и мяуканье, словно со всего света кошки сбежались под одну крышу. То потолок начал дрожать: так и перебирало всеми половицами и сквозь них на голову сыяло песком и золою. Все бабы, лепясь одна к другой, сжались около тела маленькой Вари и дух притаили. Так прошло не ведаю сколько часов. Вот на барском дворе зазвонили в колокол. Это бывало всегда ровно в полдень, когда садовых работников сзывали к обеду. Пантелеич опрометью кинулся в избу, схватил метлу — и давай выметать да твердить заговор, которому нищая его научила. Проказы унялись; только мяуканье, и фырканье, и детский плач, и бабий вой раздавались по всем углам. Скоро и этого не стало слышно: обе избы, светлицы, потолки и сени были выметены; старик трижды бросил через плечо землю горстями, трижды плюнул и велел двоим внукам взять лошадь и корову под уздцы да вести их с дровнями со двора, вон из деревни, через выгон и к лесу. На дворе и по улице столпились крестьяне целой деревни, все; от мала до велика, и провожали Кикимору до самого леса...

— И ты был тут же?

— Как не быть, батюшка барин. И теперь помню, что меня в жаркую пору такой холод пронял со страху, что зуб на зуб не попадал; а за ушами так и жало, словно кто стягивал у меня кожу со всей головы.

— Да видел ли ты Кикимору?

— Нет, грех сказать, не видал. Видел только дровни, а на них тулуп овчиной вверх; больше ничего.

— Кто ж ее видел?

— Да бог весть! Сказывала мне, правда, тетка Афимья, спустя после того годов с десяток, будто она слышала от соседки, а та от своей золовки, что была у нас тогда в селе одна старуха, про которую шла слава, что она мороковала колдовством и часто видала то, чего другие не видели; и что эта-де старуха видела на дровнях большую-пребольшую серую кошку с белыми крапинами; что кошка эта сидела на тулупе, сложа все четыре лапы вместе и оцетиня шерсть, сверкала глазами и страшно скалила зубы во все стороны. Как бы то ни было, только с сей поры ни в Панкратовом доме, ни в целой деревне и слыхом не слышали больше про Кикимору.

— Радуюсь и поздравляю вашу деревню... А что ж было с малюткою Варей?

— Бедняжка все лежала как мертвая. Старики и вся семья поплакали над нею и хотели ее похоронить. Позвали отца Савелья. Он посмотрел на тело и сказал, что малютке сделался младенческий припадок, словно от испугу, и ни за что не хотел ее хоронить до трех суток. Через три дня, в воскресенье, та же старушка нищая постучалась у окна в Панкратовом доме; ее впустили. Емельяновна рассказала ей всю подноготную и повела ее в светлицу, где лежало тело Варюши. Нищая велела его переложить со стола на лавку, поставила икону подле изголовья, затеплила свечку, села сама у изголовья, положила голову ребенка к себе на колени и обхватила ее обеими руками. После того выслала она всю семью из светлицы и даже вон из избы. Что она делала над ребенком, она только сама знает; а через несколько часов Варя очнулась как встрепанная и к вечеру играла уже с другими детьми на улице.

— Ну, что же далее?

— Да больше ничего, сударь. Все пошло с тех пор подобру-поздорову.

— Благодарствую, друг мой, за сказку: она очень забавна.

— Гм! какая вам, сударь, сказка; а бедной-то семье вовсе не было забавно во время этой передыжки.

— Но послушай, приятель: ведь ты сам не видал Кикиморы?

— Нет. Я уж об этом докладывал вашей милости.

— И Петр, и Яков, и все крестьяне вашей деревни тоже ее не видели?

— Вестимо, так!

— Что же рассказывал о ней сам старик Панкрат?

— Ничего, до гробовой своей доски. Еще, бывало, и осердится, старый хрен, как поведут об этом слово, и вскинется с бранью: «Вздор-де вы, ребята, мелете, только на мой дом позор кладете!» И детям и внукам, видно, приказал об этом говорить: ни от кого из них, бывало, не добьешься толку... Так она, проклятая, напугала старика.

— Так я тебе объясню все дело; слушай. Старые бабы или завистники Панкратовы взвели на дом его небылицу, потому что на семью его нельзя было выдумать какой-либо клеветы. Эту небылицу разнесли они по всей деревне; вам показалось то, чего на самом деле не видели, а поверили чужим словам. Молва эта удержалась у вас в селении; старухи твердят ее малым ребятам, и, таким образом, она переходит от старшего к младшему... Вот и вся история твоей Кикиморы.

— Моей, сударь? Упаси меня бог от нее...

Тут Фаддей перекрестился и вслед за тем прикрикнул на лошадей, замахал кнутом и помчал во весь дух. Со всем моим старанием я не мог от него добиться более ни слова. В таком упрямом молчании довез он меня до следующей станции, где так же молчаливо поблагодарил меня поклоном, когда я отдал ему условленные сверх прогонов деньги.

## СКАЗКА О МЕДВЕДЕ КОСТОЛОМЕ И ОБ ИВАНЕ, КУПЕЦКОМ СЫНЕ

Посвящается баронессе С. М. Дельвиг

В старые годы, в молодые дни, не за нашу памятью, а при наших дедах да прадедах жил-был в дремучих лесах во муромских страшный медведь, а звали его Костолом. Такой он страх задал люду православному,

что ни душа человеческая, бывало, не поедет в лес за дровами, а молодые молодки и малые дети давным-давно отвыкли туда ходить по грибы аль по малину. Нападет, бывало, супостат-медведь на лошадь ли, на корову ли, на прохожего ли оплошало — и давай ломить тяжелою своею лапою по бокам да в голову, инда гул идет по лесу и по всем околоткам; череп свернет, мозг выест, кровь выпьет, а белые кости огложет, истроцит да и в кучку сложит: оттого и прозвали его *Костоломом*. Добрые люди ума не могли приложить, что это было за диво. Иные говорили: это-де божье попущение, другие смекали, что то был колдун-оборотень, третьи, что леший прикинулся медведем, а четвертые, что это сам лукавый в медвежьей шкуре. Как бы то ни было, только хоть никто из живых не видал его, а все были той веры, что когда *Костолом* идет по лесу — то с лесом равен, а в траве ползет — с травкою равен. Горевали бедные крестьяне по соседним селам; туго им приходилось: ни самим нельзя стало выезжать в поле на работы, страха ради медвежьего, ни стада выгонять на пастьбу. Сильных могучих богатырей, *Ильи Муромца* да *Добрыни Никитича*, не было уже тогда на белом свете, и косточки их давно уже сотлели; а мечи их кладенцы, сбруи ратные и копья булатные позаржавели: так избавить крестьян от беды и очистить муромский лес от медведя *Костолома* было некому.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Прошло неведомо сколько времени, а медведь *Костолом* все по-прежнему буянил в лесу муромском. Вот забрел в одно ближнее к лесу селение высокий и дюжий парень, статен, бел, румян, белокур, лицо полно и пригоже, словно красное солнышко. Все девицы и молодницы на него загляделися, а молодые парни от зависти кусали себе губы. За плечами у прохожего была большая связка с товарами, а в руках тяжелый железный аршин, которым он, от скуки, помахивал, как павлинним перышком. «Здравствуй, добрый молодец, — повел с ним речь *Вавила*, сельский староста, — издалека ли идешь, куда путь держишь?» — «Не больно издалека, дядя: города я *Коврова*, села *Хворостова*, прихода *Рождества Христова*; а путь держу к *Макарьеву* на ярманку». — «А с какими товарами, не во гнев тебе будь сказано?» — «Да с разными крестьянскими

потребами и бабьими затеями: ино платки да кумачи, ино серьги да перстеньки». — «А как величать тебя, торговый гость?» — «Зовут меня: Иван, купецкий сын». — «И ты не боишься один ходить по белу свету с товарами?» — «Чего бояться, дядя? на дикого зверя есть у меня вот этот аршин, а с лихим человеком я и просто своими руками справлюсь». — «Зверь зверю не чета, удалый молодец. Вот, недалеко сказать, и у нас завелась экая причина в муромском лесу: медведь Костолом дерет у нас и людей, и всякий крупный и мелкий скот». — «Подавайте мне его! — вскрикнул Иван, купецкий сын, засуча рукава красной александрийской своей рубашки. — Я с ним слажу, будь он хоть семи пядей во лбу. Давно уже слышу я слухи про этого медведа, а хотел бы видеть от него виды. Меня сильно берет охота с ним переведаться... Что же вы распустили горло, зубоскалы? — примолвил он с сердцем, оборотясь к молодым парням, которые смеялись до пологу, потому что сочли его за хвастуна. — Ну вот отведайте-ка сил со мною: не поодиночке, такого из вас, вижу, не сыщется, а ухватитесь сколько можете больше за мои обе руки». Вот и налегли ему на каждую руку по четыре человека, и держались изо всех сил. Иван, купецкий сын, встряхнулся — и все попадали как угорелые мухи. «Это вам еще цветики, а вот будут и ягодки, — сказал Иван, купецкий сын, — кто из вас хочет померяться моим аршином? Возьмите». Только кто ни брался за аршин, не мог и приподнять его обеими руками. «И не диво, — проговорил Иван, купецкий сын, — в нем двенадцать пуд счетных. Теперь смотрите же». — Он взял аршин в правую руку, размахнул им, инда по воздуху зажужжало, и бросил вверх так, что аршин из глаз ушел, а после с свистом полетел вниз и впился в землю на полсажени. Иван, купецкий сын, подошел к тому месту, выхватил аршин из земли, как морковку и, поглядев на насмешников таким взглядом, что у каждого из них во рту пересохло, молвил: «Смейтесь же, удалцы! или вы только языком горы ворочаете?.. Ну, смелее, дайте окрик на самохвала». — «Молодец! силач!» — крикнули в один голос и старый, и малый. Староста Вавила повел Ивана, купецкого сына, в свой дом, истопил баню для дорогого гостя, накормил его, напоил и спать уложил.

Вот на другой день, еще черти в кулачки не бились,



Иван, купецкий сын, встал, умылся, богу помолился и, оставя связку с товарами в доме у старосты, взял только свой аршин и пошел к лесу. Близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли ходил он — мы не станем переливать из пустого в порожнее: скажем только, что все крестьяне не пошли в тот день на работу, а сошлись на площади перед церковью, молились богу за Ивана и за то, чтоб он одолел медведя Костолома, и забыли о еде и питье. Щи выкипели в горшках у баб, каша перепарилась, и хлебы в печи пригорели, а никто и не думал идти обедать. Ждать-пождать — Ивана нет как нет! Вот и солнышко пошло на закат; все крестьяне, осмелясь, вышли из деревни, стали около огородов и не сводя глаз смотрели к лесу; жалели о купецком сыне, думали, что он на беду свою расхрабрился; а красные девушки и вздыхали тайком в кумачные рукава свои — не ведаю, об Иване или о медвежьей шкуре: не время было тогда выпытывать. Вдруг послышался из лесу такой страшный рев, что у всех от него головы пошли ходенем. Смотрят — из лесу бежит большой-пребольшой черный медведь, а на нем сидит верхом Иван, купецкий сын, держит медведя руками за уши и толкает под бока каблуками, которые подбиты были тяжелыми железными подковами; аршин Иванов висит у него за поясом и от медвежьей рыси болтается да тоже постукивает по медведю. Спустия малое время медведь с седоком своим прибежал прямо к деревне и упал замертво у самого того места, где собрались крестьяне. Иван, купецкий сын, успел соскочить вовремя, схватил свой аршин и единым махом раскроил череп медведю. «Вот вам, добрые люди, живите да радуйтесь, — молвил купецкий сын крестьянам, — видите ли, у вашего Костолома теперь и у самого кости переломаны». После того зашел он к старосте, выпил чару-другую зелена вина, наелся чем бог послал, сказал спасибо хозяину и, вскинув связку за плеча, пожелал всему сельскому миру всего доброго. «Чем же мы тебе поплатимся за твою услугу?» — спрашивали крестьяне. «Добрим словом да вашими молитвами», — отвечал Иван, купецкий сын. «А шкура-то медвежья? ведь она твоя!» — взговорили ему крестьяне. «Пусть она при вас останется: берегите ее у себя в деревне да вспоминайте про Ивана, купецкого сына!» За сим поклон — и был таков.

Крестьяне пировали три дня и три ночи по уходе Ивана, купецкого сына, на радостях о своей избе от медведя Костолома. И я там был, мед-пиво пил: по усам текло, а в рот не попало... А к этой сказке вместо присловья любезной нашей имениннице желаю доброго здоровья: дай ей бог жить да поживать, худа не знать, а добро наживать да пиры пировать!

## СКАЗКА О НИКИТЕ ВДОВИНИЧЕ

Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки; рассказывается не сзади, а спереди, не как дядя Селиван тулуп надевал. А эта сказка мною не выдумана, из старых лык не выплетена и заново шелком не выстрочена: мне ее по летним дням да по осенним ночам рассказывал Савка-Журавка долгоног, железный нос.

Савка-Журавка по двору ходит, черным глазом поводит, с ноги на ногу переступает, долгую шею через плетень перегибает, острым носом друга и недруга допекает. А как крыльями встрепенется да звонким голосом озовется: «курлы-курлы!» — так у всякого и ушки на макушке, и слюнка изо рта потечет... Савка-Журавка голосную песню затягивает, умную речь заговаривает и такую сказку рассказывает... курлы-курлы!

Во славном городе во Чухломе жила-была старушка горемычная, вдова человека посадского, а имя ей Улита Минеевна. Муж ее Авдей Федулов, не тем покойник-свет будь помянут! большой был гуляка: торг повести да на счетах раскинуть не его было дело; а пиры пировать, да именины справлять — его подавай. Так и все свои животы прогулял да пропил, а не в добрый час и его самого подняли мертвого в царевом кружале под лавкою. Бедная вдова после его смерти обливала горючими слезами не столько могилу своего друга сердечного, сколько свое вдовье платье и сиротские недоимки. Не было у нее, что называется, чем собаки из двора выманить; а которых крох не растерял покойный ее сожитель, и те пошли по его же душе, на похороны да на поминки. Худо быть человеку семей-

ному горьким пьяницей: и перед богом грешит, и людей смешит, и чужой век заедает.

Не на радость остался и сынок бедной вдове горемычной, единое ее детище, Никита: и тот по отцу пошел. Пить не пришла еще ему пора, потому что после отца он остался молоденок, годов о двенадцати; зато к работе его, бывало, не присадишь. Мать бедная перебивалась кое-как своими трудами, из того кормила его и одевала; а он только с утра до ночи рыскал по улицам да играл в бабки с чужими ребятами. Этого дела, нечего сказать, был он мастер; а как, по пословице, *всякое дело мастера боится*, то и бабки словно его боялись и слушались. Не выискивалось еще молодца, кто б обыграл Никиту Вдовинича: такое ему в насмешку дали на улице прозвание вместо Никиты Авдеича.

Никитино уменье не полюбилось соседним ребятам, которых он день при дне дочиста обыгрывал, так что они не могли у себя напасть бабок. Не раз они щипали Вдовинича за его удачу и однажды стакнулись ворваться всей гурьбой к нему в дом и отъемом отнять у него все бабки. Шепнул ли кто Никите, сам ли он догадался,— только он как-то об этом спроведал. «Постой же! — молвил он сам про себя.— Я упрячу мои бабки в такое место, куда из этих сорванцов ни один не посмеет сунуть нос». Сказано и сделано: как наступила ночь, Никита Вдовинич собрал все свои бабки, склал их в запол и снес на кладбище. Там отыскал он могилу своего отца и принялся рыть в ней яму, чтобы туда спрятать любимую свою потеху до поры до времени. Видно, Никита, хоть и слыл дурачком и служил посмешищем всему соседнему миру, а был-таки себе на уме: небось не стал же рыться в чужой могиле! Он смекнул, что и после смерти свой своему поневоле друг.

Вот как он раскапывал землю, вдруг послышался ему голос из могилы: «Кто тут?» Никита не оробел и смело ответил: «Я, батюшка!» — «Сын мой любезный, дитя мое милое! тяжко мне под сырой землей! — простонал ему тот же голос.— А еще мне тяжеле оттого, что тебя с матерью, по грехам моим, покинул при недостатках. Слушай же: я знаю, что тебя вовсе не тянет к работе; ты весь в меня, и личиком и станком, и разумом и умом. Я тебе помогу, детище мое желанное, и вызволю тебя из бедности; только приходи по

три ночи сюда, ко мне на могилу, в глухую полночь, за час — за два до первых петухов. Что бы здесь ни деялось, не робей; станут играть в бабки — играй, только старайся весь кон сбивать и все бабки к себе забирать. Теперь же покамест ступай себе с Богом! прощай!»

Никита смекнул делом, в какую честную компанию звал его родной батюшка и с какими игроками должно ему было тянуться; однако ж как малой не трус он вздумал пойти наудалую и отведать своего счастья. Вот, пришедши домой, молвил он своей матери, Улите Минеевне: «Благослови, государыня матушка, на доброе дело: меня зовут лавочкики по три ночи стеречь лавок, а сулят за то гривну медью, да хлеба вволю, да новые рукавицы». Улита Минеевна была рада-радешенька, что Бог надоумил ее детище жить на белом свете трудовую копейкою; она чуть не прослезилась от доброй вести. Матери за благословеньем не в ларец ходить: не раздумывая, не разгадывая, благословила Улита Минеевна своего Никиту и отпустила его с крестом и молитвою. Только он, вместо лавок, поплелся на кладбище, раскидывая умом-разумом, что-то из этого будет.

Вот и прилег он на отцовой могилке, ни шкнет, ни чихнет и ни ухом поведет. Не спится ему, правду сказать: да ведь батюшка родимый не за сном же и звал его туда. Долго ли, коротко ли было дело, только вдруг подул и пронесся полуночный ветерок по кладбищу и запрыгали огоньки над могилами, словно клады из-под земли выскакивали морочить люд православный, либо затейник какой, стоя на кладбище, сея по нем гнилушкой. Вдовиничу послышалось, что под землею мертвец мертвеца спросил: «Пора?», а тот ему ответил: «Пора!» И пошла трескотня по могилам: каждый мертвец упирался ногами и руками в гроб, сшибал долой крышку вместе с земляной насыпью и выходил на белый свет в белом саване. И все они сходились на поляну перед кладбищенской часовней, здоровались, кланялись друг другу, будто люди путные из миру крещеного. Никита Вдовинич все лежал по-прежнему и смотрел на такие предивные диковинки; вдруг его невесть что-то отбросило: он скатился с могилы вместе с ворохом земли, и перед ним как лист перед травой очутился его батюшка Авдей Федулович. «Сын мой

любезный, дитя мое милое! — возговорил он детищу своему желанному. — Слушай в оба, а не в полтора, что я тебе говорить буду. Наши честные покойники в эту пору встают да от скуки потешаются в бабки; не робей, играй с ними. Если в игре будешь удачлив, так и в житье будешь счастлив и талантлив; а нет — на себя пеняй. Помни же, сын мой любезный, дитя мое милое: что ни есть на кону — все сбивай, ничего не оставляй; особливо в третью ночь почтись и весь последний кон сорви, — не то с тебя сорвут твою буйную головушку. Пуще всего, не робей. Теперь пойдем, благословясь».

Не любо было Никите Вдовиничу слышать, какой был зарок на игре положен; да нечего делать: взявшись за гуж, не ворчи, что не джуж! Вот и пошли они к гурьбе покойников; а там крик, гам, беготня, толкотня, хохотня. Никиту мороз по коже подирал, когда он воззрился да вслушался, что там было. Иной мертвец, выткнув костлявую шею и выставя свой череп из-под савана, страшно скалил зубы и грохотал, как из пустой бочки; видно, по русской поговорке, он и на том свете чудак был покойник: умер, да зубы скалил. Другой — бледен как полотно, глаза как плоски, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втяги-вал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый... Ну да бог им судья! все они были на ту же стать.

Вот и завопила вся гурьба покойников: «Давай в бабки!» Поставили на кон бабок видимо-невидимо, да у каждого было в заполе савана по целому вороху. Опять запрыгали огоньки на могилах, скок да скок — и столпились в два ряда вокруг поляны, что перед часовней, наподобие как, если кто видал из вас, люди добрые, зажигаются плоски для потешных огней по большим праздникам и ими, словно бисером да камнями самоцветными, унижаются городские улицы и площади. Нашему Вдовиничу сызнава стало жутко, когда он с отцом вошел в середину сходбища. Все мертвецы заорали не своим голосом: «Чужой! чужой!» — как будто собаками на него уськали. Добро бы тем и кончилось; так нет! они косились на него глазами, моргали бровями, щелкали зубами, морщили носы, щетинили усы и кривляли рты, словно не они,

а он был покойником. Вот один и подкатился и молвил отцу Никитину: «А ты, дядя Авдей, что же не играешь в бабки? поставил бы своего мальчика на кон, авось бы мы его срезали». — «Где вам, мякинникам, со мной тягаться! — ответил Авдей Федулов. — Вот гляди-ка на моего мальчика: он, кажись, и невзрачен, и не нашего еще лесу кочерга, а дайте-ка ему бабки в руки — всех вас за пояс заткнет!» — «Хвастливого с богатым не распознаешь! — завопили мертвецы в один голос. — Не в похвале б сила, а в деле. Ну-ка, ин выпусти своего щенка на наших волков. Только, знаешь: уговор лучше денег. Его выигрыш — его и счастье, а проиграет — головой отвечает; да и ты на свою долю столько добудешь совков да пинков, что всех не уложишь к себе в могилу». — «Ладно! — сказал Авдей Федулов. — Грозите богатому, авось либо копейку даст; а с меня-то вам взятки гладки». — «Ну-ну! пустого не болтать и делу не мешать! — крикнул-гаркнул один долговязый мертвец, который был у них в игре старостой и уставщиком. — Начинать так начинать; а то вы, пожалуй, и до петухов прокалякаете». Тут он схватил Никиту за оба плеча, толкнул вперед, уткнул носом чуть не в землю, указал на груды бабок и примолвил: «Бери, да ставь, да заметывай!» Никите не любя была такая грубая поведенция, он осерчал; однако прикусил язык, набрал бабок и пустился в игру. Хвать да хвать, глядишь — и весь кон сбил; поставили другой — и тот будто рукою снял; поставили третий — и того как не бывало: не дал мертвецам, что называется, ни росинки подобрать. Дивовались покойники такой удаче и захлопали глазами да заскрипели зубами пуще прежнего. Никите сдавалось, что ему не сдобровать; ан вот как тут по посаду раздалось: кукареку! Никита глядь — ни огоньков, ни мертвецов не стало, могилы заровнялись так, что не было ни следа, ни примет; с той стороны, откуда солнышко всходит, занималась утренняя заря, и перед нашим Вдовиничем лежала груда сбитых им бабок, чуть не с головой его в уровень. Он подрылся под часовню и туда запрятал свои бабки, видно, отец-батюшка родимый шепнул ему, что тут-де ни мертвый, ни живой их тронуть не посмеет. Еще православные в городе глаз не продрали, а Никита приплелся домой, залез на полатки и такую дал высыпку, что чуть обеда не проспал.

На другую ночь было ему поваднее идти на кладбище. Опять прилег он на отцовской могиле; опять чуть только повеял полуночный ветерок, заиграли огоньки на могилах и опять пошла трескотня и хлопотня по кладбищу. Батюшка Никитин, Авдей Федулович, снова встал и повел его на сходбище разгульных покойников, а там по-вчерашнему — крик, гам, беготня, толкотня, хохотня; только уж на этот раз Вдовинич наш не робел и раскланивался что ни с самими лихими мертвецами, будто со старыми знакомыми. Все вскрикнули, увидя его: «Подавай сюда молодца! подавай игрока!» — инда гул пошел по кладбищу; а Никита кинулся к своим вчерашним бабкам, набрал их сколько надо было и поставил на кон. Хвать да хвать — бабки валяются, инда пыль столбом идет; глядь-поглядь — трех конов как не бывало. Зашевелилось и загудело племя покойничье, зачесалась буйная головушка у Никиты Вдовинича; а петухи как тут: кукареку! Никита глядь — все по-прежнему: мертвецов не стало, огоньки потухли, могилы заровнялись, а перед ним опять бабок несметная сила. Никита убрал их в свою старую похоронку, под часовню; а сам был таков: прибежал домой, залез на полати и давай отхراпывать, инда бревенчатые переборы задрожали.

Вот наступила и третья ночь. Никита наш соколом полетел к погосту, и уж ему невтерпеж лежать на могиле: так ему слюбилось обыгрывать покойников. «Есть же простяки на том свете! — смекал он про себя. — Да мне их обыграть как пить дать...» Не успел он додумать своей думы про покойников и их простоту, как вдруг, вместо тихого полуночного ветерка, взвыла буря, закрутился вихорь, и пошел дым коромыслом по кладбищу. Благо, что на Никите не было шапки, да и не важивалось; а то бы ее занесло за тридевять земель; чуть и головы-то с него не сорвало. Огоньки лениво выпархивали из могил, и те такие тусклые, что чуть брезжились. Трескотня да возня поднялись по кладбищу, что хоть святых вон неси. Все мертвецы вскакивали как опаренные, встрепывались и бегом бежали на поляну, облизываясь, как кот перед куском мяса. Словно нехотя поднялся вдовиничев батюшка, Авдей Федулович, и повел такую речь с сынком своим: «Сын мой любезный, дитя мое милое! наши честные покойники на тебя зубы вострят и губы раз-

минают, за то что ты в бабках с них спесь посбил. Смотри же, дитятко мое желанное! не положи охулки на руку. В эту ночь, а особливо за последним коном, будут тебе всякие помехи и страсти; только ты скрепись и не бойся: гляди зорко, бей метко и старайся пуще всего снять на последнем кону черную бабку; в ней-то вся сила. Кто этой бабкой завладеет, тот чего ни похочет — мигом все у него уродится; надо только знать, как с нею водиться. Коли ты эту бабку сшибешь да к рукам приберешь, так тебе стоит только ударить ею о земь да приговаривать: «Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года, теперь послужи мне, доброму молодцу», а затем и примолвить, чего ты от ней добыть хочешь; вот оно и явится перед тобой как лист перед травой. Да смотри, береги эту бабку пуще своего глаза: у тебя будут ее выручать всякими хитростями, только ты не давайся в обман». — Тут Авдей Федулович взял сына за руку и повел на поляну. Загула вся ватага мертвецкая, что пчелы в улье: «Давай его, давай!» — а наш Вдовинич и ухом не ведет; набрал бабок, поставил на кон и начал пощелкивать. Только теперь было не по-прежнему: то гром прогремит, то дождь зашумит, то свист пробежит; огоньки чуть брезжутся и все тусклее да тусклее; а на Вдовинича выпустили игроков что ни самых удалцов. Никита все-таки не унывал; он прищуривался то с правого глаза, то с левого, приглядывался и прицеливался — и сбил два кона дочиста. За третьим стало еще хуже: поднялась метель; ветер так и рвал, и крутил, и сдувал огоньки на сторону; свету не было и настолько, чтобы доброму человеку ложку мимо рта не пронести, а снег хлопьями так глаза и залепливал. Никита взял догадку: он левою рукою сделал себе кровельку над глазами, выглядывал, высматривал — и заприметил на кону черную бабку, к самому левому краю. Давай в нее бить: раз, два... а буря-то пуще злится, а гром так и трещит, что словно небо расседается, а молния так и сверкает сзади и с боков, и сманивает глаз на сторону, чтобы смигнул, а снег так и застилает глаза... Это еще цветики, а ягодки будут впереди. Два раза промахнулся наш Вдовинич: приладился совсем, ему бы только ударить; ан тут гром и грянет, а молния да снег так и заслепят его очи ясные. За третьим разом



показались ему разные страхи: то змеи Горынычи, то Полканы-богатыри с казачьими усами и конскими хвостами, то Чуда-Юда, железные зубы, то лешие, то водяные... ну, в добрый час молвить, в худой промолчать — вся нечисть подземная, вся тьма кромешная. Никита оторвал клок рукава, расщипал и заткнул себе по охлопку в оба уха, правый глаз зажал, левую руку свернул в трубку и приставил к левому глазу, чтоб ему не слышать никакого шума и не видеть ничего, кроме черной бабки. Тут он начал причитать в уме-разуме все посты и все заговенья, среды и пятницы, понедельники и честные сочельники, а родительскую субботу помянул чуть не трижды; навел на черную бабку глаз с левою рукою, приладился правою, замахнулся, хватъ — и вдруг что-то хряснуло, инда нашему Вдовиничу небо с овчинку показалось. Он со всех ног бросился к кону: глядит, а перед ним черная бабка лежит, сбитая его метким молодецким ударом. Он за нее — и схватил в обе руки; а мертвецы к нему сыпнули всю гурьбою, а петухи как тут: кукареку! — и не стало ни мертвецов, ни огоньков, заровнялись могилы, и на погосте наступила тишь, да гладь, да божья благодать. Никита Вдовинич зажал черную бабку у себя под мышкой, остальные пометал в свое упрятнице под часовней, поклонился еще однажды батюшкиной могилке, пришел домой и улегся на полатях. «Теперь, — смекал он, — вольно мне спать вплоть до вечера; а захочу поесть, так найду кусок полакомее да посытнее матушкиных ленивых щей, где крупинка за крупинкой не угоняется. Они уж и так мне бока промыли!»

Никита Вдовинич был крепок на слово: он спал богатырским сном вплоть до вечера. Матушка его, Улита Минеевна, не будила его и к обеду: намаялся-де, сердечушко, на стороже, третью ночку не спал. В сумерки Вдовинич проснулся, встал, встрепенулся, умылся, богу помолился и опрометью вон из избы пустился; прибежал на огород, ударил бабкой о землю и приговаривал: «Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года; теперь послужи мне, доброму молодцу: дай мне с начинкой пирог в сажень длиной, да в охват толщиной.» Не успел он глазом смигнуть, а уж перед ним лежал пирог в сажень длиной и в охват толщиной. «Ладно! — молвил Никита. — Де-

ло-то так, да сладить-то как?» Пытался он разломить пирог, так не под силу, а целиком донести до избы — и того пуще. Думал-думал наш Вдовинич и вздумал: отыскал под навесом старые дровнишки, прикатил их в огород; опять беда: как поднять пирог на дровни? «Эх ты, моя нечесанная башка! не разумна, хоть и велика! — вскрикнул Вдовинич, схватя свою буйную голову за кудри кольчатые и встряхнув их, как злая мачеха своего пасынка. — Ну что я стал в пень? Велико диво, как пирог снести! Вот побольше того, коли одному его съесть». Тут он, не разгадывая и не откладывая, ударил черной бабкою о землю, протвердил как зады свой заученный наговор: «Бабка, бабка, черная лодыжка!» — и примолвил: «Взвали мне пирог на дровни». Пирог очутился на дровнях, а Никита впрягся в оглобли и ну тащить изо всех жил, да не тут-то было! тпру не едет и ну не везет. Опять принялся он за черную бабку: «Помоги-де мне пирог в избу привезти», и дровни покатались сами собой; Никита чуть успевал бежать, чтобы они ему в сугорбок пинков не надавали. Прикатились к дверям, а двери-то узеньки да низеньки; только ведь у нас не по-вашему, хоть тресни, а полезай: двери расступились, дровни вкатились и свалили пирог на дубовый стол, а сами тем же следом назад, на попятный двор, под навес, — и опять все стало по-старому, по-бывалому. И возговорил Никита Вдовинич своей матушке, Улите Минеевне: «Вот тебе, государыня матушка, гостинец от гостей торговых; кушай себе на здоровье». Улита Минеевна, увидя пирог, от радости руками всплеснула и голосом взвыла, словно покойницу свекровь хоронила. «Ах они мои батюшки, купчики-голубчики! потешили меня, вдову горемычную! Пошли им, господи, втрое того за их добродетель». Тотчас взяли топор, разрубили пирог на куски и принялись вдвоем уписывать; куда! и сотой доли съесть не могли. Никита наелся так, что инда пить ему захотелось. Вот он выбежал в присенок, ударил бабкой о землю и сказал: «Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года, теперь послужи мне, доброму молодцу: дай мне браги ушат, чтобы стало со днем на неделю, пусть в него красный ковш и поставь здесь в уголку». Махом проявился в углу ушат браги, полнехонек и с краями ровнехонек,

а посередине плавал гоголем красный ковшик. Опять Никита сказал своей матушке, что это купцы дали ему за добрую сторожу, и Улита Минеевна так обрадовалась, что всех купцов чухломских чуть заживо в угодники не причла. «А куда же ты, мое дитяtko, девал свои новые рукавицы да гривну денег? — спросила она у Никиты. — Аль потерял да потратил?» — «Нет, государыня матушка, не потерял, не потратил, а в теплое местечко попрятал». Тут он опять выскочил в присенок и хватил бабкой о зель: «Чтобы, дескать, уродились мне рукавицы новые строченые да денег семь алтын с деньгой». Все это поспело как за ухом почесать. Рукавицы новые строченые, на них коймы золотые тисненые, сами наделись на руки, а семь алтын с деньгой, в цветной калите шелку шемаханского, висели у Вдовинича за поясом. Опять матушка его, вдова горемычная Улита Минеевна, диву дивовалась и дарила любовалась, да молила Бога за своего сына ненаглядного, который сам теперь стал ей кормильцем.

На другой день Улита Минеевна пошла звать старушонок-соседок да кумушек-голубушек попировать даровыми пирогом да брагой; а они, дело домышленное, лакомы на то, что не на свой грош куплено: пили, ели, чуть не лопнули, а все еще пирога да браги осталось на добрую неделю.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Наш Никита Вдовинич, черной бабкой о зель постукивая да того-другого, прочего попрашивая, как сыр в масле катался и рос не по дням, по часам. Прошло семь лет с походом, и он стал таким молодцом врачным да ражим, что все на него заглядывались: лицо кругло и полно, что светел месяц, бело и румяно, что твое наливное яблочко; а сила у него проявилась такая, что с одного щелчка между рог быка убивал. Двор у него был как город, изба как терем, и в ней всякой рухляди да богатства, что и в три года не счесть. Матушка его Улита Минеевна в одну ночь охнула, воздохнула, да и ножки протянула, обкушавшись на именинах своего детища возлюбленного яств сахарных да опившись меду сладкого. И стал наш Никита Вдовинич сам себе старшим, сам себе хозяином, и вошел он в честь и славу великую, в те поры как Пошехонье поднялось войною на Чухлому. А той войне была такова вина: чухломский богатырь Куроцап Калинич

напоил на молодецком разгулье пошехонского богатыря Анику Шибайловича сонным зельем да обрил ему половину головы, половину бороды и вытравил его заповедные луга своими конями богатырскими; вот и взорвало это пошехонцев, и вздумали они отсмеять насмешку чухломцам. Зашумела рать-сила несметная, началась битва кочережная, поднялась стрельба веретенная, наступили на твердыни крепкие, на жернова мукомольные. И взмолились чухломцы всею громадой Никите Вдовиничу, чтобы вступился за своих земляков-однокашников. Никита Вдовинич все дело разом порешил: как выехал он на борзом коне в полстаном колпаке да крикнул-гаркнул молодецким голосом, богатырским покриком на сильных могучих пошехонских витязей, Анику Шибайловича да Шелапая Селифонтьевича: «Что вы, мелкие сошки, сюда носы показали? много ли вас и на одну руку мне? Куда вы годитесь? вас бы только спаровать да черту подаровать!» Аника Шибайлович да Шелапай Селифонтьевич прогневались на такие речи обидные и бросились с двух сторон на Никиту Вдовинича; только он был не промах: одного взял за ус, другого за бороду и подбросил их выше лесу стоячего, ниже облака ходячего. Тут пошехонцы оробели, дрогнули, побежали и давай прятаться: кто в гору, кто в нору, а иные, поджав хвосты, в часты кусты.

В те поры жила-была в Чухломе дочь купецкая Макрида Макарьевна, красота ненаглядная; жила она в неге и в холе, в девичьем раздолье, пока батюшка ее не проторговался дочиста. Добрые молодцы по дням не едали и по ночам не сыпали, заглядевшись на ее очи соколиныя, на ее уста кармазинныя; красные девицы завидовали ее русой косе, девичьей красе да ее парчевым шубейкам и золотым повязкам; а старые старухи поговаривали, что она спесива, причудлива и своеобычлива,— в пологу спать не ляжет, в терему шить не сядет: в пологу-де спать душно, в терему шить скучно. Полюбилась нашему Никите Вдовиничу дочь купецкая Макрида Макарьевна, красота ненаглядная, заслал он свах к ее батюшке, и те свахи наговаривали столько добра о Никите Вдовиниче, а пуще о его житье-бытье и богатестве, что отец и мать Макриды Макарьевны, да и сама невеста, рады-радешеньки были такому жениху. Никите Вдовиничу не пиво варить, не меды сла-

стить: все мигом уродилось; так веселым пирком да и за свадебку. Вдовинич задал пир на весь мир; а после стал жить да поживать со своею молодой женой Макридою Макарьевной, красотой ненаглядною.

Скорая женитьба — видимый рок: наш Никита Вдовинич женился как на льду обломился. Солона пришла ему жена, красавица ненаглядная; ни днем, ни ночью покоя не знай, все ей угождай. Уж ей ли не было неги и во всем потехи! да правда, что прихотливой и сварливой бабе сам черт не брат. Никита Вдовинич, сказать не солгать, из рук не выпускал черной бабки; извелся совсем, швыряя ее о землю на женины прихоти. Все было не по Макриде Макарьевне: то дом тесен — ставь хоромы; то углы не красны — завесь их коврами узорчатыми; то посуда не люба — подавай золотую да серебряную; то наряды не к лицу — подавай парчи золотые да камки дорогие. А даровал им бог детище желанное, сына Иванушку, — так чтобы колыбель была диковинная, столбы точеные, на них маковки позолоченные. Ну не то, так другое; а бедному Вдовиничу не было ни льготы, ни покоя.

Так бился он с годом трижды три года; не раз заносил он черную бабку, чтобы стукнуть о землю да и сказать: «Бабка, бабка, черная лодыжка! унеси ты мою женушку в тартарары, во тьму кромешную, чертям на беду, сатане на мученье», да всякий раз у него руки опускались и язык прилипал: жаль ему было жены, красавицы ненаглядной, хотя она и мучила его с утра до вечера; а пуще жаль ему было детища желанного, сына Иванушки, чтоб он в сиротстве не натерпелся горя. Правду молвить, и сынок Иванушка пошел по батюшке да по дедушке: на дело не горазд, а все бы ему гули да гули, все бы ему рыскать по улице да играть в бабки с соседними ребятишками.

Вот под конец Никита Вдовинич совсем из сил выбился от причуд и свар жениных. Вышел он на широкий двор, ударил бабкой о сыру землю и приговаривал: «Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года; теперь послужи мне, доброму молодцу: чтоб у жены моей были полны ларцы золота и полны лари серебра; пусть ее тратит на что пожелает, только моего века не заедает. А мне чтоб было ровно на семь лет зелена вина да меду пьяного, запи-

вать мое горе тяжкое!» Сказано и сделано. Макрида Макарьевна почала без счету сыпать серебро и золото на свои затеи женские; а Никита Вдовинич с утра до вечера у себя в светлице посиживал, да хмельное потягивал и втянулся так, что у него лицо раздулось как волынка, глаза стали красны, как у вора, и от него разило сивухой, как из винной бочки. Ведомо и знаемо, что русский человек напивается от двух причин: на радости да с горя; а есть у нас добрые люди, у которых что день — то радость, что день — то горе, либо день при дне радость и горе с перемежкой. У Никиты же Вдовинича было все горе, да горе, да при горе горе. Ни о чем он не хлопотал, не заботился, на все смотрел спустя рукава. И то сказать, у горького пьяницы одна заботушка: напиться да выспаться, а после опохмелиться, чтобы снова напиться.

Женушка его венаглядная, Макрида Макарьевна, тою порою творила свою волю и не думала о своем сожителе, а так про себя смекала: «Пусть его с пьянства околеет; мне же руки развяжет». Детищу его желанному, сынку Иванушке, исполнилось двенадцать годков и пошел тринадцатый; он по-прежнему не знал себе иного дела, кроме того чтоб воробьев поддирать да в бабки играть. И нашел он однажды в батюшкиной светлице под лавкой черную бабку, которую Никита Вдовинич спьяна обронил, да и не слохватился: ведь пьяный свечи не поставит, а разве дюжину повалит. Иванушка рад был своей находке, побежал играть с соседними ребятишками и все, что на кону ни стояло, как рукой подгробал.

Спустя малое время проявился в Чухломе черненький мальчик. Он был черен как жук, лукав как паук, а сказывался Четом-Нечетом, бобылем безродным. Такого доки в бабки играть еще и не видывали: всех ребят дочиста обобрал. Вот и взяла Иванушку зависть: «Что-де за выскочка, что всех обыгрывает? Посмотрю, как-то он потянется против моей черной бабки!» И схватились они играть вдвоем, рука на руку. Черненький мальчик, Чет-Нечет, бобыль безродный, сперва проиграл Иванушке кона два-три; а после вынул красную бабку с золотой насечкой, так хорошо изукрашену, что, как свет стоит, такой бабки еще и во сне не видывали и слыхом о ней не слыживали. Красная бабка как стекло лоснится, ярким цветом в глаза ме-

чется, золотою насечкою как жар горит и всякого на себя поглядеть манит; а черненький мальчик, Чет-Нечет, бобыль безродный, Иванушку ею призаривает и такие речи заговаривает: «Ну-ка ты, Иванушка, буйная головушка, синяя шапка! посмотри, какова моя красная бабка? уж не твоей черной чета! Выиграй-ка ее у меня, так будешь молодец и на все удалец; а не выиграешь — будешь мерзлый баран, обгорелый чурбан. Лих тебе не видать ее, как ушей своих!» Иванушка озлился, чуть бобылю в черные кудри не вцепился и так на него забранился: «Ах ты, смоляная рожа, цыганское отродье, материн сын, отцов пасынок! Тебе ль со мной тягаться? я так тебя облуплю, что станут и куры смеяться». — «Ну, что будет, то будет, — молвил вполсмеха черненький мальчик, — ставь черную бабку, а я поставлю свою красную, да и померяемся, кому первому бить». — «Изволь, коли тебе не жаль своей красной бабки!» — отвечал Иванушка. Только он не в пору расхвастался. Поставили бабки, черную да красную, стали меряться на палочке — верх остался за черненьким мальчиком. Чет-Нечет, бобыль безродный, приладил, хватить — и снес обе бабки. «Моя!» — крикнул он таким голосом, что в ушах задребезжало, кинулся вперед, схватил черную — и мигом не стало ни его, ни черной, ни красной бабки. Иванушка с горя побрел домой; смотрит: отцовских хором как не бывало, а наместо их стоит лачужка, чуть углы держатся, и от ветра пошатывается. Матушка его Макрида Макарьевна сидит да плачет, голосом воеет, жалобно причитает, уж не в золотой парче, не в дорогой камке, а просто-запросто в крестьянском сарафане; батюшка лежит пьяный под лавкою в смуром кафтане. Оглянулся Иванушка на себя — и на нем лохмотье да лапти! Не знал он, не ведал, отчего такая злая доля приключилась? а вся беда неминуемая приключилась оттого, что он проиграл заветную черную бабку, а выиграл ее чертенок, который подослан был старшими чертями да проклятыми колдунами и сказывался Четом-Нечетом, бобылем безродным. Так-то от лукавого сатаны, да от сумбурщицы жены, да от сынка дурака, да от своего хмеля беспутного, беспросыпного Никита Вдовинич потерял все: и счастье, и богатство, и людской почет, да и сам кончил свой живот, ни дать ни взять, как его батюшка, в кабаке под лавкой. Макрида Макарьевна

чуть сама на себя руки не наложила и с горя да с бедности исчахла да изныла; а сынок их Иванушка пошел по миру с котомкой за то, что в пору да вовремя не набрался ума-разума.

Вот вам сказка долгенька, а к ней присловье коротенько: избежи боже от злой жены, нерассудливой и причудливой, от пьянства и буянства, от глупых детей и от демонских сетей. Всяк эту сказку читай, смекай да себе на ус мотай.

## СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ УКРОМЕ-ТАБУНЩИКЕ

*Картина из русских народных сказок*

— Есть ли у нас на Руси богатырь, кто бы вышел силой со мною померяться и на булатных мечях переведаться?

Так перед ратью половецкою кричал великан Баклан-богатырь. А у того Баклана голова была, что пивной котел; брови, что щетина; борода, что камыш: ветер в нее дунет — инда свист пробежит. В руке у него был меч-кладенец, такой широкий, что на нем хоть блины пеки; а всех его доспехов ратных, когда он их снимал с себя и складывал на телегу, три пары волов и с места не могли тронуть.

— Что же, или нет бойца со мною переведаться? — крикнул-гаркнул Баклан-богатырь громче прежнего. Все князья и воеводы и храбрые могучие витязи приумолкли и дух притаили: все знали нечеловечью силу Бакланову и слышали про него молву, что он-де одним пальцем до смерти быка пришибает. Вот и выискался из обоза Укрома-табунщик, стал перед князьями и воеводами и повел к ним слово: «Государи князья и воеводы! не велите казнить, а дозвоьте мне речь говорить. В прежние годы бывалые важивалась и у меня силишка: случалось, медведишка ли, другой ли косматый зверь повстречается — мне его сломать, как за ухом почесать. Благословите, государи князья и воеводы, и на этого дикого зверя руку поднять». Вот князья и воеводы и сильные могучие витязи пожали плечами и ответили Укроме-табунщику, что если он на белом свете нажился и богу во грехах своих покаялся, то они ему на вольную смерть идти не мешают. И по-



шел Укрома-табунщик на великана; Баклан же богатырь только его завидел — и засмеялся молодецким хохотом, инда у воевод и витязей в ушах затрещало: «Что-де это за бойца на меня высылаете? мне таких полдюжины и под одну пятю мало!» — «Не чванься, бритая башка половецкая,— молвил ему Укрома-табунщик.— Добрые люди говорят: не сбил — не хвались. Хочешь ли со мною переведаваться рука на руку? так вот кинь свое посечище: у моего батюшки много такого лому, только им у нас не храбрые витязи дерутся, а на ночь ворота запирают». — «Будь по-твоему», — отвечал Баклан-богатырь и бросил свой меч-кладенец на сыру землю. «А это что на тебе? — сказал ему Укрома.— У моего батюшки из такого чугунного черепа собак кормят, а не храбрых витязей в него наряжают». — «И это сниму, когда тебе не любо», — со смехом промолвил Баклан-богатырь и снял с себя высокбулатный шелом. «А это что на тебе? — опять ему говорил Укрома.— У моего батюшки малые дети в такие сетки мелких пташек ловят, а не храбрых витязей в них наряжают». — «Пожалуй, и это сниму, коли ты боишься запутаться, как синица», — с тем же смехом отвечал великан и скинул с себя стальную кольчугу переборчатую. Так Укрома-табунщик расценил на великане все доспехи ратные: не оставил ни щита, ни рукавиц, ни поножей, ни поручей железных, все было им на смех поднято; а Баклан-богатырь снимал с себя доспех за доспехом и все смеялся злым хохотом, смекая себе на уме: «Я-де и без этого раздавлю тебя, как мышку!» Вот и крикнули-гаркнули оба бойца и бросились друг на друга, словно два дикие зверя. Великан схватил Укрому в охапку, сжал его и хотел задушить; только Укрома был крепок, словно мельничный жернов: как ни бился с ним великан, у него ребра не подавались; наш табунщик только пыхтел да пожимался. Сам же он впился в Баклана, как паук, уцепился за него обеими руками под мышку, запустил пальцы, рванул и выхватил два куска мяса. Великан заревел от боли как бешеный и руки опустил, а Укрома стал на ноги, как ни в чем не бывал, и, не дав великану опомниться и с силою справиться, схватил его за обе ноги, тряхнул и повалил, как овсяный сноп. Вся дружина православная вскрикнула от радости, а рать-сила половецкая завопила, словно душа с телом разлучила-

ся. Укрома-табунщик дослужил свою службу князьям и воеводам; он схватил великанов меч-кладенец и одним махом отсек Баклану-богатырю буйную голову. Тогда рать-сила басурманская дрогнула и побежала с поля, инда земля застонала; а русские князья и воеводы три дня пировали на месте побоища, честили да выхваляли Укрому-табунщика, снарядили его доспехами богатырскими и нарекли сильным могучим витязем Укромою, русских сердец потехою, а половецких угрозою.

## В ПОЛЕ СЪЕЗЖАЮТСЯ, РОДОМ НЕ СЧИТАЮТСЯ

Жил-был на святой Руси близ каменной Москвы мужичок богатенок, а норовом крутенок, звали его Сидором Пахомовым; а у того Сидора был работник Елеся, ходил губы развесья. Люди крещенные толковали, что Елеся был простоват; красные девушки над ним подсмеивались, и прослыл он по всему миру сельскому дурачком бессчетным. Вот однажды сбежали у хозяина его со двора кони, и послал он Елесю тех коней перенять и во двор пригнать. Вышел Елеся за село чуть на дворе рассвело, еще и красное солнышко не взошло; и видит Елеся: пасется за селом на выгоне клячонка попа Ерофея. И взмолвил Елеся: «Не прогневайся, поп Ероха, пешком идти доброму молодцу плохо: за борзыми конями не угоняешься, а только упреешь да умаешься». И взнуздal Елеся попову клячонку, сел на нее, едет да погоняет, да песенки попевает; и выехал он на чистое поле, на широкое раздолье; трюх да трюх, скачет на волю божью куда глаза глядят. Взял он из дому пук веревок, чтобы стреножить хозяйских коней, коли отыщет; и те веревки повесил он себе на шею, топор заткнул за пояс, а косу перекинул через плечо. И вот едет, да погоняет, да песенки попевает; и наехал он на такое место, откуда три дороги разбегались в три разные стороны: одна шла направо, другая налево, а третья посредине. И взяло раздумье доброго молодца: по какой путь-дороге ему

пуститься? Думал, думал — пустился по средней; едет, да погоняет, да песенки попевает. Вот навстречу ему скачет и пылит, инда небо коптит басурман Калга Татарской; крикнул-гаркнул молодецким покриком: «Прочь с дороги, мужичишка серый! не то — у меня коротка расправа: хвачу тебя слева да справа, так и дух вон, и башка долой». И возговорил ему Елеся: «В поле съезжаются, родом не считаются. Коли ты богатырь, а не мыльный пузырь, так выходи со мной переvedаться и силами померяться». И крикнул-гаркнул басурман Калга Татарской: «Ох ты серый мужичишка, глупый твой умишка! Когда такие дива бывали, чтоб крестьяне богатырей на бой вызывали? Да я тебя и саблей не уважу, одной нагайкой слажу». А Елеся ему на то ответил: «Ах ты неразумная бритая башка татарская! Идти на рать — не песню орать: хвались тогда, как сможешь; а бог даст, и сам буйную голову положишь». И взбесился сердитый Калга-богатырь, бровью моргнул, усом шевельнул и саблей взмахнул; а Елеся перекрестился, с клячки на землю спустился, к басурману подскочил, косою по шее хватил, словно былинку скосил; и пал богатырь Калга на сыру землю как овсяный сноп, а Елеся его как липку облупил и белое его тело под кустом схоронил; сам в басурманово платье оделся и на борзом Калгином коне уселся; едет да погоняет, да песенки попевает. И видит: среди поля раскинуты шатры мурзовецкие и в тех шатрах рать-сила великая, а вокруг шатров падутся коней табуны несметные. И крикнул-гаркнул Елеся молодецким покриком на всю рать-силу басурманскую: «Гой-еси вы, татаре ордынские! Я ваш воевода Калга-богатырь. Чтобы мигом-летом готово мне было что ни лучших коней три дюжины, со всею сбруей золоченою; а гнали бы их за мною два татарина в смирном платье, без доспехов богатырских». Вот поехал Елеся впереди, а татаре позади коней за ним гонят и перед ним буйные головы клонят. И привел их Елеся в свое село, в ту пору как мир крещеный шел от службы божией; и кликнул Елеся знакомых крестьян, своим именем сказался и честным крестом ограждался; и по его слову крестьяне тех двоих татар схватили, связали да в темный погреб посадили. А из добытых копей подарил Елеся тройку своему прежнему хозяину Сидору Паховому, да пару попу Ерофею; осталь-

ных же и со всей сбруей продал в каменной Москве и на те деньги стал жить да поживать, худо сбывать, да добро наживать.

## АЛКИД В КОЛЫБЕЛИ

Прекрасный младенец Алкмены лежал в колыбели. Бодрый, крепкий, спокойный — он уже показывал в себе будущего героя. Все детские движения его запечатлены были силою; в самом крике его было нечто повелительное.

Но вот: шипя и извиваясь, два ужасные змия ползут в колыбель его; вот уже кровавые, пересохшие пасти их зияют, чую верную добычу. Уже они обвились кольцами вокруг тела младенцева: еще миг — и юные кости его затрещат в их убийственных извивах. Но младенец привстал, мощными руками сжал обоих змиев, разорвал их и подбросил к горнему Олимпу, как бы посмеиваясь завистливой Юноне, с наслаждением взиравшей на чаемую гибель дитяти, ей ненавистного.

Таков был Алкид в колыбели! Уже в нем виден был грядущий сокрушитель гидры Лернейской и Льва Немейского, победитель разбойника Какуса и смиритель адского пса Цербера.

Отечество мое! Россия! твою судьбу предрекала сия замысловатая басня древности. Еще в колыбели ты растерзало змиев злобы и зависти; мощными руками разорвало тяжкие, удушающие кольца оков Ордынских... Кто ныне в тебе не узнает Алкида возмужалого? И Лев смирен тобою, и многозевный Цербер — гордый владыка, мечтавший покорить весь мир — пал под твоими ударами, и толпы какусов разноплеменных исчезли от руки твоей, и гидра крамол стоглавая издыхает под твоею пятою.

Не останавливайся на распутии, подобно Алкиду древнему, Отечество мое, Россия прекрасная! иди прямым путем, путем просвещения истинного, гражданственности нешаткой, незыблемой; презирай вой твоих буйных завистников и вознеси чело твое над странами мира как символ искупления, символ благости неба к сынам земли!



La cazzu  
my me me  
Lettu Lob

## ПРИКАЗ С ТОГО СВЕТА

### *Повесть*

Однажды, минувшим летом, провел я день на даче, в нескольких верстах от города. Красивое местоположение, прекрасный сад, с одной стороны взморье и пруды, с другой рощи, холмики и долины: все обещало мне один из тех приятных дней, о которых долго, долго и с удовольствием вспоминаешь. Хозяин — пожилой весельчак, хозяйка — добрая жена, добрая мать и умная, приятная женщина, сын их, молодой человек образованный и скромный, и две милые дочери, расцветшие, как розы, живые, как сама жизнь, умны, как мать их, и веселые, как отец — были притяжательною силой для собиравшегося у них общества. Гостей было немного, всего восемь человек; но этот небольшой круг был так разнообразен, что удовлетворил бы вкусу самого безусталого наблюдателя.

Утро неприметно у нас пролетело. Мы гуляли по садам и окрестностям, катались по заливу и между тем шутили, смеялись и не видели, как время прокралось до обеда. Погода с утра была ясная; но мы еще не успели встать из-за стола, как небо стемнело, тучи набежали и гром начал греметь по сторонам. Спустия немного наступила,

Со всею свитою, как водится, гроза,

и гроза самая шумливая: молнии заблестали со всех сторон, гром на раздолье прокатывался по воздушному пространству; гонимый ветром дождь пролил, как из ведра. Нечего было и думать о вечерней прогулке, потому что небо кругом обложилось густыми слоями туч и обещало воздушную потеху по крайней мере часов на пять. Если бы гостеприимные хозяева и не унимали от души гостей своих, то в такую погоду,

когда, по пословице, и собаку жаль выгнать на двор, — каждый из нас без зазрения совести, конечно бы, сам вызвался остаться.

В доме, к удовольствию одних и крайнему прискорбию других, карт не бывало и в помине, кроме одной старой, исключившейся колоды, которою старушка няня раскладывала *гранд-пасьянс*. Хозяева сами остались в гостиной, и те из гостей, которые любили уснуть после обеда, на этот раз посовестились зевать и дремать. Разговор шел, однако ж, в такт по грозе или, лучше сказать, в промежутках громовых ударов, как в мелодраме между музыкой. Все, особливо молодые девицы, поминутно вставали и подходили к окнам полюбоваться, как молнии разгуливают по тучам и как крупный дождь сечет в стекла. Не было и надежды скоро разделаться с грозой: одна туча сменяла другую, один гром отдалялся, другой заступал его место; за мелким дождем шел другой, посильнее. Таким образом время длилось до вечера.

— Как бы весело теперь стоять на вахте, — сказал один моряк, — особливо, когда паруса все убраны и когда спрятаться можно только под ванты или под грот-бом-брам-брасс.

— Хорошо и пехотному офицеру на походе, — подхватил молодой гвардеец, сын хозяев, — особливо если идешь не по Петергофскому шоссе, а по какой-нибудь проселочной белорусской дороге. Промочит тебя до костей, и ноги уходят в грязь по колено.

— Да, не худо и кавалеристу, — промолвил один улан, покручивая усы свои, — сверху то же, что и вам, господам пехотинцам, а снизу того и жди, что лошадь или увязнет, или поскользнется и отпечатает формы твои в вязкой глине.

— Я помню одну такую грозу, заставшую меня на дороге в Германии, — сказал один неутомимый охотник путешествовать и рассказывать, смотревший в окно и обернувшийся к нам с скромною улыбкою самодовольствия. — Гроза и повесть о духах, которую слышал я вслед за нею, слившись в мыслях моих с развалинами старого замка, который я видел в тот вечер, всю ночь меня тревожили самыми странными и непонятными снами.

— Ах! расскажите нам повесть о духах, — подхватила хозяйка, желая чем-нибудь занять гостей своих.

— Повесть о духах! повесть о духах! — вскричали девицы и за ними все гости почти в один голос.

Путешественник подвинул кресла к круглому столику, за которым сидели дамы, сел, обвел глазами все общество, как будто бы желая измерять на лице каждого слушателя степень внимания, какую он готовил для чудной повести, очистил голос протяжными гм! гм! и начал свой рассказ:

— Лет несколько тому возвращался я из Франции в Россию через Мес, Сарбрюк, Майнц... и так далее. У меня была крепкая, легкая и укладистая коляска, со мною веселый товарищ, француз, отставной капитан наполеоновской службы, ехавший в Россию отведать счастья и употребить в пользу сведения и дарования свои в том звании, которое он называл *л'утшитэль*. Он...— позвольте мне в коротких словах рассказать о нем.— И не дожидаясь согласия или несогласия слушателей, рассказчик мой продолжал:— Он облетал почти всю Европу за наполеоновыми орлами: прошел даже Россию до Москвы, но оттуда насилу унес голову с малыми остатками большой армии. Часто в коляске для прогнания скуки спорил он со мною о минувшем своем идоле и упорно доказывал, что разрежение рядов французской армии было следствием особых соображений наполеоновой стратегии. Со всею французскою самонадежностью уверял он меня, что знает совершенно и свободно изъясняется по-итальянски, по-испански и по-немецки, и, вероятно, только зная, что я русский, не прибавил к тому языка российского. Впрочем, хотя и выговаривал *ико мак и макензи*, но все-таки немного лучше знал язык, нежели те из его земляков, которые в прошлую войну на каждой квартире твердили добрым немцам: *камрад, манжир, бювир, кушир, никт репондир* — и сердились, почему немцы их не поняли. Мой товарищ мог по крайней мере выразить, что ему говорят, а при нужде и сам мог сказать слов несколько... Да не о том дело: чувствую, что я слишком заболтался о своем товарище...»

— Ничего, продолжайте: я все слушаю, хотя, признаться, и не очень понимаю немецкого-то! — сказал очень простодушно один пожилой и добрый провинциал.

Все засмеялись, и путешественник, нимало не сму-



тяться, первый захохотал от всего сердца. Отдохнув после смеха, он начал рассказывать далее:

— Кто переезжает французскую границу и вступает в Германию, тот с первых шагов замечает крайнюю перемену в способе переноситься с места на место и невероятную разницу между почтальонами французскими и немецкими. Первые, в огромных своих ботфортах, иногда в саро сверх куртки, и вообще с не слишком опрятною наружностью, перепрыгают в три минуты, мигом вспрыгивают в стремена, захлопают бичами и пошел хорошею рысью с горки на горку; а если дашь им порядочный *roug boige* \* сверх положенного по почтовой книжке, то понесут тебя на крылышках, точно как русские ямщики. Немецкие почтальоны одеваются чисто, играют на рожках; зато утомительная их флегма и несносный *лангсам* мучат путешественника. С ними, кажется, лопнет терпение и самого труженика. Так, сердясь и бранясь, я и товарищ мой проехали с ними от Гамбурга до Кайзерслаутерна; но ни брань, ни ласки, ни увещания, ни гладкое шоссе, по которому можно бы катиться, как по маслу, ни прибавка *тринк-гельда* — ничто не шевелило закоснелые сердца наших мучителей. Погода стояла прелестная во всю нашу дорогу от Парижа до красного городка Кайзерслаутерна, — красного в самом буквальном смысле, ибо все дома его построены из самородного красного камня; но когда мы оттуда выехали, то заметили, что тучки начинали набегать, и слышали в стороне гром. Как назло еще, лошади попались нам ленивые, а почтальон упрямее обыкновенного. Сколько мы ни толковали с ним — все понапрасну! Он поминутно вставал с седла, заходил то пить пиво, то закуривать трубку, оставался в шинках по четверти часа и более, а чтобы свободнее курить табак, не садился на лошадь, шел пешком подле коляски и на все наши увещания, твердил: *Über der Weg ist sehr schlecht* \*\*, хотя дорога была истинно прекрасная. Лошади, как будто б условясь с ним, шли с ноги на ногу, опустя головы и хлопая ушами, как ослы. Между тем небо мрачилось час от часу более; гром трещал силь-

---

\* На выпивку (фр.).

\*\* Дорога очень плохая (нем.).

нее и сильнее, молнии змейками завивались над нашими головами; а с последней станции начал накрапывать дождь. Он постепенно усиливался, и спустя полчаса зашумел таким же ливнем, как сегодняшний. Нечего было делать! мы хоть и великие любители сельской природы, то есть любители от безделья зевать по сторонам на горы и доли — принуждены были закутаться в коляске, чтобы не промокнуть до последней нитки. Признаюсь, что я радовался этому крупному, частому дождю, потому что он в лице нашего почтальона мстил за нас всей его братье; только жалел я, что это был не тот, который вез нас от Кайзерслаутерна. Однако ж жажда мести проходит, как и все другие страсти, а моя с избытком напоена была дождевыми потоками, текшими со шляпы на спину бедного почтальона. Скоро дождь наскучил мне и начал выводить из терпения моего товарища. «Oh quel climat!»\* — ворчал он, сердясь ни за что ни про что на благословенный климат средней Германии.

Однако ж гроза не унималась, несмотря на заклинания моего француза. Гром как будто спорил с гневными его междометиями и наотрез перерывал длинные периоды, в которых он честил и климат и почтальонов немецких. Наконец устав сердиться и видя, что гром трудно перекричать, француз мой сперва замолчал, потом начал насвистывать *la pipe de tabac*\*\* , потом зевать и потягиваться, а в заключение всего дремать. При каждом ударе грома он вздрагивал, выглядывал полусонными глазами в оконце, ворчал по несколько слов — и снова голова его упала на сафьянную подушку коляски, и снова качалась и свешивалась на грудь, так что нос его чертил дуги и кривые линии на воротнике фрака. Что до меня, я не мог вздремать: частью оттого, что из самолюбия не хотел подражать французу, частью же оттого, что не люблю спать при огне и стуке; а молния светила нам почти без промежутков и гром перерывался только громом; при том же дождь стучал со всех сторон в коляску. Так, сидя и мечтая, чрез несколько часов заметил я, что мы начинали подниматься в гору; я выглянул в окно

---

\* Что за климат (фр.).

\*\* Трубка табаку (фр.).

и увидел, что гора, на которую мы ехали, покрыта густым столетним лесом, а на вершине ее стоит древний, полуразвалившийся замок. Эта вершина выдалась круглым холмом из середины леса, и только узкая, почти заглохшая тропинка вела к замку. Он был огромен: уцелевшие стены с круглыми пробоинами, башни, зубцы и другие вычурные строения средних веков показывали, что он принадлежал какому-нибудь знаменитому владельцу времен рыцарских. Я толкнул моего товарища и указал ему на замок; француз протер глаза, смотрел долго и со вниманием по направлению моего пальца, и кончил свои наблюдения протяжным «tiens!». В это время въезжали мы в местечко Гельнгаузен, лежащее на полугоре и на весьма живописном местоположении. Почтальон наш, видя конец своих страданий, приставил мокрый рожок к мокрым губам и, как лебедь на водах Меандра, изо всей груди заиграл последнюю свою песню; лошади вторили ему ржанием, радуясь близкому своему освобождению от упряжи и отдохновению в уютной конюшне, за кормом. В таком порядке, с музыкой и аккомпанементом, въехали мы в трактир Золотого Солнца.

Ловкий молодой мужчина, с черными усами и загорелым выразительным лицом, в каком-то полувоенном наряде, отпер дверцы нашей коляски и, вслушавшись, что мы говорим по-французски, сказал нам довольно хорошо на этом языке приветствие и приглашение, войти обогреться в трактире. Сходя по измокшей ступеньке, я поскользнулся и чуть было не упал; судите ж о моем удивлении, когда тот же молодой человек чистым русским языком, немного сбивающимся на украинское наречие, спросил у меня: «Вы, сударь, из России?» — «Земляк!» — вскрикнул я, обрадовавшись. — «Нет, сударь, я поляк, из Остроленки, но часто бывал с русскими, был даже в плену и выучился вашему языку». — «Как же сюда зашел?» — «О, сударь! мало ли куда я заходил на своем веку: был и в Италии, и в Испании, и в России; а немецкую землю так измерял, как только может измерять лихой улан на коне своем. Теперь служу гауз-кнехтом в здешнем трактире». Француз мой, подслушав название Испании и Италии и радехонек случаю выказать свое языкознание, начал делать ему вопросы по-итальянски и по-испански; но поляк не запинаясь отвечал ему на обоих

сих языках гораздо чище и правильнее; так что француз принужден был ударить отбой на природном своем языке похвальным словом храбрости и понятливости поляков.

Нас ввели в общую комнату, довольно просторную и очень теплую; двое проезжих сидели там за особым столом и разговаривали вполголоса, а человек шесть жителей местечка, собравшись у большого стола, за огромными кружками пива и с трубками в зубах, спорили между собою и чертили пивом по столу план Люценского дела. В углу молодая, белокуренькая, пригоженькая немочка сидела за рукодельем и по временам нежно взглядывала на статного немчика лет около двадцати пяти, который, облокотясь на ее стул, что-то ей нашептывал. Хозяин, человек лет за пятьдесят, с самым добрым старонемецким лицом, чинно похаживал с трубкою вокруг стола и как будто бы при каждом шаге хотел приподняться поближе к потолку, ибо природа поскупилась дать ему рост, приличный важной его осанке. На нем был наряд особого покроя, который можно назвать средним пропорциональным между халатом и камзолом: рукава преширокие, а полы спускались немного, пониже колен. Эта нового рода туника сшита была из ситцу с большими разводами ярких цветов, каким у нас обиваются мебели, и застегивалась сверху донизу огромными пуговицами. Седоватые волосы нашего трактирщика прикрыты были черным шелковым колпаком. Увидя нас, хозяин подошел и преважно поклонился; мы заняли места и, расположившись провести здесь ночь, потребовали ужин, лучшего вина и особую комнату с двумя постелями.

Неоспоримая истина, что вино веселит человека. За бутылкою доброго гохгеймского согрелось сердце и ожила веселость во мне и в моем товарище. Хозяин, полагая, что мы не простые путешественники, потому что требуем много и, конечно, заплатим хорошо, увидался около нас и раз двадцать величал нас наугад и баронами, и графами, и князьями по мере того, как наши требования на его счет увеличивались. Я должен вам признаться, что принадлежу к числу путешественников *систематических*, то есть тех, которые не проезжают ни одного местечка, ни одной деревушки без того, чтобы не выведасть у первого встречного всей

подноготной о месте его жительства. Знаю, что многие называют это суетным любопытством людей праздных; но вы не поверите, как этим увеличивается и дополняется сумма сведений, собираемых нашим рядом путешественников, о нравах, обычаях, местностях и редкостях проезжаемого края. Так и здесь, то есть в Гельнгаузене, пришла мне благая мысль потребовать другую бутылку гохгеймского, подпойть доброго нашего хозяина и порасспросить его о том, о другом. Он не заставил долго себя упрашивать. Стаканы и разговоры зазвучали, и в полчаса мы так были знакомы, как будто бы вместе взросли и вместе изжили век.

— Позвольте познакомить вас, милостивые государи и знаменитые странствователи, с первостатейными членами здешнего местечка,— сказал наш хозяин; с этою речью встал он и подошел к гостям своим, сидевшим у стола за пивными кружками. Мы пошли вслед за ним, чтобы поближе всмотреться в этих первостатейных членов.

— Вот высокопочтенный и именитый г. пивовар Самуэль Дитрих Нессельзамме,— продолжал трактирщик, указывая на первого из них. Пивовар, небольшой, плотный мужчина, с круглым и красным лицом, с носом, раздувающимся, как кузнечный мех, при каждом дыхании, с плутовскими глазами под навесом густых рыжих бровей и с самою лукавою улыбкою, встал и поклонился нам очень вежливо.

— Прежде всего, любезный сосед,— сказал он трактирщику, улыбнувшись, как змей-искуситель,— позвольте мне от лица общих наших друзей, здесь находящихся, довести до сведения почтенных ваших посетителей, с кем они имеют удовольствие беседовать в особе вашей.

«Начало много обещает»,— подумал я; и взглянув на трактирщика, заметил, что он невольно приосанился, но вдруг, приняв на себя вид какого-то принужденного смирения, отвечал оратору только скромным поклоном.

— Почтенный хозяин здешнего дома,— продолжал хитрый пивовар,— есть г. Иоганн Готлиб Корнелиус Штауф, смиренная отрасль древней фамилии Гогенштауфен.

При сих словах, хозяин наш, казалось, попрос на

целый вершок. Он то потирал себе руки, то под какою-то странною ужимкою хотел затаить улыбку удовольствия, мелькнувшую на лице его, словом, был вне себя. Наконец язык развязался: он, со всею благородною скромностью сельского честолюбца, сказал нам:

— Точно так, милостивые государи! под этою убогою кровлею, в этом, могу сказать, почти рубище видите вы потомка некогда знаменитого рода...— Голос его дрожал, и сколько он ни усиливался, не мог закончить этого красноречивого вступления.

Товарищ мой кусал себе губы и чуть не лопнул от смеха, который готов был вырваться из его груди громким хохотом. Что до меня, то я удержался как нельзя лучше; этакие выходы были для меня не в диковинку; еще в России знал я одного доброго немца, который причитал себя роднею в тридцать седьмом колене князю Рейсу сорок осьмому. Между тем француз мой, пересия смех, спросил у меня на своем языке: что за историческое лицо *Оанстофен* \*, и я в коротких словах дал ему понятие о Георге Гогенштауфене, сколько сам знал о нем из романа Шписова. Хозяин наш в это время, как видно было, искал прерванной в нем сильным волнением чувств нити разговора. Несколько минут смотрел он в землю с самым комическим выражением борьбы между смирением и чванством, к которым примешивался какой-то благоговейный страх. Но чванство взяло верх в душе честолюбивого трактирщика, и он вскричал торжественным голосом:

— Так! предки мои были знамениты: они беседовали с славными монархами и жили в замках. Скажу больше: они только другой линии — были в родстве с великими и сильными земли; а некоторые даже сами... Но что вспоминать о минувшей славе!.. Один из них, — прибавил он вполголоса и робко озираясь, — один из них бывший владелец двадцати замков и теперь в срочное время посещает земное жилище своих потомков...

— Неужели? — сказал я с видом удивления, — и не тот ли замок, что здесь стоит на горе?

— А прогос \*\*, — подхватил мой товарищ, — скажите

---

\* Hohenstauffen по французскому выговору.

\*\* Кстати (фр.).

на милость, высокопочтенный г. Штауф, чей это замок?

— Замок этот, милостивые государи,— отвечал трактирщик,— замок этот принадлежал некогда славному императору Фридриху Барбароссе. Здесь совершались дивные дела и теперь иногда совершаются. Иногда, говорю; потому что срок уже прошел и не скоро придет снова.

Торжественный голос, таинственный вид и сивилинские ответы нашего трактирщика сильно защекотали мое любопытство. Я просил его рассказать о дивных делах замка, потребовал еще несколько бутылок гохгеймского — на всю честную компанию — и сам подсел к кружку добрых приятелей нашего хозяина. Товарищ мой сделал то же. Белокуренькая немочка подвинула свой стул, а статный немчик переставил ее столик с работою поближе к нам.

Во все это время трактирщик как будто бы колебался или собирался с мыслями. Наконец лукавый пивовар решил его.

— Что, любезный сосед,— сказал он,— таить такой случай, который служит к чести и славе вашего рода и сверх того известен здесь целому околотку? Ведь вас от того ни прибудет, ни убудет, когда эти иностранные господа узнают то, что все мы здешние давно знаем.

— Решаюсь! — возгласил трактирщик как бы в припадке вдохновения.— Высокопочтенные и знаменитые слушатели! одного только прошу у вас — снисхождения к слабому моему дару и безмолвного внимания, потому что я как-то всегда спутываюсь, когда у меня перебивают речь.

Все движением голов подали знак согласия; и вот, сколько могу припомнить, красноречивый рассказ скромного нашего трактирщика.

Год и пять месяцев тому назад Эрнст Герман, этот молодой человек (тут он указал на статного немчика), возвратился сюда, окончив курс наук в Гейдельбергском университете. Вы видите дочь мою Минну (тут он указал на белокуренькую немочку): не в похвальбу ей и себе, ум ее и сердце ничем не уступят смазливенькому личику. После матери своей осталась она на моих руках по седьмому году. Я сам старался ее образовать, платил за нее старому школьному учителю, наставлял

ее всем добродетелям, особливо порядку и домоводству; а чтобы познакомить ее с светом и доставить ей приятное развлечение, покупал ей все выходявшие тогда романы Августа Лафонтена. Вы, верно, догадываетесь, в чем вся сила? Герман полюбил Минну, Минна полюбила Германа; оба они не смели открываться друг другу, не только мне или кому бы то ни было; а мне самому, со всею моею догадливостью, и в голову того не приходило. Дело прошлое, а сказать правду, когда старый Кистер, дядя Германа и школьный наш учитель, пришел ко мне сватать Минну за своего племянника, обещаясь уступить ему свое место, меня это взорвало. Как! думал я да, кажется, и говорил в забытье с досады, — дочь моя, Вильгельмина Штауф, отрасль знаменитого рода Гогенштауфен и самая богатая невеста в здешнем местечке, будет женою бедного Эрнста Германа, у которого вся надежда на скудное учительское место его дяди! Короче, я отказал наотрез; выдержал пыл и представления старика Кистера, видел, как Эрнст бродил по улицам, повеся голову, подмечал иногда две-три слезинки на голубых глазах Минны — и оставался непреклонен. Слушал длинные увещания соседа Нессельзамме и поучения нашего пастора о гордости и тщете богатств — и оставался непреклонен. Так прошло несколько месяцев. Минна из румяной и веселой сделалась бледною и грустливою; Эрнст похудел, как испитой, и поглядывал из-под шляпы на наши окна, как полоумный: ничего, думал я, время все сгладит и залечит! Тогда мне и не грезилось, какой конец будет делу.

Между тем по моему расчету приближалось роковое двестилетие, когда тень Гогенштауфена является одному из его потомков для устройства фамильных дел. Сколько мне известно, здесь, поблизости от замка, налицо из всего потомства мужеского пола был только я. Часто говаривал я об этом с соседом Нессельзамме, и всегда меня мучило какое-то темное предчувствие. Сосед всякий раз наводил речь на то, чтобы, какова не мера, если Гогенштауфен на меня обратит свое внимание, выполнить все, чего он потребует, и не раздражать грозного предка отказом или изменением его повелений. Я совершенно соглашался с мнением соседа и с страхом и надеждою ждал призывного часа.

В одну ночь — это было ровно за три дни до извест-



ного вам срока — лег я в постелю раньше обыкновенного, чтоб успокоить волнуемые ожиданием мои чувства. Ночная моя лампада бросала с камина слабый, тусклый свет. Стенные часы пробили полночь; и я, кажется, начинал дремать. Вдруг — я не спал еще; мм. гг., клянусь, что не спал — вдруг дверь в моей комнате тихо и без скрипа сама собою отворилась... Я приподнял голову с подушки... Не вздохнул ли кто из вас, мм. гг.? не шумит ли ветер?.. Меня всегда обдает холодным потом, когда вспомню про тогдашние свои приключения. Однако ж я не трус, мм. гг., я не трус в решительные минуты, и вы скоро это увидите.

Видали ль вы, почтенные мои слушатели, тень отца Гамлетова? Я ее видел в Лейпциге на ярмарке; сосед Нессельзамме тоже видел. Помнишь ли, сосед, сколько раз я с тобою спорил, что мертвецы и тени именно так ходят: ступят одною ногою и после тихо и с расстановкой приволокут к ней другую, как в менуэте? Ты смеялся тогда и не хотел мне верить. Точно так, шаг за шагом, вошел ко мне черный рыцарь, в черных доспехах с черными перьями; из-за черной решетки его шлема торчали курчавые черные бакенбарды, ни дать ни взять как у моего гауз-кнехта, Казимира Жартовского. Да и ростом привидение, кажется, было с него, немного разве пошире в плечах и потолще. В левой руке держало оно огромный черный меч; в правой, которую протягивало ко мне, как телеграф, был сверток пергамента, перевязанный черною лентою и запечатанный черною печатью. Видя, что я не тороплюсь принять от него сверток, привидение уронило его на пол, потом медленно опустило руку свою в черной перчатке, медленно протянуло указательный палец, как будто приказывая, чтоб я поднял это чудное послание. И когда глаза мои, как заколдованные взглядом василиска, следовали за указательным его пальцем и остановились на пергамене, привидение вдруг исчезло и дверь сама собою захлопнулась.

Не скажу, чтоб я сильно испугался, потому что я не кричал и не упал в обморок; однако ж, признаться, мне было жутко: меня то холод пронимал до костей, то бросало в такой жар, что на дыхании моем можно было изжарить фазана; дух захватило и голову не стало. Так провел я без сна и почти в оцепенении всю ночь до самого рассвета. Утром я поуспокоился; тут

вспомнил о пергамене и наклонился, чтобы поднять его; но в глазах у меня двоилось, словно у пьяного: я то не дотягивал руки до свертка, то перетягивал ее через свертки; когда же удалось мне до него дотронуться, то руку мою всякий раз отталкивало, как будто бы я брался за раскаленное железо. Долго я возился с свертком; наконец ухватился за него, и пальцы мои с судорожным движением к нему прильнули. Сбравшись с силой, я сорвал черную ленту и печать, развернул пергамен... в нем было написано красными чернилами и чуть ли не кровью; но долго, долго писанные строки сливались в глазах моих в одни кровавые полосы, а когда начал вглядываться в буквы — они, казалось, перескакивали то вверх, то вниз, то двигались, как живые. Я выпил стакан воды, сел, отдохнул и потом прочел следующее послание, написанное самым старинным почерком, но четкими и крупными буквами:

«Потому моему в двадцать девятом колене, Иоганну Готлибу Корнелиусу Штауфу, из рода Гогенштауфен, я, Георг фон Гогенштауфен, рыцарь и барон, желаю здравия и свидетельствую почтение.

Чрез три дни, в час пополуночи, явись в нагорный замок без проводника и фонаря для получения моих приказаний. Податель сего, бывший мой оруженосец Ганс, будет тебя ожидать у ворот замка и введет куда следует. Пребываю нежно тебя любящий...»

Под этими строками подписано было размашистою рукою: *Георг фон Гогенштауфен*, а внизу письма: «Дано на пути моем в воздушном пространстве, на пределах обитаемого мира». Далее год и число.

Посудите, каков был приказ с того света? Ступай на свидание с мерт... с тенью, хотел я сказать! Но делать было нечего; отказаться нельзя; а если бы я и подумал не выполнить приказа, то кто знает, сколько у грозного моего предка запасных средств, и пожаров, и болезней, и смертных случаев? да когда бы и сам он вздумал навестить меня, то уж бы не пошутил за неявку. Тоска залегла мне на сердце: я бродил, как нераскаянный грешник, уныл и мрачен; отказался от хлеба, а за пиво и брантвейн и взяться не смел. В местечке у нас пошла на мой счет шушуканья: одни говорили, что я обанкротился и что скоро дом и вся рухлядь пойдут у меня с молотка; другие — что у меня на душе страшное

злодейство и что какой-то призрак с пламенными глазами и оскаленными зубами поминутно меня преследует; иные, что я рехнулся ума или по крайней мере у меня белая горячка. Этих мыслей, кажется, была и Минна: она все плакала и грустила, призывала даже доктора; но я его не принял и отправил его баночки и скляночки из окна на мостовую. Так прошло двое суток; наступили роковые третьи. С самого утра заперся я в своей комнате и не пускал к себе ни души; приготовился ко всему, как долг велит доброму и исправному человеку; написал даже духовную, в которой завещал Минне все мое имение и заклинал ее поддерживать честь нашего рода и славу трактира Золотого Солнца. Соседу Нессельзамме отказывал на память мои очки и дюжину доброго рейнвейна, а старому Кистеру бутылку самых лучших голландских чернил. В таких хлопотах я и не заметил, как наступил вечер. Вот тут-то стало мне тяжело! Каждый чик маятника отзывался у меня на сердце, как будто стук гробового молота, а звонкий бой часов слышался мне похоронною музыкой; каждый час налегал мне на грудь, как новый слой могильной земли. Наконец пробило и двенадцать. Все в доме стихло; нигде ни свечки; на мое счастье, месяц взошел и был полон и светел, как щеки соседа Нессельзамме под веселый час. Я начал одеваться в самое лучшее праздничное свое платье, взбил волосы тупеем, перевил косу новою черною лентою и, посмотревшись в зеркало, видел, что могу явиться на поклон к почтенному моему предку в довольно приличном виде. Это меня ободрило. Пробыл и час. Быстро пробежал у меня мороз по жилам, но я не лишился бодрости; пошел к замку и в мыслях приготовлял речь, которую хотел произнести к тени славного Георга фон Гогенштауфена.

Не знаю, что-то подталкивало меня в спину, когда я вышел из местечка; месяц светил так, что можно было искать булавок по тропинке; тени от деревьев и кустов, казалось, протягивали ко мне длинные руки и хотели схватить за полу; совы завывали по рощам и как будто напевали мне на душу все страшное. Я шел, скрепя сердце, стараясь ничего не видеть и не слышать и ощупывая наперед бамбуковую свою тростью каждый шаг по тропинке. Так прибыл я к воротам замка, или лучше сказать, к тому месту, где

они когда-то стояли; там, на груде камней, увидел я обещанного проводника, черного латника; он отсалютовал мне черным мечом и пошел передо мною. Мы вошли в узкие, сырые переходы, освещаемые только слабою лампою, которую нес мой проводник; ноги мои подкашивались и невольно прилипали к помосту, но я их отдергивал и шел далее; мне что-то шептало: «Надейся и страшися!» — и я с полною доверенностью к знаменитому предку переступал шаг за шагом. Мы остановились у одной двери, за которою слышны были многие голоса; черный латник поставил лампу на пол и ударил трижды мечом своим в дверь: она отворилась, мы вошли... и здесь-то я увидел, когда, опомнившись, мог видеть и понимать.

Посередине стоял стол, покрытый черным сукном; за столом на старинных, позолоченных креслах сидел Гогенштауфен в собственном своем виде. Он по наружности казался бодр и свеж, даже дороден; но смертная бледность и что-то могильное, которое как белая пыль осыпалось с его лица, ясно показывали, что это не живой человек, а тень или дух. Волосы на нем были белые и курчавые, как шерсть на шпанском баране; борода длинная и мягкая, как лен; эта борода закрывала ему всю грудь и падала на колена. Только серые глаза его бегали и сверкали, как живые. На нем была белая фланелевая мантия особенного покроя: шлейф от нее лежал далеко по помосту, а полы закрывали все ноги, так что я не мог видеть, какая была обувь у моего предка. Перед ним была раскрыта роковая книга в черном сафьянном переплете, с золотым обрезом и медными скобками. По обе стороны его на помосте что-то пылало в двух больших черных вазах и разливало бледный, синеватый свет и сильный спиртовой запах. Чем далее я всматривался в лицо старого Георга, тем больше находил в чертах его что-то знакомое... и, как хочешь спорь, друг Нессельзамме: а я все-таки не отступаю, что между предком моим и тобою есть какое-то сходство... Не скажу, чтобы большое, потому что вид его гораздо важнее и благороднее; а есть что-то... Недаром во мне всегда было к тебе некоторое непонятное, сверхъестественное влечение...

— Полно, полно! — подхватил пивовар, покусывая себе губы с какою-то принужденною ужимкою, — тебе

так показалось... Ночь, слабое освещение, невольный страх и тревога чувств... словом, тебе так показалось.

— Ну, как тебе угодно, а я все на том стою. Да полно об этом: мы вечно будем спорить и вечно не согласимся, и я по всему вижу, что тебе крайне не любо сходство с выходцем из того света.

Во все то время, как я его рассматривал, старый Гогенштауфен не спускал глаз с своей книги и как будто бы не замечал меня. Должно думать, что он с намерением давал мне досуг оправиться от страха и удивления: ему хотелось, чтоб я с свежою по возможности головою выслушал его слова, мог их обдумать и отвечать порядком. Наконец он поднял глаза с книги, оборотил их ко мне и сказал глухим и протяжным голосом, в котором было что-то нетелесное: «Иоганн Готлиб Корнелиус, потомок заглохшей отрасли рода Гогенштауфен! Я заботился о тебе. Здесь вызывал я из гробов тени минувших потомков моих и спрашивал их совета, как восстановить и прославить твоё поколение. Внемли приговор их и мой: у тебя одна дочь; с нею потомство твоё должно перейти в род посторонний; но род сей должен быть достоин столь блестящего отличия. Я избрал ей супруга, и все потомки одобрили мой выбор. Это — Эрнст Герман. Он, как и ты, отрасль рода славного, кроющаяся в тени безвестности. Родоначальник его древнее всех нас, и есть знаменитый Герман, давший имя свое всем племенам германцев, тот Герман, которого полудикие завоеватели, римляне, своевольно в летописях переименовали Арминием. Не стыдись и не презирай бедности Эрнста Германа: я его усыновил; потомству его через несколько колен предопределены судьбы славные. Обилие и слава будут его уделом, и Золотое Солнце воссияет лучами непомрачаемыми. Прощай! время мне отправиться в путь далекий и устроить жребий других моих потомков. Будь счастлив и успокой дух свой».

Я отдал земной поклон великому моему предку и от полноты чувств не мог сказать ни слова, даже долго не мог приподнять головы; когда же встал, то ни его, ни книги не было; пламя в вазах погасло и надо мною стоял черный латник с своею лампою. Он подал мне знак идти за ним; мы вышли из-под сводов; он остановился на том самом месте, где я нашел его при входе в замок, указал мне дорогу черным мечом своим —

и вдруг мелькнул куда-то, так что я больше его уже не взвидел. Одинок пошел я по тропинке. Голова у меня кружилась, чувства волновались; бессонница, произвольный пост, чудное видение... словом, все это вместе было причиною, что я без памяти упал на половине дороги...

Когда я очнулся, то увидел, что лежу на постеле, в своей комнате. Минна сидела у моего изголовья и плакала; Эрнст Герман стоял передо мною с склянкой лекарства и ложкою; старик Кистер поддерживал мне голову, а доктор наш, Агриппа Граберманн, щупал пульс и смотрел мне в лицо с самою похоронною рожей. Сосед Нессельзамме печально сидел, сложив руки, на моих креслах и о чем-то думал; а Казимир, тоже не с веселым лицом, стоял у дверей, как на часах, и, видно, ждал приказаний. Я оборотился к Минне, улыбнулся, взял ее за руку, сделал знак Эрнсту, чтоб и он подал мне свою руку, сложил их руки вместе и слабо проговорил: «Соединяю и благословляю вас, дети!» — «Это все бред!» — подхватил доктор. «Сам ты бредишь, г. приспешник латинской кухни», — отвечал я ему таким голосом, который всех уверил, что я в полной памяти. Надобно было видеть общую радость! Минна, Эрнст, старик Кистер, сосед Нессельзамме, Казимир Жартовский — все бросились ко мне и задушили было своими поцелуями. Один доктор Граберманн оставался холодным зрителем и упрямо твердил, что я в бреду и что горячка еще не миновалась.

Остальное доскажу вам в коротких словах. Сосед Нессельзамме, вышед рано из дому за каким-то делом, нашел меня без памяти на тропинке, тотчас позвал Казимира и еще двоих соседей и общими силами принесли меня домой. Чтобы не испугать Минну, они положили меня тихонько в моей комнате, потому что второпях я не запер ее перед уходом. Позвали доктора, который заметил во мне признаки горячки и, рад случаю, начал в меня лить свои лекарства. Когда я опомнился, то был уже девятый день моей болезни. После Минна мне рассказывала, что в бреду я беспрестанно твердил о Георге фон Гогенштауфене, о черном латнике, о ней самой, об Эрнсте Германе и, не знаю, по какому странному сметению понятий, о соседе Нессельзамме и Казимире Жартовском. Я скоро оправился от болезни и скоро справил свадьбу Минны с Эрн-

стом Германом, которого принял к себе в дом, как сына и наследника. Вот уже восемь месяцев, как мы живем вместе, счастливы и довольны своим состоянием и благословляем память и попечения о нас великого Георга фон Гогенштауфена.

Трактирщик кончил свой рассказ. Минна и Эрнст Герман взглянули на нас такими глазами, в которых можно было прочесть сомнения их насчет чудной повести и желание знать, как мы ее растолкуем? Но ни я, ни товарищ мой, по данному от меня знаку, не показали на лицах своих ничего, кроме удивления; словом, мы делали вид, что поверили всему сполна. Я заглянул в лицо лукавому пивовару: он очень пристально смотрел на свою трубку и как будто бы глазами провожал вылетающий из нее дым. Гроза утихла, тучи разошлись, луна взошла в полном сиянии, и мы, взяв себе проводником Казимира Жартовского, ходили осматривать замок...

— И теперь гроза утихла,— сказал кто-то из гостей, посмотрев на часы.— Половина одиннадцатого: пора пожелать доброго вечера почтенным нашим хозяевам.

Гости встали с мест и велели подавать свои экипажи.

— А что ж ваши сны, которые так вас тревожили ночью? — спросил у путешественника любопытный провинциал.

— Сны мои были, как и все сны,— отвечал он,— смесь всякой небылицы с тем, что я видел и слышал.

— Что же вам говорил о трактирщиком видении поляк, когда провожал вас к замку?

— Он притворился, будто ничего не знает и всему верит.

В это время слуга вошел сказать, что лошади готовы. Мы простились с хозяевами и разъехались в разные стороны.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Нужно ли отдавать отчет читателям в побуждениях или причинах, заставивших написать какой-либо роман или повесть? Многие большие и малые романисты, люди, без пощады строгие к самим себе и своим читателям, полагают, что это необходимо, и для того пишут длинные предисловия, послесловия и примечания. Чтобы не отстать

от многих, и я хочу здесь в коротких словах сказать по крайней мере о том, что подало мне повод написать помещенную здесь повесть, и о том, сколько в ней правды и неправды.

В 1820 году, проезжая чрез Гельнгаузен, нашел я там в трактире Золотого Солнца объявление, что за 9 гульденов продается в нем: *Замок Фридерика Барбароссы близ Гельнгаузена, исторический роман, в коем выводится на сцену тень Гогенштауфена*. Я тогда же записал это и недавно отыскал сию записку в путевой моей книжке. Замок стоит точно на таком местоположении, какое описано мною в повести. Поляк гауз-кнехт, говорящий по-русски и на разных других языках, есть также лицо невывымышленное. Не знаю, так ли точно честолюбив хозяин трактира Золотого Солнца; но знаю, что общая страсть всех путешественников — прикрашивать свои рассказы: и мой не вовсе свободен от этой страсти.

Что касается до тени Гогенштауфена, то я в отношении к ней не слишком придерживался *исторической истины* Шписовой, а — вижу — выдумал нечто похожее на предание или поверье народное, будто бы насчет ее существующее. Таким образом она не перестает у меня посещать здешний мир, и не в начале каждого столетия, а через двести лет. Оставляю на выбор — верить Шпису, или моему трактирщику.

## ВЫВЕСКА

### *Рассказ путешественника*

Хлоп, хлоп, хлоп! Бич моего почтальона раздался в воздухе и перервал утреннюю мою дремоту, наведенную пасмурною, дождливою погодой и однообразным качаньем коляски по весьма не живописной дороге. Почтальон соскочил с седла, отпер дверцы коляски и, почтительно снимая шляпу, сказал мне: «Милостивый государь! Вы благополучно прибыли в Верден; где вам угодно будет остановиться?»

— Где сам знаешь, друг мой; по мне все равно.

— В таком случае я приму смелость рекомендовать вам трактир на почте. Это лучший в городе: все иностранные принцы, все знатные путешественники в нем останавливаются.

Я кивнул головою в знак согласия; почтальон снова вскочил на седло, бич его снова захлопал и звонко отдавался по узким улицам города. Через несколько минут мы остановились у почтового двора, и хозяин



трактира, вызванный на улицу со своею челядью приветливым стуком бича, подошел ко мне, приподняв свой черный шелковый колпак и, рассыпаясь в учтивостях, просил сделать честь его *заведению*.

Хозяин, сухой, как ученые разыскания некоторых антиквариетов, и бледный, как муза некоторых элегических поэтов, повел меня в общую залу, засыпая на каждом шагу градом вопросов, догадок, предположений и тому подобного; а между тем он находил еще досуг отдавать приказания трактирному слуге, служанке и двум поваренкам. Все это говорил он с необыкновенною скоростью, как бы боясь, чтобы кашель и удушье, которым он был подвержен, не пресекали у него речи. Вот его-то без греха можно было назвать, по поговорке его единоземцев, *словесною мельницей* (*moulin à paroles*): отроду я не видывал такого словоохотного и несносного болтуна и расспросчика, даже и из его братьев трактирщиков.

В первой комнате, за щеголеватую конторку красного дерева с бронзовыми прикрасами, сидела молодая, пригожая девушка с прелестными черными глазами, в которых светился огонь чувства. Она была одета не нарядно, но очень к лицу и так ловко, как только умеет одеться двадцатилетняя француженка. Если бы были еще в моде чувствительные путешествия во вкусе женеваца Верна, то я описал бы вам все складочки ее платья, все сгибы, уголки и наклон ее тока и во всем этом искал бы ключа к душе, склонностям, и привычкам красавицы; но теперь, на беду нам, путешественникам, настает век взыскательной сущности, и от писателя требуют поменьше мечтательности и побольше дела.

— Дочь моя! — сказал трактирщик, оборотясь к пригожей конторщице. — Постарайся, чтобы требования этого господина выполнялись с возможною точностью и поспешностью. Смею спросить, милостивый государь, о вашем достоинстве: вы граф или маркиз?

— Ни то, ни другое, господин хозяин. Я просто русский путешественник, дворянин, если вам нужно это знать, и вот все, что могу вам объявить о себе.

— О, разумею! Вы, господа русские князья, изволите утаивать высокий ваш род по тонкому чувству

снисхождения, чтоб уволить нас, бедных мешчан, от должных вам почестей. Но мы тоже знаем свой долг.

— Я вам сказал о себе сущую правду. Прошу вас не величать меня теми титулами, которых не имею, если не хотите меня огорчить.

— Вижу, что вам угодно соблюдать строгое *инкогнито*. Извольте, пусть будет по-вашему: я тоже умею кстати быть скромным.

Несмотря на это обещание, когда он ввел меня в залу, то по всему видно было, что он готов был спустить с языка какую-нибудь нелепость вроде сказанных им прежде. К счастью, я взглянул на него вовремя, и мой взгляд наложил на него отрицательную скромность.

В зале сидел толстый, рыжеватый англичанин, с багровыми щеками и носом, с лицом, на котором рука покойной г-жи дю-Дефан также легко могла бы обмануться, как и на лице соплеменника его Гиббона. Голова его, за недостатком шеи, покоилась на груди; лучи света скоплялись на величавой его лысине, как будто в фокусе зажигательного стекла. Расставя врозь мясистые свои ноги, укутанные в длинные штiblеты дикого казимира, англичанин преспокойно и безответно выслушивал льстивые приветствия и корыстные предложения малорослого итальянца, бродячего художника, который вертелся и прискакивал около него, как кошка около жирного куска говядины. Рядом с англичанином сидела, и также безмолвно, его сожительница, высокая, сухая, с одним из тех холодных женских лиц, на которые боишься смотреть, чтоб не простудить себе глаза. По всему видно было, что эта чета, которой итальянец так щедро расточал названия: *Signor milordo* и *Signora milorda*\*, — была чета купцов из лондонского City, переехавшая на твердую землю поважничать перед чужеземцами и вымещать на них спесь и презрительные взгляды, какими с избытком и мужа и жену дарили в Лондоне богатые их сограждане. Четвертое лицо из находившихся в зале был француз самой подозрительной наружности. Он похаживал по комнате, поглядывал то на того, то на друго-

---

\* Сеньор милорд... синьора милорда (вместо: миледи; ит.).

го, останавливался, прислушивался и изредка пожимал губами.

Дурная погода производит на меня весьма сильное влияние: она совершенно владеет нравственным моим расположением. То, что в ясный день забавляло бы меня и смешило, в пасмурный и дождливый выводит из терпения. По сему-то и в верденской гостинице все было не по мне, все досадно: и болтливость хозяина, и спесь англичан, и низость итальянца, и приглядыванье и подслушиванье неблагоприятного француза. Это пагубное влияние усилилось даже до того, что красота молодой конторщицы начала мне казаться самою обыкновенною, а скромный ее вид жеманством провинциальной кокетки. Наконец, не в состоянии быв долее сносить сего досадного ощущения, схватил я шляпу и, не сказав никому ни слова, назо по погоде и своему здоровью, пустился бродить по улицам.

Я за правило себе положил в моих путешествиях везде осмотреть, разведать и *отведать*, чем славится какое-либо место. Особливо последнее наблюдал я во всей строгости, и не без причины: в винах, плодах и лакомствах, которые отведывал я на местах, где они рождаются или делаются, — вызнавал я вкус, склонности и досужество жителей и тем распространял круг моих нравственно-экономических наблюдений. И здесь, едва вышел я на улицу, как вспомнил, что Верден славится своими конфетами, известными во Франции под именем *dragèze de Verdun* \*. Нетрудно мне было их отыскать: в редком доме, особливо на главных улицах, не было вывески конфетчика; я заходил к каждому, покупал по целому пакету и все это складывал в огромный боковой карман широкого моего страннического плаща. Нагрузясь таким образом, возвратился я в свой трактир с хорошим запасом для послеобеденного моего десерта в коляске.

Уже я всходил на лестницу, как, оборотясь назад, увидел на другой стороне улицы очень замысловатую вывеску. На ней было намалевано обыкновенное цирюльничье блюдо с такою надписью: «Солнце светит для каждого» («*Le soleil luit pour tout le monde*»). Воображение тотчас сказало мне, что хозяин этой вывески должен быть человек необыкновенный, чело-

---

\* Верденское драже (фр.).

век... человек... словом, другой Фигаро; любопытство подтолкнуло воображение, прибавя, что мне непременно надобно с ним познакомиться. Я остановился на минуту, в раздумье снял шляпу и повел рукою по волосам, после по бороде, нашел, что и те и другая отрасли и что мне нельзя продолжать путешествие в таком виде, если не хочу пугать собою встречных: самая основательная причина зайти к цирюльнику и продлить у него мое заседание! Не будь этой причины — я нашелся бы в великом затруднении: любопытство мое было сильно, и я избаловал в себе эту склонность тем, что всегда слепо выполнял ее прихоти; к тому же, не в похвальбу сказать, я человек совестливый: не люблю даром отнимать у людей время, особливо у художников. В таком борении двух враждующих между собою чувств, не знаю, на что бы я решился: может быть — до чего не доведет обладающая страсть! — может быть, я решился бы вовсе без нужды пустить себе кровь или вырвать зуб, лишь бы только в угоду любопытству познакомиться с цирюльником и выведать его происхождения.

Уже я перескочил через улицу — и в этом должны мне поверить: не только в провинциальных городах Франции, но даже и в самом Париже есть такие улицы, через которые без труда можно перепрыгнуть в один скачок. Короче: я в лавке цирюльника. Ко мне подошел высокий, статный молодой мужчина, с приятным лицом, кудреватыми черными волосами и большими бакенбардами, подравненными волосок к волоску. «В чем нужны вам мои услуги, милостивый государь?» — спросил он; и я без дальних околичностей указал ему на свою бороду и голову.

— А, понимаю, сударь! Вас нужно обрить, остричь, завить и причесать по самой последней моде, не правда ли?

Я мигом сделал свои соображения: все, что предлагал мне цирюльник в своих догадках, взятое вместе, займет его долее и, следовательно, даст мне более времени поразговориться с ним и порасспросить его.

— Правда, друг мой; ты отгадал.

— Ребята! Бастьен, Жано, Блез! — И три мальчика, в белых фартучках и с волосами в бумажках, явились на зов своего хозяина.

— Мигом: горячей воды, бритвенный прибор, ножницы, гребни; чтобы завивальные щипцы были на жару... Я сам буду иметь честь убирать господина.

Покуда мальчики управлялись, я окинул глазом вокруг себя. Комната была убрана очень опрятно и даже с некоторою роскошью: столы, стулья и прочая мебель красного дерева, на окнах чистые кисейные занавески. Большое зеркало висело между двумя окнами; под ним, на столике, разостлана была синяя салфетка с красивыми узорами, а на ней разложены были бритвы в разных футлярах. Другое большое зеркало (*psyché*) стояло у глухой стены, а на другой стороне, у стены же — шкаф со стеклами, задернутыми тафтою; на шкафу лежала гитара. Хозяин стоял предо мною в платье тонкого сукна и довольно новом, с тонким чистым фартуком, который нашел он тайну как-то щеголевато опоясать вокруг тела.

— По всему видно, друг мой, что ты доволен своим состоянием, — сказал я ему.

— Не жалуюсь, сударь: я имею довольно обширную практику. Господин мэр здешнего города никому, кроме меня, не хочет вверить головы и бороды своей; все, кто познатнее и побогаче, также ко мне идут или за мною присылают, не считая молодых и пожилых модниц, которых и здесь, как и во всяком другом городе Франции, можно бы набрать порядочный легион. И вот недавно еще была у меня депутация от отцов иезуитов, чтобы я взял на свое попечение их головы, когда они оснуют свое пребывание в нашем городе.

— Берегись, мой друг, ты возбудишь во мне зависть.

— Ах, сударь! Участь моя точно была бы завидна, если б не вмешались сердечные обстоятельства...

— Ты несчастлив, мой друг, — вскрикнул я, не дав ему кончить, — в твои лета, с твоею наружностью, с твоим талантом — несчастлив в любви... Можно ли это? Кто ж эта жестокая? Расскажи мне печальную твою повесть.

Многие, конечно, подивятся таким восклицаниям; но это с моей стороны был тоже небольшой расчет. Я знал, что ничем нельзя легче растрогать и задобрить француза, как участием и будто бы невольными сказанными приветствиями — и не ошибся. Цирюльник мой приосанился, слегка пощипал себя за бакенбард и сказал:

— Вы напрасно назвали девицу Селину Террье жестокою: скажу вам, что она неравнодушна была к тем небольшим достоинствам, которые вам угодно было во мне найти. Нет, милостивый государь! Возьмите назад свое обвинение! Моя Селина не каменное сердце. Вы ее видели, вы должны были ее видеть; скажите, похожа ли она на жестокую?

— Как! Это?..

— Это дочь старого, удушливого скряги Террье, содержателя гостиницы, что на почте, где верно и вы остановились.

— А, а!.. поздравляю: ты умел выбрать по себе.

— Не правда ли, сударь?.. Скажу вам больше: и повесть моя не так печальна, как вы думаете. В ней есть, конечно, темные пятна, зато есть целые полосы и других цветов, посветлее и повеселее.

— Любопытен бы ее слышать: эта пестрота обещает в ней что-то очень цветистое, и я давно уже предубежден в пользу повествователя.

— О сударь! Вы слишком милостивы, — примолвил он тихим голосом, с скромным, но довольно в себе уверенным видом. — Впрочем, чтоб вам не скучно было сидеть, — слабые мои дарования в рассказе к вашим услугам.

В сердце у меня стало тепло от удовольствия, как у ребенка, которому подарили любимую игрушку; однако ж я по возможности скрыл свою радость, чтобы не подать рассказчику моему подозрения насчет корыстных видов моего прихода. Я отвечал ему простым уверением, что мне приятно будет узнать его жизнь и подвиги. Вот почти слово в слово собственный его рассказ, за исключением только некоторых междометий, когда ему случалось, заговорившись, делать не то, что надобно; и некоторых коротких выходов против его мальчиков, за то что вода не довольно горяча, а щипцы слишком раскалены, и т. п.

Я уроженец здешнего города. Отец мой был парикмахером и в старинные годы славился здесь тем, что с отличною ловкостью и приятностию начесывал голубиные крылышки (*ailles de pigeon*) на головах здешних модников и взбивал огромные шиньоны на величавых челах здешних красавиц. Он считался очень достаточным человеком, имел обширное волосочесальное заве-

дение и мог бы со временем сделаться важным капиталистом; но революция все оборотила вверх дном: парики слетели с голов, пудра рассеялась по воздуху, как дым славы, голубиные крылышки опустились и огромные шиньоны пали на зыбких своих основаниях. Место их заступили не только не чесаные, но еще нарочно всклокоченные головы; целые толпы парикмахеров, за неимением лучшего дела, пошли по миру, в том числе и отец мой разорился. Однако ж, как человек сметливый, он не утопился с горя и не сделался пьяницей от нечего делать; но, припрятав гребенки и завивальные щипцы, из прежних своих принадлежностей оставил при себе один фартук и определился служителем в один славный по тогдашнему времени кофейный дом, носивший не помню какое-то грозное революционное имя. Хозяин этого дома славился своею изобретательностью и тою применчивостью к обстоятельствам, которую в нынешнее насмешливое время называют *флюгерством* (*le girouetisme*): он придавал самые патриотические в тогдашнем смысле названия своим мороженым, питьям и сладостям; от этого дом его был беспрестанно полон, а карман и того полнее. Здесь отец мой умел снова составить себе посильный капиталец из крох и опивок многочисленных посетителей кофейного дома; и как сыну неприлично клеветать на память отца своего, то я не скажу положительно, чтобы как-нибудь, ошибкою, западало иногда к нему в карман что-либо хозяйское. Девушка Флора, молодая конторщица, была крайне дружна с отцом моим, который, сколько я мог судить по остаткам, был детина видный и очень не дурен лицом: мудрено ли, что они вместе вели счет исправно? Хозяин был доволен, они не жаловались, а мне и того меньше причин жаловаться, потому что взаимной их дружбе я обязан бытием моим. Короче: лет через пять отец мой и девушка Флора пришли к хозяину, объявляя, что не могут более служить ему, разочлись с ним, получили сполна выслуженные у него деньги и в тот же день заключили брачный свой союз пред лицом муниципального сословия. Девушка Флора, ставшая г-жею Жак, имела тоже за собою не одно ремесло: еще до вступления своего в кофейный дом она прошла полный курс воспитания в разных модных магазинах и выучилась искусно делать цветы и головные уборы,

шить дамские платья и ...всего не припомнишь. Молодые супруги наняли уютную и опрятную квартиру. Мадам Жак снова принялась за иголки, проволоки, шелка и разноцветные обрезки; мосье Жак снова отыскал свои щипцы и гребенки и начал завивать модные головы *а-ла Титюс*; они прибили над дверьми своей квартиры красивую вывеску, на которой написаны были римляне с курчавыми головами и римлянки в новомодных тюниках и с цветочными уборами в волосах; замысловатая надпись на вывеске: «Aux têtes romaines: Citoyen Jacgues, Coiffeur; et sa femme, fleuriste et marchande de modes \* — еще более придавала цены магазину в понятиях тогдашних патриотов. По этому заманчивому названию магазина, а еще более по новости, модники и модницы налетали роями, и если не мед, то деньги оставляли в нем. Дела моих родителей пошли как нельзя лучше: к довершению их счастья, небо укрепило еще более союз их, послав им меня. Отец мой хотел назвать меня просто Жаком, чтоб увековечить это имя в нашем роду, но мать моя доказала ему, что такие имена были тогда не в моде и что мне должно было дать какое-нибудь громкое имя греческое: отец мой и тут, как и во всем, послушался жены своей — меня назвали Ахиллом.

Не стану вам рассказывать истории первых лет моей жизни и перейду к моему воспитанию. На восьмом году возраста меня отдали в школу, где я многому кое-чему учился; иное понимал и теперь помню, другого не понимал и теперь вовсе не знаю. Но, признаюсь, понятнее всего были для меня романы, которые читывал я украдкой. Они с самых ранних годов показывали мне свет сквозь розовое стеклышко, которое теперь, с прибавкою лет и опытности, хотя отчасти и потускнело, но все еще не изменило прежнего своего цвета. В школе, куда я ходил целые семь лет почти каждый день, обучались также и девушки. Не понимаю, почему многие чужестранцы дивятся ловкости и развязности французов в обхождении с женщинами и той светскости, тому знанию приличий, которые замечаются у нас между людьми почти всякого состояния. Разве эти чужестранцы не знают, что у нас оба

---

\* Римские привычки: гражданин Жак, парикмахер и его супруга, цветочница и модистка (фр.).



пола с молодых лет привыкают быть вместе; что воспитание, игры детства и проч. доставляют нам к тому беспрестанные случаи? От этого мы привыкаем к вежливости в таком еще возрасте, когда у других народов дети низших званий не имеют о ней ни малейшего понятия; от этого мы рано приобретаем тонкое чувство приличия, которое назначает должные границы между позволительным и непозволительным в обращении с прекрасным полом и отмечает все грубое, резкое и непристойное в речах и поступках. И вот где, милостивый государь, должно искать источника светскости и обходительности французов.

Я сказал уже вам, что в той же школе обучались и девушки. Иные были старше меня, а из тех, которые были одних со мною лет или моложе, ни одна мне не нравилась: следовательно, я не мог еще молодым моим воображением сделать поверки тому, что читал в романах. Пять лет уже сидел я на школьной скамье, был первым в ученье и в играх и тем заслуживал уважение от мальчиков; девушки часто заглядывались на меня, и, без хвастовства сказать, *monsieur Achille*\* слыл первым учеником, первым затейником и первым красавцем, словом, Фениксом своего училища. Около этого времени привели к нам в школу милую семилетнюю девочку с таким пригоженьким личиком, с такими черненькими, блестящими глазками, с таким умильным, сиротливым взглядом, что я в одну минуту почувствовал к ней жалость и какое-то непреодолимое влечение. Вы, конечно, знаете, сударь, школьную повадку, по которой всякого новобранца принимают на искус, т. е. старые ученики придираются к нему, щиплют его, дразнят и подсмеивают; и если он выдержит это испытание, т. е. если не плачет и не жмурясь вытерпит щипки, толчки и насмешки, или если он такой смельчак, который, несмотря на неравенство сил, станет драться со всяким и покажет удалство и проворство в ручном бою,—тогда его больше не трогают и объявляют добрым товарищем. Такой искус при вступлении моем в школу выдержал я с успехом, и это отчасти было немаловажною причиною, по которой школьные товарищи начали меня уважать.

Девушкам тоже бывают испытания, хотя и полегче:

---

\* Господин Ахилл (фр.).

их не заставляют терпеть толчки и щипки. Так было и в этот раз: увидя, что бедное дитя робко и сиротливо поглядывало на всех и не смело мешаться в наши игры, все — и девочки и мальчики, начали над нею подшучивать, пугать строгостью школьной жизни, темною комнатой и разными наказаниями. Малютка расплакалась, и за это ее пуще прежнего начали дразнить. Я тотчас за нее вступился, стыдил девушек, особливо взрослых, и объявил мальчикам, что дерусь со всяким, кто станет обижать ее. Видя, что я взял маленькую ученицу под свое покровительство, и зная на деле, как верно я держал свое слово, в один миг все от нее отстали; я подошел к ней, утешал ее, приласкал и уверил, что это была только шутка новых ее товарищей. Милая малютка положила свои ручонки ко мне на плечи, подняла прелестную свою головку вверх и поблагодарила меня таким умильным взором, с такою радостною улыбкой сквозь слезы, что у меня сердце забилося сильнее обыкновенного и я тут же поклялся быть всегдашним ее другом и защитником. Вы, может быть, уже догадались, сударь, что эта малютка была Селина Террье.

Два года еще после того оставался я в школе. Селина подрастала на моих глазах и час от часу более ко мне привязывалась. В играх она старалась быть как можно ближе ко мне; обижал ли ее кто — она тотчас подбежала ко мне и жаловалась. Вы не можете вообразить себе того удовольствия, которое чувствовал я, когда она, бывало, сядет подле меня, ласкается ко мне, гладит меня по лицу маленькою своею ручонкой и называет меня своим другом, своим единственным другом. Наконец родители взяли меня из училища. Это стоило многих слез Селине, и, признаюсь, мне самому было грустно ее оставить. Однако ж я под предлогом, чтобы повидаться с прежними моими школьными товарищами, каждый день заходил в училище и всегда выбирал те часы, которые ученикам даются для отдыха и для игр. Селина выбегала ко мне навстречу, весело и приветливо кричала мне еще издали: «Здравствуйте, добрый мой друг!», рассказывала мне обо всем, что с нею случилось: о своем ученье, забавах и детских горестях. Всякий раз приносил я ей куклу или лакомства, и милая малютка благодарила меня за них, как за самые драгоценные подарки.

Между тем годы неслись вперед. Селина все подрастала и с каждым годом становилась стройнее и пригожее. Уже я видел в ней не резвое, игривое дитя, но прелестную девушку, расцветавшую как юная роза в весеннее утро; уже в обращении со мною она показывала более скромности и даже некоторую застенчивость, хотя и не отбросила прежней своей доверчивости; уже я видел в ней будущую подругу моей жизни и наперед сулил себе блаженство в союзе с нею, не предполагая и не воображая никаких препон. Вместо кукол и лакомств начал я носить ей мадригалы, экспромты и триолеты, которые кропал для нее на досуге, и, скажу откровенно, сударь, — некоторыми из них сам был очень доволен. Селина принимала их с такою ласкающею улыбкой, с таким блеском радости в глазах и читала их с таким умильным выражением голоса, что я считал себя, по крайней мере, наравне с нашими Буфлерами, Доратами, Леонарами и другими стихотворными поклонниками прекрасного пола и признавал в себе решительный дар поэзии.

Я позабыл вам сказать, что отец мой не мог устоять против приманок обольстительной мысли — скоро обогатиться. Что делать! Видно, человек создан с этой беспокойною склонностью беспрестанно желать больше и больше: она погубила многих честных людей, и даже славных людей; этому служит доказательством еще недавний пример Наполеона. Кто бы сказал лет за десять до нынешнего, что *маленький наш капрал* \* променяет французскую империю за тесный уголок на полудиком острове? И вот как, сударь, оправдывается наша пословица: *желание лучшего — враг добру* (*le mieux est l'ennemi du bien*). Так и мой отец наскучил верными доходами от своего ремесла и от мирного магазина, вздумал вдруг сделаться богатым капиталистом, пустился в подряды и в торговые спекуляции, а что хуже всего, завел большой трактир в здешнем городе, назло старому Террье, отцу Селины. Завистливый этот ханжа старался всячески вредить нам, подкупал почтальонов, чтоб они завозили к нему

---

\* *Le petit caroyal*, шуточное название, которое французские солдаты давали Наполеону. — Цирюльник рассказывал повесть свою русскому путешественнику в 1820 году, когда Наполеон был еще жив на острове св. Елены.

проезжих, всякими неправдами переманивал от нас постояльцев и посетителей, печатал препышные объявления о своей гостинице не только в здешних, но и в заграничных листках — и успел в адских своих расчетах: его трактир постоянно был набит жильцами, проезжими путешественниками и здешними гуляками, а к нам редко-редко кто заглядывал, и то разве за недостатком места в гостинице Террье. К довершению своей злобы, узнав, что я люблю Селину и каждый день с нею вижусь, он взял ее из школы и запретил ей принимать меня. Все мои старания, все убеждения остались без пользы: Селина плакала, я горевал, и в это время отец мой с каждым днем получал самые огорчительные известия. Все его спекуляции лопались как мыльные пузыри, подряды оставались в чистый наклад, и наконец он, скрепя сердце, принужден был объявить себя банкротом.

Я побежал сказать Селине о нашем несчастье, думая, что как-нибудь прокрадусь в приемную комнату трактира, куда отец посадил ее конторщицей и где мне иногда удавалось с нею видеться. В самых дверях столкнулся со мною старый Террье. «А, любезный господин Ахилл,— сказал он мне с самою злою улыбкою,— вы, верно, отыскиваете здесь кого-нибудь из комиссионеров или торговых товарищей почтенного вашего батюшки?.. Жалею, очень жалею о ваших неудачах. Впрочем, это послужит полезным уроком для других выскочек — не братья не за свое дело. Теперь же я попрошу вас уволить мой дом от ваших посещений; смею вас уверить, что даже прогулки ваши по здешней улице будут напрасны и только вам же могут нанести неприятности. Без дальних околичностей — вот ступеньки вниз и на мостовую!»

Я готов был стиснуть горло старому насмешнику так, чтобы слова замерли в чахлой его груди; но вспомнил, что он отец Селины,— и удержался. Вместо всяких возражений я бросил на него убийственный взгляд; в ответ на это он подобрал плоские свои губы с такою ужимкой, которая ясно говорила: «Я не боюсь твоего гнева и презираю твои угрозы». Вслед за этим он хлопнул дверью почти перед самым моим носом и оставил меня выветривать свою досаду на улице. С пылавшим лицом и кипевшею кровью побрел я домой — уже не в большой и богатый трактир, а в скуд-

ную, тесную квартиру на конце города. Здесь ожидали меня новые неприятности: вместо прежних нарядных мебели увидел я самые только необходимые и самые бедные; отец и мать моя, сидя по разным углам, вели между собою страшную перебранку: мать укоряла отца за его нерасчетливость и безрассудные спекуляции, а отец делал ей упреки за ее мотовство, страсть к нарядам и неумеренную роскошь. Эти домашние междоусобия возобновлялись у них каждый день, и не было способа помирить или унять их. Мать моя сделалась крайне гневлива, криклива и слезлива и оттого нажила себе чахотку; отец мой, уже несколько лет познакомившийся с подагрой, стал чаще прежнего чувствовать припадки сей болезни. Таким образом они поминутными своими ссорами все глубже и глубже рыли друг для друга могилу. В один день мать моя до того раскричалась и закашлялась, что с криком и кашлем переселилась из здешнего мира... бог весть куда; у отца моего от досады и огорчения (потому что из последнего должно было отправить похороны) подагра поднялась вверх и задушила его. Я распродал оставшее убогое свое наследие и похоронил родителей моих в одной могиле: там мирно они почивают вместе, как бы в доказательство тому, что гроб примиряет всякую вражду житейскую. Я поплакал на их гробе, потом начал думать о будущей своей участи. Отец мой, в последнее время своей жизни, от нечего делать учил меня прежнему своему ремеслу, т. е. брить бороду, завивать и чесать волосы. Стыдно мне казалось явиться с бритвой и гребенкой в том городе, где некогда все знали меня как достаточного молодого человека и где несчастное безрассудство отца моего было еще у всех в свежей памяти. Как перенести все толки и пересуды? Как выдержать лицемерное сожаление бывших друзей и знакомых, которых, вероятно, довелось бы мне брить или чесать? А Селина? Каково было бы ее сердцу?.. Нет! лучше уйти из здешнего города, переселиться туда, где меня никто не знает,— думал я — и исполнил.

Я бродил из города в город. В одном убирал волосы модников и модниц, в другом определялся в какой-нибудь трактир или кофейный дом; и на это, сударь, была у меня своя мысль: может быть, думал я, со временем буду я счастливым обладателем Селины и

наследственного ее трактира; тогда мне нужно будет знать все хозяйственные подробности таких заведений. Между тем тоска подчас грызла мое сердце; иногда даже, признаюсь, закрадывалась в него и ревность: Селина молода и богата, за нее найдутся многие женихи; почему знать? Может быть... и кто поручится за сердце тринадцатилетней девушки? Она скромна, чувствительна, нежна; но эти чувствительность и нежность могут обратиться и к другому какому-нибудь воздыхателю, а по нашей пословице — *отсутствующие всегда виноваты*. Сии грустные думы не беспрестанно, однако ж, меня тревожили; самолюбие в некоторых случаях есть одна из самых утешительных наклонностей человеческой души: оно часто, для разогнания моей тоски, подводило меня к зеркалу, показывало лицо мое в приятнейших видах, нашептывало мне сладкие слова о моем уме, нраве и способностях и прикрепляло ко мне — по крайней мере в моем воображении — самым крепким, неразрывным узлом любовь и постоянство Селины. В такой смене мыслей и занятий, занятий и мыслей протекало мое время; всего огорчительнее было для меня то, что я не получал известия о Селине, да и сам не смел писать к ней, боясь подвергнуть ее гневу отцовскому.

Я все больше и больше приближался к Парижу, куда издавна влекла меня мысль — усовершенствоваться в моем искусстве и устроить будущее свое благосостояние; но человек *обдумывает, а бог определяет!* Я накопил десятка три *наполеондоров* и решился, не останавливаясь уже ни в каком городе, прямо идти в столицу. Под вечер одного прекрасного весеннего дня пришел я в Мо; там все было в движении, как будто на каком-нибудь празднике: шумные, веселые толпы молодых воинов то прогуливались по городу с песнями и громкими радостными разговорами, то сходились в кружки на улицах, то, выглядывая из окон трактиров и кофейных домов, ласково привечали пригоженьких девушек и подшучивали над степенными старушками. Откровенная веселость, беззаботность о будущей своей участи, пылкая, неутомимая страсть ловить каждый миг наслаждения и братское согласие, казалось, одушевляли этих добрых воинов. Я позавидовал их счастливой беспечности; подошел к одному кружку, хотел спросить одного молодого солдата о том, о сем,

взглянул на него и вскрикнул: «Это ты, Жорж?» — «Это ты, Ахилл?» — был ответ его, и мы обнялись как братья: в молодом солдате узнал я школьного своего товарища. «Да,— продолжал он,— это я, Жорж, бывший твой соученик, теперь же с маленькою солдатской добавкой — Жорж Ламитраль, к твоим услугам». — «Ужели?..» Жорж не дал мне закончить: «Прибереги свои ужели до другой поры,— сказал он,— а теперь милости просим со мною в ближайший трактир выпить кружку доброго вина в память старой нашей дружбы. Товарищи! кому угодно со мною по праздновать вместе встречу с старинным другом?» Товарищи мигом нашлись: человек с десять молодых, бойких солдат окружили нас, и через минуту мы очутились в особой комнате трактира, за столом, уставленным бутылками и стаканами.

Между шутками и смехом, которыми сопровождалась каждая выходка казарменного остроумия, Жорж рассказал мне свои похождения. Он также был влюблен по выходе из школы; богатый и скупой дядя, от которого надеялся он получить наследство, отказал ему в своем согласии и во всякой помощи, невеста изменила — и он с отчаяния сделался солдатом. Видно, однако ж, что отчаяние доброго Жоржа не было неисцелимо: в толпе веселых товарищей он скоро забыл свое горе, и любовь, и потерю богатого наследства; он пел, пил вино и проказил за четверых.

Я слушал рассказы, каламбуры и песни и тянул руку на руку с этими весельчаками. В голове у меня шумело против обыкновения, потому что, не в похвальбу скажу, сударь,— я всегда был воздержан; а в молодости, до этой встречи, не помню, чтобы когда у меня в глазах двоилось от хмеля.

— Послушай, любезный Ахилл,— сказал мне Жорж,— ты, мне кажется, пьешь за здоровье своей красавицы и пьешь, как красавица.

— Нет, мой друг: ты видишь, что я не отстаю от других...

— Не отстаешь! и только-то?.. Ведь ты у нас гость, и мы тебя потчуем; так ты должен пить за честь нашего полка и за здоровье каждого из собеседников.

Рюмки снова зашевелились, я видел, что мне не отделаться ничем от этой пирушки, и пустился пить наудалую все, что в меня ни лили. Пирушка делалась

шумнее и шумнее; начались взаимные уверения и клятвы в вечной, неразлучной дружбе...

— Эх, друг Ахилл, — сказал мне Жорж, ударя меня по плечу, — для чего ты не будешь с нами на поле чести?.. Сказать ли тебе за тайну то, что и сам я слышал за тайну: полк наш идет с большою армией в *Московию*; ты помнишь, еще в школе учитель географии сказывал нам, что там-то золотые горы, особливо в Сибири, немного в сторону от Москвы. В этом городе есть даже огромные колокола из чистого серебра, а куполы церквей покрыты кованным золотом... Я ведь знаю твою историю: ты любишь в нашем городе Селину Террье и прочее и прочее — все знаю. Послушайся меня: в Москве мы столько накуем *наполеондоров*, что каждый из нас, верно, возвратится в карете, которая доверху будет набита золотом; притом же, офицерские чины, которые вольноопределяющимся легко схватить, знаки отличия, раны, славное имя... Кого это не сведет с ума? Не только старый Террье — сам Великий Могол за честь себе поставит иметь такого зятя.

Товарищи Жоржевы, вслушавшись в наш разговор, также пристали ко мне и начали меня подговаривать и сулили воздушные замки, льстили моему самолюбию... Короче, сударь: хмель, золотые надежды, пробужденное честолюбие, желание теснее сблизиться с такими славными молодцами... короче, сударь: на другой день я проснулся с тяжелою головою, но в легком солдатском мундире. Новые товарищи поздравили меня, рассказали, что я накануне сам доброю волею записался в их полк и был у командиров, что имя мое внесено в полковой список и проч. и проч. Делать было нечего: уйти я не мог и не думал, потому что считал побег бесчестным и не хотел подать худого о себе мнения новым моим сослуживцам. Я остался солдатом и ревностно принялся за нежданную мою должность.

Полк наш через день после того отправился в поход, прошел всю Германию, где все клонилось тогда перед нами; наконец увидели мы берега Немана. «Так вот Россия; так здесь-то мы попируем, здесь-то будем тонуть по горло в золоте и возвратимся крезами!» — думали мы. Вы помните, сударь, как сбылись наши пышные надежды... Но не стану забегать вперед и расскажу вам главные со мною случаи в этом походе, кото-



рый и теперь еще часто пугает меня воспоминанием, как недавний, тяжкий сон.

С самого перехода через Неман мы увидели, что не все так хорошо шло, как нам обещали. Мы, правда, довольно скоро дошли до Смоленска; но здесь нам должно было каждый шаг вперед покупать нашу кровь.

Поле Бородинское встретило нас такую потехою, какой и самые старые служивые, по их признанию, сроду не видывали. Здесь уже некоторые из наших солдат вспомнили и начали потихоньку напевать старый романс:

Худо, худо, о французы,  
В Ронсевале было вам!

Но мы все еще не лишились бодрости: высокое мнение о воинских познаниях Наполеона и его генералов, уверенность в непобедимости наших войск и двадцать лет постоянной славы одушевляли даже самых робких из нас... Так шли мы от Можайска к стенам Москвы. С одной горы засияли перед нами куполы церквей и башен московских; сердце каждого из нас распрыгалось от радости: еще одно, положим, самое упорное сражение — и мы в стенах столицы русской! По знаку, войско наше остановилось: из колонны в колонну, из ряда в ряд пронесся слух, что уже никакого войска не было в Москве и что здесь явится к Наполеону депутация и поднесет ему городские ключи. Ждем несколько времени — никто не является: в обширном городе мертвая тишина, как будто бы ужасный мор в одну ночь истребил всех жителей, как будто бы эти высокие башни, эти огромные здания стояли теперь надгробными памятниками отжившего населения!.. Впереди нас и поодаль от всех генералов Наполеон расхаживал с явными знаками нетерпеливости: он то расстегивал, то застегивал свой сюртук, то быстрым движением срывал с руки перчатку, то снова надевал ее; поминутно повертывал на голове шляпу, иногда даже снимал ее, как будто бы ему было душно, тяжело! То, сложа руки, тихо расхаживал он туда и сюда, и казалось, был в самом неприятном раздумье; то вдруг, раскинув руки, начинал он ходить быстрым шагом, щелкал пальцами, как будто бы этим движением хотел отогнать от себя какую-то досадную мысль.

В таких, почти судорожных приемах и оборотах, со всеми признаками своенравного, упрямого ожидания, провел он более получаса, поминутно поглядывая на большую дорогу к городу... Депутация не показывалась, и даже не было надежды ее увидеть. У нас что-то тяжкое легло на сердце: мы сомнительно переглядывались между собою, как будто желая спросить друг у друга: что из этого будет? Но все, и старшие и младшие, хранили набожное молчание: все видели, что маленький наш капрал сердился, и знали, что в этом расположении духа он не любил шутить. Вдруг он обернулся к войскам, громко и гневно крикнул: «Вперед, к городу!» — и все понеслось за ним. Приближаемся к заставе — все тихо, как в могиле; проходим по улицам, — нигде нет ни души, дома заперты, площади и рынки пусты; вместо радостного торжества победы из нас думал: это не к добру! Нам грозят или тайные подкопы и засады, или голодная смерть в стенах огромного опустелого города. Но всякое неприязненное ощущение недолговечно у французов, особливо там, где их много вместе. Мы доедали последние крохи, покинутые в Москве ушедшими жителями, и от скуки, для препровождения времени, распивали вина, оставшиеся в погребах богачей, растаскивали дорогие вещи из их домов, ломали и портили то, чего не могли унести, и, роясь в земле и в подвалах, искали запрятанных сокровищ. Вы скажете, сударь, что руки у нас не совсем были чисты, но таков был тогдашний наш военный дух: понятие о славе поселяли в нас неразлучно с понятием о богатой контрибуции; а все то, что каждый из нас мог захватить у вооруженного ли, безоружного ли неприятеля, считалось честною добычей.

Не долго, однако ж, могли мы спокойно хозяйничать в Москве: начались непрерывные пожары, и мы были в поминутном страхе, чтоб нас и самих не сожгли вместе с городом. Продовольствия час от часу уменьшались; фуражеров наших или ловили русские партизаны, или душили крестьяне. Притом же носились слухи, что Москва отовсюду окружена была русскими войсками, которые ждали нас, как обреченную свою добычу, и уже заранее пировали нашу гибель. Ропот, неразлучный спутник отчаяния, начал явно возвышаться

свой голос в рядах нашего войска. «Зачем он привел нас сюда? Разве он хотел, чтоб мы поколели с голоду, как тощие собаки; либо были изжарены медленным огнем, как сельди у парижских наших торговок?» Таковы были речи почти у всех наших солдат. Доверенность к предводителю войск исчезла; чувство эгоизма и своекорыстия заступило место согласия и привязи между простыми воинами и даже между офицерами; жуткий страх вытеснил прежнюю бодрость и отвагу. Москва нам опротивела: нам было в пространных стенах ее, как в тесной и душной могиле. Мы нетерпеливо ждали как блага той минуты, когда выступим из этого города, хотя и чувствовали, что нам нельзя было бороться с неравными силами бодрого, ожесточенного неприятеля. Но в тогдашнем положении дел явная гибель казалось нам сноснее томительной неизвестности.

Наконец, после шести недель страданий и мучительных тревог, нам сказан был поход. Но какое жалкое и вместе странное зрелище представляло наше войско по выходе из Москвы! Число солдат крайне уменьшилось, и оставшиеся в рядах наших были как выходцы из того света: бледны, тощи и слабы. Вместо красивых мундиров на них оставались либо противные для глаз лохмотья, либо пестрые, шутовские разнорядки, в коих наряды московских щеголих мешались с мужским платьем старого покроя, с облачением духовенства и обувью русских крестьян. Это еще не все: нас встретила преждевременная суровая русская зима, по пятам за нами гналась сильная армия, которая каждый день истребляла у нас часть войск, отбивала обозы и пушки и отнимала все способы продовольствия; впереди ждала нас другая, значительная часть русского войска и перерезывала нам переправу через Березину. Нестерпимый холод, недостаток в пище, теплой одежде и обуви действовали на нас как повальный мор: какое-то оцепенение всех умственных способностей, какая-то ледяная бесчувственность заставляла нас равнодушно смотреть, как вокруг нас десятками и сотнями падали бедные наши товарищи. Я долго выдерживал всю жестокость непогод; всю тягость лишений; долго крепился и не слушал товарищей, которые подговаривали меня отстать от армии, чтобы промышлять себе пищу мародерством; наконец, все другие чувствования во мне

притупились: понятия о чести, об обязанностях воина и о долге повиновения уже для меня не существовали. Одно темное чувство самосохранения, один неумолкающий голос мучительных нужд говорил во мне: я хотел только хлеба, требовал только хлеба и готов был купить его ценою собственной жизни или жизни лучшего моего друга. Я сам уже начал подговаривать солдат нашего полка: человек тридцать согласились идти со мною, и мы начали понемногу отставать; наконец пошли в сторону с большой дороги, по полю, покрытому снегом; бедная тварь, полковая наша собака, поплелась за нами. Она была так тоща и худа, что кости чуть держались в коже; но каким-то чудом осталась жива и не отставала от полка. Я любил бедную *Сангинель* (так называлась собака) и, пока мог, делился с нею последнею коркой, последним черствым сухарем; зато и она была ко мне крайне привязана и почти от меня не отходила.

Товарищи выбрали меня своим предводителем, и я повел их прямо по тому направлению, по которому вдалеке что-то чернелось сквозь снег и казалось нам небольшою деревушкой. Однако ж мы обманулись: это был мелкий лесок. Из предосторожности я повел небольшой свой отряд по опушке этого леса; вдруг вижу — несколько человек конницы едет прямо к нам. Мы думали, что то был казачий разъезд; я велел солдатам своим рассыпаться за деревьями и стрелять из сей засады в случае, если нас заметили и станут на нас нападать. Конные приблизились к нам на ружейный выстрел, и мы без труда узнали в них наших единоплеменников, конных егерей не помню которого полка; их было восемь человек. Я показался из своей засады, сказал приветствие землякам и спросил их, куда они ехали?

— Я думаю, туда же, куда и вы идете, товарищ! — отвечал весельчак-трубач, ехавший немного впереди прочих.

— Если так, то мы можем совершить этот поход вместе.

— О, без сомнения! Тем больше, что мы, хотя и конные, а кажется, вас не опередим: бедные наши твари насилу волокут ноги.

— Позвольте узнать, — спросил я у речистого трубача, — кто у вас командир отряда?

— Я к вашим услугам,— отвечал он,— и выбран в эту почетную должность вместе с качеством парламентаря потому, что разумею немного по-немецки.

— Но здесь говорят не по-немецки, а по-русски.

— Все равно: я стану им говорить по-немецки, а если не поймут,— могу по нужде сказать несколько слов по-итальянски, и даже по-испански.

— И можете быть уверены, что вас также не поймут.

— Вот еще! Да на каком же языке им говорить?

— Я думаю, лучше всего, если можно, на русском.

— О! так поздравляю вас: один мой приятель, польский улан, продиктовал мне слов десяток на своем языке. Я записал их; они тут... Черт возьми, какая рассеянность! Теперь только вспомнил, что еще в Москве раскурил трубку эту бумажкой.

Мы засмеялись; трубач и сам со смехом сказал: «Это небольшая беда, сладим как-нибудь». Я первый вызвался уступить ему главное начальство над нашим соединенным отрядом; он пожеманился немного, повторил несколько раз, что уверен в высоких моих познаниях по части тактики,— и, однако ж, принял команду. Мы пошли по небольшой, едва протоптанной тропинке, которая вела из лесу. Конница наша построилась по четыре в ряд; трубач, наш командир, ехал на правом фланге, а я, сомкнув небольшую нашу пехотную колонну в каре, шел следом за конницей. Скоро мы увидели довольно большое селение, в пустынном месте, далеко от большой дороги. Ни одна душа не показывалась; все было тихо и безмолвно, и не было никаких примет, чтобы там находился какой-нибудь неприятельский отряд. Однако ж мы шли с большою осторожностью. Подойдя на пушечный выстрел к селению, трубач, наш начальник, остановил нас и рассудил за приличное сказать своему войску следующую прокламацию:

— Солдаты! готовьтесь к жаркому, отчаянному делу. Впереди ждут нас победа, слава и хлеб; позади — голод, холод и постыдная смерть. Виват Наполеон! Вперед!

Мы бросились вслед за храбрым трубачом к самым ближним домам. При нашем приближении мужчины и женщины, старый и малый выскочили опрометью из этих домов и с криком и плачем побежали внутрь

селения. Трубач наш как опытный начальник расставил трех человек из своей конницы для наблюдения и сказал нам, что в случае опасности он затрубит сбор; тогда мы должны все сбегаться и съезжаться в тот двор, где он сам будет.

Выслушав сей приказ, мы рассыпались по домам, которые стояли перед нами; первым нашим движением было отыскивать хлеб и съестные припасы. Мы подкрепили свои силы и брали в сумы, что могли. Скоро, однако ж, должно было прекратить эти побоиры: не прошло десяти минут, как роковой зык трубы раздался у нас в ушах. Мы выбежали на улицу и услышали в селении страшный шум и звон колоколов; мы, не помня себя, вскочили в тот двор, откуда слышался призывный рев нашего трубача,— и по следам нашим густая толпа крестьян обступила двор, в котором едва мы успели запереть накрепко ворота. Число крестьян беспрестанно усиливалось новыми, которые сбегались со всех сторон. Иные скакали верхом, другие бежали пешие; у многих были ружья, винтовки, пистолеты, копья и сабли, и кажется, это были земские ратники: ими командовал человек в черной меховой шинели, с подвязною шапкой на голове; он разъезжал на добром коне, строил своих ратников и был вооружен с ног до головы: мы заметили у него в руках саблю, за плечами ружье, а за поясом большой турецкий кинжал и пару пистолетов; другая пара была в ольстрах его седла. Прочие крестьяне вооружились, кто чем мог: косами, отпущенными напрямик, топорами, насаженными на длинные палки, большими ножами, дубинами, кольями и проч. Перед ними шел священник с крестом, а за ним несколько причетников с хоругвями и образами. Мы едва успели построиться на широком дворе, как человек в черной шинели, подняв саблю вверх, закричал нам по-французски: «Сдайтесь!» Но испуганные рассказами наших товарищей, которые уверяли, что крестьяне русские не щадят и сдающихся, мы вместо ответа пустили несколько выстрелов. Священник, раненый, зашатался; но видно было, что он не переставал ободрять своих прихожан: нам отвечали тоже целым градом выстрелов, которые, однако ж, не могли нам вредить по высоте забора. Черный человек отдал приказ — и в минуту сотни крестьян явились с огромными пучками соломы; не-

смотря на меткие наши выстрелы, несмотря на то, что многие из отважных падали мертвые,— другие беспрестанно заступали их места и в короткое время обложили соломою весь двор и зажгли ее. Мы поздно заметили нашу оплошность; хотели отступить на соседний двор — но уже и там пылала солома. Громкое радостное ура! осаждавших крестьян раздалось в воздухе. Нечего было делать; огонь и дым мешали нам стрелять в осаждавших; строение со всех сторон запылало, и нам становилось нестерпимо жарко. Мы решились испытать последнее средство: пройти сквозь прогоревший и рухнувший забор, быстрым движением пробиться сквозь неприятеля и отретироваться в поле. Соблюдая еще некоторый порядок, мы бросились по горячим угольям и непростывшему пеплу соломы; ударили в штыки на толпу крестьян, выдержали залпы стрелков, натиск конных ратников и успели отойти на некоторое расстояние от пожара. Здесь мы кое-как построились снова; увы! нас не было уже и половины. Мы видели, как некоторых из наших товарищей поднимали вверх на острых косах, других добивали дубинами, третьих тащили, чтобы бросить в пожарище. Но нам было уже не до них: мы думали о собственной безопасности. На дворе становилось темно; короткий день сменялся пасмурным вечером. Отстреливаясь и отступая, пробиваясь сквозь окружавших нас крестьян и поминутно теряя товарищей, мы все подавались в поле. Тут только мы заметили, что храбрый наш трубач с остальными своими егерями уехал вперед и что за ними следом скакал довольно сильный отряд конных ратников. Тени вечера густели больше и больше; погоня за нами становилась слабее; остальных мы выстрелами держали в почтительном расстоянии. Я был ранен, но имел еще довольно силы, когда мы добрались до кустарников. Тут, потеряв надежду схватить нас, крестьяне вовсе нас оставили. Оглянувшись назад, я видел только дальнее зарево горевшей деревни. При мне оставалось моих товарищей всего-навсего пять человек, и те были крайне изранены. Мы прилегли в кустах, чтобы скрыться от неприятеля и хоть немного отдохнуть. Никто не смел сказать ни слова, боясь, чтобы не привлечь какого-нибудь скрытого неприятеля: одни заглушаемые стоны раненых были слышны. Утомление от чрезмерных трудов, боль от

раны и потеря крови истощили во мне последние силы; я впал в беспамятство и, может быть, истек бы кровью или бы замерз в эту холодную ночь: угадайте, кому я обязан за мое спасение? Беспмятство или какое-то невольное усыпление продержало меня почти до утра в некотором онемении чувств. Пробуждаюсь — и вижу *Сантинель*, которая, растянувшись по всему моему телу, грела меня косматою своею шерстью и зализывала у меня рану на голове. Бедняжка! она сама была ранена в шею ударом ножа или косы, и лапы ее были обожжены, видно, тогда, когда она вместе с нами выскочила из пожара. Я открыл мою суму, достал корпии, несколько ветошек, которые были у меня в запасе, и склянку водки, захваченную мною в селении; промыл раны благодарному животному, которое так умело чувствовать сделанное ему добро, и обвязал его лапы ветошками; дал *Сантинели* кусок унесенного мною хлеба, выпил сам глоток водки и закусил остальным куском хлеба. Это меня оживило и ободрило. Я встал на ноги, поглядел на моих товарищей... Все они померли или от ран, или от стужи. Старый усач, добрый мой приятель, сидел, заостенев, на сугробе снега; руками держался он за раненую босую свою ногу, как будто бы еще хотел перевязать ее; открытые глаза его светились в страшной неподвижности посреди посинелого лица, усы обросли инеем, и губы лоснились как стекло от заледеневшего пара. Сердце мое сжалось; тяжело я вздохнул и спешил уйти от сего ужасного зрелища. *Сантинель* тихо плелась за мною, дрожа и взвизгивая от боли. Я остался один из всех моих товарищей, на жертву холода и недостатков, в земле неприятельской... Куда идти? Как избежать от ужасной смерти? В таких размышлениях прошел я около двухсот шагов. Смотрю: бедный наш бывший начальник, конно-егерский трубач, лежит мертвый на одной поляне. Он весь был изранен: голова разрублена, на воротнике мундира застыла кровь... Добрый конь его стоял над ним, уныло глядел на убитого своего седока и разгребал снег копытом: можно было подумать, что он хотел отдать долг погребения бывшему своему господину! Конь заржал и замотал головою, когда увидел меня, как будто бы предчувствовал, что я из числа тех, которые принимают участие в судьбе несчастного, погибшего в чужой земле, далеко от сво-



ей родины. Я отворотил голову; несколько слез с усилием вырвались из моих глаз. Я пошел далее. Целый день бродил я по окрестностям; скудные мои запасы истощились, голод и холод меня одолевали. Сангинель часто останавливалась, заглядывала мне в глаза и как бы спрашивала: где же конец нашим страданиям? Здесь я узнал собственным опытом, что чем ближе человек бывает к гибели, тем сильнее он привязан к жизни. Я не хотел умереть, дрожал при малейшем шорохе, прятался, увидя вдали что либо похожее на человека. Под вечер силы вовсе меня оставили; я упал среди поля и не помню, что со мною было... Очнувшись, я увидел себя в крестьянской избе; двое поселян оттирали окостенелые мои члены; человек в черной шинели, тот начальник земских защитников, о котором я прежде рассказывал, сидел в углу на скамье. С первого взгляда мне показалось, что все это вижу я во сне; я закрыл снова глаза, но чувствовал, что меня терли сукном, и убедился в существовании того, что видел. Тут пришла мне страшная мысль, что меня стараются возвратить к жизни для того, чтобы предать новым, ужаснейшим мучениям. Я вскочил: черный человек тихо и с участием спросил меня на французском языке: «Как ты себя чувствуешь, друг мой?» — «Мне лучше, — отвечал я, не помня сам себя от страха, — пустите меня, или...» Черный человек улыбнулся. «Идти! куда? чтобы замерзнуть или быть убиту? — молвил он. — Нет, друг, я не пущу тебя». — «Что ж вы хотите со мною делать?» — спросил я изменившимся голосом. «Теперь покамест отогреть и накормить тебя, — отвечал он, — а там что бог внушит мне». Холодный пот меня пронял, зубы у меня застучали так, что звон отдавался в ушах, голос замер, и я с крайним усилием едва мог промолвить: «Как это?» — «Успокойся, друг мой, — отвечал он со смехом, — тебя, я вижу, напугали нашими крестьянами; но здесь ты мой военнопленный. Могу тебя уверить, что я не так страшен, как тебе кажусь...» И, не дав мне еще опомниться, он сказал что-то по-русски своим подчиненным. Мигом принесли графин водки, хлеб и чашу русской похлебки. Черный человек выпил сам, налил другую рюмку и подал мне, потом поднес по рюмке каждому из своих ратников. Я не мог опомниться от удивления и благодарности, хотел изъяснить их новому моему благодетелю, но

он не дал мне времени высказать свои чувствования. «Садись и уголи свой голод»,— сказал он, подвел меня к столу и посадил меня за чашей горячей похлебки; сам между тем похаживал в молчании по комнате. Я начал есть и, сказать правду, не церемонился; вдруг что-то бросилось мне под ноги; я вздрогнул... Это была моя *Сантинель*, которая до сих пор спала, пригревшись в углу избы, подле печки. Слезы навернулись у меня на глазах; я прижал к груди своей *Сантинель* как друга, с которым не надеялся больше видеться в здешней жизни; делился с нею кусками и ласкал ее. Черный человек остановился, казался растроганным и сказал мне: «Да, эта собака стоит, чтоб ее ласкали; она причиною, что мы спасли тебе жизнь. Я с людьми своими ездил для осмотра окрестностей, чтоб узнать, нет ли где неприятельских мародеров. Мы видели многих из погибших твоих товарищей; я осматривал каждого в надежде, что могу спасти кого-нибудь из этих несчастливцев; но все стали добычей мороза или умерли от ран. Таким же образом мы нашли и тебя. Вот еще один несчастный, думал я: вдруг собака, лежавшая подле тебя, встала на ноги и глухим рычаньем как будто хотела нас отогнать. Это возбудило во мне любопытство и участие: я велел поднять тебя; собака скалила зубы, дергала за полы моих людей, наконец, видя, что мы подняли тебя и взложили на седло одного из верховых моих, побрела за нами и не отставала до самой деревни. Я велел ее впустить в избу, кормил хлебом, и она спокойно улеглась, видя или чувствуя, что тебе никакого зла не делали».

Можете вообразить, что я чувствовал, слушая этот рассказ. В другой раз был я обязан *Сантинели* за сохранение моей жизни; я ласкал ее, плакал как ребенок и впервые после долгих дней страдания и горя ощутил в душе что-то отрадное.

Спустя несколько времени пришли сказать черному человеку, что все готово. Мне дали теплую обувь, укутали шубой и на голову надели меховую шапку; в таком наряде сел я в сани вместе с черным человеком; *Сантинель* тоже вскочила туда и улеглась на моих ногах. Мы помчались как стрела по гладкой снежной дороге. За нами скакали около двадцати человек вооруженных крестьян. Чрез полчаса мы приехали в другое селение, которое по обгорелым остаткам по-

лусоужженного дома узнал я как место несчастных наших подвигов. Я вздрогнул, и мороз пробежал у меня по всем составам. Черный человек, видно, заметил это; он ободрял меня и сказал, что один только этот дом и сгорел; что он при нашем отступлении тотчас велел тушить пожар, и это не трудно было сделать, ибо множество снега подавало к тому все способы; что по сей-то причине крестьяне не все и то очень слабо нас преследовали; наконец, что он на свой счет выстроит новый дом погоревшему крестьянину и вознаградит его за все убытки. Тут только я узнал, что сострадательный черный человек был помещик этой деревни; прежде служил он в военной службе, а теперь, для охранения своего околотка от наших мародеров, составил из своих крестьян то небольшое земское ополчение, которое так ужасно против нас действовало. Мы подъехали к красивому господскому дому; мне с *Сантинелью* отвели особую, теплую комнату и...

— Хозяин! — вскрикнул один из мальчиков моего рассказчика, торопливо вбежавший в комнату.— Господин мэр прислал за вами и требует вас к себе как можно скорее.

— Ты видишь, что я занят: скажи, что приду, когда окончу...

— Нельзя, хозяин,— прервал докучливый мальчик,— какой-то знатный чиновник приехал из Парижа, и господин мэр непременно должен к нему сей же час явиться; а вы знаете, что господин мэр никому, кроме вас, не доверяет своей головы.

— Какое безвременье! — вскричал мой волосочесатель, нетерпеливо топнув ногою.— Впрочем, сударь, я в минуту кончу уборку вашей головы и в коротких словах доскажу вам мою историю... Скажи, что сейчас!

Мальчик исчез, а парикмахер спешил докончить мою прическу и свою повесть.

— Новый мой благодетель, которого образ ношу я в моем сердце, но, право, стыжусь изломать его имя неправильным французским выговором, держал меня в своем доме, одел меня, кормил и поил до тех пор, пока остатки французской армии не вышли из России и ожесточение русских крестьян против нас не укротилось. Тогда он сам отвез меня в город, и я поступил в число прочих военнопленных. В продолжение войны

1813 и 1814 годов мне удалось видеть многие города России и в каждом из них или убирать волосы, или готовить мороженое и конфеты для желающих. Наконец в одном большом губернском городе я завел лавку, в которой продавал духи и помады, накладные волосы; убирал головы русских красавиц, снаряжал свадебные столы, учил мальчиков искусству волосочесателя и пр. и пр. Сими честными средствами я нажил около пяти тысяч франков на наши деньги, и этому не должно дивиться: господа русские очень щедры, особливо к нам, французам, а я любил порядок и бережливость. При возвращении французских военнопленных я поспешил в отечество, с радостными слезами пришел в родной мой город, с восторгом спешил к Селине — и выслушал от нее новые уверения в верной, неизменной любви. Но злой старик, отец ее, по-прежнему был непреклонен: он слышать не хотел о том, чтоб соединить нас! В досаде я решился идти ему наперекор: на вывезенные мною из России деньги нанял квартиру прямо против окон этого старого брюзги и здесь ежедневно бешу его тем, что он видит меня, видит, как счастье мне с каждым днем больше и больше благоприятствует — а он не может вредить мне; даже из корыстолюбия не может мне запретить, когда я зываю несколько добрых приятелей в его трактир, где подчас дразню его полным кошельком золота...

— Чего же ты надеешься вперед, друг мой? — спросил я моего рассказчика.

— Гм! чего я надеюсь, сударь? я надеюсь, сударь, что со временем все переменится. Старик Террье не два же века станет жить: авось либо он исчахнет от зависти, или захлебнется от кашля и удушья.

— А Селина? что она об этом думает?

— Селина любит меня, но любит и отца своего и не хочет его покинуть. Она все не теряет надежды когда-нибудь его умилоствит, а в ожидании переглядывается со мною, пересылается записками и часом даже переговаривается, когда старик выходит из дома. Но я слишком заговорился, сударь; прическа ваша совсем готова, а меня ждет господин мэр.

— Еще одно слово, друг мой, — сказал я, подавая ему червонец, — скажи мне, пожалуйста, что значит надпись на твоей вывеске: *Солнце светит для каждого?*

Парикмахер мой немного смешался; довольно не-

удачно объяснял мне, что сею надписью думал он выразить минувшие свои беды и нынешнее благосостояние, и т. п. Наконец он признался с добродушною улыбкой, что словами *Солнце светит для каждого* хотел он подразнить старого Террье и высказать ему, что не для него только светит солнце счастья. После такого пояснения он поклонился мне; я вышел и отправился в гостиницу Террье.

В гостинице нашел я необыкновенное волнение. На дворе стояла прекрасная дорожная карета, около которой собралась толпа зевак и толковала о чем-то вполголоса; на лестнице беготня и толкотня ливрейных лакеев и трактирной челяди; вдоль коридора целый строй разных лиц в самом чинном положении и с заказною радостью во взгляде. Я вошел в общую комнату. Толстого англичанина с сухощавою его половиной там уже не было, вертлявый итальянец также исчез, а неблаговидный француз, прилипнув в углу к стене, казалось, не смел дышать. Хозяин трактира почтительно стоял у двери, как бы на посылках, и на этот раз был безгласен как рыба; только глазами умильно следил он человека, который свободно и отчасти горделиво расхаживал взад и вперед по комнате. Я взглянул на сего важного незнакомца и мигом узнал в нем графа\*\*\*, пэра Франции, с которым несколько раз виделся у одного богатого нашего соотечественника, жившего тогда в Париже. Я подошел к графу, он также узнал меня, сказал мне несколько весьма лестных приветствий, которые старый Террье ловил на лету и, как видно было, составлял по ним новые догадки на мой счет. В эту минуту вошел один из служителей графа и доложил ему, что комнаты его готовы; граф учтиво пригласил меня с собою, и я, имея на него некоторые виды, о коих скажу после, и не подумал отказаться. В коридоре обступила нас густая толпа людей разного звания с поздравлениями, словесными и письменными просьбами — разумеется, к графу; некоторые же, сочтя меня или за секретаря его, или за другую важную доверенную особу, относились наперед вполголоса ко мне. Оба мы раскланивались во все стороны, я извинялся и отговаривался, как умел, а граф сказал этим господам, что чрез полчаса примет

их в общей зале. Мы вошли в комнаты, приготовленные для графа.

— Не правда ли,— сказал он с улыбкою,— что эти просители очень милы?

— Если вы находите, граф, что они очень милы,— отвечал я,— то для меня это ободрительно, потому что и я имею честь включить себя в число ваших просителей..

— Вы?..— вскрикнул удивленный граф, бросив на меня недоверчивый взгляд,— каким чудом?.. Однако ж,— прибавил он с изученною важностию,— вы здесь иностранец и должны пользоваться правом гостеприимства. Позвольте выслушать вас прежде других. Граф посадил меня подле себя; я рассказал ему в коротких словах похождения моего парикмахера и просил его содействия в том, чтобы помочь бедному Ахиллу касательно его женитьбы на Селине.

— В том-то и вся ваша просьба? — сказал граф, выслушав меня.— Этой беде, кажется, легко помочь, и я охотно готов сделать, что могу, для человека, который проливал кровь свою за Францию, под чьими бы то ни было знаменами. Рассказ ваш задобрил меня в его пользу, и мне как туземцу приятно будет вступить в лестное совместничество с русским, когда дело идет о том, чтобы сделать добро французу. Погодите: сейчас явится ко мне здешний мэр, и я дам ему аудиенцию в общей комнате трактира. Вы сами увидите, какие будут плоды этой аудиенции; вас я прошу быть свидетелем нашего разговора.

Через несколько минут вошел хозяин и с низкими поклонами объявил, что городской мэр и другие чиновники собрались в общей зале и ожидают графа. При сем случае хозяин спросил у графа, угодно ли ему будет, чтоб никого из посторонних не впускать в приемную залу во время аудиенции? На лице старого Террье заметно было худо побежденное любопытство и крайнее желание быть в числе зрителей. Граф с одного взгляда понял, что происходило в душе трактирщика.

— О, нет! — сказал граф.— Я даю публичную аудиенцию, и всякий имеет право быть при ней.

Трактирщик с веселым лицом и с новыми поклонами вышел. Вслед за ним граф, взяв меня под руку, пошел в общую залу.

Мэр и другие чиновники расшаркались и рассыпались в поклонах и приветствиях при появлении графа, который отвечал им барскою уклонкой головы и несколькими ласковыми словами. После долгой церемонии, в которой господа тот-то и тот-то были представлены мэром, граф отвел сего последнего в сторону и говорил с ним минут с десять. Я заметил нашего трактирщика в толпе зрителей: он стоял впереди всех с улыбкой радости, с разгладившимися на лбу морщинами; и, казалось, жадно собирал запасы для будущих рассказов.

Граф, переговорив с мэром, подошел вместе с ним на средину залы и сказал громко:

— Кстати, господин мэр: у вас в городе есть один человек, которому я должен уплатить старый долг благодарности за одного моего ближнего родственника, бывшего в походе 1812 года. Человек, о котором я говорю, кажется, должен быть здесь парикмахером: имя его Ахилл, а солдатское прозвище, помнится, Ла-Роз. Я желал бы сделать для него что-нибудь особенное...

Я взглянул на Селину, которая сидела на своем месте, у конторки, — лицо этой молодой девушки прояснилось, и щеки запылали; взглянул на ее отца — старый брюзга сделал какую-то странную ужимку, по которой нельзя было разгадать, радовался ли он, или печалился от того, что слышал.

— Я знаю этого человека, который удостоился внимания вашего сиятельства, — отвечал мэр, — и смею уверить, что он поведением своим вполне того заслуживает.

— Очень рад, — промолвил граф, — только не знаю, чем бы вознаградить его за важные услуги, оказанные моему родственнику. Этот мне сказывал, что Ахилл Ла-Роз влюблен был в одну девушку в здешнем городе, был ей всегда верен и надеялся жениться на ней по возвращении сюда. Женился ли он?..

(Я снова взглянул на Селину: она покраснела пуще прежнего, и на глазах у нее навернулись слезы).

— Нет еще, — отвечал мэр.

— Хозяин, — сказал граф, обратясь к трактирщику, который в это время кусал себе губы и переминался на месте как индейский петух, — вели позвать сюда парикмахера Ахилла Ла-Роз.

— Готов исполнить волю вашего сиятельства,— отвечал Террье и поплелся из комнаты в каком-то раздумье или внутренней борьбе. Через две-три минуты он снова явился с Ахиллом, тихо и очень дружелюбно с ним разговаривая.

Ахилл, одетый щеголевато, подошел к графу, поклонился очень вежливо, но не раболепно и с какою-то воинскою ловкостью. Он все еще, как видно было, не понимал, зачем его позвали. Граф благосклонно объявил ему, что одна знатная особа заботится о его судьбе, и спросил, кто та девица, которую он любил столь нежно и постоянно?

— Она здесь, ваше сиятельство,— воскликнул Ахилл от полноты чувств, теперь только уразумею причину сего участия, ибо увидел меня подле графа.— Вот она,— прибавил он, оборотясь к Селине,— сами извольте судить, заслуживает ли она такую верную и постоянную любовь?

— А, а! Ты прав, друг мой; эти черные глаза очень заслуживают, чтоб о них помнили и на снегах русских... Господин трактирщик! неужели ты решишься еще томить этих молодых людей? Смотри: они созданы друг для друга. Хоть для нового нашего знакомства, согласишься устроить их судьбу... Почему знать! может быть, со временем буду я тебе полезен...

— Готов исполнить волю вашего сиятельства,— повторил Террье затверженную свою фразу с пренебрежением и глубоким вздохом.— Будущий мой зять всегда мне нравился как человек степенный и обстоятельный; только некоторые фамильные неудовольствия разлучали нас... Теперь же, при покровительстве вашего сиятельства... Надеюсь, что и меня ваше сиятельство не позабудете... Я давно уже намерен представить правительству кой-какие проекты касательно некоторых отраслей промышленности, и ваше предстательство...

— Хорошо, хорошо! — сказал граф отчасти с нетерпением.— Теперь покамест позволь мне быть у тебя в долгу и радоваться, что я мог исполнить просьбу доброго моего приятеля.

При сих словах граф приветливо взглянул на меня, а я отблагодарил его также взглядом. Полную мою благодарность изъяснил я ему после за обедом, к кото-



рому он пригласил меня и за которым мы пили здоровье будущей четы.

Через два года мне случилось проезжать снова Верден; я остановился в гостинице Террье. За конторкой по-прежнему сидела Селина, в черном платье и в чепце; старого Террье не было, и вместо его хлопотал знакомец наш, Ахилл как хозяин дома. Он тотчас меня узнал: изъявлениям радости и благодарности от него и жены его не было конца. Селина сказала мне, что старый Террье умер за полгода пред тем, и по нем-то она носила траур; что до конца своей жизни он радовался, глядя на своих детей, не мог нахвалиться бережливостью и расторопностью Ахилла — и благословил их с любовью на смертном одре. «Он крайне переменился в последнее время», — примолвила она, скромно потупя глаза и с некоторым замешательством. «Да, он сделался в тысячу раз добрее прежнего», — прибавил муж ее как бы в пояснение того, чего жена не решалась досказать. Я поздравил молодую чету с их счастьем и расстался с ними в сладостной мысли, что был, хотя и не прямою, но все-таки причиною нынешнего их благополучия.

## СТРАННЫЙ ПОЕДИНОК

*Рассказ путешественника*

В дилижансе сидело нас четверо: молодой французский офицер с широким пластырем на левой щеке; какой-то низенький, плотный и проворный человек в поношенном рединготе горохового цвета; некто г. Жермансе, степенный человек лет сорока пяти, и я.

Низенький человек в рединготе горохового цвета был самый безустальный говорун, охотник знакомиться и отчаянный расспросчик. Еще не успели мы выехать за заставу, как он уже успел объявить нам, что едет в Сент-Мену, где имеет собственный участок земли, что он cultivateur propriétaire \*, что зовут его дю Вивье, что приезжал он в Мес для получения какого-то старого долга, что у него есть жена и две прекрасные дочери и пр. и пр. Вслед за этим пустился

---

\* Земледелец, обрабатывающий собственную землю (фр.).

он расспрашивать каждого из нас: кто он? куда, зачем едет? Я отвечал ему, что я русский путешественник. Тут посышались вопросы о России, о зиме, которая, по мнению этого доброго человека, никогда у нас не сходит; о городах, построенных на сугробах снегу; о подземных печах, которыми русские растапливают лед в Азовском море, когда им надобно спускать корабли на воду; о способности казаков разводиться огонь зубами \*: словом, обо всех таких диковинках, которыми многие из французов и доньше еще украшают топографические свои сведения о России. Это меня забавляло, и я охотно взялся вывести доброго дю Вивье из заблуждения насчет нашего отечества. Как же я удивился, когда он принял мое доброе намерение за мистификацию, отвечал мне сначала несколькими междометиями сомнения и, наконец, сказал наотрез, что он больше верит своему куму, которого двоюродный брат слышал все помянутые диковинки от своей соседки, а та слышала их от одного тамбур мажора большой армии, бывшей в походе 1812 года.

Оставя меня, дю Вивье обратился с вопросами к г-ну Жермансе, который отвечал ему коротко и сухо. Оставался ему один офицер; но сей так важно прислонился к углу дилижанса, так гордо посматривал на всех через свои длинные черно-бурые усы, что отбивал всю охоту у расспросчика. Наконец, нетерпеливая жажда разговоров и новостей, томившая бедного дю Вивье, перемогла все его опасения. Не смея, однако ж, прямо завести разговор с офицером, он начал обиняками делать намеки о дуэлях; об опасностях, которым военных людей подвергает их звание и высокие понятия о чести. Офицер посматривал искоса на красноречиво-го заступника воинской чести — и молчал.

— Кстати о дуэлях, — сказал молчаливый г-н Жермансе, как бы в минутном вдохновении. — Не угодно ли, я расскажу вам об одном странном поединке?

Офицер взглянул на него и все-таки молчал, дю

---

\* В примечаниях к одной поэме о походе Наполеона в Россию, изданной в 1814 году в Париже и посвященной покойному королю Лудовику XVIII, находится следующее замечательное место: «Les Français ignoraient sans doute la faculté dont les Cosaques sont doués, celle d'attiser la feu avec leurs dents». То есть: «Французы, верно, не ведали о способности, которою одарены казаки: разводиться огонь зубами».

Вивье рассыпался в просьбах и в изъявлениях благодарности; а я, поняв отчасти мысль г-на Жермансе, скромно поблагодарил его улыбкою. Мне казалось, что, по добродушию ли, или из эгоизма, он хотел избавить навязчивого дю Вивье от какой-нибудь неприятности со стороны спесивого и, может быть, задорного офицера, а нас от неприятности — быть свидетелями междоусобия в тесном пространстве почтовой кареты.

Г. Жермансе, заметно, был человек молчаливый и любящий покой. По приготовительным его приемам можно было заключить, что он приносил нам, своим спутникам, весьма важную жертву и делал себе крайнее насилие, пускаясь в длинный рассказ. Он то вертел табакерку между пальцами, то понюхивал табак, медленно всасывая по маленьким щепоткам, как будто бы брал его на пробу и хотел вызнать его силу и запах; то вынимал платок, то складывал весьма старательно и снова прятал его в карман с таким видом, как будто бы боялся его выронить; то призадумывался, то покашливал. Наконец он начал свой рассказ; но тут по многословию его и по охоте рассказывать длинно и со всеми подробностями тотчас можно было увидеть, что для него, вследствие французской поговорки, *труден был только один шаг* \*. Если б я не боялся обидеть его сравнением, то сказал бы, что он похож на тех лошадей, которые весьма лениво и неохотно трогаются с места, но после их не скоро остановишь и удержишь вожжами.

Не берусь передать вам этого анекдота со всеми подробностями, со всеми отступлениями и ораторскими украшениями слога, коими красноречивый г-н Жермансе старался блеснуть в нем перед своими слушателями; но содержание анекдота и главные черты его к вашим услугам. Угодно ли выслушать?

Генерал Даранвиль был человек отличной храбрости. От берегов Нила до берегов Москвы прошел он, служа в разных чинах, и нигде не робел ни перед саблями мамелюков, ни перед пулями и штыками русских. Молодость генерала была самая буйная: он начал службу почти с детских лет и в самое разгульное время Французской революции. Мудрено ли, что

---

\* C'est le premier pas qui coûte.

при общем ослаблении всех правил он увлечен был потоком? Раны, полученные им в сражении — а их было много, — едва ли равнялись числом с теми, кои получил он на поединках. Чрез это заслужил он в армии славу самого сильного бойца на шпагах и самого искусного стрелка из пистолета. Пока страсти в нем бушевали, он старался поддерживать эту славу тем, что затрагивал и задирал почти всякого встречного; но когда лишний десяток лет и лишние дуэльные кровопускания отчасти охолодили в нем кровь, тогда он сделался верховным судьей всяких ссор и споров, грозою и карою забияк.

При перемене обстоятельств генерал был уволен от службы с половинным жалованьем. Этой пенсии и накопившегося в большой книге государственного долга жалованья его, не выданного в разные времена, было весьма достаточно для умеренных желаний генерала. Даранвиль был человек образованный, и врожденные его наклонности были хорошие: сердце его не вовсе было испорчено заблуждениями тогдашнего времени и худыми примерами. Еще несколько лишних лет на плечах и полный досуг, которым он в то время пользовался, заставили его одуматься и пробежать в памяти прошедшее. Рассматривая прежнюю жизнь свою, он ужаснулся, увидев, что суетность и ложные понятия о делах и вещах были доселе одними его руководителями. Это сознание совсем переменяло нрав его и поведение: уж он более не наискивался на ссоры и даже не мешался в них иначе, как в качестве примирителя, вел себя весьма кротко, сделался другом молодых людей и часто давал им умные, полезные советы. От прежнего его молодечества осталось ему только имя славного дуэлиста.

Из молодых своих друзей Даранвиль больше всех любил Эрнеста де Люссона, прекрасного двадцатидвухлетнего юношу, с добрым сердцем и хорошими правилами, с пылкою любовью ко всему изящному и доброму. Но все эти бесценные качества перевешивались иногда в нем непомерною заносчивостью, вспыльчивостью и ветреностью, почти неизбежными пороками молодых лет. Генералу многого труда стоило умерять и укрощать эту вредную наклонность — и часто он радовался успеху своих советов и наставлений.

У Эрнеста был, кроме генерала, и еще друг, или

человек, которого он считал себе другом. Леон Вердак, молодой гасконец, хитрый, вкрадчивый, самолюбивый и хвастливый, таил под заманчивыми качествами приятного и веселого товарища самые коварные виды исключительного своекорыстия. Богатство Эрнеста манило к себе дальновидного Вердака: он надеялся осторожно и мало-помалу покорить себе волю и все желания молодого де Люссона и после — как водится у таких людей — черпать из его кошелька, будто как из своего. Вердак любил игру и шумное общество молодых весельчаков: но, будучи сам не богат, часто должен был себе отказывать в этих невинных удовольствиях. Поэтому генерал Даранвиль был у него как бельмо на глазу: власть ума, которую он приобрел над Эрнестом, препятствовала корыстным видам Вердака. Коварный гасконец расчел, что ему непременно должно для своих замыслов удалить Даранвиля от Эрнеста, а этого нельзя было сделать, не поссоря их, и потому он решился выжидать удобного случая.

Всякий раз, когда ему удавалось отлучить на время де Люссона от генерала, он старался окружить своего молодого приятеля шумными и веселыми своими знакомцами, которые заранее им были настроены, чтобы всячески внушениями своими поколебать доверие Эрнеста к Даранвилю. Многие из них, как будто между разговором, изъявляли свое удивление, что такой умный, рассудительный и образованный молодой человек слепо вверился старому брюзге. Это льстило самолюбию Эрнеста; однако ж он сначала жарко спорил за генерала с молодыми своими приятелями; после споры его стали слабее; после он и вовсе перестал спорить и кончил тем, что самодовольною улыбкой показывал согласие с мнением своих знакомцев. Доверенность его к генералу была ослаблена; однако ж вовсе нельзя было еще оторвать его от сего почтенного человека. Между тем Вердак всегда молчал, не придерживался ни той, ни другой стороны и был при таких спорах всегда как бы лицом страдательным.

Однажды Эрнест угощал обедом Вердака и с полдюжины других весельчаков, его приятелей, в ресторации Вери. Случайно генерал Даранвиль вошел туда же; волею и неволею, его должно было пригласить к их столу. В комнате, где они обедали, за особливим небольшим столиком сидели два провинциала, один че-

ловек уже пожилой, другой юноша около двадцати лет возраста. Станный, стародавней моды наряд сих провинциалов, их неловкость и застенчивость сначала привлекали на себя внимание и шутки молодых остряков. Но когда они услышали, что провинциалы называли трактирного слугу господином (monsieur) и невпопад спрашивали кушанья по печатной карте; когда заметили лукавую улыбку и ироническую вежливость ловкого слуги — тогда шуткам их и смеху не было ни меры, ни конца. Особливо Эрнест отличался перед всеми громким хохотом и остротами: не довольствуясь сим и видя одобрительные улыбки своих приятелей, он встал из-за стола, подошел к провинциалам, советовал им потребовать устриц к десерту, а бульону вместо кофе — словом, говорил им все глупости, какие тогда приходили ему в голову. Сомнительные и робкие взгляды бедных заезжих, непрерывный хохот молодых его товарищей и знаки неудовольствия на лице Даранвиля еще более подстрекали де Люссона. Наконец стал он просить у младшего из провинциалов платья его, на показ своему портному, говоря, что хочет нарядиться также ловко и щеголевато, чтобы понравиться девяностолетней своей прабабушке; стоя за стулом, вымеривал его талию, даже позволил себе хватать его за плечи и играть пальцами с его прической. Это вывело из терпения старшего: он встал и, бросив на стол золотую монету в сорок франков, сказал младшему: «Пойдем, сын мой, видишь, что мы здесь не у места». Молодой человек также встал и, кинув на забавников смущенный страждущий взгляд, вышел вместе с отцом своим. Обидный хохот провожал их далеко за дверьми ресторации.

До сих пор генерал Даранвиль молчал; не улыбка, а негодование было написано на лице его. Но когда отец с сыном вышли, он встал и, подошедши к Эрнесту, начал тихо, но с чувством и жаром представлять ему неприличие такого поступка. Ответом ему был новый смех Эрнеста и его товарищей. Генерал обернулся, окинул молодых шалунов пылающим, грозным взором, и мигом все замолкли. Все знали, каково с ним иметь дело! Один Эрнест, по короткому знакомству своему с генералом, старался оборотить все это в шутку, даже подтрунивал над ним самим, говоря, что не может удержаться от смеха, вспомня давешнюю

стоическую его важность при общем хохоте и видя теперешний катоновский его *ригоризм*. «Послушайте, почтенный мой друг,— прибавил он,— вы так часто надеялись на мои советы, что мне, право, совестно всегда оставаться у вас в долгу; пора хоть раз с вами по квитаться. Вот небольшая уплата в счет долга: не всегда, любезный генерал, самые лучшие советы бывают приличны: всему место и время...» — «В таком случае,— с жаром отвечал Даранвиль,— и я здесь также не у места, как и те бедные провинциалы».

Он взял шляпу и, не поклонясь никому из своих собеседников, вышел.

— Что значит, любезный Эрнест, эта отеческая заботливость о твоей нравственности? — сказал один из молодых повес, когда генерал был уже далеко за дверью.

— Мне кажется,— прибавил другой,— что его превосходительство наложил на себя покаяние за прежние свои грехи и для того вздумал обращать на путь спасения неопытных юношей.

— Неопытных? — воскликнул Эрнест.— Не ко мне ли это относится, сударь? Прошу объясниться.

— Не горячись, мой друг; это не мои слова; я только повторяю слышанное. Помнишь ли, с неделю тому назад сидели мы — генерал, ты, я и еще какой-то старый усач, его сослуживец — в Тюльерийском саду, против террасы Фельян? Помнишь ли, ты встал, подошел к какому-то из своих знакомых и вместе с ним пошел вдоль по террасе? Я оставался в это время на скамье. Знакомец нашего генерала спросил у него о тебе. «Это,— отвечал Даранвиль,— молодой шалун, который не глуп, но слишком еще зелен; умишко у него вертится еще как кубарь и не знает, где и на чем остановиться. Я взялся переродить его, и с моею помощью, надеюсь, он будет когда-то человеком». Не сердись так, милый Эрнест, и не кусай себе губы... Это, право, не мои слова! Благодарю за эту рекомендацию доброго твоего друга генерала.

— Ха, ха, ха! вы знаете эту молодую ветреницу маркизу де Кремпан? — подхватил третий.— На днях я был у ней в ложе, в театре Фейдо. Злоязычница пересудила всех, кого только видела в ложах и на балконе. «Смотрите, смотрите,— лепетала она, оскалывая белые свои зубки,— вот молодой де Люссон с своим

дядькою, генералом Даранвилем. Кажется, дядька дерет его за уши, за то что он сел боком к партеру. Хорошо иметь и в эти лета такого строгого наставника: он обещался сделать из него образцового молодого человека, самой милой скромности и самого благопристойного поведения.

— Она осмелилась это сказать? — воскликнул Эрнест, ходивший широкими, скорыми шагами по комнате... — Так я ж ей докажу!

— Не ей, милый Эрнест, должен ты доказать: можно ли затевать ссору с молодою пригожею болтушкой?.. Ты знаешь, что твой генерал к ней вхож...

— Мой генерал! черт его возьми и возьмет, когда я исполню то, что у меня вертится теперь в голове.

— Потише, потише, де Люссон! — подхватил четвертый собеседник. — Ты чуть было не проговорился сгоряча о поединке; а ты знаешь, как добрым твоим друзьям тяжело будет расстаться с тобою...

— Расстаться! Ты уж и похоронил меня! кто тебе сказал, что я-то непременно упасть должен? Пуля дело неверное.

— Нет, друг мой! ты, видно, позабыл, с кем хочешь иметь дело? У Даранвиля пуля верно попадает.

— Хорошо! вот мы увидим, каково-то он будет стоять на трех шагах барьера и дожидаться жеребья... Да нет, сей же час бегу к нему и кончу все с ним глаз на глаз, в комнате.

— Ха, ха, ха! в комнате! — завопили вместе несколько голосов. — Так ты думаешь, что тебе удастся с ним подраться в комнате, глаз на глаз? Как же худо ты и его и самого себя знаешь!

— А почему ж не удастся?

— Да потому, — отвечал четвертый, — что он, глаз на глаз, надеясь на свою власть над твоим умом, начнет увещевать тебя — и кончится тем, что ты же станешь просить у него прощения.

— Так вы увидите... или услышите через час, не долее. При сих словах Эрнест схватил свою шляпу.

— Стой, друг мой! — сказал ему первый, удержав за руку. — Ты теперь не в том положении, чтобы мог драться хладнокровно. Ты разгорячен и гневом и нашими частыми жертвами Бахусу. Господа! упросите Эрнеста отложить это дело до утра. Неужели мы отдадим его сегодня на жертву этому дуэльному вампиру?



Все приступили к Эрнесту, особливо Вердак, и уговорили его ничего не делать до завтра.

— Эй, малый! еще дюжину шампанского! — закричал пятый из собеседников Эрнестовых, дотоле молчавший.

— Здоровье той пули, Эрнест, которую ты влепишь в лоб запоздалому лицемеру! — продолжал он, наливая бокалы. Все встали и весело их осушили; Эрнест тоже хотел казаться веселым; но веселость его была похожа на зимнее солнце, которое холодно, без согревающих лучей, проглядывает из-под хмурых, снежных облаков.

Время быстро летело для приятелей Эрнестовых, но для него передвигалось оно на свинцовых колесах. Настроенные Вердаком ветреники лукаво старались поддерживать в молодом де Люссоне расположение к поединку и жажду мщенья то хитрыми намеками, то искусно подводимыми сомнениями насчет прославленной храбрости генерала, то замечаниями, что поединок с таким известным дуэлистом может всякому придать большой вес в общем мнении. Вердак или молчал, или с притворным сочувствием уговаривал Эрнеста. Другие умышленно и жарко ему противоречили, как будто бы говоря о постороннем деле. Таким образом в шуму разговоров и под звон бокалов просидели они до ночи. С тяжелою головою и тяжелым сердцем Эрнест возвратился домой.

На другой день, рано поутру, явился к нему Вердак с новыми увещаниями. Почти вслед за ним, и как бы нечаянно, пришли двое из вчерашних застольных приятелей, стали утверждать противное, завели умышленный спор, разгорячили Эрнеста, который схватил шляпу и как бешеный побежал из комнаты.

Не помня себя, прибежал он к дверям Даранвиля; судорожною рукою схватил за шнурок колокольчика, зазвонил что есть силы, и, когда слуга генералов отворил ему, он вбежал прямо в спальню.

Генерал был еще в постеле. «Что ты, Эрнест? Что с тобою сделалось?» — спросил он у молодого своего знакомого.

— Что?.. бешенство! сумасбродство! доверенность к такому человеку, который ее не стоил... и именно к вам, сударь!

— Опомнись! В своем ли ты уме? Откуда такая горячка?

— Горячка? Да, сударь: только все она легче той белой горячки, в которой я до сих пор бродил как слепой. Знал ли я, мог ли я предвидеть, что под такую степенную наружность скрывается самая мелкая, самая низкая душишка?

— Не ко мне ли это относится?

— Можете, сударь, принять это прямо на свой счет... Сейчас вставайте и посчитайтесь со мною — не на словах: и не о них дело!.. Да, сударь, сейчас дайте мне отчет во всех тех дерзостях и наглостях, которые вы обо мне рассеиваете.

— Если б я не видел вчера тебя в добром здравье, то подумал бы, что ты вырвался из Шарантона. О каких дерзостях и наглостях говоришь ты мне?

— Не знаете? А! вы ничего теперь не знаете! Видно, мне правду говорили о мнимой вашей храбрости. Милости прошу, сударь, встать и, взявши пистолеты, сей же час идти со мною.

— Нет, не прогневайся, любезный; не встану.

— Так я вас принужу встать.

— До этого я тебя не допущу. Скажи просто и ясно, чего ты от меня хочешь?

— Стреляться с вами.

— Стреляться? Зачем же мне для этого идти вон из комнаты? Вот, возьми!

При сих словах генерал снял со стены висевшие у него над головою два заряженные пистолета, подал один Эрнесту и положил другой к себе на подушку.

— Так вставайте ж! — сказал Эрнест изменившимся голосом.

— Я уж сказал, что не встану, — отвечал генерал спокойно, — стрелять я могу и лежа, да и тебе свободнее в меня метить. Стань у кровати, прямо против меня, и стреляй.

— Да как?..

— Не дожидайся, чтоб я назвал тебя трусом как такого человека, который бодрится на словах и у которого дрожат манжеты в решительную минуту. Стреляй!

Делать было нечего; Эрнест зашел слишком далеко, а последние слова генерала подлили масла на непотухший пыл его. Он взял пистолет, дрожащею рукою

навел его на голову Даранвиля, спустил курок... Пуля влипла в подушку подле самой головы генерала; но сей последний не поморщился и не переменил положения.

— Теперь садитесь, сударь, на эти кресла, — сказал генерал строгим голосом. — Садитесь, говорю: я в вас теперь волен и вправе требовать от вас всякого удовлетворения.

Эрнест, ни жив ни мертв, опустился на кресла. Лицо его было бледно как полотно, все жилы бились с судорожным напряжением. Генерал, вовсе не трогаясь за пистолет и по-прежнему не переменя положения, после минутного молчания начал говорить ему спокойным голосом:

— Г. де Люссон! теперешний ваш поступок таков, что должен разорвать всю связь между нами. Вам совестно будет видеть человека, которого вы хотели убить без всякой причины, да и мне, признаюсь, нельзя равнодушно смотреть на того, кто покушался на жизнь мою. Однако ж, желая, чтобы временное наше знакомство принесло вам какую-нибудь пользу, я расстаюсь с вами последним советом... Не вставайте с места, молчите и слушайте. Я всегда почитал вас умным молодым человеком: удивляюсь, как могли вы ввериться шайке негодяев, от которых я вас и прежде не раз остерегал. Этого Вердака своими глазами видел я, выбегавшего с расстроенным видом из картежных домов. Достойные его знакомцы — все таковы же: вчерась еще за обедом я подметил их перемигиванья, когда вы забавлялись над бедными и, верно, добрыми провинциалами. Слушайте ж: давно уже я видел очень ясно, что Вердак и другие повесы, его приятели, хотят вас отдалить от меня для своих видов. Вы богаты, а эта толпа бедна и бессовестна. Одни вы, по слепой в самом себе уверенности, того не замечали. Говорить о вас дурно или презрительно я не мог и не имел причины. Тем больше никто из них не мог от меня услышать ничего на это похожего, потому что я ни с кем из них и нигде не встречаюсь, кроме немногих случаев, когда видал их вместе с вами. Теперь расскажите мне, как было все дело и отчего в вас родилась такая против меня запальчивость? Видите ли, что я, прежде чем услышал от вас, узнал уже главных ее виновников?

Эрнест трепещущим голосом, но со всею откровен-

ностию пересказал все как было. Генерал улыбнулся. «Так я и догадывался», — сказал он. Молодой де Люссон вскочил, хотел бежать и вызывать всех прежних своих знакомцев; но Даранвиль советовал ему успокоиться и дослушать его речи.

— Давно уже я положил на себя обещание отводить молодых людей от поединков. Я слишком дорого для моей совести заплатил за проклятую суетность — прослыть самым грозным поединщиком. Благодарю небо, что оно ранами оставило мне тяжкую память о прежнем моем сумасбродстве.

— Жестокий человек, — прервал его Эрнест, — для чего ж вы прежде не вывели меня из заблуждения? Для чего допустили меня стрелять в вас?

— Могли ли вы в то время слышать голос рассудка? Притом же, сказать ли вам откровенно? Во-первых, я твердо предположил себе не стрелять в вас; если ж бы вы по случаю меня убили, тогда я только поплатился бы за прежние мои поединки... Много их лежит у меня на душе! Одна только моя надежда — на благость Божию. Во-вторых: мог ли я неуместною робостью изменить закоренелой своей привычке — ничего не бояться? Это, конечно, заблуждение; но есть заблуждения, основанные на понятиях о чести, с которыми трудно расстаться. Сто раз скорее бы я умер, нежели струсил наведенного на меня пистолета. Что касается до Вердака и его знакомцев, то вот последний мой совет: оставить их в покое и, если можно, вовсе с ними разознаться, но без шума и огласки. Стоят ли такие люди той чести, чтобы порядочный человек прилепил свое имя к их именам и сделался вместе с ними сказкою города? Теперь сударь, желаю вам на свободе обдумать нынешний наш разговор и успокоиться. Что до меня, я буду молчать о сегодняшнем происшествии; в этом можете быть уверены... Прощайте!

Тут Эрнест бросился на грудь генералу, просил его, умолял о прощении. Долго Даранвиль колебался — наконец подал ему руку, примирился с ним, и с тех пор де Люссон во всем советовался с генералом и слушался его. Он сделался и точно примерным молодым человеком: избавился от ветрености, вовсе истребил свою заносчивость, и горячность осталась в нем только к хорошему и благородному. Опытность и познания Да-

ранвила были главною причиною сего нравственного усовершенствования; и генерал с удовольствием видел плоды своих советов,— видел, как Эрнест, на поприще человека и гражданина, приносил пользу отечеству и был другом и благотворителем несчастных, кои к нему прибегали.

Вердак и его товарищи, слыша отказ себе у дверей Эрнестовых, догадались, какой оборот взяло это дело, и не решались более встречаться ни с Эрнестом, ни с генералом. Их как будто не стало в Париже, и уже чрез несколько лет де Люссон узнал, что Вердак умер в тюрьме Сент-Пелажи, куда был посажен за долги.

## СТРАШНЫЙ ГОСТЬ

*Анекдот*

*Из рассказов путешественников*

— Как вы думаете об этом? — сказала любезная наша хозяйка одному из гостей, сидевшему немного в стороне, и которого лицо было почти заслонено тенью других собеседников, находившихся ближе к чайному столику.

Гость этот был человек лет около тридцати. Приятные, благородные черты лица его носили на себе печать задумчивости или творящей мечтательности. Он не был красавцем; но с первого взгляда его томные глаза, в которых светилось кроткое пламя ума, манили к нему каким-то обаятельным, почти магнетическим влечением, и взор невольно останавливался на его губах, приятно обрисовывавшихся несколько вперед. Казалось, эти сжатые губы замыкали сладкие звуки поэзии, готовые вырваться из души и волновавшие уста невольным, легким движением. По выговору его заметно было, что он принадлежал к юго-западным нашим соотечественникам; но слова, указываемые тонким чувством изящного и окрыляемые вдохновением, одушевляли его речь и придавали ей убедительность необыкновенную.

— О чем вы меня спрашиваете? — сказал он, как бы невольно расставаясь с какою-то сладкою мечтою.

— Разговор зашел у нас,— отвечала хозяйка,— о

привидениях, о явлениях теней или выходцев с того света; и я хотела знать об этом ваши мысли.

— На это,— отвечал заманчивый гость с умною улыбкой, по которой трудно было дознаться, сомнение ли, убеждение ли выражала она, или то, что гость не хотел высказать тайных своих мыслей,— на это я всего охотнее отвечал бы вам, как Гамлет в русском переводе В-ка:

Есть многое в природе, друг Горацио,  
Что и не снилось нашим мудрецам.

— Но этот ответ,— подхватила хозяйка,— также загадочен, как и все то, что Гамлет говорит друзьям своим после свидания с тенью отца.

— Если вы не веруете в поэта английского,— возразил гость с прежнею улыбкой,— то я охотно напомню вам из другого русского перевода стих поэта немецкого:

Верь тому что сердце скажет,—

и этот стих должен быть тем убедительнее, что верование сердца совершенно в духе вашего пола.

— Вы, господа поэты, любите иногда играть нашим умом, как и нашим воображением,— молвила хозяйка, усмехаясь.— Но я снова повторю мой вопрос: что вы думаете о мертвецах, привидениях, предчувствиях, словом, о всех явных и неявных сношениях духовного мира с живыми людьми? И прошу вас, сударь, отвечать мне категорически.

— Прямой вопрос мой был бы повторением или перифразой приведенного уже мною стиха из подражания Шиллеру. Вам самим угодно было назвать меня поэтом: как же вы хотите, чтобы во мне убеждение разногласило с воображением? Поэзия дочь мечтательности; если она не верует тому, что представляет ей фантазия, то ее создания будут или холодны, или слишком неясны. В том и другом случае она потеряет власть свою над сердцем, которое одно имеет слух для ее звуков.

— Чувствую, что вы всегда будете со мною правы, даже и тогда, когда вздумаете дразнить меня, как, например, сегодня, поэтической логикой ваших ответов, неудовлетворительных для моей прозаической скептики. Отвечайте же прямо хоть на другой вопрос: случилось когда с вами что-нибудь похожее на эти

таинственные явления? видели ль вы хоть раз какого-либо выходца с того света?

— Никогда; по крайней мере наяву. Но если вам угодно, я расскажу вам странный случай, бывший в Литве с одним из моих знакомых. Надеюсь, что почтенные члены общества примут этот рассказ за вклад, хотя и слабый, но от души приносимый мною в общую кассу вечерних рассказов.

Хозяин, как председатель общества рассказчиков, посмотрел на всех сочленов, как бы желая узнать их мысли; и все изъявили свое согласие одобрительною улыбкой. Председатель, позвоня в колокольчик, обратился к гостю и сказал:

— Общество с удовольствием принимает ваш вызов, и я от лица всех моих сочленов прошу вас о выполнении вашего обещания в пользу любопытных слушателей.

Новый звон колокольчика подал знак молчания; заманчивый гость, наклоня голову и подумав несколько минут, вдруг обратил на нас лицо свое, как бы одушевленное гением импровизации, и начал рассказывать следующий анекдот:

— Недалеко от границы Литвы и королевства Прусского жил, а может быть, и теперь еще живет достаточный литовский пан, которому пусть будет у нас имя Доминик Венжевич. Он любил, как говорится, пожить, то есть попить и поесть сам и попотчевать, а часом и употчевать добрых приятелей. Был он человек не злой, но нрава шаткого, и потому случалось, что мелкие расчеты самолюбия или корыстолюбия перетягивали его не всегда на добрую сторону. В то время, к которому относится сей анекдот, пану Венжевичу было лет за сорок; он был плотен, здоров, лицо имел полное и румяное и наслаждался по своему разумению всеми выгодами и удовольствиями жизни провинциального помещика в поветовом городке.

Наступила война 1812 года. Пан Венжевич поддался в этот раз искушению своего беса: чтобы сохранить от расхищения свое имение, а при благоприятном случае нажать и больше, он ревностно услуживал начальникам и офицерам проходивших французских войск; и, желая вполне показать свою приверженность к незванным гостям, принял для излечения к себе в дом одного ротмистра вестфальской службы, тяжело раненного

в каком-то деле. Французы вступили в пределы России, взяли Смоленск и заняли Москву, и за всяким их успехом пан Венжевич пил старое венгерское с друзьями-патриотами, по тогдашнему смыслу, и кричал *виват* Наполеону. О раненом вестфальском офицере принимал он все возможные попечения: приглашал самых искусных лекарей, и когда стараниями их больному было легче, тогда пан Венжевич придумывал все, что мог, для его развлечения.

Правду сказать, ротмистр Липроде стоил всех сих забот: это был образованный и любезный весельчак лет тридцати двух, высокого роста, приятного лица, с светлыми волосами и рыжеватыми усами и бакенбардами. Немецко-воинские наружность и приемы его весьма были по сердцу пану Венжевичу, который со временем надеялся найти в нем надежного застольного товарища; и точно, Липроде, шагнувший от привольной студентской жизни прямо в строй военных людей, не отказался бы от лишней бутылки, когда бы простреленная грудь, увещания врачей и врожденное благоразумие немца не удерживали его. Взамен того, он, сидя на постеле и увитый перевязками, метал банк, как здоровый, или прехладнокровно ставил на карту порядочный куш наполеондоров, что также нравилось пану Венжевичу, одно только не совсем нравилось ему: то, что ротмистр почти всегда был в выигрыше и наполеондоры его часто переманивали к себе польские злые пана.

Между тем Наполеон не пировал, а бедствовал в Москве; и наконец в октябре месяце выступил из нее с своею армией на новые беды в обратный путь. Как ни таили приверженцы французов жалкое положение большой армии, но слух о той мало-помалу проник в занятые французами российские провинции. Позже всех почти узнал об этом пан Венжевич; и правда, ему было, как говорится, самому до себя. Он призадумывался о том, как бы выплатить ротмистру Липроде шестьдесят тысяч золотых карточного долгу; ибо наличное серебро пана давно уже перешло в шкатулку счастливого банкмета. К довершению досады пана Доминика дальняя его родственница и предмет его исканий, семнадцатилетняя Антонеля, с свеженьким, приманчивым личиком, с стройным, полувоздушным станом, с лукавою улыбкой, с черными огненными



и бойкими глазами, вертлявая, резвая, живая — короче, полячка в полном смысле слова, — казалось, насмешливо посматривала на него и была равнодушна к вестфальцу. Липроде и сам увивался около нее, и пан заметил не раз, что они тайком перешептывались между собою, когда находили к тому случай. Бедный Венжевич начинал уже в душе своей проклинать приход французов, а пуще всего их язык, которого общее употребление доставляет способы молодому немцу нашептывать нежности молодой польке. «Глупец, глупец! — побранивал пан самого себя, — ты надеялся поживиться крохами от чужеземных гостей; вместо того тебя же обобрали дочиста, ты задолжал, как безрасчетный мот, и сверх того у тебя отбивают невесту, которая прежде почла бы за счастье быть твоею женою; а теперь... Сам на себя пеняй, что некстати порадовался».

Так однажды рассуждал пан Венжевич, сидя на софе и в раздумьи покачивая головою, между тем как собравшиеся у него гости сидели за карточными столами, ловкая молодежь вертелась вокруг ловких дам, а Липроде и Антонеля, отошед к окну и думая, что за ними не примечают, с жаром о чем-то разговаривали вполголоса.

Вдруг раздался звук барабана по улицам, и в ту же минуту вбежал в комнату один из приятелей пана, патриотов, бледный как полотно, с ужасом во всех чертах лица и едва переводя дух. С смущением и крайним усилием объявил он, что французы бегут из России, что сейчас в город вступила часть разбитого их отряда в самом жалком положении и, не останавливаясь, хочет идти далее, говоря, что русские гонятся за нею по пятам. Весть сия как громом поразила всех; гости разошлись в робком молчании по своим домам, а ротмистр Липроде, оспоривая возможность сего события, до того разгорячился, что, почувствовав сильный жар, кружение головы и стеснение в груди, принужден был уйти в свою комнату. Там он увидел, что не совсем залечившаяся рана его раскрылась; слабость всего тела уложила его в постелю, и он снова впал в болезнь. Но тут уже не принимали о нем прежних попечений: он страдал на одре болезни, и никто о нем не заботился. Одна только Антонеля украдкой иногда его навещала. Ее утешения и милое участие, вместе

с какою-то смутною надеждой и природною крепостью сложения, поддерживали существование большого ротмистра.

Так прошло несколько дней; и в это время пан Венжевич колебался между страхом и надеждой: страхом, что с приходом русских раскроются все его слова и дела в пользу французов, и надеждой, что сим же приходом или смертью вестфальского ротмистра, могшею приключиться от сей болезни, он, пан Венжевич, освобожден будет от уплаты своего долга. Но, на беду его, Липроде чувствовал себя немного лучше, а в городе разнесся слух, что летучие отряды казаков были уже весьма близко и часть их заняла некоторые из окружающих селений. Что было делать пану в таких обстоятельствах? Но бес его снова ему нашептал свое, разжег в нем жажду мщения и внушил ему ужасную, предательскую мысль. Венжевич вообразил, что, выдав вестфальского ротмистра казакам, он докажет тем свою приверженность к российскому правительству и разом избавится всех хлопот: улики в измене, платежа шестидесяти тысяч золотых и опасного соперничества в сердце прелестной Антонели. Целую почти ночь обдумывал он план новой измены; иногда приходили ему в голову жалость к ротмистру, воспоминание откровенных с ним бесед и приятных вечеров, проведенных вместе; иногда готов был оставить свое намерение и даже скрыть ротмистра, в случае, когда бы казаки ворвались к нему в дом. Но личные расчеты заглушили все: и последнюю искру приязни, и слабый отголосок совести; словом, бес поставил на своем. Чтобы не подать подозрения, пан Венжевич встал задолго до рассвета, тихом оделся, пошел в конюшню, сам оседлал своего коня и, несмотря на сильный холод, во весь опор поскакал в ту сторону, где, как ему было сказано, находились казаки.

— Стой! — закричал ему сторожевой казак при въезде в селение, — ни с места, или только ты и жил.

— Веди меня к вашему офицеру, — отвечал ему пан Венжевич, соскоча с лошади, — я имею сообщить ему важную тайну.

Казак кликнул своих товарищей, которые дремали, опершись на пики, и сдал им переметчика. Обысканный Венжевич был отведен четырьмя казаками на квартиру офицера и через четверть часа был уже

снова на пути к своему городку вместе с офицером и целым отрядом казаков, которым показывал он, как пробраться тайком в город окольными объездами. Все шло по его желанию. Тихонько провел он казаков в свой дом и к комнате ротмистра. Дверь была заперта. Сколько ни стучались они, сколько ни требовали, чтобы пленный сдался доброю волей, ответа не было, в комнате господствовало мертвое молчание и дверь не отпиралась. Должно было ее выломать. Несколько сильных рук принялись за дело, и дверь соскочила с петель. Тогда Венжевич, прячась за казаков, увидел Липроде, стоявшего посреди комнаты. Он был в полном мундире; рост его казался выше обыкновенного, мужественная осанка и выражение неустрашимости в лице его внушали Венжевичу невольный трепет, а темно-голубые глаза ротмистра как будто бы бросали искры отваги, гнева и негодования. В одной руке держал он пистолет, в другой обнаженную саблю и в грозной решимости ожидал нападения. «Возьмите его!» — вскричал казачий офицер. Казаки бросились; но первый из них лежал уже на полу от выстрела, другой повалился от удара саблею, прочие приостановились на минуту, но, раздраженные гибелью двух своих товарищей, навели свои пистолеты на ротмистра... еще мгновение — и несколько выстрелов раздались разом, несколько пуль впились в тело вестфальца... Венжевич видел, как он зашатался, упал и бился на полу; видел, как казаки с ожесточением бросились на него, подняли его на саблях и выкинули потом из разломанного окна в сугроб снега... Далее Венжевич ничего не видал, не слышал и не помнил. В глазах у него потемнело, ноги подкосились, и весь ужас его предательства как будто бы разразился громовым ударом над его головою.

Протекло несколько месяцев. Память сего происшествия залегла в душе пана Венжевича и не раз пробуждала его от тревожного сна. Настал день усопших, празднуемый римско-католическою церковью. Пан Венжевич, как добрый католик, обыкновенно отправлял в этот день поминки по своим родителям и по всем членам своего родства, отшедшим от мира сего, и за сытным обедом с ближними и приятелями желал покойникам царства небесного. В этот раз он больше обыкновенного разослал приглашений; а между тем,

в час обедни пошел в *косцел* и сел на почетное свое место, в некотором отдалении от других прихожан. Торжественный сумрак храма, печальные завесы, спускавшиеся по стенам и вокруг алтаря; изображения смерти, греха, вечных мук, чистилища и других эмблематических олицетворений, расставленные в разных местах,— с самого начала погрузили его в неотразимую задумчивость и уныние; а плачевные напевы музыки, разносившиеся по сводам храма, еще сильнее навевали тоску на душу пана, и без того уже лишенную покоя. Но вот воцарилось глубокое молчание, подобно молчанию гробов, о коих напоминаниями окружены были предстоявшие: медленным и величавым шагом брат Бернардин взошел на кафедру, жалобным, проникающим сердце голосом восплакался он о грехах мирских и с видом суровым и мрачным вещал о воздаянии за них в будущей жизни... Сердце пана Венжевича судорожно сжималось, и кровь из него бросалась в голову; легкая дрожь, как бы предчувствие ожидаемых мук, пробежала по всем его членам; в ушах слышался ему какой-то смутный шум: и вой, и визг, и скрежет попеременно отдавались в нем... Неомытый от греха убийца склонил голову и закрыл лицо руками. Так пробыл он долго; наконец, вышед из забытья, поднял глаза и робко обвел взором вокруг себя. В церкви никого уже не было видно: молчание, пустота и тусклый свет одни его окружали. Он хотел бы уйти, но чувствовал, что какая-то неведомая сила приковала его к месту. Чтоб ободрить себя, начал он рассматривать картины — и вид одного грешника в чистилище остановил его внимание. Несколько минут смотрел он задумчиво на сие изображение... вдруг, видит: оно мало-помалу отделяется от стены, становится больше и больше, получает движение, наконец идет к нему медленными, размеренными шагами и останавливается перед ним... Кто бы мог описать его ужас, когда он в чертах сего страдальца узнал ротмистра Липроде! Как бы вдруг оторвавшись от привязи, пан Венжевич вскочил с места и хотел бежать; но страшный призрак заступил ему дорогу.

— Положи руку свою на мое сердце,— сказал он виновнику своей смерти глухим, могильным голосом; и Венжевич, как послушный ребенок, повиновался этому приказанию. Он чувствовал лед под своею рукою,

но лед, которого убийственное прикосновение мертвило всю жизнь, всю теплоту и движение в живых составах. Казалось, в самое сердце Венжевича переливался губительный холод сердца мертвеца.

— Чувствуешь ли ты этот холод? — сказал призрак. — Это холод моей могилы, и ты виною, что я томлюсь им преждевременно. Прощай! помни, что ты мой должник, и что я сегодня в полночь приду к тебе за долгом. Прощай!

Гром прокатился над церковью и потряс ее до основания. Пан Венжевич глухо застонал, как от сильной боли; свет померк у него в глазах... И когда он пришел в себя, то увидел, что привидения уже не было. Церковник, оставшийся в приделе косцела, поддерживал пана под руку.

— Я услышал ваш стон, вельможный пан, и догадался, что вы нездоровы, — сказал он Венжевичу. — Не прикажете ли отвести вас домой?

— Веди, веди меня домой или куда хочешь! только скорее, Бога ради, скорее отсюда.

— Не случилось ли с вами чего, вельможный пан?

— Ничего, ничего! так, безделица... Мне дурно, мне душно!

Церковник отвел его в дом. Слуги засуетились, позвали лекаря; но через полчаса пан Венжевич объявил, что ему легче и что он не нуждается больше ни в чьей помощи.

«Я сегодня в полночь приду к тебе за долгом!» — безпрестанно отдавалось у него в ушах, и лихорадочная дрожь пробегала у него по членам.

Между тем гости собрались. Пир был на славу. Все веселились, поминая покойников. Один хозяин сидел в утробном молчании, ничего не ел и не пил и отговаривался нездоровьем.

Наступил вечер. Гости хотели разойтись, но пан Венжевич уговаривал их остаться на ужин, велел приготовить карточные столы, а сам поминутно поглядывал на большие стенные часы. Но сколько ни старался пан Венжевич, а к половине двенадцатого часа ни один из собеседников его не остался. Всяк находил какой-нибудь предлог: у одного дела, у другого дети больны, у третьего жена скучает в одиночестве... и так, гость за гостем, все разошлись, и остался один пан Венжевич дожидаться страшного своего полуночного гостя. Что-

бы развлечь себя и не быть одному, он созвал своих служителей, велел им сесть за приготовленный ужин, пить и есть сколько душе угодно... Но не прошло десяти минут, как всеми овладел непреодолимый сон: все, человек за человеком, заснули, сложа на стол руки крестом и положив на них голову. Сколько ни бился пан Венжевич, никого не мог добудиться ни криком, ни толчками. В отчаянии он упал в кресла; взглянул на стенные часы — полночь без пяти минут! С тоскою следовал он глазами за часовой стрелкой и клял душевно ее поспешность; каждый удар маятника производил судорогу в его лице, и одеревяневший взор его, казалось, прикован был к циферблату. Но вот бьет полночь, и с каждым боем сердце пана Венжевича сжимается, как намоченная губка, стиснутая сильною рукою. Часы пробили. Вдруг вихорь налетел и завыл у окон, и вслед за тем Венжевич услышал, что наружная дверь дома закричала и с шумом отперлась. На лестнице послышались тяжелые шаги и звон шпор: шаг, два, три, четыре, пять, шесть, семь, — громко отдавалось на каменных ступеньках, как будто непомерная тяжесть падала на них. Обе половинки двери в комнату стремительно растворились, как от сильного ветра, и призрак вошел величавым, мерным шагом.

— Я сдержал свое слово, пришел к тебе за долгом, — сказал он Венжевичу. — Я укажу тебе место, где ты должен со мною расчесться. Иди за мною.

Подобно бездушной машине, действующей по движению руки механика, Венжевич последовал за страшным своим гостем. Они сошли по ступеням вниз, идут по двору... повсюду мертвая тишина: ни звука в городе! Вот пришли к тому месту, где стоял сугроб, на который выброшено было тело Липроде. Призрак остановился.

— Узнаешь ли ты это место? — сказал он. Венжевич не мог произнести ни одного звука и устремил глаза свои туда, куда указывало привидение. Вдруг земля под ним заколебалась и раступилась у самых ног их... — Там мы разочтемся! — страшно произнес призрак, обхватил Венжевича холодными своими руками и бросился с ним в пропасть. Венжевич вскрикнул... и открыл глаза. Свет дневной проникал сквозь завесы в окна его комнаты; на улице слышно было движение народа...

— Так это был сон? — сказали в один голос гости и хозяйка.

— Да, по счастью, — отвечал любезный рассказчик. — По счастью, ибо он так сильно подействовал на пана Венжевича, что удержал его от замышленного предательства.

— Поэтому ротмистр Липроде остался жить? — спросила с участием одна милая девица.

— Жив и здоров, сударыня; он женился на прекрасной Антонели и служил после в российской армии. Теперь, кажется, он в отставке. Я слышал, будто бы пан Венжевич отложил всякую мысль о женитьбе и сделал его наследником всего своего имения, потому что ближайших родственников у него не было, а по Антонели ротмистр вступил с ним в родство.

## САМОУБИЙЦА

*Повесть*

*Из рассказов путешественников*

Несколько лет тому (начал почтенный чиновник) был я послан начальством моим в Т...скую губернию по делам службы. Граф Р\*\*\*, в доме которого я всегда был принят и обласкан, сведав о моем назначении, поручил мне, на проезде моем по Т...ской губернии, осмотреть незадолго пред тем доставшееся ему поместье. Чтоб видеть эту вотчину, надобно было ехать верст за восемьдесят в сторону от большой дороги; почему я решился выполнить поручение графа тогда уже, когда окончу все дела по казенной обязанности. Так я и сделал.

Столицу покинул я весною, а возвращался в нее уже в начале осени. Из Т... отправился я в конце августа на долгих, потому что в ту сторону, где находилось поместье графа, пролегла только проселочная дорога и почтовых станций не было. Я выехал из города перед вечером. Погода стояла тогда постоянная и ясная; сам я был моложе десятью годами и следовательно ощущения мои были живее и полнее. Сидя в скромной моей дорожной повозке и смотря на дикие, но живописные окрестности, на которые ложился темный осенний вечер, я предался мечтаниям; между тем луна

тихо всплывала из-за дальних холмов, наводила бледный, серебристый свет на зелень долин и на поля, покрытые оставшеюся после жатвы на корне низкою соломой, и отбрасывала длинные тени от одиноких деревьев и других предметов. Я заметил, что ямщик мой начал показывать беспокойство и какой-то страх. Каждый предмет, неясно виденный, каждая длинная тень, ложившаяся неподалеку от дороги, заставляли его судорожно оглядываться в сторону, прислушиваться и порою креститься. Приписывая это врожденной трусости моего возницы, я не расспрашивал о причине его опасений. Скоро открылось перед нами селение, красиво размещенное между садами по скату холма, у подошвы которого вилась небольшая речка. По ту сторону селения, на гребне холма, чернелся лес. Ямщик мой вдруг оборотился ко мне и спросил: куда я прикажу себя везти на ночлег в этом селении?

— Зачем же здесь ночевать, дружок? Ночь светлая, и мы можем ехать дальше.

— Воля ваша, сударь; только дорога наша пролегает по лесу, что за селом... А там, говорят добрые люди, водится не больно здорово.

— Что же такое? — спросил я торопливо.

— Да, Бог весть! Нашему брату крестьянину не след болтать лишнее.

Мне тотчас представилась мысль, что этот лес населен шайкою отчаянных разбойников, о которых, по суеверному ли страху, по другой ли какой причине, не смеют даже и намекнуть окружные жители. Я велел остановиться в селении, предоставя ямщику выбор квартиры. Он погнал во весь дух, и скоро мы встречены были лаем чутких собак, провожавшим нас из улицы в улицу, как бы для того, чтоб известить обывателей о приезде постороннего.

Мы останавливались у пяти или шести дворов; но нигде не видно было света, и, по всем приметам, жители спали крепким сном, ибо мы не могли их достучаться. Наконец я увидел опрятный сельский домик, немного больше и красивее обыкновенных изб крестьянских, с окнами на улицу, сквозь ставни которых пробивался изнутри свет: я велел ямщику подъехать туда и постучаться в окно. Тотчас к воротам вышел молодой детина лет семнадцати и спросил:

— Что надобно?



— Пустите нас на ночлег, голубчик, — отвечал я ему.

— Милости просим! — промолвил он по минутном молчании, отворил ворота настежь, и мы въехали во двор. Молодой человек ввел меня в большие приходные сени и отпер дверь направо, сказав, что налево у них черная изба. Я вошел в просторную и чистую комнату, с липовыми мытыми стенами и такими ж лавками вокруг всех стен. В переднем углу стоял стол с разрисованными на нем бутылками, чарками, тарелками и другими принадлежностями деревенской пирושки. На столе горела свеча в высоком железном подсвечнике. В углу, под *божницей*, лежало на лавке несколько больших и малых книг в истасканных и почерневших переплетах.

— Вот наша светлица, — сказал мне детина, пристально осмотрев меня и сделавшись словоохотнее, — а там, за перегородкой, батюшкина опочивальня.

— Кто же твой батюшка? — спросил я.

— Теперь он земским, по власти Божией и опекунской, вот уж восемь лет кряду; а был когда-то писарем на барском дворе.

— Так это деревня помещичья?

— Да, сударь, была когда-то, и у доброго господина, когда Бог держал на свете старого барина, чуть за моею памятью. Теперь мы под опекой, и Бог весть кому-то достанемся.

— Где же теперь твой отец?

— Он пошел за приказами к управителю, что живет там, за церковью. Да, видно, дела много столкнулось: батюшка что-то позамешкался. Не прикажете ли, сударь, покамест согреть для вас чайник?

— Не худо бы, друг мой! — И едва выслушав слова мои, молодой человек скрылся с какою-то услужливою поспешностью.

Оставшись один, от скуки начал я перебирать книги, лежавшие на лавке. Тут были: Четья Минея, Пролог, Патерик Печерский и еще несколько книг духовного содержания; кроме того: старинный перевод *Телемака*, разрозненные томы *Жития Клевеланда*, сына Кромвелева, *Алофегмата*, изданная при Петре Великом, *Лесажев Жилбаз*, переведенный Тепловым, *Наставление о пчеловодстве* и по одному тому *од Ломоносова и трагедий* Сумарокова. Все это было пополнено необходимыми принадлежностями сельской библиотеки: Пе-

сенником и *Гадательною книгою*, да *Энеидой* наизнанку Осипова. Я заметил, что последние три книги были гораздо новее и что на них не было зачеркнутой пометки имени прежнего владельца, как на книгах, прежде мною помянутых. Подивившись такому странному смешению книг, а еще более такой разнообразной грамотности нынешнего их хозяина, сельского писца, я спросил у его сына, вошедшего ко мне с чайным прибором: откуда отцу его достались эти книги в старинных переплетах?

— Да вот как, сударь,— отвечал он, сперва несколько смешавшись от неожиданного и даже, признаюсь, нескромного вопроса.— Батюшка мой много трудился при описи барского имения, особливо подвижности, оставшейся в доме по смерти последнего помещика: все, до малой нитки, должно было внести в книгу и всему выставить цену, какую назначали ценовщики с опекунами. За то эти господа и пожаловали батюшку своею милостью: позволили ему взять посильное место из барских книг, говоря, что это-де ветхая и ненужная рухлядь, из которой если что и убудет, то не велика беда. Батюшка же мой, не в похвальбу сказать, большой книгочей: знает в книгах всю подноготную и за одним словом готов по шею в землю врыться. Спросите его, о чем хотите; на все у него есть ответ из писания: так ему дался книжной разум. Вот как его господа благословили уделить себе частичку этой ненужной рухляди, примолвя в шутку: «Все-де, что ты на себе снесешь, то и твое»,— ему и царства не сули: он и набил книгами два большие мешка, и чуть было не надселся, таща их домой.

— А ты, друг мой, тоже любишь читать?

— Стыдно сказать, а грех потаить, сударь: батюшка, правда, сам учил меня грамоте, да столько морил над книгами, что они мне понадоели. Иное дело, коли книга забавная, так и я рад читать: вот, примером сказать, *Ворожея*, да *Песенник*, эти книги по мне, а то над иною корпишь, корпишь — инда столбняк нападет. Да меня же, видно, Бог обидел перед батюшкой: я и говорить не сумею, как он. Перед ним иногда и наш отец Евсей станет в тупик, коли подчас сойдутся да заговорят от Святого Писания. За то все церковники и челом моему батюшке, особливо когда о чем между собою не сладятся в *Пасхалии*.

Я улыбнулся простодушной откровенности и высокому мнению молодого хозяина об отце своем; но слова его пробудили во мне праздное желание узнать сего сельского философа-самоучку, который, по словам его сына, рад по шею зарыться в землю, чтобы доискаться до смысла какого-либо слова. Напившись чаю, вздумал я пройтись по деревне: красивое ее местоположение, замеченное мною при въезде, и приманчивый свет луны, всегдашней моей любимицы, поселили во мне сию охоту. Я взял с собою молодого хозяина, который запасся большою палкой для охранения меня от собак. Мы пошли по длинной улице, мимо церкви: все было пусто и глухо; даже сторожкие собаки селения, видно, позаснули на эту пору.

— Где же господский дом? — спросил я у моего проводника.

— А там, на выезде, к лесу, — отвечал он.

— Можно его видеть?

— Почему же нет? то есть снаружи; а то ведь он замкнут и кругом наглухо заколочен.

— Веди меня туда.

Молодой человек, сколько я мог видеть при лунном свете, выпучил на меня глаза, и лицо его вытянулось каким-то странным выражением боязни.

— Завтра, сударь, коли на то ваша воля, поведу я, пожалуй, вас к барскому двору, — сказал он после нескольких минут молчания, — а теперь, не во гнев вам, я туда не ходок!

— Отчего же? Разве там страшно?

— Ох, сударь! не мне бы говорить, не вам бы слушать: так-то страшно, что добрые люди и в дневную пору туда почти не заглядывают.

— Расскажи мне, какая же тому причина?

— Опять, сударь, прошу не прогневаться, у меня язык не поворотится. Если хотите, спросите у батюшки. он все знает и ничего не боится; он вам перескажет, что там деялось.

— Ну, так укажи мне дорогу к господскому дому и отдай свою палку: я пойду один, а ты дождись меня здесь.

— Эх, сударь! Бога ради не ходите!

— Пустое, друг мой; ты меня не напугаешь: твое дело исполнить только то, чего я требую.

Он не смел послушаться, видя мою решимость, выра-

женную повелительным голосом. Я взял у него палку и пошел по указанной дороге. Скоро дошел я до страшного суеверным поселянам дома. Он стоял особняком, на довольно крутом скате и обнесен был забором, уже обветшавшим и во многих местах повалившимся. Я пролез сквозь один пролом сего забора и взошел на заглохший репейником и крапивою двор. Дом был деревянный, но довольно обширен. Двери и ставни забиты были драницами; но от ветров и непогод у иных окон ставни обломались и висели на ржавых петлях. Лучи луны прямо ударяли на стекла и, ярко отражаясь на них, рисовали настроенному к чудесам моему воображению какие-то светлые призраки, будто бы бродившие внутри пустых покоев. Я невольно вздрогнул и почувствовал к себе какой-то укор за неуместное и бесполезное любопытство — видеть обветшалое строение, в котором, по наружности, ничего не было особенного. С этою мыслью отправился я обратно. Покинув опустелый двор и завернувшись в мой плащ, пошел я скорыми шагами и на повороте в улицу столкнулся с каким-то запоздалым крестьянином. Бедняк сей так перепугался встречи с мнимым привидением, шедшим из пустого дома, что затрясся всеми членами, перекрестился и, закричав: «Чур меня!» — пустился бежать изо всей мочи. Я сам сперва немного оторопел; но вспомня, что было причиной такого быстрого побега, и видев, что я напрасно стал бы кликать крестьянина и уверять его, что я не мертвец, — пошел я своею дорогой и скоро отыскал моего проводника, который, притаясь за углом одного плетня, дрожал как осиновый лист, не знаю, от холода или от страха.

Но что же за таинственность лежит на этом доме, которого боятся все жители селения, о котором не смеют даже и промолвиться и который известен и в отдаленных околотках? Так думал я, возвращаясь на ночлег, ибо для меня теперь ясно было, почему ямщик мой не хотел ехать ночью далее: он знал, что дорога из селения лежала мимо пустого дома. Сии мысли заставили меня ускорить шаг, в надежде узнать повесть о доме и умерших его владельцах от будущего моего знакомца, грамотея земского.

Вхожу в комнату — меня встречает человек лет сорока, в долгополом сюртуке серого сукна: это был

хозяин дома. Я ожидал, что философ-самоучка окажется также и оратором-самоучкой и встретит меня длинною поздравительною речью или по крайней мере каким-нибудь вычурным приветствием; и вместо всего этого услышал обыкновенную сельскую благодарность хозяина за то, что я «не погнушался его домом и хлебом-солью». Это на первых порах расстроило мой план нападения на слабую сторону моего грамотея; но вместе поселило во мне об уме его мнение, гораздо выгоднее прежнего. Я сбросил плащ и сел на лавке; а хозяин, приняв мой плащ, бережно свернув его и положив к стороне, стал в почтительном от меня расстоянии у печки, и как будто бы ожидал моих вопросов или приказаний. Сим он дал мне полную свободу рассмотреть себя. Это был человек среднего роста и крепкого тела, с здоровым, свежим лицом; выражение сего лица и быстрых черных глаз показывало природный ум, сметливость и даже некоторое лукавство; а положение тела и приемы — изученную вежливость и навык обходиться со старшими по званию. Таким образом мы провели первые десять минут нашего знакомства в молчании, взаимно наблюдая один другого. Наконец молчание мне наскучило.

— Не стеснил ли я тебя, друг мой, своим приездом? — спросил я хозяина.

— Нет, сударь! напрасно так изволите думать. Мы рады принимать у себя добрых господ.

— Впрочем, я заплачу тебе за ночлег и за все, чего потребую, — сказал я.

— Извините, сударь, — отвечал он, — мы не держим постоянного двора; почти все, что Бог послал, у нас не покупное, и вы меня очень одолжите, когда не будете говорить о плате. Мы и без того довольны Божеской милостью, и нам грешно б было брать с проезжих за нашу хлеб-соль.

Я увидел, что здесь должно было отделяться фразами, и благодарил моего хлебосола-хозяина в задаток за его гостеприимство. В это время вошли в комнату пожилая женщина и миловидная девушка лет пятнадцати, обе опрятно одетые. «Это жена и дочь моя», — сказал земский. За ними появилась работница крестьянка, и все три женщины начали накрывать стол для ужина. Я заметил, что они поставили один только прибор, и сказал хозяину, что не соглашусь иначе

ужинать, как со всем его семейством. Сколько он ни отговаривался, но должен был наконец уступить моей настойчивости. Я вынул из дорожного моего запаса две бутылки старого вина, которыми напутствовали меня добрые мои т...ские знакомцы, и за ужином, стараясь расшевелить хозяина, подливал ему в рюмку, а между тем заговаривал о том и другом, наводил речь на книги, виденные мною у него, и наконец успел его привести в то расположение духа, какого я желал: хозяин мой стал говорливее и уже начал прикрашивать речи свои поговорками, занятыми из книг. После ужина я сказал, что не привык ложиться спать так рано, и он охотно вызвался беседовать со мною. Осталось еще полбутылки вина; я поставил его на стол, приотведывал сам и по-прежнему подливал хозяину. Не знаю, в самом ли деле он не заметил, или не хотел заметить моей хитрости; но только он тянул весьма исправно, и чрез полчаса времени стал, как говорится, навеселе.

— Правду, сударь, говорит мудрец, что вино веселит сердце человека,— сказал земский, медленно потирая себе руки и умильно поглядывая на недопитую свою рюмку.— Вот я, например, по милости вашей отогрел себе душу и все горе забыл.

— А разве у тебя, друг мой, есть какое горе?

— Нельзя сказать, чтоб оно было собственно мое: это горе лежит на целой нашей вотчине. Восемь сот душ от него терпят, и не знаю, дождутся ли лучших времен; может быть, с нами будет и еще хуже.

— Отчего же вы терпите, и чего вам ждать худшего? — спросил я, как будто бы ничего не зная, но внутренне обрадовавшись, что хозяин сам подавал мне повод расспросить его о приключениях страшного опустелого дома.

— Как же, сударь, и не горевать нам,— отвечал земский.— Восемь лет находимся мы под опекой; каждый год опекуны наши делают разные надбавки на оброк, а несостоятельных, то есть тех крестьян, которые не могут всего выплатить, посылают на работу в свои поместья, иногда верст за пятьдесят и дальше, и там морят их недели по две даже и не кормят их, а велят нашему же миру содержать их на своем хлебе.

— Для чего же вы не жалуетесь суду?

Земский горько улыбнулся и, покачав головою, сказал:

— Вы знаете, сударь, поговорку: *не бойся суда, а бойся судьи*. Эти господа судьи делятся нашими же крохами с опекунами нашими; часто крестьяне здешней вотчины ходят и к ним на египетскую работу. Заедет ли который из них в наше село: потчуй всем, что им вздумается, угождай всяким их прихотям, да сверх того еще принеси на поклон и давай две-три тройки лошадей, на которых они изволят разъезжать Бог весть куда. Все это, говорят они, для того, чтобы спасти нашу вотчину от конечного разорения и чтобы соседние помещики не завладели нашими землями и угождями.

— Где же нынешний ваш господин, и кто он таков?

— Господь его знает. Это внучатный племянник нашего старого барина; ближе родства у покойника, по смерти родного племянника (прости Бог его душу!), не было. Нынешний наследник здешнего поместья служит на море и, говорят, будто бы находится в какой-то кругосветной экспедиции. Опекуны и судьи уверяют нас, что к нему несколько раз посланы были бумаги с вызовом явиться для получения наследства; только вот уже девятый год, а об нем ни слуху, ни духу. Правду сказать, мне что-то не очень верится этим господам: может быть, бумаги у них и до сей поры лежат под красным сукном; да как навести справку? у них *рука руку моет!* Они же твердо знают, что когда вотчина поступит к законному владельцу, тогда они прощайся с незаконными своими поживками, а может быть, еще и отчет давай.

Я спросил земского, как зовут нынешнего владельца, записал его имя у себя в памятной книжке, с тем чтобы по приезде в Петербург узнать о нем и сообщить ему весть о неожиданном, может быть, наследстве. Земский, по-видимому, весьма обрадовался моему вызову и уверял меня, что не знает, чем отблагодарить за такое милостивое старание об их вотчине.

— Одним, друг мой,— отвечал я ему,— и таким делом, которое мне нужно будет при объяснении с нынешним вашим помещиком, если мне удастся отыскать его. Расскажи мне, каким образом прекратилась прямая линия ваших господ,— словом, все, что касается до запустелого помещичьего дома...

Земский на минуту призадумался.

— Конечно, сударь,— молвил он,— вам непременно нужно знать все дело по порядку. Да я же, по совести сказать, и сам давно хотел найти какого-нибудь доброго и честного господина, чтоб высказать ему все, что у меня лежит на душе и тяготит ее, как смертный грех; хотя, как перед Богом, здесь нет ни вины, ни участия моего ни на волос. Только нельзя ли этого отложить до завтрашнего утра?

— Для чего же, друг мой?

— Не всякому, изволите видеть, по сердцу и слушать и рассказывать *на сон грядущий* такие случаи, о которых мне придется вам донести.

Любопытство и нетерпеливость моя возросли еще более; но я старался скрыть их сколько мог.

— И, полно, любезный,— сказал я земскому с улыбкой притворного хладнокровия,— ты сам много раз читал и знаешь, что умный человек не должен поддаваться суеверно к бабьим бредням...

— Тут не совсем то, о чем вы изволите говорить, сударь,— подхватил хозяин.— Я и сам много раз старался переуверить себя в том, что видел; да на беду мою общий голос и собственные мои глаза убеждают меня, что то был не сон, не бред, а сущая правда наяву.

— Но как бы то ни было, друг мой, а вспомни, что мы теперь одни, нас никто не подслушивает, даже все домашние твои спят. Завтра могут нам помешать, и посторонние уши, которым, может быть, ты не хотел бы поверить своей тайны, могут уловить ее не заведомо тебе самому.

— Правда, сударь, правда,— сказал земский, подумав. Он допил остальное из своей рюмки, стукнул ею об стол, крякнул и твердым голосом, как будто вдруг ободрившись, сказал мне: — Извольте же слушать!

Рассказ его я передаю вам почти слово в слово. Исключаю только некоторые красноречивые отступления, ссылки на печатное и всем известное и некоторые частные подробности, не вовсе относящиеся к самым происшествиям.

Старый наш барин (так начал земский свой рассказ) был человек нрава странного... Вы мне позвольте, сударь (присовокупил мой рассказчик), называть его везде просто *старым барином*: этим именем любили мы называть его при жизни, и оно осталось у нас в селе-



нии, как нечто святое; крестьяне наши выговаривают его, нанеся руку на шапку, как будто бы перед самым добрым нашим помещиком. Однако ж я немного отбилсь от своего рассказа... Простите меня, сударь! память об отце нашем, старом барине, всегда неволью заставляет нас высказывать о нем все, что на уме... Теперь стану продолжать по порядку.

Я сказал уже вам, что старый наш барин был человек нрава странного. Он был добр, милостив к крестьянам, жалостлив к бедным; но угрюм, недоверчив и, так сказать, нелюдим. В молодости своей, рассказывают старожилы, был он не таков: кто знал его ловким, веселым гвардейским офицером при государыне Екатерине II, тот удивлялся теперешней его перемене. Надобно вам знать, сударь, что старый барин из военной службы перешел в штатскую, и долго был не помню при каком посольстве, в чужих краях. В это время скончались сперва родитель его, а скоро потом и матушка; тогда он, вышед в отставку, приехал в наше село и захотел сам управлять своим имением. Здесь-то впервые старики наши увидели его пасмурным и задумчивым. Он каждый день выходил на короткое время в переднюю комнату выслушивать донесения старосты и отдавать ему свои приказания; а потом запирался почти на целый день у себя в кабинете, писал что-то либо читал книги, которых навез с собою премного, и русских и иностранных, да еще каждый год выписывал новые. В летнюю пору он хаживал иногда пешком по полям с большою толстою палкой, осматривал посевы и полевые работы; иногда бродил один по рощам или проводил по несколько часов в саду, прививал плодовые деревья, саживал и поливал цветы, до которых был большой охотник. Осенью же и зимою, особливо в дурную погоду, его почти никто не видывал, кроме старосты, и то по утрам, да карлы Тимоши, который прислуживал барину, исправлял при нем должность и камердинера, и ключника, и буфетчика, и слуги на посылках: через него-то старый барин передавал свои приказы другим служителям. Еще крестьянам, приходившим с какими-либо сельскими просьбами или жалобами, да беднякам, просившим помощи, был к нему всегда свободный доступ. С соседними помещиками он вовсе не знался: сам к ним не ездил и у себя никого не принимал, за

что они, прости им Бог! прозвали его медведем и острились на его счет, говоря, что он сосет лапу в своей берлоге. Сколько раз — видно, на зло, — выбирали его в разные должности на дворянских выборах: он всегда отговаривался или болезнью, или другими какими-нибудь причинами.

Об его утрюмости и одинокой жизни пошли разные догадки и толки как между барской дворней и в нашем селе, так и у всех соседей. Одни говорили, что он за границей сделал какой-то тяжкий грех и за то несет добровольное покаяние; другие — что он влюблен был там в одну красавицу, которая ему изменила, и за это будто бы отчуждался он от света; третьи — что он там изучился тайным наукам и разлюбил жизнь и людей, отдавшись совершенно этой неведомой мудрости. Что до меня, я последнему готов больше прочего верить, хотя и не сполна. Однако ж это были одни догадки и толки: наверное никто ничего не знал; и как узнать? Барин ни с кем о том сам не говорил, а спросить его никто бы не посмел; людей своих за границею с ним не было, а служили ему там наемные, и то иностранцы, которые и остались в своей земле. Что бы ни было, а старый наш барин был для всех мудреною задачей: все дивились, ломали себе голову, а настоящего дела, кажется, никто не умел разгадать и до сего дня, тем больше, что по кончине старого барина племянник его собрал и сжег все его бумаги.

Правду сказать, некоторые посторонние люди, и даже на первых порах иные из наших крестьян, решили эту задачу гораздо проще и называли старого барина колдуном. Оно отчасти и простительно глупому их мужицкому разуму. Бывало, когда он прохаживается в длинном и широком своем темно-сером плаще и в шляпе с большими опущенными полями, с толстою своею палкою в руке, то высокий его рост, широкие плечи и грудь, морщиноватый лоб, нахмуренные брови и строгий взгляд заставят вздрогнуть хоть какого смельчака, которому довелось с ним повстречаться. Но только это и было в нем страшного. Хотя голос его был отчасти и утрюм, а речь отрывиста, однако же всякой слышал от него только доброе слово. «Здоров ли ты? не нуждаешься ли в чем?» — были его обычные вопросы, и каждый мог ему говорить о своем горе с твердою надеждой, что слова даром не пропадут.

Заболел ли кто? барин сам, бывало, дает лекарства из домашней своей аптечки и навещает больного. Нужда ли в чем кому? тотчас, бывало, поможет и деньгами, и хлебом, словом: всем, у кого в чем недостаток. Оброку он сбавил с вотчины еще при самом приезде к нам на жительство, и крестьяне, по нашей престолю словице, зажили припеваючи. Одно их сокрушало, что не так часто видали помещика своего, как бы им хотелось: только, бывало, встретятся с ним в поле или в роще; да по воскресным и праздничным дням целым миром хаживали в церковь, потому что он всегда стоял там в уголку близ алтаря, потупя голову, тихо шептал молитвы и порою клал большие поклоны. Напоследок и все крестьяне наши разуверились, что господин их не колдун, а православный христианин, добрый человек и благодетельный помещик. Все, от мала до велика, его любили и благословляли.

Дай Бог ему царство небесное! Меня, семилетнего ребенка, бобыля бездомного, встретил он однажды подле пруда, где я стерег из хлеба насущного чужое стадо гусят и наигрывал на тростниковой дудочке. Не знаю, вид мой или простодушные детские ответы ему понравились; только в тот же самый день велел он меня взять в барский двор и одеть с ног до головы, поручил в надзор и попечение одной доброй старушке, птичнице, и приказал меня водить каждый день в сельскую школу, которую сам он завел и где бывший наш дьякон, человек умный и сведущий, обучал нас, ребятишек, русской грамоте, письму, закону Божию, грамматике и арифметике. С смертью нашего отца старого барина рушилась и эта школа: наследник баринов о ней не заботился, а после него опекуны и вовсе перестали выдавать жалованье дьякону за ученье и деньги на содержание школы. Теперь она стоит там, на площади за церковью, жалким пустырем: уж и углы почти согнили, а кровля давно обвалилась. У меня сердце всякий раз обливается кровью, когда я прохожу мимо: в этом доме пролетели лучшие годы моего детства, там из уроков и наставлений доброго и умного дьякона Лаврентия Савича я узнал гораздо больше, нежели знают в обыкновенном быту крестьянском. Там, после ученья, выхлынем мы, бывало, ребят десятка два из школы; и тут-то пошли разные игры и потехи. И теперь, почти уже на старости, когда вспом-

ню о тогдашнем времени, так дух радуется. Без хвастовства скажу вам, сударь, что я во всем был первым учеником и любимцем Лаврентия Савича, который меня, сироту, отличал от сынков людей зажиточных и почтенных. Все миновалось; все переменялось; благодетель наш, старый барин, и добрый наш учитель, Лаврентий Савич, покоются в сырой земле; благословенный дом науки опустел, и только ласточки да нетопыри гнездятся там, где в прежние годы несколько чистых и беспечных душ внимательно слушали поучения разума и добродетели!

(Повествователь мой, увлеченный своим предметом и растроганный воспоминаниями, вдруг остановился как бы от сильного избытка чувства. Голос его перед концом речи приметно изменился, и крупные слезы выкатились из глаз; самые телодвижения обличали в нем волнение души. Он отер глаза, молчал несколько минут, и потом, успокоившись, попросил у меня извинения в сем приливе чувствительности и продолжал свой рассказ).

Когда ученье мое кончилось, барин взял меня в хоромы. Меня опрятно одели, и вся должность моя состояла в том, что днем я переписывал деловые бумаги, какие случались по вотчине, вносил в счетные книги приход и расход; а вечером, когда глаза у барина утомлялись, призывал он меня и заставлял читать вслух русские книги. Сидя за маленьким столиком с книгою в руках, я часто украдкою взглядывал на старого барина: он обыкновенно или сидел в это время по другую сторону столика в больших старинных креслах с высокою спинкой и штофными подушками, нагнув зонтик на глаза, чтобы свет не беспокоил, и опустя голову на грудь; или прохаживался тихими шагами по комнате, иногда приостанавливался, особливо если в книге что-нибудь ему отменно нравилось, заставлял меня перечитывать сызнова и поправлял, когда я ошибался или не так выговаривал. Он меня отучил от школьного напева в чтении и приучил голосом выражать подлинный смысл того, что написал сочинитель. Во всякое время был он добр и кроток. Говорил мало, и то по большей части в коротких, отрывистых словах. Лицо его неизменно было угрюмо и брови насуплены; впрочем, никогда он не показывал ни гнева, ни нетерпеливости. Кажется, он был сложе-

ния здорового; порою только замечал я, что он переставал слушать книгу, как будто впадал в сильную задумчивость, начинал ходить по комнате скорее обыкновенного; и вдруг, бывало, остановится, подымет глаза кверху с приметною переменой в лице и простенает глухим протяжным стоном словно от нечаянной и нестерпимой боли.

Я не сказал еще вам, что у старого барина был брат. Этот брат вовсе не похож был на доброго нашего господина. Он был старший, и, как говорится, матушкин сынок: он умел вкрасься в доверенность своих родителей так, что они задолго еще до смерти своей выделили ему лучшую часть имения. Эту часть он промотал и для поддержания себя женился на богатой купчихе. *Глупому сыну не в помощь богатство*: брат нашего барина спустил и женино имение; а бедная жена терпела, терпела от его мотовства и непостоянства, так что наконец исчахла и Богу душу отдала, оставя после себя одного сына. Муж, опустив ее в могилу, вздумал размыкивать свое горе за карточным столом. Так он перебивался еще лет семь или восемь. Кончилось тем, что родители от него отреклись и чуть ли его не прокляли. Вот, когда у него почти ничего не осталось и на батюшкины денежки надежды больше не было, тогда он, взяв малолетнего сына, отправился с ним за границу к своему брату. Старый барин, несмотря на все братнины недостатки, любил его, часто помогал ему прежде и обрадовался его приезду; сделав брату дружеское, кроткое увещание, он назначил ему очень достаточную сумму денег для его обихода и сверх того принял его с сыном в свой дом, где они ни в чем не нуждались. Однако же наш молодец не унялся и в чужих краях: месяц или два прожил он, как должно порядочному человеку, а после спознался с картежниками, проигрывал все деньги, которые брат давал ему; выпрашивал еще, и те спускал по зеленому сукну, и под конец до того доигрался, что за неуплату проигрыша плуты картежники так его поколотили, что он через сутки отправился на тот свет. Бог с ним! Говорят, от его беспорядочной жизни и родители его сошли в гроб. Сын его остался на руках у старого барина; и добрый этот дядя заботился о нем как о родном своем детище, отдал его в лучшее заграничное училище и, когда он пришел в возраст, вызвал

его из чужих краев и определил на службу в Петербурге. Все, что касается до баринова брата, рассказывал мне карла Тимоша, который очень был дружен с его камердинером, стариком Тихоном, и не раз слышал от него про все проказы и про все жите-бытье его господина.

Я помню, как Илья Степанович, племянник баринов, приехал к нам впервые посетить своего дядюшку по возвращении своем из-за границы. Он был тогда пригожим и статным молодцем лет осьмнадцати; вид его полюбился всем дворовым людям, и все надеялись, что молодой барыч со временем заменит нам старого нашего барина, будет так же добр, милостив и попечителен. Бойкий и резвый, но вкрадчивый и ласковый, он, так сказать, впился в душу дядюшке своему; и старый барин, казалось нам, был при нем веселее обыкновенного, часто разговаривал с ним об науках и был доволен его воспитанием. Люди подметили только, что когда старый барин давал ему наставления, как жить и как вести себя в свете, тогда Илья Степанович казался рассеянным и как будто бы пропускал мимо ушей слова дядюшкины; но добрый старичок или не замечал того, или приписывал это молодости лет своего племянника.

Скоро Илья Степанович уехал в Петербург, на службу... Видно, уже так Бог судил, чтобы старому нашему барину только и видеть утешения от своего племянника, пока этот был у него на глазах; видно и то, что поговорка: *каков отец, таковы и детки*, почти всегда сбывается. Сперва Илья Степанович с каждою почтой писал к своему дядюшке, после реже и наконец стал писать только тогда, когда ему надобны были деньги. А денег ему понадобилось много, то на то, то на другое: то вдруг ему стыдно стало ездить в столице иначе, как четверкою в карете; то нужно было для поддержания каких-то связей сорить деньгами и ездить на вечера к знатым людям, у которых велась карточная игра. Этого еще мало: он вздумал уверять дядюшку, что ему необходимо должно было принимать у себя графов и князей и для того иметь большую квартиру с богатыми уборами, держать пышный стол,— и мало ли еще каких затей? Старый барин и в половину не верил всему тому; однако же, имея хороший доход при великой бережливости и, может

быть, надеявшись, что племянник его перебесится и с летами будет человеком, ни в чем почти ему не отказывал.

Прошло еще года три-четыре, и в это время старый наш барин переслал Илье Степановичу денег столько, что можно было большое село купить. И чем больше барин посылал, тем неумереннее были доуки его племянника. К этому еще вдобавок, барину нашему прислано было с полдесятка требований на важные суммы, которыми племянник его задолжал разным ремесленникам, поставщикам и другим людям. Наконец наш старик вышел из терпения и наотрез написал Илье Степановичу, что если он не уймется от своего мотовства, то вперед бы не надеялся на дядю. Что ж бы, вы думали, он сделал? Он вышел в отставку, прикатил к своему дядюшке, как снег на голову, и навез ему много множество книг, разных инструментов, нужных для ученого,— словом, всего такого, до чего старик был большой охотник. Лукавый молодец подкрался к нему лисою, вился около него ужом и так успел обморочить старика, что тот перестал на него сердиться и снова рад ему был как доброму. Тогда наш хитрец, видя, что дядюшка снова душу за него готов отдать, признался, что за ним в Петербурге остались еще кое-какие долгишки: безделица, тысяч на тридцать, не больше. Старик похмурился, помигал бровями, потряс головою, поворчал — и заплатил. В то время, как деньги эти отправлялись на почту, я был в бариновом кабинете, делал пакеты к письмам и надписывал их. Илья Степанович тут же находился, целовал руки у своего дядюшки и благодарил его со слезами, которые он (правое слово!), показалось мне, как будто насильно выжимал из глаз.

— Слушай, племянник! — говорил ему старый барин, покачивая головою по своей привычке, — слушай и помни: чтоб этот платеж был последним. Больше я, Бог свидетель! не плачу за тебя ни копейки; и так уж я кругом себя обобрал. Ты знаешь, что я не теряю слов понапрасну; тем больше не призываю имени Божия всуе.

— Дядюшка! милый, бесценный мой родной! — отвечал лукавец, увиваясь около своего дяди, как Иуда, — верьте, что я не подам вам больше никакой причины к огорчению. Отныне вся моя жизнь будет

вам посвящена. Я не оставлю вас ни на минуту, буду покоить, утешать ваши преклонные лета, буду вам нежным, покорным сыном...

— Поменьше обещаний и побольше дела, племянник,— прервал речь его старый барин.— Я не требую, чтобы ты бродил за мною, как тень моя: это было бы в тягость и тебе и мне. Ты человек молодой и не можешь сделаться произвольным отшельником для старого и дряхлого дяди. Довольно и того, если ты будешь иногда облегчать мои заботы по хозяйству и заменять меня там, где долголетняя привычка моя и отчуждение от света мешают мне быть лично.

— По рукам, дядюшка! — молвил Илья Степанович, подняв голову и взглянув в лицо старику с умильною, закрадывающейся в душу улыбкой.— Вы найдете во мне вашего приказчика, поверенного по делам, рас-сильного и все, что вам угодно будет. Вечером я стану вам читать иностранные газеты, книги; мы будем вместе разбирать писателей, рассуждать... Так! я чувствую, что слишком много времени убил на суетность: пора образумиться, пора войти в себя и жить умственною жизнью... И кого мог бы я выбрать лучшим путеводителем, как не вас, уединенного мудреца, узнавшего жизнь и свет долголетнею опытностью и оставившего шум и превратности их без сожаления?

Старик ничего не отвечал. Во всю последнюю речь своего племянника он сидел, опустив глаза вниз, как будто бы присматривался, нет ли на полу какой пылинки, и на губах его заметил я что-то похожее на улыбку. Так молодой хитрец понял его нрав и умел к нему подделываться.

На первых порах старый барин и все его окружавшие должны были поверить искреннему исправлению Ильи Степановича. Он беспрестанно ласкался к своему дядюшке, рассевал его задумчивость разговорами своими и порою веселил его чистосердечными рассказами про свои прежние молодецкие шалости. Старик нехотя, бывало, подчас и рассмеется, чего за ним прежде не замечали. Принимая все на чистые деньги, он не только извинял своего племянника, но даже находил, что шалости и мотовство его были признаком доброго сердца и что молодой человек, с такою откровенностью сознающийся в своих проступках, подает о себе хорошую надежду. Илья Степанович также при-



смастривал за работами, занимался бумагами и поверкою счетов и ездил в город по делам своего дяди. Старик между тем стал меньше показываться, чаще запирался у себя в кабинете, читал или делал ученые опыты с помощью разных машин, которыми и теперь завалена одна комната в опечатанном барском доме. Это не очень нравилось нашим крестьянам, привыкшим хоть изредка встречаться с добрым своим господином: теперь, кто хотел его видеть хоть мельком, тот нарочно проходил мимо садового забора и заглядывал сквозь решетку: там, бывало, старый барин или роется в своих цветниках, или прохаживается тихими шагами по длинной липовой аллее, опуствя голову на грудь и нахлобуча поля большой своей шляпы на глаза. И мне, сударь, признаться, не слишком нравилось ухаживанье да увиванье Ильи Степановича около доброго нашего барина. Теперь меня реже стали призывать в кабинет; все, бывало, Илья Степанович сидит там глаз на глаз с своим дядюшкой, читает с ним да толкует. В этом была моя двойная потеря: и к барину я так привязался, что, не видя его, я как будто не сполна был сыт и доволен; и новые хорошие книги мне не так уже часто доводилось читать, а к ним уже с той поры так я пристрастился, что хоть хлебом меня не корми, только читать заставь. Особливо же любил я читать при старом барине: он хоть изредка скажет, бывало, как будто рассуждая вслух с самим собою, какое-нибудь умное замечание либо пояснение, а это и заляжет у меня в душе. Горевал я и тайком досадовал на Илью Степановича, который у меня словно по клочкам сердце вырывал.

Не надолго, однако, были и радость барина, и мое горе. Не прошло и полгода, как наш молодец соскучился быть все с дядюшкой. Он чаще стал отлучаться из дома, ездить в город и проживать там суток по три и по четыре, иногда и по целым неделям. Тут начали у него проявляться нужды в деньгах, сперва понемногу, а после и побольше; иногда случались даже и маленькие недочеты в барских суммах, и наш Илья Степанович как будто сам дивился тому, что здесь он переплатил лишнее, а там не добрал. Старый барин сперва смотрел на все это сквозь пальцы; но под конец стал и посерживаться. К этому еще начали до него доходить жалобы, что крестьянским девушкам и при-

гожим молодлицам не было житья от докук молодого барыча; а у нас, сударь, как вотчина стоит, за памятью старожиллов, этаких проказ от господ своих не выдввали. Старый барин призвал однажды утром в свой кабинет Илью Степановича и, как должно думать, порядком вымыл ему голову: молодец вышел оттуда с раскрасневшимся лицом, с посинелыми и дрожащими губами и взглядом как будто всех съесть хотел. Он тотчас велел запречь лошадей, которых подарил ему барин, и уехал со двора. Три дня мы его не видали, и во все это время также не видали мы отца нашего, старого барина: он заперся у себя в кабинете и не допускал к себе никого, кроме карлы Тимоши.

С тех пор, как говорится, *пошел дым коромыслом*. Илья Степанович перестал притворяться и оказался истинным сынком своего батюшки. Он почти не жил дома и редко видался с дядею; но когда виделся, то умел так подбиться, что старик хоть и сердился на него, а все снабжал его деньгами. Наконец старик решился определить ему годовое содержание; но с тем, чтобы он уже больше не вмешивался в вотчинные дела, не ездил осматривать полевые работы, жил, где и как хочет: дома ли, в городе ли; только бы не требовал от дяди сверх назначенной суммы. Такое условие, казалось, было по сердцу Ильи Степановичу: правду сказать, и сумма была не мала. Но у мота всегда карманы прорваны; и этого, видно, ему было мало. После оказалось, что он нашел услужливых и расчетливых ростовщиков, которые не побоялись давать ему займы деньги в чаянии будущего наследства его, то есть просто по смерть доброго нашего старого барина... Судите, сударь, каково должно быть сердце у человека, который хладнокровно по пальцам высчитывает, сколько дяде и благодетелю его остается еще прожить на свете!

Однажды Илья Степанович уехал из нашего села, и месяца два прожил в городе, даже и не написав ни разу к дядюшке. В это время старик получил из города безыменное письмо, в котором какая-то добрая душа извещала его, что Илья Степанович, проживая в городе, спознался там с одною приезжею чужеземкой, ремеслом комедиянткой, лицом красавицей; о поведении ж ее и говорить нечего. Эта колдунья, сказано было в письме, опоила Илью Степановича приворотны-

ми зельями до того, что он безвыходно жил у нее и даже обещал на ней жениться. Она же ссужала его деньгами на игру и научала всему недоброму. Старый барин, прочитав это письмо, долго ходил один по комнате; после призвал меня и, зная мое к нему усердие, верность и расторопность, дал мне поручение ехать в город, отыскать там слугу Ильи Степановича, расспросить его осторожно обо всем и, если можно, самому пробраться в дом помянутой красавицы, высмотреть и выведать, что там делалось, и обо всем донести барину. Поручение это велел он мне держать в тайне и ни с кем из дворовых наших людей не говорить ни об нем, ни о письме, присланном из города.

Рано поутру поскакал я на лихой тройке. Приехал в город, отыскал я Авдея, служителя Ильи Степановича. Малой этот был из нашей деревни, и мы были дружны между собою. Авдей со слезами рассказывал мне о проказах своего господина и о том, какую власть взяла над ним окаянная чужеземка.

— Ведь барин мой, кажется, вовсе не прост,— говорил Авдей,— а перед нею он сущий теленок. Вот истинно змея подколодная! зла, горда, своенравна, как будто знатная барыня: коли что не по ней — куда! раскричится тебе, хоть святых вон неси. Уж пусть бы что было путное, а то, хоть барин и называет ее итальянкой, да мне все сдается, наше место свято! что она жидовка проклятая.

— Послушай, Авдеюшка,— сказал я ему,— как бы мне своими глазами увидеть эту птицу?

— Это легко сделать,— отвечал он.— Приходи ко мне нынче вечером; мы засядем с тобою на кухне, куда она поминутно выбегает то заказывать, то либо иное, то браниться с кухаркой, то посылать меня из одного конца города в другой. Не бойся: барина дома не будет, он в это время уезжает к своим приятелям картежникам; а если она спросит, что ты за человек, скажи: портной либо сапожник, пришел ко мне за господским делом,— ну, солги, как умеешь.

Так я и сделал. Вечером, когда мы с Авдеем сидели и разговаривали вполголоса, а кухарка стряпала что-то у очага и ворчала себе под нос,— вдруг вбежала высокая и статная женщина лет двадцати пяти. Авдей тихонько меня толкнул, мы встали, и я поклонился

этой самозванке барыне, на вопрос ее отвечал, что я такой-то ремесленник, и она оставила меня в покое. Зато напустилась на кухарку, залепетала, как сорока, дурным русским языком: и то худо, и другое не доварилось, и третье пригорело; а только кухарка разинула рот, глядь — и пощечина! Во все это время смотрел я искоса на бешеную красавицу. Подлинно, сударь, она была красавица: большие черные глаза, которые словно жгли того, на кого смотрели; волосы, как смоль, затейливо распущены были по плечам и вились самородными кудрями; лицо полное, немного смуглое, но зато с самым живым румянцем; алые губки, пухленькие щечки, прекрасный носик... короче вам сказать, сударь, и в картинах редко увидишь такую красавицу. И лицом и нравом была она суцая царь-девица, о которой рассказывается в наших русских сказках: так же упряма, причудлива и такая ж охотница властвовать.

Возвратясь из города, я пересказал старому барину все, что видел и слышал. Он слушал молча, потряхивал головою, пожимал плечами и кусал себе губы; кажется, донесение мое очень его огорчало. Однако ж он ничего еще не начинал и оставил все дело до поры до времени.

Через неделю после того приехал Илья Степанович и пошел прямо в кабинет своего дядюшки. Что они там говорили, никто не знает; только через полчаса Илья Степанович выбежал оттуда зверем: все его составы дрожали, и лицо было словно у Каина; страшно было на него взглянуть, особливо встретиться с его взглядом: так глаза его налились кровью от бешенства и судорога подергивала все жилы в лице. Он остался, однако же, в доме, но обедал особняком; а старый барин никого к себе не пускал и никому не показывался, кроме своего карлы, который один всегда имел к нему доступ. На другой и на третий день было то же. Илья Степанович, несмотря на осеннюю пору и на то, что уже листа не оставалось на деревьях, бродил все эти дни по полям один, как перст, и возвращался только тогда, когда все в доме спало. Карла Тимоша говорил, что во все эти дни старый барин беспрестанно ходил по комнате, стонал чаще обыкновенного, жаловался на нестерпимый жар и как будто заговаривался.

На четвертый день Илья Степанович, увидев карлу, подозвал его, спросил о здоровье своего дяди, и узнав то же самое, прибавил: «Пойди, доложи дядюшке, что я хочу с ним еще однажды переговорить; больше я его беспокоить не стану». Минуты через две карла вышел сказать, что старый барин согласен был принять своего племянника. Илья Степанович пошел в кабинет с каким-то сильным раздумьем; а лукавый карла, любопытный от природы и от нечего делать, приставил ухо к двери и начал подслушивать разговор старого барина с его племянником. Сначала (как Тимоша после нам рассказывал) говорили они тихо, так что нельзя было порядочно расслышать. У Ильи Степановича вырывались только кое-какие слова о женитьбе, о согласии, о благословении, на которые старый барин отвечал только: нет, — не хочу, — не даю согласия. Погодя немного, Илья Степанович, разгорячась, сказал громко:

— Так вы не соглашаетесь на мое счастье?

— Я не соглашаюсь на твою погибель, жалкий молодой человек, — отвечал старый барин. — Какого счастья надеешься ты с этою женщиной?

— Дядюшка! бесценный дядюшка! не губите меня, осчастливьте вашим благословением! — выкрикивал племянник, став перед дядей на колени и рыдая, как ребенок. — Что же делать! Если это заблуждение, то оно мое: никто от него не пострадает.

— Неправда, друг мой! целая вотчина может от него потерпеть. Ты знаешь, я люблю крестьян моих, как детей, весь остаток моей жизни посвящаю на то, чтоб упрочить их благосостояние, а тут...

— Кто же вам сказал, что они будут несчастны?

— Мое сердце и долговременная опытность... Впрочем, друг мой, ты слышал последнее мое слово и знаешь, что я отменять его не люблю.

Карле послышалось, что в эту минуту Илья Степанович глухо проревел, как будто бы стараясь утаить в груди своей или проклятие, или грубое слово. Он встал на ноги и спустя несколько минут сказал:

— Так мне остается воспользоваться правом, по которому каждый в мои лета властен располагать собою, своими делами и поступками.

— Можешь, друг мой, — отвечал ему старый барин. — Но знай, что и я воспользуюсь своим правом: устранить тебя от наследства по законным причинам,

отпустить крестьян моих на волю и отдать им все мои земли...

Снова послышался такой же глухой рев. Погодя немного, Илья Степанович вышел. Карла, притаясь за дверью полутемного коридора, из которого был ход в баринов кабинет, не мог рассмотреть, что делалось на лице баринова племянника; но видел, что он судорожно сжимал кулаки и слышал какой-то невнятный шепот его. Карла заметил также, что старый барин был грустнее и молчаливее обыкновенного, все ходил по комнате, часто поднимал глаза к небу и шептал что-то, как будто молился или спрашивал у Бога в чем-нибудь отпущения. Перед вечером вышел он в сад и прохаживался по липовой аллее до самых сумерек. Мы все подошли к окнам и смотрели вслед за ним. Три дни уже перед тем мы его не видали. Казалось, каждый из вас хотел на него теперь взглянуться. На нем был широкий и длинный его серый плащ, большая шляпа с опущенными полями, а на ногах плисовые сапоги.

Илья Степанович и в эту ночь поздно возвратился домой; барин уже тогда лег спать. Карла Тимоша, которого комнатка была в коридор, подле бариновой спальни, сказывал, что, раздев барина, он долго слушал у дверей, и ему слышалось, что добрый наш господин часто и тяжело вздыхал, иногда из глубины души говорил: «О, Господи помилуй!» — и поворачивался с боку на бок, как будто бы чувствовал себя нездоровым. Наконец он, по-видимому, заснул: все утихло, и карла отправился в свою комнату.

На другой день, около семи часов утра, время, в которое старый барин обыкновенно просыпался, карла стоял у его дверей и дожидался, когда он позвонит. Пробыло семь часов: нет звонка. Долго стоял еще карла, дивясь, что барин так заспался, и думая, что тому, может быть, причиною была вчерашняя долговременная бессоница. Но вот и восемь часов пробыло, а звонка все еще не слышно. В больших стальных часах, стоявших в гостиной, застучал будильник, от которого все в доме просыпалось; а барин все еще спал. Карла Тимоша был от природы нетерпелив; он начал стучаться в дверь и кричать: «Барин, барин!» Ответа не было. Тогда он выбежал к нам в переднюю, сказал нам свои опасения о здоровье старого барина и позвал нас

с собою, чтобы, в случае нужды, подать общими силами помощь или послать поскорее за лекарем. Мы остановились в коридоре, а карла отпер дверь и вошел в спальню. Но едва вошел, как мы услышали его дикий, пронзительный крик. Мы все бросились туда... Господи, Боже мой! на полу валялась кровавая подушка, кровь запекалась на простыне, и барин, наш добрый старый барин, лежал в постеле с перерезанным горлом! Крик, плачь и рыдания наши раздались по целому дому. Вся дворня сбежалась, и всякой, кто лишь взглянул, начинал выть, как по отце родном. Долго мы не могли опомниться; наконец, когда пришли немного в себя, начали осматривать... Руки старого барина были сжаты кулаками и притиснуты к груди; подле правой руки, на груди, увидели мы роковую бритву... Тут только догадались мы, что не было с нами Ильи Степановича. Побежали сказать ему страшную весть. Он вошел полуодетый, затрясся, зарыдал и упал на тело своего дяди... Все, тут бывшие, отвечали на его плач единодушным громким воем, как будто бы впервые узнали всю горесть невозвратной своей потери. Должно сказать, однако, что Илья Степанович не вовсе потерял голову. Когда мы оттащили его от тела барина и привели в его комнату, он потребовал чернил и бумаги, сел и сам написал объявление в суд, которое тотчас и послал с конным гонцом в город. Между тем не велел нам трогать тело его дяди, строго подтвердил, чтобы все осталось в том виде и на том месте, как было, когда мы в первый раз вошли в спальню, и, выслав из нее всех нас, замкнул и запечатал дверь и поставил сторожей у дверей и окон спальни. Конча все сии распоряжения, он ушел в свою комнату и заперся в ней до приезда судовых и лекаря.

На другой день поутру прискакали к нам на трех тройках господа судовые. Тут были: капитан-исправник с двумя заседателями и секретарем, стряпчий, лекарь и два писца. Мне надобно описать вам этих господ, чтобы вы яснее могли видеть, как проводилось у нас следствие над телом покойника. Тогдашний капитан-исправник наш был человек лет тридцати двух и слыл первым уездным щеголем и танцовщиком. Батюшка его — не тем будь помянут — проходил в губернии разные должности от самых нижних чинов до председателя не помню какой палаты и нажил посиль-

ными трудами деревушку душ в триста, большой дом в городе да денег столько, что и внукам его, думаю, осталось на безбедное прожитье. Сына своего вздумал он вывести в люди, воспитывал его, как ему казалось, приличным для светского человека, и успел в том совершенно: сынок его лепетал по-французски, танцевал без устали, наряжался, как куколка, увивался около всех богатых невест, погуливал с молодежью и переметывал в карты. Служил он без году неделью в военной службе, вышел в отставку подпоручиком, и тут-то батюшка его хлопотал, чтобы дворянство выбрало сынка его в приличную должность, уважая заслуги его и пролитую за отчество кровь, которой, между нами сказать, он не слишком много потратил, потому что и на войне не бывал. Его и выбрали в капитан-исправники. Батюшка дал ему наставление, как вести себя, и сынок точно вел себя по наставлениям батюшки: набивал карман, где только находил к тому случай, угождал знатым и богатым, и подчас прижимал того, с кого надеялся побольше сорвать. Однако же я все скажу, что он был не столько злой человек, сколько ветреный, и не будь у него такого родителя, он, верно, был бы вдесятеро лучше. Попить, погулять, попрыгать на вечеринке — его было дело и как будто главная его должность: по службе же должность свою исправлял он на досуге, то есть когда негде было повеселиться.

Оба заседателя выбраны были из мелкопоместных дворян, служивших когда-то в губернских присутственных местах. Оба они считали, что в должность люди выбираются для того, чтобы не *сидеть сложа руки и не щелкать зубами с голоду*. Так, может быть, сударь, и теперь и еще многие думают по уездам и в сельских захолустьях. *Сидеть сложа руки* не значит у них: не делать ничего по обязанностям службы; нет! здесь подразумевается: не протягивать рук за взятками. Я в старые годы читывал презабавную комедию «*Стряпчий Щечило*»; без дальних объяснений скажу вам, что это было бы самое приличное имя для тогдашнего нашего стряпчего. Лекарь был человек молодой, напился за границею тогдашнею модною мудростью, и для него, кажется, все было равно: вылечить ли человека, отправить ли его на тот свет,



лишь бы в том или другом случае предвиделись выгоды для него самого.

Но самое злое зелье был секретарь, Тит Панфилович Кощев. О прозвище его все говорили: *по шерсти собаке клочка дана*. Уж подлинно был он при рождении в чернилах выкупан и шпаргалой повит; этакого крючка свет не производил. В присутственном месте, где он служил, прослыл он *лихим дельцом*, и лихой делец поддерживал свою славу как нельзя лучше: где покривить душою, где криво перетолковать законы — его подавай. Он был сух, в чем душа держалась, словно весь был скомкан из архивной пыли. Ростом был он невелик и от природы или по привычке сутуловат, так, что когда он стоял и держал голову, нагнутую вниз, то лопатки у него были почти в уровень с ушами. Лицо у него было, как сушеный гриб, смугло-желтого цвета; под седыми, навислыми бровями бегали и светились, как у ехидны, два маленькие глаза. Голос у него был чахлый и перемежался удушливым кашлем; а длинные, сухопарые пальцы на руках его были истинным подобием перьев, выкинутых из чернильницы под стол, где они пересохли и съжились.

Два мелкие чиновника, приехавшие с ними, были тоже, как говорится, *крапивное семя*. Везде, где только видели они случай к поживке, пальцы их сгибались сами собою, как будто бы готовились ловить взятки на лету.

Когда они приехали, Илья Степанович вышел к ним с спокойным видом и красными, как от слез, глазами. Люди заметили, что он долго о чем-то разговаривал по-французски с капитан-исправником и лекарем; стряпчий и секретарь, стоя поодаль, потирали себе руки, как будто от холода. Заметили также, что когда спальня покойного барина была отперта и когда Илья Степанович подошел к телу, то свежая кровь пробилась из запекшейся раны и потекла алою струею. Илья Степанович почувствовал кружение в голове и сказав, что не может видеть своего дядю и благодетеля в этом страшном виде, вышел из спальни. Лекарь принялся свидетельствовать тело и объявил, что рана не могла быть нанесена постороннею рукою; что разрез показывает свободное действие руки, сделавшей оный; что насильственным образом, то есть чужими руками, нельзя было бы начать его с этой стороны, выбрать

так удачно промежутки между позвонками горла и с одного раза кончить, как он называл, всю операцию.

— Из наблюдений моих над раной, я вижу, господа,— прибавил он, обратясь к капитан-исправнику, стряпчему и секретарю,— что человек, принимавшийся за эту операцию, должен был иметь основательные познания в анатомии. Нам известно, что покойник был человек ученый и, вероятно, знал анатомию. Из этого я заключаю и прошу вас мнение мое внести в дело о следствии, что никто иной, кроме его самого, не мог совершить операции сей так ловко и удачно и что, следовательно, он сам на себя наложил руки.

— Мнение ваше будет принято к делу в подлежащем виде, почтеннейший,— сказал сухощавый секретарь, закашлявшись,— из наводимого же следствия, обысков и показаний увидим мы, кто был истинною виною реченного преступления.

— А вследствие того и подлежит учинить строжайшее разыскание и привести к допросу всех дворовых людей,— прибавил стряпчий.

Капитан-исправник подозвал одного из нижних чиновников, пошептал ему что-то на ухо, и вслед за тем всю нашу дворню собрали в столовую комнату. Нас поставили рядом у стены, а гр. судовые сели по чинам за большим столом. Перед каждым писцом положено было по целой дести бумаги, по несколько перьев и поставлено по чернильнице. Позвали Илью Степановича и пригласили его сесть за столом против судей. Капитан-исправник, учтиво извиняясь перед ним, сказал, что по судебному обряду должно было от него первого отобрать показания. Илья Степанович смутился, и на лице его показалось какое-то беспокойство; но ловкий капитан-исправник и уклончивый стряпчий старались его успокоить, говоря, что это делалось для одной только формы.

— Скажите нам, в каком положении видели вы в последний раз вашего дядюшку? — спросил у него капитан-исправник с ободрительною улыбкой.

Лицо Ильи Степановича вспыхнуло. Он молчал минуты две и потом отвечал:

— Я нашел его не очень здоровым.

— Не говорил ли он о близкой своей смерти или чего-нибудь на это похожего?

— Нет! — отвечал Илья Степанович с каким-то уси-

лием и как будто вздрогнув,— он говорил только мне, что по смерти его... я буду его наследником...— Остальные слова пролепетал он торопливо, как будто бы боясь проговориться.

— Довольно! — сказал капитан-исправник.— Мы видим, что вам тягостно говорить о недавней вашей потере, о потере родственника, который заступал вам место отца. Притом же, зная ваш ум и горячую любовь к нему, он и не мог бы вам открыться, потому что вы приняли бы тотчас должные меры.

— Нет ли у вас на кого подозрения? — прибавил стряпчий с предательскою ужимкой.— Я вижу здесь у иных из дворовых людей такие лица, что, признаюсь, не вовсе бы им доверился.

— Я никого не подозреваю,— тихо проговорил Илья Степанович, опуская глаза к помосту.

— Позвольте нам, однако ж, порасспросить их,— молвил капитан-исправник,— и если вам тягостно быть при этом неприятном следствии, то вы можете уйти отсюда.

Илья Степанович встал, поклонился судовым и вышел из комнаты нетвердым шагом. Лицо его было бледно и глаза мутны. Этого, может быть, никто не заметил; но или мне показалось, или оно точно так было. Совесть моя была чиста: и потому я спокойно смотрел на всех и замечал все, что делалось во время нашего допроса.

По уходе молодого нашего господина капитан-исправник молвил, обратясь к стряпчему и лекарю:

— Как заметно, что смерть дяди сильно его поразила! Бедный молодой человек! с такою душою, с такими благородными чувствами, быть свидетелем страшной гибели родственника, которого он столько любил! Я, право, искренне о нем жалею.

Стряпчий и лекарь подали головою знак, что и они то же думают; при чем первый из них сделал губами странную ужимку, которую мне трудно было растолковать. После того капитан-исправник, по соглашению с стряпчим, обратясь к секретарю, сказал ему:

— Тит Панфилович! мы знаем, что лучше вас никто не производит дел, особливо следственных; и потому мы просим вас потрудиться снять допрос с этих людей. Кому неизвестно, что даже самая тень уголовного

преступника не укроется от пронизательных глаз ваших?

— Готов служить по чистой совести, милостивец! — отвечал секретарь. — Ну-ка, благоприятели, подступите сюда, — продолжал он, оборотясь к нам. Мы все подошли, и секретарь, указав на карлу Тимошу, молвил: — Подойди-ка ты поближе, мой красавец!

Карла Тимоша был нрава грубого, упрямого и дико-го. Родившись, так сказать, уродцем, он крайне сердился, когда ему напоминали об его безобразии. Никогда он не оставался в долгу за какое-либо неприветливое слово и подчас умел дать такой ответ, от которого уши горели у того, кто его затрагивал. И в этот раз он нахмурил брови, злобно взглянул на Тита Панфиловича и сказал:

— Красавец! мы с тобою, кажется, в этом не выдадим друг другу, и добрые люди не скоро, думаю, решат, которая из двух наших образин пригожее: твоя ли, чахлая, или моя, пухлая?

Все судовые не могли удержаться от смеха; секретарь же в это время так сильно закашлялся, что чуть было не покатился со стула. Оправясь, он сердито посмотрел маленькими, беглыми своими глазами на карлу, который с своей стороны уставил на Тита Панфиловича большие свои, оловянного цвета глаза на выкате.

— Красавец ли, урод ли ты, по мне все равно, — сказал секретарь с досадою, — дело не в том; а изволька сказывать, приятель, кто и каким образом лишил живота твоего господина?

— Каким образом! он зарезан бритвой, — угрюмо отвечал карла. — А кто его зарезал, — почему я знаю? Я при том не был.

— Да и мы не знаем, был ты или нет, — сказал секретарь строгим голосом, — об этом-то тебя и спрашивают.

— Я сказал уже, что не знаю, — отвечал карла по-прежнему и повернулся, чтоб идти прочь.

— Стой, стой, дружок! — закричал Тит Панфилович, — этак ты у меня не отвертишься. Сказывай, что ты знаешь о смерти барина?

— Я знаю, что он умер, и не своею смертью, — отвечал карла, оборотясь к секретарю и не сходя с места, —

знаю, что тело его до сих пор не погребено, по вашей судейской милости... Больше я ничего не знаю.

— Так ты ничего не хочешь показать?

— Мне показывать нечего: все тут.

— А если мы так, слегка порасспросим тебя в особой комнате, с порядочным запасом березовых вопросов?

— Тогда я стану молить, чтоб еще пуще скорчило горбатую твою спину и притянуло тебя коленями к носу,— отвечал карла твердым голосом и снова стал как вкопанный. Все судовые, кроме секретаря, опять засмеялись.

— Не прикажете ли сделать маленькую попытку? — сказал секретарь, оборотясь к капитан-исправнику, стряпчему и заседателям.

— Нет, это не нужно,— отвечал капитан-исправник, мигнув бровями догадливому секретарю.— По всему видно, что этот малый спал мертвым сном во время известного уголовного происшествия и ничего не слышал. Расспрашивайте других людей.

Секретарь принялся каждого из нас допрашивать поодиночке: как жил, как вел себя старый наш барин в последнее время; и из наших показаний все судовые, опираясь на свидетельства и заключения лекаря, согласно решили, что старый барин перед концом своей жизни помешался в уме и что он самопроизвольно прекратил дни свои. Приказано нам было положить его в простой дощатый гроб и, как самоубийцу, похоронить без священника и церковных обрядов не на кладбище, а в глухом месте, на выезде из селения. Конча свое дело, господа судовые пошли проститься с Ильёю Степановичем и объявить ему, что скоро снова приедут ввести его во владение оставшимся после дяди наследством. Лукавый карла подкрался следом за ними, притаился у неплотно притворенной двери и после нам сказывал, что видел своими глазами, как Илья Степанович, прощаясь с судовыми, дарил каждому из них какую-нибудь дорогую вещь на память об его дяде и благодетеле; а секретарю, отведя в сторону, дал ему пребольшую кипу ассигнаций.

Грустно нам было слышать, какой приговор сделали судьи над телом отца нашего старого барина; грустно было и подумать, что его, как самоубийцу, должно было предать земле с поруганием без священника и

даже не на кладбище с православными, а вдали от христианского места вечного покоя, как беззаконного еретика или чародея богоотступного. Долго мы не решались, что начать. Наконец мы все, дворовые, пошли на совет к нашему священнику, отцу Дмитрию, старичку умному, доброму и кроткому. Отец Дмитрий со слезами сказал нам, чтоб мы исполнили приказание господ судовых, иначе-де навлечем на себя наказание за ослушность; и прибавил, что сам он будет поминать в молитвах своих отца нашего, старого барина, но хоронить его по обряду церковному не смеет. Нечего было делать! Мы обмыли тело, очистили всю запекшуюся на нем кровь, повязали на шею толстый галстук, чтоб не было видно страшной раны, нарядили отца нашего в лучший мундир его и положили в гроб, который сделали для него свои же столяры. Чудное дело, сударь! Лицо покойника, дотеле посинелое и являвшее ужасные следы мучения, вдруг просветлело белизною и каким-то дивным спокойствием! Казалось, уста его хотели кроткою улыбкой отблагодарить нас за усердие к нему, сопровождавшее отца нашего даже за пределы могильные!

Оконча все приготовления, мы пошли доложить Илье Степановичу, что тело готово к выносу. Новый наш господин по отъезде суда не выходил из своей комнаты. Мы нашли его в великом смятении: от горести ли, от другой ли какой причины, не можно было дознаться. Он сказал нам, что тяжкая его потеря и скорбь совсем его расстроили, что он чувствовал себя не в силах провожать тело своего дяди, и поручил нам самим исполнить долг погребения. Вышед от него, мы собрались в комнате покойника. Я взял молитвенник и прочел молитвы на отход души. Слезы мешали мне читать, и рыдания всех дворовых людей и многих крестьян, столпившихся в комнате и в коридоре, заглушали ослабший и дрожавший мой голос. По окончании молитвы мы отдали последнее целование отцу нашему старому барину: отдали телу его по три поклона и целовали его в чело и в руки. Сердца наши разрывались, словно у каждого из нас душа разлучалась с телом. Добрый, неоцененный наш барин! Никто из родных не отдавал ему последнего долга, даже наследник, воспитанник, усыновленный им, отказался провожать его тело в могилу! Одни верные сердца его

служителей, одни благодетельствованные им крестьяне и бедные проливали горькие слезы над холодным его прахом!..

Простяся с телом, мы подняли гроб на одрец и понесли его на своих плечах. Все дворовые люди и крестьяне условились нести его посменно до места погребения, назначенного под лесом, в котором старый наш барин любил прохаживаться. Там, в стороне от большой дороги, вырыта была для него одинокая могила между трех деревьев, растущих вместе. Я был из первых, поднявших тело, и с товарищами донес его до церкви; после пошел за гробом. Рядом со мною шел карла Тимоша. На третьей смене, начавшейся уже за селением, я призадумался и, печально опустя голову, шел тише и поотстал от гроба. Вдруг карла тронул меня рукою и указал вперед... Волосы стали у меня дыбом и все составы задрожали... Там, сударь... верьте или нет, только я видел своими глазами, видел, как вас теперь вижу... Там шел сам старый барин, точно в том образе, как мы накануне видели его в саду: в широком и длинном темно-сером плаще, в большой шляпе с опущенными полями и в плисовых сапогах... То был его рост, его походка; также голова его нагнута была вниз, также лицо закрыто полями шляпы... И теперь еще судорожный трепет бьет меня, когда об этом вспомню. Робко оглянулся я назад: там уже почти никого не было: другие то же видели, и страх разогнал всех, кроме трех или четырех самых усердных к старому барину, да двух слепых нищих, которые ничего не могли видеть. Несшие гроб, не оглядываясь назад, также ничего не видели и потому шли спокойно вперед. Я и карла Тимоша, однако ж, остались: нам казалось, что покойник на нас прогневался бы, когда б мы поддались овладевшему нами страху. Мы шли, потупя глаза в землю, и только изредка осмеливался я взглянуть исподлобья вперед... Он все шел тихим, мерным шагом вслед за гробом, и казалось, кроме хода ног, не было в нем никакого другого движения: тело его как будто несло по воздуху, нисколько не пошатываясь и не склоняясь в какую-нибудь сторону, как живые люди, даже ни травинка не пригнулась, ни следа не оттиснулось там, где он проходил.

Третья смена донесла гроб до самой могилы. Люди,

бывшие в этой смене, сказывали после, что гроб показался им чрезвычайно тяжел, как будто наполнен был свинцом. Когда пришло время опустить гроб, я взглянул вперед — но привидения уже не было. Никто не видел, куда оно скрылось. Дрожащим голосом прочел я опять несколько молитв. Каждый спешил зарывать могилу, и мы в молчании, с тоскою и страхом разошлись по домам.

Во весь тот день Илья Степанович никому не показывался. На другой день поутру позвал он к себе карлу Тимошу, к которому оказывал больше милости и доверия, нежели ко всем другим служителям покойника, и расспрашивал у него о погребении своего дяди. Карла рассказал ему все и когда дошел до страшного видения, которое нам явилось, то заметил, что лицо нового нашего господина вмиг искривилось как будто от сильной судороги, ресницы и даже глаза его начало подергивать, и карла слышал даже, как зубы его застучали одни о другие. Вслед за тем он захохотал, но так, что у карлы в душе похолодело: это был смех отчаяния, смех, который горьче плача.

— Ты пошутил, маленький человечек: признайся, этого не было... — сказал Илья Степанович с прежним смехом, облокотясь на ручку кресел и подперши голову кулаком, который дрожал у него как в лихорадке.

— Бог свидетель! я видел это, и другие видели, — отвечал карла, перекрестясь.

— Ты и другие, все вы люди суеверные... вздорные выдумщики небылиц!.. — подхватил с сердцем Илья Степанович. — Но слушай: помни сам и скажи другим, чтоб никто не смел разглашать этих глупостей... Не то — вы меня еще не знаете! — Он стиснул зубы и засверкал глазами.

Погодя немного, он начал говорить с карлой гораздо приветливее, даже был к нему ласков, обещался заступить нам и всей вотчине отца нашего, старого барина, и кончил тем, что ему надобно было ехать в город по делам, не терпящим отсрочки. Он приказал тот же час заложить себе коляску, замкнул и опечатал кабинет и спальню старого барина и, поруча управителю смотреть за домом, ускакал в город.

В первую ночь по отъезде Ильи Степановича я, карла и другие комнатные служители остались ночевать в барских покоях. Около полуночи на нас напал такой



страх, что у каждого зуб на зуб не попадал от дрожи. Никто не мог выдержать: все мы опрометью бросились из комнат и упросили управителя запереть их до приезда барина.

Илья Степанович прожил в городе больше двух недель. Когда он приехал, управитель и все мы дожидались в передней. Он позвал управителя, меня и карлу Тимошу, отпер кабинет старого барина, собрал и пересмотрел все бумаги покойника и сжег все до одной его рукописи, за исключением необходимых вотчинных бумаг. После того ушел в свою комнату и заперся в ней. Мы заметили, что он очень похудел и был бледен, как полотно. Слуга его Авдей сказывал нам, что в городе Илья Степанович как будто насильно старался рассеять себя от какой-то тяжкой кручины. Он все ночи напролет просиживал с своими приятелями, в разговорах или за картами, и спал только днем по нескольку часов. «Каждую ночь, — прибавил Авдей, — замечал я, что около полуночи барин вдруг становился беспокойнее, оглядывался, посматривал на дверь; а как скоро на часах пробьет половину первого, он вздрагивал и вскакивал с места».

Скоро по приезде Ильи Степановича прискакали снова и гг. судовые для введения его, как ближайшего и единственного наследника своего дяди, во владение поместьем и всем движимым и недвижимым имением покойного. На этот раз новый наш барин пышно угостил их, и за ужином или, лучше сказать, за попойкой просидели они почти всю ночь. Наслышавшись от Авдея, мы стали посматривать на Илью Степановича около полуночного времени; в самом деле, он начал как будто тревожиться, вздрагивать, поглядывать на дверь и бледнеть пуще прежнего. Едва ударило половину первого — вдруг что-то хряснуло на кровле с необыкновенною силой, словно весь дом переломился пополам; в тот же миг боковая дверь из столовой во внутренние комнаты сама собою отперлась и тихо распахнулась на петлях. Илья Степанович, ни жив, ни мертв, мутными, оцепенелыми глазами взглянул в ту сторону; все гости и служители тоже взглянули туда: в комнате, куда вела эта дверь, было темно, и никому из нас ничего оттуда не казалось; однако же никто не смел тронуться с места, чтобы притворить ее. Между тем Илья Степанович все смотрел туда с полукоткры-

тым ртом и посинелыми губами, без всякого движения и как будто без жизни. Спустя несколько минут капитан-исправник первый вышел из онемения, велел слуге притворить дверь и, налив по бокалу шампанского себе, другим чиновникам и Илье Степановичу, громко вскрикнул: «Здоровье нового помещика!» Илья Степанович вздрогнул при этом слове и, оборотясь к столу, взял бокал; капитан-исправник чокнулся с ним, и все они разом выпили. Сколько, однако же, ни старались капитан-исправник и все гости развеселить Илью Степановича, сколько ни рассказывали забавных и смешных побасенок, сколько ни пили, ни шумели,— барин наш все был по-прежнему мрачен, задумчив и молчалив: какая-то смертная тоска, словно черная туча, тяготела у него на душе.

На другой день судовые разъехались, получа от Ильи Степановича новую благодарность, то есть новые и очень богатые подарки за труды свои. Господин наш тоже хотел уехать в город; но, почувствовав необычайную слабость во всем теле, принужден был остаться. На третий, на четвертый и во все прочие дни всегда встречалось ему какое-либо непредвиденное препятствие к отъезду. Он стал робок, молчалив и подозрителен; боялся всякого шороху, прислушивался к каждому слову, поминутно спрашивал торопливо: «что, что такое?», словом, был как сам не свой. По ночам,— чего прежде за ним не бывало,— велел он карле Тимоше ложиться в своей комнате, зажигать в ней по две лампы: одну на столике, а другую перед образом, и сам ложился в постелью почти совсем одетый.

Карла Тимоша рассказывал, что каждую ночь Илье Степановичу виделось что-то страшное. Он вскакивал, садился на постеле и, разбудя Тимошу, указывал пальцем прямо против себя и твердил: «Старик, старик!» Волосы у него подымались дыбом, глаза выкатывались, и все черты лица подергивались, как от корчи. То вдруг торопко взглядывал он себе на руки, начинал то ту, то другую прилежно и крепко тереть одеялом, как будто бы хотел с них что-то счистить, или ломал руку об руку; так что все составы хрустели. То вдруг он хотел бежать вон и останавливался, как окаменелый, с вытянутыми вперед руками и страшным, мертвенным видом. Порою он упал лицом на кровать, зарывал голову в подушки или стискивал глаза руками

и поминутно стонал и охал. Карла Тимоша думал, что у молодого нашего барина падающая болезнь; другие смекали, что по ночам на него находит, и может быть, с тоски по его дяде и благодетеле. Что до меня, сударь, во мне тогда же родилась одна догадка, которой никому не смел я открыть, даже жене своей.

Надобно вам сказать, что и служители не совсем оставались в покое. Ночью, и именно часу в первом, всегда начинался какой-то глухой стук в стене дома, с той стороны, где была спальня покойника старого барина. Стук этот не похож был на удары обухом или другой обыкновенный звук: он токал расстановчато, как часовой маятник по секундам, и отдавался печальным стоном по всему дому. В половине первого кончался он тем же треском, о котором я прежде вам сказывал. И вдруг все двери в покоях отпирались сами собою и что-то как бы проходило мимо людей, спавших повалкой по комнатам: не раз они чувствовали, что на них навевало холодом, словно от длинной и широкой одежды человека, быстро промелькнувшего; впрочем, ни ступи, ни шороха шагов не было слышно.

Так мучились мы почти полгода. Барин каждый день собирался в город и никак не мог выехать, словно какая-то невидимая сила удерживала его в доме. Мы его почти не видали. Не смыкая глаз во всю ночь, он обыкновенно спал или по крайней мере отдыхал днем. Никто к нему не ездил, потому что гг. судовые, перетрусившись сами, разнесли по всем околоткам молву, будто бы в доме у нас является что-то страшное. Может статься, и самих их совесть в чем-нибудь укоряла. Весною Илья Степанович иногда ввечеру садился под окном и безмолвно, с грустным видом смотрел вдоль по аллее, по которой дядя его любил прохаживаться: казалось, глаза молодого нашего барина были прикованы к песчаной дорожке этой аллеи.

Так медленно, однообразно и страшно текло наше время. Голова у каждого из нас кружилась от страхов настоящих и от тайного ожидания вперед чего-то еще ужаснейшего. Если бы кто со стороны взглянул тогда на нашу дворню, то подумал бы, что это или скит кающихся грешников, или скопище преступников, ждущих с часа на час грозного себе приговора.

В один день Илья Степанович неожиданно отпер спальню старого барина, которая оставалась опечатан-

ной с самого возвращения его из города. Он заперся в ней и долго там оставался, так что мы уже начинали беспокоиться. Мы поминутно поглядывали в коридор; но дверь все не отпиралась. Наконец карла прокрался в коридор, приставил ухо к дверям спальни и услышал, что Илья Степанович отмыкал все шкафы, бюро, столовые ящики и, как заметно было, чего-то искал в них. Это нас порадовало и заставило думать, что молодой наш господин начинал заботиться о своих делах и что ум его отвлекался от ночных страхов и мрачных дум. Погодя немного он вышел из спальни с лицом, на котором, как нам показалось, было больше спокойствия и какой-то твердости или решимости. Он снова замкнул спальню покойника, вынул ключ и положил его к себе в карман вместе с какою-то другою вещью почти одной величины, но завернутою в бумагу. Вечером карла сказывал, что Илья Степанович принимался писать; но всякий раз написанную им бумагу раздирал в клочки и сжигал их на свече. Лег он в постелю раньше обыкновенного и не показывал в себе ни прежнего страха, ни тоски, которых он доселе чувствовал с каждым приближением ночи. Карла, утомленный, измученный бессоницею прежних ночей, скоро и крепко уснул. Мы тоже, в надежде, что настанут лучшие времена, заснули спокойнее. Вдруг, за полночь, нас разбудил необыкновенный крик; двери расхлопнулись, и карла вбежал к нам со свечою в страшном испуге. Уродливое лицо его показалось нам еще всотеро отвратительнее, обезображенное страхом. Язык его что-то лепетал, но понять никак нельзя было, потому что губы и колени его тряслись и весь он был словно в муках ужаснейшей пытки. Не в силах быв проговорить явственно, указывал он нам на дверь, из которой ворвался к нам, и вслед за тем упал без чувств на землю. Мы догадались, что должно было что-то случиться с барином, и все опрометью пустились в комнату Ильи Степановича... Представьте наш ужас! Илья Степанович метался на полу с перерезанным горлом... Еще страшное хрипенье в груди его было слышно, и кровь черными клубами била из раны... В окостенелой руке его стиснута была бритва, точь в точь такая же или, лучше сказать, пара к той, которою зарезан был старый наш барин... Тут мы догадались, что

эту самую вещь прятал он в карман, выходя из спальни своего дяди.

Поздно было подавать помощь. Встрепенувшись еще два или три раза, он перестал жить и страдать. Мы заперли дверь этой страшной комнаты и тотчас послали в город с сим роковым известием. Суд приехал снова, свидетельствовал тело, забрал нас в город, допрашивал нас и узнал из показаний карлы Тимоши, что он вдруг был разбужен стуком, как будто бы что крайне тяжелое упало на пол. Карла поднял голову, взглянул — и увидел то страшное зрелище, которое не избавил нас Бог видеть после него. На столе найден лоскуток бумаги; в нем было написано рукою Ильи Степановича: «В смерти моей никого не обвиняйте; я сам произвольно прекращаю дни свои...» Остальное было оторвано и, как видно, сожжено, потому что подле лампы найден свернувшийся клочек горелой бумаги, до половины рассыпавшейся пеплом.

Нас отпустили и велели нам также без священника и без церковных обрядов похоронить молодого нашего барина, как и старого. Мы приготовили для него могилу почти в том же месте, недалеко от могилы его дяди. Но, сказать ли вам, сударь? Никто из дворовых людей и крестьян вотчины не хотел нести на своих плечах его тела до могилы: все в один голос отказались. Мы укрепили доски на каретном ходу, покрыли их черным сукном, поставили на них гроб и, запрягши в дышло четверку вороных господских лошадей, повезли гроб к назначенному для погребения месту. За гробом шло очень немного: управитель, я, карла Тимоша и еще несколько дворовых людей. Лошади, как будто чуя свою ношу, опустили головы вниз и шли тихим шагом. Когда мы выбрались за деревню, я и карла Тимоша, как будто по невольному движению, взглянули вперед... И что же?... вслед за гробом опять шел тот же призрак в широком и длинном темно-сером плаще, в шляпе с большими опущенными полями и в плисовых сапогах... Словом, сам покойник наш старый барин провожал в могилу своего племянника, в ранних годах прекратившего жизнь свою... Не умею вам пересказать, что мы чувствовали. Мы обомлели; смертный холод, казалось, сжимал у нас грудь и отнимал дыхание. Но, как привязанные к гробу какую-то непонятною силой, мы не могли податься назад и шли

по следам страшного призрака. Так же, как и прежде, он не показывал движения и жизни и как будто бы не шагал, а скользил перед нами. Когда гроб доведен был до могилы, тогда призрак понесся вправо, к тому месту, где был погребен старый барин, и исчез между тремя деревьями.

Не я один, сударь,— все видели его; но никто не смел уйти, как в первый раз. Всякому казалось, что он заступил бы ему дорогу; и когда мы, засыпав землю гроб Ильи Степановича, возвращались домой, то каждому мерещился страшный мертвец, выпешдый из могилы и бродящий по земле в образе нашего старого барина. Долго еще представлялся он нам ночью в сновидениях, так живо, как мы его видели наяву, и тяжко перерывал глубокий наш сон.

## ПОЧТОВЫЙ ДОМ В ШАТО-ТЬЕРРИ

*Из рассказов путешественника*

...Дорожная моя коляска изломалась, по милости почтальона, которому обещано было лишнее на водку. Подъезжая к Шато-Тьерри, этот проворный и говорливый француз вообразил себе, что здесь-то ему и надобно было отличиться: захлопал бичом, погнал лошадей; а между тем поминутно оглядывался ко мне в коляску и рассказывал мне о достопамятностях городка Шато-Тьерри, о том, что он был родиной Лафонтена (*de ce bon Mr. de la Fontaine*) \*, о числе его жителей, о торговле хлебом и мельничными жерновами и пр. и пр. В таких рассказах он без оглядки взлетел на маленький мостик, зацепился колесом за каменные перилы — и ось затрещала и переломилась, подобно как в Иполитовой колеснице. Я, впрочем, был счастливее сего мифологического героя и успел вовремя выскочить из коляски; но верный мой Терамен, или просто русский слугитель, отлетел в сторону и немного ушибся. Нечего было делать. Я оставил моего Терамена присматривать за поклажей и помогать почтальону кое-как приладить колесо, чтобы довести коляску до

---

\* Славного господина Лафонтена (фр.).

Шаго-Тьерри; а сам пошел вперед, ибо до городка было уже недалеко.

Я пришел прямо в почтовый дом и просил у содержателя почты позволения остаться тут до прибытия моей коляски. Хозяин, высокий, статный мужчина лет тридцати пяти, с резкими, но довольно приятными чертами лица и огромными бакенбардами, принял меня с холодной вежливостью. На нем были куртка и панталоны из бумажного канифаса с синими, узкими полосками — платье, в каком мы нередко видим в Петербурге французских моряков, на купеческих судах; на голове круглая лакированная фуражка, надегая с какою-то воинской щеголоватостью. Он сказал мне, что в доме его нет трактира и комнат для проезжих; но что он просит меня войти в комнаты, занимаемые им и его семейством. Я пошел за ним.

В большой комнате, куда он ввел меня, сидел у стола почтенный старик лет семидесяти и завтракал; молодая, пригожая девушка в легком утреннем платье и с свежестью в лице и улыбкой ясного майского утра ему прислуживала. Другая женщина, немногим ее постарее, сидела на тюфяке, разостланном среди пола, и занималась каким-то рукодельем; подле нее играл ребенок с небольшим году, здоровенький, полненький, прелестный, как ангел. На поклон мой все отвечали поклоном, и молодая женщина, сидевшая на полу, встала. Вообразите себе высокую, стройную красавицу с тонкими, нежными чертами лица отменно белого, с тонким, нежным румянцем в щеках, с большими голубыми глазами! Фиолетовая кофта, ловко застегнутая поверх зеленой юбки, прекрасно обрисовывала легкий, воздушный стан красавицы; на голове цветной кисейный платок, повязанный à la Créole \*, был ей совершенно к лицу, которого оттенял он белизну и придавал какой-то блеск белокурым локонам, струившимся из-под сей накладки и падавшим вокруг шеи. Этот утренний головной убор молодой француженки всегда мне нравился своею незатейливою миловидностью; но здесь я еще более почувствовал ему цену. Я остановился в безмолвном удивлении перед молодой женщиной, как бы очарованный сладостным выражением и тихим огнем этих больших голубых глаз. Из

---

\* По-креольски (фр.).

этого минутного забвения был я выведен голосом введшего меня хозяина, который в отрывистых словах узнал меня с членами своего семейства. «Это отец мой,— сказал он,— это сестра, а это жена и сын мой».

Мне показалось, что все они с какою-то недоверчивостью смотрели на меня. И в самом деле, человек, пришедший пешком и объявляющий о своем изломанном, может быть, небывалом экипаже, мог поселить некоторое подозрение на большой столичной дороге, где, конечно, подобные явления нередки и где бродяги, выдавая себя за порядочных путешественников, не раз, конечно, старались воспользоваться доверчивостью хозяев хотя по крайней мере для того, чтобы пообедать на чужой счет или выпросить лошадь и кабриолет до следующей станции с твердою решимостью найти способ не заплатить за них. Мысль о таком подозрении была мне досадна. Без всякой нужды в звонкой монете я спросил у хозяина, где мог бы я разменять банковый билет на золото? И он отвечал мне, что охотно сам услужит мне этим. Я вынул из кармана мой бумажник, развернул как бы нечаянно лежавший в нем паспорт мой, засвидетельствованный российским посольством в Париже; за сим начал я медленно перебирать несколько банковых билетов в пятьсот и тысячу франков, подал один из них хозяину и просил его сделать мне обещанное одолжение. Он бегом взглянул на билет, удостоверился в его подлинности и передал его сестре своей, сказав: «Милая Леония, потрудись отсчитать этому господину двадцатифранковых монет на пятьсот ливров». Девушка вышла в другую комнату, а я остался с молчаливыми моими хозяевами. От нечего делать я начал играть с прелестным ребенком прелестной хозяйки. Дитя охотно приняло мои ласки, улыбалось мне и само заигрывало со мной, бросаясь ко мне на руки и поднимая вверх красивую свою головку с выражением ангельской приветливости. Мать его умильно смотрела на нашу игру и заметно радовалась тому, что чужой, незнакомый человек любовался ее малюткой и находил удовольствие в детских его резвостях. Старый дедушка и даже сам отец малютки, показавшийся мне почти нелюдимым, веселее взглянули на меня, и легкое облако сомнения, подернувшее лица сего семейства при моем вступлении в дом, скоро



совсем исчезло; все уже смотрели на меня ясным взором доброжелательства.

Ничто не располагает столько в пользу человека незнакомого, как его ласковость и внимание к маленьким детям. Люди всегда склонны иметь доброе мнение о том, кто находит удовольствие в невинных играх детства, всегда готовы в нем признавать чистую совесть и мир души; но всегда ли безошибочно — не знаю и не хочу исследовать, ибо сие почти всеобщее, доброе предубеждение льстило на этот раз моему самолюбию.

Я сказал не помню какое приветствие молодой женщине; она покраснелась; что-то непонятное для меня выразилось в ее взоре, который она вдруг отвела от меня и обратила на своего мужа, как будто бы о чем-то его умоляя. Мне показалось это странным. Первая мысль, родившаяся в голове моей, была та, что этот муж был ревнивый тиран своей прелестной жены; что, может быть, из безумной ревности и меня он принял так неприветливо. Отгадал ли он эту мысль по глазам моим, или, может быть, из побуждения более чистого, но он поспешил разрешить мои сомнения.

— Не примите за неучтивость молчание жены моей или не припишите его недостатку воспитания либо ума,— сказал он голосом, выражавшим какое-то чувство нежного сострадания.— Жена моя лишена дара слова: она глухонемая.

— Право? — вскричал я по невольному движению удивления.

— Так точно, сударь! Она только языком знаков передает те ощущения, которые, может быть, действуют на нее еще сильнее, нежели на нас, владеющих языком звуков, те чувствования, для которых всегда раскрыта прекрасная душа ее, наконец, те мысли, коими столь богато ее безмолвное созерцание.

Признаюсь, я покушался уже дать волю врожденному моему любопытству, и под благовидным предлогом самого искреннего соучастия выведавать приключения жизни сей занимательной четы; уже я наскоро сообразил мои планы нападения на чувствительную сторону души моего хозяина... Но сперва приход сестры его, заставившей меня пересчитать 25 наполеондоров, а потом приезд моей коляски, толки с кузнецом и пр. отвлекли меня на полчаса от сих планов и желаний.

Наконец я условился с ремесленником, взявшимся починить мою коляску; ее отвезли к кузнице, и она могла быть готова не ближе вечера, следовательно, до той поры мне не было возможности выехать из Шато-Тьерри. Но как оставаться долее в доме содержателя почты, который сам объявил мне, что не содержит гостиницы? Притом же надобно обедать, а для этого в каждом французском городке есть порядочные трактиры. Это разрушало все мои планы; и сколько я ни ломал себе голову, не мог ничего придумать. К счастью, сам хозяин одним словом разорвал сей гордиев узел. Когда я оставался среди двора еще в нерешимости и раздумьи, он подошел ко мне и сказал:

— Семейство мое посылает меня к вам парламентом. Все мы убедительно просим вас не отказать нам в одном одолжении: отобедать сегодня с нами. Вы, конечно, найдете у нас нероскошный стол сельских жителей, но вам, как путешественнику, верно, не раз случалось обедать чем Бог послал (*à la fortune du pot*). Мы просим вас наперед, сударь, принять нашу искренность и радушие взамен пышного угощения.

Я отвечал поклоном; хотел прибавить к тому оговорку, не буду ли я в тягость этому доброму, любезному семейству, но хозяин дома не дал мне договорить ее и продолжал:

— Жена моя хочет с вами познакомиться покороче, поговорить с вами... Да, сударь, поговорить! Если вам незнаком разговор на пальцах, изобретенный для глухонемых незабвенными нашими аббатами Де л' Эпé и Сикаром, то аспидная доска и грифель к вашим услугам.

Здесь уж я не находил более или, лучше сказать, не имел духу найти какую-либо оговорку. Я поблагодарил доброго моего хозяина за сей знак внимания и за гостеприимство, столь редко встречаемое на больших дорогах.

— Гостеприимство наше,— отвечал он,— может быть, показалось вам сомнительным с первого приема; но вы привязали нас к себе ласками нашему маленькому сыну и потому имеете полное право на мою откровенность. Жена моя всегда страдает, когда видит кого-либо из посторонних, особливо человека незнакомого, когда видит, что с нею начинают говорить — и не

может отвечать изустно! Ей так огорчительно возбуждать к себе сожаление! ибо, находясь в кругу одного нашего семейства, она почитает себя совершенно счастливою и позабывает о том жестоком лишении, на которое природа или случай ее осудили. Посему-то мы редко принимаем у себя посторонних людей, и знакомство наше в городе ограничивается небольшим числом коротких приятелей. Но вы в несколько минут совершенно приобрели дружеское расположение к себе жены моей. От нее не ускользнуло то искреннее, душевное удовольствие, с каким вы забавляли нашего малютку: ибо эти существа, лишенные способности слышать речи других и сообщать свои мысли живым голосом, глухонемые, одарены взамен того отменной способностью читать в душе человека по выражению лица и глаз его. Так и жена моя прочла из вашей добродушной улыбки, из выражавшегося в глазах ваших чувства нежности, что удовольствие ваше было не притворно. Ее понятия о свете и людях, несмотря на многие горькие опыты, сохраняют еще всю чистоту души невинной: она верит добру и сим гораздо счастливее многих из нас, говорящих.

Голос сего доброго человека, твердый и отчасти отрывистый в обыкновенном разговоре, смягчался и принимал какое-то особенное выражение нежности, когда он говорил о жене своей. По всему видно было, что он любил ее страстно; и этим он еще более приковывал к себе мое душевное расположение и — признаюсь — еще более поджигал мое любопытство.

Мы вошли снова в комнату; и хозяин подвел меня к жене своей. Я не мог без умиления смотреть на это милое, прелестное существо, которое еще больше привлекало меня с тех пор, как я узнал причину его вечной, неотразимой молчаливости. Хозяин подал мне небольшую аспидную доску с грифелем, и я написал:

«Вы, верно, счастливы вашим положением: супруг ваш обожает вас, родные любят нежно; вы мать прелестного дитяти».

Я подал доску глухонемой красавице; она бегло взглянула на нее и мигом написала мне ответ:

«Вы правы. Если есть на земле счастье, то я вполне им наслаждаюсь. С тех пор, как я принадлежу моему другу, каждый день являет мне нить приятнейших

мечтаний, и эти же мечтания каждую ночь веселят меня в сновидениях».

Я написал ей новый вопрос:

«И, конечно, вы никогда не жалеете о том, что не можете слышать?»

«О, как не жалеть! — был ответ ее, — у меня отнята возможность слышать голос милого моего друга и детский лепет моего сына».

«Зато сколько ничтожных речей, сколько злых речей вы не слышите», — возразил я.

«Это правда, — отвечала она. — Но мой слух теперь — одно воображение; и мне кажется, что в голосе человеческого есть такая сладость, что я охотно бы простила все прочее, лишь бы что-нибудь услышать».

На лице ее отразилось какое-то печальное ощущение, когда она писала сии слова. Я счел за лучшее прекратить на время сей тягостный для чувствительности ее разговор; и потому, положив в сторону ответ ее, сказал ее мужу:

— Супруга ваша выражается весьма свободно и правописание наблюдает в совершенстве...

— Это не должно вас удивлять, — подхватил он, — глухонемые всегда бывают отличными орфографами. Они не могут себе вообразить, чтоб мысль была правильно выражена, когда в словах не соблюдено правописание во всей строгости. По большей части они даже краснописцы, ибо думают, что для понятности мысли должно изображать ее на письме четкими и красивыми знаками.

— По всему видно, что супруга ваша воспитывалась в парижском училище глухонемых, под надзором почтенного аббата Сикара?

— О, нет! мы сами воспитывали ее у себя в доме, и для того жила у нас одна питомица парижского училища, окончившая курс. Недавно мы выдали ее в замужество за одного порядочного человека, живущего в здешнем городе. Жена моя каждый день с нею видится.

— Так поэтому супруга ваша с малолетства выросла в вашем доме?

— Нет, я привез ее с собою из Германии, когда кончилась последняя наша война с целою почти Европой... Вижу, что я моими ответами только более возбуждаю ваше любопытство, любопытство весьма

естественное и даже законное по новости предметов, которые редко могут встретиться... Чтобы отвечать разом на все вопросы, к которым они могли бы подать повод, я охотно расскажу вам ту часть происшествий моей жизни, которая касается собственно до знакомства моего с Вильгельминой и женитьбы моей. Мы обедаем поздно. До того времени не угодно ли вам прогуляться со мною в нашем саду; там я расскажу вам мою повесть.

Само по себе разумеется, что я от этого не отказался. Мы пошли в сад, и там, посадя меня на скамью в беседке из виноградных лоз и сев подле меня, хозяин мой рассказал мне следующее.

«Кажется, лишнее было бы вам рассказывать, что я родился в здешнем городе и в этом доме. Отец мой, которого вы видели, дед мой и прадед были содержателями почтового дома, и, может быть, я никогда бы не изведал другого состояния жизни, если бы сильные политические наши потрясения и следовавшее за тем правление Наполеона не преобратили порядка многих вещей, не говоря уже о незаметном существовании человека частного.

Я воспитывался в одном из парижских училищ, когда наступила моя очередь по конскрипции идти в военную службу. Я был один сын у моих родителей; отец мой печалился, мать умерла с тоски скоро по вступлении моем в ряды воинов.

О службе моей скажу вам только, что я был в ней довольно счастлив. Два или три дела, в которых удалось мне отличиться, доставили мне скоро офицерский чин и орден Почетного Легиона. С этим уже готовым запасом для будущих успехов отправился я в поход 1812 года.

Когда счастье развелось с военной славой Наполеона, то есть когда мы ушли из России и беспрестанно почти отступали по Германии, мне случилось тогда стоять в одной небольшой деревушке близ Людена. Я был уже капитаном. Квартира отведена мне была в доме мельника, на выезде из селения и несколько поодаль от прочего жилья; всякий день я ходил к нашему полковнику, жившему на другом конце селения; и всякий день видел под окном одного опрятного домика прекрасную белокурую девушку лет пятнадцати, с большими голубыми глазами, с умильным, про-

стодушным взором. Я всегда кланялся этой молодой красавице, и она с улыбкой мне откланивалась. Не зная почти ни слова по-немецки, я не мог говорить с нею, и знакомство наше ограничивалось одними поклонами. Однажды шел я поздно вечером от полковника, было очень темно; я переходил покое пространство, лежавшее между селением и моей квартирой. Вдруг послышался в стороне дикий, пронзительный крик, почти непохожий на голос человеческий. Я бросился в ту сторону и при помощи потайного фонаря, который всегда носил я по ночам, увидел двух солдат нашего полка, тащивших какую-то женщину. Вы знаете, сударь, что при Наполеоне французские солдаты многое себе позволяли в военное время, особливо в отношении к мирным жителям занимаемых ими мест в чужих государствах, и что офицеры должны были отчасти смотреть на это сквозь пальцы; но я всегда старался удерживать наших солдат от подобных беспорядков, особливо от грубых поступков с женщинами. Так и в этот раз я подошел с обнаженной саблей к двум нашим повесам и говорил им, что изрублю их, если они не отпустят бедную, испуганную женщину. Негодяи покинули ее и убежали, а я навел фонарик на женщину, которая стояла передо мной, сложа руки и потупя глаза в землю, и дрожала всеми членами. Я подошел к ней поближе; она взглянула на меня... Вообразите себе мое удивление и радость! Это была та милая девушка, с которой я каждый день менялся поклонами. Я хотел ободрить ее, заговорил с нею, ломал кое-как слова на немецкий лад; но она, казалось, ничего не понимала, хотя из умильных ее взглядов и заметно было, что она желала бы изъяснить мне свою благодарность за ее избавление от этих грубиянов. Я приписывал ее молчание страху; подав ей руку, я повел ее на мою квартиру, и она пошла со мною без всякой недоверчивости. Мы вошли в комнату, и там, разглядев мое лицо и узнав меня, девушка бросилась целовать мою руку; я снова начал с нею говорить, но она отвечала мне только голосом без слов и указывала на свои уши и рот, давая тем знать, что она глуха и нема. Я ласкал ее, играл с ее прекрасными светло-русыми кудрями, и она доверчиво, как дитя, прислонила голову к груди моей. В эту минуту никакая порочная мысль не кружила мне голову; чистота души этой

милой девушки, ее невинные ласки доставляли мне такое же тихое наслаждение, независимое от всякого постороннего чувства, какое вам, сударь, как мне кажется, доставляли игры и ласки нашего дитяти. Наконец я вышел из этого самозабвения; спрашивал знаками у безмолвной моей собеседницы, куда ее отвести, и она указала на селение, но вместе с сим выражением лица и движениями тела изъясняла страх, чтобы солдаты снова на нее не напали. Я позвал находившегося при мне солдата, велел ему взять ружье и фонарь, сам взял пару заряженных пистолетов, и мы вдвоем провели девушку до самых дверей того дома, у окон которого я видал ее. Она поблагодарила меня поклоном и дружеским пожатием руки, простилась со мною посланным издали поцелуем и как птичка порхнула в калитку.

Возвращаясь домой, я лег в постель, но долго не мог заснуть. Образ белокурой красавицы, ее умильный взор, милая простота и необыкновенная приятность всех ее приемов долго не выходили у меня из головы. Даже эта странность ее положения, этот жалкий природный недостаток имели какую-то особенную для меня привлекательность. Тогда только я начал понимать, отчего голос ее был странен и резок. Вообще глухонемые, не слышав от рождения звуков разговора человеческого и не умея управлять голосом, издают дикие звуки, когда кричат. Поверите ли, сударь? даже эти самые дикие звуки на тот раз как-то особенно мне нравились! Наконец, утомленный бродившими во мне мыслями, я заснул; но и в сонных мечтах беспрестанно являлся мне образ милой белокурой девушки: она, казалось, как ангел-хранитель стояла у моего изголовья, с улыбкой невинности колыхала надо мною ветку белых лилий и насылала мне отрадные, сладкие сны.

Проснувшись на другой день поутру, я оделся и ранее обыкновенного пошел к полковнику. Мысль моя была та, чтобы зайти в дом милой девушки и узнать, каково она провела ночь. Меня встретила дряхлая старушка почтенного вида, говорившая изрядно по-французски. Это была вдова одного пастора в Люцене, переселившаяся в деревушку по смерти своего мужа и жившая отчасти своими трудами, отчасти доходом

с небольшого участка земли, ею купленного. Я спросил ее о молодой девушке.

— Как вы ее знаете? — спросила старушка.

Я пересказал ей случай, познакомивший меня накануне с этим прелестным существом.

— Да, я сама виновата, — сказала пасторша. — Я послала ее вчерась вечером отыскивать забредшую куда-то нашу корову; бедное дитя не хотело, видно, возвратиться, прежде чем найти ее, и оттого запоздало. Эти сорванцы, конечно, давно уже подстерегали мою Вильгельмину и, быв рады случаю, схватили ее... Она что-то мне толковала об этом знаками; но я не все могла понять, а на беду мою, Вильгельмина не учена грамоте.

— Она дочь ваша? — спросил я.

— Нет, покойный муж мой, возвращаясь однажды вечером в город, увидел на дороге осьмилетнюю девочку в слезах. Это была Вильгельмина. Он начал ее расспрашивать, но девочка ничего не говорила и отвечала только знаками. Тогда муж мой догадался, что она глухонемая. Он привез ее в дом наш. Хотя на ней было платье маленькой поселянки, но по виду и приемам ее заметно было, что она рождена в другом звании. Муж мой несколько раз объявлял о ней в газетах; но никто не сыскивался для взятия обратно бедной малютки, и мы начали догадываться, что она с умыслом была оставлена какими-нибудь злонравными родственниками. Теперь она сирота в мире, подумали мы, и решились заступить ей место отца и матери, тем охотнее, что у нас не было своих детей. Муж мой принялся было обучать ее, но скоро скончался. По смерти его я была в непрерывном горе и хлопотах, пока наконец сбилась с силами купить этот домик и клочок земли близ здешней деревушки. Быв принуждена беспрестанно заниматься работой и тем доставать себе пропитание, не могла я продолжать начатого моим мужем; но взамен того выучила Вильгельмину (так мы ее назвали) разным рукодельям и работам, необходимым в домашнем хозяйстве. Вот уже пять лет, как я живу с нею в здешней деревушке, и всякий день благодарю Бога, что он послал мне эту милую, добрую дочь. Вы не поверите, как она заботлива о том, чтоб угождать мне и предупреждать всякое мое желание; как она добра, тиха, понятлива и послушна. Вот и теперь, несмотря на вчерашний свой страх, она ране-



хонько побежала отыскивать мою корову... Да вот и она! — вскричала радостно старушка, посмотрев в окно, — вот и корову отыскала, гонит ее во двор!

Погодя немного, Вильгельмина убежала в комнату с веселым лицом. Увидя постороннего человека в офицерском мундире, она приостановилась и немного смешалась; но взглянув на меня пристальнее, она вскрикнула от радости, бросилась ко мне и, схватя мою руку, хотела снова целовать ее. Я не допустил ее до этого. Она всячески старалась выразить мне свою благодарность и между тем посматривала на свою нареченную мать, как будто бы выведывая, не будет ли она тем недовольна. Старушка кротким своим видом и ласковою улыбкой одобряла это чувство благодарности.

Я спросил у пасторши, есть ли у нее в доме военный постой?

— К счастью, нет, — отвечала она, — добрые здешние обыватели, уважая память покойного моего мужа и зная мою бедность, приняли в свои дома всех солдат, которым отведена была у меня квартира. Иначе я была бы в беспрестанном страхе за Вильгельмину, которую люблю я больше своей жизни. Но все нынешнее мое положение ненадежно: могут прийти новые отряды ваших солдат или, что еще ужаснее, необузданные преследователи Вильгельмины могут сюда ворваться ночью.

— Знаете ли, что мы сделаем? — сказал я, — у вас есть лишняя комната; я найму ее и переселюсь к вам, тогда по крайней мере до тех пор, пока мы здесь останемся, никто не может к вам ни ворваться, ни дать нового постояльца.

Старушка призадумалась на минуту; потом сказала:

— Вчерашний ваш поступок заставляет меня верить, что намерения ваши чисты и что у вас нет никаких предосудительных видов на мою Вильгельмину. Переезжайте к нам и будьте ее защитником. За наем вам не нужно будет платить. Вы уже заплатили за него покровительством беззащитной моей дочери.

— О, нет, — отвечал я доброй старушке, — я не хочу быть вам в тягость; при том же я более, нежели вы, можете быть, думаете, в состоянии заплатить за квартиру. — Сказав это, я высыпал на стол несколько золотых монет, в которых на тот раз не было у меня недостатка благодаря предусмотрительности доброго

моего отца. Много труда мне стоило убедить старушку принять эти деньги в виде найма за квартиру. Наконец дело было слажено, и я в тот же день перебрался в дом ее со всею легкою походною поклажей молодого офицера.

С этого времени я всякий день по несколько раз видался с Вильгельминой. Каждое утро она сама приносила мне завтрак и невинными своими ласками, и простодушною своею доверенностию более и более привязывала меня к себе. Я привык наконец думать, что она необходима для моего счастья. Сколько раз, сидя с нею наедине и забываясь в сладостной неге сей безмолвной; но красноречивой мены взаимных чувствований, я имел случай оценить, в какой высокой степени врожденное тонкое чувство приличия господствовало в душе сего ангельского существа, несмотря на то, что понятия его о свете и предметах внешних заключены были в весьма тесном кругу. Мы научились уже друг друга понимать и разговаривали знаками; и чем более вникал я в душу Вильгельмины, тем более мне казалось, что она одна только достойна была назваться моею женою; что для меня одного она хранила бы свое сердце, как святилище, недоступное для всякого другого. Сие сердце, сей чистейший сосуд чистейших чувствований, для меня одного было бы открыто: я один пробуждал бы в нем сладостнейшие биения, дотоле ему неведомые, я один читал бы его тайны, не сообщимые никому, кроме меня.

В таких мечтах провел я несколько счастливых дней. Я позабыл и военное время, и шаткость тогдашнего нашего положения... Не дивитесь тому: мне было тогда двадцать семь лет. Между тем товарищи мои поговаривали о большом сражении, которое будто бы назначалось; но где, еще не знали. Наконец наш полк получил повеление выступить и идти вперед. В короткое время мы собрались к походу; я едва успел проститься с Вильгельминой и доброю ее воспитательницей.

Вам, конечно, памятны тогдашние происшествия, и в числе их достопамятное Люценское дело. На тех равнинах, где за 180 лет Густав Адольф кровью своею запечатлел ревность свою к новому учению веры, мы отстаивали последние оплоты воинской нашей славы и плоды двадцатилетних побед.

В пылу битвы я думал уже только о Франции, о чести нашего оружия. Пуля прекратила на тот раз мои патриотические порывы. Я помню только, что, получив сильный удар в правый бок, я едва удержался на седле и опустил поводья. Лошадь моя дрогнула, понесла меня за фронт; долго я держался еще за ее гриву; наконец, истекши кровью, лишился памяти... Что после со мною было, не знаю; но когда я опаматовался, то почувствовал, что лежу у кого-то на коленях. Я с усилием открыл глаза, взглянул мутным взором — и увидел Вильгельмину. Она обрадовалась, вскрикнула и, наклонясь ко мне, поцеловала меня в лицо. Ненадолго была ее радость: я снова погрузился в прежнее беспмятство. Очнувшись в другой раз, я видел, что лежал уже на постеле в той комнате, которую нанимал у старой пасторши. Вильгельмина сидела у моего изголовья и плакала. Около меня суетился низенький плотный человечек в черном платье. Это был лекарь из Люцена, перевязавший мне рану и старавшийся сохранить мне жизнь своими лекарствами.

После уже, когда Вильгельмина стала моею женою и когда ей даны были средства изъяснять мысли свои на письме, узнал я от нее, каким чудным образом она спасла меня. Когда наш полк ушел из селения, Вильгельмина тосковала обо мне. Не в состоянии быв вынести разлуки со мною, она отправилась на другой же день искать меня. Долго бродила она по окрестностям, забывая страх и голод; наконец случай, или справедливее сказать, сам промысл привел ее на ужасное место сражения. Вильгельмина и теперь еще вздрагивает, вспоминая тот ужас, с которым она увидела груды обезображенных, безжизненных трупов, тогда еще не разобранных и не погребенных. Преодолев свой страх и отвращение, она заглядывала в лица тех убитых и раненых, на которых видела мундир нашего полка. Наконец, по долгом и напрасном искании, увидя зоркими своими глазами приближавшуюся толпу живых людей, вероятно, посланных разбирать трупы, она ушла с сего кровавого поля и, ослабев от усталости, томимая голодом и жаждой, хотела отдохнуть в тени кустарника, который видела в некотором отдалении. Подходя к тому месту, она заметила еще одно тело, лежавшее среди поля; приблизилась к нему, взглянула... Это был я! Смертная бледность в лице, бесчувст-

венность и недвижность всех моих членов и потоки заpekшейся вокруг меня крови взволновали все жизненные силы бедной девушки: голова ее закружилась, дрожащие ноги подкосились... она упала подле бездыханного своего друга. Опомившись, она приподняла меня и оттащила к тому кустарнику, под которым прежде сама хотела искать отдохновения. Там-то я, к радости Вильгельмины, впервые почувствовался, конечно, от движения. Новое беспамятство мое повергло ее в новую тоску. Наконец несколько крестьян, прокрадывавшихся неподалеку в разоренные свои жилища, были ею замечены, остановлены, и, тронувшись ее слезами и безмолвными просьбами, решились отнести меня до ближнего жилья, откуда после, наняв других носильщиков, Вильгельмина перенесла меня в дом своей нареченной матери. Старушка, опечаленная отсутствием Вильгельмины, считала ее погибшею и во все время тосковала и плакала. Легко вообразить себе ее радость, когда она снова увидела милую свою питомицу. Почтенная сия женщина, видя слезы Вильгельмины и любя меня, по словам ее, как родного сына, тотчас послала в город за лекарем и заботилась о сохранении мне жизни.

Выздоровление мое было медленно. Я был в крайней слабости, и долго лекарь и добрая старушка отчаивались в моей жизни; но скрывали свои опасения от Вильгельмины, страшась, чтоб весть о моем опасном положении не убила чувствительную девушку. К счастью, она с доверием младенца надеялась, и провидение оправдало ее надежду. По какому-то счастливому стечению обстоятельств союзные войска не проходили чрез ту деревушку, в которой я лежал. В полку моем, как после узнал я, считали меня в числе убитых.

Вильгельмина безотлучно находилась при мне во все продолжение моей болезни. Проснусь ли я ночью — бывало, вижу, что она сидит у моего изголовья, сторожит каждое мое движение, отгадывает каждое желание. В это время в ней нельзя было узнать той живой, цветущей девушки, которой пленительная свежесть и веселый вид привлекали взоры всякого, даже самого равнодушного человека: она сделалась худа, бледна и томна, но все еще была прелестна, и для меня еще прелестнее.

Новое горе поразило ее, когда я начинал уже выздо-

равливать. Почтенная воспитательница ее, пасторша, которой силы давно уже, видимо, истощались, наконец занемогла и чрез три дня скончалась. Едва встав на ноги, я шел за гробом доброй сей старушки и проводил ее до места последнего ее успокоения. Вильгельмина едва не пришла в отчаяние. Безмолвная тоска ее и неосушавшиеся потоки слез жгли мне душу. Чтобы рассеять ее печаль, я вздумал учить ее французской грамоте. В тогдашнее военное время нигде не мог я отыскать превосходных книг, изданных аббатом Си-карром и его питомцами для обучения глухонемых; но нежные старания учителя и природные способности, быстрая понятливость ученицы облегчали труд, с первого взгляда почти непреодолимый. Вильгельмина понимала уже сочетания букв, начертание и даже смысл некоторых слов, хотя медленно, по неумению и неопытности преподавателя. Так мы проводили дни, недели, месяцы — время, в которое жил я только чистою любовью души и надеждою будущего блаженства. Невинность Вильгельмины и сродное ей девственное чувство стыдливости были для нее лучшею защитой от пылких, молодых лет моих.

По смерти старушки пасторши нашлись у нее родственники, наследники к оставшемуся после нее небогатому имуществу. Я нанял у них дом, в котором мы жили, и нетерпеливо ждал из Франции ответа на мои письма; но при тогдашних военных тревогах письма мои не доходили, и отец мой все еще оплакивал меня, считая убитым.

Русские уже вступили в Париж, когда я совершенно оправился. Не зная, чем кончится судьба моего отечества, я решился ехать наудачу во Францию; но как и на кого оставить Вильгельмину до моего возвращения? или как взять ее с собою в такое смутное время? Я чувствовал, что она не перенесла бы и кратковременной разлуки со мною, знал, что она скорее пустится на все труды и опасности, нежели согласится спокойно ждать меня. Должно было выйти из этого затруднительного, тяжкого для сердца моего положения. По долгом размышлении остановился я на том, чтоб обвенчаться с Вильгельминой и везти ее с собою. Она поняла мою мысль и склонилась на мое желание. Один добрый пастор согласился обвенчать нас.

Счастье супружеской жизни красноречиво для сер-

дца; но тихие наслаждения его полнее и возвышеннее, когда они вверены безмолвию такого существа, как моя Вильгельмина. Скажу вам просто: я был совершенно счастлив. К довершению моих желаний в первые дни нашего брака я получил письмо от моего отца, до которого наконец дошло последнее из моих писем и который звал меня к себе в Шато-Тьерри, прибавя, что во Франции все тогда начинало успокаиваться с восстановлением Бурбонов.

Вильгельмина и я пошли впоследствии проститься с могилою второй нашей матери. Юная моя подруга горько плакала, расставаясь навсегда с прахом своей благодетельницы; она взяла немного землицы с могилы и теперь носит ее на груди своей, как нечто священное. Наконец мы простились с мирною деревушкой, свидетельницею первой нашей любви, наших страданий и нашего счастья.

Не могу вам описать восторгов, которые рождала в душе Вильгельмины новость предметов. В молчаливом своем удивлении подруга моя сообщала мне свою радость только быстрым, пламенным взором, живописным телодвижением и выразительным пожатием руки моей. Природа, как бы в вознаграждение за то чувство, которого не дала ей, с избытком наградила ее внутренним чувством изящного, чувством, оценивающим красоту и совершенство предметов видимых. Простое дитя природы — моя Вильгельмина всеми силами души влечется преимущественнее к красотам сей общей матери. Прелестное местоположение, быстрая река, светлое озеро, тенистая рощица, веселая лужайка, красивый цветок, пригоженькая птичка или бабочка несравненно более радуют ее, нежели пышность городов, великолепие зданий и внутренних украшений, роскошь нарядов и тому подобное.

Остальное в жизни моей, не весьма богатой приключениями, доскажу вам в коротких словах. Отец мой с восторгом встретил нас: сначала ему казался странным мой выбор жены; но скоро, узнав редкие душевные свойства ее и видя дочернюю нежность ее к нему, он примирился с тем, что почитал ее недостатком. Во время службы моей служила ему утешением и подпорой преклонных лет его сестра моя, которую вы видели и которая была еще почти дитятей, когда я оставил дом родительский. Леония с первой минуты нашего

приезда подружилась с Вильгельминой, и с тех пор самая тесная, нежнейшая дружба связывает сии кроткие, добрые существа. Мы ездили в Париж и там, благодаря участию и попечениям добродетельного аббата Сикара, приняли к себе в дом ту воспитанницу института глухонемых, о которой я прежде вам рассказывал. Скоро Вильгельмина моя оказала невероятные успехи в ученьи и теперь имеет столь же ясные понятия о предметах, доступных ей по чувствам или по уму и воображению, как и все люди, слышащие и говорящие.

Мечты честолюбия давно меня оставили; я взял увольнение от службы и поселился здесь навеки. Последовавшие чрез несколько месяцев новые и, к счастью, кратковременные политические тревоги с шумом пронесли мимо нас, не нарушив нашего спокойствия. За полтора года пред сим были мы обрадованы рождением моего сына; и теперь живем по большей части в небольшом семейном кругу нашем, счастливы, довольны, веселы, и благословляем небо за наше счастье.

Повествователь мой умолк и, с довольным видом приняв искреннее мое желание о продолжении над его семейством сего благополучия, дружески взял меня за руку, пожал ее и повел меня в комнаты. Обед наш одушевлялся откровенностью, взаимным доверием и чистосердечною веселостью. Мы долго просидели за столом, хотя не круговая чаша, а доска и грифель переходили из рук в руки. Милая Вильгельмина или давала остроумные ответы, или делала замысловатые вопросы, показывавшие наблюдательный ее ум и быстроту соображения. Когда мы встали из-за стола, коляска моя была уже готова и бич почтальона, громко хлопая по воздуху, вызывал меня в дорогу. Простясь с добрыми моими хозяевами и засев в угол моей коляски, я долго мечтал об этом любезном семействе, о тихом его счастье, особливо же о милой, прелестной Вильгельмине.

## ИСПОЛИНСКИЕ ГОРЫ

*Из рассказов путешественника*

...Вы уже знаете,— продолжал наш рассказчик,— что я всегда любил находить в дилижансе кого-нибудь из тех любезных говорунов, которых, к счастью путешественников, очень много разъезжает по белу свету. От них-то узнаем мы все старинные предания, все народные поверья, коих не сыщешь ни в каких древних летописях, ни в каких разысканиях археологов. Во Франции мне было истинное раздолье в дилижансах: тот день отмечал я черным крестиком в записной моей книжке, когда мне не удавалось в почтовой карете напасть на какого-нибудь словоохотного попутчика, который бы высказал мне или местную старину того края, или занимательные анекдоты о своих земляках и современниках, или подробности своей собственной жизни. В Англии и Германии дилижансовые спутники не столько обходительны, или — переведу вам французское выражение, которое лучше поясняет мою мысль — не столько общительны (*communicatifs*): по дорогам трех Соединенных Королевств мне чаще всего случалось сидеть в дилижансе с разъездными приказчиками купеческих контор (*commis-voageurs*, как называют их французы); а эти люди говорят только между собою, и то почти всегда о торговых своих сделках, о товарах и банкротствах, что не слишком занимательно для чужеземца. Немецкие путешественники по большей части молчат да курят табак, или курят да молчат, если не съедутся с кем-либо из своих земляков и соседей, с которыми бы могли они разговаривать о посевах и урожае, о домашних своих делах, о корове *Мальхен* да о баране *Ганце*. Правда, когда мне удавалось расшевелить англичанина или немца, особливо если между спутниками попадался мне человек образованный и сведущий,— тогда я смело мог надеяться, что рассказы польются рекою и что их наберется порядочный запас не на одну станцию. Не все молчаливые люди бывают таковы по природе или по охоте: иным из них стоит только развязать свой язык — он и пойдет на многие часы работать без умолку.

Так посчастливилось мне прокатиться по всей Богемии в обществе весьма приятных спутников. Мы по-



знакомились еще на водах, в Карлсбаде. Любезным моим слушателям, наверное, известно, как скоро и охотно сближаются между собою посетители целебных вод. Один мой приятель, тоже путешественник, называет такие знакомства *водяными*; но я признаю это название в одном только смысле: в том, что они скоротечны, как вода. Например, здесь, в Карлсбаде, я коротко познакомился с одним австрийским бароном и молодою, миловидною его супругой; с одним богемцем, страстным любителем музыки, пылким двадцатилетним юношею, у которого в жилах течет жаркая кровь славянская; с одним французом, *прожектором* и подагриком, но у которого ни спекуляции, ни подагра, ни сорок пять лет не истребили врожденной веселости и ветрености; наконец, с одним археологом из Лейбцига, пожилым немцем, которого имени, право, не упомяну и потому стану его везде называть просто археологом. Когда прошла пора пить целительные воды, мы все условились еще на несколько времени не разлучаться и, чтобы продлить наше знакомство, придумали вместе объехать всю Богемию. Долго было бы рассказывать вам о всем путешествии и приводить все случаи, в которых спутник наш археолог был нам полезен своими неистощимыми сведениями в древностях тамошнего края: каждое селение, каждый холмик, ручеек, полянка приводили ему на мысль исторические воспоминания, коими он весьма охотно делился с нами. Мне даже казалось иногда, что археолог наш, за неимением запасных сведений о каком-либо малозамечательном месте, подчас их импровизировал. Но мне какая была до того нужда? Рассказы его меня занимали и забавляли, и я внутренно благодарил судьбу, что она послала нам в спутники такого речистого немца.

Чрез несколько дней нашего медленного странствования мы добрались наконец до Исполинских гор (Riesengebirge). Я видал многие горы повыше этих исполинов, но редко видал из них столь живописные. Мы любовались дикими красотоми сих громад, нарочно ездили смотреть самый высокий пик этого горного хребта, возвышающийся почти на пять тысяч футов над земною поверхностью; и спутница наша, молодая баронесса, промолвилась, что желала бы знать происхождение названия *Исполинские горы*.

— Это не мудрено отгадать и без всяких исторических исследований,— сказал муж ее,— стоит только взглянуть на них, чтобы пояснить себе, почему народная молва исстари дала им такое название.

— Совсем нет,— возразил наш археолог, видимо, недовольный тем, что другой мешался в такие объяснения, которые он исключительно присвоивал себе.— Горы сии в древности назывались *Sudetaми* (*Sudetes*); а Исполинскими назвали их с той поры, как чехи, нынешние богемцы, поселились около них; и это название дано им по особому случаю.

— Расскажите нам об этом,— подхватили в один голос баронесса, француз, молодой богемец и я.

— С охотою! — отвечал археолог, подняв брови вверх и посмотрев на серебряную свою табакерку, бывшую у него тогда в руке, таким взором, который ясно выражал какое-то гордое сознание собственного достоинства.— Если почтенные мои спутники,— продолжал он, поведя пытливый взгляд по нашим лицам,— если почтенные мои спутники непременно этого желают, то я готов сообщить им историческое предание о том, что касается до здешних гор.

Мы все повторили нашу просьбу; барон, лукаво улыбаясь, тоже пристал к нам; и археолог, поглядев минуты две на обитый сукном верх почтовой кареты, как будто бы оттуда вызывал исторические свои воспоминания, начал свой рассказ.

В древние времена... точной эпохи не могу теперь сказать определенительно: память начала мне изменять; замечу только, что богемцы жили уже тогда у подножия Судетов и что город Прага еще в то время не существовал... Итак, в древние времена стоял на половине этого высокого пика, называемого ныне Ризенкоппе или Шнейкоппе, огромный и крепкий замок среди дремучего, непроходимого леса, сквозь который пролегла к замку только узкая тропинка по крутому скату. В нем жил необыкновенного роста и страшного вида исполин, достойный обитатель этих высоких и диких гор; имя его было Мрачислав. Никто не знал, откуда и когда зашел он в Судетские горы и как он построил этот замок, в котором жил он один, как сова в дупле; а суеверное простолудие даже думало, что это гном *Рюбецаль*, наскуча подземным своим

жиьем и малым ростом, вздумал проказить по свету в образе великана. Как бы то ни было, а окрестные жители боялись его, как черта, и не без причины. Вообразите себе огромное туловище в полторы сажени вышиною, с широкою косматою грудью, с длинными тяжелыми ногами, которыми великан шагал так далеко, что опережал скачку самой резвой дикой козы, вообразите себе, что на такое туловище взмощена пребоольшая голова с щетинистыми рыжими волосами, с выпучившимися, налитыми кровью глазами, с страшным, растворявшимся до ушей ртом, через который перегибался уродливый нос такой величины, что исполин мог бы, в случае нужды, почесать им свой подбородок. Таково было физическое безобразие нашего великана: нравственное и того было отвратительнее. Мрачислав был зол, жесток, завистлив, склонен к грабительству, к пьянству и обжорству; а что хуже всего — крайне падок к прекрасному полу. Окружные замки и селения много терпели от его буйства и зверства, и никто не хотел селиться вновь близ Исполиновой горы.

Недалеко от гор находился один замок, или, лучше сказать, целый городок, принадлежавший богатому владельцу, Почебуту. Замок этот стоял на неприступном месте, окопан был широкими и глубокими рвами, в которые проведена была вода, и обнесен зубчатыми стенами, по углам которых построены были крепкие башни. Этих башен, как обыкновенно водится, было четыре: восточная, западная, южная и северная. В замке, кроме самого Почебута и его семейства, помещались все многочисленные его вассалы. И день и ночь сильный караул сторожил на башнях и на стенах замка, и при малейшей опасности рог часового трубил тревогу: в одно мгновение все жители замка, под предводительством самого Почебута, рассыпались по стенам с луками и стрелами, с пращами, копьями, палицами и отражали нападение, как бы ни грозен был неприятель. Мрачислав знал это и с досадою видел, что не мог ни силою, ни хитростью одолеть крепкого замка Почебутова. Часто великан подходил к замку из рощи, прилегавшей почти к самому наружному рву, и, притаившись за деревьями, высматривал по целым часам; но по стенам и на башнях беспрестанно бродили часовые, ворота были заперты и мосты подня-

ты, а когда и опускались, то с Почебутом выезжала такая густая толпа сильных витязей и хорошо вооруженных вассалов, что Мрачиславу, хоть и великану, нельзя б было одному со всеми управиться. Тогда он обыкновенно уходил в свой замок, и только треск от тяжелой его поступи раздавался по лесу. В другое время, тщетно выжидая несколько часов сряду, он выходил из терпения и, с бешенством схватя большой камень, пускал его изо всей силы в замок Почебутов; а после хохотал неистовым смехом, радуясь тому, что успел пробудить в замке напрасную тревогу.

Не богатство Почебутово влекло Мрачислава к замку: нет! его манила красота Любуши, единственной дочери владельца. Не подумайте, почтенные мои слушатели, чтоб эта Любуша была та самая, которая когда-то царствовала в Богемии и которой город Прага обязан своим существованием. Такого грубого анахронизма я не сделаю и вас не стану вводить в заблуждение насчет исторической достоверности. А если нужны вам дальнейшие объяснения, основанные на фактах, так вот они: королева Любуша<sup>1</sup> была дочь Кракуса II и вышла в замужество за Пржемила; а Почебутова дочь... Но вы узнаете о ней после из моего рассказа. Теперь скажу вам только, что молва о красоте Любуши не напрасно трубила по всем концам Богемии и даже в самых дальних пределах Германии: Любуша была высока и стройна, как юный тополь; волосы ее были черны, как вороново крыло, глаза светлы, как яркие звездочки, лицо было, как лилия, и румяно, как роза... По крайней мере так воспевали о ней все поэты тогдашнего времени; а на вкус этих людей можно положиться без дальнего размышления. Рыцари богемские и германские толпами стекались в замок Почебутов, пировали с отцом и увивались около дочери; но прелестная Любуша холодными глазами смотрела на всех своих обожателей. На одного только взор ее упал с нежным выражением любви и участия, от одного только вспыхивал жаркий румянец на щеках ее и к одному только неслись ее тайные вздохи,— и этот один был юный Ратомир, богемец незнатного рода, без богатства и даже без рыцарского

---

<sup>1</sup> Немцы, по историческому выговору, называют ее Либусса (Libussa).— Прим. соч.

достоинства; но любовь не всегда влетает в сердце женское из-под рыцарской перевязи, из-под шлема пернатого и блестящих лат: эта истина больше всего подтверждается в наше время, когда уже не носят ни лат, ни шлемов, ни железных рукавиц, а любовь все-таки господствует над сердцами, хотя, может быть, и не в такой силе.

Не так, видно, думал Почебут на старости. Он гордился тем, что знатнейшие рыцари искали руки его дочери, и уже несколько раз приступал к Любуше с требованием, чтоб она выбрала кого-нибудь из этих рыцарей своим господином и властителем (*seigneur et maître*), как говаривали в старину, или товарищем своей жизни, как говорится в наше время. Не поверив изветливым отговоркам и мнимому равнодушию своей дочери, старый Почебут начал за нею присматривать и к своей крайней досаде подметил, как ее взоры встречались со взорами Ратомира, как оба они в эти минуты краснели до ушей и вздохи их, невольно вырываясь, летели навстречу друг другу. Сердце Почебутово запылало негодованием, и он, верно, в тот же миг указал бы Ратомиру дорогу из своего замка, когда бы не считал такого поступка нарушением гостеприимства, которое в тогдашние веки свято наблюдалось народами славянского и тевтонского поколений. Но он не вовсе скрыл внутреннее свое движение и бросил на Ратомира такой взгляд, который ясно все высказал бедному юноше. В тот же вечер, после ужина, Ратомир подошел к Почебуту, благодарил его за ласки и хлебосольство и объявил, что хочет побродить по свету, поискать приключений и выслужить себе рыцарское звание. Почебут простился с ним очень холодно и с насмешливым видом пожелал ему успехов во всех его предприятиях, прибавил, чтоб он не медлил выполнением благих своих намерений и не лишал бы долее вселенную молвы о знаменитых своих подвигах. Ратомир проглотил пилюлю, как умел, затаил в душе своей досаду и расстался в надменным отцом своей возлюбленной.

Прелестная Любуша догадалась, что ей скоро должно было проститься с любимцем ее сердца; в раздумьи остановилась она под сводами замка, по которым Ратомиру следовало проходить, расставшись с Почебутом. Трепет сердца издалека еще сказал юноше,

кого здесь встречал он, в тишине нóчной, при слабом блеске дотлевавшего светильника. Здесь-то юноша и дева впервые признались друг другу в любви; клятвы они еще не знали и, может быть, утвердили взаимные свои обеты употреблявшеюся тогда у славянских народов крепкою: *кто из нас изменит — тому да будет стыдно!* Но пылкая Любуша сим не ограничилась: она непременно хотела проститься еще однажды с своим любезным и для того с ним условилась, чтоб он на рассвете дожидался ее в роще, за стенами замка. В старинные времена мамы и няни играли весьма важную роль при молодых принцессах и знатных девицах и были именно тем, чем ныне горничные во французской комедии,— иногда и в большом свете: поверенными всех тайн и точными исполнительницами всех поручений, какие даются без огласки. Я мог бы, в подтверждение этой придворной должности древних мамушек и нянюшек, сослаться на историю или на французскую трагедию; мог бы пуститься даже в длинные исследования о маме Федры, о козе Амалфее, вскормившей Юпитера, о Барцее, няне Дидоны, или маме покойного супруга ее Сихея, и о Кентавре Хироне, который тоже служил вместо няни Ахиллу; но это слишком далеко занесло бы нас из средних веков в самую глубину древности. Между тем напоминание о мамах и нянях ведет нас к тому, что у прекрасной Любуши была тоже мама и вместе поверенная чувств и желаний, старая Кафка, и что ей-то открылась юная дева в любви своей к Ратомиру и в том, что хотела бы с ним проститься за городскими стенами; но не знала, как обмануть стражу и выбраться из замка. Мама-утешительница указала ей на самое надежное средство — золото, и приняла на себя заботу подкупить стражу, стоявшую у городских ворот. Золото и в тогдашние суровые веки смягчало сердца людей еще вернее, нежели слезы красавицы или приветливая улыбка придворного. Что обещала старая Кафка своей вскормленнице, то и сделалось: стража по выезде юного Ратомира из замка забыла поднять мост и запереть ворота; даже, как можно подумать, на тот час ослепла и оглохла, потому что не видела и не слышала, когда Любуша скорыми и легкими шагами промелькнула в ворота, перебежала через подъемный мост и скрылась в роще. Ратомир уже там ожидал ее: он был

в вороненых латах и шлеме, с широким и длинным мечом при бедре; правую рукою опирался он на тяжелую булаву с зубчатою маковкой, а на левой держал огромный щит, завешенный черною тканью, потому что, видно, не решался еще выбрать ни герба, ни девиза или, может быть, и по другим каким причинам, о которых на тот раз Любуша не доведывалась. И до того ли ей было!

Ратомир и Любуша сели на мураву, в тени развесистого дерева, и несколько минут хранили молчание — вероятно, от полноты ощущений, которые волновали их души. Наконец юноша первый начал говорить голосом нетвердым, но сладостным для слуха милой его подруги.

— Родитель твой, прелестная Любуша,— сказал он,— разгадал тайну сердец наших прежде, нежели мы осмелились открыться в ней друг другу. Он покарал меня за минутное мое блаженство тяжким своим презрением; он давал мне почувствовать своими намеками, что я не рыцарь, не знатен родом и не богат и, следовательно, не достоин руки твоей... Жизнь или смерть! Рыцарское звание и слава громких подвигов, кои дадут мне право на руку милой Любуши,— или славный конец скоролетнего существования, искупленный тяжкими ударами, которые посыплю я на сильных, злобных витязей и на страшных великанов, утеснителей человечества. Вот что сказал я себе вчера, когда суровый отец твой язвительными своими насмешками заставлял меня тягостною ценою платить ему за временное гостеприимство, которым я пользовался в его замке. Прощай, милая, незабвенная Любуша! еду ко двору Клодова французского: там, сказывают, часто бывают рыцарские потехи; там потомки Амадисов, Эспландианов и Галаоров переведываются вежливым оружием (*armes courtoises*) и приобретают себе славу бессмертную. Там, посреди усыпанной песком загородки, пред глазами Клодова и Клотильды стану я вызывать на бой всех и всякого и оспаривать первенство красоты твоей над красотой всех принцесс и знаменитых дев Франции, Италии и Германии. Чувствую, что не найду себе противника! Любовь придаст мне силу сверхчеловеческую, и она же мне ручается за успех! Все рыцари, которые против меня выедут

с копьем в руке, вмиг будут ползать по песку и просить у меня пощады, заклиная твоим именем.

— Даруй то небо! — промолвила Любуша со вздохом.

— Оттуда, — продолжал Ратомир, несколько смутясь от присловья Любушина, — отправлюсь я по свету с перевязью рыцарскою, которую повяжет мне через плечо сама королева Клотильда, и стану искать приключений: карать исполинов и колдунов, разрушать их чародейства и замки баронов-грабителей, освобождать заколдованных принцесс и заключенных в башни красавиц...

— Только сделай одолжение, не поднимай в таких случаях забрало твоего шлема и не схватывай покрывала с освобожденных красавиц, — опять со вздохом примолвила Любуша.

— Поверь, милая, — отвечал Ратомир с легким укором, — образ твой неразлучно будет со мною; он будет носиться перед моими глазами на поле битвы и на пирах веселых; в чужеземных принцессах и благодарных за подвиги мои девах буду я воображать твои, только твои черты. Могу ли я видеть, могу ли замечать других, когда ты, одна ты живешь в моем сердце?

— Но послушай, мой друг, мой Ратомир, моя слава, мое блаженство! Ужели ты думаешь, что мне не тяжело с тобою расстаться, исчислять вздохами каждую минуту разлуки, томиться в страстном, но часто обманчивом ожидании, сохнуть и увядать от тоски и слез?.. О! возьми меня с собою! Пусть жестокий отец поздно раскается, что своенравно хотел разлучить два сердца, созданные друг для друга... Я буду для тебя все, буду твоею подругой, твоим оруженосцем: в одежде юноши, с кольчугой на груди и с опущенным наличником шлема меня никто не узнает... Я стану делить с тобою опасности, нужду и голод, охранять твой сон, заступать тебя своею грудью от ударов вражеских... Возьми, возьми меня с собою!

— Нет, бесценная, милая Любуша! не искушай твоего Ратомира и не мани его легким получением тех благ, которых обладанием должно отсрочить. Что подумает о мне отец твой? что скажут о тебе злые языки соседние и странствующие рыцари, которыми теперь полон ваш замок?.. Я хочу по окончании моих подвигов явиться к твоему родителю, как честный



и благородный рыцарь, и открыто требовать руки твоей, в награду за славные мои дела желал бы даже перед лицом твоим и Почебутовым вступить в состязание со всеми твоими обожателями, со всеми посторонними рыцарями, которые на ту пору будут гостить у вас. Тогда бы я с бою взял согласие отца твоего...

— Ты прав, мой Ратомир! — сказала тихим голосом Любуша, склонив прелестную свою голову на грудь юноши и закрыв светлые глаза своими руками. Минуты две провели они в молчании; юноша смотрел с выражением нежной страсти на лицо девы, бледное и подернутое тонким облаком печали. Наконец Любуша, как бы опомнясь, вдруг встала и, сняв с груди своей шитую перевязь, подала ее Ратомиру. Юноша осыпал перевязь поцелуями в то время, как милая дева говорила ему:

— На, возьми это в знак памяти. Я давно угадывала твое намерение и сама вышивала для тебя эту перевязь: я не хочу, чтобы посторонняя красавица надела на тебя свои цвета и свой девиз. Скрой до времени перевязь под своими латами, пока не завоеешь права носить ее сверх лат... Но чаще, сколько можно чаще посматривай на нее и прочитывай девиз.

Ратомир развернул перевязь и прочел вышитые на ней красным шелком слова: *Верная любовь до гроба...*

Здесь, почтенные слушатели, вы, может быть, спросите у меня: на каком языке и какими буквами слова сии были вышиты? Может быть, также заметите мне, что у славянских племен не было еще тогда букваря и что вообще рыцари и дамы того века были не слишком грамотны. На это скажу вам, что хроники ничего не говорят о сем обстоятельно и не упоминают даже, на славянском ли, на немецком ли языке и руническими ли, еврейскими или греческими буквами был написан девиз Любуши. А если хроники не говорят об этом, то археологу не на что сослаться с достоверностию. Впрочем, основательные разыскания о сем предмете можете вы прочесть в особой диссертации, которую я теперь сочиняю и намерен издать к будущей Лейпцигской ярмарке. Диссертация сия будет написана на латинском языке и займет собою до 300 страниц, формат in-4.

Немец наш понюхал табаку и посмотрел на нас с каким-то странным выражением лица. Трудно было

отгадать, правду ли он говорил или обещанная им диссертация была только *мистификация*. Помолчав с минуту, он продолжал свой рассказ.

Между тем борзый конь Ратомиров грыз удила и бил копытом землю от нетерпения. «Пора, пора, добрый мой товарищ!» — сказал будущий рыцарь. Любовники обнялись, потом отошли друг от друга, потом снова бросились друг другу в объятия, еще однажды; но за третьим разом Ратомир поспешно вскочил на коня, протянул к своей милой руку в знак прощания и полетел стрелою вдоль по лесу; Любуша осталась на месте, смотря вслед за своим любезным. Скоро он скрылся из глаз, скоро и пыль улеглась за ним, но милая дева все еще стояла, все надеялась еще хоть однажды увидеть из-за деревьев белые перья его шлема, хоть услышать стук копыт его коня... Вдруг кто-то схватил ее за плеча. Любуша вздрогнула, оглянулась — и увидела себя в руках страшного Мрачислава! Бедная Почебутова дочь вскрикнула и упала без чувств на землю; но зверовидный исполин без всякой жалости схватил ее в охапку, взбросил себе на плеча и понес ее, как носильщики таскают мешки с мукою. Радуюсь своей добыче, хищник скорыми шагами пустился в свой замок и там запер несчастную свою пленницу в самой отдаленной и самой богатой комнате, которую издавна уже, в дерзких мечтах своих, назначал ей жилищем. Через несколько времени, когда, по расчислению Мрачислава, Любуша должна была очувствоваться, он вошел к ней в комнату — и новый вопль девы, и новое беспамятство ее было следствием этого вторичного посещения. Но великан рассчитывал, что этому будет же когда-либо конец, и для того опять ее оставил одну. В третье свое посещение он застал Любушу, сидевшую на постеле и горько плакавшую. Исполин почел за приличное придать самый умильный взор воловьим своим глазам, вызвать на лицо свое какую-то гадкую и смешную ужимку вместо улыбки и смягчить свой голос, который от того сделался немного поприятнее медвежьего рева. И вот что он сказал юной красавице после всех сих усилий понравиться ей дикими своими приманками:

— О чем ты плачешь, ясная моя звездочка? Здесь тебе ни в чем не будет недостатка, а напротив того, все у тебя явится, чего ты ни пожелаешь. Замок мой

просторен и крепок: есть где поразгуляться без всякой опасности. Нарядов у себя найдешь ты столько, что и внукам твоим не износить их, а для забавы я наловил тебе в лесу разных певчих птиц и принес пару маленьких медвежат, которых выучу и плясать и петь под мой голос. Здесь ты, после меня, полная госпожа всему; только не старайся уйти и полюби меня...

— Полюбить тебя! изверга, уroda, который гаже всего на свете! — вскрикнула Любуша и с отчаяния бросилась нежными своими руками рвать рыжую бороду и царапать красно-бурые, скуластые щеки великана.

— О, так вот какова ты, голубушка! — взревел он страшным своим голосом и, сверкнув глазами, схватил бедную Любушу за обе руки и поднял ее на воздух, как перышко.

— Убей меня, гнусное чудовище! — кричала ему Любуша задыхающимся голосом, — убей меня! лучше лежать в земле, чем видеть тебя поминутно и жить под одною кровлей с тобою!

— Вздор, моя красавица, я не убью тебя; а посажу в другое жилье, где ты волею и неволею присмиреешь. И не такие, как ты, делались у меня ручными. — После сей речи Мрачислав отнес Любушу в северную башню, страшное жилище, освещенное одним только маленьким круглым окошком, которое обращено было к лесной тропинке. Туда приносил он ей каждый день пищу, уговаривал ее смириться и все не терял зверской своей надежды, что наконец одиночество, скука и страдания склонят к нему непреклонную красавицу. Здесь-то бедная Любуша от раннего утра до поздней ночи сживала под окном, мечтала о Ратомире и свободе, смотрела бессменно на тропинку и ждала со страхом и надеждой, что когда-нибудь милый ее избавитель дознается о месте ее заключения и вырвет ее из рук свирепого Мрачислава. Так уплывали дни, недели, месяцы — но не приходил милый избавитель!

Между тем в замке Почебутовом в день похищения Любуши сделалась ужасная тревога. Старый владелец замка, тщетно дожидавшись целое утро своей дочери, вышел наконец из терпения и сам пошел в ее комнату. Там нашел он только маму ее, Кафку, которая заливалась слезами и, увидев своего господина, бросилась ему в ноги и во всем призналась. Почебут закипел

гневом: тотчас велел запереть старую Кафку в мрачную, подземную темницу, а стражей-изменников повесить на воротах замка. Тогда же разослал он всех своих оруженосцев и конных вассалов по всем дорогам и сам с одним отрядом отправился по той дороге, которая пролегла чрез роццу, где, по признанию Кафки, Любуша и Ратомир должны были свидеться. Но прежде сего вошел он в большую комнату замка, где за целыми жареными баранами, за медвежьими и веприными окороками и за огромными ворохами разной дичи пировали проезжие рыцари и другие гости Почебуты, запивая сытные куски мяса вином и пивом из оправленных в серебро и золото бычачьих или турьих рогов.

— Храбрые рыцари! дорогие мои гости! — проговорил Почебут отрывистым голосом, торопливо входя в комнату, — дочь моя похищена, и похититель ее — дерзкий Ратомир, бедный и безродный юноша, которого я угощал и покоил в своем замке. Права гостеприимства нарушены; но преступник тяжкими мучениями поплатится мне за свое бесстыдство и неслыханную свою вину. Тот из вас, кто поймает наглого Ратомира с преступною моею дочерью и приведет его ко мне живого, будет наследником всего моего имения и.. получит руку моей дочери.

Рыцари взглянулись между собою, иные даже сделали какую-то двусмысленную ужимку и хранили молчание. Почебут, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты, сел на коня и вместе с любимым оруженосцем и отборными вассалами пустился во всю прыть из ворот замка. По уходе его между рыцарями поднялся тихий ропот, от которого раздавался гул по всем углам; ропот сей скоро превратился в шум и крик, в громкие изъявления досады и даже в не совсем почтительные выражения на счет Любуши и Ратомира; самый старик Почебут не был пощажен за послабу; которую давал он своей дочери, вопреки тогдашним обычаям. Все рыцари кликали своих оруженосцев, приказывали им седлать лошадей и готовиться к отъезду, и чрез полчаса замок опустел почти совершенно. Одни из рыцарей по разным дорогам погнались за Ратомиром, другие, махнув рукою, пустились в иных местах искать невест и роскошных пиров, и каждый из них с негодованием ворчал себе под нос.

Поиски Почебутовы, его вассалов и усердных рыцарей были напрасны: нигде не открыли и следов Ратомира и ни от кого не могли узнать ни слова о Любуше; она как будто в воду канула! В тоске и досаде возвратился старый владелец в свой замок, в котором уже не нашел он веселых гостей; ибо те из рыцарей, кои не могли отыскать Любуши и мнимого ее похитителя, не почли за нужное ехать обратно в замок Почебутов с порожними руками, их не манила больше надежда обещанной награды. Молва о побеге Любуши скоро повсюду рассеялась. Несколько десятков посторонних людей: рыцарей, их оруженосцев и другой челяди, которых языков ничто не связывало, — в короткое время разнесли ее по всем концам Богемии, даже и по другим соседним областям. Дорога в замок Почебутов как будто бы с тех пор заглохла для странствующих витязей. Черная грусть и не менее убийственная скука залегли в сердце старого Почебута: с горя и досады вздумал он один осушить весь тот запас вина и пива, который у него заготовлен был для домашнего обихода и которым мог бы он с избытком потчевать гостей своих круглый год или и больше: это привело его ближе к цели, как говаривал один поэт, не помню какой страны. Скажу яснее: старый Почебут запивал свое горе до тех пор, пока в один вечер запил его на целую вечность, или снес на тот свет, чтобы там его размыкать вместе с почтенными своими предками. Старика похоронили с должною честью в родовом подвале, и тут добрые соседи и старинные приятели впоследствии попиروвали в замке Почебута, совершая разгульную, шумную тризну по усопшем владельце. Скоро сыскались два наследника к оставшемуся после него замку и прочему имуществу: оба они предъявили права свои и доказывали близость родства своего с покойником не далее как в двенадцатом колене и ни один из них не признавал другого ни родней себе, ни наследником Почебутовым. В тогдашние полудикие времена такого рода тяжбы обыкновенно решались силою оружия, и оба наследника дрались в нескольких сшибках до последней крайности, пока наконец, обессилев сами от многих ран и растеряв почти всех своих вассалов, не вздумали мириться и любовно разделить между собою замок. Но этот мир был хуже всякой ссоры. Один из новых владельцев хотел отде-

лить стеною свой участок замка, другой мешал ему в том; а сей с досады подкапывал и разбивал стены и строения в участке своего противника, который платил ему тою же монетой. Кончили они тем, что сами разрушили свой замок и перегрызлись, как пауки, на его развалинах. Такова была плачевная судьба древнего замка Почебутова! Старанием последних его владельцев изгладились даже и самые признаки того места, где он когда-то возвышался; ибо разбитые и подрытые стены, рухнув, завалили рвы и сравняли их с окружною почвой. Время довершило остальное.

Что же делал в это время юный Ратомир? Неужели в самом деле пропал он без вести? Нет! будущий наш рыцарь, не подозревая тех печальных событий, которые по отъезде его совершились в замке Почебутовом, скакал во весь опор за геройскими подвигами и славой. В немногие дни прибыл он ко двору Клодовея и Клотильды без дальних приключений. Я говорю: без дальних приключений потому, что встретившиеся с ним на пути он не считал за важные: он только разрубил мечом своим голову одному неуступчивому рыцарю, охранявшему какой-то мост и не дававшему пропуска нашему страннику; столкнул в глубокую пропасть другого и с конем его за то, что сей неучтивец не хотел посторониться на узкой горной тропинке, и разбил своей булавою ворота одного запустелого замка, который показался ему очарованным. По пословице: *на ловца и зверь бежит*<sup>1</sup> — Ратомир нашел в древней Лютеции, или нынешнем Париже, толпу славнейших рыцарей изо всех концов Европы. Клодоей праздновал тогда счастливое распространение своего государства и правосудную свою жестокость, с какою он своеручно разрубил топором головы принцев Ранакария и Рикария, ближних своих родственников, которые ни в чем не были перед ним виноваты, или по крайней мере, вся вина их состояла в том, чем Лафонтенев волк обвинял ягненка. В ознаменование сей черты родственного правосудия назначен был при дворе французском большой турнир и объявлено было чрез публичных крикунов, или герольдов, за неимением в то время

---

<sup>1</sup> Разумеется, что здесь немец мой сказал пословицу немецкую, которую осмелился я заменить этою русскою по сходству значения.— Прим. русского рассказчика.

газет, что всякий проезжий рыцарь мог участвовать в этом турнире, не предъявляя своих прав и не открывая своего герба и девиза. Можно вообразить, как обрадовался Ратомир такому объявлению. В день турнира явился он у загородки на вороном коне, в черных доспехах, со щитом, завешенным черною тканью. Двенадцать самых сильных витязей были им вышибены из седла, и герольды, а за ними народная толпа громко провозгласили победителем безвестного, черного рыцаря. Клодовой и Клотильда, сидя на возвышенных, богато убранных подмостках, к которым вели двадцать четыре ступени, приказали представить себе победоносного незнакомца.

— Кто ты таков, храбрый рыцарь, откуда ты и кто твоя дама? — ласково спросила у него королева Клотильда.

Тогда Ратомир, взошед на третью ступень, преклонил колена и уничиженно признался, что он еще не рыцарь и что у него не было дамы при дворе французском. — Такой отличный воин сам начинает свой род и рыцарь по праву, если не по рождению, — сказал ему Клодовой со всею любезностью королей французских, — но я хочу возбудить зависть во всех других государях, двоюродных моих братьях<sup>1</sup>, тем, что я возвел в рыцарское звание достойнейшего из современных ратоборцев. — При сих словах король, приняв свой меч из рук оруженосца, ударил им Ратомира по плечу, потом дал новому рыцарю поцелуй, чем и совершился весь обряд посвящения.

Хроники не говорят, были ль в этот день надеты на Ратомира золотые шпоры и кто их надевал. Но о том, что следовало за посвящением его в рыцарское звание, о пирах, которые даны были при французском дворе после турнира и на которых Ратомир брал первенство над всеми другими рыцарями, говорят они подробно. Вот что я почитаю за нужное пересказать из них вам, милостивые государи.

Когда Ратомир, приняв удар и поцелуй от Клодовой, встал на ноги, то королева Клотильда сказала ему:

— Ты объявил, рыцарь, что у тебя нет дамы. Теперь

---

<sup>1</sup> *Mes consins*. Так обыкновенно называли французские короли других христианских государей.

ты можешь выбрать ее из всех прекраснейших дам, составляющих двор наш.

— Извините меня, государыня, — отвечал новый рыцарь, — я сказал только вашему величеству, что здесь у меня нет дамы. Но я ношу ее в моем сердце, а данную мне от нее перевязь — у сердца. — Сказав сие, он вынул из-под нагрудника перевязь Любуши и подал ее королеве.

Клотильда встала с места; и Ратомир снова стал перед нею на колена. Перевязь была на нем повязана рукою самой королевы, так, что вышитый красным шелком девиз: *Верная любовь до гроба*, лежал у него с правого плеча через всю грудь и оканчивался последним словом над самым сердцем витязя. Ратомир с изъявлениями самой искренней благодарности поцеловал руку Клотильды, возложившую на него цвета и девиз его любезной; и с этой минуты он стал дышать новою жизнью. Часть сладостнейших его мечтаний и надежд исполнилась — он был рыцарем!

Отпировав при дворе Клодоевеем и приобретя себе общую любовь и уважение от рыцарей и прекрасных дам двора сего, Ратомир откланялся королю и королеве и пустился за поиском приключений. Два года странствовал он по Франции, Испании, Италии, немецким землям, Литве и Польше и везде оставлял по себе неизгладимые следы славных подвигов, везде являлся бичом злых и защитником угнетенной невинности. Наконец он вспомнил, что время его опыта уже кончилось, что он уже довольно наполнил свет молвою своего имени и что там, за дальними горами Богемии, ждала его милая, верная Любуша; ибо он твердо веровал в ее постоянство и ему никак не приходило в голову, чтоб она могла изменить ему и передать другому свою руку и сердце. Ратомир немедленно поскакал туда, куда влекли его сильное чувство любви и воображение, распалившееся от одного воспоминания о прелестях Любуши. В немногие дни был уже он у пределов Богемии; до замка Почебутова оставался ему только один рыцарский переезд. Вы знаете, почтенные мои слушатели, что у древних рыцарей было и здоровье железное, как латы, шлемы и прочие доспехи, в которые они были закованы; вы знаете, что все они, от Амадиса Гальского до Дон-Кихота Ла-Манчского включительно, могли скакать несколько дней и ночей



сряду без отдыха, не чувствуя ни усталости, ни голода, ни жажды, ни всех подобных слабостей, которым ныне подвержены мы, хилые выродки тогдашнего крепкотелого человечества. Кони рыцарей были так же безустальны, как сами всадники, и питались по большей части воздухом. Жаль, что совсем истребилась сия превосходная порода коней, отменно рослых, сильных, быстрых, неутомимых, одаренных почти человеческим умом, а что всего лучше, столь неубыточных для прокормления! Не говорю уже, что некоторые избранные из числа рыцарей носились на ипогрифах, на рабиканах, воздушных конях; но где теперь найти таких лошадей, как Златогрив, Баярд и кобылица Альфана? Что перед ними Тромпеттеры и все другие английские скакуны? что их мерный, чопорный галоп перед буйным, огненным бегом коня рыцарских времен? все равно, что полет мухи перед полетом горного вихря. Таков был конь и нашего Ратомира: мудрено ли, что он проскакал в три или четыре дня такое пространство, какое ныне самый проворный кабинетский курьер не проскачет и в две недели, особливо по немецким почтовым дорогам.

Не утомление, не зной солнечный и не простонародные доуки голода и жажды приостановили быстрый бег нашего витязя: нет! он в мыслях припоминал все свои приключения, все свои подвиги, чтобы дать в них полный отчет старому гордецу Почебуту, когда станет у него требовать руки его дочери; и для того ехал тихою ступью по одной приятной лесной дорожке в Силезии. В памяти его оживлялись черты всех красавиц, которых встречал он по свету, освобождал от злых похитителей или оказывал им помощь и услугу в разных случаях. Ратомир мысленно сравнивал их прелести с прелестями Любуши; и сказать ли правду? сии сравнения не всегда были в пользу его милой. Вдруг он слышал за собою конский топот; оглянулся и увидел: на статном белом коне ехала женщина, которой легкий стройный стан прекрасно рисовался на лазури окружавшего воздуха. Невольно рыцарь зянул повод своего коня, и незнакомка скоро с ним поравнялась, сопровождаемая толпою хорошо вооруженных людей, и, как заметно было, ее вассалов.

— Добрый путь, пригожий рыцарь! — сказала незнакомая путешественница с таким взором и улыбкой,

которые растопили бы вечные льды Гренландии. Рыцарь взглянул на нее — и онемел от изумления. Ее лицо, цветущее юностью, полнотою здравия и самую приманчивую свежестью; правильность, соразмерность каждой черты, пленяющие и удивляющие в целом, как высокий идеал всего прекрасного; ее большие, голубые глаза, светившиеся тихим огнем чувства и периливавшие живительную свою теплоту в душу всякого, кто смотрел на них; ее белокурые, подобные тончайшему льну волосы, упавшие локонами из-под головного убора и вившиеся, как легкий дым, по плечам красавицы... Словом, в ней было все то, что Винкельман высказал нам о превосходнейших древних статуях греческих богинь или что молодые наши поэты говорят нам о мечтательных девах любви, предметах юной их страсти. Долго Ратомир не мог опомниться и отвечать на ласковый привет пленительной незнакомки; наконец он собрался с духом, проговорил почти несвязное, но пламенное изъявление благодарности, и пожирал глазами черты лица красавицы, которые, как волшебный талисман, приковывали к себе его взор и все силы душевные. Может быть, и воображение нашего рыцаря, уже прежде подготовленное мечтами о красоте других женщин, довершило очарование; но господство Любуши в сердце его сделалось с этой поры весьма и весьма шатко.

— День очень жарок! — сказала через несколько минут незнакомка, которая, как видно, скучала безмолвием нового своего спутника и думала, что с ним разговор должно начинать обыкновенным приступом о погоде. — Вы, рыцарь, конечно, проехали сегодня большое расстояние и чувствуете необходимость отдохнуть и подкрепить себя пищею?

— Мне должно отдохнуть только от тревоги, которую посеяли во мне прелестные ваши взоры, — отвечал Ратомир, у коего язык вдруг развязался, — а силы мои подкрепляются тем живительным участием, которого вы меня удостоиваете.

Незнакомка улыбнулась снова пленительною своею улыбкой и молвила:

— Я не знала до сих пор за собою таких противоположных способностей — сеять тревогу глазами и подкреплять силы языком в одно и то же время.

— Может быть, вы не знаете или не хотите знать

силы ваших прелестей,— со вздохом сказал Ратомир,— но тот, над кем они испытывают волшебное свое действие, узнает ее тяжким для сердца своего опытом.

— Ах, если этот опыт столько тяжел, то не смотрите на меня, рыцарь; или лучше я сама опущу покрывало на лицо свое.

— Это бы значило то же, что порадовать дневным светом проглянувшего слепца и снова ослепить его.

— Вы шутите, рыцарь. Мне кажется, что первый мой взгляд произвел в вас совсем не такое сильное впечатление, как вы стараетесь меня уверить.

— Разве можно уверять в том, чего не чувствуешь?.. Нет! такое разногласие слов и сердца мне вовсе незнакомо. Я могу вам показаться немым, потому что не вдруг отвечал на первые ваши слова, но глаза мои, верно, красноречивее передали вам то, что происходило в душе моей.

— Может быть; я согласна верить вам на слово, рыцарь, хотя, признаюсь, сама того не заметила. Я часто бываю крайне рассеяна и худо понимаю язык взоров, ибо никогда не смотрю в глаза тому, с кем говорю. Но мы слишком далеко отбились от того, что подало повод к этому разговору. Я хотела предложить вам, рыцарь, остановиться здесь на час и дать отдых нашим коням, между тем как сами мы и провожатые мои освежимся в тени этих деревьев от палящего зноя. Надеюсь, вы не откажетесь также отведать дорожных моих припасов.

На что не согласился бы Ратомир, чтобы продлить встречу свою с очаровательною незнакомкой! В эту минуту подъезжали они к приятной лужайке, расстилавшейся муравчатым ковром под тенью густых лип, которые были тогда в полном цвету и разливали в воздухе сладостный свой запах. Ратомир мигом соскочил с коня, подал руку незнакомке и тихо спустил ее на землю. Суетливые прислужники ее тотчас приготовили для них сытный обед, и рыцарь ел и пил тем охотнее, что прекрасная его спутница угощала его весьма старательно и сама подавала ему хороший пример для подражания.

В продолжение обеда незнакомка еще более обворожила рыцаря. Любезность, ум, непритворное чувство и непринужденная веселость попеременно и свободно блистали в ее речах и отсвечивались в ее взорах и

выражении лица. Сими быстрыми переходами от одного впечатления к другому, сею неожиданною меною разнообразных ощущений она искусно опутывала сердце рыцаря и налагала на него розовые цепи. Каждое движение красавицы имело необыкновенную прелесть и благородство в глазах изумленного Ратомира, который забыл все минувшее, утратил всякую мысль о будущем и наслаждался только настоящею минутой, не вникая в самого себя и едва смутно постигая, что с ним происходило.

По желанию прекрасной незнакомки рыцарь открыл ей свое имя.

— А, так вы-то Ратомир, рыцарь черного щита? — сказала она с выражением удовольствия. — Спрашивая вас об имени, я хотела вместе просить вас рассказать мне ваши приключения. Теперь вижу, что сия просьба была бы излишняя: громкая молва давно уже разнесла повсюду весть о ваших подвигах. Но вы также имеете право спросить, кто такова нескромная и любопытная незнакомка, разъезжающая по дорогам и своенравно вступившая в разговор с проезжим рыцарем, который без того, может быть, не обратил бы на нее внимания? Вижу, что вы только из вежливости не хотели мне с самого начала сделать сей вопрос; но я сама, из благодарности за внимание ваше к слабой, неопытной девушке, должна предупредить ваше желание. Имя мое Владимила, я дочь Косябы, богатого и знатного владельца в Богемии, по ту сторону Судетских гор. Отец мой уже около года болен тяжкою немощью, от которой отнялись у него руки и ноги. Все пособия врачей, все таинственные знания чародеев оставались тщетными; наконец я узнала, что в здешних местах, на границе Силезии, живет один мудрый волхв, искусный в лечении всех болезней, от которых страждет человечество. Я знала всю опасность сего пути, знала, что там, на высочайших горах Судетского хребта, обитает страшный исполин Мрачислав, прославивший более всего притеснителем нашего пола; и для того не решилась откровенно проситься у моего родителя: он наверное отказал бы мне. Но я положила у себя на сердце непременно самой ехать к волхву и купить у него во что бы ни стало исцеление отцу моему. Я употребила хитрость, — и, признаюсь, для пользы доброго моего отца, я обманула его: выпроси-

лась к одной родственнице, живущей в недалеком от нас расстоянии; а чтобы не подать подозрения о настоящем моем намерении, взяла с собою не весьма многочисленную свиту проводников. Но я поплатилась сильным страхом за мою отважность, проезжая мимо вершин Судетского хребта, хотя, к счастью, поезд наш не был замечен великаном: мне поминутно казалось, будто бы Мрачислав гонится за нами; каждый высокий пень сломленного ветром дерева пугал меня. Несмотря на то, мы благополучно проехали Судеты; я отыскала почтенного волхва, жителя уединенной долины; он делал заклинания, дал мне талисман и уверил меня, что по приезде моем в замок я найду родителя моего совершенно здоровым. Я спрашивала его о возвратном пути своем, и он в загадочном своем ответе сказал мне, что черный щит прикроет меня от всяких бед, и...

— И что же, прекрасная Владимила? — вскричал нетерпеливый Ратомир.

— Остального я не расслушала или не поняла, — отвечала Владимила, покраснев и потупя глаза в землю. — Я сказала уже вам, рыцарь, что ответ волхва был загадочный... Теперь от вас зависит, — примолвила она, взглянув на Ратомира с умильной улыбкой, — оправдать предсказание волхва о черном щите...

Само по себе разумеется, что Ратомир не делал на это возражений: как мог он идти против решения могущего чародея, которого почитал заложником самих судеб? Он даже охотно вызвался проводить прелестную свою спутницу до замка ее отца и оттуда уже возвратиться к жилищу Любуши, к которой, как честный и благородный рыцарь, он все еще упорно хотел хранить верность, назло прорицаниям волхва и силе прелестей Владимилиных. Переезд их через горы Судетские совершился без всяких приключений: видно, Мрачислав тогда или спал, или занят был другим делом, или, довольный прежнею своею добычею, не искал больше новых. Наконец рыцарь и прекрасная спутница его приехали в замок Косябы, где Владимила, к неописанной своей радости, нашла родителя своего совершенно исцелившимся, с тою бодростью и крепостью сил, какими обладает человек в пятьдесят лет, наслаждающийся полным своим здоровьем и никогда не испытывавший сильных потрясений. Владимила в восторге упала в объятия своего отца; радостные слезы,

как чистая роса, заблистали на длинных ее ресницах. Косяба не знал еще причины скорого, нечаянного своего исцеления и приписывал его чуду; но Владимирка во всем ему призналась и, рассказав все подробности своего путешествия, представила ему Ратомира как защитника и хранителя своего в продолжение пути. При имени Ратомира Косяба изъяснил искренние знаки удовольствия, что ему представился случай узнать столь знаменитого рыцаря, и просил его продлить сколько можно свое пребывание в замке, который, по словам отца Владимирки, должен был гордиться и славиться присутствием такого дорогого гостя.

— Чем же я отплачу тебе за все нежные твои обо мне пощения, милая, бесценная моя дочь? — говорил Косяба, прижав снова Владимику к своему сердцу. — Ты принесла мне такую жертву, на которую немногие из твоего пола могли бы отважиться. Я и теперь еще трепещу, воображая опасности, которым ты подвергалась для того, чтобы возвратить здоровье твоему отцу. Требуи от меня какого хочешь воздаяния и верь, что все, чего бы ты ни потребовала, будет еще слабою отплатою за сделанное для меня тобою.

— Придет время, родитель мой, когда я, может быть, напомню тебе о милостивом твоём обещании, — сказала Владимирка, и легкая краска пробежала по прелестному лицу ее. — Теперь же, не проглядывая в даль будущего, позволь мне наслаждаться нынешним моим блаженством, когда вижу, что здоровье снова тебя лелеет в живительных своих объятиях.

— Будь по твоему желанию. Но я хочу праздновать сегодня три радости, которыми небо меня ущедрило: благополучное твое возвращение, приезд красы и чести всего рыцарства в мой замок и вместе избавление мое от тяжкой и долговременной болезни. — Сказал — и по слову его гонцы полетели во все окружные замки и по всем большим дорогам зазывать соседних владельцев и странствующих рыцарей. Пир зашумел в огромном замке богатого Косябы; толпы владельцев, прекраснейших женщин и юных цветущих дев, рыцарей, их оруженосцев и разных прислужников скоро наполнили и оживили веселым говором своды сего здания, которое незадолго пред тем вмещало в себе только молчаливый одр болезни и унылых вассалов больного владельца. Но кто между всеми прелестными

женами и дочерьми владельцев блистает, как яркая планета между другими светилами ночи? Кто затмевает красоту прекраснейших? Это юная Владимирка. Кого все рыцари признают славой и украшением своего звания, кто собирает искреннюю и единодушную дань удивления и почестей? Это храбрый Ратомир. Общий шепот гостей уже назначил их друг для друга, и Ратомир подметил взгляды, сопровождавшие сей шепот и следившие в одно время за ним и Владимиркой. И вовсе не самолюбивый человек догадался бы, о чем шло дело; а наш Ратомир, как и мы его знаем, не был чужд самолюбия. Этот шепот, эти украдкой бросаемые взгляды общества наполняли его сердце жаром какой-то гордой надежды и больше и больше туманили в его памяти образ Любуши.

Три дня праздновал добрый Косяба три свои радости. Некоторые злые языки из гостей его тишком говорили, что гостеприимный их хозяин рад был случаю попить, потому что во время болезни своей волею и неволею должен был во многом себе отказывать; так будто бы по выздоровлении он разом хотел нагнать время, потерянное для удовольствий. Мы не станем в этом подражать злоязычникам и охотнее согласимся думать, что намерения хлебосола-владельца были самые чистые. Но всему бывает конец; так и длинная наша повесть когда-нибудь окончится; так и пиры в замке богемца кончились; гости разъехались, и Косяба остался только со своею дочерью и Ратомиром. Тогда начались новые наслаждения для нашего рыцаря; уединенные прогулки с прелестною Владимиркой, прогулки, во время коих разговор был непрерывною меною душевных чувств и восторгов, поминутно пробуждаемых даже такими причинами, кои показались бы мелочными для равнодушного наблюдателя.

В одну из сих прогулок Владимирка спросила у Ратомира, что значит девиз на его перевязи: *Верная любовь до гроба*? Лицо Ратомира вспыхнуло; он смутился, но сказал, хотя и с крайним усилием самому себе, всю правду о первой своей страсти к Любуше, о взаимных обетах своих и обо всем, что нам уже известно.

— И вы не спешите, рыцарь, к вашей любезной? — сказала Владимирка таким тоном, в котором, несмотря на все ее старания скрыть тайные движения своей

души, обнаружился упрек оскорбленного самолюбия.

— Я спешил к ней, когда встретился с вами в дороге,— отвечал Ратомир.— По долгу странствующего рыцаря взялся я оберегать и защищать вас. Остальное также вам известно; родитель ваш уговорил меня остаться несколько дней в его замке, от чего я также не мог отказаться. Но завтра я распрощусь с вами и с этим гостеприимным замком; завтра вы увидите, что я свято соблюдал на сердце и в душе девиз моей переязи, как долг требует от всякого рыцаря, непостыдно носящего высокое свое звание... Какова бы ни была жертва, приносимая мною сему долгу, но я надеюсь, что не подам вам повода переменить доброе ваше мнение о рыцаре черного щита... Если б я смел также надеяться,— прибавил он перерывающим голосом и в сильном душевном волнении,— что вы не совсем изгоните меня из вашей памяти; то сие было бы для меня некоторою заменой счастья, о котором уже не смею я мечтать...— Рыцарь склонил голову на грудь свою, и только вздохи дополнили недоговоренную им речь.

Сердце Владимилы было тронуто, и на глазах ее блеснули слезы.

— Поезжайте, рыцарь,— сказала она,— будьте верны той, которая приобрела первую любовь вашу, будьте счастливы с нею... А я... я вечным девством искуплю несколько дней сладостнейшей мечты... И вот памятник, который я вам готовлю в моем сердце...— прибавила она торопливо — и легкая бледность сменила в щеках ее розы румянца.

Ратомир с жаром схватил ее руку и вскрикнул так, что бедная Владимила вздрогнула:

— Обещайте мне только, что если я чрез десять дней возвращусь к вам, то вы не разрушите приятнейших надежд моих — получить руку и сердце ваше. Возвращение мое будет значить, что дева первой любви моей нашла счастье с другим или что я привесил венок из цветов к ее могиле... Обещайте мне это...

Обещание было дано, и рыцарь простился с прелестною Владимилой, которая не таила более от него душевных своих чувствований. Не так легко было рыцарю отделаться от гостеприимного и благодарного Косябы. Старый владелец сначала и слышать не хотел



о скором отъезде Ратомира, уговаривал его остаться еще несколько времени, намекал ему о предсказании волхва, давал ему выразуметь, что черный щит, по словам прорицателя, должен был навсегда оградить Владимиру от бедствий и превратностей жизни и что смысл этих таинственных слов согласен был с общим желанием отца и дочери. Наконец, видя непреклонную Ратомирову твердость, в которую, может быть, отчасти вмешивалось и упрямство самолюбия, отец Владимиры первый предложил ему то, в чем рыцарь взял перед тем обещание с его дочери; то есть, чтобы, когда цель Ратомирова путешествия не исполнится, он возвратился бы в замок Косябы и оправдал предвещание чародея.

Рано поутру наш рыцарь ехал по дороге к замку Почебутову. Он не летел уже с прежнею бодростью и поспешностью: погруженный в грустные свои мечты, в безвестность будущего, он бросил повод на шею верному своему коню и дал ему волю везти себя, куда и как он хотел. Ни прелесть летнего утра, ни красоты дикой, но богатой природы, ни пение ранних птичек, кои приветствовали восходящее солнце, — ничто не развлекало Ратомира: он ничего не видел и не слышал. Поздно уже опомнился рыцарь, когда увидел себя совсем не на той дороге, по которой ему должно было ехать. Это, однако же, не слишком огорчило его: напротив, он находил в сей игре случая какое-то предвестие, что найдешь у цели своего путешествия совсем не то, чего ожидал, и Ратомир почти радовался ошибке своей или своего коня. Солнце садилось уже за дальними горами, когда Ратомир, подкрепляемый ожившею в нем надеждою, поворотил коня своего в надлежащий путь. Бодрее и быстрее прежнего продолжал он свое странствование, и когда мраки ночи спускались уже на землю, прибыл наш рыцарь в те места, где чаял найти замок Почебута. Но сколько ни ездил он по окрестностям, не мог отыскать замка: уже он начинал думать, что снова сбился с тропы или что горные духи над ним проказили и туманили в глазах его предметы, и без того неявные под темною пеленою ночи. Вдруг луна взошла из-за лесистых гор и осветила развалины. Ратомир узнал усадьбу замка и с каким-то смутным предчувствием, в котором радость мешалась с горестью, поскакал в ту сторону. Привязав коня своего

к одному из столбов, на которых некогда поддерживался подъемный мост, Ратомир начал взбираться на развалины, коих камни обрывались и скатывались под его ногами. Поиски его были тщетны: ни одного живого существа, ни одного уцелевшего строения не нашел он между сею грудю камней. Уже он хотел сойти с развалин и отправиться по прежним своим следам, как заметил в некотором от себя расстоянии нечто похожее на человека: призрак сей возвышался над огромным бугром, составившимся из рухнувших зданий. Ратомир пошел туда, обнажил меч из предосторожности; но призрак не трогался с места и, казалось, не делал ни малейшего движения. Рыцарь наш был чужд всякого страха и все опасности считал игрошкой; потому он отважно приступил к привидению, в котором увидел он при лунном свете женщину, иссохшую, бледную, с глубокими морщинами на лице и с седыми, разбитыми волосами на голове. Приведение вскрикнуло, взглянув на рыцаря, и к удивлению его, сказала чаклым, могильным голосом:

— Ты ль это, Ратомир? Как мог ты прийти в сии места, не боясь, что развалины сии расступятся и поглотят тебя, нарушителя гостеприимства?

— Но кто ты? — вскричал рыцарь в свою очередь, — и почему грозишь мне карою и придаешь мне такое название, которого я не заслуживаю?

— Я Кафка, несчастная мама Любуши, которую ты похитил.

— Что? я похитил Любушу? так она похищена?

— В самый день твоего отъезда из замка. Но к чему притворство? Кого обманывать считаешь ты необходимою? Теперь нет уже мстителя за честь бедной девы и за посмеяние гостеприимства в здешнем замке: отец ее давно лежит во гробе, и самый сей замок, ты видишь, в развалинах.

— Клянусь тебе, что не я похитил Любушу. Напротив того, расставаясь с нею в роще, я положил на себя обет открыто и торжественно требовать ее руки у отца ее. Но расскажи мне, что происходило здесь по моем отбытии.

Ратомир и Кафка сели на груде камней, и старуха рассказала рыцарю все, что известно ей было с той минуты, в которую разгневанный Почебут велел запирать ее в темницу, до дня разрушения замка.

— Подземная тюрьма моя,— прибавила она,— была забыта по смерти старого владельца. Один только человекочелюбивый страж, сжался над моими сединами и страданиями, приносил мне каждый день скудную пищу заключенников. В ту страшную годину, когда замок сей рассыпался от междоусобия неистовых на следников Почебута, одна стена моей тюрьмы обвалилась, но прочия три остались целы. Три дня томилась я без пищи, погребенная заживо в сем душном гробе; наконец окружные жители, привлеченные надеждою богатой добычи, начали разрывать развалины, и думав отыскать потаенные сокровища в подвалах замка, избавили меня от томительной смерти. С тех пор живу я в бывшей тюрьме моей, оплакивая гибель сего замка и бывшего его владельцев, гибель, которой считаю себя одною из посторонних причин. Для сего я осудила себя на произвольное затворничество под сводами сего замка: туда влезаю я, подобно дикому зверю, узким отверстием, которое оставлено со времени разрытия сих развалин. Жители соседних сел из сострадания наделяют меня пищею и одеждою...

— Но скажи,— с жаром перервал Ратомир слова старухи,— неужели с тех пор не доходила до тебя никакая весть о Любуше?

— Увы! я ничего не могла о ней разведать в здешних окрестностях и до сего часа считала тебя похитителем милой моей вскормленницы. Но теперь... какой свет вдруг открывается моим глазам... Так точно! наверное, страшный Мрачислав унес ее в разбойничье гнездо свое.

— Мрачислав! Давно уже я слышу об этом исполине, от которого терпит вся здешняя страна. Пора наказать это чудовище за все его злодеяния, за слезы и горечь многих семейств,— и я буду его карателем, я отмщу ему за те оскорбительные подозрения, которыми похищение Любуши очернило меня в глазах многих честных людей... Где его жилище?

— Там, на скате самой высокой из гор Судетских, стоит замок Мрачислава. К нему ведет только узкая крутая тропинка сквозь чащу леса.

— Но ты неужели решилась погребсти навсегда дни свои в этих грустных развалинах? Ступай со мною: может быть, ты доживешь до лучшего времени...

— Нет, рыцарь, нет! К чему манить себя тщетными.

мечтами несбыточного счастья? Хилая жизнь моя прикована к развалинам этого замка священным обетом. Здесь я впервые открыла глаза; здесь знала счастливейшее время: была любима, потом почтена и отличена пред всеми вассалами владельца. Здесь я взлелеяла юные дни Любуши, видела целый ряд пиров ее отца и всю нить торжеств расцветавшей красавицы; и здесь же была я хотя невольною, но не менее того виновною участницею всех зол, которые обрушились над этим замком... Здесь я положу старые свои кости: им не должно знать другой могилы, кроме сих развалин.

Рыцарь, видя упорную решимость старой мамы, оставил ее и тогда же при свете полной луны пустился по указанной Кафкою дороге к замку Мрачиславу. Еще первые лучи солнца не блеснули на деревьях и только передрагасветный ветерок начал перебирать листьями, когда Ратомир явился у подошвы заоблачного пика Судетского и отыскал узкую лесную тропинку, по которой никак нельзя было взбираться верхом. Рыцарь, оставя верного коня своего в тени деревьев под горою, пошел вверх по тропинке, опираясь на булаву свою и цепляясь за сучья. Скоро очутился он у широкого, обрывистого рва непомерной глубины, которым окружен был весь замок. Рыцарь остановился в раздумьи и глазами измерял ров: перескакнуть чрез него не было возможности даже самому сильному коню; спуститься в него по крутизне оврага также было нельзя: рыцарь увяз бы в тине и никак бы не выбрался на противоположную сторону, которая столь же была крута.

«Одно средство остается мне,— думал Ратомир, подпершись своею булавою и смотря на высокие, неприступные стены замка,— это средство — затрубить в рог и вызвать Мрачислава на бой со мною. Но этот дикой, коварный великан не признает прав рыцарства и не имеет ни малейшего понятия о законах чести: он скорее запрется в своем замке еще крепче прежнего и будет в меня бросать огромными камнями и целыми бревнами. Говорят, что он ворочает в руках большой дуб еще свободнее, нежели я эту булаву. И что за радость без славы и даже без боя умереть от руки уroda, который из своей засады станет меня бить чем попало? Иное дело, если б он шел открытою си-

лой; но этого наверное он не сделает. Да и знаю ли я наверное, что он-то именно похитил Любушу? Я как ребенок поверил словам полуумной старухи, которая утратила последний рассудок, живучи в своей берлоге, и которая сама изъясняла мне только свои догадки. Но положим, что Любуша точно за этими стенами; то кто знает?.. Время... одиночество...» Остального он не докончил и, довольный своею логикой, решил, что безрассудно пускаться в такую опасность, где гибель почти явная, а никакого успеха ожидать было не можно и не должно. Вслед за таким решением он спустился с горы, сел на коня и поскакал во весь опор к замку отца Владимилына.

Нетрудно ему было по приезде туда сказать правдоподобную и отчасти даже справедливую оговорку: замок Почебута был разрушен, что известно было во всей Богемии; никаких следов, никаких признаков того, что случилось с Любушей, рыцарь не мог отыскать, хотя изъяслял о том весьма сильное сожаление, не знаю, искреннее или притворное... Короче, не прошло и двух недель, как новые пиры были даны по случаю бракосочетания прекрасной Владимилы с храбрым Ратомиром, который в объятиях очаровательной своей супруги скоро утешился о потере Любуши.

— А верная Любуша? — спросили мы в один голос.

— Она также утешилась и осталась доброю волею в замке исполиновом, хотя Мрачислав больше и не стерег ее. Предание говорит, что любопытная и неосторожная молодежь окрестных селений часто видела ее на подзорной башне замка, что будто бы Любуша сидела там всегда на коленях у великана; что будто бы даже видали, как она атласными своими руками гладила ноздреватую рожу Мрачислава или нежными своими пальцами играла в жестких, всклокоченных волосах рыжей его бороды... Не понимаю, какие достоинства нашла она в этом уроде; и то правда, что своенравие женщины необъяснимо.

— Благодарю за доброе мнение о нас, — молвила баронесса с видом обиженного самолюбия.

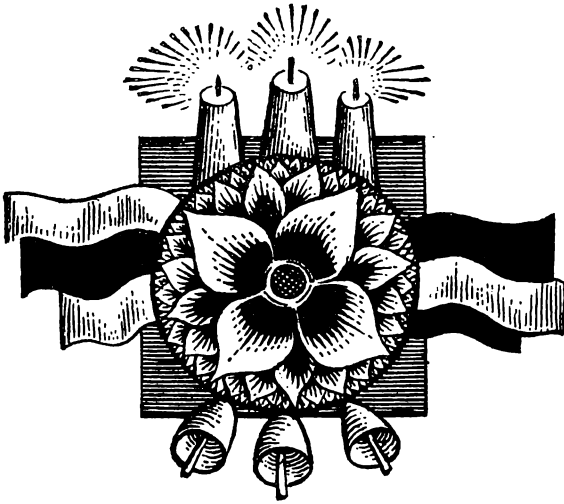
— Оно ежели не совсем лестно, то по крайней мере справедливо, — отвечал археолог с самым убийственным хладнокровием.

Баронесса сделала кислую ужимку, но не отвечала ни слова.

— Что же было после? — спросил я.

— После было то, — отвечал археолог, — что от прекрасной Любуши и безобразного Мрачислава породилось целое племя исполинов, от коих горы сии получили нынешнее свое название. Исполины эти были истинным бичом всех окрестностей: захватывали стада, грабили жителей, полонили их жен и дочерей, пока наконец самые храбрые рыцари и самые сильные бароны из всей Богемии, Силезии и Лузании, не собрались поголовным ополчением, не истребили всех исполинов огнем и мечом и не разорили до основания гнезда их, древнего замка Мрачиславова, от которого теперь не осталось ни камня, потому что все бароны, рыцари и даже их вассалы разнесли эти камни по домам, на вековечную память своего отважного похода и знаменитых своих подвигов. После сии камни в течение веков утратились, а с ними и воспоминание о походе, о котором даже историки ничего не говорят. Одни только горы названием своим сохранили память исполинов.





*Quia et  
non est*



## СВАТОВСТВО

*Из воспоминаний старика о его молодости*

Гей, гей! та нігде правди діти!..

*Котляревский*

Мне было двадцать лет, и уже преосвященнейший владыка нашей епархии назначал меня ставленником в диаконы; из милости к отцу моему и ко мне ожидал только хорошей вакансии, т. е. чтобы поставить меня диаконом в сытное место, где бы мне можно было со временем быть и священником. Проклятые каникулы все это расстроили; и теперь я, низжайший, состою в чине 9-го класса и буду состоять по конец дней моих; ибо

...чин ассессорский, толико вожденный,

как говорит один поэт, мой земляк, вечная ему память!.. сей чин ассессорский, говорю, есть для меня *кислый виноград*, потому что достать его мне век не удастся. Скажете вы: «А экзамен?» — Да, экзамен! Нынешние ваши экзамены для нас, стариков, *темна вода во облацех*. В старину, бывало, кто знал четко и правильно писать, смыслил, где должно поставить е и где ъ, разумел четыре правила из первой части Руководства к арифметике да приметался к делам,— тот был куда знающий человек и ученый чиновник! А ныне у вас математики чистые, да прикладные, да *живые языки*, как вы их называете, да право римское, да то, другое, третье право... так что, право, от одного вычисления этих прав язык устанет. Где еще! *най-де словесность*, умей писать ясно и красно!.. Что-то бы сказали об этом старые дельцы, которых вы, нынешняя молодежь, называете *крючками*, *шпаргалистами*, *крапивным племенем* и другими позорными именами? «Какое тут красноречие,— молвил бы из них любой,— где надобно сплеча валять: *приказали: понеже* и т. далее. И где тут добиться ясности, когда, например, самое дело перепутано как паутина?» Однако я с своим вопиющим горем отбился от настоящего дела. Простите, господа! всему виною лишний десяток лет за

плечами да врожденная наша украинская привычка, по которой часом у нас и слова не выманишь, будто губы на замке; а часом, коли бог пошлет охоту язык почесать,— так и не остановишься: откуда слова берутся! Уж подлинно, от избытка уста глаголют!

Может быть, господа, вы дивитесь, переглядываетесь и перешептываетесь: «Кто-де с нами говорит? и какой-де след незнакомому человеку затрагивать незнакомых; жителю уездного городка говорить со столичными и простою речью дразнить наш слух, привыкший к отборным выражениям и затейливым приветствиям?.. Извольте, господа! донесу вам о себе все, что следует. Напомню вам только, что я сам был из ученых, и если бы не проклятые каникулы, то, может статься, и до сего дня не разознался бы с латынью. Как это было, о том следует ниже. Прошу прислушать.

Мне было двадцать лет,— как уже я имел честь донести вам,— я прошел философию и поступил в богословы. Июнь месяц приближался тогда к концу. Я отбыл свой экзамен и отправился в дом родительский, К\*\*\* повета в село Крохалиевку, где отец мой был единственным священником многолюдного прихода. Отец мой имел большой почет не только от казаков и мужиков, но и от мелкопоместных дворян, или панков, которых было душ десятка три в Крохалиевке. Правда, и было за что уважать отца Калистрата Сластену: он сам из предков был дворянин, кроме церковной земли, имел десятин сорок собственной, еще и с лесом. Один сад с плодовыми деревьями был у нас такой большой, что устанешь, бывало, покамест обойдешь его. Прибавьте же к этому еще пасеку, на которой было до тысячи ульев пчел, да славный доход от прихожан за требы мирские, за христославие, ходы с образами и пр. и пр.— и тогда вы не подивитесь, коли я вам скажу, что отец Калистрат Сластена не только мог равняться со всеми крохалиевскими панками, но и был зажиточнее любого из них. Многие даже были ему должны немалые суммы денег. Бывало, как он идет в праздничный день по селению, в гродетуровой своей фиолетовой рясе, в светло-зеленом камчатном полукафтани, в пуховой шляпе с большими полями, держа в руке высокою камышовую трость с позолоченным набалдашником,— то все, от мала до велика, кланялись ему в пояс, изъясняя знаки глубочайшего

уважения к его особе. Правда, он умел поддерживать сие высокое мнение о нем в прихожанах: вел себя с надлежащею важностию, не любил куликать на поминках, не любил запрашивать лишнего за требы и торговаться за венчанья и похороны; принимал всегда на себя вид степенный, особливо во время служения, читал молитвы внятно и с расстановкой, говорил медленно и величаво. Одна только молодежь крохалиевская не совсем была им довольна за то, что обедня у него обыкновенно шла очень долго и что он молодых парней побранивал иногда за шалости.

Казалось бы, что он как первенствующее лицо в своем приходе долженствовал быть полновластным господином своих желаний и действий; так нет, милостивые государи! нередко публичная власть сама бывает подвержена частному, домашнему господству. Это самое было и с моим родителем. Матушка моя нашла средство покорить себе волю своего супруга. Не думайте, однако ж, будто бы она достигла сего упрямством и настойчивостью: совсем нет! такие средства слишком были бы явны, и у отца Калистрата ничего бы ими не выторговал. Матушка моя проложила себе путь вернейший, хотя и околичный. Вот как она обыкновенно действовала: когда видела родителя моего в хорошем расположении духа, то приступала к нему с своею просьбой; и если он наотрез ей отказывал, то она умолкала и выжидала другого удобного случая; не унывая от новой неудачи, откладывала до третьей, четвертой попытки и так далее. Наконец, напав на отца моего под добрый стих, она выманивала у него желаемое согласие, руководствуясь в этом, как видно, пословицей: что по капле вода и камень протачивает. Таким образом, отец мой, быв в полной уверенности, что властвует один в своем доме, незаметно разделял свое господство с моею матерью и часто действовал по ее внушению, в противность собственной доброй воле.

Правда, мать моя не употребляла или не смела употребить во зло тайного своего владычества: весь круг ее действий ограничивался делами домашними или семейными; в глазах же обывателей и панков крохалиевских пользовалась она уважением второстепенным, яко второе лицо по отце моем. В частном быту своем была она домовитою хозяйкой: сушила впрок яблоки, груши, вишни и терн; солила грузди, делала вкусный

грушевый квас, разные сладкие наливки; особенно ее рябиновка славилась по целому околотку. С отличным искусством разрисовывала к Велику-дню писанки<sup>1</sup> и непостижимым для меня чудом умела сберечь надолго от порчи огромные вороха крашеных яиц, приносимых священнику его прихожанами на поклон о святой неделе.

Но я давно уже отправился из города к отцу моему и все-таки, как изволите видеть, до сих пор туда не доехал. Причина тому самая простая: медленность движения; а почему? узнаете сию минуту. Мы, смиренные студенты философии или богословия, не лета-ли, как городские ваши барычи, на лихих тройках: нет! в этом случае родители нас не баловали. Я уже думал, взяв посох пешехода, в поте лица измерять собственными ногами пространство от епархиального города до родимой Крохалиевки (пространство, мимоходом скажу, не менее осьмидесяти верст); но, по счастью, на городском рынке встретил одного крохалиевского обывателя, приехавшего туда на трех парах волов для продажи пшена, воску, пеньки и конопляного масла. Сим последним изделием отличался дом этого казака из рода в род; почему и прозвание предка: Олия<sup>2</sup> — осталось при потомках его как прозвание родовое, с небольшим изменением: Олиенко, показывающим и ремесло родоначальника, и то, что название сие служит как бы словесным гербовником, означающим давность и рода и ремесла его. Панас<sup>3</sup> Олиенко, увидев и узнав меня на рынке, подошел ко мне с почтительным поклоном и приветствием: «Добрый день, пане поповичу!» После некоторых расспросов я узнал от него, что на другой день собирался он в обратный путь, и он с охотой вызвался доставить меня в родительский дом, вменяя себе в великую честь, что ему представлялся случай оказать услугу пан-отцу<sup>4</sup>.

Усевшись на передовом возу, запряженном парюю круторогих, статных волов<sup>5</sup>, я весело начал свое путешествие, во время которого не приключилось ничего особенного, кроме того разве, что, проезжая вечером чрез большой черный лес, я и проводник мой с своим работником весьма нехладнокровно вслушивались в крик и завыванье филинов и сов, которые суеверными моими спутниками приняты были за ночные проказы леших; а как страх есть болезнь прилипчивая, то — не-

чего греха таить — и у меня внутренность обдавало холодом; да еще на одном ночлеге мы перетряслись как лист, оттого что над нами пролетела ярко-светлая полоса, которую добрые поселяне почитают за огненного змея, а вы, господа, называете метеором. Кто из вас прав, та или другая сторона — это решить не мое дело, тем более что таковые казусы никогда не поступали в инстанцию, по которой я имею честь состоять в числе штатных чиновников. Наконец, в третий день около полудня мы завидели с одного пригорка благословенное село Крохалиевку. Узрев высокую колокольню, на которую в бытность мою еще в родительском доме часто я лаживал поддирать голубиные гнезда или звонить на разные напевы о святой неделе, — я, признаюсь в моей слабости, прослезился от умиления. «*Dulce fumus patriae!*» \* — твердил я, сидя на возу и погоняя батогом ленивых волов, тогда как взоры мои были устремлены на густой дым, подымавшийся столбом из винокурии одного крохалиевского панка. Панас Олиенко и работник его, думая, что я говорил *рацею* <sup>6</sup>, благовейно сняли шапки и перекрестились раза по три. С каждым медленным шагом волов сердце мое билось сильнее и сильнее. Одна только природная застенчивость, один только ложный стыд не позволяли мне вскочить с воза и, припав к земле, целовать родную пыль.

«Но всему есть свой предел», — говаривал покойник мой батюшка, утешая назидательною беседой своих прихожан во время смертных случаев. Так и тихоступному шествию волов был же свой предел. Я встал с воза, в коротких словах отблагодарил Панаса Олиенко и скорым шагом пустился к дому отцовскому. Не берусь описывать минуту свидания: скрип пера слабо выразил бы визгливые излияния чувства и радостные всхлипывания доброй моей матери!

После первых родственных объятий и осведомлений о том и о другом беседа потекла у нас спокойнее, подобно реке, которая, прорвавшись сквозь кремнистые ущелья, начинает плавно течь в берегах своих. Батюшка расспрашивал меня об экзамене; матушка заговаривала о женитьбе. Это слово, не знаю сам почему, показалось мне на сей раз что-то страшно, как

---

\* Сладок дым отчества (латин.).

будто бы я впервые пристально заглянул в глубокий колодезь, в котором и дна не видно, и вода словно подернута какою-то черною, непроницаемою для взора влагой.

Случай, который часто действует, как те назойливые услужники, кои некстати подвертываются к вам с своими угождениями,

И любят хлопотать, где их совсем не просят

случай удивительно помог моей матушке в брачных ее видах на счет мой: у нас в Крохалиевке завелась свадьба. Какой-то повытчик поветового суда из ближайшего городка вздумал жениться на одной из барышень, которым обиловало наше селение, как сад моего отца в летнюю пору сладкими грушами и сочными вишнями. Отец мой говаривал, при урожае, что деревья в его саду так и ломаются от плодов; слава богу, что этой поговорки нельзя применить к улицам и красным девицам: иначе я был бы в сильном страхе, что нашей Крохалиевке не сдобровать от изобилия плодов земных и временных, коими в хорошую погоду красовались все лавки у ворот в панских домах благословенной и многоплодной Крохалиевки. У иного дома, право, можно было их насчитать от шести до осьми. На сей раз одному из этих плодов, по большей части зрелых, надлежало выбыть из общего счета. Батюшка мой, соблюдая приличие своего сана, никогда не хаживал на свадебные пиры; его и оставили в покое, зато к матушке моей и ко мне приступили со всею настойчивостию провинциального хлебосольства. «Будьте ласковы, таки пожалуйста, не побрезгайте нашею хлеб-солью». Но у матушки моей были также свои понятия о приличиях сана попадьи, яко помощницы и верной спутницы пан-отца на пути жизни. Она также решительно отказалась, утверждая, что духовному чину некстати быть на *весельях*<sup>7</sup> и мирских забавах. Оставался один я,— и признаюсь, не от чего иного, как от застенчивости, тоже сперва отказался; но на этот раз матушка моя приняла сторону гостеприимных пригласителей и доказывала мне, что молодому человеку, живущему в *большом свете* (т. е. в *бурсе*<sup>8</sup> епархиального города), стыдно уклоняться от честных увеселений, что я не жена, а только сын священника и доселе состою покамест еще в светском звании.

Я, сказать правду, не совсем был недоволен аргументами моей родительницы: мне самому хотелось понасмотреться вблизи, как веселятся паны; ибо до тех пор я видал их только издали.

Оставшись со мной наедине, матушка моя умела оживить мою бодрость. Она твердила мне, что я как житель губернского города и человек ученый могу везде иметь почетное место; что сельские мелкопоместные панки люди незамысловатые, да и поезжанные с жениховой стороны тоже; ибо все они не больше, как неважные чиновники поветового городка, все они видели свет только из окна и что, наконец, я любого из них могу загонять красноречием и латынью. Это надмало мне душу честолюбивым желанием блеснуть умом, ученостью и светскою ловкостью в Крохалиевке. Настал желанный день, и я с самого утра начал заботиться о своем наряде и приготовлениях, чтобы как можно лучше явиться в большой крохалиевский свет. Опойковые свои сапоги, немного порыжелые, смочил я раствором из купороса, а после тщательно натер конопляным маслом с солью, что придало им необыкновенную черноту и даже некоторый лоск. Серый свой долгополый сюртук, сшитый мне родителем моим *на рост*, когда во мне было два аршина и девять вершков с половиною, вычистил я так, что на нем не осталось ни порошинки. К этому, чтоб больше блеснуть в глаза деревенских барышень яркостью красок и тонкостью вкуса, надел я алый камзол и застегнул его по самое горло позолоченными пуговками. Матушка ссудила меня шелковым платком оранжевого цвета, с волнисто-радужными коймами и серебряными цветами по углам; я повязал этот платок на шею, распустя длинные концы его так, что волнисто-радужные коймы и серебряные цветы приходились у меня на самой груди. Одевшись таким образом, я посмотрелся в зеркало: блеск ослепительный! красный цвет и оранжевый, радужные коймы и серебро платка, золото пуговиц — все это составляло чудную, изящную пестроту и спорило между собою о первенстве на одобрение вкуса самого разборчивого. Я вычесал *лавержет*<sup>9</sup> своим частым гребнем и намазал его самым свежим коровьим маслом. В таком убранстве я предстал на предварительный суд моей родительницы.

Матушка моя ахнула от изумления, видя такое вели-

колепие и вместе изящество, соразмерность, стройность и вкус. «Пускай же,— говорила она,— эти городские паньичи выхвалятся перед тобою своим убранством; на них все: то черное, то белое, то синее, а на тебе все как жар горит!» Я и сам был того мнения, что городские моды скудны и однообразны, и считал, что мне как человеку просвещенному, живущему в центре губернской образованности и которому за латынью в карман не ходить,— что мне, словом, можно по праву быть оракулом моды в Крохалиевке. Являюсь в дом отца невесты — ровно в одиннадцать часов утра. Комнаты все полны гостей; девушки, молодые и пожилые, разряженные в пух по самой последней моде, существовавшей тогда в Крохалиевке, либо сидят чинно по местам, ужимая губки и перебирая пальцами по обыкновенной привычке малороссийских *панянок*, либо вертятся

...як в окрипи муха <sup>10</sup>,

по выражению одного поэта, тоже мдего земляка, которому дай бог петь и здравствовать многие лета! Городские *паньичи*, иные в черных либо синих фраках, другие в губернских мундирах, оскалили зубы при моем появлении. Я оторопел; однако ж, помня слова моей матушки и собственное сознание в щегольском моем наряде, молвил сам себе: зависть, зависть! Иному из них, может быть, и не из чего одеться, как я; вот они и принарядились в кургузые фракки, чтобы меньше сукна выходило на платье. Мысль сия снова меня ободрила. Я раскланялся на все стороны и пустился искать хозяйку дома. Она подносила тогда своеручно гостям водку; я сунулся, чтобы поцеловать у ней руку, толкнул локтем большой поднос — графины, чарки зазвенели и повалились на бок, водка полилась на пол и на платье хозяйки; счастье еще, что она удержала поднос в дюжих руках своих! Однако же общий смех гостей — адский, скребущий по сердцу смех — раздался вокруг меня. Поцеловав руку хозяйки, я торопливо отдернулся назад в то самое время, когда она наклонилась, чтоб отдать мой поцелуй мне в голову... Новая беда! головою стукнул я ее в лицо так сильно, что искры посыпались у ней из глаз, а из носу чуть не брызнула кровь. Хозяйка вскрикнула невольно и захватила себе лицо левою рукою, в то время как один



услужливый паныч поддержал у нее поднос и тем предостерег питейные снаряды от конечного разрушения. Признаюсь, тут я обомлел с испугу; не видел, где стоял, и чуть не бросился бежать опрометью вон из дому. Если бы не слова: «Ничего, ничего!», сказанные снисходительно хозяйкой, когда она опомнилась от удара, то я, верно, повершил бы свои подвиги быстрым побегом.

Милостивые государи! случилось ли вам когда купаться почти под самыми мельничными колесами? Нет? А мне так случилось. Какой шум! какой оглушающий рев! Вода то плещет на вас сверху широкими струями и прибывает вас ко дну, то подмывает снизу и выносит вас наверх; то, кажется, шум на минуту притихнет, то снова поскачут водяные валы с колеса и с грохотом и зыком обдают вас белой пеной... Голова закружится, дыхание захватывается, силы истощаются — и рад-рад бываешь, когда выберешься на берег. Вообразите себе такой же гром, и треск, и раскаты, и переливы хохота, который падает на вас, как тяжелые волны речные, тягчит, давит вас; и вот, кажется, затих, — и вот снова сыплется на вас дребезжащим громом... Вообразите себе все это и вообразите меня в этом положении!.. Кажется, рад бы провалиться сквозь землю, рад бы окаменеть, чтоб не видеть и не слышать этого буйного прилива веселости, от которого одному только горе, и этот один — именно я, я сам, несчастнейший из всех семинаристов минувших, настоящих и будущих! Никогда насмешки резвых товарищей, никогда едкие шутки дерзких чумаков<sup>11</sup>, предлагающих скромному пешеходу батог, чтобы погонять им природную пару, не казались мне столь обидными. Да и как не огорчаться, как не досадовать? С самого первого шага я сделался посмешищем того общества, которому хотел предписывать законы моды и приличий... О мать моя, как ты обманулась и как обманула бедного твоего сына!

— Все это не беда, предпочтеннейший и вселюбнейший! — сказал, подошед ко мне, какой-то старый, запачканный крохобор, приехавший из города в числе приятелей жениховых. — Вы здесь человек новый: я слышал, недавно приехали, и прямо из губернии. Мы не знаем тамошних ваших обычаев, а вы наших. Может быть, там от молодого человека требуют на пер-

вых порах чокнуться головою с хозяйкой дома и совершить водочное излияние, примером будучи, хоть бы в честь усопших родителей. Для нас, темных людей, это дико; но вы не унывайте и продолжайте так же, как и начали...

Чтоб тебе подавиться этими словами! думал я, смотря на бездушную, хладнокровную харю этого старого сыча и слыша возобновившийся хохот, между тем как мой красобай стоял передо мною без малейшей улыбки и только рассматривал меня с ног до головы такими глазами, как будто бы хотел всего меня затвердить наизусть, дабы потом снять с меня заочно план с фасадом. Гнев кипел во мне; но что было делать? Если б это случилось на улице, то я, может быть, употребил бы *argumentum baculinum*<sup>12</sup>, чтоб убедить этого окаяного старичишку в ложности его мнения обо мне и в неприличности его речей; но здесь, в многочисленном собрании, это значило бы выставить себя вполне сумасшедшим. Не зная, что начать, я стоял по-прежнему как вкопанный.

К счастью моему, хозяин и хозяйка подросли ко мне на помощь. Им неприятно было, что сын человека, ими уважаемого, духовного их отца и (чтобы ничего не утаить) человека, которому они были должны, осмеян был в их доме. Хозяин, взяв меня за руку, повел знакомить со всеми своими гостями поодиночке. Уже не смех, а едкие улыбки мелькали передо мной по-сменно. Девушки, забыв малороссийскую скромность, захватывали себе лица белыми платочками при взгляде на меня и, казалось, все еще тишком хохотали. Одна только смотрела на меня с участием, укоризненно поглядывала на своих смешливых соседок, и когда меня подвели к ней, то она, покрасневшись, пролепетала мне какое-то приветствие — помнится, вопрос о здоровье моей матушки... Нет! самолюбие и благодарность меня не обманывали: она точно была прекраснее всех в этом обществе. Темно-голубые глаза ее смотрели так умильно, светились таким тихим, живительным огнем, что истинно сулили рай на земле. Свеженькое, кругленькое, беленькое личико ее озарялось тонким румянцем, который пристыдил бы алые персты древней Авроры. Прибавьте к этому кротость и доброту, живо написанные на лице красавицы и отражавшиеся во всех ее приемах, во всех ее движениях; невысокий,

но стройный стан, милую круглоту форм, заявлявшую цветущее, сельское здоровье... Видите ли, господа, что и я сумею говорить по-вашему, когда чувство согрето во мне сладостным воспоминанием.

Короче, вид этой девушки помирил меня со всем свадебным обществом. Правда, меня потом оставили в покое, может быть, в угоду хозяевам, которые явно оказывали мне свое внимание. Барышни все еще между собою перешептывались, оскаливая зубки; но мало ли о чем перешептываются малороссийские панянки? Это меня и не тревожило. Я сел в углу и оттуда выглядывал на собрание; чаще же всего и пристальнее посматривал на белокурую красавицу, которая отвела мне душу своим участием. Таким образом дело протянулось до обеда. Не знаю, по какой игре судьбы я очутился за столом как раз насупротив моей белокурой красавицы, и, с умыслом или без умыслу, насмешливый крохобор сел подле меня по левую сторону. «Вот истинный образ истязания души после смерти! — думал я. — Видишь рай вдаль — и чувствуешь ад подле себя так близко, что, кажется, из него пышет на тебя поломя!» Сосед мой, по-видимому, понял неприязненное мое к нему расположение и потому всячески старался со мною заговаривать, начав обыкновенным провинциальным осведомлением: «Позвольте спросить, препочтеннейший, о вашем имени и отчестве?»

— Демид Калистратов сын Сластена, — отвечал я отрывисто и неохотно.

— Воистину, так сказать, лакомое прозвание вы носите, препочтеннейший! — продолжал он. Я молчал.

— Не здешнего ли священника бог порадовал таким сынком? — был новый вопрос неотвязного соседа.

— Отгадали, — отвечал я по-прежнему.

— А! так вы сын здешнего священника, отца Калистрата? Радуюсь и поздравляю его и вас совокупно. Мы люди темные, неученые; однако же знаем, что у него дом как полная чаша, поля столько, что глазом не окинешь, с лесами, садами, сенокосами, пасечными местами и всякими угоды. А пасека! обойти повета два-три, такой не сыщешь. Больше же всего благословение божие состоит у него в сундуках, лежащими. Правда ли, препочтеннейший, что у пан-отца наберется тысяч до двадцати целковыми?

— Я не считал отцовских денег,— молвил я с досадой.

— Мы тоже не считали, да слухом земля полнится, особенно судя по тому, что у батюшки вашего роздано в долг, сиречь займообразно, тысяч до десятка. Вот, недалеко сказать, и здешний хозяин должен ему чуть ли не пять или не шесть тысяч... Сколько именно, примером будучи?

— Не знаю,— отвечал я докучному расспросчику. Между тем мысль об известности и богатстве отца моего придала мне бодрости. Я стал уже веселее и вольнее поглядывать вокруг себя, смелее пересылался взорами с миловидною белянкой, которая тоже исподлобья на меня посматривала и, кажется, не вовсе не ласково. Частые приемы наливки, подносимых радушными хозяевами, довершили остальное: к концу стола и язык у меня развязался. Сосед мой, начавший со мною знакомство язвительною выходкой, теперь всячески старался угодливостью своею заглушить во мне неприятное впечатление первых речей его. Подметя частое мое переглядыванье через стол, он вдруг обратился ко мне с следующей речью:

— Вот поистине, так сказать, предостойная девица, примером будучи, хоть кому невеста: шестнадцать лет и семь месяцев от рождения, пригожа, статна и одна дочь у матери как порох в глазу. А матушка ее человек нескудный: есть свой хуторок, винокурня и того-сего прочего наберется не на одну тысячу. Да кому знать лучше, коли не вашим родителям? Матрона Якимовна также состоит им должною, то за хлеб для винокурни, то по другим счетам. Вот бы, думаю, она была рада-радехонька, когда бы долг ее уничтожился родственною сделкой. За сватами бы дело не стало; вот хоть бы, примером будучи, скажу о себе: не одну свадьбу удалось мне сладить на своем веку, лишь бы предвиделась посильная благостыня...

Я сидел как на иголках в продолжение сей речи; притворялся, будто бы не слушаю назойливого соседа, а по совести, не проронил мимо ушей ни одного слова. Дивился я, каким образом этот запачканный человек знал так подробно домашние дела наши и всех панов крохалиевских, и решился поплатиться с ним вопросом: «Позвольте спросить о вашем имени и отчестве?»

— Зовут меня Савелий Дементьевич Пересыпчен-

ко;— отвечал он без малейшей запинки как человек, издавна привыкший к подобным допросным пунктам.— Может быть, вам благоугодно также знать мое звание и занятие? — продолжал он.— На сие имею честь объявить, что я отставной канцелярист земского суда и ныне занимаюсь хождением по делам, да продаже движимых и недвижимых имений по доверенности, да свадебными и другими-прочими сделками. Спросите по целому повету о Савелии Деметьевиче Пересыпченке; все, от мала до велика, вам скажут: то-то делец! то-то честный и бескорыстный человек! с ним верите ли его как у бога за печкой; а уж свадьбу состряпать — его подавай: будь хоть отцы жениха и невесты смертельные враги между собою, он их помирит и умастит так, что они сами не прочь обвенчаться.

Я молчал, заметя, к чему клонилась эта затейливая речь. Стол кончился; но наливки не переставали кружиться по собранию и кружить головы тех из гостей, которые не совсем были привычны к подобным попойкам. К числу таковых гостей принадлежал и я. В голове у меня порядочно стучало. Я обнимался и целовался со всяким, кого встречал, болтал почти без умолку и отпускал латинские фразы кстати и некстати. Скоро после обеда вошли в комнату гуслист и два скрипача, за которыми жених нарочно посылал в город. Я начал притопывать ногою и приплясывать в ожидании, что музыканты заиграют горлицу либо метелицу — пляски, с которыми я не вовсе был не знаком. Судите же о моей досаде, когда они забренчали и заскрыпели какие-то заморские контратанцы, отроду мною неслыханные и невиданные. Городские панычи, подметя, что я прежде разминал ноги для пляски, настроили невесту, чтоб она пригласила меня танцевать... Я сперва отговаривался; но после подумал: ведь не боги ж горшки обжигают! взял какую-то дородную и пожилую девицу и стал в числе пар. Доходит очередь до меня; я выступаю как журавль, ноги мои гнутся, скользят то вправо, то влево, путаются и — о верх несчастья! я падаю и увлекаю за собою дюжую мою даму... Можно вообразить ее гнев и смех целого собрания!.. Дама моя, с визгливой бранью и слезами на глазах, вскочила и убежала в другую комнату; но я — я не в силах уже был подняться. Жених и два или три паныча поставили меня на ноги и, видя, что голова

у меня кружилась, отвели в особую каморку и уложили на постелю. Что было далее в этот бурный для меня день, я ничего не помню и не знаю...

Рано поутру я проснулся, когда еще по целому дому раздавалось громкое, единогласное храпенье гостей, от которого дрожали на потолке переборы. Голова у меня была тяжела как свинец; смутно припоминал я себе все, что случилось со мной накануне; когда же дошел в памяти до несчастного падения, которым повершил вчерашние свои подвиги, то вздрогнул, как убийца при воспоминании о передсмертном трепетании своей жертвы. Стыд, досада на себя и на других, страх новых насмешек, унижение в глазах миловидной белянки — все это возвратило мне силы, отнятые вчерашним перепоем. Я спехом оделся, как сумасшедший рванулся в дверь и побежал без оглядки к дому отцовскому. Там ожидали меня нежное участие матери и пасмурный вид отца, который встретил было меня строгим выговором за неумеренность, неприличную моему возрасту и будущему сану; но матушка приняла мою сторону и робко, тихим голосом (средства, кои всегда удавались ей с отцом моим) старалась меня оправдать. «Дело свадебное,— говорила она,— хозяйева обиделись бы, когда б наш Демид не по полной выпивал за здоровье жениха с невестой и всего благословенного дома». Отец мой убедился сими доводами, и домашняя гроза пронеслась мимо меня без дальнейших следствий.

Из благодарности к моей матери я удовлетворил ее любопытство, когда мы остались с нею глаз на глаз, и рассказал ей подробно все — все, что помнил. Признаться, я скрасил немного темные пятна в моем рассказе, и виноваты у меня были другие, а не я; зато радужными цветами расписал белокурую красавицу, столь явно принимавшую во мне участие.

— Из слов твоих я догадываюсь, кто она такова,— сказала мне матушка,— пусть у меня язык отсохнет, если это не Настусья Опариевна, дочь Матроны Якимовны Опариихи<sup>13</sup>.

— Точно так называл мне ее мать новый мой знакомец, Пересыпченко.

— Кому уж больше быть, как не ей! — подхватила матушка,— она знает, моя голубушка сизая, у ней сердце чует, что это был ее нареченный жених.

— Как нареченный жених? — вскрикнул я в каком-то страхе, смешанном с чувством радости.

— Да так: у меня это давно уже положено на сердце, и я не раз заговаривала с Настусей; не говорила только еще с ее матерью. Видишь, она такая неприступная, панья во всю губу, как будто и бог знает что!.. Ну, да его святая воля! а без сватов дело не обойдется.

За ними дело и не стало. Спустя дней пять вдруг послышался почтовый колокольчик на улице, звенел, звенел и утих перед самыми нашими воротами. Я выглянул в окно и увидел сходящего с повозки моего свадебного знакомого, Савелия Дементьевича Пересыченка... Тогда так бывало в нашей безответной Малороссии: кто назовет себя капитан-исправником, заседателем, судьей, подсудком, словом сказать, кем-либо из судебных, их роднею, благоприятелем или просто погрозит их именем да привяжет к дуге колокольчик, — тому, бывало, безотговорочно дают по тройке с проводником из обывательских. Теперь это вывелось; а жаль! нашему брату не держать же своих лошадей или платить прогонов, когда миром от селения до селения, от волости до волости могут нас довезти хоть на край света или, по крайней мере, из конца в конец по всей Малороссии. Скажете вы: по какому праву? И, отцы мои! да по тому праву, что в селах обыватели народ простой; а нас, каковы мы ни есть, все-таки величают панами.

Во время вышеупомянутого посещения сидел я в светлице и занимался сочинением проповеди, которую, по совету отца моего, намерен был сказать в следующее воскресенье, дабы блеснуть красноречьем перед мирянами крохалиевскими и подать им высокое мнение о моих дарованиях и учености. Лишь только завидел я Савелия Дементьевича, у меня на сердце похолодело: проповедь, и ученость, и красноречие мигом испарились из головы моей. Отца моего не было дома: он уходил для каких-то треб; матушка тоже занималась хозяйством. Я один должен был встретить приезжего.

— Здравствуйте, предпочтеннейший и вселюбезнейший Демид Калистратович! — сказал он, входя в комнату. — Я приехал к вам за важным делом, по поводу, примером будучи, Настасьи Петровны Опариевны. А чтобы пан-отец, какова не мера, не подумал, что

я навязываюсь на такую услугу, которой он от меня не ждал и не просил, то у меня готовы и *сепаратные* пункты: хочу торговать у него мед и воск да попросить займы денег для одного надежного человека.

Я молчал; да и что мне было отвечать? Отказаться от его услуг — значило как будто бы показать холодность к милой Настусе и заставить навязчивого, все-светного свата подъехать с другим женихом. Он и принял мое молчание в таком виде, как ему хотелось, т. е. счел его знаком согласия; но как тонкий знаток провинциальных приличий искусно переменял разговор и повел бесконечную речь о городских новостях, о сплетнях, шашнях господ судовых и — право, всего не припомню.

К счастью моему, матушка скоро вошла в комнату. Дело между ею и Савелием Дементьевичем сладилось ко взаимному удовольствию: условились, чтобы хитрый сват подкрался к отцу моему с предложением, как бы нечаянно напав на эту мысль. Как сказано, так и сделано. Отец мой, выгодно продав свой мед и воск, стал мягок и уступчив; и хотя сначала неохотно слушал о родстве с Матроной Якимовной, осуждая ее за излишнюю спесь, но когда пан Пересыпченко напал на него всюю силою деловой своей логики, то батюшка мой начал убеждаться его доводами. Обед и наливки уладили остальные затруднения.

Жребий был брошен; меня обрекли в женихи милой Настуси. Через неделю Савелий Дементьевич должен был приехать для большей важности с другим еще сватом, верным своим подручником, и отправиться к Матроне Якимовне. До этого времени, чтоб рассеять волновавшие меня мысли и сократить минуты ожидания, усерднее прежнего занялся я сочинением моей проповеди. Предметом оной было увещание к братской любви; я грозно восставал против презорства и кощунства мирского и текст выбрал следующий: *Блажен человек, иже и скоты милует*. Признаюсь, у меня лежал на душе обидный хомот, которым меня чуть не оглушили на свадьбе.

Проповедь кончена, пересмотрена, переписана набело, прочтена моему отцу, одобрена им и сказана мною в следующее воскресенье. Я надеялся произвести ею сильное впечатление в слушателях, особливо в барышнях крохалиевских: надеялся пробудить в них угрызе-



ния совести и заставить их внутренне сознаться в тяжком их грехе предо мною; и что же? Барышни перешептывались по своему обыкновению, набожные старушки поминутно клали земные поклоны, не вслушиваясь в порывы моего красноречия; а два-три старичка подремывали под шум моих возгласов. Одна только девушка слушала прилежно и, казалось, угадывала мое намерение; нужно ли доказывать, что это была Настуся Опариевна? Досада моя на невнимательность всех прочих с избытком вознаграждалась ее вниманием, и я не напрасно метал бисер отборных метафор, синеждохов и гипербола.

Впрочем, по окончании обедни все паны и паньи крохалиевские забросали моего отца поздравлениями и похвалами моему красноречию, уму и учености. Тут я понял, что с людьми темными и необразованными всегда возьмешь высокопарностью и напыщенным слогом: чем менее они поймут, тем более будут дивиться и расхваливать. Этому и теперь я вижу частые примеры, когда случается мне заглянуть в ваши нынешние журналы да вслушаться в толки наших провинциалов: чем бестолковее суждения и слог журналиста, тем больше предполагают они в его статье ума и глубины. В том-то, думают они, и мудрость: написать так, чтоб никто не понял; а слова подобрать и разместить таким образом, чтобы чтец на каждой строке запинаясь и переводил дух. Одна красная обертка журнала уже служит для них верною порукой за красноречие издателя.

Настал желанный четверг. В десять часов утра снова колокольчик зазвенел по улице и опять затих перед нашим домом. Погодя немного, вошли наши сваты: Савелий Дементьевич с каким-то приземистым, плотным и краснолицым человечком; оба они были навеселе. Около часа потолковав о деле, мы сели за ранний обед, и он для нетерпеливого жениха бог весть как долго протянулся в потчеваньи да в шутках и прибаутках, которыми рассыпались оба свата. Вышед из-за стола, они почувствовали, что язык их прилипал к гортани. Им отвели особую комнату, через сени, и они легли там отдохнуть, а я между тем занялся своим убранством. Уже я не решился надеть ни красного жилета, ни оранжевого платка на шею: за исключением бессменного моего долгополого сюртука, я ста-

рался нарядиться сколько можно ближе к тому, как одеты были городские паньчи на свадьбе. Часа через два сваты мои встали как встрепанные. Отслушав вечерню и получа родительское благословение, отправился я с своими сватами в отцовской голубой тарадайка с желтыми красными мережками<sup>14</sup> прямо к дому Матроны Якимовны Опариихи.

Приезжаем. Босоногая служанка с растрепанными волосами встречает нас и объявляет, что панья просит обождать. Сидим и ждем час и другой; а между тем из ближней комнаты раздаются громкие и бранчивые приказания Матроны Якимовны то тому, то другому из ее домашней челяди. Я теряю терпение и бодрость; но сваты мои стараются снова ободрить меня своими побасенками и забавными замечаниями насчет всего, что видят в одной комнате и слышат из другой. Наконец является Матрона Якимовна, высокая дородная женщина со вздернутым носом, пухлыми щеками и чванливым взглядом. На голове у ней был шелковый платок, повязанный наколкой, как у городских мещанок; на ногах голубые шерстяные чулки и башмаки без задников, с высокими каблуками; прочий наряд ее составляли шушун и юбка ситцевые с большими разводами ярких цветов да клетчатый бумажный платок на шее. Несмотря на то, ни одна знатная дама, во всем блеске пышности и убранства, не приняла бы нас так сухо и спесиво, как Матрона Якимовна.

Старший сват, т. е. Савелий Дементьевич Пересыпченко, повел речь обиняками, чуть ли не от сотворения мира, и заключил ее сими замечательными словами: «От власти божией не уйдешь. Старое стареет и валится, а молодое цветет да молодится. Примером будучи, сказать вот и об вашей дочке: уж хоть куда невеста. Такой дорогой товар не залежится у матушки на руках. А вот у нас и купец находится: кланяемся вам и просим вашей ласки к нам и нашему жениху».

Матрона Якимовна сделала какую-то двусмысленную ужимку губами и молча указала нам на стулья; мы сели. Минуты две-три она как будто собиралась с мыслями; наконец начала говорить протяжным голосом и с длинными остановками, более как бы вслух рассуждая сама с собою: «Конечно, мне нечем укорить и сватов и жениха... Сваты люди хорошие, в офицерских чинах; бесчестья никому не сделают... Же-

них человек молодой и видный, имеет звонкий и явственный глас; я это слышала прошлое воскресенье в обедню... И дом очень достаточный; он же всему один наследник... Только можно ли тому быть, чтоб моя дочка, Анастасия Петровна Опариевна, сделалась попадькой!..»

— Почему же нельзя, матушка Матрона Якимовна? — спросил старший сват.

— Статочное ли дело! Дедушка ее, Гордий Афанасьевич, был Стародубского полка канцеляристом; ба-тюшка ее, Петр Гордиевич, служил в генеральном суде регистратором. Сама я тоже не простого рода: покойные мои родители, с тех пор как свет стоит, слыли панями... А дочь мою стали бы величать попадькой!.. Нет! тому не бывать.

— Да ведь духовный чин тоже чин, предпочтеннейшая Матрона Якимовна! Вспомните, что от начала веков люди знатные выдавали дочерей своих за людей духовного звания. Лаван, примером будучи, был знатный господин, потому что у него были свои рабы, по-русски, так сказать, крестьяне; а Лаван выдал обеих дочерей своих за Иакова, который был, как Писание гласит, патриарх, следовательно, духовного звания.

— А я вам скажу, — отвечала Матрона Якимовна решительным тоном, — что хотя бы дочь мою сватал за себя патриарх цареградский, от которого в прошлом году бродил здесь какой-то греческий чернец и собирал вклады на церковь, то и этому патриарху отказала бы я и слова не сказала.

— Однако позвольте вам сказать, многомилостивая государыня Матрона Якимовна, что родитель нашего нарекаемого жениха, отец Калистрат, тоже дворянин и по силе реченного звания владеет землями и всякими угоды...

— Да без крестьян. Какое уж это панство, когда и своих людей нет?

— Истинно так, предпочтеннейшая Матрона Якимовна! Вот у вас, примером будучи, благодаря бога, душ пять-шесть ревизских наберется. Из них, помнится, двое в бегах, один умер, да еще один отдан в рекруты; а все-таки с подростками и малолетними можно будет насчитать душ восемь мужеска пола. У отца Калистрата, конечно, этого нет; зато у него есть другое благо-словение божие, из которого мог бы он купить поря-

дочный хуторок, примером будучи, душ в пятьдесят наличными.

— Верно, что мог бы, когда бы сына своего повел не по духовному званию, а записал бы где-нибудь в статскую службу, особливо в губернском городе. Тогда и у нас пошло бы дело на лад: за дворянина в офицерском чине я просватаю свою дочку; а просто за попovichа, не прогневайтесь, нет! велико слово, нет!

— Ну, коли это последнее ваше слово, матушка Матрона Якимовна, то делать нечего. Мы постараемся упросить да умолить отца Калистрата, чтоб он позволил Демиду Калистратовичу выйти из духовного звания и вступить в статскую службу; хотя, правду сказать, и не надеемся на успех. Обещайтесь же и вы, препочтеннейшая, что на случай, паче чаяния, согласия со стороны *пан-отца* вы ни за кого не отдадите своей дочки, пока Демид Калистратович не выйдет в чины.

— Обещаюсь, если ей не сыщется лучшего жениха.

— Нет, матушка Матрона Якимовна: коли дело пошло на условия, так подлежит оным быть в надлежащем и благонадежном порядке всенепременнейше...

— Ну, хорошо,— перервала Матрона Якимовна с прежнею двусмысленною ужимкою и как будто стараясь поскорее отделаться,— вот вам мое слово, что буду ждать до первого офицерского чина Демиды Калистратовича.

Разговор на минуту перервался и завязался потом о предметах посторонних. Я молчал и с каким-то смутным ожиданием поглядывал на дверь, из которой вышла Матрона Якимовна. Погодя немного она оборотилась к этой двери и закричала богатырским голосом: «Анастасия Петровна! соорудите нам чаю <sup>15!</sup>»

Я думал, что теперь-то увижу Настусю; напрасно. Через полчаса времени чай, разлитый по чашкам, был принесен тою же босоногою служанкой, которая встретила нас у дверей. Сваты мои приветливо улыбнулись стоявшему на подносе графину с *кизлярскою водкой* домашней работы и бросились на него, как вороны на труп. Матрона Якимовна и меня потчевала *кушать* чай с водкой; но я не дотрагивался до графина, хотя, признаться, настойка из какой-то травы, названной как бы в насмешку чаем и смешанной с шафраном <sup>16</sup>, почти не шла мне в горло. Что касается до

самой хозяйки дома, то она кушала этот чай с водкой весьма охотно.

Мы посидели еще несколько времени. Сваты мои ревностно поддерживали свою двойную славу: записных гуляк и весельчаков малороссийских, исправно осушали чашку за чашкой, делая при каждой умышленное «ух!», т. е. подливая водки вдвое против чайной воды и сопровождая сию затейливую неловкость шутками и побасенками. Наконец мы уехали — сваты с шумливым весельем, а я с безмолвною печалью.

Отец мой, как и должно было ожидать, с негодованием отверг условия Матроны Якимовны. Что мне было делать? Я чувствовал, что любовь моя к Настусе, еще более подстрекаемая препятствием, усиливалась со дня на день. Но пособить горю было нечем. Отца моего в некоторых случаях невозможно было переспорить. Я начал задумываться, грустить и даже сохнуть. Уже ни ученье, ни будущий экзамен, ни столько льстившая мне прежде перспектива выгодного прихода не шли мне в ум. Одна только Настуся, с ее милым личиком, с ее румяными щечками, с ее белокурыми волосами, ежеминутно наполняла мое воображение. Короче, я любил так, как только любят в двадцать лет, — любил всеми силами души моей.

От нечего делать и чтоб рассеять мою тоску, бродил я по таким местам, где реже мог встречаться с людьми, и почти всегда невольно выбирал для уединенных моих прогулок рощу, лежавшую за садом Матроны Якимовны. Мысль, что там я несколько поближе к Настусе, была для меня отрадой.

Однажды я подкрался к самому плетню, которым обнесен был сад г-жи Опариихи. Взглянув через плетень, я увидел, что по саду прохаживалась Настуся и задумчиво напевала какую-то заунывную песенку. Сердце во мне забилося, как щука в сетях. Я пригнулся за плетнем и посматривал сквозь просветы оного на милую девушку. Вот она, как будто по невольному влечению, идет прямо к тому месту, где я стою, вот ближе и ближе... Чтоб не напугать ее нечаянным моим появлением и не навлечь каких-либо предосудительных для меня подозрений, я прилег у плетня в густой высокой траве и притаил дух. Настасья Петровна между тем подошла к самому плетню, стала одной ножкой на переплет, другую выше, потом еще выше... Я лежал

ни жив ни мертв от страха и радости: от страха, чтоб не быть замеченным, и от радости, что Настуся так близко... Покамест она взлезала на плетень, я старался наклонять над собою траву и успел в этом так, что меня вовсе не стало видно. Вот уже белокурая моя красавица на верху плетня, ветерок развеивает ее шелковистые волосы, лицо ее горит одушевленным румянцем... Она озирается вокруг внимательным взором, подобно тем баснословным божествам Востока, которые слетали в наш мир, чтобы помогать страждущим, и с воздушных высот обозревали землю. Погодя немного мечта моя еще более осуществилась: Настуся точно слетела вниз, соскочнув с плетня, и упала своими маленькими красивыми ножками прямо мне на грудь... Как ни сладостна была для меня сия драгоценная ноша, однако я крикнул от боли. Настуся испугалась, оторопела, запуталась ногами в густой траве и упала на меня... круглые, зыбучие формы ее тела легли мне на лицо; голова свесилась в траву... Нечего было медлить: я обхватил восхитительный стан милой девушки, поспешно вскочил на ноги, держа ее на руках. Она вскрикнула от страха; но когда увидела меня, то застыдилась и, вырвавшись из моих рук, спустилась на землю.

— Ах, это вы, Демид Калистратович! — сказала она, — я, право, думала, что здесь в траве притаился медведь. Что вы тут делаете?

— Я... отдыхаю! — отвечал я, смутясь и не нашед приличнейшего ответа.

— Отдыхаете, в траве, под плетнем? Право, я что-то не верю! — подхватила она с усмешкой. — Нет ли тут какой-нибудь студенческой шутки?

Я не знал, как оправдаться, и решился лучше сказать всю правду.

— Признаться, — молвил я с запинкой, — мне хотелось взглянуть на вас, Настасья Петровна!..

— На меня? да что вам в этом? — сказала она весело.

— Душа моя так и следит за вами; а где душа, там и глаза! — отвечал я немного посмелее и даже с некоторым жаром.

Она потупила глаза и промолчала. Мы тихо пошли вместе по лесной тропинке, и когда уже садовый плетень скрылся у нас из виду за чащею дерев, тогда

Настуся, как бы надумавшись или ободрясь, сказала мне с откровенною улыбкой: «Так вы не шутя меня любите, Демид Калистратович?»

— Ох! люблю так, как никто в свете не может любить вас! — вскричал я с живостию.

— Для чего же вы не хотите выполнить волю матушки моей? Она не хочет меня видеть попадьей; а по мне, признаюсь, все равно, в чем бы вы ни были: в рясе ли, во фраке ли, в губернском ли мундире.

— Как это понимать? — спросил я сомнительно, — это значит, кажется, что я равно вам не мил, во что бы ни оделся?

— О нет, совсем не то! — отвечала она простодушно. — Постарайтесь только уговорить вашего батюшку; а там — мы увидим.

Я поблагодарил милую девушку в несвязных, но жарких выражениях, не скрыл от нее препятствий и затруднений, предстоявших нам, и высказал ей, как умел, все, что было у меня на душе. Она краснела и смотрела в землю, как будто бы искала грибов по дороге; но улыбалась очень умильно. Я не слышал под собою ног от радости, что мог говорить с нею наедине. Мы ходили с полчаса по самым глухим тропинкам, где не встречали не только человека, но даже никакого домашнего животного; при всем том ни одно преступное желание не закрадывалось в мое сердце: я любил эту милую девушку и уважал ее, как нечто святое. Наконец она, как будто очнувшись от забытья, вдруг сказала: «Ах, боже мой! я с вами и время позабыла! Матушка, верно, уж воротилась: она поехала версты за три, на винокурню. Беда мне, если она хватится меня и не отыщет в саду!» С этими словами она полетела как птичка вдоль по тропинке и скоро исчезла у меня из глаз, унеся с собой минутные мои радости.

Я остался опять один бродить по роще; поздно пришел я домой, грустнее и мрачнее прежнего. Это свидание с Настусей еще более открыло мне, какого сокровища я лишился; и от чего? от обоюдного упрямства наших родителей! Я сел в углу на лавке, сложив руки и опустив голову; не жаловался и даже не вздыхал; но, конечно, заметно было, что я страдал внутренне, ибо добрая мать моя смотрела на меня с тоскливым участием. Отец мой также давно уже заметил, что я очень похудел, что я, вопреки прежней моей хорошей при-

вычке, почти ничего не ел, не принимался за книги и был молчалив как рыба. В этот раз, видно, сильнее прежнего пробудилось в нем родительское сострадание, и он приступил ко мне с расспросами:

— Здоров ли ты, Демид?

— Здоров,— отвечал я угрюмо и отрывисто.

— Что же с тобою делается? — спросил он немного построже.

— Ничего! — отвечал я по-прежнему.

— Ты не пьешь и не ешь, бродишь по целым дням бог знает где, молчишь, как немой. Ты совсем одичал: не показываешься добрым людям и смотришь каким-то юродивым... Ума не приложу, какая дурь забралась к тебе в голову!

Я молчал.

— Уж не молодая ли Опариевна сушит и крушит тебя? — продолжал он.— Ох, мне эти любовные бредни! Сколько — и по Священному писанию видно — мудрых и сильных мужей сбивалось от них с прямого пути. Довольно напомнить о мудрейших: Давиде и Соломоне, и о сильнейшем из смертных — Сампсоне. А все еще эти поучительные примеры не устрашают безрассудных человек: имеют уши — и не слышат!

Я все молчал.

— Ну, быть так,— сказал отец мой после некоторой расстановки, смягчив свой голос.— Если только этим можно тебя спасти от сумасшествия или от сухотки, то благослови тебя господь, и вот тебе мое родительское благословение: иди в гражданскую службу.

Я вскочил, как пробужденный из мертвых, и бросился целовать руку моему отцу. Мать тоже не вытерпела: слезы полились у нее из глаз, и она хотела упасть в ноги перед своим мужем; но он удержал ее.

— Полно, полно! — сказал он растрогавшись,— благодарите бога, а меня благодарить не за что. Я и теперь соглашаюсь скрепя сердце; мне очень не хотелось бы, чтобы сын мой пошел иным путем, нежели его отец и дед. Да уж видно, на то власть божия, ее же не преидешь.

Я совершенно ожил: стал и весел, и говорлив, начал и есть и пить по-прежнему. Можно было подумать, что сама природа требовала восстановления сил, как будто бы по выздоровлении тела от тяжелой болезни. Одного только я добивался: увидеться с Настусей еще



однажды перед отъездом, и для того по-прежнему посещал я рощу за садом Матроны Якимовны. Об учебных книгах мне уже не для чего было думать; их заменил у меня Овидий старинного издания, без начала и конца, купленный мною на рынке за 30 копеек, да том эклог Сумарокова, не знаю какими судьбами закравшийся в число книг моего отца.

На третий день я увиделся с Настусей, объявил ей о счастливой перемене моих обстоятельств и просил ее подождать до тех пор, пока офицерский чин даст мне право на получение руки ее. Матушка моя приняла на себя уведомить о том же Матрону Якимовну и взять с нее слово. Дела мои шли по желанию: надежда меня оживляла. Весело простился я с Настусей, и через несколько дней я и отец мой были уже на пути в губернский город.

Не трудно было отцу Калистрату склонить преосвященнейшего владыку на увольнение меня из духовного звания; еще легче было ему определить меня в статскую службу. Священник, покровительствуемый архиереем, протодиаконом и другими значительными духовными лицами, предъявляющий сверх того предварительные и ясные свидетельства своей благодарности, не мог быть отвергнутым просителем в таком деле, которое обещало и впредь господам членам присутствия вышереченные знаки благодарности. Меня определили копиистом в уголовную палату. Я переменил образ жизни, приемы и привычки и повел себя соответственно новому моему званию, по пословице: *с волками вой*.

Прошел год, и другой уже приближался к концу. Уже я, в силу доказательств об отлично-ревностной и деятельной моей службе — доказательств, подкреплявшихся убедительными доводами из Крохалиевки, — подписывался твердою и размашистою рукою: «Канцелярист Демид Сластена». В это время постигло меня жестокое несчастье: почтенный родитель мой, отец Калистрат, скончался от сильной простуды, приключившейся ему, когда он в ненастную осеннюю погоду провожал одного из прихожан своих в место вечного успокоения. Мать моя звала меня к себе; я отправился в Крохалиевку, оплакал свежую могилу отца и сделал нужные распоряжения. Как мы жили в собственном доме и не на церковной земле, то и оставил мать мою

полною госпожою дома и всей нашей собственности и, сдав преемнику отца моего все то, чем покойник владел по своему званию, продал все лишнее из пожитков отцовских: его богатые рясы, трости, шубы и т. п., оставя себе на память только любимые его вещи. Устроив все таким образом, я возвратился в город и продолжал мою однообразную, но не вовсе бесполезную службу.

Протянулся еще год. Я был повышен чином, и губернский регистратор Демид Калистратович Сластена мог уже представиться Матроне Якимовне Опарихе как достойный жених ее дочери. Я выпросил себе отпуск на довольно долгий срок — и отправился в Крохалиевку.

Лучше бы я не приезжал сюда!.. Я чуть не попал на свадьбу Настасьи Петровны с каким-то майором и застал добрую мать мою тяжело больною с печали. От нее узнал я следующие подробности.

Майор этот, уволенный (и едва ли по своей доброй воле) от службы, мимоездом очутился в Крохалиевке и почти с бою сам себе отвел квартиру в доме Матроны Якимовны. Молодец он был, видно, не промах: тотчас явился к хозяйке дома с извинениями, из которых самое убедительное было то, что он не привык останавливаться в крестьянских избах. Одаренный беглым языком и свойством ни от чего не краснеть и не запинаться, он умел пустить пыль в глаза Матроне Якимовне: уверил ее, что ему обещано место городничего в нашем городе и что у него есть хорошее поместье в одной из великороссийских губерний; но как сие последнее заверение должно было согласить с довольно поношенным его платьем и скудным дорожным скарбом, то он прибавил, что поместье находится под опекой, по причине тяжбы за оное с богатыми и алчными родственниками. Вероятно, он умел всем сим рассказам придать вид правдоподобия и убеждения, ибо Матрона Якимовна с первого раза поверила ему на слово. Майор был среднего роста, сухощав и прихрамывал одной ногою, о которой говорил, что прострелена была на сражении. Бог весть, правда ли это, ибо формулярного списка его я не видал. Густые черные бакенбарды с проседью закрывали поллица у этого отставного витязя и придавали ему вид богатырский, даже отчасти суровый. Он сказывал, что ему

тридцать пять лет от рождения; но, судя по виду, можно бы смело придать ему еще десяток. Матрона Якимовна, которая во сне и наяву бредила людьми чиновными, была от него без памяти и уговорила его отдохнуть с дороги в ее доме, сколько ему угодно. Майор того только и ждал. Мало-помалу он вкрался в дружбу и доверие к хозяйке своей и даже, говорят, — не знаю, правда ли, нет ли — вскружил голову Настасье Петровне. Сердце женское есть такая мудреная загадка, которой никогда не мог я разгадать. Короче, не прошло и двух недель, как уже в Крохалиевке заговорили о свадьбе. Еще неделя — и уже ее отпировали.

Мать моя, при первой вести об этой страшной помолвке, пошла к Матроне Якимовне и напомнила ей данное мне честное слово. «А разве я не сдержала его? — отвечала г-жа Опарииха насмешливо. — Сами вы видели, что я не выдавала моей дочери замуж, пока сын ваш не вышел в чины. Теперь же, как он стал человеком чиновным, так и для ней пришел час воли божией. Милости просим на свадьбу!» Что было отвечать на сей лукавый изворот? Матушка моя возвратилась домой с тем же, с чем и пошла, наплакалась досыта и даже слегла в постелю. Я застал ее в припадках томительной горячки.

Болезнь ее усиливалась со дня на день, и мне уже было не до Матроны Якимовны и не до Настуси... На двенадцатый день по приезде моем я шел за гробом доброй, чадолюбивой моей матушки.

С той поры Крохалиевка мне опостылела. Я продал отцовскую землю, мельницу и пасеку; оставил только, как бы по темному предчувствию, дом с садом и поместил в нем старого ослепшего дьячка с хилою его женою, на память по моему отцу, которому сей дьячок с лишком тридцать лет сопутствовал на разные церковные службы и мирские требы. Этой же бедной чете предоставил я в полное распоряжение и сад мой, чтоб она могла чем-нибудь пропитаться на старости.

Вырученными за движимое и недвижимое имущество покойного моего отца и собранными с должников его деньгами мог я безбедно дотянуть свой век, хотя бы он продлился еще втрое; ибо я привык к умеренности и порядку. Из всех моих должников одна только Матрона Якимовна была несостоятельною платель-

щицей: она откладывала уплату под разными предлогами, переписывала с году на год заемные письма и во всяком случае старалась что-нибудь да выторговать. Я мало об этом заботился, препоручил все хлопоты с нею бывшему свату моему Савелию Дементьевичу; но избегал случая встретиться с нею или с Настасьей Петровной и уехал в город, не выдавшись ни с кем из них.

Через год, увидевшись с одним из панков крохалиевских, я узнал от него, что в доме Матроны Якимовны шел, как говорится, дым коромыслом. Майор, как на поверку вышло, не имел не только поместья, но ни души, даже собственной, и сверх того был картежник и гуляка; он самовольно завладел имением своей тещи, проматывал его, дрался с нею и мучил бедную жену свою. Несчастливая, как мне сказывали, страшно похудела, и глаза ее ни днем, ни ночью не осушались от слез.

Спустя еще около трех лет получил я письмо такого содержания:

«Матушка моя умерла от бедности и горя, муж мой лежит в параличе. Я и трое жалких детей моих нуждаемся в самом необходимом. Нас за долги выгоняют из дому. Сделайте милость, не взыскивайте с меня хотя до времени денег, должных вам покойницею матушкой, и пр... Настасья Прытицкая».

Сердце мое стеснилось от жалости и грустных воспоминаний. Я возвратил Настасье Петровне заемное письмо ее матери с распискою в получении долга; приложил к нему еще, что бог мне внушил послать ей; и как в это время ни старого дьячка, ни жены его не было уже на свете, то я укрепил дом мой в Крохалиевке и с садом за Настасьей Петровной и детьми ее. Там она по смерти мужа живет и теперь, хоть не богато, но безбедно. Бог печется о сирых и страждующих!

Что до меня, я уже больше не думал о женитьбе. Первые мечты моего счастья рассеялись как дым; и теперь я коротаю век мой старым, безродным бобылем. Хожу на службу, держусь во всей строгости моей присяги, равнодушно сношу ропот сочленов моих, разнящихся со мною во мнениях, вечером читаю, что бог послал, и от скуки веду свои записки. Не знаю, займут ли они вас, милостивые государи, столько же, как меня; во всяком случае, желаю вам удовольствия.

(Этот отрывок из записок Демида Калистратовича Сластены был мне доставлен одним из его земляков. Мне, как издателю оных, оставалось только присовокупить к ним примечания для объяснения некоторых малороссийских слов, обычаев и т. п.)

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> *Писанки*. Яйца, расписанные разноцветными узорами с помощью медной трубочки и растопленного воска. Некоторые из сих писавок заслуживают внимание живостию красок и разнообразием узоров, в коих малороссийские художницы нередко отличаются тем своеобразием воображения, которому столько мы удивляемся, смотря на коймы индийских шалей.

<sup>2</sup> *Олей* в Малороссии называется конопляное и вообще всякое постное масло.

<sup>3</sup> *Панас* — Афанасий.

<sup>4</sup> Т. е. священнику. *Пан-отец* по-малороссийски значит то же, что по-русски *государь-батюшка*.

<sup>5</sup> В Малороссии знатоки бывают весьма разборчивы при покупке волов, наблюдая условные стати их, подобно как охотники до лошадей разбирают стати верховных и упряжных скакунов, рысаков и пр.

<sup>6</sup> *Рацея* — испорченное латинское речение: *oratio* — слово или проповедь.

<sup>7</sup> *Весельем* в Малороссии называется свадьба.

<sup>8</sup> *Бурса* — дом, где живут семинаристы.

<sup>9</sup> *La vergette* \* — некогда существовавшая мужская прическа головы; волосы, наперед остриженные очень низко.

<sup>10</sup> Т. е. как муха в кипятке. Стих из *Малороссийской Энеиды* Котляревского (IV, 44).

<sup>11</sup> *Чумаки*, т. е. погонщики волов в Малороссии, если увидят на большой дороге пешехода, порядочно одетого, то в насмешку предлагают ему купить батог, т. е. кнут, коим погоняют они волов своих.

<sup>12</sup> Т. е. палочное доказательство.

<sup>13</sup> В Малороссии часто прозвание жены, дочери и сына изменяется таким образом в окончании. Если, например, как здесь, муж прозывается *Опарий*, то жену его называют *Опариха*, сына *Опариею*, а дочь *Опариевна*.

<sup>14</sup> *Мережки* — городки, или узоры.

<sup>15</sup> Мелкопоместные малороссийские паны старого века нередко щеголяют странностию выражений, желая тем отличиться от просто-

\* *Метелка* (фр.).

го народа. Выражение: соорудите нам чаю сочинитель сам слышал из уст одной пожилой паньи.

<sup>16</sup> Лет за двадцать перед сим во многих домах деревенских подавали чай с шафраном. Может быть, обыкновение сие и теперь еще существует в некоторых степных деревушках.

## ПЛЕННЫЙ ТУРОК

*Истинное событие*

Лет двадцать тому назад, когда молодой Каменский (покойный граф Николай Михайлович) громил силы турецкие и военнопленных турок, по множеству их, размещали во внутренних городах России, целые толпы сих пленников пригнаны были в С.-у.-губернию.

Одна толпа расставлена была на квартирах в уездном городе С.-х. Пленники сии вели себя смирно и сверх положенного на их содержание казенного оклада зарабатывали деньги своими трудами. Правда, в одном городке (В...) они вздумали было вспомнить свою турецкую волю, или, правильнее сказать, своевольство; но озлобленные малороссияне доказали им кровавыми доводами, что в наш монастырь чужеземцы не должны ходить с своим уставом.

Я был тогда молод; и, воспользовавшись свободным временем в учебном году, отправился в начале июля осматривать незнакомые мне дотоле места моей родины. В числе прочих посетил я и красивый город С.-ы. Здесь нашел я несколько моих товарищей по ученью, которые ласково приняли заезжего гостя, наперерыв угощали меня с истинно малороссийским хлебосольством и показывали мне все (весьма немногие числом) достопримечательности своего города и его окрестностей. Один из этих добрых молодых людей даже настоял на том, чтоб я остановился в его доме. Он и милое семейство его, обще с другими моими товарищами, тамошними уроженцами, задержали меня в кругу своем почти на все время *вакаций*. Мне было весело и приятно в этом кругу, и я никак не спешил из него вырваться. В семнадцать лет свободно и беззаботно пользуешься временным отдыхом!

В доме семейства, так радушно меня приютившего, помещен был один из военнопленных турок. Ади был

молодой человек лет двадцати двух, высокий и статный, с прекрасными, благородными чертами лица и умным взглядом. В короткое время он выучился говорить по-русски, выговаривал слова довольно чисто и нередко дивил нас простодушием и меткостью своих выражений. Природный ум его, казалось, ждал только благотворной росы образованности для полного своего развития; но часто закоренелая полудикость и грубое суеверие мюсюмана были ему в том помехой. Он сделался неразлучен со мной и молодыми моими товарищами, участвовал в наших прогулках и ревостях, изумлял нас необыкновенною гибкостью и крепостью своего тела и еще чаще нас смешил своими чистосердечными выходками, когда случалось ему рассуждать о предметах, для него новых и непонятных.

Не раз он удивлялся нашему европейскому платью и даже насмеялся над ним. Можно ли, говорил он, зашить человека в узкий мешок, как будто *огальку*, которую хотят утопить? То ли дело наше турецкое платье: и свободно, и красиво, и в холод греет, и в зной не томит!

Отец моего товарища имел тяжбу с одним ябедником, который, быв обвинен в нижних инстанциях, взял дело на апелляцию, и слух понесся, что он разными происками успел дать тяжбе благоприятный для него оборот. Все семейство приуныло, потому что боялось утратить большую часть своего достояния. Али заметил это и не понимал причины такой печали. Он просил нас рассказать ему, какое горе постигло *эфенди, ханым*<sup>1</sup> и детей их? Мы растолковали ему, в чем было дело. «Да чего же смотрит здешний ваш *кади*? — вскричал Али с необыкновенною живостью и досадой, разумея под именем кади городничего. — Зачем не велит он дать этому злому человеку пятьсот ударов по пятам распаренными ивовыми палками? Может быть, у вашего кади нет такого человека, который бы исправил эту *должность*? Пусть позовет меня: Али знает свое дело: Али задаст вашему злодею такую баню, что он целые полгода будет ползать на четвереньках». Мы невольно засмеялись и принялись объяснять турку, что у нас правосудие производится совсем другим порядком и что дело, о котором шла речь, вовсе не подлежа-

---

<sup>1</sup> Т. е. господина и госпожу.

до суждению и управе кади. Но Али, казалось, не верил нам и сомнительно покачивал головою.

Несколько турок на выработанные ими деньги наняли небольшой участок земли близ города и развели бакшу<sup>1</sup> для своего употребления и для продажи. Двое из них поссорились и один другого пырнул ножом. Преступник скрылся; но через несколько суток явился опять как ни в чем не бывал. Его схватили и отвели в полицию. Надобно было видеть гнев и негодование нашего Али. «Как! — говорил он нам. — Сулейман ушел, Сулейман через три, четыре, больше дней приходит опять: Алла и Мухаммед его простили; по-нашему, он больше не виноват; а вы его засадили в кандалы? Что же с ним сделают?» Мы отвечали Али, что военнопленный должен состоять под законом той страны, где он находится в плену, и что по нашим законам Сулейман подвергается телесному наказанию. Али не ответил ни слова; но взял свой нож и молча начал его точить. Когда мы спросили, для чего это, Али очень спокойно отвечал, что, наточа нож, пойдет к кади просить, чтоб ему было позволено отрезать голову Сулейману. Насилу мы уговорили его не делать этого дурачества, уверив его, что кади самого его посадит в тюрьму и велит высечь, как человека беспокойного, нарушающего общественный порядок, у нас введенный.

Однажды вечером мы разговаривали о трагическом приключении, случившемся незадолго в тамошних окрестностях. Жену одного помещика увез ее обольститель. Оскорбленный супруг вызвал своего соперника на дуэль и был им застрелен. Али вслушивался весьма пристально в этот рассказ, покачивая головою; и когда мы кончили разговор, он подошел ко мне и сказал: «Молодой бояр! зачем муж отдал себя на убой? разве он не мог просто зарезать чужого мужа, а злодейку жену свою зашить в мешок и утопить в реке? Это было бы и умнее и лучше». Много труда мне стоило уверить Али, что этого у нас не водится.

Наконец от беспрестанного обращения с русскою молодежью Али утратил свою турецкую дикость, отрекся от многих своих предрассудков и полюбил наши обычаи. Он даже переделался в какое-то полуевропей-

---

<sup>1</sup> Т. е. огород, засеянный арбузами, дынями, тыквами, огурцами, кукурузой и т. п.



ское платье, сшил себе род гусарского доломана с шнурками; но никак еще не соглашался носить платье узкое. После я узнал от моего приятеля, что когда начали возвращать военнопленных турок на родину, Али решительно объявил, что хочет остаться в России; и, несмотря на все угрозы своих единоземцев, принял христианскую веру. Ловкий пригожий Али скоро был принят в услужение одним проезжим офицером, который обещался вывести его в люди.

Через несколько лет, уже по возвращении победоносных российских войск из Франции, проезжая через К..., остановился я в трактире. В общей комнате встретился я с пригожим кавалерийским офицером, у коего рука была на подвязке, а на лбу широкий, не вовсе еще подживший шрам. Черты этого офицера были мне знакомы; только не мог я вспомнить, где видал его. Он также всматривался в меня; наконец подбежал и назвал меня по имени. «Али!» — вскричал я по невольному движению; он усмехнулся и сказал самым чистым русским языком: «Договорите; вы сказали только начало моего имени: вполне теперь оно — Алексей Иванович!» Между нами завязался откровенный разговор, и тут я узнал причину, по которой Али остался в России и принял нашу веру. Он был влюблен в милovidную Анюту, дочь С...ского своего хозяина; но глубоко в душе таил страсть свою. Благодетель его, офицер, определил его на службу в 1812 году. Али служил с отличием, рубился отчаянно, как истинный Делибаш, получил несколько ран и чин подпоручика и теперь ехал жениться на милovidной Анюте.

## РОМАН В ДВУХ ПИСЬМАХ

### I

Здравствуй, любезный Александр! Весело ли проводишь ты свое время в Петербурге? Резвый мотылек, по-прежнему ль летаешь с дачи на дачу и от сердца к сердцу? Здоровы ли наши *plantes exotiques* \*, как ты называл этих милых провинциалочек, с их украинским

---

\* Экзотические растения (фр.).

произношением и огнедышащими взорами, бросаемами исподлобья? Что до меня... но ты, верно, потребуешь от меня полной исповеди. Помню, очень помню, что перед отъездом я погрозил тебе длинным-предлинным письмом; пора выполнить угрозу и доконать тебя сим тяжеловесным посланием.

Сюда прибыл я в самую лучшую пору, в половине мая, когда все здесь цвело: сады, леса, луга и щеки сельских красавиц. Смеешься ты и говоришь, что я делаюсь буколическим поэтом? Пожалуй, смейся; а я тебе докажу, что выражение мое точно как нельзя больше: лица поселянок именно цвели тогда — веснушками и вешним загаром. К пенатам моим приехал я не на радость: дом ветх и скучен, сад заглох крапивой; а в деревушке едва осталось душ тридцать налицо по сельской ревизии. Мне грустно было там оставаться. Отслужив панихиду над могилами отца и матери, я тем же следом отправился верст за пятьдесят к дяде моему, принимавшему на себя родственное попечение о небольшом моем именьице во все четыре года, которые провел я за границей и в Петербурге по смерти отца моего. Дядя и все его семейство приняли меня с открытыми объятиями; а меньшие дети его — сказать правду — даже измучили меня своими поцелуями и ласками в первый вечер. Впрочем, в этот первый вечер все шло хорошо. Меня забросали вопросами о чужих краях, о новых модах, о том, с прикупкой или с вистом играют в бостон в Париже. Одна добрая старушка, родственница моей тетки, спрашивала, не заезжал ли я мимоездом в Иерусалим или на Афонскую гору? Я отвечал на все обстоятельно и благоразумно и за то удостоен был, особливо от тетки моей и доброй старушки, ее тетушки, названия человека степенного, солидного. Но на другой день лист совсем перевернулся: oui, mon cher, j'ai fait crier au scandale! \* И знаешь ли чем? Тем, что поутру вместо чаю потребовал стакан молока, а вместо сдобных сладких крендельков, которыми пекарня моей тетки славится за 20 верст в округности, — кусок черного хлеба. «Можно ли! — вскрикнули в один голос моя тетушка, ее тетушка и четырнадцатилетняя моя кузинка, — можно ли в порядочном доме требовать себе мужицкого завтрака?

---

\* Да, мой дорогой, я довел до скандала (фр.).

Разве вы думаете, прости господи, что у нас и лакомого куска не сыщется про дорогого гостя?» Напрасно я извинялся закоренелю страннической моею привычкой: меня непременно посадили бы на *слагкоядение*, когда бы дядя не подоспел ко мне на помощь и не выручил меня объявлением, что я в его доме могу жить как у себя, есть и пить, что мне вздумается.

Хочешь ли знать ежедневные мои занятия? В пять часов утра я встаю и отправляюсь к реке купаться. В полверсте от дома, под навесом ив, есть прекрасное приволье для любителей купанья. Ты знаешь, что с тех пор, как сиамец Лаури учил меня плаванью, я не уступаю в этом искусстве ни одному островитянину Тихого океана. Река, протекающая в деревне моего дяди, глубока, быстра и довольно широка: ежедневно я совершаю на ней байроновский подвиг и сряду по нескольку раз переплываю этот стосаженный Геллеспонт. Жаль, что ни на одном берегу нет прекрасной Геро, которая ждала бы верного и раннего своего Леандра; или что по крайней мере, подобно Байрону, не могу я похвалиться в пленительных стихах моим удалством и простудной лихорадкой. После купанья часа два или три брожу я по рощам и полям и в ожидании Петрова дня натравливаю моего четвероногого Мельмота на крупных и мелких птичек. Молодой этот питомец так послушен и переимчив, что, когда я после иду с ним по деревне, он не оставляет без порядочной угонки ни одной курицы, ни одного цыпленка; и на днях еще старая Акулина, птичница моего дяди, всенародно приносила мне жалобу, что Мельмот, резвясь, задушил пары две утят и распугал весь утиный табор, вверенный главному ее начальству. Я смеялся и оправдывал Мельмота молодостью и глупостью; но тетке моей, кажется, это оправдание было не по сердцу: она заметила мне, что такую негодную собаку должно держать или взаперти, или на привязи.— Перескочи, если хочешь, через это отступление и читай далее.— В восемь часов являюсь я к завтраку, принимаюсь за свой черный хлеб с молоком и прехладнокровно выслушиваю неблагоприятные намеки моей тетушки и ее тетушки насчет моего вкуса или блестящего сельского остроумия молоденькой кузинки, которая, будучи рада случаю, не хочет оставаться в долгу на мои шутки над ее заученною чувствительностью, или,

как у нас когда-то говаривали, *сентиментальностью*, и над ее провинциально-жеманным полудетским кокетством. После завтрака дядя водит меня по саду или по другим хозяйственным заведениям; толкует мне то и другое; я слушаю обоими ушами, хотя, признаться, ничто из хозяйственных наставлений дядюшки в них не залегает. Кажется, бог не создал меня ни агрономом, ни садоводцем, ни прочим и прочим в чем полагается главное и существенное достоинство сельского помещика; да, кажется, я и не готовлю себя в члены их деятельного и трудолюбивого общества. Так время уплывает до обеда. В час мы садимся за стол. После обеда и неизбежного кофе с густыми сливками три главы домочадцев уходят отдыхать, кухня мечтает за работой, дети бегать по саду, слуги дремать в передней либо шушукать с горничными; а я, взяв Мельмота и страннический мой посох — суковатую палку, снова пускаюсь бродить по окрестностям, иногда с книгой... Не дивись и не бойся за меня: не думай, будто бы я, наперекор с молью, роюсь в старинной наследственной библиотеке дяди. Нет, мой друг! Я взял с собою из Петербурга порядочный запас разноязычных новостей всякого рода и когда устаю от прогулок, то, бросившись где-нибудь под тень дерева, прочитываю по несколько страничек из книги, которую своевольная судьба подsunет мне в руки. Сам я нарочно не выбираю и нахожу, что это гораздо лучше, ибо доставляет мне удовольствие неожиданности. Под вечер я возвращаюсь домой. Иногда застаю гостей, иногда не застаю даже и хозяев, которые уезжают посещать своих соседей. Тут, на свободе, начинаю резвиться с маленькими двоюродными моими братьями, выдумываю для них новые игры, делаю огромных бумажных змеев, спускаю их, кричу, шумлю не меньше детей,— а время течет да течет.

В половине десятого мы ужинаем, а через час беспечный друг твой спит уже сном праведника.

Ты легко поймешь, что такая однообразная жизнь скоро приелась бы мне, как *le pâté d'anguilles* \* доброго Лафонтеня; но, по счастью, у тетушки моей было наготове запасное средство против угрожавшей мне скуки и нравственной оскомины. Тетушка сама при-

---

\* Паштет из угрей (фр.).

зналась мне, что давно уже, именно с тех пор, как узнала о моем желании побывать в здешнем краю, — она имела на меня виды: то есть стоворилась с одною своею соседкой и задушевною приятельницею женить меня на ее племяннице, семнадцатилетней девушке, по ее рассказам, прекрасной, благовоспитанной и единственной наследнице трехсот душ родового имения, да ста тысяч рублей от одной бабушки, да двадцати тысяч с порядочным поместьем — от другой; да к этому еще приданое, да безнаследные родственники, от которых к ней же должно все перейти со временем... Короче, итог этих наследств, надежд на родственные похороны и тому подобного составляет порядочную сумму, от которой бы у иного жениха, á l'irlandaise \*

Запрыгали глаза и зубы разгорелись;

но я, — ты меня знаешь: я не стяжатель. Притом же *благовоспитанная* невеста, живущая в восьмистах верстах от ближайшей столицы... Ох! Эти мне благовоспитанные сельские девушки! Того и жди, что на пальчиках ее подметишь копоть кухонной кастрюли, а на ногах — экономические башмаки, сшитые домашним сапожником, учившимся своему ремеслу подобно Тришке. Того и жди, что эта нимфа полей и огородов, запрятав подбородок в свою шейную косынку, станет отсмеиваться в платочек вместо всякого ответа на нежности вежливого жениха! Да и красота ее, мне кажется, *est une chose sujette à caution* \*\*: тетушка моя не великий знаток в этом деле, если судить по тому, что она считает красавицею свою Вареньку — бледную, бесцветную девушку, с тупыми глазками и волосами неопределенного цвета...

Да, мой друг! Так я писал к тебе, так я думал за три недели... Не знаю, какими судьбами позабыл я отправить письмо мое в город на почту; оно завалилось на письменном столе моем — и вообрази вчерашнее мое удивление! Нахожу это не совсем dokonченное письмо (вероятно, сон помешал мне дописать его) на своем письменном столике. Не решился, однако же, послать его к тебе в прежнем виде — оно было бы анахронизмом чувств и понятий моих о некоторых предметах; ни вовсе истребить его — во-первых, из самолюбия, в си-

\* На ирландский манер (фр.).

\*\* Нечто сомнительное (фр.).

ду которого я оправдываю, применяя к себе, русскую поговорку: «что написано пером, того не вырубишь топором»; а во-вторых, и для того, чтобы ты в полном историческом очерке видел все хождения твоего друга, тогдашний и нынешний образ его мыслей.

Вот тебе короткий отчет за последние три недели здешней моей жизни. Тетушка чаще и чаще начала ко мне приставать с своими предложениями о сватовстве; я отшучивался — и нередко приводил в досаду эту добрую родственницу либо гордыми моими надеждами, либо умышленным уничижением, которое казалось ей *паче гордости*. «И, племянничек! — возражала она. — У тебя, право, семь пятниц на неделе: часом и принцесса вавилонская тебе еще неровня; а в иное время ты готов божиться, что не смеешь и подумать о сельской дворяночке, у которой каких-нибудь тысяч десяток годового дохода. Чем ты не жених хоть бы какой невесте? И молод, и пригож (тут, разумеется, я усмехаюсь и охорашиваюсь), и в чинах, и в почестях: благодаря бога, уж надворный советник, имеешь Владимира в петличке... Бывал и в чужих краях; говоришь по-французски и по-немецки, да и еще, может быть, на каких языках; танцуешь так, что у нас никому и во сне не приснится... Право, ты хоть кому партия». Что против этого возражать? Тетушка, по своей провинциально-женской политике, так ловко умаслила мое самолюбие, что я, волей и неволей, дал ей слово посмотреть невесту, живущую отсюда верст за двадцать; выпросил только себе, по возможности, самый долгий срок до этого смотра, именно до июля месяца.

Он был, однако ж, не за горами. Прошел и столько желанный мною Петров день. Я осмотрел любимое мое кухенрейтерское ружье — добычу карточной сделки с неутомным нашим шалуном Ключонкеровским, — взял Мельмота с собою и пустился кружить по рекам, лугам и болотам. Первый мой выход был очень удачен. Я, правда, не застрелил ни мошки, дал десятка два пугелей \* на ветер; зато свел предорогое знакомство. Вообрази себе: иду по одному болоту — и вдруг вижу, в нем барахтается какое-то животное, отчасти похожее на человека. Подхожу ближе — точно: ог-

---

\* Пугелями у охотников называются промахи из ружья, выстрелы без повала дичи.

ромная голова с плоским лицом, забрызганным болотной грязью, и с волосами, на которых буйные движения тела и самовольство ветра поставили самую забавную прическу,— эта голова билась вверх и вниз на широких плечах, кои до половины уже уходили в топкую тину. Нечего было церемониться: я остановился подле, на большой и твердой кочке, ухватил обеими руками голову за волосы и потянул вверх изо всей силы. Голова пыхтела, кряхтела и, вероятно, делала самые странные рожи, ибо Мельмот, присевший на другой кочке, прямо против лица ее, в продолжение геройских моих усилий выл во все горло, как перед смертным часом. Наконец напряженные мои усилия увенчались желаемым успехом: я вытащил человеческую фигуру самого огромного размера — почти в сажень, с атлетическими формами, которые под густыми слоями облепившей их тины казались еще тучнее и несвязнее. Признаюсь, я, в заключение доброго моего дела, чуть не захохотал под нос этому живому подобию египетских термов, когда оно, выпрямившись передо мною, испустило такой вздох, от которого гул пошел по всему болоту, и потом, думав обтереть себе лицо, принялось еще больше марать его грязными своими руками. К счастью, мысль, что оба мы стояли на самом зыбком подножии, потому что кочка начала уже колебаться от двойной ноши,— эта мысль в самую пору промелькнула в моей голове. Я подал знак моему *болотному мужицку* — и мы давай переступать с кочки на кочку, пока совсем не выбрались из болота. Тут мы оба растянулись отдыхать на одном береговом холмике, однако же в почтительном расстоянии друг от друга. Через несколько минут *болотный мужичок* натеребил травы и принялся обтирать с себя тину, а Мельмот около него прыгать и лаять. Сколько безмолвный мой незнакомец ни покушался снять с себя платье — все было напрасно: оно, пропитавшись насквозь вязкою грязью, как будто бы приросло к его телу. Новое явление! Новая потеха мне и новые хлопоты Мельмоту, *qui faisait la mouche du coche dans tout le cours de cette affaire* \*: *болотный мужичок*, чтоб освободить свою спину от грязи, начал кататься по траве,

---

\* Который суетился без толку в продолжение всего этого дела (фр.).

как бочонок, а Мельмот лаять и прыгать, а я — я не вытерпел и захохотал от полноты нежданного удовольствия. Этим еще не кончилось: мой знакомый незнакомец сбежал с пригорка вниз, зачерпнул полугрязной воды в болотной луже, умыл себе руки и лицо, обтер их травкою — и сделался полосатым... да, полосатым! По сероватому полю несмытой грязи явились у него на лице зеленые полосы от травяного соку. Кто бы не подумал, что это истинно болотный мужичок, то есть дух, вылезший из самого дна тины?

В таком виде предстал он перед мои светлые очи (говоря языком наших летописей), и тут впервые разверзлись уста его для изъявления мне благодарности. Вот тебе слово в слово этот образчик тинного красноречия:

— Хоть я не имею чести знать вас, батюшка, а все же не меньше того покорнейше вас благодарю за то, что вызволили меня из этого омута... Такая беда! Нелегкая занесла меня в болото, глядь — ан тут куличок перебегает да перелетывает с кочки на кочку; я за ним — он дальше и дальше. Зло меня взяло, не отстаю от него; вот и подкрался, ступил, кажись бы, на твердое место и попал на трясины; ноги-то мои и стали уходить в топь. Ах ты, проклятый! — молвил я с сердцов и хватъ из ружья по куличку; он улетел — а подо мною все так ходенем и заходило, я и врютился по пояс. Ну, давай биться, возиться: думал ружьем достать до дна, чтоб оттолкнуться, — куда тебе! И ружье ушло в таргарары, чертям на потеху... А жаль! Ружье-то было Лазаря Лазаринова и досталось мне по наследству еще от покойника дедушки. Кабы в нем не расстрел да не раковины — и цены б ему не было: промаху бы не дал! Да уж, видно, так ему на роду написано: не лезть же мне за ним в омут! Благодаря Бога, есть еще и кроме этого у меня дома дробовиков да винтовок с полдюжины, побольше... Ну, так я погоревал, да и снова принялся выбиваться из тины; не тут-то было! Я чтобы вон, — а меня словно лукавый тянет за ноги, все глубже да глубже... Не насуньтесь вы — так бы меня поминай как звали!

— А как вас звали и зовут? — спросил я, чтобы положить предел этому потоку красноречия.

— Авдей Гаврилов сын Кочевалкин, сударь, к вашим услугам: так меня зовут добрые люди, — отвечал он.



— Послушайте, почтенный Авдей Гаврилович! Вам надобно поскорее добраться до своего дома, переменить платье и белье, вытереться ромом или одеколоном и успокоиться...

— Где у нас, батюшка, тратить ром на такую дрянь? А об *ладиколони*-то мы слышать — слыхивали, только, признаться, в глаза-то не видывали. Вот я велю истопить баню да вытрусь тройником, настоянным на стручковом перце,— так все как с гуся вода.

— Хорошо, только пойдём. Я вас проведу до самых ваших ворот; боюсь, чтобы вы после такого купанья не занемогли или не ослабели дорогой.

— И! Не в том сила, батюшка! А все-таки пойдёмте-с. Вы мой благодетель, так сказать, попросту, спасли мне жизнь, и я хочу вас угостить на славу.

Любопытство подстрекнуло меня узнать покороче моего чудака, его житье-бытье и угощение на славу: я не отговаривался и пошел с ним. Признаться, и голод начинал со мной заговаривать; я зашел верст за пятнадцать от дома моего дяди, а на часах было уже около половины третьего. Через час времени мы подошли к роще; тут мой вожатый признался мне, что ему совестно было идти селом в этом виде, и потому он взялся провести меня к себе в дом околицей и огородами. Мы побрели по узенькой лесной тропинке. Вдруг навстречу нам с перекрестной дорожки порхнула, как птичка, молоденькая девушка в ситцевом платье цвета *Robin-des-bois* \*, с разгоревшимся от бега лицом и разметанными черными, как смоль, локонами, с черными глазками и быстрым взором. Миловидное личико ее с каким-то лукавым выражением обратилось на бедного моего спутника, и глаза ее впились в его разноцветное подобье. Красавица, как видно было, узнала в моем болотном мужичке своего деревенского соседа — и не могла удержаться от смеха, обнаружившего ряд прекрасных зубов, ровных и белых, как нитка отборного жемчугу. Потом она взглянула на меня, смешалась, покраснелась еще больше и потушила глаза. Тут только, по милости Мельмота, я заметил, что девушка была не одна: она вела на голубой ленте маленькую белую козочку. Мельмот, натравленный на дичь, вероятно, счел и эту козочку доброю добычей

---

\* Лесной Робин (фр.).

и бросился было за нею; но я закричал на него, толкнул его прикладом, и он, поджавши хвост, поплелся назад.

В эту минуту девушка одумалась, поклонилась нам, почти не поднимая глаз,— и улетела от нас, как легкий весенний ветерок. Во все это время спутник мой стоял как окаменелый: стыд, что миловидная резвушка увидела его в таком непоказном состоянии, убил все другие ощущения души его и оковал все движения тела. Уже не прежде, как через несколько минут после быстрого побега красавицы, он очнулся, будто от тяжкого сна, и, безгласен как рыба, пошел со мною далее. Мы перелезли бог весть сколько плетней и наконец вошли в сад и в дом моего чудака.

— Тимошка! Сенька! Тишка! Где вы, уроды? — раздалось громогласное воззвание моего спутника к его домочадцам.

На сей звучный призыв сбежались, разиня рот, трое оципаных холопей с самыми глупыми рожами.

— Ну, раздевать меня, чучелы; да смотрите, не жалеть ничего, рвать как попало, только скорее. Извините, батюшка! — примолвил он, оборотясь ко мне, и с этим словом скрылся в боковую дверь.

Я остался один и от нечего делать начал рассматривать комнату, в которой находился. Мебели в ней были самого старинного покроя. Пыль, плотно слегшаяся на столах и шкафах, свидетельствовала, что опрятность никогда не была одною из домашних добродетелей хозяина и слуг его. В комнате безвыводно господствовал запах самого грубого курительного табаку. На одной стене висело овальное зеркало с деревянными розетками вокруг рам, некогда позолоченных; к другой стене прибит большой олений рог, по ветвям коего развешаны ружья, винтовки, охотничьи ножи, пороховые рожки и прочие доспехи Нимвродов нашего века. Сквозь разбитые стекла одного шкафа я увидел — что бы ты подумал, Александр? — полки с книгами! Судя по приемам и обращению хозяина, можно было тотчас заметить, что он человек не слишком книжный. И когда он, обмывшись и переодевшись, вошел ко мне с лицом, полным и красным, как наше петербургское солнце без лучей в знойную пору, то я не вытерпел и спросил у него: откуда к нему зашла такая излишняя домашняя утварь?

— И правда, что лишняя,— отвечал он,— да пусть их тут остаются; места не простоят. Вот видите, батюшка: у меня был дядя, книгочей, старый холостяк; от него-то по наследству и досталась мне эта рухлядь. Да я в них не больно заглядываю! Разве в зимнюю пору, когда на дворе подыметесь вьюга так, что света божьего не видно, и ни на охоту, ни в гости, ни к себе ждать гостей нельзя; так я, ради скуки, и роюсь в письмовнике. Вот книга-то препотешная! Каких там нет рассказней да прибауток; а песен-то, песен! Уж спасибо тому, кто ее написал: мастер был своего дела, нечего сказать!

Нечего было и спрашивать далее. Погодя немного один из подщипанных слуг явился и прокричал таким голосом, каким псари окликают собак: «Кушанье готово!» Не стану тебе описывать ни обеда, более сытного, нежели вкусного, ни крепких наливок, которые сожгли мне всю внутренность, ни пустого разговора, который усыпил было меня к концу стола. Я рассеянно спросил сперва у моего хозяина:

— Какое это селение?

— Село Жижморovo,— отвечал он.

— А кто такова эта девушка, которая встретилась с нами в роще?

Лицо моего Амфитриона вспыхнуло, глаза сжались, как у калмыка, и покрылись какою-то тусклою влагой. Однако ж он скоро оправился и отвечал:

— Девушка эта, сударь, дочка Сергея Тихоновича и Пелагеи Михайловны Бедринцовых, Надежда Сергеевна.

Вообрази себе, Александр, мое удивление! Но ты уже догадался, что это нареченная моя невеста. Да, точно она! Не правда ли, что встреча самая романтическая?

Тотчас после обеда я простился с моим *болотным* мужичком, пошел из селения тою же дорогою, которою он вел меня; но не встретил никого, кроме маленькой пастушки — не из аркадских: нет, эта просто пасла индеек. Возвращаясь в дом моего дяди полевыми дорожками, я думал о приключениях дня, о чудных встречах, — и, сказать ли? образ Надежды Бедринцовой поминутно оживлялся в моих воспоминаниях.

До следующего письма. Прощай!

С последнего моего письма к тебе, друг Александр, много уплыло воды в моем жизненном потоке; много произошло перемен и во внутреннем моем мире и во внешнем, меня окружающем. Но должно рассказ мой, как говорится, *начать с начала*.

Я сказал доброй моей тетке, что видел мимоходом, или, чтобы точнее выразиться, *мимолетом*, нареченную мою невесту. Я не утаил, что в этом милом существе, с первого беглого взгляда, понравилось мне все — начиная от заманчивой наружности до детской резвости.

— То ли еще ты скажешь, племянничек, — отвечала тетушка, — когда узнаешь ее покороче. В нашем околотке, думаю, не сыщется девушки, которая была бы так хорошо воспитана, как Надежда Сергеевна. Нечего сказать: спасибо родителям и бабушке, ничего не жалели для ее воспитания. Одной *магаме*, француженке, платится и до сих пор чуть ли не по тысяче рублей, когда не больше. Да фортепианисту, старичку немцу, также все еще идет жалованье, по 800 рублей; это я знаю из верных рук, от кумы Стефаниды Васильевны; а ей как не знать, она ведь тетка Надежде Сергеевне. Уж о том нечего и говорить, что русская учительница, монастырка из Смольного, жила при ней с семилетнего возраста твоей будущей невесты, учила ее и по-русски, и чужеземным языкам, и рукодельям. Вот была девица предорогая: учена, степенна, добронравна! Скончалась, бедняжка, от чахотки года четыре тому; не случись это, уж я непременно бы переманила ее к себе обучать Вареньку и меньших детей; она же и насчет жалованья была незатейлива. Да! вот еще: я чуть не позабыла сказать, что по два года ездил к Бедринцовым каждую неделю танцмейстер от князя Драгольского, тот самый, что и княжон учил, и брал чуть ли не по 15 р. за вечер; да в своем экипаже должно было привозить и отвозить его. Видишь ли, друг мой, что в воспитании Надежды Сергеевны ничто не было упущено...

Подробности сии произвели во мне впечатление совершенно противное тому, которого ожидала добрая моя тетушка. Тот же демон, который прежде восставал во мне против *благовоспитанных провинциалок*, снова

начал мне нашептывать свои злорадные внушения. Пусть она, — думал я, — мила и резва явилась передо мною в роще.

Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты;

но то было в роще, а не в гостиной. Там не ждала она посторонних глаз, и даже громкий, сердечный смех ее вызван был невольно чудовищною образиной моего болотного мужичка. То ли увижу я в гостиной? О, верно нет! Там безжалостный корсет сжимает вместе с вольными формами тела и нравственные способности областной красавицы. Неуместное щегольство нарядов, их пестрота дурного вкуса, их странный покрой — жалкое, уродливое подражание неудачным картинкам мод, рассеваемым по провинциям московскими журналами, — все это отнимает свободу движений, подчиняет девиц какой-то жеманной церемониальности и наводит тоску на опытного наблюдателя, привыкшего в столицах видеть торжество вкуса и ловкости. Прибавим к этому разговор вынужденный, неохотный, тощий мыслями и даже остроумием; статуйное выражение лиц, неподвижные либо бессмысленно кочующие взоры, однообразную, неприятную ужимку губ; неразвязную походку... Горе, горе нашему брату, который попадет на бал или званый вечер сельских помещиков, когда притом еще затеются танцы! Это не торжество, а сущая пытка и конечное уничтожение для деревенских барышень!

Скоро мне представился случай поверить очными наблюдениями сии размышления. Тетка моей нареченной невесты и задушевная приятельница моей тетушки, Стефанида Васильевна, вероятно сговорясь, с кем надлежало, на женском конгрессе, вздумала созвать к себе соседей на обед и вечеринку с танцами. Предлогом сего пиршества был храмовой праздник в ее приходе. Разумеется, я был в числе званых и, может быть, избранных. Нечего делать! Я отправился к ней со всею семьей моего дяди, в огромной линейке, величиной с петербургский *омнибус*... Впрочем, не ожидай от меня подробной картины сельского бала: прочти в пятой главе «Онегина» от 25 до 44-й станцы — и поверь мне на слово, что храмовой праздник в доме будущей моей тетушки Стефаниды Васильевны немно-

гим отстал от именинного пира в доме Лариных. Тут все было в лицах:

Лай мосек, чмоканье девиц,  
Шум, хохот, давка у порога,  
Поклоны, шарканье гостей,  
Кормилиц крик и плач детей...

Тут были и Буяновы с усами, шпорами, в картузе с козырьком, и уездные франтики Петушковые, и пр., и пр.— всех не припомнишь. Не думай, чтоб я, по следам нашего любимца поэта, решил тебя рисовать карикатуру сельского бала: нет! оно точно так бывает и точно так было у Стефаниды Васильевны. Сельский бал есть настоящая выставка областных франтов, или (назову их именем, еще не увядшим в провинциальном словаре) *петиметров*: здесь они отличаются, елико возможно. Люди степенные и неглупые здесь непоказны и незаметны: они скрытно сидят по углам и разговаривают вполголоса. Но пустоголовые щеголи вертятся по комнатам, часто с припрыжкой, *павлинятся*, шумят и сполна выказывают все свои мелкие претензии на ловкость, любезность, ум и тому подобное. Так именно было и здесь, и едва ли где бывает иначе, кроме нескольких знатных домов, поселившихся в деревнях и умеющих давать или поддерживать свой тон в кругу того общества, коим они, волей и неволей, должны были окружить себя за неимением лучшего.

При моем появлении поднялся шепот между знакомыми и незнакомыми мне лицами. Вслед за сим посыпались отовсюду рекомендации смешно разряженных франтов и добрых почтенных старичков, имеющих дела в Петербурге и воображающих, что надворный советник и кавалер, служащий или служивший в одном из министерств,— бог весть какое значительное и всеведущее лицо в Петербурге! Ты знаешь, что я отчасти люблю позабавиться насчет ближнего: в этом грехе принесу я чистосердечное и полное покаяния тогда, как мне стукнет за сорок лет. Как скоро выпитые из города музыканты заиграли польский, я подошел к будущей моей невесте, повел ее,— и все пары за мною. Я отпер двери, ведущие в сад, и повел мою даму по аллее из вишневых дерев,— и все пары за мною. Не подумай, однако же, чтоб это было впотьмах или чтобы для этого нужно было освещение; нет, мой

друг! Бал открылся в шесть часов пополудни; а в июле, ты знаешь, в эту пору еще день на дворе. Я шел нарочно тихо и завел с моей дамой разговор по-французски. И что же? Ведь я жестоко отгадал! Только — *oui* или *non* \*, едва выдохнутые из волнующейся груди и произнесенные робким голосом, были мне ответом. Я провел Надежду Сергеевну по всему саду, наговорил ей бездну так называемых *des jolis riens* \*\*, приводил ее в поминутное смущение, слушал ее молчание или односложные ответы — и с тем отвел ее в комнаты. Тут-то пошла шепотня между старушками и молодыми, дамами и девицами, даже между уездными франтами! Кажется, все решили в один голос: быть делу так! По крайней мере это заметно было из лукаво-убежденных взоров, бросаемых на меня и Надежду Сергеевну, которая попеременно бледнела, краснела и смущалась больше и больше. Я смотрел на все собрание с довольным, отчасти насмешливым видом, *comme si je leur disais: vous êtes bien dupes, messieurs, et vous serez bientôt penauds* \*\*\*. Сия наступательная осанка подействовала: все снова поглядывали на меня, но после уже не перешептывались.

Я подошел к музыкантам и велел им играть французскую кадрили. Они отырыли какую-то старинную, *du temps du roi Dagobert* \*\*\*\*, — и смычки завизжали. Я поднял Надежду Сергеевну; боязливо и с запинкой — она, однако же, пошла со мною. Несколько самых неустрашимых франтов пустились *ангэжировать* дам — как они говорят на степном своем наречии; но из девиц едва немногие, и то с крайнею в себе неуверенностию, отважились на сей подвиг. Кадриль насилу наполнилась. Ах, Александр! Для чего тебя со мною не было! Как бы ты полюбовался мною, когда я прехладнокровно выпускал балетные прыжки в этой кадрили и после в мазурке! С каким душевным удовольствием подслушал бы ты звуки удивления и восторга, раздававшиеся вокруг меня из толпы отовсюду сбежавшихся зрителей: «Черт знает!.. Чудо!.. Вот лихо-то! Вот как

---

\* Да... нет (фр.).

\*\* Милых пустячков (фр.).

\*\*\* Как если бы я им говорил: вы здорово одурачены, господа, а скоро вы будете и сконфужены (фр.).

\*\*\*\* Времен короля Дагобера (фр.).

должно танцовать!..» Наконец, как бы ты порадовался, глядя на областных франтиков, когда они, стараясь подражать моим прыжкам (коим, *pas parenthèse* \*, придумывал я самые затейливые названия: *pas de chamois, pas de gazelle, pas de bedouin* \*\*),— как эти франтики, говорю, переплетали ногами, путались и чуть не падали носом об пол!.. Этот вечер был истинно моим. Желание порезвиться и закружить головы уездных любезников было для меня вдохновением. Я болтал по-французски, говорил самые вычурные комплименты дамам, картавил, как *французик из Бордо*,— и достиг своей цели.

Между сею своенравною блажью я, однако же, весьма пристально посматривал на Надежду Бедринцову. Она, правда, тоже искоса на меня поглядывала, но робко, застенчиво и тотчас отводила глаза на сторону, как скоро они встречались с моими. В ней не было ни искры одушевления, и мечта моя погибла невозвратно. Вот *благовоспитанная* провинциалочка! — твердил я сам себе.— Она мила только одна, глаз на глаз с своею козочкой и заочно от маменьки, а еще больше от посторонних. Даже наряд ее, впрочем не имевший в себе ничего странного или резкого, мне не нравился. Это белое платье, щепетко надетое; эта затяжка, придающая непривычному к ней телу вид парижской модной куклы; эти варварские рукава *à l'imbécile* \*\*\*, окутывающие, как мешки, плечи и руки, верно круглые и полные; это *каньзу*, самая невыгодная для стройного стана выдумка причудливой моды — все это казалось мне докучным саваном, в который как будто бы завернуто было неодушевленное тело юной и прекрасной покойницы.

Короче, я был доволен и недоволен моим вечером. Доволен собою, потому что дурачился и других дурачил вволю,— и недоволен тем, что ни для ума, ни для воображения, ни для чувства моего не было здесь пищи. В речи провинциальных помещиков я не вмешивался:

Их разговор благоразумный  
О сенокосе, о вине,  
О псарне, о своей родне

---

\* В скобках (*фр.*).

\*\* Па верблюда, па газели, па бедуина (*фр.*).

\*\*\* По-дурацки (*фр.*).



грозил мне совершенным усыплением. К счастью, балы деревенские не то что столичные: в одиннадцать часов мы отужинали, а в первом все разъехались, кроме двух или трех дальних семейств, кои остались ночевать.

— Что, какова невеста? — спросила меня тетушка на другой день.

— Она такова, как я ожидал: деревенская барышня, жеманная, застенчивая — и только! — отвечал я убийственно решительным тоном.

— Ох вы; светские пересмешники! — возразила тетушка с досадой, — Коли уж это не милая и не достойная девица, так кого же вам надобно? В самом деле, княжон да графинь или французских ветрениц, что ли?

— Ни тех, ни других, а просто девушку, которая не сидела бы, как истукан бездушный, или в танцах не выпрыгивала бы, как *марионетка* в кукольной комедии.

— Мы не видывали ни ваших *марионеток*, ни кукольных комедий. Вы их знаете — вам и книги в руки. Мы знаем только то, что девушка, у которой десять тысяч наличного дохода, да впереди еще столько же; девушка, которая и не глупа (заметь это выражение: тетушка не смела уже предо мною сказать: умна), и хорошо воспитанна, и пригожа, и рукодельна... ну, словом, такая девушка, как Надежда Сергеевна, хоть кому так невеста.

— Желаю ей сыскать себе достойного жениха. Что до меня, то, кажется, меня должно вычеркнуть из списка.

Тетушка промолчала и надулась, и мировая у нас была заключена не прежде, как тогда, когда я согласился ехать к Бедринцовым, которые звали обедать дядю со всем его семейством — и с *гостем*. У них я снова встретился с приятелем моим Авдеем Гавриловичем Кочевалкиным, но уже не в образе болотного мужичка, а во всем блеске сельского щеголя: в темно-сером фраке, ярко-планшевых панталонах, пестром бархатном жилете и черном шейном платке. Он подошел ко мне как старый знакомец, с распростертыми объятиями, и шепотом просил меня не намекать о недавней его *причине* (как он изъяснялся), прибавив, что он упросил и Надежду Сергеевну молчать о встре-

че в роще. Обед продолжался довольно чинно и безмолвно; но здесь Надежда Сергеевна обращалась со мною уже гораздо свободнее, нежели у своей тетки. После стола я просил ее показать мне сад; она согласилась, но взяла с собою кузину Вареньку и других детей моего дяди. Я умышленно начал ребячиться: бегать с детьми, болтать, и между тем заводил с Надеждою Сергеевной шуточный разговор, чтобы как-нибудь сблизиться с нею и приобрести ее доверие. Я напомнил ей анекдоты об уездных франтах, виденных нами на бале у Стефаниды Васильевны, передразнивал их коверканье, их неловкие скачки и признался, что я нарочно выдумывал небывалые ла и самые затейливые фигуры, чтобы привести их в искушение и сбить совсем с толку. Она смеялась от души, сказала, что еще тогда отгадала мое намерение,— и разговор наш оживился, пошел веселее и веселее и, наконец, дошел до некоторой степени откровенности. Он был прерван самым забавным явлением. *Болотный мой мужичок*, пыхтя и шагая исполинскими своими шагами, спешил к нам и бросал на нас недоверчивые взгляды, в которых ясно отсвечивались подозрение и зависть. Я тотчас догадался, что это значило.

— Вы здесь проживаетесь, сударыня Надежда Сергеевна! — сказал Авдей Гаврилович, подошед к нам. — Конечно-с, — продолжал он, придавая словам своим какую-то глупую значительность, — погода распрекрасная-с, а сад такой большой, такой славный-с.

— У всякого свой вкус, Авдей Гаврилович, — отвечала она с заметным неудовольствием, может быть оттого, что сей простак перебил разговор, более для нее занимательный. — Если б я была на вашем месте, — примолвила она веселее прежнего, — то, может быть, выбрала бы себе для прогулки какое-нибудь поле либо топкое болото...

Проговорив эти слова, она бросила на Авдея такой взгляд, что как ни прост мой *болотный мужичок*, однако понял ее намерение и тотчас закусил себе язык. Мы пошли далее; он от нас не отставал. Я начал говорить с Надеждою Сергеевной по-французски; Авдей Гаврилович, который, кроме провинциального своего русского наречия, не грешен ни в одном языке живом или мертвом, молча глотал свою досаду.

Надежда Сергеевна становилась час от часу развязнее, час от часу милее. Что еще сказать тебе? Я был очарован ею; заметил в ней искры оригинального, отчасти колкого ума, заметил в ней чувствительность непритворную и еще одно свойство, которого давно ищу я в женщинах: неподдельную откровенность, легко пробуждаемую тем, к кому начинает она питать доверие. Прибавь к этому веселый нрав, живое воображение, какое-то увлекательное, детское добродушие в речах; прибавь к этому невысокий, но стройный стан, прекрасные черты лица, приятную улыбку, большие черные глаза с одушевленным, выразительным взором... Не довольно ли было всего этого, чтобы вскружить мне голову?

Решено: я женюсь на ней! Но неужели мне поддаться воле дядюшек и тетушек, жениться так, как женятся Иван и Яков и все имена провинциального списка?.. Нет, это было бы очень скучно! Церемонное сватовство, бесконечные переговоры о приданом, условия об отношениях к тому или другому из родни; далее: свадебные обеды, пиры, визиты — какой неистощимый запас скуки и принуждения! Надобно взяться за ум и устроить все по-своему.

Знакомство мое с домом Бедринцовых связывалось тесно со дня на день. Я часто уходил от дяди рано поутру в щеголеватом моем охотничьем платье, с ружьем на плече и верным моим спутником Мельмотом. Не думая ни о дичи, ни о лугах и болотах, я отправлялся ближайшими тропинками прямо в Жижморово, иногда прямо в сад Сергея Тихоновича и всегда заставал там Надежду в сиреневой беседке за рукодельем или с книгой. Я еще не намекал ей о любви; но мы без объяснений понимали уже друг друга. Однажды шутя навел я разговор на *болотного мужичка* и сказал Надежде, что, кажется, он влюблен в нее. Она усмехнулась; но не показывала никакого смущения. Тут я начал остриться насчет этого забавного воздыхателя; но Надежда Сергеевна не отвечала на мои шутки и, приняв на себя вид простодушно-степенный, сказала кротким голосом:

— Мне кажется, грех шутить над чувством даже такого человека, в пользу которого ничто не говорит: ни ум, ни воспитание. Чувство дело невольное; за что же делать посмешищем того, кто, по простоте своей,

не умеет его ни выразить, ни утаить? Он жалок, а не смешон.

Я поцеловал руку милой моей собеседницы. Разговор, начатый мною отчасти с коварным намерением, вскоре превратился в пламенное излияние души. Между нами все еще не было ни слова о любви; но уже Надежде не оставалось более никакого сомнения в моих к ней чувствованиях; и с моей стороны в ее взорах, в голосе, в самом волнении ее груди читал я лестное для меня убеждение: она любит — и любит меня!

Спустя несколько дней шел я в Жижморovo знакомыми тропинками; уже я пробирался рощею, как услышал позади себя шорох тяжелой походки. Я оглянулся — и в двух шагах от себя увидел Авдея Гавриловича. Заметно было, что он догонял меня. На плече у него лежало огромное ружье, не меньше семипядной пищали сподвижников Богдана Хмельницкого.

— Желаю здравствовать! — сказал мне чужак, поворачившись со мною. — Куда бог несет? Ну да, правда, нечего и спрашивать: к Сергею Тихоновичу, или, еще вернее, к Надежде Сергеевне, — в добрый час молвить, в худой помолчать!

Мне не понравились ни неуместные допросы и догадки, ни голос моего зверовидного Нимврода. Я отвечал сухо:

— Иду куда мне вздумается. Верно, вам меньше всех обязан я отдавать в этом отчет! — С сими словами я пошел было далее.

— Пойдите! — проговорил он, схватя меня за руку с явным смятением, выразившимся в его голосе, взгляде и невольном трепете руки. — Погодите на минуту, батюшка Лев Константинович! Я... Мне бы хотелось перемолвить с вами... Дело такое, как покойник мой батюшка говаривал — казусное... что истинно не знаю, с чего и начать... Ну, да уж коли на то пошло! Я, грешный человек, каюсь, хотел было вас подстрелить из этого ружья...

— Вы? Меня застрелить? — вскрикнул я, громко засмеявшись. — Помилуйте, любезный Авдей Гаврилович! Я никак не ждал бы от вас такого душегубства.

— Да, так: видно, бог сохранил и вас и меня от напасти. Три дня ждал я вас на том болоте, что, знаете...

— И могли бы три года ждать понапрасну: я туда больше не хожу...

— А вот сегодня ждал и в роще,— подхватил он.— Сижу здесь спозаранку. Да такая тоска напала, что хоть самому в воду. Смотрю: вы идете — у меня и совсем руки опустились!

— Да за что же в вас поселилась такая ненависть ко мне? Кажется, я вам худа не желал и не сделал.

— А вот видите, батюшка: вы учащаете к Сергею Тихоновичу и Пелагее Михайловне, а пуще всего, я не раз подглядывал, как вы глаз на глаз ходите по саду либо сидите в беседке с Надеждою Сергеевной...

— Только-го? — перервал я со смехом.

— А разве этого мало? — подхватил мой чудак с необыкновенным жаром, которого бы я в нем и не подозревал.— Скажу вам, батюшка, что вот уж года полтора, как я сплю и вижу, чтоб жениться на Надежде Сергеевне; и нынче только ждал Покрова, чтобы заслать сватов к ее родителям... Да на беду мою тут вы подвернулись.

— Так вы не на шутку влюблены в вашу пригожую соседку?

— Да так, батюшка, что, истинно говорю, хоть от хлеба отступиться. Ни день, ни ночь покоя не вижу: все она в глазах мерещится.

— А любит ли она вас?

— Ну, бог весть! Лишь бы согласилась идти со мною под честной венец; а там — поживется, слюбится!

— Послушайте, любезный Авдей Гаврилович! — сказал я, переменяв шуточный тон на важный.— Я вам скажу чистосердечно, что ни Надежда Сергеевна вам не невеста, ни вы ей не жених.

— А почему ж бы так?

— Потому, что она девица образованная, напитавшаяся из книг такими понятиями, которые вовсе вам незнакомы; она желает найти в будущем своем муже равного себе по воспитанию и понятиям человека, который ввел бы ее в свет и с которым ей не стыдно было показаться в свете. Положим, что ее выдали бы за вас; но она не стала бы вас любить, смотрела бы на вас косо, даже с пренебрежением; ни одной добровольной ласки вы не могли бы получить от нее... А что за ласки, которые должно брать с бою?

— Ох! Правда...

— Слушайте далее. Вы сами согласитесь, что она вас умнее. Представьте же себе, какова была бы жизнь ее и ваша, когда ни по уму, ни по привычкам, ни по воспитанию вы не могли бы сказать двух слов в лад с своей женою? Вы приходите домой с охоты: жена ваша сидит в углу и хмурится; вечером она молчит, вы также, потому что вам не о чем говорить с нею; оба вы зеваете и не знаете, куда деваться от скуки. Ваше общество ей не по нраву; ее общество, если б она могла выбрать его по своим мыслям, тоже было бы для вас тягостно: там говорили бы о таких предметах, которые вам непонятны. Словом, вы, муж и жена, были бы совершенно как чужие друг другу.

— Правда, правда, батюшка! — сказал Авдей Гаврилович с тяжелым вздохом.

— Скажу вам еще более: мне известно, что ни родители, ни родственники Надежды Сергеевны ни за что не выдали б ее за вас; об ней самой и говорить нечего: она ищет мужа по себе. Во всем этом могу вас уверить моею совестью; мне не раз случалось это слышать от них самих.

— Экая притча! Вот об этом-то я сперва и не подумал...

— Я все высказал, чтобы предостеречь вас от позднего раскаяния, — продолжал я, смотря ему прямо в глаза. — Теперь, не хотите ли? мы пойдем вместе в самую чащу этого леса — ну, словом, туда, куда почти никто не заглядывает: я стану у дерева, а вы приставьте мое ружье к моей груди или к сердцу и выстрелите... Никто не услышит выстрела, никто не увидит убийства, и если со временем отыщут мое тело, то подумают, что я сам застрелился по неосторожности.

— Что вы это, батюшка! — вскрикнул он, задрожав всем телом и уронив свое ружье; лицо его стало бледнее полотна. — Чтоб я принял такой грех на душу! И над кем? Над моим благодетелем, который вызволил меня от напрасной смерти! И из-за чего? Из сущих пустяков, из небывальщины, из-за такой невесты, которой бы мне не видать, как ушей своих! Сами же вы, отец мой, спасибо, меня надумили.

— Да ведь вы хотели же меня застрелить?

— Ну, винюсь, батюшка: попутал было лукавый; да,

видно, бог моим грехам терпит и не попустил на злое дело.

Я того только и ждал.

— Точно так, любезный Авдей Гаврилович,— сказал я моему кающемуся убийце,— грех был бы тяжкий, а пользы для вас от него не было б; не лучше ли жить нам в миру, нежели ссориться, как вы говорите, из небывальщины? Знаете ли что? Добрый мир не бывает без взаимных услуг и подарков; вы жалели недавно о своем лазариновом ружье: вот вам мое кухенрейтерское: в Петербурге знатоки ценили его очень дорого; но мне оно теперь не нужно, а продать его я не намерен; лучше подарить доброму приятелю...

— Как же это, батюшка? Да ведь ваш Семен сказывал мне, что за это ружье вам давали шестьсот рублей и вы не взяли. Воля ваша, за что мне принять такой дорогой подарок.

— Возьмите, если хотите меня одолжить. Я уж вам сказал, что не продаю его, а оно мне не нужно. В ваших руках оно лучше будет выполнять свое дело, чем у меня, вися на крючке.

Лицо моего Авдея прояснилось и ослабилось, по возможности, самою приятною улыбкой. Он принял от меня ружье и благодарил меня, как будто бог знает за какое благодеяние.

— Чем могу вам отслужить, мой милостивец, за все ваше ко мне доброжелательство?

— А вот чем: в тот день, который я назначу, соберите у себя человека три-четыре ваших приятелей, из дворян здешнего околотка, и ждите от меня вести... Я скажу, что вам делать.

— Готов за вас на жизнь и на смерть, милостивец. И как не служить вам верой и правдою? У меня бродили против вас так же шальные мысли; а вы не только не гневаетесь, да еще хотите мне добра и дарите меня таким дорогим ружьем, какого мне и во сне не снилось!

Мы расстались. Я пошел к Бедринцовым, а он, обременясь двойною ношей, пустился бродить по лугам и болотам.

Я позабыл тебе сказать, что, кроме родителей моей невесты, все в доме меня полюбили: старый учитель музыки, виртембергец, и гувернантка Надежды, швейцарка из Лозанны, сорокалетняя щеголиха и гово-

рунья,— от меня без памяти. С первым говорю я о берегах Некара, о Штутгарте и его Anlage \*, о Гейслингенской долине; с другою — о прелестях Швейцарии, о Женевском озере, о Лозанне и ее окрестностях. Местные сведения и знакомства помогают мне в этом случае так, что я каждого из моих чужеземных собеседников переношу воображением на его родину.

Приязнь ко мне madame Frèdon (имя швейцарки) и ее откровенность — а может быть, и просто болтливость — до того простираются, что она, без всяких с моей стороны расспросов, часто пересказывает мне все, что делалось и говорилось в моем отсутствии. Таким образом она мне открыла, между разговорами, когда Надежды не было с нами, что отец и мать моей невесты во время какого-то молебна в их доме уже говорили с священником о близкой свадьбе их дочери и наименовали меня будущим своим зятем. Это подало мне мысль сыграть шутку с ними и с хлопотливою моею тетушкой. Я молчал, как будто ничего не зная; отстранял всякие намеки о формальном сватовстве, ходил и ездил в дом Бедринцовых запросто, но все еще не в качестве записного жениха. Такие поступки мои приводили в крайнее недоумение стариков Бедринцовых и всю родню их и мою. Что касается до Надежды, она, кажется, всего ожидала от времени и от власти, которую видимо приобретала в моем сердце и которая не могла утаиться от взоров сметливой девушки.

Настал день ее именин (17 сентября). Нас позвали к Бедринцовым на семейный обед. Здесь мы застали почти всю их родню, но никого из посторонних. Казалось, все к чему-то готовилось. После обеда я завел какой-то незначительный разговор с Надеждой; нас, как нарочно, все оставили вдвоем. Когда заблаговестили к вечерне, я сказал Надежде:

— Сегодня ваши именины, и на вас никто не может сердиться, чтобы круглый год вам не видеть никакого огорчения. Согласитесь на одну шутку, которою, верно, родные ваши не будут недовольны. Делайте только безоговорочно то, чему я буду подавать пример.

Она усмехнулась и в знак согласия подала мне руку. Мы пошли вместе в ту комнату, где сидели ее и мои родные. Я подвел Надежду к ее бабушке и с шутливой

---

\* Расположение (нем.).



важностью просил ее благословить нас на брак. Надежда смешалась; старушка удивилась, однако же благословила нас. То же самое и таким же тоном повторил я, подводя по порядку невесту мою к ее родителям и к моим дяде и тетке, которых просил заступить для меня место отца и матери. Отказа ни от кого не было, но все удивлялись, поглядывая на нас отчасти недоверчиво, а Надежда изменялась в лице и дрожала. После сего обряда я сказал Надежде:

— Теперь мы можем идти — прогуляться, — накинул на нее шаль, подал ей руку и повел ее в сад.

Никто за нами не следовал, ибо такие наши одинокие прогулки были не в диковинку. Я отпер наружную садовую калитку и повел мою спутницу по селению мимо церкви.

— Зайдем в церковь и отслушаем вечерню, — сказал я Надежде.

Она безмолвно согласилась, но рука ее дрожала в моей. В церкви нашел я четырех приятелей моего болотного мужичка, с утра мною предуведомленного; но сам он не явился. Я оставил трепетную девушку, начинавшую нечто подозревать, среди церкви, а сам отправился в алтарь. Там всею силою логики, риторики и других вспомогательных средств убедил я священника, знавшего, впрочем, что намерение мое не было противно родителям Надежды. Погодя немного дьячок вызвал поодиночке четырех дворянчиков — и все было готово. Вечерня между тем кончилась. Я подошел к Надежде и объявил ей, что нам теперь же должно обвенчаться, чтоб избавить родителей ее от лишних хлопот, а меня от докучных обязанностей. Сначала она было вспыхнула; но прочитав в глазах моих твердое намерение, чувствуя странность своего положения, боясь неприятной огласки и, может быть, разрыва со мною, — согласилась исполнить мое желание. Мы стали перед наломом. Двое из помянутых мною дворянчиков держали над нами венцы. Невеста моя дрожала, как листок розы, и плакала. Обряд кончился. Я поцеловал мою супругу, поблагодарил священника и свидетелей и повел Надежду в дом ее отца. Нас ждали там с какою-то подозрительною нетерпеливостью. Вошед в комнаты, мы бросились в ноги ее отцу, матери и бабушке. Все собрание откликнулось единогласным: «Ах, боже мой!» Но тут я начал ораторствовать, увлек

моим красноречием всю родню и торжественно, как Цицерон, сошел с низменной моей трибуны. Нас снова благословили, мы снова поцеловались — и родствен- ный пир зашумел!

Вот уже две недели, как я живу в доме моего тестя. В жене моей каждый день нахожу новые приманки, новые совершенства; и если это продолжится целый год, то надеюсь обогатить русский словарь такими именами достоинств прекрасной и милой женщины, что, верно, получу медаль за услуги, оказанные отече- ственному слову.

Твой верный друг и пр.

Нечаянно попались мне сии два письма Льва Кон- стантинovichа... фамилии не знаю, ибо под обоими было подписано просто: Léon. Я не старался в них исправлять слога, отчасти небрежного, ни заменять русским переводом французских вставок, коими они испещрены. Подобной переписки наших светских мо- лодых людей, пишущих нередко так, как они говорят, то есть по-русски пополам с французским, мог бы я набрать целые сто томов. Не знаю и не ручаюсь, было ли бы чтение сей переписки приятно или полез- но. Эти два письма издаю в свет потому, что они заключают в себе если не занимательное, то по край- ней мере, полное происшествие.

## МАТУШКА И СЫНОК

*Повесть*

...В ребенке будет прок!

*Хмельницкий*

Лет за тридцать тому, в деревне, вдали от губернского города и почти за две тысячи верст от столицы, родился Валерий Терентьевич Вышегладов. Родитель его был совестный судья, который в свое время бессо- вестно грабил правого и виноватого и наконец таким (хотя и не вовсе невинным) ремеслом скопил себе, как обыкновенно говорят эти господа, *популярный капита- лец тысяч до десятка*. Супруга его Маргарита Савишина была дочь Саввы Сидорыча Пудовесина, который из

подрядчиков по торговой прогрессии дошел до звания именитого гражданина. И как еще в качестве подрядчика был он принят (чем всегда хвалился) в лучших домах, у графов и князей, и даже нередко вхаживал к ним в гостиные, хотя и никогда там не сиживал — то имел случай ко всему приглядеться, или, говоря собственным его выражением, *понаторел*. Поэтому-то старался он дать своей дочери самое лучшее воспитание, т. е. как он понимал сию статью — позволяем себе другое выражение из торгового словаря г-на Пудовесина. Маргарита Савишна пробыла года три в пансионе у немки Мадамы и дошла до такого совершенства, что говорила без запинки *мон-кибр*, *ма-шер* и *се сюперб* по-французски, наигрывала на фортепиано «Войди в чертог ко мне златой» и «Желанья наши совершились». Но высшею степенью своего образования была она обязана собственно себе и достигла оной тем, что читала без исключения все романы и повести, которыми матушка Москва уже около полустолетия снабжает самые отдаленные уголки Российской империи. Многие из жителей столицы, может быть, не знают, каким образом в дальних провинциях нашего отечества производится продовольствие сими умственными потребностями; таким имею честь донести, что в осеннюю и зимнюю пору заезжают к областным нашим помещикам разносчики с книгами, эстампами московской гравировки (носящими у них бессменно название картин), дурною помадой, мылом и шоколадом, который на вкус ничем не лучше мыла, одним словом, со всякими мелочами и безделками... Разумеется, последнее сказал я не о книгах: ибо иную из них и прочесть не безделка. Помещик велит подать себе реестр, в коем нечеткою рукою весьма неисправно написаны заглавия книг\*; потом приказывает выпустить разносчика в переднюю —

И книжного ума брадатый продавец

вносит подюжины лубочных коробов с печатным и прочим товаром. Помещик отбирает «Повесть о двух

---

\* Например, «Повести Михайлы Садратьева», вместо Сервантеса; это мне самому случалось находить в сих реестрах.— Соч.

турках», похождения маркиза Г \*\*\* , Соведрала, Ваньки Каина, «Полночный колокол», «Пещеру смерти»; романы и повести Коцебу и пр. и пр.; к этому иногда присовокупляет он Наставления о пчеловодстве, Конский лечебник, Повариху постную, иногда даже «Твердость духа», «Храм славы», «Путешествие в Малороссию», «Гамлета», пересозданного г-м Висковатовым,— словом, всякую рухлядь, завалывшуюся в московских книжных лавках и проданную коробами кочевому книгопродавцу. Тут начинается торг. Разносчик, как почти всегда водится, человек неграмотный, призывает письменного своего мальца и заставляет его прокрикивать звание и цену книг по реестру тем же звонким, резким и однозвучным голосом, каким он в свободное время читает Бову Королевича и Еруслана Лазаревича. Помещик сбавляет цену, разносчик дорожится; наконец стакан водки делает его уступчивее — и торг заключается. Нередко помещик покупает весь печатный товар коробами, не заботясь о том, что в каждом из них положено по пяти или шести экземпляров одной книги \*: он тем не менее расставляет их по полкам, подбирая, подобно Богатонову, большие к большим, а малые к малым.

Простите меня, милостивые государи, за длинное отступление: я хотел вам доказать, что и деревенские наши господа и госпожи не вовсе лишены благотворных лучей книжного света, хотя оные и доходят к ним сквозь тусклую призму затасканных переплетов московского издателя.

Однако я клянусь моим Пермесским богом,  
Что буду продолжать обыкновенным слогом;  
Итак, дослушайте ж...

Маргарита Савишна читала без изъятия все романы и повести, переведенные или сочиненные на Руси долготерпеливой. Это давало г-же Вышеглядовой некоторый род преимущества между всеми соседними барынями, которые единогласно признавали ее самую ум-

---

\* Это истина. Я сам слышал от одного такого разносчика в Малороссии о подобном торге, заключенном им с одним деревенским ланом, который купил у него семь коробов с книгами, не заглядывая в них и не читав реестра.— Соч.

ною и ученою дамой, хотя и не любили ее за надменный и жеманный тон, с каковым она их принимала, хотя и не понимали высокопарного разговора, коим она их потчевала. В молодых ее летах круг действий в деревенском околотке показался ей слишком ограниченным; даже уездный, даже губернский город все еще были тесны для ее растучневшего самолюбия. И как она приобрела некоторую силу ума над супругом своим, Терентием Ивановичем,—

Du droit qu'un esprit vaste et ferme en ses desseins  
A sur l'esprit grossier des vulgaires humains \*—

ибо сам Терентий Иванович называл ее умницею и твердо помнил, что она принесла за собой в приданое сто тысяч наличными, то однажды она уговорила его ехать в Москву. «Славны бубны за горами! — твердила она своим знакомым, возвратясь оттуда.— В Москве только и дела, что скачут да наряжаются; не с кем отвести душу, поговорить об ученых материях». Так она думала или так говорила о Москве в отместку за то, что ее сочли там смешною и странною провинциалкой.

Благополучный союз Терентия Ивановича с Маргаритою Савишной был наконец благословлен рождением сына, которому романическая маменька велела дать романическое имя Валерия, хотя батюшка и желал окрестить его по дедушке Иваном. Сельский дьячок, латинист, поэт и школьный учитель, воспел его рождение одою, которая ничем не была толковитее «Оды в громко-нежно-нелепо-новом вкусе», ибо в ней горы плясали, как говяда, и круглолицый месяц, уставя тускло-светлый зрак, с улыбкою любовной глядел на первенца Маргариты Савишны. Но как ода сия оканчивалась замысловатою игрою слов на латинском языке: «Vale, Valeri» \*\*, с приличным истолкованием, и подписана была: «Грешный пиит и богомolec Евсей Вакулов», то грешному пииту и богомольцу выдано было из казны Терентия Ивановича полтина медью да из барской его житницы куль ржаной и две мерки пшенич-

---

\* То право, кое ум при твердости своей,

Над слабомыслием берет простых людей (фр.; пер. П. С. Потемкина, опубл. в 1798 г.).

\*\* Будь здоров, Валерий (латин.).

ной муки — щедрость, истинно меценатская и дотолеслышанная в селе Закурихине!

Валерий Терентьевич рос до осьми лет, как деревце, или просто сказать, как избалованный сыночек сельского помещика. Временем, а особливо в зимние вечера, когда нельзя было бегать по двору и поддирать воробьиные гнезда, матушка сажала его подле себя и рассказывала ему волшебные сказки из «Тысячи и одной ночи». Это заохотило Валерия Терентьевича самого читать книги, а чтобы читать, надобно учиться. И так, благословясь, на девятом году посадили его за грамоту. Дьячок-пиит, с указкою в руке, проходил с ним букварь; Маргарита Савишна часто сама на досуге прослушивала уроки — и в полгода ребенок научился читать по складам и по верхам. Курс его учения казался батюшке весьма полным, но матушке — женщине с высшими взглядами, по-тогдашнему — очень недостаточным; и она, не смея по родительской любви требовать, чтоб отослать сына по крайней мере в народное училище, сильно настояла на том, чтобы принять в дом учителя-француза, который бы показывал ребенку французский язык, танцевание, рисование — словом, все, что входило в объем собственных ее понятий. Но Терентий Иванович упрямился. «И, матушка! — говаривал он. — К чему набивать ребенку голову лишними затеями? да и как его поручить иноземному сорванцу? Ты сама у меня умница-разумница; у кого ж сыну и набраться ума и ученья, коли не у тебя!» Таковою тонкою лестью Терентий Иванович всегда достигал своей цели. Родительская любовь согласовалась в нем с хозяйственными расчетами: не обременить голову ребенка было на языке его в некотором смысле перевод тайного голоса его сердца: не опорожнить своего кошелька. Переупрямить его в сем случае было трудно, и Маргарита Савишна решилась последовать благородному назначению, о котором намекал ей супруг: быть самой воспитательницей своего сына, образовать юный ум его и сердце.

Милостивые государи, милостивые государыни! вы, конечно, читали в романах, в романах чувствительных, какое райское наслаждение для матери внушать первые впечатления, вдыхать первые понятия в душу ее питомца-сына. Вообразите же, что и Маргарита Савишна все это читала, что и она все это чувствовала, когда

сажала своего Валеньку за «Тысячу и одну ночь» или за «Влюбленного Роланда». Как трепетало от радости материнское сердце ее, когда ребенок, с пламенеющим лицом, с жадным взором, взвизгивал чудесные приключения людей, превращенных в рыб, или невероятные побоища храбрых витязей с великанами и чародеями! Как воздымалась полная грудь ее (которую персидский поэт не напрасно уподобил бы двум холмам, подпирающим небо), когда вечером Валенька, вооружась деревянным мечом Смертодавом, сбивал в саду маковые головки или пробивал насквозь копьем — деревянным же — большие цветы подсолнечника, воображая их себе щитами заколдованных великанов! Когда изо всех сих подвигов выходил он здоров и невредим, благодаря очарованной броне, т. е. фуфайке, сшитой верными руками его нянюшки! О! эти первые наслаждения матери, предвкушение будущей ее гордости своим сыном, будущим героем, знаменитым министром, дипломатом, ученым, поэтом и пр. и пр. ... эти наслаждения ни с чем сравниться не могут!

Правда, и Валенька подавал о себе самые лестные надежды. В десять лет он читал почти без запинки, а в одиннадцать уже прочел все томы «Тысячи и одной ночи», всего «Влюбленного Роланда» и даже старинную «Историю о разорении Трои, столичного града Фригийского царства». Мало того: он даже рассуждал о прочитанном. Иногда находил он в голове своей некоторые сомнения о некоторых необыкновенных происшествиях, как, например, о людях, превращенных в рыб и жарившихся на сковороде, которая, как он судил по сравнению с поваренною посудой батюшкиной кухни, все же не могла быть более аршина в поперечнике; или об ужасных ударах, от которых распадалась целая каменная гора, а не распадалась голова Роландова. Иногда же, сам стыдясь своей тупости, не понимал он конского достоинства, в которое жаловал древних витязей славяно-русский переводчик «Истории о разорении Трои». Но пылкое воображение юного чтеца чаще всего сглаживало шероховатую тропу сомнений или перескакивало через границы непонятного и несло Валерия на крыльях своих в очаровательный мир мечтаний.

Детский возраст не остается при одних мечтах: он требует действительности или, по крайней мере, дея-

тельности. То же самое пылкое воображение олицетворяло и воплощало для Валерия все чудеса, созданные сказочниками арабскими и поэтами итальянскими. Ноги одиннадцатилетнего кандидата в рыцари были его Ипогрифом и носили его за облака, если позволят так назвать соломенный навес, служивший вместо сушильни. Оттуда глаза его обозревали неизмеримую даль — до самых крайних пределов огорода, в котором сушильня была поставлена. Мы уже видели, как победоносно юный витязь наш ратовал с маковыми головами Аграмантов, Сакрипантов и других неверных богатырей и с заколдованными щитами подручников их, зловных исполинов-подсолнечников.

Но детский возраст не вечен. Наступала для Валерия другая пора, пора юности пылкой, мечтательной, полной страстями. Батюшка его между тем слабел телом, но не духом, ибо все еще копил деньги и не давал их слишком тратить даже своей супруге... Даже своей супруге! легко сказать. Это она чувствовала и притом помнила, что большая часть имения принадлежит ей; что она вправе располагать, по крайней мере, наличными суммами по своей воле; что время ее Валеньки улетает; что ему пора узнать иностранные языки, пора учиться словесности и всему прочему; чувствовала, помнила — и поставила на своем, т. е. переупрямила своего сожителя. Терентий Иванович, скрепя сердце, должен был выписать из Москвы гувернера-француза и дядьку-немца (сии тонкие различия были предписаны Маргаритою Савишной), а сверх того ехать в губернский город и приискать там учителя-семинариста, который бы обучил Валеньку всем возможным наукам. В ожидании прибытия француза и немца, которых уже одни путевые издержки пугали деньголюбивое воображение Терентия Ивановича, сей последний утешался, по крайней мере, тем, что за самую сходную цену нашел желанного семинариста и привез его с собою на облучке. Семинарист, в долгополом китайчатом сюртуке, с бурым — некогда черным — платком на шее, явился пред ясные очи Маргариты Савишны для предварительного испытания в науках, которые он должен был преподавать Валеньке и в которых Маргарита Савишна считалась и сама себя считала весьма сведущею.

— Ты учился, дружок? — был первый вопрос ее,



после низкого поклона и краткой приветственной речи вежливого семинариста.

— Учился, премногомилостивая государыня! — отвечал он с новым поклоном:

— Чему же учился ты?

— Всему, от Инфимы и Синтаксимы до Богословия.

— А! хорошо! знаю. Поэтому тебе должны быть известны: зоология, филология, антропология, космология, хронология, этимология, орнитология, патология, метеорология, идеология, минералогия и мифология?

Семинарист отвечал только поклоном.

— Также астрономия, биномия, агрономия, анатомия, метрономия и политическая экономия?

Ни слова, и поклон.

— А логика, физика, геральдика, грамматика, гидравлика, тактика, пиитика, ботаника, материя-медика, риторика, этика и арифметика?

Молчание, и новый поклон.

— География, стенография, орфография, гидрография, каллиграфия и хорография?

Тоже молчание, и еще поклон.

Маргарита Савишна приостановилась, между тем как Терентий Иванович восхищался столь разнообразными знаниями своей супруги. Молчание — знак согласия, слышала она; следовательно, семинарист соглашался, что знал все вычисленные ею науки (которых название — скажем в скобках — выписывала она в свободные минуты на особых листках из лексикона и других книг и затверживала наизусть для своего ученого обихода). Однако же сомнение — сей заклятый враг великодушного убеждения, как говаривал новый наш знакомец, семинарист — злобное сомнение колебало дух Маргариты Савишны.

— Так ты знаешь все эти науки, голубчик? — покусывая губы, спросила она опять семинариста, который прямо смотрел ей в глаза.

— Знаю кое-что по силе возможности, многомилостивая государыня; но ваше благоутробие изволили наименовать многие такие науки, которые не преподаются в семинариях.

— Как не преподаются? куда же годятся ваши семинарии? Чему же вас там учат? Поэтому ты очень мало знаешь?

Студент был, как говорится, малый не промах; его недаром товарищи прозвали медным лбом. Он усталив большие свои глаза свинцового цвета на Маргариту Савишну, поклонился ей пренизко и отвечал:

— Милостивая и премногомилостивая государыня! поелику мудрейший из человекoв, *divinus ille Socrates* \*, говаривал: «Я только то знаю, что ничего не знаю», то мне ли, малейшему в братии моей и последнейшему в доме отца моего, похваляться знаниями, которыми Бог сподобил просветить слабое мое разумение? И пред кем? пред ученейшею и разумнейшею из жен благородных! пред оною, что превосходит лепотою Юдифь и Вирсавию, целомудрием Сусанну и дочерей Лотовых, мудростию же Эсфирь и царицу Савскую! Мне ли, смиренному, возвысить глас мой там, где сама олицетворенная мудрость председатель в лице вашем? О! да мимо идет сей фиал гордыни и самонадеяния! Я же, уничиженно припадая к стопам вашего благоутробия, взываю: пред вами я безгласен, аки рыба, и глуп, аки пень древесный!

Сей поток красноречия, сия похвальная скромность, разведенная сахарною сытою лести, весьма понравилась Маргарите Савишне. Она улыбнулась весьма благосклонно и, потупя взор свой с самодовольною ужимкой, сказала: «Знаю я вас, господа ученые! Все вы говорите, будто запас сведений ваших скуден; а дойдет до дела, так откуда что возмется: и ученость, и отборные слова польются рекою».

Студент поклонился с таким видом, который ясно говорил: ты не ошиблась; и обе состязавшиеся стороны расстались гораздо довольнее друг другом, нежели сначала были. Всех же довольнее был Терентий Иванович, который дешево отделался в полном смысле сего выражения: и успел угодить своей супруге, и не слишком истратился.

Круг познаний Валерия Терентьевича Вышеглядова на 14-м году его возраста весьма распространился; ему преподавали: грамматику, арифметику, пиитику Аполлоса, логику Баумейстера. Наконец приехали из Москвы француз, молодой и развязный щеголь, бывший камердинером у камердинера какого-то вельможи, и немец, отставленный по болезни в ногах и еще другой

---

\* Божественный тот Сократ (латин.).

непоименованной слабости берейтор и паяццо труппы скаунов на лошадях и плясунов на канате. Первый выдал себя за воспитанника Парижской академии наук и предъявил диплом, написанный на большом листе с чудно разрисованными и раскрашенными каймами и диковинною печатью. Диплом сей, заключавший в себе самые лестные засвидетельствования ума, учености и редких дарований, скреплен был весьма многими подписями славнейших академиков; и какой-нибудь привязчивый хронолог, судя по летам г-на Тирботта (так назывался француз), нашел бы явные анахронизмы в сих подписях; ибо тут были имена Вольтера, Дидрота, д'Аламбера, Мопертюи, Шамфора, Лагарпа и пр. и пр.— словом, почти всех энциклопедистов и других отживших знаменитостей XVIII века. Другой учитель, т. е. немец, сказал о себе просто, что он доктор всех наук и всех германских университетов; но что оставил все свои дипломы в Москве, ибо их столько набралось и они так огромны и тяжеловесны, что для них надобно было бы нанимать особую подводку. Поверив одному, помещики села Закурихина не видели никакой причины не верить на слово и другому; особливо Терентий Иванович скорее всех убедился доказательствами немца и еще благодарил его за столь благоразумную расчетливость, смекнув, что наем лишней подводки поставлен был бы на счет его же, Терентия Ивановича, и, следовательно, ввел бы его в новый убыток. А что прибыли в этих размалеванных дипломах? Немец был как немец и, конечно, говорил на своем языке без запинки; иного и не требовал от него Терентий Иванович. Притом же нахмуренный вид, беззубый рот, удушливый кашель и брюзгливая, отчасти похожая на кривлянье усмешка Адама Адамовича Гросшпрингена заявляли глубокий ум его, а огромный, рыжий его парик ясно показывал, что под ним-то гнездилась вся ученость. Оба сии профессора (они не величали себя иначе) учили Валерия почти так, как учат попугаев, и хвалились легкостью своей методы преподавания; за книги они редко принимались, сберегая их, по выражению Грибоедова, *для больших okazji*.

Юный их питомец с жадностию пожирал первенцы плодов учения: лепетал по-французски, сбиваясь отчасти на гасконское произношение, и твердо, резким

голосом выкрикивал слова на так называемом *платгейч*; ездил верхом и прыгал какие-то затейливые па под руководством Адама Адамовича, кланялся и шаркал весьма *грациозно* в подражание мосье Тирботту. Русское ученье не так легко давалось ему: во-первых, потому, что и науки казались ему несколько скучными, а во-вторых, что и сам его учитель, семинарист, гораздо охотнее сиживал за обеденным столом, нежели за учебным.

В осьмнадцать лет Валерий Терентьевич слыл уже самым благовоспитанным, самым ученым и самым ловким молодым человеком во всем околотке села Закурйхина. Француз, немец и семинарист уже были отпущены из дома г-д Вышеглядовых с одобрительными свидетельствами и с приличным награждением, к немалому прискорбию Терентия Ивановича. Матушка начала вывозить Валерия с собою в гости к ближним и дальним соседям, чтобы, как говорила она, ввести его в свет. Случались ли у кого-нибудь из достаточных помещиков их округа именины, храмовой праздник или другое какое собрание,— Маргарита Савишна, разряженная в пух, являлась там с сынком своим и говорила с ним не иначе как по-французски, поглядывая вокруг себя с гордым и самодовольным видом. «M. Valère, dites au cocher qu'il donne la carosse; — M. Valère, demandez à Яшка mon salope; — M. Valère, ne vous refroidissez pas en dansant» \*, сии и подобные фразы поминутно спархивали у нее с языка и удивляли сельских дворян отличною образованностью матушки и сына, которые, по общему сознанию, «за французским языком в карман не ходили».

Пора юности пылкой, мечтательной, полной страстями, предсказанная нами за несколько страниц пред сим, теперь уже наступила для Валерия Терентьевича Вышегорова. Воспитанный на романах, выученный всему, как птица певчая по серинетке, Валерий сам во глубине души соглашался с теми из своих соседей, которые видели в нем осьмое чудо света; но он был скромн, вежливо кланялся, усердно целовал ручки

---

\* Господин Валерий, скажите кучеру, чтобы он подавал карету; — Господин Валерий, спросите у <Яшки> мой салоп; — Господин Валерий, не простудитесь, танцую (фр.).

дамам, отвечал всем и каждому *да-с* и *нет-с*, — словом, ни в чем не похож был на Евгения Онегина, за что, без сомнения, добропорядочные наши журналисты похвалят моего Валерия Вышеглядова. Следствием такого поведения было то, что все любили его столько же, сколько не жаловали пышной и надменной его матушки. Первое в жизни горе поразило его около этого времени; родитель его, Терентий Иванович, день ото дня становившийся более хилым и немощным, наконец, вопреки злоречивой отметке эпиграмматиста, *горизонтально кончил век*, т. е. умер своею смертью, как говорит наш добрый народ о тех, которые не погибли от руки палача, от ножа разбойничьего или от когтей медведя и других подобных *казусов*. Валерий Терентьевич в глубокой печали, о которой свидетельствовал черный его фрак с широкими плёрёзами чуть ли не по всем швам, поникнув головою, шел за гробом своего батюшки и плакал горькими слезами в назидание всех, видевших его во время погребальной процессии. Матушка его, соблюдая приличия, свойственные особам высшего звания, к коим причисляла она себя, скрыла свою горечь в уединении внутренних комнат; однако же, как женщина с твердым духом и удивительною способностью соображения, испросила себе законным порядком право опеки над имением своего сына до совершеннолетия сего последнего.

Год траура мать и сын провели в строгих правилах наружной скорби, сей установленной приличиями вывески скорби внутренней (хотя, как и все другие вывески, она не всегда может служить надежною порукой в неподдельности того, что ею возвещается). Во весь этот год Маргарита Савишна никуда не выезжала, никого не принимала; она и Валерий почти непрерывно читали вдвоем, читали романы, которых выписали они из Москвы огромный запас, основываясь в выборе заглавий на одобрительных свидетельствах объявлений, помещаемых в прибавлениях к Московским Ведомостям и составляемых сметливыми издателями-книгопродавцами. Объявления сии хотя не служат доказательством грамотности своих сочинителей, но взамен того сколько пышных, заученных похвал, сколько восклицаний, сколько точек они в себе заключают! Маргарита Савишна и Валерий всегда с жадностию их пробежали, увлекались высказанными в них достоинствами

новых произведений московской книжной промышленности — и почта за почтой отправляли в Москву деньги, с тех пор как Терентий Иванович успокоился в гробе, и некому стало ворчать и жаловаться на лишние и бесполезные издержки.

Чтение сих книг действовало совершенно различно на мать и сына. Маргарита Савишна страстно любила разбойничьи замки, блеск кинжалов, похищение несчастных героинь и тайные заговоры душегубцев под окнами невинной жертвы, обреченной на убиение и заключенной в тесной комнате восточной либо западной башни. Словом, воображение Маргариты Савишны, женщины с сильным характером и крепкими нервами, услаждалось только романическою кровью, дышало атмосферою темниц, питалось запахом убийств; она, так сказать, жила ужасами. Напротив того, Валерий Терентьевич, юноша мягкосердечный, пленялся исключительно романами чувствительными, симпатией двух нежных сердец, бедствиями юных любовников, разрозненных судьбою и несправедливостию людей.

Откройся мне, о милый сын природы!  
Что сладкое твой окропило взор? —

мог бы спросить у него сочувствующий ему сентиментальный поэт или путешественник, увидя на глазах его слезы, слезы чувства живого и доброго, исторгнутые чтением жалостных приключений, коими заунывные наши Стерно-Вертеры долго и безжалостно терзали тоскливые сердца своих читателей.

Это различие во вкусах матери и сына наложило печать свою на самые их поступки, и даже на семейственные их отношения друг к другу. Маргарита Савишна во всем изъявляла твердую волю, решительность и некоторое величавое упорство; Валерий Терентьевич, напротив, считал себя существом чисто страдательным, покорнейшим слугою обстоятельств и чужой воли. Диво ли, что мать совершенно овладела им? и если от этой противоположности понятий и целей не происходило у них до сей поры домашних несогласий, то причиною тому было убеждение Валерия Терентьевича, что он создан для того, чтобы страдать, чтобы люди и введенный ими порядок враждовали с ним и подчиняли его своему игу; словом, что он

несчастный, нелюбимый сын природы и родился для меланхолии, безответной грусти и слез.

Таким образом, когда по совершении Валерию девятнадцати лет матушка объявила ему, что он должен путешествовать, и по крайней мере года четыре,— он беспрекословно уложил в чемоданы белье, платье и книги свои, сел в коляску с старым камердинером отца своего Трофимом Чучиным и отправился куда глаза глядят. Нужно прибавить, что Трофим Чучин, произведенный Маргаритою Савишною в походные менторы ее сына, был старик себе на уме, особливо же в высшей степени одарен был общею почти способностью русских слуг: подсматривать и подслушивать, что делают господа их. Кроме того, он был расторопен, скромен, усерден (в особенности к барыне, которую всегда и все признавали главою дома) и верен — когда дело не доходило до денег. Он принял от Маргариты Савишны некоторые тайные наставления и шкатулку с предписанием: выдавать из нее Валерию Терентьевичу по его требованию, но не более полусотни червонцев разом, и вести путевые и прочие расходы. В заключение всего ему было обещано, что если он благополучно совершит путешествие с молодым своим барином и представит его обратно подобру-поздорову, то будет награжден по заслугам и даже получит отпускную на волю. Сколько причин для сметливого старика служить и прямить Маргарите Савишне, и какое обширное поле для его небескорыстной расчетливости!

Из одного уездного города той же губернии, в которой Маргарита Савишна *пребывала здраво* (говоря поэтическим языком Тредьяковского), получила она от сына своего письмо следующего содержания:

«Дражайшая родительница!

Милостивая государыня, матушка Маргарита Савишна!

Еще я странствую под отечественным небом, в нежных объятиях сладостного воздуха родины, хотя и совершил уже значительный переезд, а именно почти шестьдесят верст от колыбели лучших дней моей жизни и свидетеля первых моих восторгов, села Закурихина. Благословляю сей мирный приют моего детства

и посвящаю ему от сердца капли благородных слез!.. Оставляю на минуту перо... Сердце мое сжалось: какая-то мрачная тоска завивается в нем... и письмо сие, омытое моими слезами... Но поглосну в себе сие чувство безотрадной грусти и стану продолжать далее.

Мы выехали из Закурихина под благоприятнейшими предвестиями: солнце текло по небесному пути своему, птички пели по рощам, бабочки порхали по лугам. Дорогою встречались нам *интересные* крестьянки в изорванных сарафанах, как толпа *фараонитов*, с граблями на плечах и с громкими звуками *национальных* песен, сладостных в своей дикости... Природа неизмеримо глубокая и вечно юная! благоговею пред тобою!..

Вечером мы приехали в городок \*\*\* — не хочу называть его по имени, чтобы доставить будущим моим читателям удовольствие догадываться. Жалостная группа бедных ребятишек окружила нашу коляску и с криком просила подаяния. Осушив платком слезу душевного участия, выкатившуюся из глаз моих, я вынул кошелек и роздал им все мелкое серебро, которое имел при себе.

Добрый верный мой Сысоевич Чучин сообщил мне благую мысль, с которою я тогда же согласился. Он сказал мне, что, прежде нежели я увижу страны далекие, чуждые, мне должно покороче познакомиться с моим отечеством. Мысль превосходная! Добрый, добрый Сысоевич! будь по совету твоему! — Россия! отечество! тебе первый вздох благодарного сыновнего сердца!.. Хочу проникнуть в самые тончайшие *фибры*, бьющиеся в груди твоей, и остаюсь в городке \*\*\* по крайней мере на две недели.

Не беспокойтесь же обо мне: еще меня лелеет атмосфера родины. Посылаю вам вздох и слезу прощания.

Ваш всепокорнейший слуга и сын,  
*Валерий Вышеглядов*»

Вместе с сим письмом Маргарита Савишна получила донесение Ментора Сысоевича Чучина, который уведомлял госпожу свою весьма подробно и поименно о городе, улице и доме, где путешественники наши остановились, и заключил отчет свой сею успокоительною фразой: «При его благородии Валерии Терентье-



виче, а так равно при экипаже и поклаже все обстоит благополучно».

Прямодушный повествователь приключений Валерия Терентьевича Вышеглядова и дядьки его, Трофима Чучина, я не скрою от читателей моих истинной причины, внушившей сему последнему ту патриотическую мысль, которую сообщил он юному своему Телемаку. Сысоевич, как выше сказано, одарен был редкою сметливостию, особливо в тех случаях, которые могли наполнить деньгами карманы его поношенного сюртука, сшитого из синего домашнего сукна. Он тотчас смекнул, что за границею, по незнанию чужеземных языков, должен он будет поневоле передать все денежные сделки в руки своего барина; притом же, что выторгуешь в Немечине (так называл он все чужие края)? Он слышал, что там не торгуются, не то что у нас, особливо в уездных городках. Следствием этого умного соображения было твердое намерение удержать сколько можно долее господина своего в Русском царстве, и лучше всего на родине, т. е. в той губернии, где он родился, и в соседних с нею. Там нравы жителей и цены припасов были совершенно известны Сысоевичу; там мог он торговаться вволю и, по словам его, *зашибить копейку*. Но Сысоевич знал, что хотя он и облечен был в почетное звание барского дядьки, однако же не мог действовать самовластно; знал также, с которой стороны можно было подъехать к молодому его господину — со стороны чувства, истинного или ложного все равно, лишь бы тут была тень чувства. Еще на первом переезде Сысоевич, сидя в коляске подле Валерия Терентьевича, повел речь стороною, что Лукерья Минишна, нянька Валериева, горевала об отъезде своего вскормленника, а пуще всего о том, что он ехал к нехристам, не наглядевшись прежде света божьего на святой Руси, между православными. К этому Сысоевич прибавил и свое замечание, вставленное как бы невзначай, что русскому дворянину гораздо нужнее и полезнее знать свой родимый край, нежели то, что делается у немцев и французов. Каковы ни были тайные побуждения Трофима Чучина, но мы должны сознаться, что мысль его в основании своем была справедлива. Сила его логики убедила Валерия Терентьевича, и доказательством сего убеждения служит предположенное им двухнедельное пребывание

в уездном городке, которого имя скрыл он с столь замысловатою целью в письме к своей матери.

Сысоевич того только и ждал. Едва въехали они в город, как сей неутомимый человек выскочил из коляски и пустился из двора во двор по ветхим домикам, стоявшим почти у самого въезда в непоказный городок. Вы легко отгадаете, зачем он пустился; а если нет, то, по обязанности верного историка, я скажу вам, что Трофим Чучин хотел отыскать в обывательских домишках квартиру поуютнее и подешевле. Это удалось ему вполне. Он нанял за самую сходную цену две отдельные комнатки в доме вдовы дьяконицы и просвирни. Поклажа была мигом выгружена, коляска подкачена под соломенный навес, и Телемак-Валерий с Ментором Сысоевичем водворились в новом своем жилище.

Увы! расчетливый и благоразумный ментор не предвидел, что жилище сие будет истинным островом Калипсы для юного спутника его! У просвирни была дочь Малаша, девушка лет шестнадцати, стройненькая, смазливенькая, белокуренькая резвушка, с личиком полным, белым и румяным, как свежий персик, манящий жадные взоры лакомого зрителя. Малаша жила с матерью своею через сени от комнат Валериевых. Молодые люди встретились впервые в сенях, поклонились друг другу, стыдливо усмехнулись, покраснели — и сердца их сильно забились; а от чего? сами они не могли понять. Окна Валериевой спальни были прямо в огород просвирнин. Малаша поминутно туда выпархивала с легкостью птички то сорвать петрушки, то прополоть гряду с капустой, то полить любимые свои цветочки. Валерий безотходно сидел у окна. Глаза их всякий раз невольно встречались — и опять он и она усмехались стыдливо, и опять краснели, и опять сердца их бились, как будто хотели выскочить. Что это? любовь? — Да, любовь: первая любовь двух юных сердец, о которой Валерий так много начинался.

Наконец Валерий не мог более сносить полноты своего сердца. Ему становилось душно, голова его горела, глаза покрывались какою-то теплою влагой при одном взгляде на Малашу. «Мелания! прелестная Мелания!» — вскричал он однажды, как бы в забытьи, и мигом очутился в огороде. Подошел к красавице, хотел высказать ей все, что чувствовал — и вдруг сму-

тился, оробел и мог только сквозь зубы пролепетать: «У вас на зиму много будет капусты...»

— Много, сударь, слава богу! — отвечала Малаша, нисколько не смешавшись. — Да и не одной капусты: посмотрите, сколько моркови, репы, луку...

— Ах! лук выедаёт мне глаза! — жалобно проговорил Валерий. — Я от него всегда плачу... — И слезы в самом деле навернулись у него на глазах.

— Ништо! — возразила девушка, — не кушайте сырого.

— Ах! я не ем... Я теперь ничего не ем! — вскричал Валерий в каком-то самозабвении.

— Ахти! ужли нездоровы? Не сглазил ли кто?

— Ты, ты меня сглазила, милая, прелестная Мелания!

— Я? Упаси господи! Да с чего мне? У меня же и глаз не черный.

— Так! Эти голубые глаза, эти небесные очи обворожили мое сердце...

— Вот что! — протяжно и вполголоса промолвила девушка, у которой светлая мысль промелькнула в голове, и глаза ее невольно потупились в землю.

— Мелания! милая, несравненная Мелания! ангел красоты и невинности! — восклицал Валерий, более и более усиливая голос и почти не помня себя.

— Потише, сударь; бога ради, потише! Матушка услышит, либо кто посторонний, тогда мне беда.

— Что мне в том! Пусть слышит меня целый мир! Пусть само небо внемлет моим клятвам! Я твой, навеки твой!

— А коли ты не на шутку ее, господин честный, так на это есть поп да святая церковь, — отвечала вместо дочери своей просвирня, которая, услыша громкие речи в огороде, заглянула туда и подкралась к молодым людям.

— Ах! — воскликнула Малаша.

— Ох! — вздохнул всею грудью Валерий, но скоро оправился и отвечал просвирне:

— Ужли вы думали найти во мне злобного соблазнителя невинности? Нет! клянусь: намерения мои чисты, как душа моя. Дочь ваша будет подругою моей жизни — или никто в мире.

— Ну, то-то же! — молвила просвирня, поняв из этих, не совсем ясных для нее слов, что дело шло

о законном супружестве.— Пишите к своим родным, а мы пока поприветствуем; а там веселым пирком и за свадебку.

— Дайте мне срок... позвольте устроить все...

— И ведомо! Мы вас не тянем сейчас под венец. Уладьте все, как надо; а с Малашей вам пока не след шушукаться. Можете видаться с нею при мне, а не заглазно. Теперь милости прошу отсюда вон. Огород я запру на замок, и сама буду ходить в него; этой дуре не удастся больше продавать здесь глазки да слушать медовые речи. Прощенья просим!

Старуха вывела за руку дочь свою; Валерий отправился к себе в комнату, встревоженный, взволнованный и даже испуганный тем, что случилось, особенно безрассудною своею клятвой, которую считал он священным обязательством. Слезы, обыкновенное его прибежище в сомнительных случаях, обильными ручьями пролились из глаз его.

Беды росли и множились над нашим героем. Не одни Малаша и мать ее слышали его клятву: у него был свидетель гораздо опаснее. Трофим Чучин, вязавший на досуге шерстяной чулок, видел, как барин его опрометью бросился вон из комнаты. Лукавый старик тотчас догадался, что это было недаром. Он вошел в спальню Валерия, притаился у отворенного окна и подслушал весь разговор в огороде, не проронив ни одного слова. Волосы стали дыбом на седой его голове. «Вот-те и отпускная! Вот-те и барские милости! Вот-те и награждение от госпожи!.. Не потерплю этого, хрычовка просвирня! Не дам тебе над нами насмеяться! Завтра же напишу к барыне, не то она отсчитает иное жалованье на моей спине... И я, старый дурак, уговорил его остаться здесь на две недели! Куда мой ум девался?..» Так ворчал он себе под нос, скрежеща с досады зубами; но когда Валерий возвратился в спальню, Сысоевич сидел уже на своем месте и по-прежнему вязал чулок, как будто ничего не знал и не подозревал.

Вечером хитрый дядька пытался уговорить своего молодого барина уехать из тамошнего городка прежде назначенного им срока. «Не поеду! — был ему ответ.— Судьба приковывает меня к здешнему месту; я не властен, я не могу бороться с нею...» Слезы помешали Валерию докончить.

Делать было нечего. Сысоевич на другой же день отправил к Маргарите Савишне письмо, в котором заключался полный донос о любви Валерия и в котором, разумеется, просвирня и дочь ее не были пощажены. Старуха была описана как страшная колдунья, поселившая в Валерия Терентьевича любовь к своей дочери приворотными корешками. Любовь! без ведома матери! замыслы тайного брака! Колдовство и, может быть, яд, и все неведомые силы природы, и вся бесовщина... Это взорвало мрачное воображение Маргариты Савишны, дочитывавшей в то время «Видения в Пиренейском замке». Казнь преступнице-колдунье, похищение юной ее дочери и заключение ее в подземелье, в которое можно было превратить винный погреб Закурихинского дома,— все это мигом отразилось в мыслях г-жи Вышеглядовой. Но когда холодный рассудок сменил пылкость первых ощущений, тогда дело приняло другой оборот. О горящем костре для просвирни нельзя было и думать: в наше время не жгут колдунов, да и доказать колдовство было делом сомнительным, даже невозможным. Короче, желанного костра нельзя было сложить ни за какие деньги. Похитить девушку? это, конечно, было легче; да каково отвечать перед судом? Теперь уже люди не пропадают так, чтоб и след простыл. Не те времена! Не возвратить уже блаженных средних веков, когда сильный мог давить слабого, сколько душе угодно; когда башни и подземелья безнаказанно наполнялись несчастными жертвами; когда подкупные убийцы всегда держали наготове кинжалы и яды к услугам руки мстительной и щедрой... Маргарита Савишна, перебирая все это в мыслях своих, тяжело вздохнула об испорченности нашего века.

Однако надобно же было на что-нибудь решиться. Средства, более простые, но зато более верные и безопасные, пришли ей в ум: разлучить Валерия с его нареченною невестой, увезти его и запереть у себя в доме, а между тем откупиться от старухи и подослать выгодного жениха к ее дочери... Прекрасно! тут и роман, роман полный: с завязкой, случайностями и развязкой. Прекрасно! да здравствуют романы! Они служат превосходным запасным пособием в подобных случаях. Ну какой бы человек, будь он хоть самый умный и рассудительный, мог подать лучший совет?

А из романов и без посторонней помощи можно всему этому научиться. Да здравствуют же романы! Хвала и вечная память вам, Радклиф, Дюкре-Дюмениль, и прочие, и прочие... И Маргарита Савишна мигом отдала приказ, чтобы завтра же с рассветом была ей готова карета, запряженная шестернею, и чтобы с вечера еще переменные лошади отправлены были на поддороги к известному нам безыменному городку.

Между тем Валерий Терентьевич, не предвидя собиравшейся над ним грозы, таял в нежных чувствованиях подле Малаши. Месила ли она тесто, он жадным взором смотрел на обнаженные до плеч ее руки, любовался их движениями, сравнивал их белизну и нежность с белизною и нежностью крупичатой муки и находил, что руки Малашины несравненно белее и нежнее; но он завидовал тесту, которое она сжимала в руках своих так мило, с такою роскошною негой и, можно сказать, почти с любовью! Он жалел, для чего сам он не тесто! Варила ли она щи, стоя перед большою русскою печью, он и тут любовался ею и сравнивал живой румянец ее разордевшихся щек с ярким пламенем горевших дров, а искры глаз ее с искрами, брызгавшими от угольев. Несла ли она ведра с водою, он опять любовался красивым наклоением ее тонкого стана, ее легкими перевалами со стороны на сторону, приятною игрой кругленьких ее плечиков, ее мерною поступью и находил, что лебединая шея красавицы несравненно гибче и стройнее коромысла, которое она держала на плечах с обворожительною ловкостью; он заглядывал в полные ведра, чтобы видеть в них отражение миловидного ее личика. Словом, все мечтательные глупости сентиментальных романических любовников выполнял он на самом деле, и еще с разными добавками, с разными утончениями. Он почти не выходил из светлицы просвирниной, ибо ему строго было запрещено видеться с Малашей иначе, как перед глазами ее матери; а мы уже знаем, что Валерий всегда был покорнейшим слугою чужой воли.

Увы! не долги были сии тихие, невинные наслаждения! Не долго жил всею полнотою души несчастный друг наш, Валерий Терентьевич! На третий день после известного нам признания, в два часа полудни, раздался необыкновенный стук на большой улице мирного.

городка \*\*\*. Стук приближался, усиливался — и перед воротами просвирнина домика остановилась большая дорожная карета. Два долговязых лакея в богатой мишурою ливрее соскочили с запяток, отворили дверцы, опустили подножку — и по ней медленно и важно спустилась тучная Маргарита Савишна, одетая со всею пышностью знатной барыни (в этом заключалось у ней особое намерение, а именно — чтобы блеском и пышностью ослепить и унижить просвирню и дочь ее). Старуха и Малаща вздрогнули; Валерий, бывши тогда у них, побледнел как полотно и опрометью выскочил на улицу, встретить нежданную и незваную гостью. «Веди меня в свою комнату!» — проговорила она повелительным голосом и с суровым взглядом, отдернув прочь руку, которую Валерий хотел поцеловать. И он за свою матью.

побрел, как теленок

Вслед за своим мясником бредет к кровавой колоде.

— Неблагодарный сын! — воскликнула Маргарита Савишна, войдя в комнату и сев на лавке, в переднем углу. — Так ли ты платишь за материнские мои попечения, за ту высокую образованность, которою ты мне обязан?

— Матушка, бесценная родительница! — говорил Валерий, всхлипывая, — чем заслужил я гнев ваш?

— Чем? безрассудный! Я все знаю. Думаешь ли ты утаить от меня свою низкую, презренную страсть, свои преступные замыслы?

— Успокойтесь, матушка, — отвечал Валерий, присонаясь. — Страсть моя благородна, предмет ее достоин обожания, и намерения мои чисты.

— Тебе ли говорить это, мелкое исчадие рода Вышеглядовых? — вскрикнула раздраженная Маргарита Савишна громовым голосом. — Недостойный выродок своих предков! ты мечешь под ноги те преимущества, которые они тебе передали, те права, которыми они тебя наделили.

— Матушка, матушка! я ценю преимущества сердца невинного и души ясной, признаю права матери-природы!

— Так ты не боишься гнева моего? не боишься проклятий, которые обрушу я на твою голову?.. С кем ты говоришь? Разве с обыкновенною женщиной? За-

был ли ты, какою силою духа закалены мой ум и характер?.. О! если бы не нынешний вялый порядок вещей, я показала бы этим ничтожным тварям, этим пресмыкающимся гадам, каково мщение раздраженной женщины моей породы! Я отравила бы каждую минуту их существования, я превратила бы в пытку самый воздух, которым они дышат, я поразила бы их тысячью смертей; их стоны были бы для меня уследи тельною музыкой...

— Матушка, матушка! пощадите! о, пощадите! — пролепетал Валерий, почти без памяти упав перед ней на колени.

— Оставишь ли ты свое сумасбродство? откажешься ли от презрительной своей страсти? разорвешь ли те постыдные цепи, которыми спутан?

— Нет, это уже слишком! это свыше сил человека! — сказал Валерий, встав и выпрямясь. — Вы властны делать со мною что угодно: лишить меня наследства, заключить в темницу, терзать меня всеми возможными муками... Но заставить меня отречься от сладчайшей моей мечты, переменить предопределение судеб, вырвать из меня заживо половину сердца, — о! этого ни вы, ни что в мире не может сделать.

— Хорошо! — отвечала Маргарита Савишна с грозным хладнокровием обдуманной мести. — Следуй за мною.

Валерий безмолвно повиновался. Она вывела его на улицу, велела отпереть карету, втокнула в нее своего сына и заперла ключом дверцы кареты. И между тем как Валерий прощался взорами с Малашей, грустно смотревшею в окно своей светлицы, Маргарита Савишна в стороне приказывала Трофиму Чучину переговорить со старою просвирней, употребить и угрозы, и обещание наград, чтоб она скорее выдала дочь замуж, а по использовании сего поручения возвратиться с коляской и поклажей в деревню. Окончив сей наказ, Маргарита Савишна отперла дверцы, села в карету, опустила шторы у каретных стекол и велела людям во весь опор скакать по дороге к Закурихину.

Старуха Селифонтьевна, мать Малаши, была женщина с характером, может быть, вторая Маргарита Савишна в черном теле. Она решительно отвергла все предложенные ей условия, не щадя обидных колкостей барыне и ее поверенному; объявила сему послед-



нему, что она ни за что в свете не откажется от будущего своего зятя, Валерия Терентьевича; что дочь ее еще очень молода и может подождать, пока нареченный ее жених сделается сам себе господином; что она, просвирня, не хуже иных-прочих; что хотя бог не наделил ее богатством, а все-таки у нее водится копейка про черный день, и что наконец дочка у нее моленая, прошеная у бога, а не продажная. Сысоевич должен был выслушать все это, заплатить старухе за постой, не выторговав ни гроша, и отправиться в Закурихино, повеся голову от неуспешности своих переговоров.

Маргарита Савишна между тем уже возвратилась домой, уже ввела Валерия в северную башню, построенную ею незадолго перед тем на одном углу дома, по плану, начитанному в каком-то разбойничьем романе. Башня сия снаружи обита была сосновыми драницами, выкрашена дикою краской под цвет гранита и по швам облеплена мхом, чтобы дать ей вид более древний и более угрюмый. Окна в ней были маленькие, круглые, сделанные высоко от полу. Комната, назначенная для Валерия, стояла лицом на большую дорогу, и чтобы заключеннику удобнее было смотреть на свет божий, у окна сделаны были подмости о нескольких ступеньках. Впрочем, для узника заранее приготовлены были все удобства жизни в этой темнице, даже все, что составляло любимые его занятия. Илюшка Лыкодеров, высокий, ражий, плечистый мужчина, произведен был из лесничих в тюремщики. Он расхаживал увесистым шагом у наружных дверей башни, в смуром камзоле, в высоком кожаном картузе, сделанном наподобие шлема, с черною бахромою по гребню. Страшно было видеть, когда при лунном свете Илюшка Лыкодеров стоял неподвижно как привидение и дремал, опершись на древко ржавого своего бердыша, и когда длинная тень его черным очерком рисовалась на мрачной стене северной башни!

Бедный узник, заключенный в стенах ее, лил неиссякавшие ручьи слез. Если бы пора Овидиевых превращений не миновала, он верно бы разлился рекою, как Ахелой. Напрасны были все старания деятельной просвирни, напрасно она доносила суду, что Маргарита Савишна томит сына своего в тяжелой неволе: когда суд приехал с повальным обыском, то Валерий Те-

рентьевич со слезами объявил, что он, жалкая жертва ударов строгой судьбы, сам добровольно обрек себя на заключение. Самоотвержение истинно великодушное! Но оно не подействовало на черствое сердце Маргариты Савишны: Валерий по-прежнему остался узником под надзором Илюшки Лыкодерова. Там сидит он и теперь, у окна башни, устремля слезящий взор в синюю либо туманную даль, бессменно мечтая о незабвенной Малаше, которая для него отказывается от всех женихов, и, произвольный отверженец свободы, ждет оной от какого-то чуда, в каждом облаке пыли, поднимающемся на большой дороге.

А Маргарита Савишна? она по-прежнему читает романы и тучнеет год от году, опровергая тем мнение физиологов и поэтов, что будто бы ненависть и мщение сушат человека и медленно подтачивают жизнь его. Посмотрели бы они на Маргариту Савишну!

Если между нашими современниками найдутся еще странствующие рыцари, защитники гонимой невинности, достойные последователи Амадисов, Эспландианов и Галаоров, то мы приглашаем их съездить в село Закурихино, отыскать северную башню, сразиться с исполином Илюшкою Лыкодеровым и вывести из заточения друга нашего, Валерия Терентьевича. Подвиг сей покроет их неувядаемою славою и докажет свету, что в наш век не все сердца облиты холодным эгоизмом.

## ЭПИГРАФ ВМЕСТО ЗАГЛАВИЯ

«Знать ему так на роду было написано»

*Русская поговорка*

В губернском городе \*\*\* и его окрестностях стояли гусарский полк и рота конной артиллерии. Офицеры полка и роты были по большей части люди образованные, светские; некоторые из них могли похвалиться отличным воспитанием. Вообще гусары и артиллеристы были дружны между собою, и никогда не было у них повода к сабельным или пистолетным сделкам, коих причиной нередко бывает военное соперничество. Встречаясь ежедневно на городских обедах и вечеринках или в загородных домах помещиков, офицеры

сии веселились вместе, не думая нимало, будто бы одни другим могли заслонить дорогу к удовольствиям или видам личным.

С наступлением глубокой осени в городе все зашевелилось новою жизнью. Канцелярские служители разных присутственных мест, два-три молодые купца да несколько доморощенных актеров и актрис одного графа, отпущенных по смерти его на волю в силу духовного завещания, составили между собою театр *вольнопрактикующихся любителей*, как объявлено было в рукописной афише, разосланной по городу. Этот театр хотя не считался знаменитым, затем, что был один, однако лучшее городское общество съезжалось в него, чтоб убить вечер, а офицеры гусарские и артиллерийские, чтобы посмеяться над слезными драмами и от полноты удовольствия позевать за фарсами.

Гораздо более манил их к себе *редут*, или благородное собрание, где дважды в неделю собиралось самое знатное и богатое дворянство и несколько членов почетного купечества. Здесь степенные матушки являлись с молоденькими дочками или с рослыми недорослями сынками; старички обоего пола садились за карты либо толковали между собою о тех важных предметах, которые искони составляют завязку всех провинциальных разговоров. Между тем дочки в промежутках танцов жеманились либо кокетничали с офицерами; сынки старались выказывать свое молодечество, покручивали будущие свои усы и отпускали пошлые шутки, считая их очень остроумными.

Впрочем, в собраниях сих соблюдалась возможная благопристойность. Главными учредителями и корифеями оных были вице-губернатор и губернский предводитель дворянства, оба еще во цвете лет, люди достаточные и хорошего тона. Комнаты были прибраны с некоторою роскошью, освещены восковыми свечами; музыканты, составлявшие оркестр сего собрания, слыли превосходными по целой губернии и, вероятно, были бы найдены довольно сносными в столице. Заезжий повар и конфетчик, швейцарец, которого областные забавники прозвали *камашкой* (от испорченного его произношением слова: *comasco*), давал в этом собрании ужины за весьма умеренную цену. Диво ли, что все сии удовольствия и выгоды манили посетителей в *редуты* и что число членов увеличивалось еже-

дневно? Молодежь веселилась в них, пожилые люди находили здесь средства убить время приличным образом, а многие матушки питались надеждой сбыть выгодно с рук своих дочек. Офицерам было здесь истинное раздолье.

В гусарский полк определился тогда молодой офицер знатной фамилии и, как слышно было, чрезвычайно богатый. Родители его померли за несколько перед тем лет, и огромное имение графа находилось под опекой столь же богатого дедушки, которого он был единственным наследником и который, как говорится, души в нем не слышал. Молодой граф Кринский был высок ростом, строен и пригож лицом; он удивлял всех разнообразными своими познаниями и привлекал любезностью своего нрава, юношеским жаром и восторженностью, с какими принимал он первые впечатления.

Для офицеров было истинною загадкой, почему молодой граф с его знатностью, богатством и личными достоинствами не служил в гвардии? Самые снисходительные приписывали это какой-нибудь шалости молодых лет, выгнавшей его из столицы в дальнюю провинцию; однако сия догадка не подтверждалась ни слухами, ни мнением полкового командира о новом их товарище. Наконец некоторые в минуту приятельской откровенности, отличающей хороший корпус офицеров, решились об этом спросить самого графа. Он отвечал просто, что жизнь столичная не нравилась ему излишнею своею рассеянностью и что он считал службу не средством к скорому повышению, а поприщем, открывающим случаи к истинным заслугам пред царем и отечеством. Офицеры, хотя не вполне убежденные, принуждены были, однако же, показывать наружно, будто бы верят сей, как они называли, отговорке.

Святки весело праздновались лучшим обществом города \*\*\*. Кроме частных вечеринок, собрания в *regute* были чаще и многолюднее. В одно из сих собраний два офицера, гусар и артиллерист, не принимая участия в танцах, стояли в стороне и рассеянно смотрели на танцующих. Двое провинциальных помещиков, один пожилой, а другой человек средних лет, стояли подле сих офицеров и также смотрели; но тот, который казался старее, с проницательным вниманием следил взорами за некоторыми из танцующих пар, тогда как

сосед его, помоложе, с простодушным любопытством рассматривал то наряды щеголеватых дам, то искусную выделку ла, то затейливые фигуры танца. Казалось, все удивляло этого посетителя, и на лице его написаны были какое-то упоение, какой-то избыток удовольствия. По всему заметно было, что этот господин приехал из какой-нибудь дальней деревни, где он поотстал от большого общества, а может быть, и никогда не знал его.

— Молодой ваш граф решительно в сетях этой прелестной вдовушки, Нельской,— сказал артиллерийский офицер гусарскому.— Посмотрите, как обольстительные, лукавые взгляды волшебницы ищут пути к его сердцу! Эта игратлаз всегда была для меня занимательна, а теперь еще более по искреннему участию, которое принимаю в графе.

— Верю,— отвечал гусар.— Но неужели вы в самом деле думаете, что Кринский уловлен ею не на шутку?

— Почему же нет?

— Une coquette! \*

И при этом милая, прелестная женщина. Какая полнота форм, какая ослепительная нежность тела, какой огонь этих быстрых, черных глаз!.. Что ни говорите, а кокетство очень к лицу молодой и прекрасной вдове. О девицах не спорю: в них должно пленять чистосердечие первых ощущений, чувство прямое и безыскусственное.

— Вспомните, что Нельская старше нашего графа. Ему двадцать один год, а ей по крайней мере двадцать пять.

Младший из провинциалов, о которых мы упоминали, вмешался тогда в разговор.

— Позвольте с покорностью доложить, батюшка,— сказал он, обратясь к гусарскому офицеру,— что это дело, то есть, так сказать, лета Фелициаты Михайловны Нельской нам окуратнее известны. Меня Бог сподобил быть ея крестным братом и соседом с нею по деревням. Покойный ее родитель, Михайло Семенович — дай ему Бог царство небесное! — был человек простой и хлебосол; матушка ее, Мавра Степановна, тоже изжила свой век попросту без затей. Сперва у них дети не держались. Как бы сказать, не солгать:

---

\* Кокетка (фр.).

не то пятерых, не то шестерых они положили в могилу, так что ни один и до году не доживал им на утешенье. Вот когда родилась у них Фелициата Михайловна, и присоветовал им, видно, добрый человек оставить на волю Божию и священнику выбор имени для новорожденной да взять в кумовья того, кого Бог пошлет навстречу, Михайло Семенович и вышел раным-рано со двора, только, как на грех, в деревне не попадалось ему ни души; он за околицу, видит: едет верхом человек с ружьем за плечами; он к нему — и повстречал покойника моего батюшку, Тихона Пантелеевича, который в тот день спозаранку выехал на охоту. «Ну, любезный сосед! — молвил он батюшке, — хочешь не хочешь, а должен быть у меня кумом». Батюшка был себе на уме: знал, что с богатым соседом лучше дружбой и службой, чем отвиливаньем да отнекиваньем; ну, тоже и честь быть в духовном сродстве с человеком, которого вся губерния уважала за достаток. Он и отвечал Михайле Семеновичу: «Рад душевно, соседушка! от доброго дела грех отказываться. Только кто же милая кума?» — «А вот она!» — отвечал Михайло Семенович, указывая на старушонку нищую, которая на ту пору брела с кисою по дороге и подходила к ним. Отцу моему хоть и показалось зазорно стать перед купелью с этою христорадницей, только нечего было делать: не дал слова, крепись, а дал, держись, говорит пословица. Привели старушонку в дом к Михайле Семеновичу, послали за попом — и окрестили Фелициату Михайловну. Я к тому это вам высказал, милостивые мои государи, чтоб вы изволили знать, почему мне лета Фелициаты Михайловны известны больше, чем иному кому-либо. Ей теперь двадцать четыре года и пять месяцев со днями.

Во всю эту речь словоохотного провинциала гусарский офицер смотрел на него с насмешливым вниманием; артиллерист же, казалось, слушал с каким-то неподдельным участием. Что касается до старого провинциала, то он как будто бы ничего не слышал и глядел только по-прежнему на танцующих.

— Вы так коротко знакомы с Фелициатою Михайловной, — сказал гусарский офицер, оборотясь с лукавою улыбкой к рассказчику, когда тот умолк, — что вам, конечно, известны все ее обстоятельства.

— Ну, нельзя сказать, чтобы коротко, батюшка

(имени и отчества не имею чести знать): Фелициата Михайловна, вот видите, дама светская, ударила в знать; так ей не до нас, мелких сошек. Вот, недалеко сказать, хотя бы и теперь: она мимо пройдет, а не заметит, что здесь ее крестовый брат.

— По крайней мере, правда ли то, что говорят об ее богатстве?

— Что правда, то правда. В здешних ее деревнях, у меня по соседству, душ тысячи полторы; да в низовых чуть ли не вдвое. А имение-то, батюшка, устроено было, словно луковка очищенная. Покойный ее родитель, Михайло Семенович, вечная ему память! был славный хозяин; да и супруг ее, царство ему небесное! генерал Нельский, тоже не любил даром проронить копейки. Он не только что ее родовое наследство сберег во всей сохранности, да и свое трудовое к нему приложил. Женился он, вот видите, батюшка, как говорится, по любви: Фелициате Михайловне было лет шестнадцать, а ему за пятьдесят; уж он был и сед, как лунь. Она было и слышать не хотела, да родители уговорили; а пуще всего бывшая при ней тогда мадам француженка (видно, задарена была генералом, продажная душа!), та денно и ночно твердила Фелициате Михайловне: ты-де будешь генеральшей; тебе ото всех будет почет, станешь ездить ко двору, когда генерал повезет тебя в Петербург; а там, в столице, раздолье молодой даме с именем. Фелициата Михайловна и послушалась, вышла за генерала, который любил ее так, что синю пороху, бывало, не даст упасть на нее. Четыре года они прожили в любви и согласии; на пятый Бог послал по душу генерала, и вот уже с лишком три года, как Фелициата Михайловна осталась вдовою бездетною и, по завещанию генерала, полною наследницей благоприобретенного его имения. А у него, батюшка, кроме тысячи с лишком душ, было и чистоганом в ломбарде тысяч ста три, да чуть ли и не с походом; так вдове-то его было чем похоронить и помянуть покойника! С тех пор Фелициата Михайловна жила либо в Петербурге, либо за границей; а сюда приехала назад тому месяца три, как видно, чтоб устроить свои дела да запастись деньгами на новые прогулки по свету.

— Я слышал, будто бы она надолго приехала в здешнюю деревню,— заметил гусар.

— Да чего же ей еще, батюшка, прости Господи! у нас, видите, теперь не по-прежнему, веселье хоть куда: и полки, и театр, и вечеринки, и балы, и редуты; гуляй себе да веселись! Ведь я думаю, и в Париже не лучше того. Вот как и здесь, примером сказать: ах ты, Боже мой! Войдешь, так и сердце запрыгает, и все горе забудешь. И насмотришься-то, и наслушаешься всего хорошего, и наговоришься с такими людьми, что через полгода вспомнишь, так дух радуется!

Говорливый провинциал погрузился в какое-то сладостное умиление. Между тем оба офицера возобновили прерванный свой разговор.

— Так вы думаете,— сказал гусар, обратясь к артиллеристу,— что наш Кринский не на шутку обжег бабочкины крылышки своей свободой на огне этих черных глаз?.. Я, признаться, думаю совсем иначе, и, кажется, не без причины. Мог ли Кринский, человек со вкусом тонким и образованным, нагладевшийся на столичных красавиц, бросить безрассудно сердце свое к ногам Нельской, когда здесь есть...

— «Чистейшей прелести чистейший образец», эта высокая, стройная, полувоздушная Любовь Витаева? Вот грация, какую нам представляли ее древние художники — грация станом и лицом! Семнадцать лет, правильные черты лица, ангельская улыбка, большие голубые глаза, мягкие светло-каштановые волосы, ум в каждом взгляде и в каждом движении... Слава Богу, что я не поэт! Сколько бы сладких глупостей написал я, en gros et en détail \*, на прелести этой идеальной красавицы.

— О конечно, Любовь Витаева прекрасна, кто об этом спорит! Но что значит умильный взор ее голубых глаз, холодных, как наше северное небо, перед этим жарким, южным взглядом черных глаз Нельской? У всякого свой вкус: эта поговорка сделалась почти аксиомой. По мне, красота Любви Витаевой так бледна перед красотой Нельской, как оссиановская тень перед гурией Магометова рая.

— Это сравнение живо, но не полно. Позвольте мне закончить его. В героинях Оссиановых мы находим чувство глубокое и возвышенное; в гуриях мусульманских — одну чувственность.

---

\* И в общем и в частности (фр.).



— Так вы думаете, что перевес будет...

— Я знаю образ мыслей и поэтическую мечтательность Кринского и уверен, что сердце его говорит за Любовь Витаеву.

— Смотрите, не ошибитесь!.. Не хотите ли побиться об заклад?

— Охотно! Только не свыше червонца. Мне совестно было бы выиграть у вас почти наверняка. У нас в полку предсказывают уже близкую помолвку, да и в доме Витаевых, кажется, уже об этом поговаривают. По крайней мере я так слышал стороною.

— Еще повторю вам: не ошибитесь! Я также знаю на верное, что Нельская надеется скоро променять свое превосходительство на сиятельство, и средством к этому выбирает вашего графа.

— Так о червонце?

— Да, хорошо: о червонце.

Оба офицера подали друг другу руку в знак согласия. Артиллерист сказал потом, лукаво улыбаясь:

— Поздравляю же вас с молодой графиней, Фелициатою Михайловной!

— Вы можете поздравить нас с графинею гораздо помоложе: с графинею Любовью Николаевной.

— Ни с тою, ни с другою! — сказал старый провинциал, дотоле молчавший, как будто бы вслух произнесся замечание, сделанное собственно для себя. Оба офицера взглянули на него; но он не отводил взоров от танцующих пар.

Однако же слова старика подстрекнули любопытство двух офицеров, и гусарский тотчас обратился к нему с вопросом:

— Вы, кажется, сомневаетесь в том, что молодой мой сослуживец, граф Кринский, женится...

— О! что он женится, — отвечал старик, — в том нет никакой причины сомневаться; только ни на одной из тех красавиц, которых вы, господа, называли.

— Почему же?

— Вы, может быть, подумали, господа, что я хочу играть перед вами роль пророка, звездочета, уличного шарлатана и тому подобного? Нимало. Я пользуюсь только уроками прежних своих лет и наблюдениями теперешних: вот все мое колдовство. Вы сами сейчас высказали образ мыслей молодого графа; я тоже знаю его отчасти; знаю также и обеих невест, которых вы

ему назначаете. Обе они не по нем. Попомните мое слово: если он попадетя в сети к этой пригожей вдовушке, то скоро наскучит ее жеманством, причудами и тем рабством, в каком она хочет держать своих обожателей. Кокетка не то существо, которому он принесет чистый дар своего сердца. Молодая Витаева прелестна, умна, мила, но без души. В ней нет и тени той чувствительности, которой ищет граф в будущей своей подруге. Неблагоразумные родители внушили ей, что в муже она должна видеть средство к возвышению: он, по ее понятию, новый наряд, которым она должна блистать и ослеплять. Холодный ее разговор, основанный на расчетах светской арифметики, наверное; отобьет от нее пламенное, полное чувства сердце Кринского. Здесь есть только одна девица, достойная графа, достойная тех святых уз, которые привяжут его крепко и прочно к спутнице его жизни. Но эта девица не пригожа лицом: вы бы рассмеялись, если бы я назвал ее; и чтоб избавить ее и себя от насмешек, я лучше утаю ее имя.

Проговорив сии слова и не дождавшись ни ответа, ни возражения, старик отошел в сторону, оставя двух офицеров теряться в догадках: кто бы такова была невеста, которую он выбирал для графа?

— *Vieux coquetin!* \* — сказал погода немного гусар, рассмеявшись, — он подшутил над нами, заставя попустому ломать голову.

Оба офицера взглянули друг на друга, усмехнулись и разошлись в разные стороны.

Гусарский офицер случайно очутился подле Нельской, сел на незанятый стул и завел с нею один из тех светских разговоров, которым наши курсы словесности донныне еще не приискали приличного названия. Французы, умеющие весьма удачно соединять выразительность с легкостью во всем том, что касается до предметов моды, вкуса, приличий и т. п., назвали сей род светской болтовни *de jolis riens*\*\*; но как мы переведем это на наш степенный, чинный язык, упрямо отказывающийся придавать смысл звукам почти бессмысленным? *Милые безделки, затейливые прибаутки, льстивые мелочи* — все это было перебрано на-

---

\* Молодящийся старикашка (фр.).

\*\* Милые пустячки (фр.).

шими усердными подражателями французам и все это не точно выражает то понятие, которое французы совокупают с своими *jolis riens*. Кто-то перевел выражение: *dire de jolis riens* таким образом: *говорить любезности*, хотя это выражение грешит отчасти против русского языка, но по крайней мере оно удачнее других передает нам понятие французского. Заметим мимоходом, что ревностные наши *пуристы*, излишне заботясь о чистоте природного своего языка, часто лишают его живости и яркости. Для светских понятий и, так сказать, для вседневного обихода в разговорах должен существовать язык более свободный и гибкий. Иное дело, когда мы говорим или пишем о предметах возвышенных либо ученых; но слог истории редко приличен роману, и вовсе не приличен комедии.

Сия перестрелка любезностей и остроумных ответов скоро уступила место обыкновенному коньку светских разговоров — злословию. Язвительные выходки Нельской находили себе верный отголосок в метких замечаниях ее собеседника; казалось, что все окружающее их превратилось в какой-то карикатурный мир, которым они играли, как собранием пестрых и уродливых кукол. Немногие лица пощажены были сими острыми языками; и этим немногим, если не досталось на долю смешное, то по крайней мере достоинства их были оценены со всею строгостию привязчивых браковщиков.

— *A rgoros\**, — сказал между прочим офицер, — я здесь встретил вашего крестового братца.

— Ах, где он? отыщите мне его! — вскричала Нельская. — Предорогое создание! он так простодушно глуп, что, право, с ним не соскучишься... на десять минут, только не дольше.

— Поэты уверили нас, что глупость — вожатая Амура; но я до сего дня не знал, что она также сродни красоте...

— *Mersi du compliment; c'est de par trop aimable!.. \*\** Я охотно уступила бы это родство первому встречному. *Seriez — vous pas curieux d'en acceper l'hommage? \*\*\**

---

\* Кстати (фр.).

\*\* Спасибо за комплимент, это очень любезно! (Фр.)

\*\*\* Не будете ли Вы так любезны принять это? (Фр.)

— Вы слишком милостивы. Если же это родство необходимая принадлежность красоты, то я не имею на него никакого права.

— Скрамность похвальная, даже в мужчине. Не каждый из вас так великодушно откажется от всяких требований на пригожество.

— Например, такой отказ не к лицу был бы нашему Кринскому. Вот ему-то вы можете, en toute conscience \*, уступить вашего крестового брата.

— Да, правда, граф прекрасный мужчина. C'est un Antinous, mais encore plus jeune et plus délié \*\*. Сколько ему лет от роду?

— Двадцать второй.

— Я думала, что он еще моложе. Лицо его и приемы отзываются тем возрастом, когда молоденький мужчина еще смело может наряжаться девушкой.

— Только сомневаюсь, чтобы Кринский согласился обрить гусарские свои усы для такого переодевания.

— Сомневаться вы можете; mais il ne faut jurer de rien \*\*\*.

— Например, если бы какая-нибудь Омфалия с вашими прелестями и с вашим даром убеждения заставила его сесть за самопрялку...

— То вы бы, может быть, наговорили ему столько же комплиментов, сколько я от вас сегодня слышала... Не так ли?

— Посмотрите,— сказал офицер, как бы не вслушавшись в последние слова Нельской,— посмотрите на эту пару, Кринского и молодую Витаеву.

— Да, по росту они точно пара,— отвечала Нельская с некоторою досадой, может быть, догадавшись, что офицер этим замечанием хотел ей отплатить за шутку над его комплиментами.

— Разве не по чему больше они не сходны между собою? — спросил офицер лукаво.

— Si les extrêmes se touchent, je suis d'accord qu'ils ont beaucoup d'affinité \*\*\*\*,— отвечала дама,— один

---

\* По совести (фр.).

\*\* Это Антиной, но гораздо моложе и развязнее (фр.).

\*\*\* Но ни за что нельзя ручаться (фр.).

\*\*\*\* Если крайности сходятся, то я согласна, что у них много общего (фр.).

пылок, как порох, а другая холодна, как лед. Это сушая безжизненная кукла на пружинах.

— Однако же вы согласитесь, что она прекрасна? — сказал офицер с прежним лукавым намерением.

— О конечно! бела и румяна, причесана и одета по последней моде... именно как те восковые куклы, которые присылаются к нам из Парижа, чтоб служить образчиками новых мод.

— Но у ней в глазах светится ум.

— Ум ее потайной фонарь, который, может быть, и освещен, но полезен только тому, кто его носит. Вы должны быть наделены очень острым зрением, когда подметили свет-его в этих немых, холодных глазах.

— Вы слишком строги к здешней грации.

— Потому, что я довольно насмотрелась на мраморных граций Кановы, а все каменные красавицы производят во мне одинаковое впечатление: посмотришь и пожалеешь, зачем они не живы.

Гусарский офицер с удовольствием видел, что Нельская увлеклась уже не охотою злословить, а завистью. Он хотел выманить наружу все ее скрытые чувствования и для того начал хвалить Любовь Витаеву; но увлекся сам, постепенно воспалялся и наконец говорил уже о ней со всем жаром страсти.

Нельская громко засмеялась.

— Не знаю, — сказала она, — кто из нас искуснее выведывает чужия тайны сердца. Из ваших слов о Любушке Витаевой я узнала, что вы к ней очень, очень неравнодушны; а из того, что я об ней говорила, вы, верно, не могли дознаться, что я с Любушкой дружнее, нежели с кем бы то ни было из здешних дам.

Офицер смутился. Его изумила хитрая увертка Нельской, которая тогда смотрела ему прямо в глаза с улыбкою торжества. Он потупил глаза и призадумался.

В это время мазурка кончилась. Любовь Витаева, поклонясь кавалеру своему, графу Кринскому, искала незанятого стула, где бы отдохнуть. Нельская вскочила с места, побежала ей навстречу, и обе они, рука за руку, подошли к тому месту, где сидел гусарский офицер. Нельская посадила Любовь на свой стул и стала перед нею, потому что больше свободного стула не было. Из вежливости гусарский офицер уступил ей свое место, встал и отошел в сторону. Оттуда он

посматривал на них и с новым удивлением и досадой видел, что Нельская и Витаева вступили между собою в самый дружеский, откровенный разговор, во время которого Нельская иногда взглядывала на прежнего своего собеседника, как бы показывая, что речь шла о нем; а Любовь посмеивалась, и казалось, шутками отвечала на шутки своей приятельницы.

Во весь остаток бала гусарский офицер был молчалив и задумчив. Он досадовал на себя за то, что так простодушно дал поймать себя; досадовал на Нельскую за ее предательскую уловку, и в душе своей поклялся отплатить ей за хитрость хитростью при первом удобном случае.

Спустя несколько недель в городе громко заговорили о близкой женитьбе графа Кринского. Услужливые вестовщики успели уже отправить просьбу его по начальству и письма к его дедушке о позволении ему жениться; а некоторые, попроворнее, привезли ему и благоприятные ответы; уже определили, сколько дедушка давал ему на свадьбу денег. В одном только голоса их разбились, так, что никакое большинство не могло согласить их: одни говорили, что невеста его Любовь Николаевна Витаева; другие, что будущая его супруга Фелициата Михайловна Нельская. Не столько было противоречий и споров по делу о носах, взволновавшему во время оно Страсбург, по сказанию Славкенбергиуса или компилатора его Стерна, и никогда споры сии не доходили там до такого ожесточения, как в городе \*\*\* между обеими партиями, разбивавшимися в мнениях насчет женитьбы графа Кринского. Особливо междоусобная война чепцов грозила городу вечным нарушением тишины и мира. Корифеями каждой стороны были пожилые женщины, и для раздраженного их самолюбия скоро главный предмет распри сделался посторонним: частные и личные пересуды, взаимные обиды неукротимых языков увлекли противников в непросяняемый хаос сплетней, ссор и семейной вражды.

Что же подало повод к сим разногласиям? — спросите вы, милостивые государи и милостивые государыни! Безделица: то, что Кринский очень часто ездил в деревню к Витаевым и еще чаще посещал Нельскую, которая по каким-то причинам или видам с некоторого

времени совсем переселилась в город. Может быть, служители и приближенные обоих домов рассеивали слухи; может быть, родители Любви и сама Нельская открывали приятелям своим истинные или мнимые намерения Кринского за тайну; а как тайна такого рода в провинциальном городе скоро делается собственностью всего общества и истолковывается в ту или другую сторону по видам и связям каждого лица,— то мудрено ли, что двугласная тайна о женитьбе молодого графа пущена была во всеобщую огласку?

Однако же с некоторого времени одна сторона видимо торжествовала, именно та, которой голоса были в пользу Нельской. Ловкая вдовушка умела завлечь Кринского так, что он начал ездить к ней день при дне, и только часы, требуемые приличием, их разлучали. Все знали Нельскую как милую женщину и ловкую, очаровательную кокетку; но вместе с сим соглашались, что она никогда не подала повода к предосудительным толкам о своем поведении. Чему же быть из ее короткого обращения с графом? О, конечно, ни чему иному, кроме свадьбы.

Граф Кринский жил между тем на пределах волшебного мира мечтаний пленительных, обольстительных, разнообразных. Нельская осуществляла для него все идеалы, созданные когда-либо его юным, пылким воображением. В ней одной находил он все многообразные приманки тысячи прелестнейших женщин, все то, что сулит полноту наслаждений, все то, что раздувает пламя страстей. Попеременно то приветлива и заманчива, то холодна и строга, то детски доверчива и ласкова, то скрытна и равнодушна, то увлекательно игрива и весела, то задумчива и мечтательна, то льстива, то язвительна, то простодушна и добра, то остроумна и насмешлива, она в самом деле постигла всю тайну тех очарований, которые влекут нас иногда к одной, иногда к другой молодой женщине и которые заставляют нас любить их изменчивое, богатое оттенками, но равно восхитительное общество.

Дом, который занимала Нельская, стоял в конце города; это был один из тех огромных, богато украшенных домов, каковые наше роскошное дворянство строит иногда в губернских городах с великими издержками и после продает либо отдает в наймы почти за бесценок. При доме был обширный сад, прекрасно

расположенный в английском вкусе, с пышными цветниками, темными аллеями, рошицами, оранжереями, прудами и островками. С наступлением весны Нельская сделалась точно Армидой или феей Морганой сего волшебного жилища. То тихо и раздумчиво прохаживалась она по тенистым аллеям, то резво бегала по мостикам и лужайкам, то между роскошными клумбами прекрасных цветов являлась сама прекраснейшим цветком, то с привлекательною ленью восточной одалиски нежилась на мягких диванах беседок. Прелесть ее придавала новый блеск окружающим предметам; тонкий вкус ее накидывал на них чародейски ослепительную сеть, из-под которой они бросали яркие, жгущие искры.

Иногда Кринского ужасала сия короткость с женщиной, опасною для молодого сердца. Он спрашивал себя, к чему поведет это? Узы брачные с прелестною кокеткой казались ему в некотором смысле делом безумия, и не за себя, а за нее боялся он пресыщения; погубить же молодую, хотя и легкомысленную красавицу, запятнать сие доброе имя преступною связью... одна мысль об этом казалась чистой душе его злодейством непростительным. Но его страшила минута самозабвения, хотя он и мог заметить, как искусно Нельская ускользала от него при малейшей примете, что молодая, кипучая кровь одолевала в нем рассудок. Однажды, когда Нельская оставила его одного в гостиной и ушла писать ответ на полученную ею записочку, Кринский сел на диван и предался волновавшим его мыслям о будущей развязке своего романа. После жарких споров сердца его с рассудком последний выиграл сию внутреннюю тяжбу человека с самим собою: Кринский увидел, что удаление от Нельской для него необходимо, и обдумывал только средства к тому, чтоб оно не показалось постыдным побегом, и еще более, чтоб оно не навело какого-либо пятна на добрую славу молодой вдовы. Откровенное с нею объяснение казалось ему лучшим из сих средств; он решился искать к этому случая. Мысли его успокоились, и он радовался, как ребенок, победе своего рассудка. В эту минуту вбежала Нельская.

— Вы задумались, Кринский? — сказала она, взглянув на него и заметив какую-то раздумчивую медленность движения, с которым он к ней оборотился.—



Скажите, какую ученую задачу решаете вы теперь в уме своем? — промолвила она шутливо.

Кринский хотел отвечать; но она, не дав ему выговорить ни слова, продолжала:

— Пойдемте в сад; там можем мы под открытым небом и на чистом воздухе начать свой философический разговор, по примеру учеников не помню какого греческого мудреца. Вечер прекрасный; соловьи поют у меня в рощицах.— И подав ему руку, она беспечно и весело пошла с ним в отворенную стеклянную дверь на террасу сада, напевая слова венецианской *баркароллы*:

Vieni, vieni, Teresina,  
A sentir quel bel cucu!

Чистый, звонкий, приятный голос молодой вдовы, не раз потрясавший душу Кринского и пробуждавший в ней сладостные ощущения, теперь воображался ему пением сирены, старавшейся усыпить в нем рассудок и покорить его своей власти. Ему казалось, что он должен был вооружиться всею твердостью души против обольстительных приманок новой сирены, и нынче же, чтоб не было поздно, исполнить принятое им намерение. Он молчаливо и холодно шел об руку с своей спутницей, как будто бы не вслушиваясь в волшебные звуки ее голоса. Победа, одержанная им над собою, была совершенна.

Она скоро это заметила.

— Vous êtes préoccupé \*,— сказала она,— вас мучит какая-то важная мысль. Я хочу знать ее, хочу знать непременно! — промолвила она с прежнею веселостью,— и по женской нетерпеливости — чем скорее, тем лучше. Побежимте же взапуски к той скамье, в конце цветников, под каштановыми деревьями...— И с этим словом она вырвала руку свою из руки Кринского и, как птичка, порхнула вперед. Кринский, по невольному движению, бросился было вслед за нею; но вдруг остановился, как будто одумавшись. Нельская, пробежав до половины дороги и увидев, что за нею не гнались, сама остановилась среди цветников. Лицо ее от сильного движения загорелось самым ярким румянцем; малиновые уста полуотворились, глаза,

---

\* Вы озабочены (фр.);

как бы покрытые легким паром, светились сквозь него с новою прелестию; темные волосы разметались по плечам в пленительном беспорядке, а полная лебедина грудь высоко подымалась, переводя дыхание. Все в ней привлекало, тревожило и нежило чувства мужчины. Но молчаливый Ипомен нашей Аталанты подошел к ней не торопясь и улыбнулся ей, как улыбаются пригожему, игривому ребенку после какой-нибудь милой резвости. Снова подав ей руку, он рассеянно повел ее по цветникам, и она, опустя голову, с легкою тенью уныния на челе, напомнила ему сквозь утаенный в груди вздох, что они отдалялись от цели их пешеходства, скамьи под каштановыми деревьями. Чрез несколько минут они сидели на ней.

— Вы что-то важное хотели мне сказать? — спросила Нельская после некоторого молчания, с притворною веселостью, которой изменяло беспокойство, отражавшееся в глазах ее и в сгибе бровей, невольно хмурившихся.

— Что мне вам сказать?.. я должен просить у вас прощения.

— В чем?

— В моем безрассудстве: в том, что я, не вызнав своего сердца, вздумал подвергнуть его опасному испытанию.

— А! вот что! — подхватила Нельская насмешливым тоном, — это отзывается отчасти драмою, *et moi, il faut que je l'avoue, j'aime la haute Comédie...* \* продолжайте.

— Я знаю, — сказал Кринский, несколько раздосадованный ее тоном и выражениями, — не раз слышал я от вас самих, что вы всего выше цените свою свободу, что супружество считаете вы тяжким несносным огнем...

— Кто вам сказал, что я с некоторого времени не переменяла своих мыслей?

— Перемена такая скорая, может быть, так же скоро повела бы за собой и другую перемену. Раскаяние было бы поздно.

— Послушайте, граф! — вскричала она с лицом, вспыхнувшим от досады, — я вам очень благодарна за признание в таком недостатке, которого я до сей поры в вас не подозревала, т. е. в безрассудстве. Дальнейшие

---

\* ...Что касается меня, признаюсь, я люблю хорошую комедию (фр.).

объяснения были б излишни: я сама себе растолковала все то, что вы могли бы мне высказать. Вижу, что вы, как сами сознались, выбрали меня средством к решению какой-то философической задачи над вашим сердцем и что попытка ваша была неудачна. С меня довольно и этого; в остальном, т. е. в ваших извинениях и пр. и пр., я не вижу ни пользы, ни необходимости: приберегите их для другого случая. Если б вы не были так молоды, то, может быть, я рассердилась бы не на шутку; но в ваши лета еще многое прощается... Резвости детей, как бы они ни были дерзки, должны смешить, а не огорчать взрослых людей...

Голос ее во время сей речи постепенно возвышался, и под конец сделался отрывистым; прорезывавшиеся в нем отчасти дикие звуки неприятно отдавались в ушах Кринского, который не узнавал в них приятного, еще незадолго перед тем лелеявшего слух его голоса Нельской. Лицо и осанка ее отзывались натяжкою театральной Федры или Клитемнестры. Все изменяло в ней притворному равнодушию и спокойной язвительности речей. Кринский выслушал ее до конца, смотря на нее более с любопытством, нежели с каким-либо сердечным движением.

— Вы не сполна отгадали, — ответил он с хладнокровною колкостью, — попытка моя не вовсе была неудачна. Благодаря ей теперь я вижу, на каком зыбком основании держалось бы обоюдное наше семейное счастье, когда бы вечные, неразрывные узы связали нас на всю жизнь.

— Да кто вам говорит о семейном счастье, о вечных узах? — вскричала Нельская голосом почти исступленным. — Вы бы спросили прежде: решилась ли бы я бросить на одни весы свое спокойствие, выгоды моей свободы — с жалкою приманкой смазливового мужского личика?.. Не говорю уже о светских отличиях: покойный мой муж был генерал и смешно было бы променять нынешнее мое звание, место мое в свете на какое-нибудь ничтожное достоинство...

— А! так я вас теперь лучше разгадал, нежели вы меня! — перервал речь ее Кринский с жаром негодования. — Вы хотели найти во мне влюбленного Ринальда, целующего волшебные свои оковы и не думающего из них выпутаться, покорного Селадона, безответного послушника своенравной вашей воли... до тех пор, пока,

наскуча бессмысленным моим лицом, натешась моим унижением и насмешками ваших приятельниц над недогадливостью простака обожателя, вы вздумали бы сами дать мне отставку... Вот для чего старались вы приманить меня к себе и удержать в своей власти всю силу ваших зараз!

Нельская ничего не отвечала, но сверкнула на него глазами, словно хотела сжечь ими молодого графа, как молнией. Он стоял перед нею и с прежним любопытством смотрел ей в глаза.

— Чего вы еще ждете, сударь? — сказала она после нескольких минут молчания. — Хотите ли совсем дорезать меня вашу холодною злостью, или вымучить из меня какое-нибудь признание вашими ядовитыми выходками?.. Коварный человек!.. — Голос ее перервался, и слезы, едкие слезы неотмщенной обиды ручьями полились из глаз ее.

Кринский вежливо, но холодно и безмолвно поклонился ей и пошел из сада.

Да что же нет никакой вести о помолвке? и скоро ли свадьба? Или же хотят сыграть ее тихомолком, между дюжиной посторонних глаз, по-столичному, чтоб избавиться от лишних расходов?.. Видно догадки наши справедливы: и молодец, и красавица богаты только личиком и станом, а не деньгами. Именье-то хоть и есть у обоих, да на нем, может быть, больше долгов, чем волос на голове... Так толковали, наскуча долгим ожиданием, предсказатели свадьбы Кринского с Нельскою, в то самое время когда мнимые жених и невеста расстались совсем не так, как нежные голубки.

Скоро все заметили взаимное охлаждение графа и молодой вдовы, но никто не узнал истинной его причины. Для славы своей красоты Нельская не хотела обнаружить неприятную сию тайну; и когда заводили с нею речь о Кринском, то она отвечала коротко, что он «взбалмошный ребенок». Кринский с своей стороны молчал о том, что между ними произошло, и говорил о Нельской с прежним уважением, опровергая все восстававшие на счет ее подозрения, и как размолвка их случилась в саду, между четырех глаз, то городские вестовщики и сплетницы не могли ничего доведаться даже от слуг, которые сами не знали и не понимали, что было между графом и их барыней. Вестовщики

и сплетницы потолковали, разменялись своими догадками и остановились на простом, успокоительном для них самих и ни для чьей чести не оскорбительном заключении, «что между женихом и невестой черная кошка пробежала».

Городские политики, люди догадливые и прозорливые, начали утверждать, что Кринский занял у французского правительства существовавшую лет десять тому назад систему *очередного перевеса* (le système de la bascule), когда узнали, что он стал часто ездить в дом Витаевых и что по сей системе он хотел удерживать в равновесии обе партии: *нельскистов* и *витауистов*, не давая ни которой из них решительного преимущества. В самом деле, молодой граф, в угоду ли сим политикам, назо ли обеим партиям, или одной оставленной Дидоне, вдове Нельской, сделался почти ежедневным гостем Витаевых, которые жили в прекрасной своей подгородной деревне, не далее четверть версты от города. Родители Любви Витаевой были люди чванные и питавшие истинное благоговение к знатности и богатству. Старик Витаев, хитрый, сметливый, занимался долго откупам по разным губерниям и часто бывал в столицах; посему у него были повсюду добрые приятели и *милостивцы*, как он называл людей чиновных и занимавших важные места по гражданской службе. Наслышавшись о богатстве Кринского, он хотел обстоятельнее удостовериться в справедливости сих слухов; для сего написал он множество писем к своим приятелям и *милостивцам*, как столичным, так и жительствовавшим в тех губерниях, где показаны были поместья молодого графа. Не трудно отгадать итог содержания сих писем: точно ли за графом Кринским столько-то душ? сколько с них дохода, и не находится ли имение в залоге или под запрещением? Ответы, полученные старым хлопотуном, были совершенно удовлетворительны. Вследствие того отец и мать дали Любви родительское свое наставление переменить прежнее ее равнодушное обращение с Кринским и стараться всеми мерами привязать к себе молодого графа, не допуская, однако ж, его до преждевременной, опасной короткости, чтобы до срока не наскучить ему подобно Нельской. Ученица была послушна и понятлива и превзошла ожидания старых, опытных своих учителей. Если порою невольный,

слишком ласковый, даже нежный взор ее обольщал Кринского каким-то смутным, неразгаданным блаженством, то строгая степенность поступков и осмотрительность в речах погашали в нем последнюю искру надежды — воспламенить в недоступном сердце девушки огонь чистой, бескорыстной любви. Сия игра нравилась, однако же, молодому графу и завлекала его к новым опытам над сердцем нечувствительной красавицы; таким образом та и другая сторона были между собою в непрерывной наблюдательной войне. Между тем воображение Кринского в часы одиноких его бесед с самим собою сильно говорило в пользу Любви Витаевой и, подстрекаемое препятствием, придавало новую прелесть победе над сердцем, окруженным такою непроницаемою, стальной оградой. Сердце графа, заодно с воображением, раскрывалось для сладостнейших ощущений при мысли о сей победе и, обманывая само себя, мало-помалу привыкало видеть все счастье жизни, всю цель желаний в обладании Любовью; уже оно билось живее, уже кровь стремительнее и жарче протекала по жилам Кринского при одном имени горделивой Сильфиды: так назвал он молодую Витаеву в пылу своих поэтических мечтаний.

Девушка поняла и выполняла свою роль как нельзя лучше; но родители ее, так сказать, перемудрили и тем оправдали русскую поговорку, что «на всякого мудреца много простоты». Отец беспрестанно толковал молодому графу о выгодах богатства, а мать — о неисчетных преимуществах знатности и почестей. Граф Кринский, в котором ранний дар соображения заменял многолетнюю опытность, смеялся внутренне над сими небескорыстными намеками и думал, что если он покорит себе сердце и волю Любви, то ему нетрудно будет внушить ей чувствования, более возвышенные, образ мыслей более сходный с его собственным. Однако слишком частые напоминания и толки стариков Витаевых об одном и том же наконец ему крайне надоели. Он видел ясно, чего в нем искали: богача, графа, человека, перед которым расстилается пространное поле чинов, отличий, уважения в свете и пр. и пр.; но что от него не требовали и не ждали ни истинных достоинств, ни богатств душевных, ни прямых заслуг царю и отечеству. Легко можно было заметить, что в понятии закоснелых честолюбцев и

сребролюбцев это были качества придаточные, а не главные,— средства, а не цель.

Сие разоблачение души Любовиных родителей печалило Кринского. Он замечал, что родительские внушения много действовали на образ мыслей самой дочери; и прежде, нежели сердце его мятежно восстало против рассудка, он хотел изведать, сохранило ли сердце Любови первобытную чистоту впечатлений.

Нет! был весь итог его поверок. Сколько ни старалась Любовь скрывать истинные свои чувствования, но от ежедневных, наглазных исследований деятельного наблюдателя не ускользала ни малейшая оплошность, ни самая легкая черта характера скрытной девушки. Не изменяясь в наружном с нею обхождении, Кринский день ото дня чувствовал, что сердце его холодело. Еще он часто заглядывался на красоту ее лица, на воздушную стройность и нежность тела; но смотрел уже на нее теми глазами, какими мы смотрим на прекрасную мраморную статую: любовался восхитительными формами и вместе жалел, для чего чувство и живительная теплота страстей благородных не проникли в сие холодное совокупление приманок видимых?

Одно обстоятельство еще сильнее содействовало к разочарованию молодого графа. Любовь Витаева была наделена умом, так сказать, слишком положительным для женщины. Изящное в мире искусств не согревало души ее, не производило в ней того тихого волнения, которое возносит человека в страну фантазии, окружает его летучими роями наслаждений высших. В поэзии чувствовала она только соль эпиграммы; в музыке ценила одну трудность выполнения; в живописи бросались ей в глаза только яркость красок и черты резкие, почти карикатурные. Кринский, поэт в душе, хотя и не решался верить бумаге своих таинственных вдохновений, но трепетом сердца приветствовал изящное, и наслаждался им со всею полнотою души юной, доступной ощущениям чистым и высоким. Светлый ум и тонкий вкус его, образованный хорошим воспитанием, соделывали его верным ценителем прекрасного и набожным поклонником муз. С такими чувствованиями и понятиями мог ли он сродниться душою с существом, чуждым высших впечатлений эстетических? с существом, которое от ранних лет носило в себе

признаки самого холодного, самого исключительного эгоизма?

Не хотел, однако, расстаться с нею так же скоро, как с Нельскою, и, может быть, не вовсе потеряв прежние свои надежды, Кринский, казалось, предоставил времени вместо его обработать и приготовить развязку. Случай скоро помог ему в этом.

После обеда в летнее время семейство Витаевых обыкновенно ходило с гостями своими прогуливаться по окрестностям, которые были разнообразны и живописны. Чаще всего предметом сих прогулок был высокий лесистый холм с открытою вершиной, с которой видны были город, большая дорога и несколько окружающих деревень. На сей вершине была построена беседка в китайском вкусе, и часто в хорошую погоду Витаевы пили здесь чай. Идти к холму надлежало лесною тропинкой, которую пешеходы для сокращения пути проложили до самого города. В один вечер, когда хозяева и гости их возвращались с холма домой, Любовь Витаева, шедшая об руку с графом Кринским, несколько поотстала от прочего общества. Хитрая девушка, ожидая от Кринского решительного объяснения, по наставлению своих родителей, уже несколько раз предоставляла ему случаи к этому; но граф все еще молчал, и Любовь не знала, чему приписать сие молчание: застенчивости ли его, или другой какой причине? Так случилось и в этот раз. Сначала молодые люди шли молча; наконец Любовь, досадуя на недогадливость своего спутника, завела с ним разговор о красотах природы; уверяла, что предпочитает их всем ухищрениям искусств и что сельское уединение для нее несравненно приятнее шума городского. Она говорила без жара, но с умом и даже с чувством и умела увлечь воображение Кринского к тихим наслаждениям жизни семейной, к прелестям природы, к удовольствиям человека, не развлекаемого докучным светом, среди полей и лесов. Кринский удивлялся сей внезапной перемене в образе мыслей прекрасной девушки; начинал верить, что прежде она говорила только по внушению честолюбивых своих родителей, а теперь говорит от души, и радовался тому, предполагая, что нашел прямой путь к ее сердцу, еще чистому, еще не испорченному тлетворным дыханием света и страстей личных. Так! милая подруга и сельское уеди-



нение, усладительные прогулки сам-друг и мирные удовольствия жизни, не развлекаемые пустым блеском и пестрым роем светских мотыльков — вот что рисовалось тогда мысленным его взорам. Чувство начинало выражаться в его ответах прелестной его спутнице, роковое признание готово было сорваться с языка... В это время подошла к ним бедная женщина с двумя маленькими детьми; одного держала она на руках, другой шел рядом с нею, держась ручонкой за ее рубище. Это ветхое рубище, босые ноги матери и малюток, усталость и истощение сил — все показывало крайнюю скудость сей несчастной семьи. Женщина была средних лет; но бледность и худоба ее, впалые глаза, иссохшие руки и ноги являли в ней более тень, бродящую по свету, нежели существо, еще согреваемое теплотою жизни. Она тихо подошла к чете молодых людей и робким болезненным голосом просила: на погорелое.

Лицо Любови покрылось облаком неудовольствия, брови ее нахмурились; по всему видно было, что она досадовала на безвременный перерыв занимательного для нее и много обещавшего ей разговора.

— Что тебе надобно? — спросила Любовь самым неблагоприятным голосом, бросив гневный взгляд на бедную женщину.

— Прошу на погорелое, матушка! — повторила та застенчиво и жалобно.

— На погорелое! Молодая женщина!.. Не стыдно ли тебе побираться? Для чего ты не работаешь?

— Что делать, матушка! Видно, бог на нас прогневался, — отвечала бедная женщина, прослезившись. — Пожар случился у нас прошлою осенью, среди ночи; чуть сами выскочили, в чем спали, да кое-как ребятишек повиытаскали. Муж мой вернулся опять в избу, чтобы хоть что-нибудь захватить из наших пожитков. Я его просила, молила: не ходи! Нет-таки, вырвался и бросился в поломя. Гляжу, обгорелая-то изба и рухнула... сердце у меня так и оборвалось... голубчик мой, покойник, там и душу положил!.. — Сказав это, крестьянка зарыдала, и продолжала свой рассказ, уже всхлипывая: — Спасибо, добрые люди приютили меня, вдову горемычную, с бедными сиротами; и тут еще с перепугу, с горя да с недостатков пролежала я целую зиму. Вот и теперь насилу брожу, и деться некуда;

и так добрым людям была словно гиря на шее; сами-то они люди скудные... А что ни богатые дома в селе у нас, все повыгорели...

— Слушать вас, так все вы жалки и бедны, — перервала ее Любовь. — Когда бы ты работала, не ленилась, так и сама была бы сыта, и ребятишек своих не водила бы в таких гадких отрепьях.

Крестьянка повесила голову; слезы брызнули ручьями у нее из глаз.

— Боже мой, господи! — вскричала она, — ото всех слышишь одно и то же. Чужая беда никому не тяжела!

Малютки, глядя на мать свою, тоже громко заплакали, пряча лица свои около нее.

— Много вас, попрошаек, и у всех одна песня! — продолжала Любовь прежним тоном. — Пойдемте, граф!

Но Кринский стоял во все время этого разговора с каким-то грустным выражением на лице, поглядывая то на Любовь, то на крестьянку и детей ее; в правой руке он что-то сжимал и переминал с заметным нетерпением. Едва нечувствительная красавица отвернулась от бедной женщины, он торопливо подошел к сей последней, сунул ей в руку белую ассигнацию и, наскоро проговорив: «Завтра приходи в город; спроси у первого гусара о квартире графа Кринского, там получишь больше», — пошел вслед за своею спутницей. Бедная женщина подняла глаза к небу и с просто-сердечным чувством благодарности крестилась и молилась за своего благодетеля.

Между тем Любовь, приостановясь, смотрела искоса влоборота головы и видела все, что происходило. Когда Кринский подошел к ней, она подала ему руку с явным движением неудовольствия и как бы нехотя. Несколько шагов шли они молча. Наконец Любовь сказала Кринскому, бросив на него косвенный взгляд исподлобья:

— Вы, кажется, граф, хотели стороною дать мне урок?.. Благодарю вас за такую великодушную заботливость о моей нравственности.

— Я никому не даю уроков, пока не получу на это права, — отвечал Кринский холодно. — Я исполняю только наставления доброй моей матери, которая там (он указал на небо), верно, на меня не досадует.

— Не так, как я здесь, хотели вы сказать? Для чего же не кончили?

— Я не хотел сказать и даже не думал этого. В движениях сердца, каковы б они ни были, я хочу быть судьбою только самого себя...

— Да если б и сказали, то право бы, меня не обидели,— подхватила молодая Витаева надменным тоном и с явным намерением уколоть Кринского.— Другие, а не я, пусть помогают бродягам: это лучшее средство быть обманутым самому, а их ободрять к лени и попрошайству.

— А хотя б и так, то где мы отыщем границу между бедствием истинным и притворным? Как отличим одно от другого? И неужели, боясь обмана, должны мы отказаться от сладостнейшего влечения души нашей — влечения помогать ближнему?

— Что ж за беда?.. Батюшка мой говорит правду, что нищие только лишняя тягость общества, которому они несколько не полезны; чем меньше их будет, тем лучше; а этого нельзя иначе достигнуть, как отказывая им в помощи, и тем заставляя их волею и неволею добывать хлеб собственным трудом.

— Или умереть с голоду... не так ли?

— Умереть с голоду, сделаться ворами и сгинуть в тюрьме — как бы они ни исчезли — для меня все равно,— отвечала Любовь Витаева с заметною досадой.— *Le monde y gagnera toujours, quand il verra diminuer le nombre de ces plantes parasites.* \*

— Можно ли так говорить о людях! — с жаром подхватил Кринский,— и чем виноваты эти бедняки, когда, будучи оделены дарами счастья, они часто бывают лишены здоровья и сил телесных, а чрез то и способов питаться своими трудами?

— Зато они могут похвалиться, что имеют в вас самого жаркого заступника... *Et c'est une compensation, comme une autre* \*\*

Насмешливый тон сих речей выводил из терпения графа; но, боясь увлечься негодованием своим в разговоре с девицей, боясь, чтобы мена взаимных колкостей не вызвала под конец выражений суровых и

---

\* Весь мир выиграет, если уменьшится количество этих растений-паразитов (фр.).

\*\* Это компенсация. (фр.).

обидных и притом видя, что собеседницу его нельзя было убедить и внушить ей понятия более человеколюбивые, Кринский замолчал. Не говоря более ни слова друг с другом, они удвоили шаги и скоро достигли прочее общество, медленно подвигавшееся к дому.

Во весь вечер Кринский был молчалив и задумчив. Сердце его стеснялось каждый раз, когда он взглядывал на молодую Витаеву. Такая гордая прелесть, такое дивное совокупление приманок наружных и вместе такое холодное, безжалостное сердце! Это казалось ему самую злобною насмешкой природы над человечеством; это было в его понятии ужасным уродством нравственным, во сто раз отвратительнейшим, нежели самое безобразное уродство физическое. Не могли вытерпеть сей противоположности блеска наружного с чернотой внутреннею, сей тяжкой для чувствительного человека игры случая, граф уехал домой ранее обыкновенного.

Дорогою мысли его кружились нестройными роями. Образ Любви носился перед ним попеременно то в виде приманчивого, пленительного создания, то в чертах прекрасной, но мрачной Горгоны, ослепляющей и окаменяющей сердца неопытные и неосторожные. Но, приехав домой и оставшись один в своей комнате, граф почувствовал в себе утешительную перемену, подобную счастливому перелому опасной болезни. Буря души его умолкла, волны мыслей утишились и сгладились. Какое-то чудное спокойствие, какое-то сладкое самодовольствие разлились по всему его бытию. Он все еще вспоминал о Любви Витаевой, но уже вспоминал о ней равнодушно, как игрок вспоминает об игре на большую сумму, в которой он не принимал участия, но в которой другие проиграли, что и с ним неминуемо должно б было случиться. Кринский радовался, что вызнал всю мелкость своекорыстной души Любовиной, и мысленно благодарил небо, что оно избавило его от такой подруги, сняв с нее личину в то самое время, когда она, кроясь за сею личиною, расставляла новые и самые хитрые сети для уловления его сердца. Прекрасная наружность сей девицы облеклась пред его воображением в какой-то студеной, тонкий пар, навевавший холод на его душу и недоступный живительной теплоте; сама красавица представлялась уже ему не прелестною существенно-

стию, а пустым обманом глаз, отражением в воздухе, очертанием без жизни и осязаемости. В поэтических своих мечтах он уже удивлялся, как мог столь долго ослепляться тщетным призраком, не замечая сего обязательного заблуждения чувств своих?

Избегая новой огласки, новых толков со стороны городских пустомель, но не желая продолжать своих посещений Витаевых, граф Кринский на другой же день выпросил у своего эскадронного командира предписание ехать ему к эскадрону, который тогда находился верст за сорок от города, в одной волости, где эскадронные лошади паслись тогда на подножном корму. Получив согласие своего начальника, Кринский отправился туда на другой же день.

Квартира ему отведена была в большой деревне, которой часть принадлежала одному зажиточному помещику, а другая состояла из домов казенных поселян. Гостеприимный помещик, проводший зиму в городе и там познакомившийся несколько с Кринским, тотчас прислал хлеб-соль новому временному своему соседу и почти вслед за тем явился сам с приглашением как можно чаще бывать в его доме. Курная и теплая изба, в которой поселился Кринский, показалась доброму хлебосолу жилищем вовсе неприличным для помещения в себе ловкого молодого графа. Павел Ильич Реев (так назывался помещик) убеждал Кринского переехать к нему в небольшой и красивый садовый домик, выстроенный для помещения гостей и остававшийся на ту пору незанятым, после нескольких отговорок, граф принужден был уступить радушным и сильным настояниям своего соседа. Через несколько часов он уже расположился в садовом домике и любовался пышным видом цветников и тенистых аллей, рисовавшихся перед его окнами. Хозяин явился опять, поздравил его с новосельем и пригласил к обеду.

Семейство Реевых состояло из Павла Ильича — пожилого человека, еще свежего, румяного, добродушного и веселого; жены его Евгении Петровны — женщины средних лет, привлекательной лицом и нравом, умной и образованной; старшей дочери их Ольги — восемнадцатилетней девушки, и двух сыновей, воспитывавшихся дома. Один из них двумя годами был моложе сестры своей, другому можно было дать не более двенадцати лет от рождения. Все сие занима-

тельное семейство, казалось, было между собою связано узами нежнейшей любви и дружбы. Родители были внимательны и ласковы, дети почтительны и тихи. Кроме того, в доме жили: гувернантка — старая француженка, хвора и молчаливая — ее уважали и покоили, как родную, да несколько разных учителей и домашний лекарь, молодой богемец приятной наружности, скромный и услужливый. У всех сих посторонних членов дома отражался на лицах вид довольства, свидетельствовавший о благодушии хозяев и кротости детей их.

Ольга Реева с первого взгляда не приманивала к себе глаз пылкой молодежи. Она была бледна и сухощава. Невозможно было отгадать, болезненное ли расположение тела, или мечтательность души положили на челе ее легкую тень томности и придали какое-то задумчивое выражение ее улыбке. Но чем далее всматривался в нее Кринский, тем более взоры его невольно на ней останавливались. Тихий огонь больших, черных ее глаз одушевлялся каким-то неизъяснимым блеском при каждом слове, доходившем до ее сердца; правильные, тонкие черты лица удивляли своею соразмерностию внимательного наблюдателя; даже бледность, их облекавшая, сквозила некоею теплотою чувства и казалась как бы новым совершенством, нераздельным с сими эфирными чертами. Стройный, хотя не вполне еще развитый стан и детская, приятная наружность походки — все в ней более и более занимало Кринского, который в каждом движении Ольги, в каждом оттенке чувства на лице ее находил всегда что-нибудь новое и милое, непостижимо привязывающее к ней зрителя равнодушного. Не раз уже он упрекнул себя: для чего, видав ее прежде, не старался узнать ее; для чего не умел отличить ее в кругу молодых, блестящих ее сверстниц, попеременно обращавших на себя его взоры в продолжение зимних редутов и других съездов лучшего тамошнего общества? Именно эта резкая противоположность милой ее томности с окружавшим ее, часто поддельным блеском других девиц, естественной непринужденности ее поступков с жеманством тех, — должны бы были привлечь его внимание к ней, предпочтительно всем прочим. И он мог посмотреть все то, что теперь его занимало и увлекало!

Хозяин и хозяйка просили нового своего гостя быть

у них запросто, как свой человек: обедать, ужинать, пить чай вместе с ними, когда ему вздумается, прибавя, что чем чаще, тем для них будет приятнее. Кринский благодарил их за сие радушное приглашение и дал им и себе слово пользоваться оным как можно чаще.

Кринскому казалось, что он нашел то, чего искал так давно: семейство милое и согласное; в стариках — людей истинно доброжелательных и прямодушных, в молодых — веселость и чистосердечие лучшего возраста жизни; наконец девушку, привлекательную без блеска, милую без жеманства, доверчивую как дитя, умную и образованную как женщина в полной поре лет. В Ольге скоро он открыл тот идеал ее пола, который давно был создан молодым его воображением. Она не искала графа и не убегала его; была откровенна по чистоте своей души и осторожна не по расчету, а по тонкому чувству девственного приличия; чувствительность ее не происходила от той нервической раздражимости, которая делает сие чувство совершенно вещественным: нет! чувствительность Ольги была выражением ее души, волнуемой впечатлениями приятными или возвышенными, чувством добра и изящества. Нужно ли докончить, что Кринский скоро прилепился к ней всеми силами души; что временное обольщение глаз и кружение головы не имели участия в сей новой привязанности, а воображение украшало только новыми совершенствами образ Ольги, отражавшийся в сердце графа и час от часу глубже врезывавшийся в нем?

Между обоими молодыми людьми скоро водворилась короткость обращения, основанная на чувствованиях чистейших: на доверии, которое Кринский умел к себе внушить Ольге, и на уважении, почти благовейном, которое питал он к ней. Сходство взаимных склонностей, обоюдная чувствительность ко всему прекрасному в природе, искусствах и мире нравственном, прогулки, чтение и музыка — все поддерживало и скрепляло сию короткость. Здесь не было ни шумных вечеров Нельской, ни роскошных обедов Витавых, не было той пестрой, увивающейся толпы гостей, которая так тягостна для человека, любящего жить жизнью внутреннею в тесном и коротком кругу. Две, три семьи ближних соседей, людей добрых и незатей-

ливых, не могших быть никому и ничему помехой,—одне только учащали дом Реевых, коих имение, по счастью, находилось вдали от других деревень, обильных крупным и мелким дворянством. Ни вздорных вестей, ни сплетней, ни карточной игры не бывало в этом благословенном доме, и жители оного пользовались совершенною свободой прогуливаться, разговаривать или выдумывать для себя такие развлечения, какие были им по нраву.

Кринский, привыкая с каждым днем находить новые достоинства в Ольге и новые причины более и более прилепяться к ней душою, вместе с сим открыл в себе новое ощущение, которого не изведывал ни при блестящей кокетке Нельской, ни при обольстительной красоте Любви Витаевой. Ощущение сие, мучительное для сердца и упорное в борьбе с рассудком, было ревность. Да, ревность, над которою он сам иногда смеялся, иногда негодовал на нее; но со всеми усилиями не мог выжить сего докучного и опасного пришельца из мирной семьи душевных своих влечений. Вот что было к ней поводом: Кринский заметил, что Ольга нередко разговаривала в стороне с пригожим богемцем лекарем; иногда разговор их длился по несколько минут, казался одушевленным и обличал некоторую откровенность. Родители Ольги не обращали на то никакого внимания и как будто не замечали; но Кринский... мог ли он не видеть этого, следя взорами каждый поступок, малейшее движение их дочери?

Будучи равна в обхождении со всеми, не зная ни скрытностей, ни притворства, Ольга сама не замечала дозорливых взглядов графа. Между тем ревность в нем усиливалась ежечасно; он разрывался втайне досадою и хотел только увериться доказательствами более ясными в справедливости своих подозрений.

Однажды встал он ранее обыкновенного и вышел в сад. В раздумьи бродил он из аллеи в аллею, как вдруг, при повороте одной из них, услышал знакомые голоса. Почти невольным движением Кринский отскочил в сторону и притаился за густо разросшимся кустом сирени. Голоса между тем приближались, и хотя слов нельзя было расслушать, но разговор казался живым и свободным, и в разговаривавших Кринский узнал Ольгу и молодого богемца. Сначала граф хотел выскочить к ним навстречу, чтобы внезапным своим



появлением пристыдить легкомысленную девушку; но после одумался и рассудил, что лучше всего следить за ними, дабы вызнать все до конца. Для сего он забрался в самую середину куста и, раздвинув немного ветви, высматривал, куда пойдет неблагоразумная чета сия? Скоро Ольга и спутник ее подошли к калитке сада, отперли ее и вышли на улицу. Кринский побежал следом и, отворив немного калитку, наблюдал за ними и видел, как они вошли в один крестьянский двор. Едва они скрылись, граф вышел тоже на улицу и тихо переступал по ней, не совсем еще решившись, здесь ли ожидать виновников своей ревности, или идти в замеченный им дом и там уличить их. Погодя немного, из той же калитки сада вышла горничная Ольги с большим узлом в руках и пошла по тому же направлению, как и барышня ее. Увидя Кринского, она смутилась и хотела возвратиться, но он перерезал ей дорогу.

— Куда так рано, Сашенька? — спросил граф, торопливо схватив ее за руку.

— Пустите-с, ваше сиятельство, пустите! Ох! вы так больно сжали мне руку, что, право, только стыдно, а то бы я заплакала.

— Не пуцу, пока не скажешь, куда идешь и что здесь у тебя в узле.

— Это не мое, и мне не велено сказывать; барышня будет гневаться.

— Барышня! А где она теперь? — вскричал граф, впившись проницательным взором в глаза смущенной девушки.

— Барышня-с? она почивает... не очень здорова... — отвечала Саша, запинаясь.

— Неправда, душа моя, неправда! — подхватил Кринский строгим голосом, — я сейчас ее видел с молодым ее кавалером: они пошли, вон в этот двор.

— Видели-с? Ну, так что ж вам и спрашивать! — возразила девушка с лукавою улыбкой. — Пустите же меня, граф: я спешу к ним, там ждут меня.

— А зачем они там? Нельзя ли сказать? — проговорил граф с любопытством, смешанным с досадой.

— Много будете знать, скоро состаритесь, ваше сиятельство! — отвечала горничная с тем же лукавым видом.

— Твоя правда, душа моя! — молвил Кринский, вы-

пустив ее руку из своей.— Да тут и не нужно знать больше...

— Что это значит, ваше сиятельство? — с жаром перервала Саша.— Не стыдно ли вам!..— Она не могла кончить, и слезы навернулись у нее на глазах.

— Но зачем же она так рано выходит из дому, и сам-друг с этим молодым человеком? — спросил Кринский голосом, уже несколько смягченным.

— Ну, если уже на то пошло... пусть так: я беру вину на себя...— молвила Саша.— Пойдемте туда: я вас поведу... вы увидите сами, что там делается.

Кринский, хотя с некоторою нерешимостию, но пошел за Сашей. Они вошли во двор, и Саша взялась рукою за дверь избы.

— Не говори, что я здесь! — шепнул ей Кринский.

Она кивнула ему в ответ головой и вошла в дверь, оставив ее не совсем притворенною. Кринский остановился за дверью и смотрел сквозь нее в середину избы.

Зрелище, которое представилось ему, наполнило душу его нежнейшими ощущениями. Проты двери, на застланной войлоком лавке, сидела пожилая женщина. Из правой руки ее текла пущенная кровь. Ольга в черном фартучке сверх утреннего платья одною рукою держала чашку, в которую лилась кровь, а другою подносила скляночку спирта к носу больной женщины. У стола лекарь приготовлял перевязки, а вошедшая Саша, развязав свой узел, вынимала из него белый хлеб, бутылку вина, кастрюлю с бульоном и другие припасы. В стороне от больной молодая крестьянка стояла, пригорюнясь и подперши свой подбородок левою рукою, а правую часто крестилась, и как заметно было по умиленному виду сей женщины и по движению губ ее, она шептала молитвы и о выздоровлении больной, и о здравии ее благотворительницы.

Кринский не мог вынести сего перелома в своих ощущениях. Сердце его сжалось от угрызений совести за оскорбительные для чистой, небесной добродетели Ольгиной его подозрения. Он почти без памяти выскочил на улицу и бегом пустился в сад.

У входа в калитку встретил его Лука, садовник Реевых, простодушный и говорливый старик, пользовавшийся снисхождением своих господ со всею свободою старого и верного слуги, и часто вступавший в разговор с ними и с гостями их, когда встречал кого-нибудь

из них в саду. Лука снял шляпу и, подошед к графу, сказал ему:

— Видно, и ваше сиятельство обходили сего дня больных по деревне с нашею барышней?

— А разве она каждый день это делает? — отвечал Кринский вопросом.

— Как же, ваше сиятельство! и летом, и зимой, и весной, и осенью. В дурную погоду обуется наша лебедь белая в сапожки, да взденет кожаные ступни, по-вашему сказать, не солгать, помнится; колоши, и идет сама с горничною Сашей в обход по больным, а кровь ли пустить, ушиб ли какой осмотреть или другую тяжелую боль, то берут еще с собой и Феликса Карловича.

— А разве Феликс Карлович не всегда с нею ходит?

— Ну, у него, знаете, другие часы для обходу: за нашей ранней птичкой никто не поспеет; а разве кому из больных попритчится так, что времени терять некогда, тогда и он встает с жаворонками.

— И давно уже Ольга Павловна занимается такую святою должностью?

— Да с тех пор, как подросла, теперь уже года с три. А батюшка и матушка, чай, до сих пор ничего о том не знают. Знаю только я, да Саша, да повар Николка, да Феликс Карлович, да, почитай, вся деревня. Ведь в редком дворе из наших и из государевых крестьян не сыщется хоть одна душа, о которой бы она не поболела сердцем да не позаботилась. А чтоб посторонним-то не было в домек, так она и встает всегда в шесть часов, о той поре, как я звонком сзываю своих рабочих. Слышь, зимою-то, как она с батюшкой и с матушкой жила в городе, и стосковалась там о своих больных да бедняках. Коли бывала одна, глаз на глаз с Сашей, слышь, то и дело вздыхала да твердила: «Что-то теперь наши? хорошо-ли то за ними ухаживают?» А как по весне приехала домой, то вместо прогулки утром и вечером обхаживала по деревне, чтоб узнать: не было ли с кем какой беды или болезни и нельзя ли чем помочь кому? Бог ей заплатит за все ее добро, а не мы, грешные!

Шорох шагов и громкий разговор за калиткой заставил графа вспомнить, что его могут подметить на расспросах. Он сжал руку доброму чистосердечному старику и поспешил удалиться.

Во все утро Кринский был как сам не свой. Он совестился взглянуть на Ольгу, не смел почти заговорить с нею, боясь, не изменила ли Саша его тайне? К счастью, в глазах и речах Ольги ничего подобного не было заметно. Наконец врожденное его прямодушие и сознание собственной вины преодолели в нем робость. Он искал случая объясниться с Ольгой и признаться ей во всем. После обеда он предложил ей пройтись вместе с ним по саду. Доверчивая девушка, чуждая всяких подозрений, подала ему руку; они вышли.

Когда они отошли далеко от комнат, Кринский вдруг остановился и сказал ей:

— Простите ли вы меня, Ольга Павловна?

— В чем? — спросила девушка, немного оторопев.

— В том, что я открыл вашу тайну...

— У меня нет никаких тайн, — прервала она с некоторою нерешимостью.

— Я узнал нынешним утром, что вы благодетельный ангел здешней деревни.

— В самом деле? — молвила она с легким движением неудовольствия, — этого я от вас не ожидала. Какая же причина заставила вас за мною присматривать?

— Какая причина! — подхватил Кринский с жаром, — скажите, неужели вы до сих пор ничего не заметили?

— Я очень проста и замечаю только то, что прямо ко мне относится.

— Так моя любовь... это чистое, святое чувство, которое вы мне внушили... неужели оно вовсе не удостоилось вашего внимания? — вскричал граф с некоторым огорчением.

Ольга потупила глаза в землю; рука ее трепетала в руке Кринского, грудь высоко вздымалась, и вся она казалась крайне встревоженною сим неожиданным объяснением. Долго стояла она, не говоря ни слова. Наконец, пришедши в себя и не подымая глаз на своего спутника, она сказала ему нетвердым голосом:

— Граф! когда я была в городе, тогда все твердили, что вы были женихом Нельской; после того доходили до нас слухи, будто бы вы хотели жениться на Любви Витаевой... позвольте мне докончить граф! — продолжала она, заметя в нем движение нетерпеливости. — Если обе эти невесты, первые красавицы в здешней

губернии, богатые, воспитанные, светские, не могли вас постоянно привязать к себе... то можно ли поверить, чтоб я, и не красавица, и простодушная сельская дворяночка, могла надолго привлечь ваше сердце?.. Не издевайтесь надо мной, граф! не играйте этим бедным сердцем! Что прибыли вам, что славы вскружить голову неопытной и слишком доверчивой девушке? — Она взглянула на графа, и слезы заблестали в глазах ее.

Кринский бросился целовать ее руку.

— Клянусь вам,— вскричал он со всем жаром страсти,— что ни Нельская, ни Витаева не обладают теми дарами, которыми можно навек покорить мое сердце. Что мне в ничтожном блеске? что мне в суетности большого света? что мне в богатстве? богатство души — вот чего ищущу я. Вы, вы одна раскрыли для меня надежду того земного рая, по которому тоскует душа моя! Вы, вы одна могли бы быть моею вечною подружкой, спутницею, счастьем всей моей жизни?

— Не всем ли вы то же твердили, граф? — возразила Ольга, взглянув на него с улыбкой недоверчивости.

— О нет!— отвечал Кринский уверительным голосом, в котором отражалось отчасти неудовольствие.— Прямодушие мое не позволяло мне говорить то, чего сердце мое не чувствовало. В Нельской любовался я игривым взрослым ребенком; Витаеву старался я испытать, искал в ней сердца — и нашел вместо его глыбу снега.

— Что же найдете вы во мне, когда узнаете меня покороче? Робкую, застенчивую девушку, без наружных достоинств, жалкую мечтательницу... словом, такую, с которою вам стыдно было бы показаться в свет.

— Я сказал уже, чего искал и что нашел в вас. Жена мне надобна для семейного моего счастья, а не для ложного блеска светского. О! пусть этот голос, голос истины, пробудит в вашем сердце ответные звуки. Скажите, бога ради, скажите: неужели я обманулся, неужели обольщал себя несбыточным блаженством?

— Бог вам судья, граф, если вы из одного жестокого удовольствия хотите возмутить мой покой! — сказала Ольга голосом, лившимся прямо из души и проникавшим в душу; слезы снова показались на глазах ее.— Но если я в вас не ошиблась, если вы точно искренни, то... то воля родителей моих решит мой выбор,— договорила она скоро.

— Но ваше сердце не чуждается меня? — пылко подхватил Кринский.

— Мое сердце будет биться для моего супруга.

— А если богу и родителям вашим угоден будет ваш выбор — и если этот выбор падет на меня?

— Тогда... оно ваше, и навеки!.. Не требуйте от меня больше, граф! — прибавила она с крайним смущением.

В иступлении восторга Кринский схватил ее руку и снова осыпал ее поцелуями.

— Пойдемте в комнаты, граф! — сказала Ольга голосом, прерывавшимся от сильного волнения груди. Они пошли медленным шагом. Чувства их мало-помалу успокоились; и когда они вошли в комнаты, то на лицах их сияло только чистое, душевное удовольствие.

Родители Ольги казались между тем несколько встревоженными. Они одни были в гостиной, и заметно было, что они с каким-то беспокойством ожидали возвращения своей дочери. Мать увела тотчас Ольгу во внутренние комнаты; Кринский остался наедине с стариком Реевым. Сей последний смотрел в глаза графу, как будто бы хотел проникнуть в его душу. Кринский подошел к нему свободно, объяснил ему свой образ мыслей касательно женитьбы, сказал откровенно, что в одной Ольге находил он все те совершенства, которые желал сыскать в будущей своей супруге, и просил ее руки, прибавя, что сама она не отвергает любви его. Старик был, казалось, приятно удивлен; и после нескольких возражений, относившихся к постоянству графа в супружеской любви, к согласию родственников его и прочее, возражений, на которые Кринский отвечал с полнотою убеждения, — Павел Ильич сказал ему:

— Я верю вам, граф, верю от всей души, потому что с тех пор, как знаю вас, видел одни доказательства вашего благородного сердца, искренности и прямодушия; но позвольте мне на минуту вас оставить и переговорить с женою и дочерью.

С сими словами он вышел. Кринский с надеждою в ясном взоре остался ожидать окончательного решения судьбы своей.

Чрез несколько минут отец и мать Ольги вывели ее в гостиную. Она шла неверными шагами; видно было, как легкая дрожь пробегала по ее членам.

— Вот вам, граф, ваша невеста! — сказал Павел Иль-

ич с веселым видом.— Отдаю вам ее с легкой руки: сам я счастлив своим супружеством, так и вы можете того же надеяться от будущей вашей жены.

— Дай бог, чтоб и она так же была счастлива в своей семейственной жизни, как я! — примолвила Евгения Петровна голосом растроганным.

Молодые люди упали на колени и получили благословение родителей Ольги, залог будущего блаженства своего на этом свете.

На другой день Кринский уехал в город отправить письмо к деду своему и подать по команде просьбу о позволении ему жениться. Через месяц он повел к алтарю свою невесту и сделался счастливым обладателем неоцененного сокровища: сердца чистого, которого каждое биение посвящено было любви и добру. Несколько офицеров, сослуживцев Кринского, и пять-шесть ближайших родственников и друзей семейства Реевых отпировали скромную свадьбу милой четы.

Кринский сделался ежедневным и почти исключительным спутником жены своей в ее благотворительных утренних прогулках. Уже он не ревновал к Феликсу Карловичу, но в случаях необходимых сам приглашал его сопутствовать ему и Ольге при посещении больных.

В городе потолковали об этой свадьбе, побранили Кринского, позавидовали Ольге — и замолчали. Зато зимою все удивились, когда в собраниях увидели молодую графиню, несколько пополневшую, с лицом свежим и цветущим, с ясным отпечатком домашнего блаженства в светлых взорах, с тою милою ловкостью и свободой обращения, которая чужда притязаний, кокетства и жеманства. Правильные черты лица ее, еще более украшенные полнотою и румянцем здоровья, прекрасные глаза, теплившиеся огнем души, и стройный, прелестный стан привлекали к себе взоры людей даже самых равнодушных; а молодые мужчины завидовали новобрачному столько же, сколько девицы завидовали новобрачной.

— Кто из нас выиграл заклад? — смеясь говорили друг другу те самые офицеры, гусарский и артиллерийский, которых мы подслушали в начале сего рассказа и которые теперь встретились в первом собрании, где явился Кринский с юною своею супругой.

— Я думаю, что я выиграл бы у вас, господа, если бы не посовестился тогда биться с вами об заклад,— сказал им случившийся тут пожилой провинциал, тоже старый наш знакомец.— Графиня была та самая девица, о которой я тогда намекнул.

— Но помните, почтеннейший Иван Яковлевич,— возразил гусар,— что, по словам вашим, эта девица была не пригожа; а графиня Кринская совершенная красавица.

— Ну, винюсь, она точно казалась мне тогда не красавицей; да признайтесь и вы, милостивые государи: кто из вас тогда ее заметил? Я знал ее образованный ум, потому что знаком коротко с отцом ее; узнал прекрасную ее душу, и то случайно, по болтливости старого их садовника; а что в этих впалых щеках, в этой бледной оболочке таилась будущая красавица, как бабочка в своей хрисалиде, этого я никак не подозревал,— прибавил старик со вздохом.

— Вы, кажется, любитель и ценитель красоты? — сказал ему артиллерист, лукаво улыбаясь.

— Да, сударь,— отвечал старик с жаром,— я люблю и красоту душевную, и красоту телесную; но совершенно согласен с любимым моим древним поэтом, что

*Gratior et pulchro in corpore veniens virtus.*

Этот стих когда-то в школе перевел я двумя, которые конечно гораздо слабее одного латинского. Как бы ни есть, вот они к вашим услугам:

И добродетель краше и милей,  
Когда является в прелестном теле.

— Я не знал, почтеннейший Иван Яковлевич, что вы поэт,— сказал ему гусарский офицер шутливым тоном.

— Да, был в молодости, в лета пылких мечтаний. Теперь я только холодный наблюдатель...

— Не совсем холодный,— подхватил артиллерист,— я подслушал однажды ваш пламенный разговор с Фелициатой Михайловной Нельской.

— Вы, молодые люди, все толкуете по-своему и измеряете степени тепла по термометру вашего сердца...

В эту минуту Нельская прошла мимо и ласковым взглядом подала знак пожилому провинциалу идти за



нею. С торопливостью юноши он поспешил исполнить ее волю и оставил своих собеседников, у которых на лицах отразилась лукавая улыбка.

— Этот старик Ясенеv суцый чудаk,— сказал артиллерийский офицер,— он побранивает Нельскую за глаза, а между тем увивается около нее и готов выполнять малейшую ее прихоть.

— Прошлого века старый юноша, запасной и бессменный женский угодник и воздыхатель, en un mot, un talon rouge suranné,\*— отвечал гусар.— Забавно только то, что он выдает себя за человека все знающего и отчасти даже за прорицателя.

— Да, и теперь хвалятся прошлогодним своим предсказанием. Впрочем, бог ведает, кого он разумел тогда в лице своей безымянной Ченерентолы. События отчасти его оправдали: ваш Кринский не женился ни на вдове Нельской, ни на Любви Витаевой; вот наш двуногой сфинкс Ясенеv для полного решения своей загадки и придумал теперь, будто бы тогдашний его намек относился к нынешней графине.

— Кто ж мог разгадать в скромной, застенчивой дворяночке, прятавшейся за людей и не заметной ни по наряду, ни по ловкости в обращении, эту прелестную, милую и ловкую даму, которую мы теперь видим?!

Разговор двух офицеров был прерван Любовью Витаевой, которая, выбрав гусара своим кавалером в одной из фигур котильона, увела его в круг танцовавших.

Через несколько недель городские вестовчики получили новую пищу для своих толков и пересудов, а люди добрые и чувствительные были вчуже огорчены трагическим происшествием. Тростняков, артиллерийский офицер, столь усердно выхвалявший Нельскую, был между тем влюблен до смерти в девицу Витаеву; Сливский, гусарский штабс-ротмистр и тогдашний его собеседник, также питал к ней пламенную страсть. Гордая и холодная красавица, заковывая сильнее и сильнее в свои цепи и не любя из них ни одного, вздумала разом отделаться от их исканий и принести их в жертву своему самолюбию. Для сего она старалась их тайно поссорить, вооружить друг против друга и из добрых приятелей умела сделать их смертельны-

---

\* Одним словом, старомодный придворный (фр.).

ми врагами. Коварный ее замысел удался вполне. Сливский и Тростняков стрелялись. Первый из них был смертельно ранен; второй также получил рану, но легкую. Перед смертью Сливского соперники примирились и вывели наружу все те змеинные узлы, которыми столь безжалостно опутала их хладнокровно-злая очаровательница. Молва об этом мгновенно разнеслась по городу, и Любовь Витаева сделалась басней и ужасом мирных семейств.

Граф Кринский посвятил искреннюю слезу сожаления праху доброго своего товарища, веселого, остроумного Сливского, провожая его в холодную могилу.

Тростняков, выздоровев от ран, с душевным раскаянием понес полагаемое законом наказание и был потом переведен в одну из дальних артиллерийских рот. Он радовался, что оставлял те места, где все напоминало ему убийство человека, которого некогда он любил и уважал.

Любовь Витаева, видев всеобщее к себе неблагорасположение, уговорила своих родителей переселиться в Москву. Там она строго перебирала женихов, может быть, перебирает их и теперь, пока, подобно *разборчивой невесте* в басне Крылова, не выйдет наконец за калеку.

С весною город \*\*\* наполнился новыми вестями и пересудами, но уже не столь печальными. Все заговорили о скором бракосочетании Фелициаты Михайловны Нельской с украшенным долгою днью Ясеныным. За неимением под рукою типографии, рукописные известительные карточки с розовым бордюром были разсланы женихом ко всем его знакомым; а знакомых его был полон город, включая в то число всех постоянных жителей и заезжих.

— Вот, батюшки мои! — выкрикнула за обедом у председателя гражданской палаты старая сплетница Чумина, явно неблаговолившая Нельской, — не говорила ли я еще в прошлом году, что наша хитрая лиса поймает-таки в свои когти этого лапчатого гуся, обещавшего волокиту Ясенева? что ж? ведь и вышло по моему!

— Да, матушка Фекла Евсеевна, — подхватила другая, подобная ей кумушка. — Мы таки с вами догадывались, что Фелициата Михайловна из того и билась, как бы замужеством поустроить свои дела да уплатить

долги. Не удалось ей подцепить графа Кринского; вот она и раскинула силки там, где лов понадежнее и поприбыльнее, и поймала, как вы преуморительно изволили его назвать, лапчатого-то гуся.

— И не ошиблася,— промолвил хозяин с деловою важностью.— По верному исчислению людей, знающих все имения и доходы помещиков здешней губернии, за Иваном Яковлевичем Ясеневым числится до двух тысяч душ; а с них и с суконной его фабрики получается чистого дохода до семидесяти тысяч.

— Прибавьте еще, батюшка Ермолай Власьевич,— сказал губернский землемер Тяпкин,— что у Ивана Яковлевича лежит в ломбарде не то двести, не то триста тысяч чистогану.

— Ахти, господи! — возгласила Чумина, всплеснув руками.— Ведь экое счастье этой ветренице. Тут и скромных, степенных девиц не знаешь, как пристроить...— При сих словах она взглянула на свою дочку, зрелую деву, которая мигом жеманно вытянула шею...— Ну, будет же чем сорить этой вертушке Нельской,— продолжала Чумина,— да коли уж на то пошло, так будет над чем и нам потешить языки свои.

— Будет, будет! — отозвалось хором все сборище вестовщиков и сплетниц.

Несмотря на сию весьма важную угрозу, через две недели и старые и молодые жители города получили розовые визитные карточки, на которых было написано: «Иван Яковлевич Яснев... Фелициата Михайловна Ясенева».

Степенная и снисходительная часть общества молча пожала плечами, а старички фаталисты набожно промолвили: «Знать, ему на роду так было написано!»

## ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Ореста Михайловича Сомова попытки собрания его художественной прозы не предпринимались. Произведения писателя никогда не выходили отдельными изданиями, и многие из них оказались затерянными в альманахах, ставших библиографической редкостью.

Современные публикации отдельных произведений О. Сомова стали появляться в 50-х годах — более чем через сто лет после смерти писателя. «Роман в двух письмах» вошел в состав сборника «Русская повесть XIX века 20-х—30-х годов». Т. 1.— М.— Л., 1950. Подготовка текста, вступ. ст. и примеч. Б. С. Мейлаха. В изданиях «Литературные памятники» появились повесть «Гайдамак» и анекдот «Французские чудачки» — в кн.: «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. Издание подготовили В. А. Архипов, В. Г. Базанов, Я. Л. Левкович.— М.— Л., 1960; повесть «Сватовство» — в кн.: Северные цветы на 1832 год. Издание подготовил Л. Г. Фризман, М., 1980. Повесть «Киевские ведьмы» включена в состав сборника «Русская романтическая повесть». Сост., вступ. ст. и примеч. В. И. Сахарова. М., 1980; «Русалка», «Оборотень», «Бродящий огонь», «Матушка и сынок» — в сборник «Русская романтическая повесть» (Первая треть XIX века). Сост., общ. ред., вступ. ст. и комм. В. А. Грихина. М., 1983. Впервые в отдельном издании проза О. Сомова собрана в кн.: С о м о в О. М. Были и небылицы. Сост., вступ. ст. и примеч. Н. Н. Петруниной. М., 1984. Произведения писателя перепечатывались и в зарубежных изданиях: рассказ «Приказ с того света» на русском языке опубликован в издании: Orest Somov. Selected prose in russian. The University of Michigan, 1974.

В настоящем издании помещены избранные произведения, разделенные на три цикла соответственно тому, как развивались творческие интересы писателя.

Автографы О. Сомова не сохранились. При текстологической подготовке использованы первые публикации в альманахах и «Литературной газете» 1830, 1831 годов, а также и упомянутый сборник: С о м о в О. М. Были и небылицы.

В текстах сохраняются особенности литературного языка того времени.

ГАЙДАМАК  
Малороссийская быль

Первая публикация: Звездочка на 1826 год.—СПб., 1825.— С. 47—80. Подпись: Сомов.

Весь тираж альманаха был конфискован после восстания 1825 года. По корректурным листам, оставшимся у Сомова, «Гайдамак» был опубликован в «Невском альманахе на 1827 год». — СПб., 1826. — С. 242—286 под псевдонимом: *Порфирий Байский*. Печатается по изданию: Сомов О. М. Были и небылицы. — М., Советская Россия, 1984 (Составление, вступительная статья и примечания Н. Н. Петруниной). В дальнейшем указ: по сб. «Были и небылицы».

С. 22. Эпиграф — начало 101-й строфы IV части поэмы И. П. Котляревского (1769—1838) «Энеида».

«..звонкими ворганами..» — Варган — музыкальный инструмент в виде железной полоски, согнутой в форме лиры, с прикрепленным к ней стальным язычком, издающим пронзительный звук. Варганы изготавливались цыганами-кузнецами.

«..в красных сафьянных чеботах».— Сафьян — козья или овечья кожа ярких цветов. Название происходит от города Саффи в Марокко, который экспортировал сафьян.

С. 23. «..под красную шапку..» — идти в солдаты.

С. 24. Добрый человек и скотов милует... — перефразированная 10-я притча 12-й главы «Книги притчей Соломоновых» («Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко»).

Эпиграф — из заключительной части «Думы о походе Хмельницкого в Молдавию» (опубликована М. Максимовичем в сб. «Малороссийские песни». — М., 1827. — С. 30—32). Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (ок. 1595—1657) — гетман Украины.

С. 25. *Каин* — по библейскому преданию сын Адама и Евы. Из зависти убил брата своего Авеля. За это проклят и изгнан.

..гайдамака Гаркушу. — Гаркуша Семен Иванович (1739—?) возглавлял повстанческие отряды в 70—80-е годы XVIII ст. Его неоднократно ссылали, клеймили, он убегал и снова наводил ужас своими дерзкими набегами на богатые усадьбы.

*Сеннахерим* — Сенахериб (Синахериб) (705—680 до н. э.), ассирийский царь. Предпринял поход на Иудею, осаждал Иерусалим.

...с этим проклятым моавитом! — Моавитяне — народ соседствующего с Израилем государства. Моавитяне воевали с израильянами в IX веке и свергли их господство.

...в толле этих назареев... — Назареи — христианская секта первых веков нашей эры. От имени Иисуса из Назареи.

...услужника Велиалова. — Велиал (Велиар) — в иудаистической

и христианской мифологии — дух небытия, лжи и разрушения, совращающий человека к преступлению.

С. 26. *горбан* — щипковый музыкальный инструмент, подобный кобзе и бандуре.

С. 29. ...*подсудок, подкоморий и возный* — заседатель, судья межевого суда, судебный пристав.

С. 30. *З низу Дніпра тихий вітер віє, повіває* — та же народная песня, которая цитируется в эпиграфе.

...*ее господаря Василя Лулулы...* — Лупу Василий — господарь Молдовы. (?—1661).

С. 34. Эпиграф — неточная цитата из 126-й строфы IV части «Энеиды».

## ГАЙДАМАК ГЛАВЫ ИЗ МАЛОРОССИЙСКОЙ ПОВЕСТИ Гл. I — III

Первая публикация: Северные цветы на 1828 год. — СПб., 1827. Подзаголовок: «Отрывок из малороссийской повести. Подпись: П. Байский. Печатается по сб. «Были и небылицы».

С. 38. ...*литомцев Фебовых...* — Феб — второе имя Аполлона, покровителя искусств.

С. 39. *Галлица* — проволочный крючок.

*Кунтуш* — верхняя женская и мужская одежда со шнурами и откидными рукавами.

...*настоенным в вине сандалом.* — Сандаловое дерево, древесину его употребляли для окраски тканей.

*Гудок* — род скрипки без боковых выемок, с плоским дном.

С. 40. ...*танцуют экосезы...* — Экосез — старинный шотландский народный танец. В XVIII веке стал бальным танцем.

*Филижанка* — чайная чашка.

С. 49. *Дукат* — серебряная или золотая монета; чеканилась во многих странах Европы.

С. 50. ...*надеть лучшую их однорядку...* — Однорядка — долгополый кафтан без ворота.

С. 58. ...*точил балы...* — точить лясы, балясы — вести пустой забавный разговор.

С. 59. *Корчма* — трактир с постоянным двором.

С. 60. ...*не имею.. надежного притана.* — Притин — пристанище.

## ГЛАВА XIX — XXI

Первая публикация: Сын отечества. — 1829; — № 23. — С. 133—150; № 24. — С. 197—213; № 25. — С. 261—273. Заглавие: «Отрывок из

малороссийской повести «Гайдамак». Подпись: *Порфирий Байский*. Печатается по сб. «Были и небылицы».

С. 62. Эпиграф — из сб. «Малороссийские песни» М. Максимовича (кн. 3, L XIX).

*Форейтор* — верховой на одной из лошадей, запряженных цугом. ...*напогодбие кивера*...— Кивер — высокий головной убор в русской и иностранных армиях в XIX в.

С. 69. *Присошка* — подпорка.

С. 70. Эпиграф — из сб. «Малороссийские песни» (кн. 4, № 18). Есть разночтения.

*Обронный* — чеканный.

С. 72. ...*Стих о убогом Лазаре*...— создан на основе евангельской притчи о бедности, вознагражденной в загробном мире. Выражение «петь Лазаря» стало синонимом заунывного причитания нищих.

С. 74. *Потазать* — потузить, поколотить.

С. 77. ...*угти на правеж*...— Правеж — взыскание денег с истязанием.

С. 83. *Наветкой* — намеком.

## ГЛАВА XXVII. НОЧЛЕГ ГАЙДАМАКОВ

Первая публикация: Денница на 1830 год.— М., 1830.— С. 67—88. Подзаголовок: «Из малороссийской повести: «Гайдамак». Подпись: *Порфирий Байский*. Печатается по сб. «Были и небылицы».

С. 85. Эпиграф — из песни «Зловещий сон казака». С текстом, опубликованным в сб. «Малороссийские песни», есть разночтения.

С. 88. ...*гордого морлака*...— Морлаки — народность.

*Гайдук* — ратник, воин.

...*турецких беев и аянов*...— титул и должностной чин.

## КУПАЛОВ ВЕЧЕР

Первая публикация: Литературная газета, 1831.— Т. 3.— № 23.— С. 183—184. Подпись: *Порфирий Байский*.

Печатается по тексту первой публикации.

С. 93. ...*веровали Перуну, Купалу, Велесу и Золотой бабе*...— В славянской мифологии Перун — бог грозы, грома; Купала — главный персонаж праздника летнего солнцестояния; Велес (Волос) — покровитель домашних животных.

...*толкнул богцем*...— Бодец — шпора.

С. 94. ...*указала на огну ставку*...— Ставка — палатка, шатер.

...*День Коляды* — в славянской мифологии — воплощение новогоднего цикла.

### БРОДЯЩИЙ ОГОНЬ

Первая публикация: Альциона на 1832 год.— СПб., 1831.— С. 153—156. Подпись: *Порфирий Байский*. Печатается по тексту первой публикации.

...*касожских*...— Касогами называлось племя, жившее на Северном Кавказе.

### КИЕВСКИЕ ВЕДЬМЫ

Первая публикация: Новоселье, 1833 год.— С. 331-359. Подпись: *Порфирий Байский*.

Печатается по тексту первой публикации.

С. 104. ...*танцевали польский*...— *Польский* — устаревшее название полонеза.

С. 107. *Гаерство* — шутовство.

### НЕДОБРЫЙ ГЛАЗ

Первая публикация: Утренняя звезда.— М., 1833.— С. 3—13. Подпись: *Порфирий Байский*.

Печатается по тексту первой публикации.

С. 111. *Шинок* — питейное заведение, род кабака.

### РУСАЛКА

Первая публикация: Подснежник на 1829 год.— СПб., 1829.— С. 59—84. Подпись: *Порфирий Байский*. Печатается по сб. «Были и небылицы».

### ЮРОДИВЫЙ

Первая публикация: Северные цветы на 1827 год.— СПб., 1827.— С. 159—217. Подпись: *Порфирий Байский*. Печатается по сб. «Были и небылицы».

С. 124. *Юродивый* — безумный от рождения. Народ считал юродивых «божьими» людьми и часто усматривал глубокий смысл в их поступках.

С. 128. ...*отделаться медным лбом*.— Медный лоб — бесстыжий, нахальный.



...песнь о блудном сыне...— Блудный сын — персонаж евангельской притчи.

С. 133. *Котильон* — французский бальный танец, включает вальс, мазурку и др. танцы.

С. 139. *Шнеллер* — спуск в ручном огнестрельном оружии.

## СКАЗКИ О КЛАДАХ

Первая публикация: Невский альманах на 1830 год.— СПб., 1829.— С. 1—154. Подпись: *Порфирий Байский*. Печатается по сб. «Были и небылицы».

С. 144. *Нимврод и король Дагоберт...*— Нимврод, мифологический богатырь, и Дагоберт, герой юмористической французской песенки, слылы страстными охотниками.

С. 146. *Гетманские универсалы* — документы распорядительно-административного характера.

*Уставчатая рукопись* — рукопись, писанная уставным письмом.

...сказками о Соловье-разбойнике, о Семи мудрецах и о Юноше...— пересказ былины киевского цикла об Илье Муромце и Соловье-разбойнике и переводной повести.

С. 148. ...*рукописей геркуланских...*— рукописи, обнаруженные при раскопках города Геркуланума, засыпанного пеплом одновременно с Помпеей при извержении Везувия в 79 г. н. э.

С. 150. ...*не в семилетнюю войну...*— война 1756—1763 гг. между Францией, Россией, Испанией, Швецией с одной стороны и Пруссией, Великобританией — с другой.

С. 156. *Аргмак* — породистая верховая лошадь.

С. 165. ...*не сделав прорвы...*— Прорва — прорыв, пролом.

*Вербное воскресенье...*— воскресенье, предшествующее Пасхе.

С. 167. *Фашинник* — связки прутьев, хворосту.

## ОБОРОТЕНЬ

Первая публикация: Подснежник на 1829 год: СПб., 1829.— С. 189—225. Подпись: *О. Сомов*. Печатается по сб. «Были и небылицы».

С. 205. *Корсары, Пираты, Гяуры* — герои поэм Д. Г. Байрона (1788—1824).

...*Ренегаты и даже Вампиры...*— Ренегат — герой одноименного романа Ш. В. Прево д'Арленкура (1789—1856); Вампир — герой повести Д. В. Полюдори (1795—1821).

С. 208. ...*лахнут торговой казнью...*— Торговая казнь — публичное наказание, учрежденное в России в XV в.; производилось на торговой площади. Отменена в 1845 г.

С. 210. ...*статимо ли дело!* — Статимо — возможно.

С. 216. *Чельшко* — лучший, первосортный.

*Антигот* — противоядие.

## КИКИМОРА

Первая публикация: Северные цветы на 1830 год.— СПб., 1829.— С. 182—215. Подпись: О. Сомов. Печатается по сб. «Были и небылицы».

С. 217. *Кикимора* — род домового, который по ночам прядет и проказит, а днем сидит за печкой.

...*разной... богатели...*— предметы домашнего имущества.

С. 219. *Ражий* — дородный, плотный.

С. 221. *Тавлинка* — табакерка из бересты.

С. 225. *Иверни* — щепки, черепки, осколки.

## СКАЗКА О МЕДВЕДЕ КОСТОЛОМЕ И ОБ ИВАНЕ, КУПЕЦКОМ СЫНЕ.

Первая публикация: Царское село на 1830 год.— СПб., 1829.— С. 148—156. Подпись: О. Сомов. Печатается по сб. «Были и небылицы».

С. М. *Дельвиг* — жена А. Дельвига (1798—1831). Сказка посвящена в день рождения С. М. Дельвиг 27 сентября.

С. 229. ...*рукава красной александрийской своей рубашки.*— *Александрейка* — красная бумажная ткань с пропиткой другого цвета, из которой шили крестьянские рубахи.

## СКАЗКА О НИКИТЕ ВДОВИНИЧЕ

Первая публикация: Русский альманах на 1832 и 1833 годы.— СПб., 1832.— С. 329—356. Подпись: О. Сомов. Печатается по сб. «Были и небылицы».

С. 231. ...*в царевом кружале...*— Кружало — питейный дом, кабак.

С. 232. ...*склад их в запол...*— под полу.

С. 233. ...*ни шкнет...*— шкнуть — шикнуть, пикнуть, подать голос.

С. 242. ...*га камки горогие...*— Камка (камча) — шелковая китайская ткань с разводами.

## СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ УКРОМЕ-ТАБУНЦИКЕ

Первая публикация: Невский альманах на 1830 год.— СПб., 1829.— С. 408—413. Подпись: Сомов. Печатается по сб. «Были и небылицы».

## В ПОЛЕ СЪЕЗЖАЮТСЯ, РОДОМ НЕ СЧИТАЮТСЯ

Первая публикация: Русский альманах на 1832 и 1833 годы.— СПб., 1832.— С. 226—229. Подпись: Сомов. Печатается по сб. «Были и небылицы».

С. 248. *Шатры мурзовецкие* — татарские (восточные).

## АЛКИД В КОЛЫБЕЛИ

Первая публикация: Альциона на 1832 год.— СПб., 1832.— С. 157—159. Подпись: О. Сомов. Печатается по сб. «Были и небылицы».

С. 249. *Алкид* (Геракл) — в греческой мифологии сын Зевса и смертной женщины Алкимены. Ревнивая Гера (Юнона), жена Зевса, послала к колыбели младенца двух змей, но он задушил их. Восемнадцати лет он убил киферонского льва, опустошавшего окрестности. В припадке безумия, которое наслала на него Гера, он убил своих детей. В изгнании в Дельфах получает имя Геракл и приказ двенадцать лет служить царю Тиринфа и Микен Еврисфею и совершить десять подвигов. Совершает двенадцать подвигов и получает бессмертие.

...*Младенец Алкимены*...— В греческой мифологии Алкимена — жена тиринфского царя Амфитриона, который за неумышленное убийство тестя был изгнан из Микен. В его отсутствие Зевс, привлеченный красотой Алкимены, явился к ней в облике Амфитриона. Пока длилась их брачная ночь, солнце трое суток не поднималось над землей. У Алкимены родились сыновья: Ификл от мужа и Алкид от Зевса.

...*гидры Лернейской*...— Геракл убил Лернейскую гидру, которая похищала скот и опустошала окрестности Лерны. Считалась непобедимой, т. к. вместо отрубленной головы у нее вырастали три новые.

...*льва Немейского*...— Совершая первый подвиг, Геракл задушил Немейского льва.

...*разбойника Какуса*...— В римской мифологии Какус — чудовище, изрыгающее огонь; он похитил стадо быков и спрятал в своей пещере. Геракл убил Какуса и отобрал стадо.

...*агского пса Цербера*...— В греческой мифологии — Цербер (Кербер) — страж Аида, — чудовище с тремя головами и туловищем, усеянным головами змей. Геракл связал и вывел из Аида Цербера, чуть не задушив его. По приказу Еврисфея возвратил его на прежнее место.

## ПРИКАЗ С ТОГО СВЕТА

Первая публикация: Литературный музей на 1827 год.—СПб., 1827.—С. 165—223. Подпись: Сомов. Печатается по тексту первой публикации.

...Лангсам — от *langsam* (нем.) — медленный.

С. 254. Тринк-гельд — от *trinken* (нем.) — пить и *Geld* (нем.) — деньги.

С. 256. ...служу гаус-кнехтом... — от *Haus* (нем.) — дом и *Knecht* (нем.) — работник.

С. 257. ...план Люценского дела.— Имеется в виду сражение русских и прусских войск в кампанию 1813 г. около Люцена с наполеоновской армией.

С. 259. ...князю Рейсу сорок осьмому.— Титул князя в германском княжестве Рейсс. С 1668 г. было определено, чтобы все мужчины дома Рейсс носили имя Генрих. По старшей линии велся счет до ста, после чего начинался сначала.

...из романа Шписова — т. е. романа немецкого писателя Х. Г. Шписа (1755—1799) «Замок Фредерика Барбароссы, близ Гельнгаузена».

С. 260. ...Фредерику Барбароссе.— Фридерик I Барбаросса (1152—1190) — император Германии из династии Штауфенов.

Сивиллинские ответы... — торжественные, таинственные, прорицательские. От имени Сябиллы (Сивиллы) — в греческой мифологии — прорицательницы.

С. 261. ...романы Августа Лафонтена.— Август Лафонтен (1758—1831) — немецкий писатель, автор сентиментально-семейных романов.

С. 264. ...взбил волосы тупеем — род прически.

С. 265. ...как шерсть на шпанском баране... — Шпанский (испанский) — особая порода овец.

С. 266. ...Герман, которого... переименовали Арминием... — Арминий (Армин) (16 или 18 г.—19 или 21 г. до н. э.) — вождь германских племен, возглавивший восстание против римлян.

## ВЫВЕСКА

Первая публикация: Невский альманах на 1829 год.—СПб., 1828.—С. 46—128. Подпись: О. Сомов. Печатается по сб. «Были и небылицы».

С. 270. ...чувствительное путешествие во вкусе женева Верна... — Франсуа Верн де Люз (1765—1834) — швейцарский писатель, автор сентиментальных путешествий.

С. 270. ...наклон ее тока...— Ток — женский головной убор.

С. 271. ...рука покойной г-жи дю-Фан...— Маркиза Дюдефан (1697—1780) — хозяйка парижского салона, где бывали философы-просветители. Известна перепиской с Вольтером, д'Аламбером, Монтескье. Слепла в 56 лет.

*Эдуард Гиббон* (1737—1794) — английский историк. Автор намекает на исторический анекдот, в котором высмеивается тучность Гиббона: якобы потрогав, по обыкновению слепых, лицо гостя, маркиза Дюдефан не поверила, что это лицо, и оскорбилась.

...штiblеты дикого казимира...— суконные или кожаные голенища на крючках или пуговицах. Казимир — полусукно с косой ниткой.

С. 276. Голубиные крылышки — прическа.

С. 277. А-ла Титюс — прическа.

С. 278. ...фениксом своего училища...— феникс в греческой мифологии волшебная птица великолепной окраски красно-золотых огненных тонов. Предвидя конец, Феникс сжигал себя и возрождался из пепла.

С. 280. ...с нашими Буфлерами, Доратами, Леонарами...— Буффлер Станислав (1737—1815), Дорат Клод Жозеф (1734—1780), Леонар Никола Жермен (1744—1793) — французские поэты.

С. 283. ...десятка три наполеондоров...— Наполеондор — золотая монета.

С. 285. ...сам Великий Могол...— Великие Моголы — название, данное европейцами династии, правящей в Индии в XVI — XVIII в.

...возвратимся крезами...— Крез (595—546 до н. э.) — последний царь Лидии. Богатство Креза вошло в поговорку.

С. 291. ...в ольстрах его сегла...— в кобуре.

## СТРАННЫЙ ПОЕДИНОК

Первая публикация: Подснежник на 1830 год.— СПб., 1830.— С. 147—177. Подпись: О. Сомов (Первый вариант публиковался в журнале «Благонамеренный».—1826.— Ч. 34. № 7.— С. 24—44. Печатается по сб. «Были и небылиц».

С. 302. ...в поношенном рединготе...— редингот — длинный сюртук особого покроя, употребляется для верховой езды.

С. 303. ...от одного тамбур мажора...— Тамбур мажор — унтер-офицер, руководящий в полку командой барабанщиков и горнистов.

С. 308. ...катоновский его ригоризм.— Катон Старший, Марк Порций (234—149 г. до н. э.) — римский писатель, историк и государственный деятель. Создал энциклопедию, написанную в виде наставлений сыну.

С. 311. ...вырвался из Шарантона.— Шарантон — ле-Пон — город

недалеко от Парижа, в котором находилось известное психиатрическое заведение.

### СТРАШНЫЙ ГОСТЬ

Первая публикация: Литературная газета, 1830 г.— Т. II.— № 44.— С. 57—61. Подпись: О. Сомов. Печатается по тексту первой публикации.

С. 315. *...Гамлет в русском переводе В-ка.*— Перевод Вронченко Михаила Павловича (1802—1855) трагедии Уильяма Шекспира (1564—1616) «Гамлет» был напечатан в России в 1828 году.

### САМОУБИЙЦА

Первая публикация: Литературная газета, 1830 г.— Т. II.— № 52—56. Подпись: О. Сомов. Печатается по тексту первой публикации.

С. 326. *Теперь он земским...*— Земский — лицо, занимающее судебно-административную должность.

*Тут были Четья-Минея, Пролог, Патерик Печерский...*— Четьи-Минеи (чтения ежемесячные) — собрание житий святых, сказаний, легенд, поучений для ежедневного чтения; Пролог — сборник кратких изложений житий святых, патериковых легенд, назидательных рассказов, расположенных по месяцам и дням; Патерик Печерский — сборник нескольких самостоятельных произведений о святых подвижниках.

*...перевод Телемака...*— Имеется в виду роман «Похождения Телемака» Франсуа Фенелона (1651—1715).

*...томы жития Клевеланда, сына Кромвелева, Апофегмата..., Лесажев Жилблз...* Клевеланд — герой романа Антуана Франсуа Прево д'Экзиль (1697—1763) «Английский философ, или История Кливленда, незаконного сына Кромвеля, им самим написанная»; Апофегматы — старинные сборники остроумных и нравоучительных изречений, назидательных рассказов; Жилблз — роман Ален Рене Лесажа (1668—1747) «История Жиль Блаза из Сантьяны».

С. 327. *...Энеидой наизнанку Осипова...*—«Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку» Осипова Н. П. (1751—1799).

С. 347. *...плисовые сапоги.*— Плис — хлопчато-бумажный бархат. *...по целой дести бумаги...* Десть — мера писчей бумаги (24 листа).

### ПОЧТОВЫЙ ДОМ В ШАТО-ТЬЕРРИ

Первая публикация: Литературная газета, 1830.— Т. I.— № 20.— С. 155—158; № 21.— С. 163—166; № 22.— С. 171—172. Подпись: О. Сомов. Печатается по тексту первой публикации.

С. 363. Жан Лафонтен (1621—1695) — французский поэт, баснописец.

С. 363. ...как в Ипполитовой колеснице.— Согласно греческой мифологии, оклеветанный мачехой и проклятый отцом Ипполит погиб, растоптанный собственными конями.

С. 363. ...верный мой Терамен...— Терамен — наставник Ипполита в трагедии Ж. Расина (1639—1699) «Федра», где использован миф об Ипполите.

С. 364. Канифас — прочная льняная полосатая ткань.

С. 365. ...двадцатифранковых монет на пятьсот ливров...— Ливр — серебряная французская монета в XVIII веке.

С. 367. ...разорвал сей гордиев узел...— т. е. разрешил противоречия, проблему. Согласно легенде Александр Македонский разрубил сложный узел, завязанный мифологическим царем Фригии Гордием. Считалось, что тот, кто развяжет узел, станет поводителем всей Азии.

С. 367. ...аббатами Де л'Эле и Сикаром...— Эпе Шарль Мишель (1712—1789) — основатель учебного заведения для глухонемых. Его преемник — Сикар Рож Амбруаз (1742—1822).

С. 368. Аспидная доска — грифельная доска.

С. 370. ...по конскрипции угти в военную службу...— Конскрипция — система комплектации армии на основе воинской повинности, допускающей выкуп.

С. 375. ...где за 180 лет Густав Агольф...— Густав II, Адольф — король Швеции (1594—1632). По политическим и религиозным мотивам принял участие в тридцатилетней войне (1618—1848). Погиб в битве у Люцена.

## ИСПОЛИНСКИЕ ГОРЫ

Первая публикация: Литературная газета, 1830.— Т. II.— № 69.— С. 263—267; № 70.— С. 271—273; № 71.— С. 179—181; № 72.— С. 287—290. Подпись: О. Сомов. Печатается по тексту первой публикации.

С. 383. Гном Рюбецаль...— В германской мифологии — горный дух, воплощение стихийных бедствий в горах. Являлся в виде серого монаха, помогал добрым и заманивал в пропасть злых.

С. 385. ...Королева Любуша была дочь Кракуса II...— По сведениям летописца, первым князем чехов был Крок. Его дочь Любуша вышла замуж за простого пахаря Премысла.

С. 387. ...о маме Федры, о козе Амалфее, вскормившей Юпитера, о Барцее, няне Дигоны, или маме покойного супруга ее Сихея, и о Кентавре Хироне, который тоже служил вместо няни Ахиллу...— Федра — в греческой мифологии — жена афинского царя Тесея, влюбившаяся в пасынка Ипполита и оклеветавшая его (см. прим.

к с. 363); Юпитер — в римской мифологии — верховный бог. Соответствует греческому Зевсу. Рог изобилия — рог козы Амалфен; Дидона — в римской мифологии — царица, основательница Карфагена, вдова Сихей, взошла на костер и сожгла себя, по одной версии — храня верность мужу, по другой — не выдержав разлуки с Энеем. Ахилл (Ахиллес) — в греческой мифологии — герой Троянской войны, сын Фетиды, отдан был на воспитание мудрому кентавру Хирону.

С. 388. ...потомки Амадисов, Эспландианов, Галаоров...— Амадис Гальский — герой рыцарских романов, очень популярных в Европе и имевших многотомные продолжения. Старейшие романы об Амадисе состоят из 14 книг. Героем одного из продолжений был сын Амадиса — Эспландиан. Автор иронизирует над образами рыцарских романов.

С. 390. ...на немецком ли языке, и руническими ли... буквами...— Рунические письмена — древние письмена скандинавских рукописей.

С. 395. ...в гревней Лютеци...— Lutetia Parisiorum — древнее название Парижа.

С. 398. ...на ипогрифах, на рабиканах, воздушных конях...— Ипогриф — крылатый конь в рыцарской поэме «Влюбленный Роланд» Маттео Боярдо (1441—1494).

С. 399. ...что Винкельман высказал нам...— Иоганн Винкельман (1717—1768) — основатель археологии античного искусства. Автор *Истории античного искусства*.

## СВАТОВСТВО

Первая публикация: Северные цветы на 1832 год.— СПб., 1831.— С. 150—240. Подпись: О. Сомов. Печатается по сб. «Были и небылицы».

Эпиграф — начало 81-й строфы 3-й главы «Энеиды» И. Котляревского.

С. 414. ...в чине 9-го класса...— в чине титулярного советника.

...чин ассессорский, толико вожделенный...— Ассессор — чин 8-го класса. Цитируется сатирическая «Элегия» А. Н. Нахимова (1782—1814), написанная по поводу указа об экзаменах на гражданские чины.

С. 415. ...в гродетуровой... рясе...— Гродетур — плотная ткань типа тафты с особым переплетением нити.

...в светло-зеленом камчатном полукафтаны...— Камчатный — из ткани, подобной камке (камче). См. прим. к с. 242.

Куликать — пьянствовать, напиваться.

И любят хлопотать, где их совсем не просят.— Заключительный стих басни И. А. Крылова (1769—1844) «Муха и дорожные».



С. 420. *Поезжаные* — участники свадебного поезда — процессии, в которой жених по обряду направляется к невесте.

С. 423. *...алые персты гревней Авроры.*— Аврора — в римской мифологии богиня утренней зари.

С. 426. *...заморские контратанцы* — французский танец кадриль.

С. 429. *...против презорства...*— Презорство — высокомерие, надменность, кичливость.

С. 431. *Шушун* — кофта или короткая пубка с перехватом в талии из холста или домашнего полотна.

С. 432. *...Лаван выдал обеих дочерей своих за Иакова...*— По ветхозаветному преданию Иаков взял в жены двух дочерей своего дяди Левана, отслужив ему за каждую по семь лет.

С. 437. *...о мудрейших: Давиде и Соломоне...*— Давид — царь Иудеи, Соломон — его сын, славился мудростью. Автор библейской «Книги притчей Соломоновых» и «Песни песней».

*...о сильнейшем из смертных — Сампсоне.*— Самсон, по библейским преданиям, обладал необычной физической силой. Он раскрыл секрет своей силы Далиле и был предан ею.

С. 438. *Овидий* — Публий Овидий Назон (43 до н. э.— ок. 18 н. э.) римский поэт.

*...том элог Сумарокова...*— Сумароков А. П. (1717—1777) — русский писатель, представитель классицизма.

## ПЛЕННЫЙ ТУРОК

Первое издание: Литературная газета, 1831.— Т. III.— № 23.— С. 186—188. Подпись: О. С-в. Печатается по тексту первой публикации.

С. 443. *...когда молодой Каменский...*— Каменский Николай Михайлович (1778—1811) — генерал, главнокомандующий молдавской армией.

С. 444. *...как будто одалыку...*— Одалиска — рабыня или прислужница в гареме.

С. 446. *...род гусарского доломана...*— Доломан — мундир, к которому пристегивается ментик.

## РОМАН В ДВУХ ПИСЬМАХ

Первая публикация: Альциона на 1832 год.— СПб., 1832.— С. 191—254. Подпись: О. Сомов. Печатается по сб. «Были и небылицы».

С. 447. *...я гелаясь буколическим поэтом...*— Буколический поэт — создающий идиллии и пасторали.

**К пенатам моим...**— Пенаты в римской мифологии — боги, покровители домашнего очага. «К пенатам» означает: в родной дом.

**...на Афонскую гору?** — Афонская гора находится в Греции, на ней расположено множество монастырей. Является местом паломничества.

**С. 448. ...переплываю этот стосажженный Геллеспонт...**— Геллеспонт — древнее название Дарданельского пролива. Байрон переплыл его и написал об этом в своих стихах.

**...Геро, которая ждала бы... своего Леандра...**— Упоминается миф о том, как юноша Леандр, влюбившись в жрицу Афродиты — Геро, каждую ночь переплывал Геллеспонт. Однажды в бурю погас огонь, который зажигала Геро, и Леандр утонул. Увидев тело любимого, Геро бросилась с башни маяка в море.

**...в ожидании Петрова дня...**— праздник апостолов Петра и Павла 29 июня ст. ст.

**...моего четвероногого Мельмота...**— Мельмот — собака, названная именем героя романа Чарльза Роберта Мэтьюрина (Мэтьюрина) (1782—1824) «Мельмот-скиталец».

**С. 450. ...подобно Тришке...**— Тришка — персонаж басни И. А. Крылова «Тришкин кафтан».

**С. 451. ...имеешь Владимира в петличке...**— Владимир — орден Св. Владимира.

**С. 451. ...Кухенрейтерское ружье** — ружье, получившее название от имени оружейного мастера.

**С. 452. ...подобию египетских термов...**— В римской мифологии — Термин — божество границ. Большой камень, устанавливавшийся в качестве межевого знака.

**С. 453. ...Ружье-то было Лазаря Лазаринова...**— Лазарь Лазаринов — оружейный мастер.

**С. 454. ...вытрусь тройником...**— Тройник — крепкая водка.

**С. 456. ...роюсь в письмовнике.**— Письмовик Н. Г. Курганова (1725—1796) — грамматика и собрание анекдотов, песен, поговорок.

**...папушки — не из аркадских.**— Аркадия — идиллическая страна.

**С. 457. ...Монастырка из Смольного** — воспитанница института благородных девиц при Смольном монастыре.

**С. 458. Омнибус** — многоместная карета в конном общественном транспорте.

**С. 459. ...франтов или... петиметров...**— Петиметр — щеголь.

**С. 460. Дагобер** — король франков VII века.

**Ангажировать** — приглашать на танец.

**С. 461. Французик из Бордо** — персонаж комедии А. С. Грибоедова (1795—1829) «Горе от ума».

**Шепетко** — аккуратно, модно.

Каньза — деталь модного фасона женского платья.

С. 462. ...в ...ярко-планшевых панталонах... — Бланжевый — телесного цвета.

С. 465. ...не меньше семипядной пищали... — Пищаль — старинное огнестрельное оружие.

С. 466. ...жгал Покрова... — Покров — праздник Пресвятой Богородицы, 1 октября ст. ст., традиционное время свадеб.

С. 471. Цицерон — Марк Тулий Цицерон (106~43 до н. э.) — римский политический деятель, оратор и писатель.

## МАТУШКА И СЫНОК

Первая публикация: Альциона на 1833 год. — СПб., 1833. — С. 128—186. Подпись: О. Сомов. Печатается по сб. «Были и небылицы».

Эпиграф из комедии Н. И. Хмельницкого (1789—1845) «Школа женщин».

С. 472. ...мон киор, ма-шер и се сюперб... — душенька, моя дорогая, это великолепно.

«Войди в чертог ко мне золотой» и «Желанья наши совершились» — арии, ставшие популярными романами. В литературе нач. XIX в. упоминание о таком репертуаре символизировало провинциальные вкусы.

И книжного ума брагатый продавец — строка из сатиры В. М. Милонова (1792—1821) «К Луказию».

С. 473. «Повесть о двух турках», похождения маркиза Г\*\*\*, Соевзграла, Ваньки Каина, «Полночный колокол», «Пещеру смерти», романы и повести Коцебу... «Твердость духа», «Храм славы», «Путешествие в Малороссию», «Гамлета»... — Книги характеризуют круг чтения провинциальной публики. Среди них — и плутовские романы, и романы тайн и ужасов, и сентиментальные нравоучительные повести, и переводные повести о Бове Королевиче и Еруслане Лазаревиче, вошедшие в устно-поэтическую традицию. Упоминается произведение П. И. Шаликова (1767—1852) — автора «Путешествие в Малороссию».

С. 473. ...подобно Богатонову... — Богатонов — герой комедии М. Н. Загоскина (1789—1852) «Богатонов, или Провинциал в столице», который подбирал книги по внешним признакам.

Однако я клянусь моим пермесским богом... — цитата из «Причудницы» И. И. Дмитриева (1760—1837).

С. 474. ...не была толковитее «Оды в громко-нежно-нелепо-новом вкусе» — ода П. П. Сумарокова (1765—1814).

С. 476. ...старинную историю о разорении Трои, столичного града

*Фригийского царства*. Имеется в виду роман итальянского писателя Гвидо де Колумна, жившего в XIII веке.

С. 477. *Аграмагт, Сакрипант* — персонажи рыцарской поэмы «Влюбленный Роланд» М. Боярдо.

...от инфимы и синтаксимы до богословия — классы бурсы.

С. 479. ...*Socrates*... — Сократ (470—399 до н. э.), древнегреческий философ.

...превосходит лепотою Юдифь и Вирсавию, целомудрием Сусанну и гщерей Лотовых, мудростию ж Эсфирь и царицу Савскую! — Юдифь, по ветхозаветной апокрифической традиции, спасла свой город, очаровав полководца Олоферна и убив его; Вирсавия, по ветхозаветному сказанию, поразила красотой Давида, он женился на ней, отправив мужа на верную гибель; Сусанна, в апокрифической традиции, благочестивая жена, была оклеветана, но честь ее восстановлена мудрым царем Даниилом; дочери Лотovy были пощажены во время гибели Содомы и Гоморры в награду за целомудрие; Эсфирь, по иудаистической мифологии, мудростью спасла свой народ от избияения, склонив на свою сторону Артаксеркса; царица Савская — по библейским сказаниям, царица Сабы, известная своей мудростью.

...сахарною сытою... — родом сиропа.

...пиитику Аполлоса, логику Баумейстера. — Аполлос (А. Д. Байбаков) (1745—1801) — автор книги «Правила пиитические в пользу юношества»; Баумейстер Фридрих Христиан (1708—1785) — немецкий философ, автор учебника логики, переведенного в России.

С. 480. *Берейтор* — обучающий верховой езде и объезжающий лошадей.

...тут были имена Вольтера, Дигерота, г'Аламбера, Мопертюи, Шамфора, Лагарпа и пр... — М. Ф. Аруэ Вольтер (1694—1778), Дени Дидро (1713—1784) — французские философы и писатели; Жан д'Аламбер (1717—1783) — французский философ и математик; Пьер Луи Моро де Мопертюи (1689—1759) — французский физик и астроном; Никола Себастьян Шамфор (1741—1794) — французский писатель-моралист; Жан Франсуа де Лагарп (1739—1803) — французский драматург и теоретик литературы.

С. 481. *Плат-гейч* — немецкий диалект.

С. 481. ...по серинетке... — Серинетка — приспособление для обучения птиц пению.

С. 482. ...с широкими плерезами... — Плерезы — белые нашивки на черном траурном платье.

С. 483. *Откройся мне, о милый сын природы!* — цитата из эпиграммы А. С. Пушкина (1799—1837) и Е. А. Баратынского (1800—1844) на П. И. Шаликова.

...наши Стерно-Вергеры... — ироническое соединение имен зачина-

теля сентиментализма Лоренса Стерна (1713—1868) и героя романа Иоганна Вольфганга Гете (1749—1832) «Страдания молодого Вертера».

С. 484. ...*произведенный... в походные менторы...*— Ментор — воспитатель Телемака в «Одиссее» Гомера. Имя стало нарицательным.

...*говоря поэтическим языком Тредьяковского...*— В. К. Тредьяковский (1703—1768) — русский писатель, автор работы «Новый и краткий способ к сложению российских стихов». Тяжеловесность его языка и стиха позднее вызывали иронию.

С. 485. ...*толпа фараонитов...*— Фараониты — цыгане, от названия цыганского села в Бессарабии — Фараоновка. В этом отрывке пародируется «Путешествие в Малороссию».

С. 487. ...*Островом Калипсы...*— Нимфа острова Оигии, полюбив Одиссея, удерживала его семь лет.

С. 490. ...*«Вигения в Пиренейском замке»...*— многотомный популярный в России переводной роман. Авторство приписывалось А. Радклиф (1764—1823).

С. 491. ...*Дюкре Дюминиль...*— Франсуа Гильом Дюкре — Дюминиль (1761—1819) — автор популярных в России романов.

С. 494. ...*пора Овидиевых превращений...*— Публий Овидий Назон (43 до н. э. — 18 н. э.) — римский поэт, автор поэмы «Метаморфозы», в которой использованы мифы о превращениях богов и людей в животных, в созвездия, растения и т. п.

...*как Ахелой...*— Ахелой — бог одноименной реки, мог принимать любой образ.

С. 495. ...*последователи Амадисов, Эспландианов, Галаоров...*— Галаор — брат Амадиса Гальского. См. прим. к с. 388.

## ЭПИГРАФ ВМЕСТО ЗАГЛАВИЯ

Первая публикация: Комета Белы на 1833 год.— М., 1833.— С. 44—152. Подпись: О. Сомов. Печатается по тексту первой публикации.

С. 499. ...*Киса* — сума.

С. 501. ...*как Оссиановская тень перед гурией Магометова рая.*— Образы опубликованных Дж. Макферсоном (1736—1796) «Сочинений Оссиана» проникнуты духом мечтательности, лиризма и меланхолии; гурии — вечно юные девы ослепительной красоты, по учению корана, служат наградой правоверным в раю Магомета.

С. 506. ...*на мраморных граций Кановы...*— Антонио Канова (1775—1822) — итальянский скульптор. Среди изваянных им скульптур большое место занимают скульптуры на мифологические темы.

С. 509. ...*сделалась точно Армигой или феей Морганой...*— Арми-

да — героиня поэмы Т. Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим». Она очаровала Ринальдо и увезла его на свой остров в волшебные сады... Фея Моргана — сестра короля Артура, перенесла его смертельно раненного на остров Авааллон.

С. 511. ...молчаливый *Ипомен нашей Атланты...*— Атланта — в греческой мифологии охотница. Всем сватавшимся за нее она устраивала испытание в беге и убивала тех, кого настигала. Гиппомен победил ее хитростью, выбрасывая на бегу золотые яблоки.

С. 512. ...*Федры или Клитемнестры...*— Федра — см. прим. к с. 387; Клитемнестра — в греческой мифологии — супруга Агамемнона, в отсутствие мужа она изменила ему, а по возвращении убила. Погибла от руки сына Ореста.

...*влюбленного Ринальда...покорного Селадона...*— Ринальд — см. выше; Селадон — сентиментальный воздыхатель, дамский угодник — герой романа французского писателя Оноре д'Юрфе (1568—1625) «Астрея».

С. 515. ...*при одном имени горделивой Сильфиды...*— Сильфида — по средневековым поверьям, легкое воздушное существо в образе женщины.

С. 521. ...*но мрачной Горгоны...*— Горгоны — три сестры: Стено, Эвриала и Медуза — крылатые существа, покрытые чешуей, со змеями вместо волос. Взор их превращает все живое в камень. Персей обезглавил Медузу, глядя во время боя на ее отражение на поверхности щита.

*Зинаида КИРИЛЮК*

## СОДЕРЖАНИЕ

На пути к реализму.  
Орест Сомов и его роль  
в литературном движении начала XIX в.

Зинаида Кирилюк

5

### БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ

Гайдамак

*Малороссийская быль*

22

Гайдамак

*Главы из малороссийской повести*

38

Купалов вечер

*Из малороссийских былей и небылиц*

92

Бродящий огонь

*Из малороссийских былей и небылиц*

95

Киевские ведьмы

96

Недобрый глаз

*Малороссийское предание*

110

Русалка

*Малороссийское предание*

115

Юродивый

*Малороссийская быль*

124

Сказки о кладах

144

Оборотень  
*Народная сказка*  
205

Кикимора  
*Рассказ русского крестьянина  
на большой дороге*  
217

Сказка о медведе Костоломе и об Иване,  
купецком сыне  
227

Сказка о Никите Вдовиниче  
231

Сказание о храбром витязе Укроме-табунщике.  
*Картина из русских народных сказок*  
245

В поле съезжаются, родом не считаются  
247

Алкид в колыбели  
249

#### РАССКАЗЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Приказ с того света  
*Повесть*  
252

Вывеска  
*Рассказ путешественника*  
269

Странный поединок  
*Рассказ путешественника*  
302

Страшный гость. Анекдот  
*Из рассказов путешественников*  
314

Самоубийца. Повесть  
*Из рассказов путешественников*  
324



Почтовый дом в Шато-Тьерри  
*Из рассказов путешественника*  
363

Исполинские горы  
*Из рассказов путешественника*  
381

### БЫТОВЫЕ ПОВЕСТИ

Сватовство  
*Из воспоминаний старика о его молодости*  
414

Пленный турок  
*Истинное событие*  
443

Роман в двух письмах  
446

Матушка и сынок  
*Повесть*  
471

Эпиграф вместо заглавия  
495

Примечания  
537

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  
ИЗДАНИЕ

**СОМОВ** Орест Михайлович

**КУПАЛОВ ВЕЧЕР**

Избранные произведения

Составитель, автор предисловия  
и примечаний Кириллук Зинаида Васильевна

Художник *А. Н. Твердый*

Художественный редактор *К. П. Лавро*

Технический редактор *С. М. Величко*

Корректор *Н. И. Харчук*

ИБ № 4970

Сдано в набор 24.09.91.

Подписано к печати 07.02.91.

Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Бумага типографская № 2.

Гарнитура балтика.

Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4.

Усл. кр.-отг. 29,61. Уч.-изд. л. 30,435.

Тираж 30 000 экз. Заказ 0—3232.

Цена 3 р. 90 к.

Киев, издательство  
художественной литературы  
«Дніпро».

252601, Киев-ГСП,  
ул. Владимирская, 42.

Головное предприятие  
республиканского производственного  
объединения «Полиграфкнига».  
252057, Киев, ул. Довженко, 3.

**Сомов О. М.**

**С61** Купалов вечер: Избр. произведения / Сост., предисл., примеч. З. В. Кирилюк.—К.: Дніпро, 1991.—558 с.

ISBN 5-308-00951-1

В книгу избранных произведений русского писателя О. М. Сомова (1793—1833) вошли повести и рассказы, многие из которых неизвестны массовому читателю, давно стали библиографической редкостью. Тематика их чрезвычайно разнообразна, характеры колоритны, фантастика в них часто переплетается с изображением реального быта. Большой интерес представляют произведения, в которых отразились быт украинского народа, черты его национального характера, творчество, верования.

С 4702010101—131 131.91  
M205(04)—91

ББК 84Р1

